ЗВЕНЬЯ

*А. С. Грибоедов * А. С. Пушкин * Ф. И. Тютчев * Н. В. Гоголь * Н. П. Огарев * А. И. Герцен * М. Е. Салтыков-Щедрин * Н. Г. Чернышевский * И. С. Тургенев * Г. Е. Благосветлов * Я. П. Полонский * П. В. Долгоруков * П. Л. Лавров * Е. И. Жуковская*

ЗВЕНЬЯ

СБОРНИКИ МАТЕРИАЛОВ И ДОКУМЕНТОВ
ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИСКУССТВУ И ОБЩЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ XIX ВЕКА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ВЛАД. БОНЧ-БРУЕВИЧА,
[redacted] и А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

I

«ACADEMIA»
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД
1932

Переплет, супер-обложка,
заставки и концовки—по рисункам
художника И. Ф. Рерберга

ОТ РЕДАКЦИИ

Сборники „Звенья“ предназначены для опубликования материалов и документов по истории русской общественной и литературной мысли. В число этих материалов входят мемуары, дневники, письма, записки, отрывки и главы неопубликованных ранее по тем или другим причинам произведений русских беллетристов, критиков, публицистов, а также отдельные исследования по указанным вопросам.

В истории русской мысли еще много „тайн“. Эти „тайны“ объясняются отчасти внешними причинами, в которых развивалась общественная мысль в России XIX века, а главным образом тем либерально-народническим, меньшевистским и троцкистским искажением ее истории, которое до последнего времени господствовало в соответствующих руководствах, исследованиях и публикациях документов. Особенно „таинственной“ представляется в последних связь тех или других литературных и общественных течений с классовой борьбой внутри русского общества и, в частности и в особенности, процесс выделения из общего потока дворянского и буржуазного либерализма социалистической мысли и борьба последней за свое утверждение и существование. Так как эта борьба протекала в значительной мере на страницах так называемой „подпольной“ и „нелегальной“ печати, то она нашла совершенно недостаточное отражение в существующей до сих пор литературе. Не отказываясь от публикации материалов, касающихся общественного движения конца XVIII и первых десятилетий XIX века, наши сборники будут уделять особое внимание публикациям материалов в сейчас указанной области.

Полагая, что научная разработка публикуемых исторических и историко-литературных материалов с коммунистической точки зрения должна составлять задачу существующей уже довольно обширной сети специальных исследовательских организаций и исторических и литературоведческих журналов, „Звенья" свою основную задачу видят именно в публикации материалов, в том, чтобы возможно больше расширить ту сумму фактов и документов, на которых базирует свои выводы коммунистическая историография и коммунистическое литературоведение. В связи с этим комментарий к публикуемым материалам будет ограничен лишь необходимым минимумом, главным образом справочного характера.

Хронологические рамки наших сборников будут строго ограничены концом XIX века. Материалы, выходящие за эти пределы, печататься в „Звеньях" не будут.

Сборники будут выходить не периодически, а по мере накопления материалов. Весь материал первого сборника сдан редакцией в марте 1931 г.

Все запросы, касающиеся редакции сборников, материалы, статьи и исследования, а также книги для рецензий и оттиски статей просим присылать по адресу: Москва 9, ул. Герцена, Большой Кисловский пер., дом 5, кв. 2, тел. 2-90-32, Влад. Дм. Бонч-Бруевичу.



А. С. Грибоедов

Четыре письма

Со вступительной статьей „Неизданные письма А. С. Грибоедова и его адресаты (Н. Н. Муравьев-Карский, В. С. Миклашевич и С. Л. Алексеев)“ и примечаниями *О. И. Поповой*

Не прошло еще и года со времени опубликования нами 9 новых писем Грибоедова из собрания Государственного исторического музея, [1] как в том же музее удалось вновь обнаружить четыре также неизвестных до сих пор письма Александра Сергеевича: два—к Николаю Николаевичу Муравьеву-Карскому от 1823 года (в его архиве), одно — к Варваре Семеновне Миклашевич и одно — к Степану Ларионовичу Алексееву от 1826 года (в бумагах семьи Мухановых).

Писем Грибоедова к первому и третьему адресату до сих пор известно не было.

Помимо тех новых фактических данных, которые содержат в себе письма, они ценны тем, чем ценны письма Грибоедова вообще: своей искренностью, душевной открытостью, своей эмоциональностью, которые невольно выдают истинное его отношение к своим адресатам. На всех письмах лежит отпечаток личности Грибоедова и характера его отношений к людям: то холодных, сдержанных, то глубоко прочувствованных и беззаветно дружеских.

К первому разряду относятся два письма к Н. Н. Муравьеву, написанные в Тифлисе в дни сборов Грибоедова к отъезду в Россию, из которой он не думал вернуться назад. Если мы сравним их с письмами от того же времени к П. Н.

[1] См. книгу О. И. Поповой — „А. С. Грибоедов в Персии (1818—1823)“ М., 1929 г. изд. „Жизнь и знание“.

Ермолову и Ю. К. Глинке, то увидим, что на прощании с Муравьевым ни в какой мере не отразилось то тяжелое и смутное состояние Грибоедова, в котором он покидал Кавказ, не ожидая и в России найти себе душевный покой.

„До свиданья, нежно любимый и уважаемый друг, — писал он Ермолову,—вы играете, конечно, большую роль в том, что я покидаю эту страну с грустью. Воспоминания об искренности, о пленительной сердечной доброте, которые вам свойственны, многократные ночные беседы в продолжении вашей болезни, когда мы болтали вдвоем с полной откровенностью,—помните ли вы об этом? со времени моего возвращения из Персии? А дни тишины и счастья в Мухравани, каждый раз, как я приезжал вас навещать. Наконец, я не знаю... но дело в том, что в тот момент, когда я пишу вам— я плачу, как ребенок...“ [1]

Ю. К. Глинке он писал, вспоминая о брате ее В. К. Кюхельбекере: „ ... передайте ему, что если он знал меня здесь прежде беззаботным, веселым и даже резвым, то зато теперь я в тягость самому себе и одинок среди населения, к которому совершенно равнодушен; еще несколько дней, и я покидаю этот город, оставляя здесь скуку и отвращение, которые меня здесь преследуют и которые, быть может, я найду и в другом месте“. [2]

Как далеки эти тревожные и доверчивые строки Грибоедова от писем его к Муравьеву со следующими заключительными словами, обращенными к нему: „Командуйте щастливо, наигрывайте шумные каденцы, пользуйтесь благорастворением климата ...“ и пр.

Мы провели эту параллель не без умысла: она характеризует отношения Грибоедова и Муравьева.

Встретившись по службе на Кавказе под начальством А. П. Ермолова, они прошли мимо друг друга по-разному.

Муравьев — один из немногих образованных людей своего времени, с разнообразными культурными интересами, с честолюбивыми замыслами, с болезненно развитым самолюбием, оказавшись в штате Ермолова, занял и там место одного из самых деятельных и способных чиновников.

Знакомство с Грибоедовым не могло не произвести на Муравьева впечатления; он более, чем кто-либо другой, дол-

---

[1] О. И. Попова—„А. С. Грибоедов в Персии“. М., 1929 г., стр. 85.

[2] См. Полн. собр. соч. А. С. Грибоедова под ред. Н. К. Пиксанова. П. 1917 г., т. III, стр. 318, перев. с фр.

жен был оценить всю незаурядность его личности, но отношения их сложились своеобразно и не совсем гладко. Тому были свои причины. Они лежали прежде всего в складе характеров Муравьева и Грибоедова, не отличающихся большою гибкостью, а также, думается, в особенностях личности Грибоедова, который со свойственной ему резкостью не мог скрывать от большинства окружающих его лиц ни отсутствия к ним дружеского расположения, ни сознания своего превосходства над ними, за исключением немногих.

По запискам П. А. Каратыгина, Грибоедов „был скромен и снисходителен в кругу друзей, но сильно вспыльчив и раздражителен, когда встречал людей не по душе... Тут он готов был придираться к ним из пустяков, и горе тому, кто попадется к нему на зубок... Тогда соперник бывал разбит впух и прах, потому что сарказмы его были неотразимы". [1]

Таким именно и представляется нам Грибоедов по запискам Муравьева, которые отразили в себе ряд мелких столкновений, происшедших между ними на почве злословия Грибоедова. Муравьев углубляет, однако, отрицательные черты Грибоедова, приписывая ему и более существенные недостатки, чем злословие, о которых писал позднее, в 1828 году: „Я был весьма далек от того, чтобы иметь дружбу и (как некоторые имели) уважение к его добродетелям, коих я в общем смысле совсем не признавал в нем, а потому и не буду повторять сего". [2]

Как ни велики были в глазах Муравьева недостатки Грибоедова, он тем не менее не мог не отдать дани положительным и блестящим свойствам А. С., не мог пройти мимо него равнодушно, ибо равнодушие окружающих вообще не было уделом Грибоедова. Даже более того: он принадлежал к тем немногим счастливцам судьбы, отмеченным такими самобытными и блестящими дарованиями, которые нередко вызывают к себе в окружающих тревожно-ревнивое чувство. Нотки этого затаенного ревнивого чувства проглядывают иногда и в записках Н. Н., который не теряет, впрочем, никогда по отношению к Грибоедову ни чувства меры, ни чувства справедливости. Недостатки в А. С. не мешают ему ощущать ни силу обаяния его ума, ни ту одаренность, которая была разлита во всей неповторяемой личности Грибоедова.

---

[1] П. 1880 г., стр. 131, под ред. П. П. Каратыгина.
[2] „Р. арх.", 1893 г., № 11, стр. 363.

Проследим отношение Муравьева к Грибоедову по его запискам.

В октябре 1818 года Муравьев пишет:

„22-го обедал у француза и видел Грибоедова. Человек весьма умный и начитанный, но он мне показался слишком занят собой". [1]

Через три месяца читаем:

„11-го (января) я был у Алексея Петровича (Ермолова), который говорил очень долго о разделении Польши с таким красноречием и с такими познаниями, что мы все удивлялись и заслушались его. Грибоедов проделывает с ним все те же самые штуки, которые он со мной делал, и надувает Алексея Петровича, который верно полагает (в нем) пространные и глубокие сведения. Грибоедов умен и умеет так осторожно действовать, что все речи его двусмысленны, и он тогда только дает утвердительное мнение свое, когда Алексей Петрович свое скажет, так что никогда ему не противоречит и повторяет слова Алексея Петровича: все думают, что он прежде тот предмет также хорошо знал. Я уже был надут им и видел ход его действий". [2]

Первое неблагоприятное впечатление, произведенное Грибоедовым на Муравьева, при ближайшем, личном общении быстро стало переходить в явное неудовольствие. 16 января 1819 года Муравьев пишет:

„Мне кажется Грибоедов придирается ко мне, и что у нас не обойдется ладно. Вчера обедал я в трактире, и Грибоедов тоже. Пришел туда тот самый толстый Степанов, с которым я раз виделся на его квартире и который отказался от своих слов и просил извинения. Грибоедов не знал его. Увидя его, он спросил меня, та ли это особа, про которую прежде говорено было и которой я побоялся. Как побоялся, сказал я; кого я буду бояться?—Да его наружность страшна.—Она может быть страшна для вас, но совсем не для меня. Меня очень рассердило сие маленькое происшествие, я дождался, пока Степанов ушел и потом, подозвав к себе Амбургера, спросил у него громко при всех, слышал ли он суждение Грибоедова, который находит наружность Степанова грозною? Грибоедов несколько потерялся и не умел иначе поправиться, как ска-

[1] „Р. арх.", 1886 г., № 11, стр. 332.
[2] Там же, 1893 г., № 12, стр. 433.

зав, что он ее грозною потому находит, что Степанов громаден. Тем и кончилось. Грибоедов почувствовал свою ошибку и все вертелся около меня". [1]

В дальнейшей январской записи Муравьев с ревнивым неудовольствием отмечает расположение Ермолова к Грибоедову:

„22-го я обедал у Алексея Петровича. Грибоедов отличался глупейшею лестью и враками. Я не понимаю, как Алексей Петрович может так долго ошибаться в нем. Он, кажется, к нему еще очень хорошо расположен, и мне кажется сие за счастие, что Грибоедов не остается в Тифлисе, а уезжает с Мазаровичем". [2]

28 января Муравьев радуется отъезду Грибоедова и утешает себя мыслью, что Ермолов не очень высокого мнения о нем.

„Уехал отсюда с Мазаровичем в Персию к великому удовольствию всех Грибоедов, который умел заслужить всеобщую нелюбовь. Мне кажется, однако же, что Алексей Петрович не ошибся на его счет. Он препоручил Грибоедову сделать описание случившемуся здесь землетрясению для помещения оного в ведомости. Грибоедов написал ужасную штуку: Куринские льды с ревом поколебались, треснули и стремились к пучине; тут был и гром, и треск, и стук, и страх, и разбежавшиеся жители, и опустелый город; землетрясение пять минут продолжалось и пр. пр. пр., и все написано так лживо и так нескладно, что было больше похоже на силлогизм человеческого преследования. Я узнал, что Алексей Петрович премного его благодарил за сие и расхваливал его; по отъезде же Грибоедова он приказал Могилевскому [3] пересочинить все сие съизнова". [4]

При переводе Грибоедова из миссии к Ермолову в Грузию в 1822 году Муравьев и Грибоедов снова встречаются, причем впечатления Муравьева о Грибоедове вначале складываются благоприятно. Так, 25 января Муравьев пишет в своих записках:

---

[1] „Р. арх.", 1886 г., № 12, стр. 434.

[2] Мазарович, Симон Иванович — поверенный в русских делах в Персии, под непосредственным начальств м которого служил Грибоедов до 1822 г.

[3] Могилевский, Пав. Ив. — правитель гражданской канцелярии главнокомандующего Кавказом.

[4] „Р. арх.", 188 г., № 12, стр. 434.

„Провел вечер у Грибоедова. Нашел его переменившимся против прежнего. Человек сей очень умен и имеет большие познания". [1]

2 февраля 1822 года: „Пришел ко мне обедать Грибоедов; после обеда мы сели заниматься и просидели до половины одиннадцатого часа: я учил его по-турецки, а он меня по-персидски. Успехи, которые он сделал в персидском языке, учась один, без помощи книг, которых у него тогда не было. Он в точности знает язык персидский и занимается теперь арабским. Я нашел его очень переменившимся и он очень понравился вчера". [2]

Однако очень скоро отношения их снова обостряются. Повод к неудовольствию Муравьева подробно приводится в записи его от 6 февраля 1822 года:

„Воейков [3] был у меня и, заставши у меня Грибоедова, сказал мне в другой комнате, что если б я одну вещь знал, то бы она меня очень рассердила. Я просил у него объяснения; он не хотел объясняться, наконец он ушел..."

В тот же день, когда Воейков вместе с Бобарыкиным [4] снова пришел к Муравьеву, последний попросил его объяснить, „в чем состояли слова, сказанные Воейковым поутру, полагая, что тут касается нечто до Грибоедова. После долгих отговорок Бобарыкин сказал мне, что накануне Грибоедов изъяснился у Алексея Петровича Петру Николаевичу [5] насмешливо на счет наших занятий в восточных языках, понося мои способности и возвышая свои самыми невыгодными выражениями на мой счет. Меня сие крепко огорчило,—пишет Муравьев.—Необходимо должно было иметь поединок, чтобы остановить Грибоедова, что было весьма неприятно. Я пошел к Воейкову, где нашел Бобарыкина, объяснил им, сколько происшествие сие было неприятно для меня, послав вслед за сим к Грибоедову книгу его и велев потребовать мои назад; и то было в миг исполнено. Вскоре за сим явился ко мне Грибоедов, дабы я ему объяснил причины, понудившие меня к сему поступку. Я ему объяснил их и назвал свидетелей. Мы напали все на него и представляли ему его неосторожность. Он извинился

---

[1] „Р. арх.", 1888 г., № 5, стр. 104.

[2] Там же, стр. 104—105.

[3] Прапорщик Николай Павлович Воейков—участник посольства Ермолова.

[4] Поручик, „кавалер" посольства Ермолова, Дмитрий Александрович Бобарыкин.

[5] П. Н. Ермолов—двоюродный брат А. П. Ермолова.

передо мною и просил, чтобы я забыл сие; но Бобарыкин, имея старые причины на него сетовать, продолжал спорить с ним. Сие подало повод к колкостям с обеих сторон. Бобарыкин сознавался, что он не должен был мне передавать этих слов, не объяснившись сперва с Грибоедовым, но сказал, что уважение его и преданность ко мне принудили к сему. В самое это время Грибоедов вскочил и ушел.

Мое дело было поправлено, но Бобарыкин и Воейков оставались на дурном счету в глазах Грибоедова. Я намеревался и теперь намереваюсь пресечь понемногу знакомство с ним; но тут я должен был примириться с ним и принять его извинения, и потому я отправился с Бобарыкиным к нему и примирился с тем условием однако ж, чтобы 1) Грибоедов не смел после разносить сего и 2) чтобы он вперед был осторожнее в своих речах. Он охотно согласился на сие и дал честное слово, что вперед будет осторожнее и нигде не разгласит сего дела. Я отдал ему книги и обещался заниматься попрежнему с ним. Бобарыкин извинился в том, что он мне сказал сие, а Грибоедов в том, что прежде подал ему повод неудовольствия на себя своими неосторожными шутками. И мы так расстались. Перед отходом, Грибоедов дал мне письмо, которое он хотел послать к Петру Николаевичу,[1] которым он просил его помирить его со мною. Я сжег сие письмо и пошел к Воейкову, куда вскоре и Грибоедов пришел и просидел с нами до 11-ти часов вечера".[2]

Несмотря на только что рассказанный инцидент, Муравьев быстро, однако, поддается опять очарованию ума Грибоедова, о котором пишет 10 февраля 1822 года:

„Ввечеру поздно он ко мне пришел и просидел до полночи. Образование и ум его необыкновенны".[3]

В записи от марта того же года мы читаем: „31-го марта провели у меня вечер Грибоедов и Кюхельбекер; первый был так любезен вчера, что можно было почти забыть его свойства".[4]

Много позднее Муравьев определил свое отношение к Грибоедову следующими словами:

„Я не имел с Грибоедовым никогда дружбы; причины сему были разные. Поединок, который он имел с Якубовичем

[1] Ермолову.
[2] „Р. арх.", 1888 г., № 5, стр. 105—107.
[3] Там же, стр. 108.
[4] Там же, стр. 117.

в 1818 г.,[1] на коем я был свидетелем со стороны последнего, склонность сего человека к злословию и неуместным шуткам, иногда даже оскорбительным, самонадеянность и известные мне прежние поступки его совершенно отклонили меня от него, и в сем случае хотя доверенность мною ему сделанная[2] сближала меня с ним некоторым образом, но не склонила меня к нему с лучшим душевным расположением и я до сих пор остался об нем мыслей весьма невыгодных на счет его нравственности и нрава".[3]

Но каковы бы ни были личные отношения Муравьева к Грибоедову, он глубоко ценил его как дипломатического деятеля, как человека, умевшего до конца отдаться служебному долгу так, как он его понимал. Об этом свидетельствуют проникновенные строки его, посвященные Грибоедову по его кончине:

„Не заблуждаясь на счет выхваленных многими добродетелей и правил Грибоедова, коих я никогда не находил удовлетворительными, я отдавал всегда полную справедливость его способностям и остаюсь уверенным, что Грибоедов в Персии был совершенно на своем месте, что он заменял нам там единым своим лицом двадцатитысячную армию и не найдется, может быть, в России человека столь способного к занятию его места. Он был настойчив, знал обхождение, которое нужно было иметь с персиянами, дабы достичь своей цели, должен был вести себя и настойчиво относительно к англичанам, дабы обращать в нашу пользу персиян при доверенности, которую англичане имели в правлении персидском.[4] Он был бес-

[1] Дуэль между Грибоедовым и А. И. Якубовичем (впоследствии декабристом) была продолжением дуэли гр. А. П. Завадовского и В. А. Шереметева из-за балерины Истоминой, в которой Грибоедов играл странную и некрасивую роль, вызвавшую общественное осуждение, а в нем самом тяжелые переживания, отчасти и побудившие его уехать на Восток. (О дуэли см.: 1) Записки Н. Н. Муравьева в „Р. арх." за 1886 г.; 2) биограф. очерк Н. К. Пиксанова к Полн. собр. соч. Грибоедова, изд. Ак. Наук, т. I, стр. XXVI—XXVIII; 3) „Ист. вестн.", 1909 г., № 3, стр. 10—44 и др.)

[2] Здесь Муравьев говорит о той доверенности, которую он оказал Грибоедову, признавшись ему перед своей женитьбой на Соф. Фед. Ахвердовой в том, что Нина Ал-др. Чавчавадзе ему „более нравилась", в ответ на откровенность Грибоедова об увлечении его С. Ф. Ахвердовой (см. „Р. арх.", 1889 г., № 9, стр. 61). Присутствие Грибоедова на свадьбе Муравьева последнему было, однако, неприятно.

[3] „Р. арх.", 1889 г., № 9, стр. 61—62.

[4] Говоря о встрече с инструктором персидских войск французом Семино, А. С. Гангеблов пишет в своих воспоминаниях: „Он меня навестил и рассказал любопытные вещи о убиении Грибоедова. По его словам, катастрофа

корыстен и умел порабощать умы, если не одними дарованиями и преимуществами своего ума, то твердостью. Поездка его в Тегеран для свидания с шахом вела его на ратоборство со всем царством персидским. Если б он возвратился благополучно в Тавриз, то влияние наше в Персии надолго бы утвердилось; но в сем ратоборстве он погиб, и то перед въездом одержав совершенную победу.[1] И никто не признал ни заслуг его, ни преданности своим обязанностям, ни полного и глубокого знания своего дела!"[2]

Спокойнее было отношение Грибоедова к Муравьеву: он не имел к нему того жгучего интереса, которым, несомненно, было проникнуто отношение к нему Муравьева. Личного расположения Н. Н. по свойствам своей натуры также в А. С. не возбудил.

Тяжелый по складу характера, болезненно-самолюбивый, неподвижно застывший в своей важности, со странностями, Муравьев представлял полную противоположность горячему, порывистому как в своих приязнях, так и неприязнях Грибоедову.

По воспоминаниям В. Андреева, „Н. Н. Муравьев при всех прекрасных качествах умного боевого генерала и полезного администратора, по своему педантизму до последних мелочей и холодному, важному обращению, умел быть для всех старших и младших всегда тяжелым и несимпатичным".[3]

Характерным для Муравьева является факт, рассказанный тем же Андреевым: умирающий от ран после сражения бывший член Южного общества и боевой товарищ Муравьева И. Г. Бурцев, узнав о намерении Муравьева посетить его, умолял окружающих: „Господа, не допускайте ко мне Муравьева — я хочу спокойно умереть".[4]

Но если между Грибоедовым и Муравьевым не было теплых и дружеских отношений, то не было и крупных столкновений.

эта была устроена англичанами, которые Грибоедова не терпели за его гордое с ними обращение" (см. „Р. арх.", 1886 г., № 6, стр. 247). Сам Муравьев также был склонен думать, что возмущение персиян в 1829 г. против русской миссии произошло не без вмешательства англичан, опасавшихся влияния России на персидское правительство.

[1] Здесь Муравьев говорит о Туркманчайском мире 1828 г., заключенном между Россией и Персией на выгодных для России условиях, в котором Грибоедов сыграл крупную роль.

[2] „Р. арх.", 1894 г., № 1, стр. 43—44.

[3] „Кавказский сб.", Тифлис, 1876 г., т. I, стр. 82.

[4] Там же, стр. 82.

Из ряда рассказанных Муравьевым эпизодов его жизни, связанных с Грибоедовым, мы в праве заключить, что их отношения были введены в спокойное русло прежде всего Муравьевым. Своей холодной сдержанностью, ярко выраженным чувством собственного достоинства, не допускающим и тени фамильярности, а тем паче насмешки, он сумел придать их отношениям то умеренное направление, которое Грибоедову в общении с людьми было мало свойственно.

Сохранившиеся письма Грибоедова к П. Н. Ахвердовой (мачехе жены Муравьева) свидетельствуют о том, что и Грибоедов впоследствии—в силу ли жизненного опыта или своего общественного положения, которое обязывало его к большей осторожности в обращении с людьми — сумел примениться к своеобразной и тяжелой личности Муравьева и найти с ним верный тон. В 1827 году мы видим его даже в качестве посредника-примирителя между Паскевичем [1] и Муравьевым.

„Главнокомандующий относится к нему с большим уважением и доверием,—пишет Грибоедов Ахвердовой о Муравьеве 28 июня, — но какая-то адская сила тут вмешивается, часто у них происходят серьезные размолвки, один кричит, другой дуется, а я должен играть глупую роль примирителя, хотя никто из них меня за это не благодарит. Это между нами. Поблагодарите же меня за вашего зятя. Однако, я вам не поручусь, что в один прекрасный день они не рассорятся навсегда, и это иногда меня делает очень грустным. Не сообщайте ему об этом в своих письмах, а также не рассказывайте об этом и m-me Муравьевой. Дело в том, что генерал [2] бывает иногда очень несговорчив, а вашему зятю недостает в характере уступчивости". [3]

В письме от 3 июля 1827 года Грибоедов пишет той же П. Н. Ахвердовой, находясь под стенами Аббас-Абада:

„Что мне сказать о вашем зяте? Невозможно лучше исполнять свой долг, соответственно тому, как он понимает свои служебные обязанности, и вместе с тем быть более непонятым своим начальником, который, однако, отличнейший человек

---

[1] С отрешением от обязанностей главнокомандующего Кавказом А. П. Ермолова его в 1827 г. заменил родственник Грибоедова—И. Ф. Паскевич.

[2] Т. е. Паскевич.

[3] Полн. собр. соч. Грибоедова, изд. Ак. Наук, П., 1917 г., т. III, стр. 343—344, перев. с фр.

во всем, кроме обращения. Не говорите об этом m-me Муравьевой. Может быть успех в действиях против неприятеля будет способствовать примирению друзей, и тогда я первый сообщу вам об этом".[1]

Бросив беглый взгляд на отношения Грибоедова и Муравьева на протяжении всех лет их знакомства и взяв из него период их отношений до 1823 года включительно, мы поймем теперь то внутреннее содержание, которое скрывается за безупречно вежливой, но сухой и деловой формой печатаемых писем Грибоедова к Муравьеву. Повод к письмам: приобретение Муравьевым фортепиано у отъезжающего в Россию Грибоедова, который, как известно, был превосходный музыкант.[2]

Следующие два письма Грибоедова относятся к одному из интереснейших моментов его жизни: освобождению после четырехмесячного сидения под арестом по делу декабристов. Мы не будем останавливаться подробно на этом эпизоде, так как он исчерпывающе, по тем данным, которые имелись в распоряжении исследователей, освещен в ценной работе П. Е. Щеголева „А. С. Грибоедов и декабристы",[3] и обратим наше внимание главным образом на тех малоизвестных лиц, к которым обращены письма Грибоедова: на Варвару Семеновну Миклашевич и Степана Ларионовича Алексеева.

Нам известны три письма Грибоедова к Миклашевич, из них одно общее с другом А. С.—А. А. Жандром. В ответ на грустные, повидимому, размышления Жандра о смысле жизни Грибоедов писал ему 18 декабря 1825 года:

„Философия твоя чуть было меня не прослезила, милый. Друг мой, к чему ведет нас эта жизнь? Оглянись, с тобою умнейшая, исполненная чувства и верная сопутница в этой жизни, и как разнообразна и весела, когда не сердится".[4]

„Сопутница" жизни Жандра и была В. С. Миклашевич. Как с Жандром, так и с В. С. Грибоедова связывала та трогательная близость и любовь, на которую он был способен,

---

[1] Полн. собр. соч. Грибоедова, изд. Ак. Наук, П., 1917 г., т. III, стр. 345, перев. с фр.

[2] См. „Записки П. А. Каратыгина", П., 1880 г., стр. 131, также ст. проф. С. К. Булич, „А. С. Грибоедов-музыкант" (Полн. собр. соч. Грибоедова, изд. Ак. Наук, т. I).

[3] С.-П., 1905 г.

[4] Полн. собр. соч. Грибоедова, т. III, стр. 187.

когда вверялся людям вполне, сохраняя ее во все минуты своей жизни. Об этом свидетельствует письмо его к В. С., написанное в разгар его личного счастья:

„Друг мой, Варвара Семеновна,—пишет он ей 17 сентября 1828 года из Эчмиадзина.—Жена моя по обыкновению смотрит мне в глаза, мешает писать, знает, что пишу к женщине, и ревнует.—Не пеняйте же на долгое мое молчание, милый друг, видите-ли, в какую для меня необыкновенную эпоху я его прерываю. Женат, путешествую с огромным караваном,—110 лошадей и мулов, ночуем под шатрами на высотах гор, где холод зимний. Нинуша[1] моя не жалуется, всем довольна, игрива, весела; для перемены бывают нам блестящие встречи, конница во весь опор несется, пылит, спешивается и поздравляет нас с щастливым прибытием туда, где бы вовсе быть не хотелось. Ныньче нас принял весь клир монастырский в Эчмиадзине, с крестами, иконами, хоругвями, пением, курением etc.; и здесь, под сводами этой древней обители, первое мое помышление об вас и об Андрее.[2] Помиритесь с моею ленью... Бросьте вашего Трапера[3] и Куперову prairie,[4] мой роман живой у вас перед глазами, и во сто крат занимательнее; главное в нем лицо—друг ваш, неизменный в своих чувствах, но в быту, в роде жизни, в различных похождениях не похожий на себя прежнего, на прошлогоднего, на вчерашнего даже...“[5]

Письмо это, не отправленное во-время, дошло до В. С. с более поздним, от 3 декабря того же года, написанным в ответ на ее упреки в забывчивости своих старых друзей: ее, А. А. Жандра и А. И. Одоевского, сосланного в Сибирь, к которому как В. С., так и Грибоедов были нежно привязаны.[6] Какою болью отозвались в сердце А. С. упреки В. С., можно судить по письму его к ней:

„Как я себя виню, что не послал вам написанных этих строчек три месяца назад. Вы бы не сердились на меня, а теперь, верно, разлюбили, и правы. Не хочу оправдываться. Андрей,[7] ты помоги мне умилостивить нашего общего друга. Хорошо, что вы меня насквозь знаете, и немного надобно слов, чтобы

---

[1] Нина Александровна Чавчавадзе (1812—1857).
[2] А. А. Жандр.
[3] Трапер—герой романов Купера.
[4] „The prairie“—роман Купера.
[5] Полн. собр. соч. Грибоедова, т. III, стр. 226—227.
[6] См. примеч. к письму 18.
[7] А. А. Жандр.

согреть в вас опять те же чувства, ту же любовь, которую от вас, моих милых нежных друзей, я испытал в течение стольких лет, и как нежно и бескорыстно!

Верно, сами догадаетесь, неоцененная Варвара Семеновна, что я пишу к вам не в обыкновенном положении души. Слезы градом льются.

Неужели я для того рожден, чтобы всегда заслуживать справедливые упреки за холодность (и мнимую притом), за невнимание, эгоизм от тех, за которых бы охотно жизнь отдал. Александр наш [1] что должен обо мне думать!..“

„Александр мне в эту минуту душу раздирает. Сейчас пишу к Паскевичу; коли он и теперь ему не поможет, провались все его отличия, слава и гром побед, все это не стоит избавления от гибели одного нещастного, и кого!!!“ [2]

Приведенных выдержек из писем Грибоедова достаточно для тех, кто интересуется Грибоедовым и его окружением, чтобы заинтересоваться и малоизвестной личностью Миклашевич, [3] о которой мы и сообщаем здесь все те сведения, которые нам удалось собрать о ней; впрочем, она достойна внимания и сама по себе.

Варвара Семеновна Миклашевич была дочерью богатого пензенского помещика Смагина, погибшего во время Пугачевского восстания. Мать ее вместе с нею, тогда полуторагодовым ребенком, маленьким сыном и его кормилицей спаслись от Пугачева в стогах сена своей усадьбы. Этот факт позволяет нам считать годом ее рождения 1772 год, указанный в „Петербургском Некрополе“, верным.

Эта дата кажется нам более убедительной, чем разноречия литературных источников, [4] и по другому соображению: кому же,

---

[1] А. И. Одоевский, декабрист, поэт; при начале арестов после 14 декабря В. С. Миклашевич и Жандр помогли Одоевскому бежать, но он был пойман (см. „Ист. вестн.“, 1900 г., июль, стр. 198).

[2] Полн. собр. соч. Грибоедова, т. III, стр. 236–237.

[3] О ней см. Н. К. Пиксанов: 1) Биограф. очерк Грибоедова к Полн. собр. его соч., изд. Ак. Наук, П., 1911, т. I, и 2) Введение к тексту „Жандровской рукописи“. Глава I — „Грибоедов и А. А. Жандр“ (М., 1912, изд. А. Э. Бухгейм).

[4] а) В Полн. собр. соч. А. С. Грибоедова, изд. Ак. Наук, т. III, стр. 336; б) в „Биограф. слов. русских писательниц“, сост. кн. Н. Н. Голицыным, П. 1889 г., стр. 173; в) в „Сборн. Уч.-литер. о-ва при имп. Юрьевском Унив.“, Юрьев, 1908 г., т. XIII, стр. 98, год рождения В. С. Миклашевич указан — 1786 г. В статье „Забытая писательница“ И. Данилов пишет, что Миклашевич умерла 78 лет от роду, т. е. считает год ее рождения—1768 (см. „Ист.

как не близким лицам, хоронившим Миклашевич, мог быть лучше известен год ее рождения?

Выйдя замуж за губернского чиновника Антона Осиповича Миклашевич[1] В. С. жила сначала в Пензе, а затем на Дону, в Михайловской станице, куда муж ее был назначен Павлом I в качестве уполномоченного прокурора.

В своей статье „Забытая писательница" И. Данилов[2] говорит, что замужество ее было несчастно: муж „был много старше В. С. и по нравственным качествам своим ее не стоил; между прочим, он проиграл в одну ночь все ее состояние, а она была богатою невестою. У Смагиных было 600 душ крестьян. Выйти замуж за Миклашевича заставил В. С. страх — за несколько времени перед этим под ее окошком застрелился молодой человек, учитель ее брата, из-за отвергнутой любви".

Схоронив мужа в начале восьмисотых годов, В. С. потеряла вслед за ним и единственного восьмилетнего сына[3], которого так страстно любила, что после его смерти „ее темные волосы пожелтели в одну ночь".[4]

Затем в биографии ее наступает пробел; появляется она перед нами снова уже в доме друга Грибоедова—Андрея Андреевича Жандра[5] в качестве близкого или родственного ему лица вместе со своей воспитанницей—Прасковьей Петровной Порецкой.[6]

Имя Миклашевич, соединенное с Жандром, мы находим впервые в письме Грибоедова к другу его С. Н. Бегичеву из Москвы от 5 сентября [1818 г.]: „...Матушка тебе кланяется,— писал он ему,—сестра еще не приехала. Жандр у нас еще

вестн.", 1900 г., июль, стр. 196); г) Н. И. Греч в предисловии к ее роману „Село Михайловское или помещик XVIII в." (П., 1865 г.) говорит также, что М—ч умерла 78 лет, д) в газете „Голос" за 1865 г., № 78, в рецензии на ее роман „Село Мих." говорится, что М—ч умерла слишком 70 лет от роду.

[1] См. „Сборн. Уч.-литер. о-ва при имп. Юрьевском унив.", 1908 г., т. XIII, стр. 98.

[2] „Ист. вестн.", 1900 г., июль, стр. 197. К сожалению, Данилов не указывает, какими источниками он пользовался при составлении своей работы.

[3] Николай Миклашевич (16/VII 1800 г.—25/VII 1808 г.) Похоронен вместе с матерью в Александро-Невской лавре, на Лазаревском кладбище (см. „Петерб. Некрополь").

[4] См. „Ист. вестн.", 1900 г., июль статья Данилова: „Забытая писательница".

[5] О нем см. в примеч. к письму 3.

[6] Впоследствии жены Жандра. Фамилия жены Жандра указана Б. Л. Модзалевским в его картотеке, находящейся теперь в Инст. нов. лит. при Ак. Наук; о ней см. также: „Р. стар.", 1875 г., № 9, стр. 210 — 211 и „Ист. вестн.",

живет, только я не видал его, он спасается где-то с Варварой Семеновной". [1]

В Щукинском сборнике, в „Выписках из тетрадей неизвестного", под заглавием „Всякая всячина" (острые слова кн. А. С. Меньшикова) мы читаем:

„... Забавно, что Меньшиков, [2] такой сильный человек и так крепко и прочно стоящий на высокой ступени, боится, или по крайней мере, было время, что боялся некоей Варвары Семеновны. Эта Варвара Семеновна—вдова какого-то чиновника 4-го или 5-го класса, кажется комиссионера. У нее в доме воспитывался или как-то был принят Жандр (теперь кажется 3-го класса, правитель дел совета морского министерства); теперь не он у ней, а она у него живет с какой-то воспитанницей. Говорят будто Жандр всегда был и теперь с ней в связи; но кажется это вздор, скорее он из благодарности теперь ее держит". [3]

Вот что пишет о своих отношениях к Жандру сама Миклашевич в письме к члену верховного уголовного суда по делу декабристов, В. В. Левашеву, в тот момент, когда Жандр, как соучастник побега декабриста Одоевского, находился под арестом:

„Милостивый Государь, Василий Васильевич! Никогда бы не осмелилась беспокоить ваше превосходительство моею покорнейшею просьбою, есть-ли бы не щитала вас самым достойнейшим доверенности милосердного нашего монарха: меня же я уверена, что изволили докладывать в пользу родственика моего Жандра, который имел нещастие подпасть под гнев праведный; но вина его неумышленная: он дал платье Одоевскому (человеку в отчаянии отказать в утешении, что есть люди, которые берут в нем участие). Это ужасно. Мы же имели в нем самого ближнява человека и не только не знали его заговоров и замыслов, но ниже когда-либо подозревали. Я его столько же любила, как Жандр, который без меня с ним и не бывал, а при том еще мы и не знали и в эту минуту,

---

1908 г., № 8, стр. 426—„Записки сенатора К. И. Фишера", из которых мы узнаем, что Жандр (А. А.?) был женат „на солдатской дочери".

[1] Полн. собр. соч. Грибоедова, т. III, стр. 132.

[2] Александр Сергеевич Меньшиков (1787—1869), адмирал, светлейший князь. Образованнейший человек своего времени, был известен своим умом и злыми остротами.

[3] Щук. сб., вып. IV, М., 1905 г. стр. 250—251.

в которую он был у нас, как важно его преступление. Жандр же был уверен, что платье его не скроет, а [по] необыкновенной своей доброте не хотел оскорбить его. Вот, милостивый государь, в чем состоит вина его; теперь сжальтесь надо мною и имейте терпение выслушать историю мою. Муж мой, поляк, служив российскому престолу 47 лет с особенною верностию, усердием, почти во всю жизнь имел особые поручения, как-то и в последнюю войну французскую был областным начальником в Познани, везде отличался, от всюду начальниками рекомендован, но он умер без куска хлеба и когда бы не ветхий дом, в который он из Польши возвратился — негде бы было главу подклонить; он умер, оставя меня в долгах, принуждена была остатца одна, последних людей продать и жить без всякой услуги—и вот что для меня страждущей ныне Жандр. Муж мой любил его как сына, поручил меня ему и десятый год он составляет мое единственное утешение. Не имея никакой собственности, кроме жалованья, почти все мне отдает, совершенно живет для меня; назад четыре года была больна, неподвижна шесть месяцев; он ходил за мной, как самой нежной сын за матерью. Эту его добродетель все знают, все засвидетельствуют, равно, как его кротость, благонравие. Даже и теперь, в нещастии, какое ангельское терпение: он только сокрушаетца обо мне. Ах, естли-б я смела пасть к стопам нашего ангела хранителя, который в две недели своего царствования столько показал милости злоумышленным преступникам и надежды для щастия России; да, он бы меня услышал, отер бы горькие слезы мои, но я не смею и не знаю, как и где это сделать. Мне кажется, добродетельный монарх наш не только бы простил Жандра, а верно и мою участь за службу мужа моего облегчил. Я четвертый год больна: сведены ноги и не имею чем лечитца, а когда Жандр потеряет место, мы должны итить по миру. Жандр служил 23 года и можно справитца—как служил. Еще раз умоляю вас, будьте нашим единственным благодетелем, доложите, чтобы повелел [?] [1] государь выпустил Жандра или успокойте меня хоть одним словом, что мне нечева боятца и что Жандр даже не останетца на дурном замечании. Естьли б можно было письмо мое представить государю императору, но уж это слишком много для меня щастия. Простите моему отчаянию. Есть-ли [бы] вы знали, как я страдаю — вы бы сжалились. За нас кроме бога вам заплатить некому,

[1] Слово написано неразборчиво.

которого я буду умолять вечно, чтобы покрыл вас своею милостию.

С совершенною преданностию честь имею быть
вашего превосходительства милостивого
государя покорною к услугам
Варвара Миклашевичева". [1]

1825 год.
30 декабр.

Из этого, неизвестного до сих пор письма, мы видим, что составитель биографии Мих. Ник. Муравьева, Д. А. Кропотов, верно определял характер отношений Жандра к Миклашевич:

„Говоря о Жандре, — пишет он, — нельзя не упомянуть о необыкновенной, платонической связи его с Варварой Семеновною Миклашевич, женщиною весьма образованною, религиозною и несколько эксцентрическою, с которою он жил чуть ли не более двадцати лет. Она оказала когда-то ему большую услугу, когда он был в стесненном положении. [2] Впоследствии же, когда В. С. обеднела, то Жандр предложил ей разделить с ним его жилище и средства для жизни. Петербургское общество уважило эту необыкновенную связь, ездило на вечера к Жандру и радушно принимало посещения его и Варвары Семеновны. Она занималась литературой и написала известный роман: „Село Михайловское или помещик XVIII столетия", [3] появившийся в печати уже после ее смерти". [4]

История написанного Миклашевич романа имеет долгую эпопею. Начатый в 1828 году по просьбе Грибоедова, любившего слушать рассказы В. С. из старого прошлого, он был закончен в 1836 году и подарен воспитаннице ее, упомянутой выше Прасковье Петровне, с тем, чтобы она напечатала его, когда представится к тому возможность. Возможность эта наступила только 30 лет спустя, когда автора его уже не было в живых: Варвара Семеновна умерла в 1846 году. [5]

[1] Центрархив, фонд 1234, инв. № 2938. См. опись архива гр. В. В. Левашева, № 45 (54).

[2] Известно, что служебная карьера Жандра была не легка. *О. П.*

[3] Заглавие романа характерно для того времени: в „Современнике" за 1836 г., № 3, в отделе „Новые книги" указывается роман, соч. некоего Александра Никитина под заглавием: „Игра любви или помещик XVIII в."

[4] Д. А. Кропотов — „Жизнь гр. М. Н. Муравьева". СПБ., 1874 г., стр. 230.

[5] При жизни Миклашевич напечатана была лишь небольшая часть романа под заглавием „Отрывок из нового романа" в журнале „Сын отечества и Северный архив" за 1831 г. (см. т. XIX, № 19, стр. 225—238 и № 20, стр. 289—296; т. XXIII, № 43, стр. 257—276 и № 44, стр. 321—330).

Роман, описывающий быт и нравы духовенства, произвол помещика XVIII в. Пенина, проникнутый протестом против крепостного права задолго до „Записок охотника", не мог выйти в свет по цензурным условиям: тому препятствовала светская власть и, особенно, духовная.

В дневнике цензора А. В. Никитенко мы читаем следующую запись от 11 января 1842 года: „Был у графа Виельгорского. Он просил меня о романе Миклашевичевой: нельзя-ли пропустить? Нельзя. Много действующих лиц из духовных, есть на сцене архиерей, разбойник-помещик, плут-губернатор и пр. Но главное препятствие в духовных лицах.

Граф сообщил мне, что государь ему недавно говорил с негодованием о враждебном направлении нашей литературы, о нападках на высшие классы". [1]

В 1843 году была сделана новая попытка издать роман, на этот раз обходным путем, но и она потерпела неудачу. В том же дневнике Никитенко, от 16 марта 1843 года, мы читаем: „...поехал в заседание Цензурного комитета, там Бурачек, издатель „Маяка", „христианин, православный и патриот", пойман в плутовстве. Он хотел перепечатать в своем журнале запрещенный роман Миклашевичевой: уличили и не дозволили ему этого". [2]

Появился роман в свет полностью лишь в 1864—1865 году, когда, с освобождением крестьян, его животрепещущая тема перестала быть, с одной стороны, такой одиозной, с другой — такой насущной и жгучей.

Он был напечатан может быть только потому, что когда-то ему было уделено много внимания со стороны трех крупнейших наших писателей: Грибоедова, „именем дружбы" убеждавшего Варвару Семеновну окончить его, Пушкина, так заинтересовавшегося им, что он хотел написать эпиграфы к его главам (написанные впоследствии Жандром [3], и, наконец, Жуковского, вернувшего Миклашевич неоконченную рукопись, найденную им в бумагах Пушкина после его смерти, и выразившего автору желание — видеть роман напечатанным.

Этот интерес главных корифеев нашей литературы, на который указал в предисловии к роману Н. И. Греч, при появлении

---

[1] „Записки и дневник А. В. Никитенко", П., 1893, т. I, стр. 425.

[2] Там же, стр. 447.

[3] См. „Ист. вестн.", 1900 г., июль, стр. 195. В „Современнике" за 1836 г., т. III, стр. 320, напечатан отзыв о романе, прочитанном Пушкиным по рукописи (см. соч. Пушкина, изд. Акад. Наук, т. IX, полутом I, стр. 376 и т. д., полутом II, стр. 828—830).

его в 1865 году, вызвал ряд подробнейших рецензий о нем, не всегда, однако, благосклонных. [1]

Роман, не получив широкого распространения, был забыт до 1908 года, когда был переиздан вместе со статьей И. Данилова „Забытая писательница", помещенной первоначально в июльской книге „Ист. вестн." за 1900 год. Но и тут ему не посчастливилось: он прошел почти незамеченным, не войдя в широкий литературный обиход.

Говоря о „Селе Михайловском или помещике XVIII в.", следует отметить, что, по свидетельству Жандра, автор его изобразил в лице героев Ильменева и Заринского — декабристов Рылеева и А. И. Одоевского, а в лице губернатора Рузина — Грибоедова. По словам Жандра, „характер, речь, даже наружность последних совершенно сходны с оригиналами". [2]

Мы не вдаемся здесь в рассмотрение этого вопроса, который мог бы послужить темой для специального исследования, но не можем не отметить, что при чтении романа в условно-романтических типах Ильменева и Заринского, в женоподобном эпикурейце Рузине нам трудно найти теперь реальные черты указанных декабристов и автора „Горе от ума".

Зато несомненную ценность представляет для нас теперь изображенный в романе духовный и материальный быт XVIII в., начиная от страшных картин помещичьего произвола до подробностей убранства дворянских домов и одежды того времени, включительно до костюма шута, самое существование которого стало давно уже пережитком.

Рассматривая роман с этой точки зрения, мы можем пожалеть сейчас только о том, что автор его избрал для своего творчества художественно-беллетристическую форму, а не мемуарную, в которой он мог бы свободнее и шире захватить быт нашего прошлого, да и портреты декабристов и Грибоедова, не стесненные фабулой романа, могли бы ближе стать к исторической действительности.

„Село Михайловское, или помещик XVIII в." не было единственным произведением Миклашевич: у проф. Е. Боброва была в руках рукопись начатого ею другого романа „Село Бархатное", оставшегося не напечатанным и, по предположению Боброва, не законченным автором. [3]

---

[1] См. „Русск. инв.", 1865 г., № 62; газета „Голос", 1865 г., № 78. „Книжный вестник" за 1865 г. (от 15 янв., № 1, стр. 6, и от 28 февр., № 4, стр. 77).

[2] „Ист. вестн.", 1900 г., июль, стр. 198.

[3] Сборн. Уч.-лит. о-ва при имп. Юрьевском Унив., 1908 г. т. XIII, стр. 101.

Миклашевич известна, кроме того, как „отличная переводчица" с французского. [1] Ею переведена была для театра: комедия в одном действии „Спальня, или полчаса из жизни герцога Ришелье" и „Завещание, или кто кого перехитрил", комедия в одном действии Мариво и Лесажа. [2]

Сохранившиеся отзывы современников о личности В. С. говорят нам, что она была женщина исключительного ума, одаренности и оригинальности, граничащей с эксцентричностью.

Самую раннюю ее характеристику мы находим в воспоминаниях поэта кн. И. М. Долгорукого, известных под заглавием „Капище моего сердца", данную им В. С. с тем специфическим оттенком, который был свойственен вообще Долгорукому. Он пишет о ней следующее:

„Варвара Семеновна, жена магистратского прокурора в Пензе, с которой я, будучи там в службе, свел приятное знакомство. Она была барыня молодая, умная и достойная, но увлекалась часто романическими восторгами и от того много дурачеств в свой век наделала; она была не хороша и потому мало считала волокит за собою; от этой самой причины и я не попал в число их. Во время моих несчастных тамошних приключений, о которых говориться будет под другими именами, она самым благородным образом поступила и обязала меня чистейшей благодарностью. Я оставался один в городе, угнетен и презрен всеми, потому что губернатор со мной был в ссоре, жены моей не было со мною: она ездила в Москву родить. Ни одна дама не приехала бы навестить меня, чтобы не сделаться предметом недостойной молвы. Одна Варвара Семеновна все это презрела и зная, что в моем положении, сообщество мне нужнее было, чем когда-нибудь, всякий вечер приезжала ко мне сидеть и беседой своей, весьма приятной, рассеивала мрачные мысли, коими я был до крайности расстроен в духе. Мало, конечно, людей, способных сделать из чистого побуждения благородного свойства подобное пожертвование; память тех дней привязала меня к ней навсегда: я ее видал и после в Петербурге, в Москве, и в разных положениях, то счастливу, то злополучну, всегда принимал в ней участие искреннее и пользовался ее ко мне доверенностью. Несчастная! Она имела одного сына, взростила его,

[1] См. „Р. вестн.", 1881 г., № 4, стр. 578. Восп. А. М. Каратыгиной.

[2] См. „Биографический словарь русских писательниц" кн. Н. Н. Голицына. П., 1889 г., стр. 175. Составитель „Словаря русских писательниц" Голицын именует Лесажа, очевидно по ошибке, Ле-Леж.

лишилась его, не могла жить для мужа, который ее не стоил, и потеряла совершенно рассудок". [1]

К числу эксцентричностей, или, как говорит Долгорукий, „дурачеств" В. С-ны, следует, очевидно, отнести и попытку ее свести знакомство с упомянутым уже выше А. С. Меньшиковым.

„Эта Варвара Семеновна неглупая, но безумная женщина,— читаем мы в Щукинском сборнике. [2] — Она сочинила какой-то роман, но не печатает его, а будучи влюблена в ум Меньшикова, добивалась только, чтобы Меньшиков с нею познакомился, заговорил, прочитал ее сочинение, и только — все ее самолюбие ограничивалось тем, чтобы князь признал в ней необыкновенную женщину и также умную. Для этого она изыскивала все средства встретиться с ним. Он начал по утрам ходить по Английской набережной, и Варвара Семеновна всегда тут как тут навстречу, с явным желанием вступить в разговор; он решился гулять даже часов в 5 утра, но и тут Варвара Семеновна навстречу: завидев ее издали, князь спустился с набережной, по Неве, на Васильевский остров и гулял там. (Это было весной, еще лед стоял. В это-то время он сказал: „право, славно жить на острову, там не церемонятся, все флотские офицеры ходят в фуражках"). Во время упомянутого пребывания его в Старой Руссе, Варвара Семеновна тоже была там. И. Белянин говорил, что она нарочно и поехала туда, чтобы сойтись там с князем. Раз Белянина обогнали дрожки с 2-мя дамами, он не успел увидеть их в лицо; оне проехали прямо во двор того дворца, где жил Меньшиков в сад, принадлежащий ко дворцу и служащий вместо общественного. Когда Белянин вошел тоже на двор, то увидел князя, высовывающего голову из одного окна и делающего ему разные знаки. Он их не понял и пошел к нему. Князь сказал: „разве ты не знаешь, кто это?" — Нет-с! — „Это Варвара Семеновна с воспитанницей". И рассказал, как она его преследует, и как он, боясь ее, избегает встречи. В другой раз князь ездил для прогулки верхом, но вдруг поворотил и поскакал в другую сторону. На вопрос Белянина об этом он сказал: „разве ты не видел, что Варвара Семеновна ехала навстречу на дрожках. О, я ее узнаю издалека по вуалю". Таким образом, все старания Варвары Семеновны оставались тщетными, но она надеялась ехать обратно вместе с князем на пароходе. Князь, предвидя это, велел Белянину распустить

[1] М., 1874 г., стр. 105 — 106.
[2] Вып. IV, М., 1905 г., стр. 250 — 251.

слух, что он именно на пароходе поедет, назначил день и час и весь свой багаж отправил туда же, так что и командир парохода думал, что князь поедет. Варвара Семеновна с воспитанницей была уже на пароходе и, по словам командира, ждала князя. Белянин приехал, частью с вещами князя, погрузил их на пароход, и когда все уже было готово, и только одного князя лично не было, Белянин передал приказание князя поднять якорь и отваливать, не говоря никому ни слова и не спуская никого с парохода. Варвара Семеновна была в отчаянии, но было уже поздно. А князь поехал берегом обратно в Петербург".

По словам Н. И. Греча, Варвара Семеновна была „женщина необыкновенная, твердого, проницательного ума, нежного сердца и редких дарований"... „Одаренная твердою памятью, пылким воображением и необыкновенным даром слова, она рассказывала в тесном дружеском кругу виденное и испытанное ею, увлекая всех слушавших ее и содержанием описываемого ею, и верностью и живостью рассказа".[1]

К тесному дружескому кругу Жандра и Варв. С-ны примыкали: Каратыгины, А. А. Шаховской, П. А. Катенин, А. И. Одоевский, „примазавшийся" к ним, по выражению проф. Боброва, Ф. В. Булгарин и, наконец, Грибоедов, „любивший и уважавший Варвару Семеновну, по словам того же Греча, как родную мать".

Но и за пределами этого тесного круга В. С. пользовалась вниманием и уважением; она была оценена даже щепетильным петербургским обществом, которое, несмотря на ее необычные отношения с Жандром, по словам Кропотова, „уважило" их „необыкновенную связь".

Таковою представляется нам по воспоминаниям современников Миклашевич, вызвавшая в Грибоедове чувство глубокой и неизменной дружбы, в чем лишний раз убеждает нас и печатаемое письмо.

О последнем адресате Грибоедова — Степане Ларионовиче Алексееве — мы знаем очень мало.

Из „Алфавита декабристов" мы узнаем, что он имел чин „отставного коллежского советника. Взят был по показанию Матвея Муравьева-Апостола" . . . „принадлежал к масон-

---

[1] См. предисловие к роману „Село Михайловское, или помещик XVIII в.", СПБ., 1865 г., стр. 1.

ской ложе, в Полтаве Новиковым учрежденной и служившей рассадником для Тайного общества.[1] Но по изысканию Комиссии оказалось, что он к тайному обществу не принадлежал и о существовании оного не знал. Сам он показал, что в 1818 г., видя, что вся молодежь стремится участвовать в масонской ложе, и имея двух сыновей, хотел узнать, в чем заключаются тайны масонские, дабы, смотря по качеству оных, позволить или запретить им вступление в ложу; для сего просился и был в нее принят. Но ложа сия в 1819 г. по высочайшему повелению закрылась и с тех пор он ничего не слыхал".

В Петербург Алексеев был привезен на три дня раньше Грибоедова, 8 февраля, и освобожден 21 февраля. Некоторые несущественные, впрочем, подробности ареста Алексеева читатель найдет в книге И. Ф. Павловского: „К истории Малороссии во время ген.-губернаторства кн. Н. Г. Репнина".[2] Из нее же мы узнаем, что с 26 сентября 1826 — 1829 г. Алексеев был Хорольским предводителем дворянства.

По словам племянника Грибоедова, Д. А. Смирнова — а последний говорит со слов А. А. Жандра — Алексеев оказал Грибоедову большую услугу, а именно: освобожденный раньше Грибоедова, он передал Жандру пакет с бумагами, взятый у А. С. при аресте на Кавказе. Вот как передает Смирнов рассказ Жандра об этом эпизоде:

„Слух об аресте Грибоедова распространился. Через несколько дней после этого ко мне является один, вовсе мне до того времени незнакомый человек, некто Михаил Семенович Алексеев,[3] черниговский дворянин, приносит мне поклон от Грибоедова, с которым сидел вместе в главном штабе, и пакет бумаг, приехавших из Грозной. Как же все это случилось? Грибоедов, когда его привезли, успел какими-то судьбами сейчас же познакомиться с Алексеевым, который сказал ему, что его в самом скором времени выпустят, потому что он взят по ошибке, вместо родного брата своего Екатеринославского предводителя.[4] Грибоедов воспользовался этим обстоя-

[1] Ложа эта называлась „Любовь к истине".

[2] (По архивным данным); оттиск из первого вып. „Трудов Полтавской уч. арх. комиссии", Полтава, 1905 г., стр. 28.

[3] Теперь очевидно, что Жандр ошибся в имени Алексеева, спутав его быть может, с Семеном Михайловичем Кочубеем, также членом Новиковской ложи, арестованным и привезенным в Петербург одновременно с Алексеевым. (О Кочубее см. кн.: И. Ф. Павловский — „К истории Малороссии во время ген.-губ. кн. Н. Г. Репнина", Полтава, 1905 г.).

[4] Алексеев Дмитрий Ларионович, ст. сов., екатериносл. губернский предводитель. О нем см. „Алфавит декабристов".

тельством: в пять минут очаровал Алексеева совершенно, передал ему пакет, сказал мой адрес и просил доставить этот пакет ко мне. Алексеев все исполнил свято"... „Этот добрый и славный человек Алексеев бывал у меня и после несколько раз, передавая же мне пакет, он вместе с тем передал мне приказание Грибоедова сжечь бумагу. Однако же, я на это не решился, а только постарался запрятать этот пакет так, чтобы до него добраться было невозможно, — я зашил его в перину. Когда Грибоедова выпустили, мы пакет достали и рассмотрели бумаги; в нем не оказалось ничего важного, кроме нескольких писем Кюхельбекера". [1]

Каким образом пакет, взятый у Грибоедова при аресте, мог оказаться снова у него в руках, объясняет Степан Никитич Бегичев, ближайший друг А. С., следующим образом:

„Курьер сдал и самого Грибоедова и пакет караульному офицеру. Этот офицер был некто Сенявин — сын знаменитого адмирала — честный, благородный, славный малый. [2] Принявши пакет, он положил его на стол, вероятно, в караульной комнате, в которой на ту пору мог находиться и Алексеев, как человек, уже свободный от всякого подозрения. Сенявин не мог не видать, как Грибоедов подошел к столу, преспокойно взял пакет, как будто дело сделал, и отошел прочь. Он не сказал ни слова: так сильно было имя Грибоедова и участие к нему". [3]

Изъятие пакета при таких условиях было, очевидно, двойной удачей Грибоедова. Обязанный Алексееву, А. С. не забыл вспомнить об его услуге в письме к нему по выходе из заключения: „... друг мой любезный и благородный, верь, что я по гроб буду помнить твою заботливость обо мне" (см. письмо 4),—писал он Алексееву.

Существует не мало рассказов, подобно только что приведенному, как легко и удачно, почти анекдотически, складывалось сидение Грибоедова под арестом благодаря известности его комедии и личному обаянию. Как из штаба, в котором Грибоедов был заключен, он уходил поздно вечером к Жандру и Варваре Семеновне, со штыком в руках, и на вопрос Жандра: откуда взял штык, отвечал: „Да у своего часового". — „Как у часового?" — „Так, у часового". — „По крайней мере, зачем?" —

[1] „Ист. вестн.", 1909 г., № 3, стр. 1052 — 1053.

[2] Очевидно, здесь ошибка: Синявин (Сенявин) Николай Дмитриевич был арестован 2/III 1826 г., освобожден 15/VI 1826 г. (см. „Алфавит декабристов"). Заключен был, как и Грибоедов, в главном штабе.

[3] „Ист. вестн.", 1909 г., № 3, стр. 1053.

„Да вот пойду от тебя ужо ночью, так оно, знаешь, лучше, безопасней". — „Да как же тебе часовой-то дал?" — „Вот еще. Да если бы я им велел бежать с собой, так они бежали бы... Все меня любят",—добавлял Грибоедов.[1] Или как он в сопровождении дежурного офицера Жуковского, любителя музыки, ходил в отдельный кабинет кондитерской Лоредо, что была на Невском проспекте, играть на пианино... [2]

Письмо Грибоедова к Алексееву свидетельствует об иных минутах и часах, проведенных А. С. в заключении: тревожных и полных неизвестности.

„Почтеннейший друг и тюремный товарищ, Степан Ларионович. Мы когда-то вместе молились усердно нашему создателю и в заключении в чистой вере находили себе неотъемлимую отраду. Теперь одни в вашем семействе за меня помолитесь, поблагодарите бога за мое освобождение и еще за многое" (см. письмо 4),—писал А. С. Алексееву.

В этом отношении письмо Грибоедова к Алексееву может быть поставлено на ряду с письмом его к другому товарищу по заключению, но больше его пострадавшему, Александру Александровичу Добринскому, [3] за которого он впоследствии ходатайствовал перед А. П. Ермоловым.

„Дорогой друг, будьте уверены, что Вы имеете во мне человека, готового горячо служить тем, к кому он привязан,— пишет ему А. С. — Ваше несчастье, столь мало заслуженное, наше совместное пребывание в скорбном заключении, плачевное состояние, в котором вы меня там нашли,[4] наконец столько других оснований всегда в моих мыслях,— все это слишком важно, чтобы я мог когда-нибудь вас забыть"... „Не унывайте в кратковременной беде. У Мишеля Грекова много книг, читайте и размышляйте и благоразумным распределением вашего досуга готовьтесь к важному служению отечеству. Когда характер достойного человека попадает в горнило жесточайших испытаний, это только к лучшему. Так говорит человек, который знает это по собственному опыту". [5]

---

[1] „Ист. вестн.", стр. 1055.

[2] Н. К. Пиксанов—„Биограф. очерк Грибоедова" (см. полн. собр. соч., изд. Ак. Наук, т. I, стр. LXVII).

[3] А. А. Добринский — поручик л.-гв. Финляндского полка, тем же чином переведен в Кавказский корпус. О нем см. статью Н. К. Пиксанова: „К характеристике Грибоедова" („Русск. ведомости", 15 ноября 1911 г., № 263).

[4] Курсив наш.

[5] От 9/XI [1826]. Полн. собр. соч. Грибоедова, изд. Ак. Наук, т. III, стр. 340, перев. с фр.

Отметим еще один момент в письме Грибоедова к Алексееву: „...Поблагодарите бога за мое освобождение и еще за многое“,—пишет он ему. Что значит это „многое“?

Эта таинственная недомолвка заставляет предполагать в ней скрытый смысл. Разгадка этого тайного смысла напрашивается сама собой. Грибоедов благодарил, очевидно, судьбу за то счастливое и благоприятное стечение обстоятельств, при котором он избег более суровой участи, которая могла бы его постигнуть.

Степень участия или неучастия Грибоедова в тайном обществе остается для нас все еще невыясненной. [1]

Содержание письма Грибоедова к Алексееву подтверждает до некоторой степени точку зрения П. Е. Щеголева, склонного думать, что Грибоедова спасла не его непричастность к тайному обществу, а лишь его необычайно светлый ум и самообладание при допросах. [2]

Пережитое в связи с арестом и сидением в заключении нашло отражение в творчестве Грибоедова, в стихотворении „Освобожденный“:

Луг шелковый, мирный лес!
Сквозь колеблемые своды
Ясная лазурь небес!
Тихо плещущие воды!

Мне ль возвращены назад
Все очарованья ваши?
Снова ль черпаю из чаши
Нескудеющих отрад?

Будто сладостно-душистый
В воздух пролилась струя;
Снова упиваюсь я
Вольностью и негой чистой.

Но где друг?.. но я один!..
Но давно ль, как привиденье,
Предстоял очам моим
Вестник зла? Я мчался с ним

В дальний край на заточенье.
Окрест дикие места,
Снег пушился под ногами.
Горем скованы уста,
Руки тяжкими цепями.

Последний стих следует принимать за поэтический вымысел.

---

[1] Н. Н. Муравьев в своих воспоминаниях пишет, что Грибоедов „был взят по делу заговорщиков“... „в чем он, кажется, имел участие“ („Р. арх.“, 1893 г., № 11, стр. 362).

[2] См. П. Е. Щеголев—„Грибоедов и декабристы“. П., 1905 г., стр. 30—31.

Письма А. С. Грибоедова

1

[Николаю Николаевичу Муравьеву]

Тифлис, 26 янв. 1823 г.

Рукою Муравьева написано: „Пол. 28 генваря".

Милостивый государь, Николай Николаевич.

Я уже укладываюсь. Фортепиано к вашим услугам. Назначьте мне, кому должен буду сдать их с рук на руки: тогда бы без дальних отлагательств мог я запечатать свою квартиру и отправиться.

Прощайте, командуйте щастливо, наигрывайте шумные каденцы, пользуйтесь благорастворением климата и не забывайте

Вам преданного

А. Грибоедова.

Николай Николаевич Муравьев (Карский) род. в 1794 г., умер в 1866 г.; в момент письма Грибоедова — полковник Кавказского корпуса; впоследствии генерал, член Государственного совета, наместник Кавказа. Женат первым браком на Софии Федоровне Ахвердовой (род. в 1810 г., умерла в 1830 г.); вторым браком — на гр. Наталье Григорьевне Чернышевой (умерла в 1866 г.). Оставил после себя: „Записки", напечатанные в „Р. арх." за 1886—1894 гг., „Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 гг." (М., 1822 г., перев. на фр., англ. и нем. яз.) и друг.

О Муравьеве см.: Д. А. Кропотов — „Жизнь графа М. Н. Муравьева", СПБ., 1874 г., стр. 24 — 27; „Николай Николаевич Муравьев. Из восп. гр. Д. Е. Остен-Сакена" („Р. ст.", 1874 г., ноябрь, стр. 535); ст. А. П. Берже — „Н. Н. Муравьев во время наместничества на Кавказе 1854 — 1856 г." („Р. ст.", 1873 г., октябрь, стр. 599) и др.

Каденция или *каданс* (итал. cadenza) — остановка или заключение — термин, применяемый в музыке для конца музыкальной мысли, построенной на определенных ритмических и гармонических правилах.

2

Его Высокоблагородию М. Г. Николаю Николаевичу Муравьеву, 1-го Карабагского полка г. Полковнику.

Рукою Муравьева написано: „Пол. 18 февр."

Милостивый Государь, Николай Николаевич.

Фортепиано уложено как можно бережливее и снесено в назначенный вами дом к К. Бебутову, от которого деньги две тысячи сто рублей ассигнациями мною сполна получены. Поступаю с вами немножко по-жидовски, причитаю сто рублей за ящик, столько много самим заплачено. Впрочем,

судя по готовности, с которою вы предлагали мне взять на ваш щет перевозку нового для меня инструмента из Петербурга, я полагаю, что не примите к сердцу этой малозначущей прибавки. Я же с моей стороны должен радоваться, что досталось фортепиано отлично хорошее человеку с талантом музыкальным и любителю искус[ст]ва, который будет знать им цену и вспомянет иногда обо мне с признательностью.

Прощайте на долго

Ваш усерднейший

А. Грибоедов.

16-го февр. [1823 г.]

P. S. Сукно, которым я обложил внутренность ящика, снято мною с полу комнатного, вы пожалуйте прикажите возвратить его на мою квартиру; г. Бебутов знает, кому именно.

Да лучше и премудрее вы поступите, естли выпишите к себе в Башкечет того же мастера, немецкого человека, для установки инструмента, который здесь мне его разобрал и в гроб положил. И его Бебутов вам на лице представит.

Князь *Григорий Бебутов* — посредник между Грибоедовым и Н. Н. Муравьевым при покупке последним фортепиано у А. С., купленного Грибоедовым в свою очередь когда-то у Муравьева (см. „Р. ст.“, 1874 г., т. XI, стр. 289). В архиве Муравьева (см. в собр. Госуд. истор. музея, арх. № 416) сохранились письма Гр. Бебутова к нему по этому поводу. О Грибоедове-музыканте см. статью проф. С. К. Булич (полн. собр. соч. Грибоедова, изд. Ак. Наук, СПБ., 1911 г., т. I). О музыкальных способностях и занятиях Муравьева см. записки Э. В. Бриммера („Кавказский сб.“, т. XV, стр. 132—133) и собственные его записки („Р. арх.“, 1886 г., № 11, стр. 303, и „Р. арх.“, 1888 г., № 10, стр. 194).

Башкечет — селение Эриванской губ.

„*Гробом*“ Грибоедов называет ящик для упаковки пианино. Употребление этого странного для данного случая слова объясняется следующими словами Грибоедова из письма к П. Н. Ермолову от того же времени: „Сегодня я даже упаковал в ящик свое пианино, проданное Муравьеву; можно было подумать, что я клал в гроб друга, до такой степени у меня сжималось сердце“ (см. книгу О. И. Поповой, „А. С. Грибоедов в Персии. 1818 — 1823 гг.“ М., 1929 г., стр. 85).

3

Варваре Семеновне [Миклашевич]

Андрею Андреевичу Жандру.

в военно-счетной экспедиции между Синим и Поцелуевым мостом в доме Эгермана.

[2 июня 1826 г., Петербург].

Милый друг Варвара Семеновна. Я знаю, коли вам не написать, так вы будете ужасно беспокоиться. Дело вот в чем:

я не могу сна одолеть, так и клонит, сил нет домой воротиться, велел себе постель слать, между тем хозяйничаю, чай пью, все это у Булгарина, которого самого дома нет. Скажу вам о государе мое простодушное мнение, он во-первых, был необыкновенно с нами умен и милостив, ловок до чрезвычайности, а говорит так мастерски, как я кроме А. П. Ермолова еще никого не слыхивал. Нас представили в 3-м часу на Елагином Острову оттудова Муравьев, который меня и туда привез в своей карете (Университетский мой товарищ, не видавшийся со мной уже 16 лет) завез к Жуковской матери на Крестовой, где я и обедал.

Прощайте, пишу и сплю.

Извощику прикажите дать 2 руб. 60 копеек + 20 коп. на водку.

Андрей Андреевич Жандр (1789 — 1873) — писатель, переводчик, директор департамента в морском министерстве, сенатор. Был ближайшим другом Грибоедова, которому последний оставил список „Горе от ума" с собственноручными поправками, известный в литературе под названием „Жандровская рукопись". Женат был на Прасковье Петровне Порецкой.

Письмо, адресованное Жандру, в тексте своем относится к Варваре Семеновне Миклашевич, сведения о которой см. в предисловии к печатаемым письмам.

Фадей Венедиктович Булгарин (1789—1859),— глава известного литературного триумвирата (Булгарин, Греч, Сенковский), издатель „Сев. пчелы", автор „Ивана Выжигина" (1829) и др. сочинений, стяжал себе печальную известность как полуофициальный осведомитель жандармского ведомства по вопросам печати.

Освобожденный Грибоедов поселился на даче у Булгарина. О близости Грибоедова с Булгариным В. Н. Григорьев говорит так: „В 1826 году летом я случайно познакомился в Петербурге с Грибоедовым, автором известной комедии „Горе от ума". Я встретил его на даче у Булгарина, к которому иногда хаживал по литературным делам вследствие его же приглашения. Грибоедов служил тогда в Грузии при Ермолове и привезен был в Петербург по подозрению, что будто бы участвовал в заговоре 14 декабря 1825 года, но как подозрение это не оправдалось по следствию и по сделанному им [ему?] личному допросу, то он и выпущен был на волю и от нечего делать поселился на время у Булгарина, который нанимал тогда каждое лето, вместо дачи, деревянный дом с садом на Выборгской стороне, на самом берегу Малой Невки, почти супротив Аптекарского сада. Грибоедов принял приглашение Булгарина потому, что обязан ему за разные услуги: живя в Грузии, он делал Булгарину поручения и таким образом считал себя с ним связанным, хотя по образу мыслей и по взгляду на вещи и дела они во многом расходились друг с другом" (см. ст. Н. К. Пиксанова, „Русские писатели в неизданных воспоминаниях В. Н. Григорьева". „Современник", 1925 г., № 1, стр. 134 — 135).

Жандр говорит, что „у Булгарина была к Грибоедову привязанность собаки к хозяину" (см. „Ист. вестн.", 1909 г., № 3, стр. 1056) и что он, несмотря на всю свою трусость, приносил заключенному в штабе Грибоедову книги по его просьбе. Рассказ Жандра подтверждается следующими словами

из письма Грибоедова к Булгарину от марта 1826 г.: „Да не будь трус, напиши мне, я записку твою сожгу"... (см. т. III полн. собр. соч., изд. Ак. Наук, стр. 192). Сам Булгарин в статье „Как люди дружатся" („Сев. Пчела", 1837 г., № 47) рассказал, что его сблизил с Грибоедовым его, Булгарина, собственный гуманный поступок: живя в Варшаве, он приютил у себя умирающего юношу Генисс, которого Грибоедов знал по полку.

Алексей Петрович Ермолов (1777 — 1861) — главнокомандующий Кавказа, под начальством которого служил Грибоедов. В письме к С. И. Мазаровичу от 12 октября [1818] Грибоедов под впечатлением знакомства с Ермоловым пишет: „Было бы действительно безрассудно с моей стороны считать, что я мог оценить по справедливости его достоинства в те два раза, что я его видел, но есть такие качества в незаурядном человеке, которые обнаруживаются с первого раза и как раз в вещах на вид мало значительных: в особенной манере смотреть, судить обо всем тонко и изящно, но не поверхностно, а всегда оставаясь выше предмета, о котором идет речь; нужно сознаться также, что говорит он превосходно, отчего в разговоре с ним я должен бываю прикусить язык при всей своей самолюбивой самоуверенности" (О. И. Попова, „А. С. Грибоедов в Персии". 1818—1823. М., 1929 г., стр. 42).

Николай I (1796 — 1855), принимая непосредственное участие в следствии по делу декабристов, проявил при допросах не только неистощимую энергию, но и способности актера, применяясь к индивидуальности каждого из арестованных: он был то мягок, то суров и гневен, то преисполнен великодушия, то, казалось, разделял свободолюбивые замыслы допрашиваемого. Эту „ловкость до чрезвычайности" с большой проницательностью отмечает в своем письме и Грибоедов.

Елагин остров, прежде называемый Мишин, при Екатерине II принадлежал гофмейстеру И. П. Елагину; в 1817 году он был куплен Александром I для имп. Марии Федоровны, и на нем в 20-х годах архитектором Росси был выстроен дворец, который служил одной из летних резиденций Николая I; в этом дворце, очевидно, и был принят Грибоедов.

Михаил Николаевич Муравьев (1796 — 1866), — воспитанник Московского университета, инициатор Моск. о-ва математиков, из которого впоследствии образовалось известное учебное заведение для Колоновожатых, во главе которого стал Ник. Ник. Муравьев — отец Мих. Ник.

Известный впоследствии как один из реакционных деятелей, в качестве виленского ген.-губернатора жестоко подавлявший польское восстание 1863 года, М. Н. Муравьев в начале своей жизни проявил себя как либерал: был членом Союза спасения, Союза благоденствия. Арестованный после восстания 14 декабря, он, как и Грибоедов, был освобожден 2 июня 1826 года, так как от участия в Союзе благоденствия еще в 1821 году уклонился. В показаниях на допросах был сдержан, осторожен, полон самообладания, но в письмах своих из заключения к Николаю I и Бенкендорфу проявил чрезвычайное раболепие и низкопоклонство (см. П. Е. Щеголев—„Декабристы", изд. „Былое", П., 1920 г., статья: „Гр. М. Н. Муравьев-заговорщик"). О нем см. также книгу Д. А. Кропотова—„Жизнь гр. М. Н. Муравьева", П., 1874 г., ценную по фактическому содержанию, но написанную тенденциозно и в верноподданническом духе.

Кропотов полагает, что Муравьев оставил университет в первой половине 1811 г. (см. стр. 51), Грибоедов же лишь в 1812 году и то только потому, что война 1812 года увлекла его на военную службу. В 1808 году Грибоедов окончил философский факультет, в 1810 году — юридический и только

1812 год помешал получить ему диплом и по физико-математическому факультету, слушателем которого он состоял. К научной работе Грибоедов уже более не вернулся.

Жуковский матери — вероятно, мать того офицера Жуковского, под непосредственным и снисходительным надзором которого находился Грибоедов. Личность Жуковского, по запискам Грибоедова (в одной из них он писал Булгарину: „Жуковский просил меня достать ему точно такое же народное издание Крылова, как то, которое ты мне прислал. Купи у Слёнина. Vous entendez bien, que je ne peux pas lui refuser un petit présent de ce genre". См. полн. собр. соч. Грибоедова, т. III, стр. 193) и рассказу декабриста Д. И. Завалишина, что Жуковский выкрал за 10 тыс. рублей бумаги, компрометирующие полковника Любимова, рисуется нам не бескорыстной. По выходе из заключения Грибоедов, очевидно, счел себя обязанным посетить мать Жуковского. О Жуковском см.: П. Е. Щеголев — „А. С. Грибоедов и декабристы", П., 1905, стр. 28.

4

Степану Ларионовичу [Алексееву]

С.-Петербург, 3-го июня [1826 г.]

Почтеннейший друг и тюремный товарищ, Степан Ларионович. Мы когда-то вместе молились усердно нашему создателю и в заключении в чистой вере находили себе неотъемлимую отраду. Теперь одни в вашем семействе за меня помолитесь, поблагодарите бога за мое освобождение и еще за многое; 2-го числа нынешнего месяца я выпущен, завтра или на-днях получу отправление. Податель этого письма мне искренний приятель, Александр Алексеевич Муханов, он знает подробно все, что обо мне знать можно. Сделай одолжение, почтеннейший друг, полюби его, а мне бы очень хотелось быть на его месте и перенестись в Хороль, мы бы многое вспомнили вместе, теперь я в таком волнении, что ничего порядочно не умею ни сказать, ни написать. В краткости толку мало, а распространяться некогда. Надеюсь, что я уже ознакомлен в почтенном твоем семействе, верно они примут во мне участие, друг любезнейший и благородный, верь, что я по гроб буду помнить твою заботливость обо мне, сам я одушевлен одною заботою, тебе она известна, я к судьбе нещастного О... не охладел в долговременном заточении и чувствую, надеюсь и верую, что бог мне будет помощник.

Прощай, милый, бесценный Степан Ларионович, засвидетельствуй мое искреннее почтение твоей супруге, она извинит мне это короткое обхождение без чинов, с нами не чинились в штабе, так и мы поступаем. Коли удостоишь меня письмом,

то в Москву под Новинским в собственный дом. С горячностью обнимаю тебя. Это письмо первое, но не последнее.

Искренний друг душою преданный *А. Грибоедов.*

Степан Ларионович Алексеев — о нем см. в введении к письмам.

Письмом к Алексееву впервые точно устанавливается *день освобождения Грибоедова.* В работе П. Е. Щеголева—„А. С. Грибоедов и декабристы" (СПБ., 1905, стр. 45) и в биографической канве Грибоедова к III тому полн. собр. соч. Грибоедова (П., 1917 г., изд. Ак. Наук, стр. 372) день освобождения А. С. помечен 4 июня.

Я выпущен... Вернулся Грибоедов в Тифлис лишь 3 сентября 1826 г., несмотря на отношение от 3 июня 1826 г. за № 762 военного министра к Ермолову, в котором последний извещался, что Грибоедов „по повелению его имп. вел. освобожден из-под ареста с выдачею аттестата, свидетельствующего о его невинности, и на обратное следование к своему месту снабжен прогонными и на путевые издержки деньгами" (см. П. Е. Щеголев—„А. С. Грибоедов и декабристы", П., 1905 г., стр. 45).

Александр Алексеевич Муханов (1800 — 1834), адъютант известного А. А. Закревского (с 11/X 1823 г.) и адъютант главнокомандующего 2-й армией гр. П. Х. Витгенштейна (с 13/V 1826 г.). Был близок к литературным кругам того времени. Из произведений его известны лишь замечания на книгу г-жи Сталь: „Les dix années d'exil", под заглавием: „Отрывки г-жи Сталь о Финляндии с замечаниями" („Сын отечества", 1825 г., кн. X, стр. 148 — 157), в ответ на которое Пушкин поместил заметку в „Моск. Телеграфе" (1825 г., № 12, июнь): „О г-же Сталь и г. А. М-ве".

Факт, что письмо Грибоедова к Алексееву обнаружилось в архиве семьи Мухановых, заставляет думать, что: 1) или письмо А. С. совсем не дошло до Алексеева, 2) или было передано последним А. А. Муханову в виду упоминания о нем в письме и осталось в архиве последнего.

Хороль — уездный город Полтавской губ.

Нещастного О... Александр Иванович Одоевский (1803—1839), декабрист, поэт пушкинской поры; по смягчению первоначального приговора присужден к восьми годам каторжной работы. Грибоедов был привязан к Одоевскому, называя его „l'enfant de mon choix", и глубоко скорбел об его печальной судьбе. Известно его стихотворение, посвященное Одоевскому:

Я дружбу пел... Когда струнам касался,
Твой гений над главой моей парил,
В стихах моих, в душе тебя любил
И призывал, и о тебе терзался!..
О, мой творец! Едва расцветший век
Ужели ты безжалостно пресек?
Допустишь ли, чтобы его могила
Живого от любви моей сокрыла?..

Тщетно добивался Грибоедов перед Паскевичем, родственником которого Одоевский был, о переводе его из Сибири на Кавказ, где боевыми заслугами можно было улучшить свое положение: „Благодетель мой бесценный, — писал ему Грибоедов, — теперь без дальних предисловий просто бросаюсь к вам в ноги, и если бы с вами был вместе, сделал бы это и осыпал бы руки ваши слезами. Вспомните о ночи в Туркманчае перед моим

отъездом. Помогите, выручите несчастного Александра Одоевского" (см. т. III собр. соч., стр. 242). Одоевский переведен был на Кавказ рядовым после смерти Грибоедова в 1837 году. Он посвятил его памяти следующую элегию:

Где он? Где друг? Кого спросить?
Где дух? Где прах?.. В краю далеком!
О, дайте горьких слез потоком
Его могилу оросить,
Ее согреть моим дыханьем!
Я с ненасытимым страданьем
Вопьюсь очами в прах его,
Исполнюсь весь моей утратой
И горсть земли, с могилы взятой,
Прижму, как друга моего...

Об Одоевском см. статью Н. К. Пиксанова—„К характеристике Грибоедова. Поэт и ссыльные декабристы" („Русск. Вед.", 1911 г., № 263).

...В штабе. Грибоедов заключен был не в крепости, как большинство арестованных, а в Главном штабе.

Были ли еще письма Грибоедова к Алексееву, кроме печатаемого, неизвестно.

Записочки и письма декабристов к Я. Д. Казимирскому

Сообщил и комментировал *С. А.*

Издаваемые записочки и письма принадлежат виднейшим участникам декабрьского движения: А. И. Якубовичу, И. И. Горбачевскому, А. Н. Сутгову, Н. А. Бестужеву, Ф. Ф. Вадковскому, Арт. Зах. Муравьеву, И. И. Пущину, кн. С. Г. Волконскому, кн. С. П. Трубецкому и кн. Е. П. Оболенскому— и относятся частью к последним годам их пребывания на каторге в Петровском заводе, частью ко времени, когда они, отбыв каторгу, жили в Сибири уже в качестве поселенцев. К первой категории, судя по содержанию и характеру, относятся записочки под №№ 1 — 8; более поздними представляются письма под №№ 10 — 11; записочка же под № 9, принадлежащая кн. С. Г. Волконскому, не датированная, как и большинство других, только предположительно может быть отнесена ко второй группе.

Письма касаются различных мелочей повседневной жизни, сообщают некоторые подробности относительно времяпрепровождения декабристов, бытовой обстановки и условий существования их в Петровском заводе и на поселении, дают некоторые не лишенные интереса штрихи и для биографий отдельных декабристов.

Разнохарактерные по своему содержанию, записочки внешне и внутренне объединены уже тем, что все они адресованы к одному лицу. Лицо это— майор Яков Дмитриевич Казимирский, с 1838 года преемник Осипа Адамовича Лепарского в должности плац-майора Петровского острога. По свидетельству декабристов, он был человек „в полном смысле благородный и заслуживал всеобщую приязнь, несмотря на свой голубой мундир". Дружественная переписка с ним многих из декабристов, после того как они уже „вышли из-под его начала" и даже возвратились в Россию (см., напр., переписку князя Е. П. Оболенского, в „Русск. стар.", 1901 г., т. II), говорит также в его пользу. Особенным расположением Казимирского пользовались братья Николай и Михаил Александровичи Бестужевы, которые часто бывали у него в Петровске и продолжали с ним знакомство по выходе на поселение. По его усиленным просьбам, Н. А. Бестужев даже ездил (из Селингенска) для свидания с ним в Иркутск („Из воспоминаний М. А. Бестужева". „Русск. стар.", 1870 г., т. II). Конечно, дружественные отношения декабристов с их тюремщиком были возможны лишь на почве ощущаемого обеими сторонами классового (дворянство) и группового (офицерство) родства; печатаемые записки и интересны, между прочим, как яркое свидетельство этого родства.

Печатаемые письма приводятся по подлинникам из архива Яковлевых в рукописном отделении библиотеки Академии Наук.

1

Милостивый Государь, Яков Дмитриевич.

Благодарность в моих понятиях есть первое чувство и обязанность человека. Я столько получил такова сердечного внимания от добрейшего Осипа Адамовича, который в 11 лет умел соединять долг службы и человечества, что мне бы хотелось ему в последний раз и в хижине сказать: сколько я признателен к памяти покойного его дяди, и к нему Яков Дмитриевич! Обращаюсь к Вам с прозьбой испросить у г-на коменданта позволения зайти к Осипу Адамовичу сегодня на полчаса; твердо уверен, что Вы поймете вполне чувство бедного узника, и увидите в моем поступке не прихоть, но истинную потребность души.

Имею честь быть Вашим покорным слугою

Александр Якубович.

1838-го года 26 февраля.

На обороте письма: „Его Высокоблагородию, Милостивому Государю, Якову Дмитриевичу Казимирскому".

Осип Адамович Лепарский — родной племянник Нерчинского коменданта, пробыл 12 лет в Сибири, состоя плац-майором при своем дяде, после смерти которого временно, до назначения нового коменданта, замещал эту должность; впоследствии был комендантом в Смоленске и Шлиссельбурге; умер 4 апреля 1876 года („Русск. стар.", 1880 г., № 8).

Покойный дядя — Станислав Романович Лепарский (1759—1837), комендант Нерчинских рудников, Читинского и Петровского острога с 1826 по 1837 год; декабристы сохранили о нем хорошие воспоминания, как свидетельствуют их письма к его племяннику О. А. Лепарскому („Русск. стар., 1880 г., № 8; 1892 г., № 7 и др.)

Комендант — жандармский полковник Григорий Максимович Ребиндер, родственник декабриста Н. В. Басаргина, по смерти Лепарского присланный на его место. (Подробнее о нем см. „Декабристы". Материалы и статьи, изданные Пушкинск. Домом, М., 1925 г.)

2

Милостивый Государь, Яков Дмитриевич.

Наш хлебник Трофим получил сегодня приказание от у. о. Алексеева, что с завтрашнего дня он будет работать казенную работу. Яков Дмитриевич, посудите сами, возможно ли это. Я Вас покорнейше прошу вникнуть в его работу, и тогда Вы сами скажете, может ли он работать целый день на казенной работе, встать в три часа ночи, просеять несколько пудов

муки, испечь хлебы для артели, сварить квас, раздать и удовлетворить всех и каждого в продолжении дня, не смотря на мои еще особенные по кухне работы и посылки. Ежели Вам сказали, что он имеет время в продолжении дня работать казенную работу, это сказали несправедливо, — но положим и так, тогда могу ли я от него требовать хорошего хлеба и квасу для артели, — тем более, что я как хозяин этим человеком дорожу. Его трезвость, отчетливость, чистота в работе, тишина на кухне, а самое главное хлеб и квас делает он такие, какие мы редко имели. Я Вас прошу покорнейше не лишать нас этого человека и, ежели Вы не можете сами этого сделать, я Вас прошу мою просьбу передать г-ну коменданту и оставить этого человека, решительно для нас необходимого. Мне совестно пред Вами, беспокоя Вас беспрестанно моими просьбами, но сами посудите, в таком положении что мне делать. Моя обязанность, ежели Вы это признаете, наблюдать выгоды моих товарищей и тех людей, которые им хорошо служат. С истинным к Вам почтением.

Остаюсь Ваш покорный слуга

Иван Горбачевский.

У. о. Алексеев—унтер-офицер; работа на кухне по Читинскому положению освобождала от казенных работ; в Петровском заводе официально это было отменено (ср. С. В. Максимов, „Сибирь и каторга", 3-е издание, стр. 420, 425).

Хозяин—т. е. староста артели заключенных. В казематах существовало артельное хозяйство. Об его устройстве писали весьма подробно в своих записках решительно все декабристы. Хозяин или староста артели, на обязанности которого лежало и наблюдение над кухней, избираем был на три месяца; в нуждах общих и частных он относился или к дежурному офицеру или через его посредство прямо к коменданту („Записки декабриста", Лейпциг, 1870 г.)

Комендант—см. последнее примечание к 1-му письму.

3

Милостивый Государь, Яков Дмитриевич.

По случаю проводин и встречи Старого и Нового года прошу Вас покорнейше позволить мне остаться сегодня у княгини Трубецкой до первого часа, чем много обяжите

Преданного Вам

А. Сутгова.

На обороте: „Его Высокоблагородию, Милостивому Государю, Якову Дмитриевичу Казимирскому".

Катерина Ивановна Трубецкая—жена декабриста кн. С. П. Трубецкого.

4

Зная, что Вы бываете ежедневно у нас в каземате, Милостивый Государь, Яков Дмитриевич, я думал, что каким-нибудь счастливым случаем увижу Вас, но отчаявшись в этой надежде, решаюсь послать к Вам часы Ваши в исправном виде. Желаю, чтобы мой механизм понравился Вам, а еще более, чтоб Вы несомневаясь приняли уверение в преданности вашего покорного слуги

Н. Бестужева.

P. S. Прошу покорнейше засвидетельствовать мое уважение М. Г. Александре Семеновне.

На обороте: „Его Высокоблагородию, Милостивому Государю, Якову Дмитриевичу г. Казимирскому".

Мой механизм. — Николай Александрович Бестужев славился своими разнообразными сведениями и способностями в разных областях знаний, искусств и умений; увлекался механикой. В свободное от казенной работы время занимался слесарным мастерством, починял и шил сапоги, рисовал портреты товарищей, исполнял для жен декабристов обязанности ювелира и, между прочим, делал и чинил часы.

Александра Семеновна — жена Я. Д. Казимирского.

5

Милостивый Государь, Яков Дмитриевич.

И паки прошу вашего разрешения, чтобы выдти сегодня из каземата? Мне бы хотелось, если пустите меня к Трубецким, отобедать с Сутговым, и если станет меня, дотащиться до часовни.

Имею честь быть с истинным почтением Вашим покорным слугой

Вадковский.

На обороте обломки сургучной печати с инициалами: „Ф. В." и надпись: „Его Высокоблагородию, Милостивому Государю, Якову Дмитриевичу Казимирскому".

Сутгов — декабрист Алекс. Никол. Сутгоф (см. о нем „Русск. стар." 1880 г., № 8; „Русск. архив", 1885 г., декабрь и др.).

Вадковский Федор Федорович.

6

Почтеннейший Яков Дмитриевич.

Не видав Вас третий день, невольно приходит мне на мысль опасение на щет Вашего здоровия; с другой стороны, неужели бы Вы не прислали за мною, если бы захворали, и это меня успокаивает. Вчера я целый день провалялся и сегодня даже не совсем по себе, но выду непременно.

Посылаю Вам книги, они Вам полюбятся более чем Суподие.

Мое искреннее почтение Александре Семеновне.

Душевно преданный

Ар. Муравьев.

Арт. Зах. Муравьев был практическим хирургом: пускал кровь, выдергивал зубы, ставил банки, перевязывал раны и пр.; в серьезных случаях, несмотря на прикомандирование к комендатскому управлению Нерчинских рудников специального штаб-лекаря Ильинского, больных декабристов и администрацию Петровского завода пользовал доктор-декабрист Ферд. Богдан. Вольф, искусный медик, бывший штаб-лекарь 2-й армии („Русск. стар.", 1892 г., № 7. „Декабристы", издание Пушкинского дома, под редакцией Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана, М., 1925 г.)

7

Нет слов, почтеннейший Яков Дмитриевич, довольно выразительных, чтоб сказать Вам, как много я благодарен за внимание Ваше, поверьте однако же, что умею дать оному цену.

Поручая Вам засвидетельствовать глубочайшее мое почтение Александре Семеновне, прошу верить в чувства глубокого почтения и искренной преданности

Вашего покорного

Арт. Муравьевс.

8

Записка Ваша с добрым приглашением, Яков Дмитриевич, встретила меня на походе, потому не мог отвечать Вам: извините, что немогу сегодня быть у Вас; Василий Львович слишком неделя как звал меня с Оболенским разговеться. Я не постился, но должен исполнить обещание. Позвольте

надеяться, что Вы меня извините и позволите другой раз запросто разделить с Вами хлеб соль.

Преданный Вам
И. Пущин.

Василий Львович — декабрист Давыдов, который в 1839 году был переведен на поселение в Красноярск („Голос минувшего", 1923 г., № 2).

С Оболенским—с декабристом князем Е. П. Оболенским.

9

Яков Дмитриевич, почта Якутская привезла письмо от генерала [1] от 13-го Октября, которым он извещает, что будет в Иркутске через месяц, и так его должно ожидать в исходе половины ноября.

Весь Ваш
С. Волконский.

На обороте: „Якову Дмитриевичу Казимирскому. В собственные руки".

Генералом.—Предполагаем, что имеется в виду генерал-губерн. Восточной Сибири Н. Н. Муравьев, который вступил в управление этой областью 27 февр. 1848 г. (до него место занимал ген. Руперт, отозванный после ревизии Сибирских государ. учрежд. сенатором Толстым). Он действительно объезжал провинции Вост. Сиб. в 1849 г. и возвращался в Иркутск именно из Якутска, куда и прибыл 20 ноября (с некоторым опозданием против положенного времени по случаю неустановившегося зимнего пути через р. Лену (Б. В. Струве, „Воспоминания о Сибири", „Русск. вестн.", 1888 г., № 5). Правда, Сибирь за время пребывания там декабристов ревизовалась неоднократно и много генералов за этот срок перебывало в Иркутске, но означенный маршрут (из Якутска в Иркутск), мыслимый при внутреннем передвижении, совсем не понятен для выездного, скажем, петербурского обследования упомянутым в письме генералом.

С. Г. Волконский, проживавший на поселении сначала вблизи Иркутска, а потом в самом Иркутске и пользовавшийся постоянным вниманием генер.-губерн. Муравьева (см. „Записки кн. С. Г. Волконского", стр. 490—499; „Декабристы". Матер. для характеристики под ред. П. М. Головачева. М., 1907 г.; Н. А. Белоголовый —„Воспоминания", стр. 36), мог получить известие о его приезде в Иркутск и сообщал об этом Я. Д. Казимирскому, занимавшему в то время место окружного жандармского генерала.

10

Примите наше поздравление Вам и Александре Семеновне, добрый и многоуважаемый Яков Дмитриевич, верьте, что от души желаем Вам всего, что может сделать жизнь Вашу спокойною и приятною; и разумеется, обоим Вам лучшего здо-

ровья и наслаждения Вашей милой малюточкой Сашинькой. Очень жалею, что не могу сам явиться обнять Вас и поцеловать ручку Александры Семеновны. Но я чувствую надобность посидеть некоторое время дома и жена моя тоже с балу с простудою, а Лиза с флюсом. Худо начинаем год, но сколько помню, то всегда так бывало, а часто и хуже.

1-го Генваря 1850 года.

Ваш *Трубецкой.*

Ник. Ал. Панов вас обоих поздравляет.

На обороте обломки сургучной печати и надпись: „Его высокоблагородию, Якову Дмитриевичу Казимирскому".

Сашинька—дочь Я. Д. Казимирского.

Дома—семья Трубецких (после 1839 г.) была поселена сперва в слободе Уриковской, в 18 верст. от Иркутска по Ангарскому тракту, а затем в с. Оеке, Иркутского округа, в 5 верстах от первой; в 50-м году перебралась в Иркутск в собственный дом (Н. А. Белоголовый — „Воспоминания").

Жена — Катерина Ивановна Трубецкая.

Лиза — вторая дочь Трубецких, имевшая в это время 15 лет от роду.

Ник. Ал. Панов—декабрист Н. А. Панов, проживавший на поселении вместе с Трубецкими.

11

Генваря 2-го 1850 года.

Добрые Ваши строки от 5-го Декабря, любезнейший Яков Дмитриевич, дошли до меня ровно за неделю до приезда нашего славного туриста, который, проездив около 10 т. верст, возвратился наконец в свое гнездо, немного избитый, немного измученный, но тем же славным молодцом, каким он выехал. 31-го Декабря утром рано он приехал к нам, и мы встретили новый год у него в доме Бронникова — рассказам нет ни начала, ни конца—в продолжении 8-ми месяцев отсутствия скопилось столько впечатлений, что их передать вдруг невозможно: постепенно все то, что нам передает о всех милых нам людях. Между тем и Вы, добрейший Яков Дмитриевич, составляете одно близкое звено, о котором отрадно было услышать добрую весть. Зачем полюбили Вы нас и заставили себя полюбить? Судьба тому виною, так случилось, и потому будьте членом нашей Семьи и займите в ней то почетное место, которое Вам следует по правам высшим иногда самого родства. Только зачем хворать? Этот вопрос разрешится,

когда всякое лечение окажется излишним — между тем — хворость тут и всякую минуту напоминает о себе.—Я вам писал о пользе Belladonna с тою мыслию, что ваши аллопаты найдут в ней то, что вам нужно для лечения вашего недуга. Лечение же гомеопатическое хотя оказывает сильное и благодетельное действие, но условия успеха зависят от личного и тщательного изучения болезни совестливым и искусным врачем. Наш Пушкин чудеса творит в Тобольске—во время холеры из 700 больных, которые были пользованы гомеопатией, только 100 сделались жертвою болезни, остальные здравствуют и благословляют своего врача. Коренков Михаил Семенович привез к вам гомеопатическую аптеку. — Его отец знаменитый гомеопат, который переписывался с Ганнеманом и на опыте узнал всю пользу этого лечения.

Если его аптека осталась в Иркутске, то вы вероятно найдете возможность найти в ней склянку с надписью Belladonna. Начните принимать натощак — в продолжении 3-х дней по 3 крупинки, потом по 2 крупинки — столько же дней и наконец по 1 крупинке. Если вы увидите облегчение, то остановитесь и дайте время этому улучшению развиться и наблюдайте за ним, потом, если заметите возобновление болезни, примите вновь, но в меньшей пропорции — вот все, что могу вам сказать по малому моему гомеопатическому опыту. — Если вам будет лучше—слава богу. Если не поможет, то вспомните доброе желание и не сердитесь за неуспех. — Затем прощаюсь с Вами. Все наши Вас приветствуют. — Александре Семеновне дружески жму руки.

Сашурку вашу целую.—Не забывайте Вас любящего

Е. Оболенского.

На всякий случай прилагаю из моего малого запаса Belladonna несколько крупинок.—Поздравляю с 1850-м годом. Всего доброго дай бог вам всем.

Диэта при пользовании гомеопатией нетрудна: кофе и водка воспрещается. Кислое и соленое в большом количестве также, остальное можно употреблять с умеренностью.

[На полях письма приписка:]

На Новый год обнимаю вас, добрый друг, я здесь, благодарный богу и людям за отрадную поездку. Пожмите руку Александре Семеновне, приласкайте Сашиньку. Аннушка моя благодарит ее за милый платочек. Сама скоро к ней напишет. Она меня обрадовала своею радостью при свидании. Добрые

старики все приготовили к моему приезду. За что меня так балуют, скажите пожалуйста. Спешу. Обнимите наших. Скоро буду с вами беседовать. Не могу еще опомниться.

И. Пущин.

Славного туриста. Декабрист И. И. Пущин, который по освобождении от каторжных работ в 1839 г. был водворен на поселение в Восточную Сибирь, в г. Туринск, где пробыл 4 года. Климат Сибири вредно действовал на здоровье Пущина: уже в 1840 г. с ним начались сильные хронические припадки. Ссылаясь на болезнь, он 19 июня 1843 г., исходатайствовал себе перевод в г. Ялуторовск (Тобольской губ.), в местность с лучшими условиями для жизни, но и по состоявшемся переводе здоровье его не улучшилось, почему с разрешения генерал-губерн. Западной Сибири, кн. Горчакова, он ездил из Ялуторовска в Тобольск для совета с врачами. По возвращении из Тобольска Пущин некоторое время чувствовал себя хорошо, но затем снова начались прежние припадки, и в начале 1849 г. он обратился с ходатайством о разрешении ему поездки для лечения на Туринские минеральные воды (за Байкалом). Эта поездка была ему разрешена, и Пущин отправился на воды в начале июня 1849 г., а в декабре того же года возвратился в Ялуторовск. Во время этих поездок Пущину удалось повидаться с многими товарищами по ссылке, а проездом через Иркутск—и с Я. Д. Казимирским („Записки декабристов", изд. в Лондоне в 1863 г.; А. И. Дмитриев-Мамонов—„Декабристы в Западной Сибири").

Свое гнездо—в г. Ялуторовске И. И. Пущин жил в доме купца Бронникова вместе с кн. Е. П. Оболенским, переведенным туда из г. Туринска 19 июня 1843 г.

Кн. Е. П. Оболенский после женитьбы 17 ноября 1845 г. на вольноотпущенной из рабства чиновником Блохиным и причисленной в мещанское звание девице Варваре Барановой, служившей долгое время у него и товарища его И. И. Пущина горничной, жил отдельно от Пущина (А. И. Дмитриев-Мамонов, ibidem. К. Голодников—„Декабристы в Тобольской губернии", „Всемирн. вестник", 1908 г., № 9).

Наш Пушкин—декабрист Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин. По окончании срока содержания в каторжных работах он водворен был на поселение в Иркутскую губ., а затем переведен был в Красноярск для совместного жительства с своим больным старшим братом, тоже декабристом, Ник. Серг. В 1839 г. получено было разрешение на перевод обоих братьев Бобрищевых-Пушкиных из Красноярска в Тобольск, куда они и прибыли 14 февраля 1840 г. Павел Сергеевич занимался в Тобольске изучением гомеопатии и безвозмездным лечением гомеопатическими средствами бедного населения. В особенности обширна его деятельность в 1848 г., когда в Тобольске свирепствовала холера; он в период наибольшего развития эпидемии с самоотвержением оказывал бедному, беспомощному населению пособия как медицинскими средствами, так и уходом за трудно-больными (А. И. Дмитриев-Мамонов, ibid., стр. 171—172).

Коренков Мих. Сем.—вероятно, нерчинский штаб-лекарь Кремков (см. „Адрес-Календарь" 1832—1838 гг.)

Ганеманн Самуил (1755—1843)—основатель гомеопатии; учение его проникло в Россию в последние годы царствования Александра I (см. подробнее К. Боянус—„Гомеопатия в России". М., 1882 г.)

Все наши.—В Ялуторовске на поселении, кроме кн. Е. П. Оболенского и вернувшегося Пущина, в то время жили И. Д. Якушкин, Вас. Карл. Тизенгаузен, М. И. Муравьев-Апостол с женою Мар. Конст., дочерью одного офицера из Иркутск. губ., там же вышедшей за него замуж; при них жили две воспитанницы-подростки, Августа и Анна, Александра Васильевна Ентальцева, вдова декабриста Андр. Васил. Ентальцева, умершего в 1845 году, и др. (см. Гастфрейнд, И. И. Пущин, К. Голодников—„Декабристы в Тобольской губернии").

Аннушка—внебрачная дочь Пущина, привезенная им из Туринска (см. о ней в письме И. И. Пущина к Энгельгардту из Ялуторовска, напечатанном у Гастфрейнда: „Товарищи Пущина по Лицею", стр. 141; „Декабристы". Материалы для характеристики, под ред. П. М. Головачева, стр. 164; кроме нее Пущин уже в Ялуторовске имел внебрачного сына. Впоследствии (в 1857 г.) Пущин женился на Нат. Дмитр. Фонвизиной, вдове декабриста М. А. Фонвизина, умершего в Сибири в 1854 г. Но как эта женитьба, так и отношение его к своему семейству не представляли ничего утешительного; сами декабристы были того же взгляда (см. по этому поводу: „Из воспоминаний А. Н. Сазонович", стр. 121, 164; письмо Я. Казимирского к кн. Оболенскому от 17 февраля (без года) из Омска в „Русск. стар.", 1901 г. т. II. стр. 445).

Добрые старики—жившие в это время в Ялуторовске декабристы, см. примечание 1.

Подпись в письме неразборчива. Слово „Пущин" восстанавливаем по характеру почерка и на основании внутренней датировки приводимой приписки и письма Оболенского.



А. С. Пушкин

Два новых автографа

С вступительной заметкой, комментариями и примечаниями
Л. Б. Модзалевского

Находки новых автографов Пушкина делаются теперь все реже и реже. Самой большой из них за последние годы нужно считать находку 27 писем поэта к Е. М. Хитрово, [1] обнаруженных в б. особняке князей Юсуповых в Ленинграде. По справедливому замечанию проф. М. А. Цявловского, известного знатока биографии и текстов Пушкина, [2] перспективы находок новых автографов Пушкина в будущем сводятся к единичным и случайным, и пора опубликования „пачек" новых его рукописей миновала. Тем понятнее становится радость не только пушкинистов, но и всех чтущих память поэта, когда удается обнаружить и предать гласности никому еще неизвестный его манускрипт, как бы порой мал и незначителен с первого взгляда он ни казался. Двумя подобными автографами Пушкина мы и хотим здесь поделиться.

I

[3-го ноября 1828 г. Малинники.]

Mille remerciements, Madame, pour l'interêt que vous daignez prendre à votre tout devoué serviteur. Je serai venu chez vous absolument, mais la nuit m'a surpris je ne sais trop comment au beau milieu de mes reveries. Ma santé est aussi bonne que possible.

---

[1] Напечатаны в особом издании Пушкинского Дома „Письма Пушкина к Е. М. Хитрово", Л. 1927; частично вошли в „Письма Пушкина", под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II., Л., 1928.

[2] „Автографы Пушкина. Перспективы находок неизданного Пушкина" в газете „Вечерняя Москва", 9 февраля 1927 г., № 32 (943).

A demain donc, Madame, et voeuillez encore une fois recevoir mes tendres remerciements.
3 novembre

Позднейшие пометы рукою П. А. Осиповой: „1828" и „Pouchkinne à Mdm Ossipoff, née Windomsky".

Перевод: Тысячу благодарностей, сударыня, за внимание, которое Вам угодно было оказать Вашему преданному слуге. Я бы непременно пришел к Вам, но ночь меня застала, не знаю как, в разгаре моих мечтаний. Здоровье мое насколько возможно хорошо. — Итак, до завтра, сударыня, и примите еще раз мою нежную признательность. — 3 ноября.

Письмо это адресовано к одной из приятельниц и поклонниц Пушкина, Прасковии Александровне Осиповой, в имении которой, с. Малинниках, Старицкого уезда Тверской губернии, поэт провел осенью 1828 года около 6 недель.[1] Новое письмо служит дополнением к трем уже известным письмам Пушкина этого периода, писанным к А. Н. Вульфу и бар. А. А. Дельвигу[2] и является яркой иллюстрацией того интимного творческого настроения поэта, благодаря которому он мог в это время закончить 7-ю главу „Евгения Онегина" и создать ряд таких произведений, как посвящение к „Полтаве", „Ответ П. А. Катенину", „Ответ А. И. Готовцевой" и др. „Здесь мне очень весело, — писал он бар. А. А. Дельвигу в середине ноября, — Прасковью Александровну я люблю душевно; жаль, что она хворает и все беспокоится", а в другом письме ему же 26 ноября отмечал: „Здесь мне очень весело, ибо я деревенскую жизнь очень люблю. — Здесь думают, что я приехал набирать строфы в Онегина, и стращают мною ребят как букою. А я езжу по пороше, играю в вист по 8 гривен роберт — и таким образом прилепляюсь к прелестям добродетели и гнушаюсь сетей порока — скажи это нашим дамам..." Кроме хозяйки, в Малинниках проживали также старые знакомые

[1] Здесь кстати укажем на еще не опубликованные сведения о пребывании Пушкина в Малинниках у П. А. Осиповой 7 — 10 марта 1830 г., извлеченные из записи в ее календаре (ср. „Пушкин и его современники", в. I, стр. 142, где она случайно пропущена): „1830 г., Марта, в ту минуту, когда мы сбирались выехать из Малинников, приехал Пушкин из Москвы и пробыл у нас 3 дни". П. А. Осипова, конечно, ошиблась, говоря, что Пушкин приехал из Москвы: он приехал из Петербурга и заехал в Малинники по дороге в Москву (см. Н. О. Лернер — „Труды и дни Пушкина", изд. 2, СПБ., 1910, стр. 205 — 206, и примечание к дате 12 марта). Сообщениями новой записи Осиповой мы обязаны Б. В. Томашевскому.

[2] См. „Письма Пушкина", под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II, стр. 56—58, и примеч. к ним.

поэта: две дочери ее от первого брака, Анна и Евпраксия Николаевны Вульф, и падчерица Александра Ивановна Осипова, а в соседнем с Малинниками имении, Павловском, принадлежавшем Павлу Ивановичу Вульфу, гостила молодая девушка, Мария Васильевна Борисова, о которой поэт писал, что он „намерен на-днях в нее влюбиться". Общение с этими близкими ему людьми, заботливость, окружавшая его, частые шутки и смех создавали ему ту благоприятную обстановку, которая была необходима для его отдыха после перенесенных незадолго до того волнений по делам о „Гаврилиаде" и о стихах „Андрей Шенье", едва не получившим для поэта неблагоприятного оборота, и вместе с любимым им временем года давала прилив новых творческих сил. Шесть недель пребывания в Малинниках протекли незаметно, и в начале декабря Пушкин уже уехал в Москву. Деревня Осиповой оставила в его жизни приятное воспоминание, что он, по свидетельству его современницы, и выразил в следующем шутливом экспромте — двустишии: „Хоть малиной не кормите, но в Малинники возьмите".[1]

Новое письмо Пушкина сохранилось в собрании автографов писателей, принадлежавшем приятелю и родственнику А. Н. Вульфа, Николаю Игнатьевичу Шенигу (1795—1860), знакомому также и Пушкину,[2] и было приобретено вместе с другими автографами из его собрания Пушкинским Домом Академии Наук.

II

Если жизнь тебя обманетъ,
Не печалься не сердись:
Въ день унынія смирись,
День веселья, вѣрь, настанетъ...

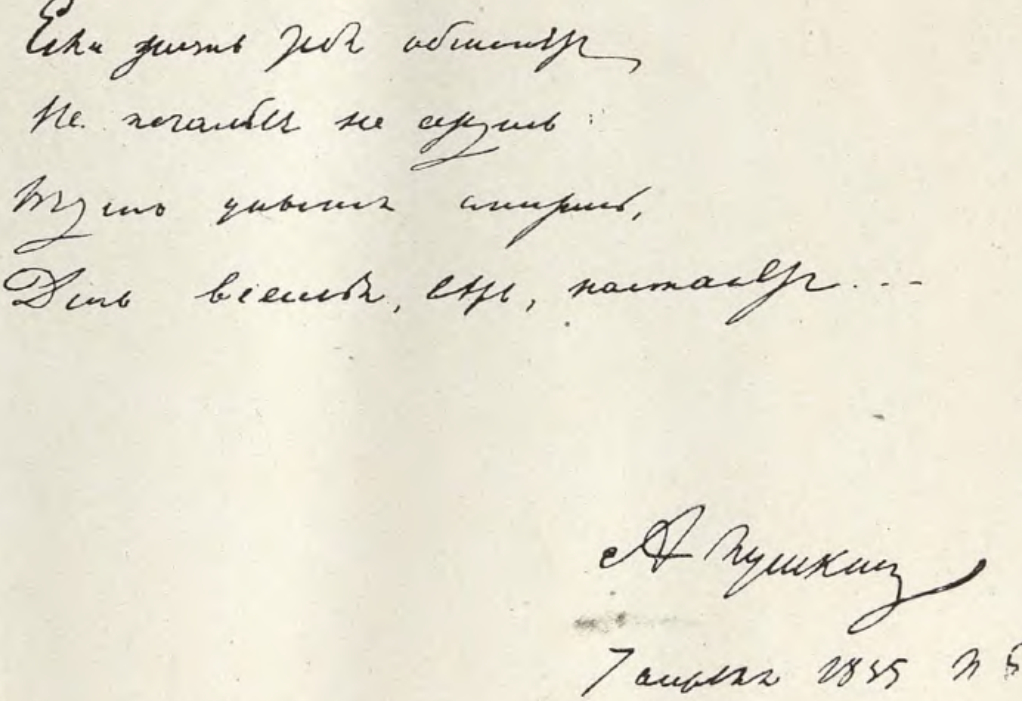
А. Пушкинъ

7 апреля 1835. П. Б.

Стихотворение это вошло в издания сочинений поэта. Оно обращено к небезызвестной Евпраксии Николаевне Вульф, впоследствии бар. Вревской, и записано еще в 1825 году ей

[1] „Русск. стар." 1888, № 10, стр. 87; ср. „Пушкин и его современники", вып. XXI — XXII, стр. 351 (воспоминание 1847 г. А. Н. Вульф).

[2] О нем см. у Б. Л. Модзалевского — „Поездка в село Тригорское в 1902 г.", СПБ., 1903, стр. 17.



ЗАПИСЬ А. С. ПУШКИНА В АЛЬБОМЕ Е. А. ЛОДЫЖЕНСКОЙ
(Воспроизводится впервые)

в альбом, теперь нам недоступный. Стихотворение печаталось при жизни Пушкина три раза: в „Московском телеграфе“ (1825 г., ч. V, № 17, стр. 37) и в собраниях его стихотворений 1826 и 1829 гг. и в печати имеет следующее окончание:

Сердце в будущем живетъ;
Настоящее уныло:
Всё мгновенно, всё пройдетъ;
Что пройдетъ, то будетъ мило.

Новая запись Пушкина находится на одном из листов альбома принадлежавшего Елизавете Александровне Сушковой (1815—1883),[1] по мужу Ладыженской; она была родной сестрой мемуаристки Екатерины Александровны Сушковой-Хвостовой (1811—1868), сыгравшей значительную роль в жизни М. Ю. Лермонтова,[2] и приходилась двоюродной сестрою писательнице Е. А. Ган и поэтессе гр. Е. П. Ростопчиной. „Некрасивая и горбатая“, по свидетельству Е. А. Ган,[3] Е. А. Ладыженская была совершенною противоположностью своей красавице сестре Е. А. Хвостовой; она постоянно вращалась в литературном кругу и хорошо знала М. Ю. Лермонтова, о котором оставила любопытные для его биографии воспоминания в виде „замечаний“ на записки сестры;[4] из сношений же ее

[1] Все печатные источники—„Биографический словарь русских писательниц“ кн. Н. Н. Голицына (СПБ., 1889, стр. 153), „Русский биографический словарь“ Лабзина-Ляшенко (СПБ., 1914, стр. 584), „Источники словаря русских писателей“ С. А. Венгерова (т. III, стр. 500), энциклопедические словари и др.—смешивают ее, по сходству инициалов, с другой Ладыженской, Екатериной Алексеевной (1828—1891), р. Дюклу, писательницей (см. В. В. Руммель и Голубцов—„Родословный сборник русских дворянских фамилий“, т. I, стр. 499, и „В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка 1851—1869. Приготовил к печати Н. Л. Бродский“. М.-Л., 1930, стр. 327—328).

[2] См. Е. А. Сушкова—„Записки“, под ред. Ю. Г. Оксмана, изд. „Academia“, Л., 1928.

[3] „Русская старина“, 1887, № 3, стр. 738—739.

[4] Перепечатаны в приложениях к запискам Е. А. Сушковой, стр. 306—342, где редактором этого издания, Ю. Г. Оксманом, дана в примеч. на стр. 306 общая их характеристика. В письмах М. Ю. Лермонтова Е. А. Ладыженская упоминается всего один раз в письме его к А. М. Верещагиной 1835—1836 гг. (см. полное собрание его сочинений под ред. Д. И. Абрамовича, т. IV, СПБ., 1911, стр. 325); здесь она названа, однако, mademoiselle, а не madame. Перу Е. А. Ладыженской принадлежит также книжка под заглавием: „История в дюнах. Сказка Андерсена, пересказанная в стихах двум милым мальчикам, Гавриньке и Борюшке Л[адыженским]“, М., 1876, 94 стр.

с гр. Е. П. Ростопчиной нам известно в печати одно письмо к ней гр. Е. П. Ростопчиной, опубликованное в статье А. П. Барсукова „Автографы известных и замечательных людей. Из архива С. Ю. Витте“ в „Старине и новизне“, кн. IX, СПБ., 1905, стр. 342.

Повидимому, Е. А. Ладыженская состояла с Ростопчиной в близких отношениях: кроме письма об этом свидетельствует и запись кн. П. А. Вяземского в его записной книжке под 9 августа 1859 г.: „Ладыженская, урожденная Сушкова, читала мне свою статью о Ростопчиной. Много хорошего“.[1] Но в печати эта статья не появлялась, а архив Е. А. Ладыженской не сохранился, и нужно предполагать, что рукопись статьи о Ростопчиной погибла. Е. А. Ладыженская была замужем за поручиком гвардии в отставке (с 1825 г.), псковским помещиком, бывшим в 1838 — 1840 гг. островским и в 1847—1849 порховским предводителем дворянства, Евграфом Семеновичем Ладыженским (р. в 1802 г.)[2] По отзыву Е. А. Хвостовой, хорошо знавшей его (он до женитьбы на ее сестре сначала сватался к ней, но получил отказ), Ладыженский был „уродлив собой и высокопарен в разговоре“, что не мешало, однако, ей принимать его ухаживания, так как, добавляет она, это „льстило моему самолюбию, верно потому только, что оно было самое первое.[3] Е. С. Ладыженский занимался главным образом сельским хозяйством, интересовался вопросом о крепостном праве, был членом Вольного экономического общества и писал статьи о помещичьем хозяйстве, печатавшиеся в периодических изданиях. Так, им написаны следующие статьи: „Русский помещик“ в „Трудах Вольного Экономического Общества“ — 1856, т. II (№ 4), отд. II, стр. 67 — 74[4] — и „Краткий отчет хозяйства северной полосы России, основанного на производстве работ по урочному положению“, СПБ., 1856, в тип. Королева и К°, 13 стр., 12° (из „Трудов В. Э. О.“, 1856 г., № 11 и 12). Здесь даны статистические сведения о сельце Тягуще в Порховском уезде, Псковской губ., имении Ладыженского. Свадьба Е. А. Сушковой и Е. С. Ладыженского состоялась в Островском уезде, Елин-

[1] Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского, т. X, стр. 235.

[2] См. В. В. Руммель и В. В. Голубцов — „Родословный сборник русских дворянских фамилий“, т. I, стр. 494, и т. II, стр. 458, и „Сборник Псковской губернской ученой архивной комиссии“, вып. I, Псков 1917, стр. 150 и 155.

[3] Записки Е. А. Сушковой, Л., 1928, стр. 76 — 77, 133, 245.

[4] Эта статья вызвала дополнение Г. Бланка, напеч. там же.

ского погоста, 18 сентября 1835 года.[1] Вскоре после свадьбы, 30 октября (описка — надо „сентября"), Е. С. Ладыженский писал из с. Перевозы бар. Б. А. Вревскому: „Я счастлив, женат! Уже скоро две недели как блаженствую. Рекомендую тебе и уважаемой мною Евпраксии Николаевне мою Лизу". Здесь же в post scriptum'e он прибавляет: „Я слышал, что наш великий поэт А. С. Пушкин в твоем соседстве,[2] не доставишь ли и этого нам удовольствия, взглянуть на певца Цыганей и Годунова? Это было бы истинно счастливой день, вместе с тем, что увижусь с тобою".[3] Не знаем, удалось ли Е. С. Ладыженскому познакомиться с Пушкиным, но знакомство Е. А. Ладыженской с поэтом произошло еще до выхода ее замуж, о чем красноречиво говорит вновь публикуемая альбомная запись Пушкина.

Пушкин в этот день, 7 апреля 1835 года, приходившийся тогда на первый день Пасхи, был у нее, очевидно, с праздничным визитом и по ее просьбе вписал в ее альбом вышеприведенные стихи. В этот же день им написаны опущенные впоследствии строки стихотворения „Полководец", что видно из рукописи Пушкина из собрания И. А. Шляпкина (ныне в Пушкинском Доме): „7 апреля 1835 г. Св. Воскр. С. Пб. Мятель и мороз",[4] и из рукописи б. Московского Румянцевского музея (без упоминания о погоде).[5] Следует пожалеть о том, что, будучи знакома с Пушкиным, Е. А. Ладыженская на листе своего альбома с автографом поэта записала только день его

---

[1] Ср. запись в „Вседневном журнале" бар. Б. А. Вревского 18 и 19 сентября („Пушкин и его современники", вып. XXI — XXII, стр. 392).

[2] Пушкин гостил в это время у Вревских в с. Голубове (см. „Пушкин и его современники", вып. XXI — XXII, стр. 392) и был у себя в Михайловском.

[3] Письмо это, как и приведенное ниже, печатается впервые по подлиннику из архива Вревских в Пушкинском доме Академии Наук. От брака Е. А. Сушковой и Е. С. Ладыженского родился (19 октября 1840 г.) сын Михаил Евграфович, который женат был на Александре Борисовне Вревской (род. 21 августа 1840 г., ум. 7 июля 1899 г.), дочери бар. Бориса Александровича Вревского и Евпраксии Николаевны Вульф. Сыну М. Е. и А. Б. Ладыженских Гавриилу Михайловичу и принадлежит в данное время альбом Е. А. Ладыженской с автографом Пушкина. Пользуемся случаем, чтобы принести здесь Г. М. Ладыженскому нашу благодарность за разрешение его опубликовать.

[4] И. А. Шляпкин — „Из неизданных бумаг А. С. Пушкина", СПБ., 1903, стр. 74.

[5] „Русск. стар.", 1884 г., № 9, стр. 615. С Пушкиным Е. А. Ладыженская встречалась и в 1836 г. Об этом мы находим неясные намеки в письме бар. Е. Н. Вревской к А. Н. Вульфу (см. „Пушкин и его современники", вып. XIX — XX, стр. 108).

смерти: „mort le 29 Janvier 1837“. Е. С. Ладыженский оставил о его смерти следующие строки в письме к бар. Б. А. Врев-скому 26 апреля 1837 г.: „Новостей никаких нет, кроме старой печальной вести о Пушкине, которую не забывают. Мы беседовали, помнишь, беспечно с тобою у меня, а это кажется была минута роковая для жизни Поэта. Летом сделаем непременно вместе пелеринаж в Михайловское, чтоб сказать на могиле „Мир праху его!“

А. Л. Вейнберг

К. К. Данзас, секундант Пушкина, и К. А. Булгаков

(По поводу неизвестного портрета Данзаса)

В отделе бытового портрета Государственного исторического музея имеется акварельный портрет, значащийся в книге поступления, а по традиции и в других описях — как портрет *офицера Булгакова*. Изображен не особенно молодой военный в мундире штаб-офицера, у которого левая рука на перевязи. Справа внизу надпись пером: „*К. Булгакову — К. Данзас*". Портрет на основании прически и стилистических данных относится к 30-м годам XIX века. Надпись „*К. Булгакову — К. Данзас*" логически и грамматически указывает на то, что портрет преподносится К. Булгакову К. Данзасом. Поэтому изображенное лицо не „офицер Булгаков", как он называется в книге поступления Гос. ист. музея, а К. Данзас. Надпись „К. Булгакову — К. Данзас" могла бы и означать, что Булгаков — изображенное лицо, но это лишь в том случае, если бы Данзас заказал у художника портрет К. Булгакова и затем преподнес бы последнему его с надписью: „*К. Булгакову — К. Данзас*".

Но это только что допущенное мною предположение, а именно: что изображенным лицом является К. Булгаков, исключается, и вот почему. В 30-х гг. XIX века мы знаем двух К. Булгаковых: это, во-первых, Константин Яковлевич Булгаков. Он — сын известного екатерининского посла в Константинополе — Якова Ивановича Булгакова. Константин Яковлевич родился там же, в Константинополе, в 1782 году. В 30-х годах XIX века, в то время, к которому относится наш портрет, в Петербурге занимал должность почт-директора и поэтому не носил военной формы, как наш „офицер Булгаков". Среди портретов нашего музея имеется карандашный портрет Константина Яковлевича Булгакова, нарисованный известным в свое время итальянским

художником Бриоски, работавшим в России. Константин Яковлевич в своей известной переписке [1] с братом Александром [2] часто упоминает о Бриоски. Портрет подписной и датирован. Он относится к 1830 году. С этим изображением наш „офицер Булгаков" ничего общего не имеет.

Теперь про второго К. Булгакова, или просто — Костю Булгакова, под каким именем он известен был всему его кругу друзей и знакомых. Он—племянник Константина Яковлевича и сын уже упомянутого Александра Булгакова. Подробнее останавливаться на личности Кости я пока не буду; я хочу только указать, что он родился в 1812 году, учился в царскосельском лицейском пансионе до закрытия его в 1829 г., затем находился в пансионе при Московском университете, оттуда был переведен (в 1832 году) в Петербург, в школу гвардейских подпрапорщиков, поступил в л.-гв. Преображенский полк (1833 год) и в 1835 году, наконец, переведен в Московский л.-гв. полк в чине прапорщика. Следовательно, Костя Булгаков в те годы, к которым относится наш портрет, был только прапорщиком, а наш так называемый „офицер Булгаков" изображен в форме штаб-офицера.

В Гос. историч. музее имеется и портрет Кости Булгакова приблизительно конца 30-х годов. Стоит только взглянуть на него, на это сияющее смуглое лицо, в котором сказывается южное происхождение со стороны матери отца, чтобы убедиться, что наш „офицер Булгаков" и этот К. Булгаков не идентичны.

Когда я впервые заинтересовалась нашим портретом, предполагая, что тут изображен секундант Пушкина, я тотчас сравнила нашего „офицера Булгакова" с изображением Данзаса в альбоме Пушкинской выставки 1899 года. Здесь мы видим его уже в преклонном возрасте, со сморщенным лбом, с чертами лица, носившими отпечаток тяжелых жизненных переживаний; тем не менее нас поражает сходство этой репродукции с фотографии с нашим портретом: та же форма черепа, те же выступающие скулы, тот же подбородок с изгибом, даже та же манера носить усы.

Я все-таки не удовлетворилась одним сравнением моего портрета с единственным мне известным изображением К. К. Данзаса [3] и поэтому обратилась в Пушкинский дом в Ленин-

[1] Переписка опубликована в „Русском архиве" с 1898 по 1903 г.

[2] Александр Яковлевич Булгаков (1781—1863)—московский почт-директор. Был дружен и находился в переписке с многими выдающимися людьми своего времени.

[3] До сих пор вообще единственный известный портрет К. К. Данзаса.

град с запросом, не имеется ли там или в другом месте его портрета в молодости. Ответил мне теперь уже покойный Б. Л. Модзалевский. Он пишет: „Сообщаю Вам, что ни в Пушкинском доме, ни где-либо в другом месте — насколько мне известно — ни у родных, портрета Константина Карловича Данзаса в молодые годы не имеется". [1]

Фактами из жизни обоих К. Булгаковых, как и при помощи их портретов, я старалась доказать, что не они изображены на нашем портрете, а Константин Карлович Данзас.

Какой же был Данзас в 30-х годах и что он собою представлял?

К. К. Данзас [2] вместе с Пушкиным в 1817 г. кончил Царскосельский лицей; будучи в числе последних своего курса, он не мог попасть в гвардию и поступил в инженерный корпус. Я тут не считаю нужным вдаваться во все детали его служебной жизни, а только хочу указать на 1827 год, когда он, как участник персидской войны, отличился в боях, в особенности при взятии крепости Эривани, за что был всячески награжден. Отсюда его перевели на турецкий фронт. В 1828 году началась турецкая кампания, официальным предлогом которой было освобождение единоверцев-греков от турецкого гнета. Но за этим официальным предлогом скрывались, конечно, как и за персидской войной, более существенные причины, а именно торгово-территориального характера. Интересно, в особенности для нас, по отношению к нашей теме, мнение Мольтке по этому поводу. В своем капитальном труде „Der russisch-türkische Feldzug 1828—1829" Мольтке считает, что эта quasi-идейная война за освобождение единоверцев от мусульман инсценировалась правительством, главным образом чтобы отвлечь либерально настроенную аристократическую молодежь от внутренней политики страны [3]. Турецкой кампании старались придать популярный характер. Отправился на фронт и сам Николай I, первый из русских императоров, вступивший после Петра Великого на турецкую территорию. Отбыл в действующую армию также и брат его Михаил Павлович, назначенный главнокомандующим 7-го корпуса. В этот-то 7-й корпус был переведен с персидского фронта Конст. Карл. Данзас под начальство генерала Войнова.

---

[1] Письмо от 29 ноября 1927 года.

[2] К. К. Данзас родился в 1798 году.

[3] Moltke — „Der russisch-türkische Feldzug in der europäischen Türkei 1828 — 1829", Berlin, 1877.

Мы читаем у Шильдера: „Согласно предначертаниям императора Николая I, войска 6-го корпуса генерала Рота и 7-го корпуса генерала Войнова совершили 28-го апреля переправу через Прут, а затем 7-й корпус [тот, в котором находился Данзас] приступил к обложению Браилова". [1] Из военно-судного дела, относящегося к дуэли Пушкина с Дантесом, мы узнаем, что при переходе через Прут Данзас, как офицер инженерных войск, участвовал в построении мостов и наведении понтонов и при осаде крепости Браилова, как там сказано дословно, „был ранен ружейною пулею в левое плечо выше ключицы на вылет с раздроблением нижнего угла лопаточной кости". Несмотря на тяжелую рану, которую он лечил, но не вылечил в военных госпиталях, Данзас продолжал участвовать в походе и только в 1827 г. был уволен в Россию для излечения руки. Таким образом Данзас появляется в Петербурге в 1830 г. как настоящий герой, покрытый приобретенной в двух войнах славой, да притом еще с левой рукой на перевязи.

К этому периоду я вначале склонна была отнести наш портрет. Я полагала, что Данзас свое изображение с надписью „*К. Булгакову—К. Данзас*" преподнес популярнейшему в то время в Петербурге почт-директору Конст. Яковлевичу Булгакову. Последний во время турецкой кампании внимательно следил за военными событиями и обо всем извещал своего брата Александра в Москву, например: [2] „Браилов взят, Мачин сдался, предвидеть можно было, что гарнизон будет защищаться" и т. д. и в конце письма: „счастливцы те, кто свидетелем сих событий. Я им завидую, как нам завидовали в достопамятные годы французской войны". Когда из этой войны вернулся Данзас, осыпанный наградами, да притом по-геройски — с рукой на перевязи, весьма возможно, что он был принят у славившегося своим гостеприимством Константина Яковлевича. Вот что рассказывает про его дом Петр Андреевич Вяземский: [3] „Биллиард был два раза в неделю по вечерам центральным средоточием, куда стекались все звания и все возрасты: министры, дипломаты русские и иностранные, артисты свои и чужеземные, военные и директоры департаментов, начальники отделений и многие другие, не принадлежавшие ни к каким отделениям". [4]

[1] Шильдер—„Император Николай I", т. II, стр. 125.
[2] Письмо от 18 июня 1828 года.
[3] Петр Андреевич Вяземский, 1792—1878, поэт, друг Пушкина.
[4] „Русск. арх." 1904, т. IV, стр. 587.



КОНСТАНТИН КАРЛОВИЧ ДАНЗАС

С акварельного портрета, находящегося в Московском Государственном Историческом Музее

(Воспроизводится впервые)

Но это мое предположение—что Данзас портрет свой преподнес Конст. Яковл. Булгакову — окончательно отпадает. В начале 30-х годов Данзас был только в чине капитана, а на нашем портрете он изображен штаб-офицером, т. е. с эполетами, окаймленными бахромой, что указывает именно на этот чин, а штаб-офицером в чине подполковника его назначили лишь 28 октября 1836 года. [1] Значит, наш портрет был написан не раньше 1836 года, а Конст. Яковлевич Булгаков умер уже в 1835 году. Поэтому Данзас не мог преподнести свой портрет ему, а только его племяннику—Косте Булгакову.

Существуют ли какие-нибудь доказательства о знакомстве Данзаса с семьей Булгаковых? Насколько мне известно—нет. Петербургский почт-директор Константин Яковлевич Булгаков, бесконечно разговорчивый и общительный в своих письмах к брату Александру, часто называет лиц, бывавших у него в доме, но фамилия Данзаса никогда не упоминается. Правда, он называет всегда только самых близких друзей, а иногда и менее близких, но в этом случае только лиц с громкими именами, а затем прибавляет: „и проч. проч." Весьма возможно, что Данзас был одним из этих „прочих".

Брат Константина Данзаса, Борис Карлович Данзас, второго выпуска Царскосельского лицея, служил в Москве при тогдашнем генерал-губернаторе, Дмитрии Владимировиче Голицыне. Московский Булгаков, Александр Яковлевич, в своих опубликованных письмах к брату Константину неоднократно упоминает о Борисе Данзасе, уведомляет между прочим об отъезде последнего в Петербург и просит принимать его у себя. В одном неизданном письме, находящемся в рукописном отд. Ленинской библиотеки, Александр Яковлевич пишет своей супруге, гостившей в Петербурге:

„Le 3 février 1833.

. . . J'ai été faire visite tantôt chez la p-cesse Tatiane, où je suis resté une heure à causer en tête-à-tête avec Danzas". [2]

La princesse Tatiane—Татьяна Васильевна Голицына, супруга генерал-губернатора; речь идет о Борисе Данзасе. Через Бориса Данзаса петербургские Булгаковы могли бы познакомиться с его братом Константином Карловичем.

---

[1] К. К. Данзас произведен в подполковники 28 января 1836 года.— „Дуэль Пушкина с Дантесом. Подлинное военно-судное дело 1837 года", СПБ., 1910, стр. 68.

[2] „3 февраля 1833. Я был с визитом у княгини Татьяны, где в продолжение часа беседовал с глазу на глаз с Данзасом".

Но когда же Константин Карлович Данзас мог познакомиться с Костей Булгаковым и что представлял собой последний?

Мною уже было указано на несколько дат и этапов из жизни этого Кости. В мемуарах его современников мы часто слышим про бесконечные его проказы, каламбуры и забавные проделки, за которые не раз приходилось ему просиживать на гауптвахте. Читаем мы об этом в записках художника Павла Петровича Соколова, [1] в „Истории л.-гв. Московского полка", в письмах его дяди Константина Яковлевича, в „Воспоминаниях" И. И. Панаева [2] и т. д. Зато письма близкого его друга и собутыльника, Михаила Ивановича Глинки, [3] нам рассказывают про его любовь и понимание музыки и театрального искусства. Прекрасно характеризует его (Костю Булгакова) несколькими словами Владимир Александрович Сологуб, [4] приятель Пушкина, в своих „Воспоминаниях". „Костя Булгаков, — говорит он, — гениальный повеса, прошутивший блистательные способности". Но это все отрывочные отзывы других. С настоящим Костей Булгаковым мы имеем возможность познакомиться только при чтении его писем к отцу. Тут мы сталкиваемся лицом к лицу с жизнью офицера николаевской эпохи, с жизнью, которая неслась около Пушкина и его секунданта Данзаса.

В виду того, что эти письма Кости Булгакова к отцу представляют собою совершенно свежий, нетронутый архивный материал, я довольно подробно буду их касаться, тем более, что они имеют прямое отношение к предмету моего исследования.

Офицер лейб-гвардии Московского полка Константин Александрович Булгаков вечно в денежных затруднениях: то не хватает на портного, то на кучера, то на доктора. Лейтмотив во всех его письмах к отцу — это вопль: „Присылай ради бога побольше денег". „Вы мне говорите в Вашем последнем письме, — пишет Костя Булгаков, — что мой кумир это деньги. Правда, я этого не скрываю. Тут сказывается опыт, приобретенный мной, так как я замечаю, что только богачи счастливцы или имеют возможность ими стать. В наш век деньги означают все или почти все". [5] Кроме денег, нужны постоянно: то зимнее пальто, то халат, то какие-то лампы, носовые платки, белье, парадная форма, сшитая первоклассным портным, и т. д. и т. д.

---

[1] Павел Петрович Соколов (1826—1905) — художник.
[2] И. И. Панаев (1812—1862) — писатель-публицист.
[3] Михаил Иванович Глинка (1804—1857) — композитор.
[4] Граф Владимир Александрович Сологуб (1814—1882) — писатель.
[5] 11 декабря 1836 года.



КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ БУЛГАКОВ

С карандашного портрета, находящегося в Московском Государственном Историческом Музее

(Воспроизводится впервые)

„Благодарю Вас, дорогой и милый папенька, за Ваши письма, часы и халат, от которых я в восторге“... Дальше: „Время провожу довольно приятно; мы много на службе, и я счастлив, когда могу оставаться дома, лежа на диване в моем хорошем теплом халате, и курить длинную трубку“. [1] В другом письме, после того как просидел за проделки на гауптвахте: „О, мир это пропасть, куда вас влечет помимо вас; как часто, когда я один, печальные мысли мне приходят в голову. У меня здесь никого нет, кроме товарищей, из которых самые молодые более разумны и более тактичны, чем я. Поверьте мне, что я очень несчастлив, несмотря на то, что все завидуют моему веселому нраву. И еще, что я заметил, что причиной всего зла не я один; уверяю Вас, дорогой и любезный папенька, что несчастье меня преследует во всем—неоднократно я об этом с Вами говорил. Вот печальные наблюдения, сделанные над самим собою“. [2]

Спустя несколько дней на ту же тему в следующем письме: „Вы меня упрекаете, что целый месяц не был у Екатерины. [3] Я сам понимаю свою ошибку и я должен сознаться, дорогой папенька, со стыдом, что виноваты тут эти проклятые танцовщицы. Сколько раз я себе говорил: вот сегодня ты поедешь в Царское село—pas du tout—вместо того, чтобы отправиться туда, я гулял вдоль и поперек перед театральной школой и пантомимами общался с этими девицами. Не ругайте меня, папенька, я мог бы отрицать все эти глупости, но я Вам рассказываю, полагая, что Вы будете снисходительны. При моей юности, в особенности при моем живом характере и ненасытном сердце, я Вам не обещаю совершенно отказаться от этих дурачеств, но к этому буду стремиться“. Дальше: „Эта маленькая любовь—petit amour (из-за которой он попал на гауптвахту)—началась еще во время масляницы“. Он кончает: „Простите, дорогой папенька, что вместо того, чтобы каяться в своих ошибках, я к Вам обращаюсь конфиденциально, как к товарищу моего возраста, потому что Вы сами когда-то были молоды“.

История с арестом, повидимому, сильно волнует домашних, так как в пасхальном письме он снова возвращается к неприятному инциденту: „... Меня арестовали не в кордегардии, а по служебному—в казарме, в дежурной комнате, с разреше-

[1] В январе (?) 1836 г.
[2] 13 мая 1836 г.
[3] Его сестра, замужем за лейб-гусаром Д. П. Соломирским; они постоянно жили в Царском Селе.

нием продолжать исполнение моих служебных обязанностей; единственно — я должен был спать в дежурной и не отлучаться без разрешения дежурного по полку. Дело вот в чем: меня заметили у входа театральной школы танцовщиц, что запрещено. Как только плац-адъютант мне сказал, что нельзя оставаться, я тотчас же удалился, но несчастье уже совершилось. Видели офицера среди одних женщин, и после этого меня наказали. Так как я себе поставил принципом перед Вами ничего не скрывать, то откровенно Вам скажу: я собственно достаточно осторожен, чтобы пуститься по запрещенной дороге, но я только человек, да притом быть может самый слабый из рода человеческого, поэтому я сбился с правильного пути, чтобы доставить удовольствие одной женщине, или скорее себе лично, потому что я уверен, что касается ее, то она первая расхохоталась, узнав о моем наказании... У меня было много удовольствий, и светские, и другие, но ни одно не было так заманчиво для меня, как эти театральные интриги, хотя они не особенно невинны". В не датированном, повидимому, вскоре после этого написанном письме, он пишет: „... Я совершенно бросил свой род жизни, а именно театр и езжу туда только ради музыки, и то весьма редко, но все глупости оставил и хочу ездить в свет: надоело быть в холостой компании и больно, ибо и сам чувствую, что хочу быть приятным в обществе хорошем. И потом, когда я вижу теперь разницу между женщинами умными и образованными и хорошенькими личиками балетной труппы, у которых только одно лицо, а в голове солома, то мне делается стыдно вспомнить, что я, бывший не полный дурачок, мог целый год таскаться по театрам, чтобы глядеть в окошко или щелку... но бог с ними". Через некоторое время (1836 г., в полночь 25-го июня): „Я доволен, что Вы меня не упрекаете насчет театра; это такое большое удовольствие для меня; когда я в театре, я забываю все свои мелкие заботы. Правда, c'est joliment couteux. Теперь у нас много концертов, но я был только на двух Майера (плохие, как всегда), а затем на „Временах года" Гайдена; последние заставили трепетать мое сердце молодого прапорщика; тут моменты, которые придавали мне энергию, радость, но всегда лишь миг... А эта радость, что она больше означает, чем счастье существовать, что скорее означает несчастье; не знаю почему, но прислушиваясь к тенору в этой возвышенной музыке, я вдруг вспомнил Москву и себя в 17 лет". А вот восторги по поводу представления оперы его друга Глинки „Жизнь за царя".



КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (КОСТЯ) БУЛГАКОВ

С акварельного портрета, находящегося в Московском Государственном Историческом Музее

(Воспроизводится впервые)

„Я был при открытии Большого театра, ставили оперу Глинки, вещь замечательную. Публика недовольна и находит оперу скучной, но я, как любитель и как человек дышащий музыкой, должен Вам сказать, что она прекрасно инструментирована". Дальше в том же письме: „Я в восторге, что мы начинаем иметь свою собственную музыку". [1] И в другой раз про эту же оперу: „Каждый раз, как я слышу эту божественную музыку, я плачу, она так трогательна, а меломаны находят ее просто однообразной". Затем письмо, написанное в припадке меланхолии: „Танцы мне не доставляют больше удовольствия как когда-то; я не нахожу на балах никого, с кем я любил бы танцовать или поболтать. Я чувствую, что становлюсь в конце концов светским; московские удовольствия для меня уже не существуют. Достаточно для меня скрипки и свечки, чтобы переживать апогей счастья". [2] И в следующем письме совершенно противоположное настроение: „... Я большой любитель вкусной еды и хороших вин. Были у нас красивые балы, в особенности у Голицыной, замужем за Корсаковым. Это самый удачный бал за всю зиму: изысканная публика, великолепный дом, прекрасная музыка, enfin—все было закончено. Я против обыкновения много веселился и, в доказательство, я много танцовал: одну мазурку, две кадрили, попурри и два вальса—и вернулся домой только в четыре часа". И в конце письма: „Я занимаюсь много музыкой, но не серьезно, в особенности виолончелью, так что в общем мое время прекрасно протекает". [3] Через несколько месяцев: „Я много рисую, но плохо... мое обычное занятие—это музыка, но жалко, что у меня нет достаточно мужества, чтобы серьезно заниматься; по целым дням я пиликаю на виолончеле, играю на рояле, но самое главное, мое пение исчезло; на „походе" я потерял свой голос и кашляю как волк". [4]

„Я кашляю как волк", „je tousse comme un loup"—эта фраза постоянно повторяется в его письмах. Да не только в кашле дело—он эпизодически начинает хворать. Начиная с 1836 г. он лечится у разных докторов. Болезнь пока еще таинственная. Врачи, повидимому, конкретного диагноза ставить не решаются, а тем временем кормят его декоктами и другими лекарствами. На леченье уходят большие деньги; вечные долги; являются бессонницы, болезнь легких, бока и сильные

[1] 2 декабря 1836 г.
[2] 18 января 1837 г.
[3] 7 февраля 1837 г.
[4] 13 мая 1837 г.

головные боли. Он рано ложится, засыпает только к 7 или 8 часам утра. С 1836 г. начинаются зачатки болезни, превратившей постепенно жизнерадостного и одаренного Костю Булгакова в беспомощное парализованное существо, которое катали впоследствии в кресле.

Мне, быть может, будут ставить в упрек, что я удалилась от основной своей темы, приводя в таком количестве письма Кости Булгакова. Но я лично считаю, что эти эпистолярные сведения дают рельефную картину эпохи, служащей фоном к этой работе. Из большого запаса его писем я выбрала только хронологически соответствующие годам, к которым я отношу датировки нашего портрета и знакомства Данзаса с Костей Булгаковым, а именно гг. 1836 и 1837.

К этому промежутку времени, по моему расчету, относится портрет Данзаса. Во-первых: 28 января 1836 г. Константин Карлович Данзас был произведен в подполковники и только начиная с этого года он мог носить ту форму, в которой он изображен на нашем портрете. Во-вторых, про внешность Данзаса в 1837 г. мы знаем из его собственных рассказов, переданных нам Аммосовым в книге „Последние дни жизни и кончина Пушкина". Там мы читаем, что дом умирающего поэта окружала днем и ночью толпа народа, так что Данзас принужден был обратиться в Преображенский полк с просьбой поставить у крыльца часовых. Среди публики находилось и много любопытных, которые осыпали самыми нелепыми вопросами. „Данзас, — пишет в своей книге Аммосов,—был ранен в Турецкую кампанию и носил руку на перевязи.—Не ранен ли он тоже на дуэли Пушкина?—спросил один из этих любопытных господ". [1] Вот внешний облик секунданта Пушкина в день смерти поэта, — точно таким он изображен на нашем портрете.

Познакомился Данзас с Костей Булгаковым, повидимому, после 7 февраля 1837 г., т. е. после того письма, в котором последний извещает отца о смерти Пушкина. Это письмо, как и вся его корреспонденция, находится в рукописном отделе Ленинской библиотеки и никогда еще не было опубликовано; поэтому я приведу целиком все, что имеет отношение к нашей теме:

„...Весь город опечален смертью бедного Пушкина, который умер, как истинный христианин; говорят, что сам просил

[1] Аммосов—„Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина". СПБ., 1863, стр. 37.

о священнике; несмотря на все плохое, что говорили про него, тот нашел, что он был хороший отец и был бы настоящим хорошим супругом, если бы не это бесконечное самолюбие. Мне прислали приглашение на похороны, и действительно, как это было трогательно, все плачут, даже иностранцы; все посольства были, даже M-r de Barante со штатом; говорят, что Даршиак (секундант Геккерена) просил разрешения присутствовать на этой печальной церемонии".

Ни слова про другого секунданта—Константина Карловича Данзаса.

Привожу еще один неопубликованный документ. Это письмо о дуэли Пушкина сестры Кости Булгакова, уже упомянутой статс-дамы Екатерины Александровны Соломирской.

„Zarskojé Selo 29 января.

...У нас обедало несколько человек, [1] между прочим Lambert и Michel Pachkoff, которые рассказали нам ужасную историю про Пушкина писателя (Pouchkine l'auteur). Вы знаете, что Дантес-Геккерн женился на его belle-soeur, только чтобы стать beau-frère'ом Пушкиной, в которую он влюблен уже два или три года. Пушкин, устраивая этот брак со своей свояченицей, надеялся сам покончить приставания Геккерена по отношению к его жене; он сильно ошибся—чувства его теперь еще более росли; кончилось дуэлью, потому что Дантес, безуспешно стараясь смягчить сердце своей belle-soeur, обижал ее супруга, распространяя на его счет бесконечные сплетни, доходившие и до его ушей; дуэль разыгралась вчера. Говорят, что Пушкин серьезно ранен; думают, что не удастся удалить пулю, которая проникла в бедро и остановилась в паху. Дантес легко ранен в руку. Все глубоко жалеют бедного Пушкина и бедную жену de ce cochon de Dantès. Неизвестно, какая настоящая причина для тех волнений, из-за которых вызвана была дуэль; я Вам пишу только то, о чем говорят в городе, но в чем сомневаться нельзя, это то, что бедный Пушкин опасно ранен. Вообразите, что у Пушкина был секундантом Данзас, который у князя Дмитрия Владимировича Голицына служит".

Соломирская, как видим, уверена, что секундантом Пушкина был не Константин Карлович, а московский его брат, Борис Карлович Данзас. Итак, ни Костя Булгаков, ни его сестра не знали Константина Данзаса, несмотря на большое количество

[1] Приезжие из Петербурга.

общих друзей и знакомых. И это отчасти и понятно: в тогдашнее время в великосветское общество имели доступ лишь отпрыски старинных родов с целой вереницей предков. Признавались и представители менее знатного происхождения, но зато с блестящими именами, приобретенными за громкие дипломатические или военные заслуги. Было и несколько домов, в которых в определенные дни принимали не только из-за предков, но из-за общественного положения или людей с художественным именем, как, например, у Константина Яковлевича Булгакова, затем у музыкантов-меценатов Виельгорских [1] или у Федора Толстого [2], le comte-художник, как называет его Костя Булгаков. На приемах у последних преобладали музыканты, артисты, художники или просто ценители искусств.

Поэтому Константин Карлович Данзас, потомок захудалой остзейской дворянской семьи, [3] без высоких чинов, которыми пренебрегал, человек вечно нуждавшийся материально, едва ли бывал на семейных вечерах, официальных приемах и балах великосветской знати, т. е. в том кругу, где вращались статс-дама Соломирская и брат ее, Костя Булгаков. Я полагаю, что после того, как Данзас самоотверженно взял на себя миссию секунданта — а ему по правилам военного суда за это угрожала смерть — и затем после дуэли показал такую трогательную любовь и внимание к умирающему товарищу, глаза всех были обращены на него, и друзья покойного сразу стали и его друзьями. К этому периоду относится, наверно, первая встреча Данзаса с Костей Булгаковым. Между ними было так много общего: оба военные, оба холостяки, оба каламбуристы, оба любители выпить, и поэтому преподне-

---

[1] Граф Матвей Юрьевич Виельгорский, прекрасный виолончелист, композитор, меценат (1794—1866). Его брат, Михаил Юрьевич — музыкант-дилетант, философ, лингвист, меценат (1788—1856).

[2] Граф Федор Толстой, художник медальер и гравер (1783—1873).

[3] „Предки наши были выходцы из Испании (поэтому в их гербе кастильская башня), но потом перешли во Францию и в конце XVIII века старшие два брата Карл и Лотар эмигрировали в Россию; оба поступили на военную службу. Старший, Карл Данзас, командовал полком в Курляндии. Его очень любили и, кажется, он достиг генеральского чина; ему приподнесли матрикул курляндского дворянства". Неизданные воспоминания Татьяны Борисовны Семечкиной, ур. Данзас, племянницы К. К. Данзаса. (Архив ИНЛИ. Ленинград).

16 марта 1803 г. генерал-майор Карл Данзас, отец Константина Карловича Данзаса, был приобщен к русскому дворянству. Свидетельство из комитета курляндских рыцарей. (Архив ИНЛИ. Ленинград).

сение портрета интимного характера с расстегнутым воротом и с надписью: *„К. Булгакову—К. Данзас"*. Они могли познакомиться через Вяземских, Виельгорских, Карамзиных, [1] к которым Костя Булгаков, судя по его письмам, был вхож. Могли они встречаться в продолжение 1837 г. и в начале следующего, так как в 1838 г. Данзас из-за ссоры с начальством был переведен на Кавказ [2] и отсюда через несколько лет в Финляндию; а Костя Булгаков, с 1845 г. в отставке, доживал вторую часть своей жизни в Москве инвалидом.

Если бы не участие в дуэли Пушкина, Данзас принадлежал бы к наиболее незаметным его лицейским товарищам, так как талантами не отличался и происхождением не блистал. Он всю жизнь прослужил, бывал на нескольких войнах, участвовал в боях, но оставался вечным полковником и довольно поздно только получил чин генерала. [3] Судя по скудным дошедшим о нем до нас сведениям, он неоднократно отказывался от теплых и хлебных мест ради сохранения внутренней независимости. Постоянно находился на войне или где-то далеко в стычках с горцами на Кавказе, затем в Финляндии, но редко более продолжительно и оседло в Петербурге. В походах всегда на самых опасных позициях—под обстрелом у персов, турок и у кавказцев. По отзывам современников, весельчак по натуре, каламбурист, [4] с саркастическим складом ума, но ленивый и притворявшийся прожигателем жизни. Каким-то отдаленным байронизмом веет от этого человека, который свою жизнь ни во что не ставил, в боях как будто бы искал забвения, а для вида вел жизнь беззаботно холостяцкую и бонвивана. Вечно бездомный, свою судьбу ни с кем не связывая, он умер, как и жил, холостяком и в бедности. Это было в 1870 г. Хоронили его за счет казны.

---

[1] Карамзин Николай Михайлович (1766—1862)—историк, писатель, преобразователь русского языка.

[2] Данзас был переведен в Тенгинский полк, куда благодаря его хлопотам был назначен М. Ю. Лермонтов.

[3] „Высочайшим приказом, отданным в шестнадцатый день декабря тысяча восемьсот пятьдесят шестого года полковник Данзас за отличие по службе произведен в генерал-майоры с увольнением, согласно прошению, по домашним обстоятельствам от службы с мундиром и пенсионом полного жалованья по восьми сот шестидесяти рублей серебром в год с производством в С.-Петербурге". (Указ об отставке К. К. Данзаса. Архив ИНЛИ. Ленинград).

[4] „Дядя Константин Карлович унаследовал совершенно французский характер, веселый, беззаботный, беспечный, любил шутить и изощрялся в каламбурах". (Неизданные воспоминания Т. Б. Сенечкиной. Архив ИНЛИ. Ленинград).

Я хотела еще указать на то, что надпись на нашем портрете действительно сделана рукой Данзаса. Ее подлинность подтверждает снимок с автографа его, находящегося в Инли в Ленинграде.

Что касается автора портрета, то, к сожалению, мне его определить не удалось. Безусловно, мы тут имеем дело с работой подлинного художника, так как изображение Данзаса передано, хотя эскизно, но смелыми и твердыми штрихами.



ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА СОЛОМИРСКАЯ (РОЖД. БУЛГАКОВА) И ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ СОЛОМИРСКИЙ.

С силуэта, находящегося в Московском Государственном Историческом Музее.

(Воспроизводится впервые).



М. И. Барсуков

П. В. Долгоруков о царской России и о дуэли А. С. Пушкина с Дантесом

(Два письма кн. П. В. Долгорукова к М. П. Погодину. 1865 г.)

В моем архиве сохранились два интересных письма П. В. Долгорукова к М. П. Погодину, которые относятся к 1865 г.

Один из первых эмигрантов царской России, Долгоруков, жил тогда в изгнании в Женеве.

Личность Долгорукова, своеобразного протестанта против самодержавного режима, эмигранта из верхов дворянской аристократии, мало выяснена в нашей исторической печати. Кроме явно недостаточной статьи М. К. Лемке (сначала в „Былом", а затем в его книге „Николаевские жандармы и литература 1826—1855 г.", СПБ., 1909), посвященной биографии Долгорукова до его эмиграции, вообще не существует обзора политической и литературной деятельности Долгорукова. Между тем эта последняя заслуживает некоторого внимания. Долгоруков издал за границей ряд книг и журналов: „Будущность" (1860—1861), „Правдолюбивый" (1862—1863), „Листок", заключающих в себе не мало разоблачений из жизни верхов русского дворянства и бюрократии. Политическая программа Долгорукова, изложенная в его изданиях, характеризует настроение либерального дворянства, мечтавшего после ликвидации крепостного права о завершении царских реформ преобразованием России в конституционную монархию. В одном из своих заграничных журналов Долгоруков писал: „Самый чистый образ правления—республика, самый грязный—монархия. Но нельзя из монархии перейти сразу в республику, нужна демократическая монархия наподобие итальянской и бельгийской".

Долгоруков вел свой род от Рюриковичей и не в шутку считал себя более правоспособным на престол, чем Романовы. Программа его была махрово-дворянской, с необходимыми уступками в сторону нарождавшейся буржуазии и с ярко выраженным, говоря современным языком, фашистским уклоном: Долгоруков хотел и царя оставить и дворян с купцами приставить к власти. Но с наличной династией и ее слугами он находился в резкой вражде: разоблачал их в своих родословных изысканиях, судился с ними в заграничных судах и т. п. Парижский суд признал его однажды

виновным в шантаже по отношению к крупнейшему представителю придворной аристократии, князю Воронцову. Это произвело крайне тяжелое впечатление на тогдашнюю русскую эмиграцию. Тургенев писал по этому поводу Герцену: „Долгоруков нравственно погиб. Ты сделал все, что мог. Надо его было поддержать ради принципа, а теперь предоставь его своей судьбе". А. И. Герцен поддерживал отношения с Долгоруковым, хотя не только относился отрицательно к его политической программе, но и весьма скептически к его личности. В одном письме Герцена можно прочесть: „Долгоруков едет в Лондон, в силу чего я ищу квартиру вне Лондона". Несмотря на это, Герцен, например, пригласил Долгорукова присутствовать при посещении его дома Гарибальди и Мадзини в 1864 г.

О своем классе Долгоруков выражался так: „Царские дворяне и чиновничья орда состоят из худшей, гнилой части русского дворянства. У нас нет аристократии, нет высокого сословия; мы холопы и виноваты сами, потому что отдалились от народа, помогали царям добить народ, выпросили крепостную власть и сами сделались холопами. Дворянство должно слиться с народом; если дворянство будет пытаться стать отдельным сословием и превратиться в олигархию наподобие Польши, то погубит себя и отечество. Если же русское дворянство устремится на открытую дорогу общественного равноправия, то будет иметь влияние несомненное и значительное, основанное на общественном мнении. Выборность, децентрализация и самоуправление—основы государственного строя".

Повторяем, публицистическая деятельность Долгорукова за границей еще совершенно не обследована, и мы надеемся в дальнейших томах нашего сборника опубликовать ряд относящихся сюда материалов и прежде всего выяснить размер и характер литературной деятельности Долгорукова за границей.

Но есть и другой момент в биографии Долгорукова, который давно уже привлек внимание историков. Это—роль, сыгранная Долгоруковым в дуэли А. С. Пушкина с Дантесом. В 1863 г., когда Долгоруков был уже в эмиграции, а русская аристократия с ненавистью вспоминала его имя, вышла брошюра Аммосова „Последние дни и кончина Пушкина", в которой на Долгорукова указывается как на вероятного автора анонимного письма, полученного Пушкиным и послужившего непосредственным поводом роковой дуэли. Долгоруков тотчас же написал опровержение, которое появилось сначала на страницах герценовского „Колокола", 1 августа 1863 г., а затем и в сентябрьской книжке „Современника". Долгоруков старается здесь доказать, что анонимное послание уже потому не может быть приписано ему, что он все время находился в самых лучших отношениях с близкими друзьями Пушкина: Горчаковым, Вяземским, Данзасом, а это было бы невозможно, если бы они считали его автором гнусной провокации. Кроме того, в только что опубликованной и подготовленной к печати А. В. Крестовой „Автобиографии" А. О. Смирновой—современницы А. С. Пушкина (изд. „Мир", 1931 г.)—Россет рассказывает (стр. 299), что после получения многими лицами известных анонимных писем „все единогласно обвиняли банкаля Долгорукова"; он „один способен на подобную гадость", — добавляет А. О. Смирнова.

С тех пор вопрос о действительной роли Долгорукова в дуэли Пушкина не переставал быть предметом внимания пушкинистов. В 1924 г. Б. Л. Модзалевский в своей статье „Кто был автором анонимного пасквиля на Пушкина?" сгруппировал и проанализировал все накопившиеся по этому поводу материалы и пришел к выводу о несомненной виновности Долгорукова. „Именно на Долгорукова,—так заканчивал свое исследование Модзалевский,—по совокупности данных ложится подозрение, подкрепляемое ныне убеждением Соболевского, и пока не будет документально доказано, что

пасквиль писал и составлял кто-либо другой, именно Долгоруков должен считаться автором гнусной интриги, положившей предел цветению светлого гения Пушкина" („Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина" Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. „Атеней", Петербург, 1924 г.)

После того П. Е. Щеголев подверг графическому исследованию почерк анонимного послания и обыкновенный почерк Долгорукова и на основании тщательного изучения пришел к твердому убеждению в тождественности автора анонимки и Долгорукова.

Обоим исследователям остался, однако, неизвестным один документ, который, будучи недостаточен для решительного опровержения выводов Модзалевского и Щеголева, должен все же привлечь внимание исследователей. Этот документ—публикуемое нами письмо Долгорукова к М. П. Погодину от 24/12 декабря 1865 г. Заключающийся в этом письме резкий, можно сказать, бешеный протест Долгорукова против возводимого на него обвинения вызван был примечанием П. И. Бартенева, редактора журнала „Русский архив", к „Воспоминаниям гр. В. А. Сологуба", напечатанным в указанном журнале в 1865 г. На странице 768 этого журнала за указанный год Бартенев процитировал следующие слова Аммосова: „Автором записок (безымянных) Пушкину подозревали барона Гекерна-отца и даже писали об этом графу Бенкендорфу. После смерти Пушкина многие в этом подозревали князя Гагарина (Ивана Сергеевича, ныне иезуита); теперь же подозрение это осталось за жившим тогда вместе с ним князем Петром Владимировичем Долгоруковым (известным под прозванием le bancal). Поводом к подозрению кн. Гагарина в авторстве безымянных писем послужило то, что они были написаны на бумаге одинакового формата с бумагой кн. Гагарина. Но, будучи за границей, Гагарин признался, что записки действительно были писаны на его бумаге, только не им, а князем П. В. Долгоруковым".

Другое из печатаемых нами писем Долгорукова к Погодину интересно характеристикой отношения русского правительства к эмиграции и замечаниями о подготовлявшихся Долгоруковым „Записках". В нем описана также встреча Долгорукова в Швейцарии, в Интерлакене, с „либеральным" министром народного просвещения А. В. Головниным. Эти строки из письма Долгорукова помогают расшифровать одно место в статье А. И. Герцена „Болтовня с дороги", напечатанной в № 203 „Колокола" от 1 сентября 1865 г., в которой Герцен, явно со слов самого Долгорукова, передает эту встречу, умалчивая, однако, о подлинных словах, которыми Долгоруков ответил Головнину, отказавшемуся признать в родовитом эмигранте своего старого знакомого.

Оба письма, как уже указывалось, адресованы М. П. Погодину. Что связывало последнего, историка-реакционера и типичного представителя чиновничьего мира николаевской России с эмигрантом Долгоруковым? Этот вопрос невольно напрашивается сам собой, ибо, уже не говоря о разнице в политических убеждениях, сами сношения с опальным аристократом могли навлечь на Погодина гнев царской полиции. На этот вопрос трудно ответить, но надо здесь отметить, что, повидимому, принимались какие-то меры предосторожности. Так, первое письмо было передано Погодину за границей, а второе, видимо посланное в царскую Россию, осталось не подписанным... По всей вероятности, их связывала только возможность обмениваться историческими материалами, ибо Долгоруков был хранителем ценных исторических документов, а Погодин по своему положению и неоднократно демонстрированным верноподданническим чувствам был вне подозрений со стороны царской охранки.

Письма Долгорукова написаны крайне нервным, неразборчивым почерком на обычной почтовой бумаге.

Письма П. В. Долгорукова

1. Письмо первое [1]

Женева. Saint Jean, Campagne Raisin.
14/2 Октября 1865 г.

Сожалею, милостивый государь Михаил Петрович, что не увижусь с вами и что вы не завернете в Женеву, лишь на три часа езды отстоящую от Лозанны, через которую лежит ваш путь в отечество. Непременно займусь, вследствие вашего письма, розысканием бумаг Веселовского и Вольтера. Охотно сообщил бы вам последствие моих разведок для напечатания в каком-нибудь русском журнале, но как это сделать? Правительство русское до такой степени просвещено и либерально, что не позволяет друзьям и даже родным эмигрантов с нами переписываться открыто. Уж чего Николай Павлович не отличался гуманностью, но по крайней мере он был медведем без притязаний на либерализм: прямо объявил себя медведем и дозволял Александру Тургеневу быть в самых коротких отношениях с братом его, в то время эмигрантом. Ныне не то: сношение с эмигрантами причислено даже для самых близких родных к государственным преступлениям, словно в Бухаре или в Хиве. В прошлом году я послал по почте в Русский архив несколько исторических сведений, разумеется, совершенно чуждых политике современной. Письма в России всегда распечатывали втихомолку, но ныне прогресс достиг и до самых Шпекиных, письмо мое распечатали открыто и возвратили мне по почте же. А что распечатано оно в почтамте, то доказывает вид пакета, мною тщательно сохраненного. Вы видите, что граница Европы находится на Немане и дальше не простирается...

Я приготовляю теперь к печати мои Записки на французском языке. Они будут многотомны, потому что я, как вам известно, многое видел и многое знаю. Начну Записки не с себя, а с моего деда, отца и дядей, потому что есть подробности и анекдоты, которые следует сохранить. Вовсе не преувеличивая своего таланта, полагаю, что мои Записки будут любопытны, вследствие особенности моего положения. Это будет замогильная речь живого человека: стесняться мне нечем; я могу говорить полную истину о всем и о всех; для России

[1] На обороте 4-й страницы подлинника этого письма сделана надпись рукою М. П. Погодина: „Октябрь".

самодержавной, для России рабской я умер, а Россию свободную, конституционную, по правде сказать, не надеюсь увидеть. Лет восемь или десять тому назад я полагал, что в России скоро водворится свобода, но события последних трех лет доказали мне, что русские еще не излечились от чумы, внесенной в нашу кровь монгольским владычеством. Русский человек, подобно французу легкомысленному, храбр на поле битвы, но на поприще гражданском труслив и подл... У француза это в характере; у нас это следы рабства многовекового.

Кстати о монгольстве. Вы вероятно слышали о моей встрече с Головниным в Интерлакене; я ему говорю: „Здравствуйте, Ал. Вас.“, а он мне в ответ: „мы с вами более не знакомы“. Я ему крикнул: „ах! ты подлец!“ А он преспокойно продолжал свой путь. Этот человек мне в старину говаривал свое мнение (самое деликатное) о самых высоких лицах в России, а сделавшись министром, вздумал от меня отвернуться. В моих Записках я выведу на свежую воду этого деспота, прикрывающего себя личиною любителя свободы: из Головнина можно выкроить двух Робеспьеров, да еще обрезки останутся...

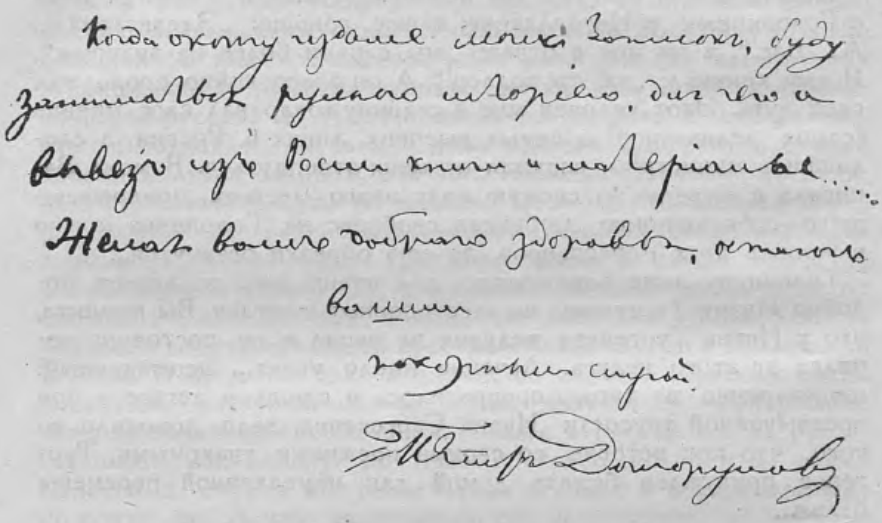
Головнину даже невозможно, для извинения, ссылаться, подобно Ивану Тургеневу, на расстроенный желудок. Вы помните, что у Ивана Тургенева желудок не варил и он постоянно лечился от этого недуга. Лечение имело успех... неожиданный: пищеварение из тугого превратилось в слишком легкое и при чрезвычайной трусости Ивана Сергеевича, дело доходило до того, что при встрече со своими прежними знакомыми, Тургенев принужден бежать домой для немедленной перемены белья...

Вот вам еще монгольский анекдот. Рядом с занимаемою мною дачею, находится другая, более обширная, принадлежащая тому же самому хозяину, но с отдельным садом, отдельным двором и совершенно отдельным входом. Эту дачу хотела нанять и сторговала за 4500 франков в год графиня Стенбок, жена моего старого товарища по пажескому корпусу, гофмейстера графа Юлия Стенбока. Муж ее, в Женеве не находящийся, узнает, что я живу рядом с этой дачею, и по телеграфу присылает своей жене з а п р е щ е н и е нанимать дачу, смежную с моею. Пришлось графине уничтожить написанное условие, и ее холопское сиятельство должна была доплатить г-ну Raisin полторы тысячи франков отступного. Правда, что супруг ее управляет удельными имениями, а потому за деньгу не постоит... Вы легко можете понять, какой хохот по всей Женеве при известии о холопском поступке русского графа...

Когда окончу издание моих Записок, буду заниматься русскою историею, для чего и вывез из России книги и материалы...

Желаю вам доброго здоровья, остаюсь вашим покорным слугой.

Петр Долгоруков.

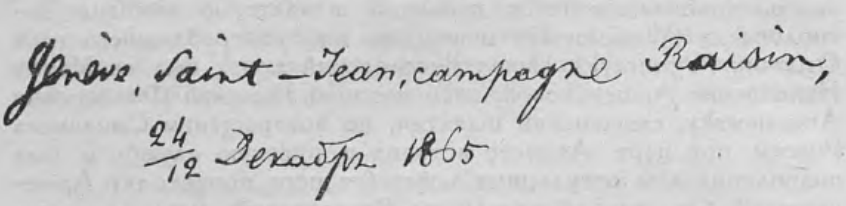


Веселовский Авраам — русский дипломат восемнадцатого столетия. Был замешан в деле Алексея Петровича, сына Петра I, бежал за границу, где и умер.

Тургенев Александр — брат известного декабриста Николая Тургенева, который свыше сорока лет провел за границей в качестве эмигранта. Александр Тургенев был видным чиновником в эпоху Александра I—директор департамента главного управления духовных дел иностранных вероисповеданий, статс-секретарь Государственного совета и т. д. Во время Николая I работал за границей по собиранию русских архивов. Очень любил своего брата-эмигранта, состоял с ним в переписке и материально ему помогал.

Головнин, Александр Васильевич (1821—1886)—чиновник морского министерства, с 1861 до 1866 г. министр народного просвещения, впоследствии член Государственного совета. Лидер кружка либеральных бюрократов, группировавшихся вокруг великого князя Константина Николаевича.

2. Письмо второе



Genève, Saint-Jean, campagne Raisin 24/12 декабря 1865 [1]

Милостивый Государь Михаил Петрович, согласно данному мною Вам обещанию, я искал здесь бумаги Веселовского и Вольтера в Публичной библиотеке и обрел—шиш! Вольтера бумаги остались все у его племянницы madame Denis и увезены во Францию. Веселовского здесь бумаг нет никаких, но весьма быть может и даже вероятно, что есть в Англии, у его потомков по женскому колену. Вот сведения о Веселовском (Авраам Павлович).

Он женился в Женеве на Мариане Фабри (Fabri) и умер в Женеве в 1782 г. 97 лет от роду (родился в 1685 году).

У него было четыре дочери, из коих три старшие были замужем.

1) Екатерина за женевцем (Philibert Cramer), она вышла замуж 15 сентября 1766 г.; овдовела в 1779 году и, как вещает предание, зело п о г у л я л а на своем веку. От нее существуют потомки, но бумаг никаких не имеют.

2) Райнария (Renée) за англичанином, пастором Simpkinson. Сын ее John Simpkinson оставил сыновей и дочь Марию-Луизу, вышедшую за James Dixon. Этой-то Renée Веселовской, по мужу Simpkinson, достались вещи отца ее и в том числе табакерка, подаренная Петром I Аврааму Веселовскому после битвы Полтавской. Вещи эти вероятно находятся у старшего внука г-жи Симпкинсон в Англии. Очень вероятно, что у него есть и бумаги предка:—обратитесь к нему.

3) Мария за англичанином Clisson. Есть потомство.

Теперь вот вам сведения о Веселовских из моего домашнего архива.

---

[1] На подлиннике рукою М. П. Погодина на первой странице этого письма, сейчас же под датой, сделана карандашная надпись: „Князя П. В. Долгорукого".

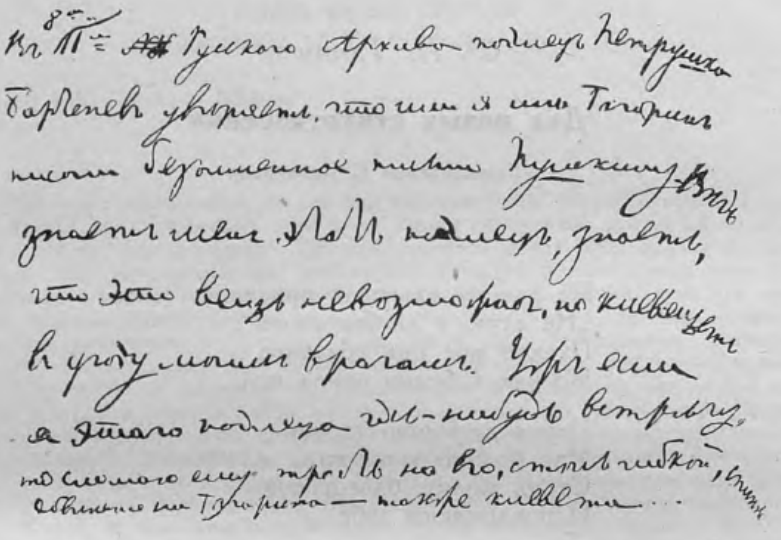
Павел Веселовский был родственник вице-канцлеру барону Шафирову, и подобно ему, был сыном крещенного еврея польского, приписавшегося к польской шляхетской фамилии Весиоловских (Wesiolovski) и подобно им, употреблявшего герб Огончик (Ogonczyk). Павел Веселовский женат был на Марии Николаевне Аршеневской, отец которой, Николай Феодорович Arszenewsky, смоленский шляхтич, по возвращении Смоленска России при царе Алексее вступил в русскую службу и был подполковником регулярных войск (от него происходят Аршеневские). От этого брака Павел Веселовский имел 3-х сыновей:—Авраама, Исаака и Федора. Овдовев, Павел Веселовский женился вторично, но на ком не знаю, и от 2-го брака имел 2-х дочерей:—одну за Дурновым, другую за Щепотьевым.

Вчера получил я 46 № Современной Летописи и вижу (стр. 12), что сумасшедший Хавский уверяет, будто закон о престолонаследии сочинен Павлом в 1788 году с согласия (!!!) Екатерины! Граф Петр Александрович Толстой, бывший генерал-адъютант Павла, рассказывал мне слышанное им уже в царствование Александра I от двух лиц весьма друг другу враждебных, но одинаково хорошо имевших средство знать придворные секреты, а именно от Вас. Степ. Попова, правителя канцелярии Потемкина, и от графа Кутайсова, что если бы не умер Потемкин, то Александр Павлович по достижении 16-ти летнего возраста, был бы объявлен наследником, а Павла бы Екатерина и Потемкин принудили к отречению от престола в таком случае, что при его трусости, было весьма возможным. Он же рассказывал мне, что в Сенате и в Синоде лежали какие-то запечатанные пакеты, коих содержание ему, графу Толстому, было и осталось неизвестным, и что было приказание вскрыть эти пакеты в день смерти Екатерины. Об этом Безбородко уведомил Павла пока еще Екатерина лежала в своем продолжительном предсмертном хрипении; пакеты были тотчас вытребованы Павлом; генерал-прокурор граф Самойлов отставлен и заменен братом Павлова друга кн. Алексеем Куракиным, а Безбородко осыпан наградами. Вспомните место из записок Растопчина, где он описывает, с каким трепетом Безбородко вошел к докладу у Павла и с каким торжеством вышел...

В 8-м и 11-м №№ Русского Архива подлец Петрушка Бартенев уверяет, что или я или Гагарин писали безыменное письмо Пушкину. Ведь знает меня этот подлец, знает, что это вещь невозможная, но клевещет в угоду моим врагам. Уж если я этого подлеца где-нибудь встречу, то сломаю ему трость на

его, столь гибкой, спине... Обвинение на Гагарина—также клевета...

Вы, Михаил Петрович, один из главнейших членов Московского Общества Истории и Древностей, издающего эти превосходнейшие Чтения, один из самых драгоценных материалов для русской истории. Как же Вашему Обществу не стыдно,



что оно доселе не устроит, чтобы на Чтения можно было за границей подписываться, точно как на русские журналы, или в Берлине, или в Гейдельберге, или в Базеле?.. Досель я получаю „Чтения“ через одного из заграничных книгопродавцев раз в год.

Усердно кланяюсь и полагаю, что без подписи угадаете имя мое?

Ф. И. Тютчев

Два новых стихотворения

Комментарии Е. Казанович

I

Не раз ты слышала признанье:
„Не стою я любви твоей".
Пускай мое она созданье —
Но как я беден перед ней...

Перед любовию твоею
Мне больно вспомнить о себе —
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюся тебе...

Когда, порой, так умиленно,
С такою верой и мольбой
Невольно клонишь ты колено
Пред колыбелью дорогой,

Где спит *она* — твое рожденье,
Твой безимянный херувим —
Пойми жь и ты мое смиренье
Пред сердцем любящим твоим.

[Конец мая — начало июня
1851 г.]

II

СПИРИТИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ

Дни настают борьбы и торжества,
Достигнет Русь завещанных границ,
И будет старая Москва
Новейшею из трех Ее столиц.

[Конец 1853 — начало 1854 г.]

1

Это — два неизвестных до сих пор стихотворения Тютчева, новых лишь по детализации известных уже и не новых настроений и мыслей поэта. Если тот род стихотворений Тютчева, который может быть назван космическим или онтологическим, отличается большим разнообразием художественных оттенков, красок, образов и оформляющей мысли; если его лирика, вдохновляемая разными женскими образами, богато отражает вызванные ими различные, не похожие одно на другое, переживания, соответственно воплощенные; если стихотворения «на случай» так же отличны друг от друга по форме и содержанию, как и вызвавшие их случаи, — есть два цикла стихотворений Тютчева, в которых его, обыкновенно легко и свободно парящая муза чувствовала свои крылья связанными; это—часть стихотворений, посвященных Е. Д. Денисьевой и написанных Тютчевым при ее жизни, и те политические стихотворения поэта, которые теми или иными словами выражают его славянофильские чувства и его излюбленную мысль о провиденциальной роли России в будущем великом всеславянском царстве. В противность всем остальным произведениям Тютчева, содержание стихотворений обоих этих циклов вращается в каком-то заколдованном круге одной и той же мысли, одного и того же чувства, одних и тех же настроений или бессильно топчется на месте, и поэт как бы не имеет воли и власти переступить за предельную черту; в них сразу бросается в глаза связанность Тютчева своим материалом, подчиненность ему, творческое бессилие вырваться из оков прочно завладевших им чувства и настроения (в первом случае), и мысли (во втором), свободно и властно подойти как к самой теме, так и к ее оформлению. Что-то беспомощное и подавленное звучит в интонациях и в самых образах стихотворений, непосредственно обращенных к Денисьевой, какой-то однажды усвоенный штамп лежит на славянофильских стихотворениях Тютчева. И причину этого надо видеть в неподвижной и мертвящей его, очевидно, теме, оказавшейся сильнее его живого вдохновения.

Попытаемся вскрыть причину этого явления, для чего обратимся к рассмотрению фактов, его обусловливающих, причем нам неизбежно придется коснуться некоторых биографических подробностей, именно — отношений Тютчева к Денисьевой, поскольку они наложили свой отпечаток на часть его творчества; как бы ни были интимны эти подробности, они не должны быть отметаемы, если только они могут способствовать объяснению хотя бы нескольких случаев в творчестве поэта.

До недавнего времени фактический материал об Е. А. Денисьевой, об отношениях к ней Тютчева и о «роковом» характере этих отношений был очень скуден; немногие исследователи, касавшиеся этого предмета, основывали свои выводы главным образом на самообличительных признаниях самого поэта, причем ими не делалось даже и попыток вскрыть реальный характер, бытовую обстановку и психологическую основу взаимоотношений Тютчева и Денисьевой, сопоставить эти две индивидуальности в их союзе, а между тем только все эти условия, вместе взятые, и сделали страсть их неизбежно безнадежной и роковой, по крайней мере для одной из них, а с другой стороны — они же вызвали в творчестве Тютчева отмеченные нами черты. Исходя из известных стихотворений Тютчева, Е. А. Денисьева рисовалась нам обыкновенно женщиной безграничной, бескорыстной и самоотверженной любви («Так пламенно, так горячо любившей наперекор и людям, и судьбе»), принесшей в жертву своему чувству и вызвавшему его человеку и свое имя, и свою жизнь («Я стражду, не живу... им, им одним живу я»), женщины, осмелившейся преступить в борьбе за свободу чувства закон окружавшего ее общества («... свой подвиг совершившей весь до конца в отчаянной борьбе»), но не выдержавшей павшего на нее бремени отчуждения и презрения. («Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была и незаслуженным позором на жизнь ее она легла!..»), и недостаточно поддержанной в своем чувстве тем, кому она собою пожертвовала («Он мерит воздух мне так бережно и скудно... Не мерят так и лютому врагу. — Ох, я дышу еще болезненно и трудно, могу дышать, но жить уж не могу»). Таков трогательный идеальный образ, созданный волшебным пером поэта. Теперь попробуем взглянуть на него в более нелицеприятном освещении фактов, и тогда для нас, может быть, несколько разъяснится та связанность и подавленность поэта в некоторой части его творчества, о которых было уже говорено. Материалом для нас будут служить главным образом фактические сведения о Денисьевой, сообщаемые Г. И. Чулковым, [1] и кроме того некоторые не опубликованные и изустные источники, которые можно рассматривать как дополнения к сообщаемым Чулковым сведениям.

Из составленной на основании семейных рассказов записки внучек Е. А. Денисьевой и Ф. И. Тютчева — Надежды Федоровны Тютчевой и Елены Федоровны Гирс, передавших в б. Пушкинский дом (ныне Институт новой русской литературы — Инли) при этой записке первое из приведенных здесь стихотворений, — мы узнаем, что Тютчев увез ее, тогда еще молодую девушку, блещущую жизнью, здоровьем и всеми прелестями молодости, с какого-то бала, а вскоре после того — за границу, где Е. А. Денисьева проводила большую часть своей последующей жизни и откуда она окончательно вернулась незадолго до своей смерти (4 августа 1864 г.) на родину уже в последних градусах чахотки. От них же мы слышали семейное предание о том, что за границей брак их был как-то гражданski оформлен, и, наконец, рассказ из другого источника передает, что Е. А. Денисьева, тяготясь своим нелегальным положением в России, не раз настаивала на том, чтобы Тютчев развелся с женой и обвенчался с нею, а когда Тютчев ей в этом отказывал, требовала хотя бы внешнего засвидетельствования их связи путем печатного посвящения ей собрания своих стихотворений; о последнем, как мы увидим ниже, говорит и сам Тютчев.

---

[1] Георгий Чулков — «Последняя любовь Тютчева». М., 1928. Изд. М. и С. Сабашниковых.

Такова бытовая часть картины, взятой в общих чертах; не менее интересен для нашей цели ее психологический фон. Безвестная сирота, бедная имущественно и незаметная по положению, [1] воспитанница скромной институтской классной дамы, своей тетки (позже — инспектрисы, что мало чем отличалось по существу), случайно встречает на своем пути человека видного, блестящего, известного далеко за пределами узкой институтской среды, где воспитывались и его дочери, и даже за пределами придворных сфер (высших в мире почти для каждой институтки того времени), немолодого, поэта, славившегося своим умом и острословием; не мудрено, что романтическое воображение институтки увлеклось не только завидным положением героини романа, покорительницы сердца такого необычайного в ее среде человека, но неудержимо понеслось дальше, рисуя себе впереди розы любви, блеска, славы... Но чем прекраснее были розы воображения, тем острее оказались шипы жизни: поэт мог дать ей только свою любовь и поклонение — «стою, молчу, благоговею и поклоняюся тебе...». Это было хорошо на первое время, но в дальнейшем переставало удовлетворять, так как не могло служить оплотом против уколов жизни и собственного чувства; и вот в душе страстной, но слабой, недостаточно умственно развитой и духовно мужественной, недостаточно гордой, наконец, женщины, не могшей подняться над создавшимся при ее участии положением, ответить презрением на презрение толпы и тем превратить светский позор себе в славу, — наступил разлад: с одной стороны — «мой боженька», «им, им одним живу я», с другой — требования, ничего общего с чувством не имеющие: печатного посвящения стихов, формально развода с женой, брака, хотя бы гражданского, за границей. Как должно было все это отзываться на таком же страстном по темпераменту, но тоже слабом, безвольном, крайне нервном, неустойчивом, болезненно-впечатлительном физическом и духовном организме поэта? «Вы знаете, как я всегда гнушался этими мнимо-поэтическими профанациями внутреннего чувства, этою постыдною выставкою напоказ своих язв сердечных»,—пишет Тютчев. [2] «Боже мой, боже мой! Да что общего между стихами, прозой, литературой, целым внешним миром и тем... страшным, невыразимо-невыносимым, что у меня в эту самую минуту в душе происходит... Вы знаете, как при всей своей высоко поэтической натуре или, лучше сказать, благодаря ей она в грош не ставила стихов, даже и моих, и только те из них ей нравились, где выражалась моя любовь к ней, выражалась гласно и во всеуслышание. Вот чем она дорожила, чтобы целый мир узнал, чем она для меня: в этом заключалось ее высшее, не то что наслаждение, но душевное требование, жизненное условие души ее... Я помню, раз как то в Бадене, гуляя, она заговорила о желании своем, чтобы я серьезно занялся вторичным изданием моих стихов, и так мило, с такою любовью созналась, что как отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя (не имя, которого она не любила, н о о н а), [2] и что же — поверите ли вы этому? — вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю почему, высказал ей какое то несогласие, нерасположение, мне как то показалось, что с ее стороны подобное требование н е с о в с е м в е л и к о д у ш н о, [3] что, зная, до какой степени я весь ее («ты мой собственный», как она говорила), ей нечего, незачем было желать и еще других печатных заявлений, кото-

[1] Отец ее «разорился и жил где-то в провинции, служа исправником». Ч у л к о в, назв. соч., стр. 34.

[2] Г. Ч у л к о в, назв. соч., стр. 55 — 56.

[3] Разрядка по назв. соч. Г. Чулкова.

рыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности. За этим последовала одна из тех сцен, слишком вам известных, которые все больше и больше подтачивали ее жизнь и довели нас — ее до Волкова поля, а меня — до чего то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке».

Каждое слово этого признания, сглаженное извиняющими оговорками и смягченное в своем реальном значении, знаменательно: помимо того, что оно объясняет происхождение тех стихотворений Тютчева, которые поражают всякого свежего читателя беспощадной откровенностью своего самобичевания и даже самоунижения, признание это, сделанное уже после смерти Денисьевой лицу, к ней близко стоявшему, несомненно имевшее, вместе с простой передачей фактов, намерение оправдать ее и казнить себя, ярко вскрывает тот характер подавленности и горького безволия, которым отличалось чувство Тютчева к Денисьевой на протяжении десятка слишком лет, и ряд вызванных им стихотворений.

Если вдуматься и отнестись беспристрастно к мелким на первый взгляд фактам, сообщаемым в процитированном отрывке, они окажутся чрезвычайно показательными и будут говорить сами за себя. Даже Тютчев, при всем деликатном желании скрыть свое внутреннее отношение к факту и истинную причину своего сопротивления ему, не смог удержать невольно сорвавшегося определения не совсем великодушным требования, которое могло совершенно бесцельно огорчить или оскорбить другие, ни в чем не повинные личности (разумея под последними, вероятно, свою жену и детей), не говоря уже о том, что требование это могло оскорбить поэта в самом Тютчеве, так как вызвано было не интересом и любовью к его творчеству, а только чем-то близким к чисто-женскому тщеславию («чтобы целый мир узнал»), ибо Денисьева, как мы только что услышали, стихов его вовсе не понимала и не ценила. Тютчев не мог не чувствовать разницы между героизмом и полной достоинства сдержанностью другой женщины, тоже любящей, но сильной и гордой — второй жены своей, Эрнестины Федоровны, названной им своим «земным провидением» — и тем страдальчески-судорожным, ревниво-страстным, полуфизическим, полуэгоистическим, не свободно одаряющим, а как бы платящим за что-то чувством, на которое только и способна была, повидимому, Денисьева. Как человек нервный впечатлительный, слабый волею, в житейских отношениях пассивный и беспомощный, поставленный роком между этими двумя диаметрально-противоположными женскими натурами, Тютчев не мог принять ни одного твердого решения: каялся перед одной, исповедывался другой, там и здесь ограничивался полумерами и, не умея найти настоящего выхода, бился чувствами и мыслью, «как подстреленная птица», в одну и ту же точку самобичевания и самоунижения. Потому и публикуемое здесь стихотворение его, далеко не лучшее из всех, Е. А. Денисьевой посвященных, написанное если не по прямому заказу, то как вошедший в обычай именинный или ко дню рождения подарок, отвечавший вкусам того, кому предназначался, только повторяет известный уже мотив вынужденного признания своей духовной слабости — «не стою я любви твоей», смиренья — «пойми ж и ты мое смиренье пред сердцем любящим твоим» и поклонения им самим созданному кумиру — «стою, молчу, благоговею и поклоняюся тебе...» В нем не чувствуется даже и признака того вдохновения и творческой силы, которые проглядывают в отдельных местах других стихотворений Тютчева на ту же тему; только вялый перепев старой песни, безучастное переложение прозаической речи в ритмованную и рифмованную.

Лишь после смерти Денисьевой, когда острота непосредственного ощущения ее личности, со всем больным и надломленным, что в нем было, пе-

решла в поэтическую резиньяцию, Тютчев освободился от плена давящих его чувств и вернул себе свободу вдохновения; благодарная память сохранила поэту только все лучшее, чем дарила его отбушевавшая уже страсть, и, преображенный венцом смерти, образ отстрадавшей свое женщины вызвал лучшие из всей его любовной лирики по своей чистоте, глубине и интимности звуки. [1]

2

Вопрос о втором из отмеченных нами вначале циклов стихотворений Тютчева значительно сложнее и для своего окончательного решения потребовал бы рассмотрения политической идеологии Тютчева в связи со всем его миросозерцанием. Здесь мы этим заняться не можем, так как задача настоящей заметки значительно скромнее и уже: дать комментарий к двум новым стихотворениям Тютчева; поэтому мы ограничимся только справкой, помогающей приурочить это стихотворение к определенному историческому моменту.

Четверостишие «Спиритистическое Предсказание» относится ко времени начала Крымской кампании, когда Тютчев особенно увлекался спиритизмом, правильнее сказать — той отраслью его, которая называлась в обыденной речи «столоверчением», и искал у двигающихся столов ответа на особенно захватывавшие его в те годы вопросы об исходе кампании и о будущей судьбе России. Об этом увлечении поэта мы знаем из разных печатных источников, и более подробно — из дневника А. Ф. Тютчевой-Аксаковой. «Отец провел у меня вчерашний день, — записывает Анна Федоровна под 14 ноября 1853 года. [2] — Он с головой увлечен столами, не только вертящимися, но и пророчествующими. Его медиум находится в общении с душой Константина Черкасского... ...Теперь эта душа, став православной и патриотичной, проповедует крестовый поход и предвещает торжество сла-

---

[1] Здесь кстати будет заметить, что число стихотворений Тютчева, посвященных Е. А. Денисьевой и собранных вместе в упомянутой книге Г. И. Чулкова, могло бы быть, вероятно, несколько увеличено, так как некоторые из не вошедших в него стихотворений Тютчева навеяны, можно думать, ее же образом, как, например: «Она сидела на полу...», «Две силы есть, две роковые силы...», «Сияет солнце, воды блещут...» Два первых стихотворения относятся нами к Денисьевой предположительно, но последнее несомненно имело в виду ее и было ей подарено в автографе, также переданном в быв. Пушкинский дом ее внучками, к сожалению, с оборванными первыми тремя строками и — если оно было — заглавием; внизу Тютчевым проставлена дата: «Каменный остров, 28 июля».

Если считать, что у Е. А. Денисьевой была только одна дочь, Елена (только о ней одной пока в литературе имеются сведения), то помещенное в начале статьи стихотворение датируется очень легко: первыми днями после рождения этой дочери (р. 20 мая 1851 г., ум. 2 мая 1865 г.), еще до ее крещения, так как в стихотворении дочь эта названа «безымянным херувимом». На обороте автографа начальная (судя по запятой в конце ее) строка еще какого-то, задуманного Тютчевым стихотворения, неизвестно к какому времени относящаяся, потому что она писана другими чернилами и другим, более мелким почерком:

«Души моей ты горесть и любовь».

[2] «При дворе двух императоров», Москва, 1928. Изд. М. и С. Сабашниковых, стр. 128.

вянской идеи. Странно то, что дух этого стола как две капли воды похож на дух моего отца: та же политическая точка зрения, та же игра воображения, тот же слог. Этот стол очень остроумный, очень вдохновенный, но его правдивость и искренность возбуждают во мне некоторые сомнения...». А в другом месте, под 16/18 апреля 1854 г.: [1] «Мой отец находится в состоянии крайнего возбуждения, он весь погружен в предсказания своего стола, который по поводу восточного вопроса и возникающей войны делает множество откровений, как две капли воды похожих на собственные мысли моего отца. Стол говорит, что восточный вопрос будет тянуться 43 года, что он разрешится только в 1897 г., когда потомок теперешнего императора вступит на константинопольский престол...» и т. д. Четверостишие наше [2] могло быть написано в промежутке между этими двумя записями дневника Анны Федоровны, т. е. между ноябрем 1853 г. и апрелем 1854 г., скорее ближе к последнему, когда начались военные действия на Дунае, вначале удачные для русской армии; на это последнее обстоятельство как будто намекает и первая строка четверостишия: «Дни настают борьбы и торжества...»; какие для России «завещанные границы» разумел Тютчев во второй строке — известно из его стихотворения «Русская география».

Четверостишие «Спиритистическое Предсказание» является, повидимому, не чем иным, как записью одного из «откровений» магического стола Тютчева, делавшихся им во множестве, по свидетельству Анны Федоровны, и «как две капли воды похожих на собственные мысли» Тютчева.

Заметим, что подобно тому, как вертящийся стол был послушен Тютчеву, сам поэт был рабски послушен идее русского славянофильства и, приняв на себя однажды роль ее глашатая и пророка, добросовестно выполнял ее, не внеся, однако, в нее ни одного нового слова и ни одной поправки от себя. Потому и «спиритистическое» четверостишие дает только еще один вариант того, что Тютчевым высказывалось не раз в другое время и при других обстоятельствах.



[1] «При дворе двух императоров», Москва, 1928. Изд. М. и С. Сабашниковых, стр. 135 — 136.

[2] Автограф быв. Пушкинского дома (ныне ИНЛИ). Дашковское собрание.

Николай Васильевич

Здравствуйте имею честь увидомить
Вас что не у вас Климентий Осипович
я был в Троицы и не изумился
его там неувидел и Кирилл Цыганов
сказывал что и он невидался с
ним что он отпоил куда то ушел
вдруг Куда он я вину что головой
которую получил был отвлечен
изустно дошел он не в том виду
встретившись с в поле подхватил
к деревне и и полюбившись возвратил
с ним для написания записки за
карандаша в кармане тем небыл
я ему объяснив что мы осенью с
Старичковым отсаковым собираемся в
утро к Николаю Васильевичу по
жилой дороге теперь не видя ет
Климентий Осипович переимущим
каторжей и хочет ехать с
вами или нынче к Троицы
как сказано в записке то в понедельник
будь по сю. мы все поедем тоже в
Тройцу. Тамъ встретимся утроим
нашем возвратимся в город На вам

АВТОГРАФ Н. В. ГОГОЛЯ

Будь спутанно и перепутанно
Известие тем ли о ~~обманном~~
о Клеменции Осиповне так дурно
с ней, будете ли вы дома сегодня
завтра. потому что если сегодня
то завтра, я и старик Аксаков,
страждущий нетерпением с вами поря
хотящий здесь их вам. Пожалуйста
и сію минуту по тем ещё свет
ут тройцы где умеет ест небольшое
дно

Ваш весь

до гроба

Передайте душевный поклон
супругѣ и сестрицѣ

з архива Н. И. Тютчева

ся впервые)



Н. В. Гоголь

Неизданное письмо

Комментарии К. Пигарева

Печатаемое ниже неизданное письмо Гоголя обращено к Николаю Васильевичу Путяте. Когда и где познакомился он с Гоголем — неизвестно. Единственное упоминание о Гоголе в бумагах Путяты—это заметка в его заграничном дневнике 1836 г.: Аахен, 25 июня—„Встреча с Гоголем" (Мурановский архив). В подмосковной усадьбе (музее) Мураново, принадлежавшей жене Н. В. Путяты, показывают в верхнем этаже дома комнату, в которой останавливался Гоголь. По семейным рассказам, он приезжал вместе с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым; последний был соседом Путяты: ему принадлежало — неподалеку от Муранова — Абрамцево. Страстный рыболов, он зачастую приезжал с вечера, а рано поутру отправлялся удить рыбу в мурановском пруду, том самом „ясном, чистом" пруду, который воспет в посвященных Муранову стихах Боратынского. В этом пруду, кстати сказать, водились судаки — приманка для всей округи, —посаженные еще Боратынским и его тестем Л. Н. Энгельгардтом. Дочь Н. В. Путяты, О. Н. Тютчева, вспоминала Сергея Тимофеевича с его удочкой — неподвижного и сосредоточенного — на берегу мурановского пруда. До сих пор почему-то считалось, что именно Аксаков познакомил Н. В. Путяту с Гоголем и привозил последнего в Мураново. На деле, как свидетельствует следующее письмо Гоголя, [1] оказывается обратное.

Здѣлаите милость увѣдомте Николай Васильчъ [2] у васъ или не у васъ Клементій Осиповичъ. Я былъ в Тройцѣ и къ изумленью его тамъ не увидѣлъ. Княжна Циціанова сказывала что и она невидала его и что онъ оттоле куда то уѣхалъ вдругъ. Изъ сего я вижу что человѣкъ которому порученъ былъ отвѣтъ изустно донесъ его не въ томъ видѣ. Встрѣтивши его в полѣ подъѣзжавши къ деревнѣ и полѣнившись возвратиться съ нимъ для написанья записки (а карандаша в кар-

[1] В письме сохранена орфография и пунктуация Н. В. Гоголя.
[2] Слова „Николай Васильчъ" вписаны над строкой.

манѣ тоже не было) я ему объяснилъ что мы дескать съ Старикомъ Аксаковымъ собирались все утро къ Николаю Васильевичу, но мѣшалъ дождь. Теперь же видя что Клементій Осиповичъ перемѣнил [желание ехать] намѣреніе и хочетъ ѣхать съ вами (или итти пѣшком къ Троицѣ какъ сказано въ запискѣ) то въ такомъ случаѣ будь по его. Мы все поедемъ тоже въ Тройцу. Тамъ встрѣтимся и устроимъ нащетъ возврата въ городъ. Но все какъ видно спуталось и перепуталось. Извѣстите меня какъ [о себѣ такъ] о Клементіѣ Осиповичѣ такъ равно и о себѣ, будете ли вы дома сегодня и завтра. Потому что если не сегодня то завтра, я и старикъ Аксаковъ сгорающій нетерпѣньемъ съ вами познакомиться, ѣдемъ къ вамъ. Поѣхали бъ сію минуту но ждемъ еще извѣстья изъ Тройцы гдѣ у меня есть небольшое дѣло.

вашъ весь

Н. Гоголь

Передайте душевный поклонъ супругѣ и сестрицѣ

На обороте: „Николаю Васильевичу Путяте отъ Гоголя".

Печатается по подлиннику, принадлежащему Н. И. Тютчеву.

Клементий Осипович—майор К. О. Россет (1811—1866), брат Александры Осиповны Смирновой, общий знакомец Гоголя, Аксакова и Путяты.

Княжна Цицианова—вероятно, неоднократно упоминаемая в „Записках" А. О. Смирновой (изд. „Федерация", 1929) „тетушка". Она была монахиней и умерла в 1859 году. Имя ее не удалось разыскать в наших родословных сборниках. А. О. Смирнова приходилась ей внучатой племянницей, так как „тетушка" была сестрой ее бабушки, Екатерины Евсеевны Лорер, рожд. Цициановой.

Супруга — Софья Львовна Путята, рожд. Энгельгардт (р. 31 марта 1811 г., ум. 27 октября 1884 г.)

Сестрица — Анна Васильевна Путята (р. 22 января 1810, ум. 22 октября 1880 г.)

Письмо это следует отнести к 1849 году. В этом году, в августе, Гоголь впервые посетил Абрамцево; много гулял по окрестностям, собирал грибы, восемнадцатого числа вечером читал семье Аксаковых первую главу второго тома „Мертвых душ". [1] Вторично он приехал в Абрамцево в том же году в конце августа и прожил до шестого сентября. Однако, вряд ли письмо относится именно к этому приезду его в Абрамцево. Аксаков впоследствии вспоминал, что в этот свой приезд Гоголь „до обеда два раза выходил гулять, а остальном время работал." [2] Правда, о поездке к Троице в 1849 г.

[1] См. С. Т. Аксаков—„История моего знакомства с Гоголем". „Русский архив", 1890, № 8, стр. 186.

[2] Ibid., стр. 188.

Аксаков вовсе не упоминает в своих воспоминаниях о Гоголе, но письмо не могло быть написано позже 1849 г. В 1850 году С. Т. Аксаков подарил Н. В. Путяте „на память приятного знакомства" свои „Записки об уженье" (Москва, 1847). Несколько церемонная надпись свидетельствует о *недавнем* знакомстве. Гоголь в 1850 году в Абрамцеве не был. Содержание же письма, в особенности строки „встретивши его в п о л е, подъезжавши к д е р е в н е", определенно указывает на то, что оно написано оттуда.

У С. Т. Аксакова, „сгоравшего нетерпением" познакомиться с Н. В. Путятой, вскоре установились приятельские отношения с последним. Все свои произведения Аксаков дарил соседу с самыми дружескими посвящениями. В мурановском архиве хранится одно письмо „старика Аксакова" к Путяте, а также несколько писем к нему Константина Аксакова. Из них видно, что соседи видались очень часто. Все эти материалы подготовляются к печати вместе с другими бумагами Н. В. Путяты.

Н. П. Огарев

Письма к Т. Н. Грановскому, А. И. Герцену и М. Ф. Корш

Сообщил и комментировал *Н. М. Мендельсон*

Печатаемые ниже письма Н. П. Огарева хранятся в подотделе новых рукописей Публичной Библиотеки СССР им. Ленина и принадлежат к числу сравнительно недавних ее приобретений. Они поступили от Е. В. Герье вместе с теми материалами о Герцене, которые вышли в свет в 1927 году, как один из выпусков „Трудов Публичной Библиотеки им. Ленина". [1] В семью Герье эти материалы о Герцене и Огареве попали, несомненно, от М. Ф. Корш и А. В. и Е. К. Станкевич.

Большинство писем адресовано Т. Н. Грановскому—одному или совместно с кем-нибудь из московских приятелей. Только два письма обращены к А. И. Герцену и одно к М. Ф. Корш. Таким образом сообщаемый нами новый эпистолярный материал относится почти исключительно к истории отношений Огарева и Грановского.

Эту историю рассказал М. О. Гершензон, доведя повествование до 1846 г. и вскользь коснувшись печального конца дружбы Огарева и Грановского. [2]

„С Огаревым, осенью 1846 г. уехавшим в деревню,—писал М. О. Гершензон,—Грановский в ближайшие годы поддерживал, кажется, деятельную переписку, во всяком случае их отношения оставались братски-дружественными попрежнему".

Большинство печатаемых нами писем Огарева к Грановскому как раз относятся ко времени после 1846 года и не были известны М. О. Гершензону.

Лето 1846 года, проведенное дружеским кружком в Соколове, ознаменовалось „теоретическим разрывом" между Грановским с одной стороны, Огаревым и Герценом—с другой. Нет надобности пересказывать фактическую историю разрыва, подготовлявшегося исподволь, говорить о его причинах. Все это рассказал Герцен в XXXII главе „Былого и Дум" [3] и, воспользовавшись еще некоторыми штрихами, сообщенными П. В. Анненковым, И. И. Панаевым и Т. А. Астраковой, повторил М. О. Гершензон в упомянутой работе.

---

[1] А. И. Герцен, Новые материалы. К печати приготовил Н. М. Мендельсон.

[2] Т. Н. Грановский—„Мировоззрение. Личность" (в сборнике статей „История молодой России", изд. 2, М., 1923).

[3] А. И. Герцен — Полное собрание сочинений, под редакцией М. К. Лемке, том XIII.

Два первых письма Огарева за 1847 г., от 17 января и 14 февраля, служат интересным дополнением к воспоминаниям Герцена.

Наряду с подчеркиванием предельной идейной близости между Огаревым и Герценом они оттеняют разницу психологических портретов друзей. Герцен прямее, резче; он мужественнее смотрит правде в глаза. Интересно, что в книге „Былое и Думы", рассказав о „теоретическом разрыве" с Грановским и Коршем, который подготовлялся исподволь, и обратившись к своим старым дневникам, Герцен взял из них не запись под 14 августа 1844 г., где он удивляется „неверотерпимости" Белинского, полного нежности и в то же время „при малейшем разногласии готового обругать человека", где он говорит, что дружба должна быть „снисходительна и пристрастна, должна любить лицо, а не идею", а другую запись, под 18 декабря, где он скорбит, что личные отношения много вредят прямоте мнений, и завидует силе Робеспьера, подписавшего приговор Камиллу Демулену.[1] Сопоставляя это место с письмами Огарева к Грановскому от 17 января и 14 февраля 1847 г., нетрудно решить, кто мог бережнее, мягче и осторожнее подойти к внутреннему миру друга в то время, когда рана была еще свежа.

В неизданном письме к М. Ф. Корш, относящемся к 1847 году, Грановский писал, между прочим: „От Огарева получаю часто известия и большею частью утешительные. Знаете ли, что он нашел, наконец, жизнь по себе, т. е. деятельную и благородную. Он много работает, заводит школу, строит барки для перевоза своего хлеба и вина и в самом деле поправляет свои обстоятельства. Тучков, едущий за границу, поручил ему управление своим имением. Весело читать его письма. Видно, что ему хорошо. Он ждет меня к себе, но мне нельзя будет ехать, хотя желание большое. Наши отношения стали чисты и ясны попрежнему, хотя в письмах наших есть полемический элемент".

Но кроме „полемического элемента", особенно сильно сказавшегося в двух первых письмах Огарева за 1847 год, есть в его Акшенских письмах другая интересная сторона. Акшенская жизнь с 1846 по 1849 г. была наиболее длительным периодом непосредственного соприкосновения Огарева с крепостной деревней: до 1846 г. взрослый Огарев лишь наездом бывал в родовом своем Белоомуте, где еще в 1839 г. начал восторженно, но безалаберно дело освобождения своих крепостных.

Дополняя сведения об Акшенском периоде жизни Огарева, которые мы имеем в опубликованных до сих пор письмах его к Е. Ф. Коршу,[2] в плане Ecole polytéchnique populaire (народной политехнической школы), напечатанных в работе М. О. Гершензона — в материалах IV тома „Русских пропилеев", помещенные ниже письма к Грановскому дают возможность ближе подойти к пониманию Огарева-помещика и Огарева-человека.

Социалист и помещик крепостной России, вынужденный жить не по своим убеждениям — вот основа личности Огарева, как он вскрывается в письмах, относящихся ко времени после 1846 г.

Он прежде всего барин, помещик. Средства, доставляемые трудом крепостных, дают ему возможность и в крепостной глуши, как давали в юности за границей, метаться от одного занятия к другому. Правда, 25 апреля 1847 г. он пишет Грановскому, что занимается лишь тремя делами: хозяйством, химией и ее приложениями и литературным трудом. Но внутри этих упрощенно-сжатых рубрик большое разнообразие, да и не все его занятия

[1] А. И. Герцен — Собрание сочинений, том III, стр. 345, 368.

[2] „Помощь голодающим". Научно-литер. сборник, изд. „Русских ведомостей", М. 1892, 521—525.

в них укладываются. Так, в них не войдут его занятия медициной, многочисленные следы которых сохранились в его тетрадях, не войдут его занятия ботаникой, о чем говорит посланный им Грановскому заказ на книги, вне этих рубрик останутся и попытки музыкального творчества.

Он пишет. Слыша это из уст поэта, можно подумать, что речь идет о стихах и о художественной прозе. Оказывается, он пишет не только стихи, но и полухудожественную, полупублицистическую прозу, а также статьи содержания научного и чисто публицистического (см. письма 5 и 7).

Статьи до сих пор не обращали на себя внимания исследователей литературной деятельности Огарева, по крайней мере мне не встретилось упоминаний о них ни в „Материалах для библиографического указателя произведений Н. П. Огарева и литературы о нем", составленных Д. П. Тихомировым („Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук", 1907, т. XII, кн. 4), ни в других справочных пособиях, ни в каких-либо работах об Огареве.

В виду несомненного интереса статей, а также в качестве почина для истории „Московских ведомостей" эпохи редакторства Е. Ф. Корша, несомненно привлекшего к работе весь кружок, мы перепечатываем эти статьи во втором выпуске „Звеньев".

Огарев занимается химией и ее приложениями. Диапазон и здесь очень широк: от грандиозных замыслов изучить „историю планеты и организма" Огарев идет, через исследование „кристаллизации карбона", до... хлопот над „искусственной мадерой", которая, в случае удачи не только может дать хороший доход, но и „заменить гибельную водку" и тем самым даст возможность Огареву совершить „гивический поступок" (см. письмо 7).

Он хозяйничает. В этой области тяжелое положение человека, вынужденного соединять мечты и замыслы раннего русского социалиста с хозяйственной деятельностью в крепостной деревне Николаевского времени, сказывается особенно сильно.

Хозяйственная деятельность постоянно сталкивает Огарева с крепостной мужицкой массой. Впечатления удручающие. „Апатия этого народа наводит на меня ужас",—пишет он Коршу и приводит яркие примеры того, как мужики не хотят работать толком и на себя самих, как унизительную порку они предпочитают нескольким дням принудительной работы на заводе, как они неспособны понять собственную выгоду, как они в злобе „шваркают об землю" маленьких детей.[1]

Он оскорблен идиотством в массе народа, оскорблен настолько, что теряет веру „в важность практической деятельности" (см. письмо 5).

Но бывали и другие моменты. „Идиотство" крепостной массы не забыто, но уже не вызывает намерения отказаться от всякой деятельности. Наоборот, вспоминается Фурье, новые методы обучения, является желание бороться против „формальной религиозности помимо всякого нравственного содержания", против рабских привычек, против унижения личного достоинства мужика. Тогда пишется обширный, подробный план „политехнической народной школы", основанный на таких началах, которые, пожалуй, только в наши дни могут получить реальное осуществление.[2]

„Среда и организм"—грустно оправдывал Огарев на склоне дней свою незадачливую жизнь. То же оправдание, повидимому, готов он применить

---

[1] „Помощь голодающим", стр. 524—525.

[2] См. статью М. О. Гершензона о Н. П. Огареве в „Истории молодой России", стр. 283—293, и П. Н. Сакулина „Русская литература и социализм", ч. I, М., 1922, стр. 145—146.

и к народной массе. Он просит Грановского очень поблагодарить Корша за перепечатку в „Московских ведомостях" статьи Бэра. Несомненно, ему понравился самый конец статьи. Там рассказывается, как одни и те же жители русского севера, члены промысловых артелей, являют собой пример идеальной честности и бескорыстия на Новой Земле и становятся совсем иными, вернувшись домой и столкнувшись с полицейскими властями (см. письмо 5). Быть может, в сочувствии Огарева к статье Бэра сказалась та „ранняя окраска" социализма Огарева, о которой говорит П. Н. Сакулин[1] (ведь в статье идет речь о членах *артелей*), хотя нельзя забывать и того, что в 1847 году, как это видно из школьного плана Огарева, он был противником общины, этой наиболее „по-русски окрашенной" формы народной жизни, из которой он впоследствии выводил свои социалистические построения.

Хозяйственная деятельность Огарева в Акшене после 1846 г. совпала с моментом, когда мощный массив крепостного права стал давать особенно заметные трещины под влиянием настойчивых жизненных указаний на невыгодность крепостного труда. Свободолюбивые мечтания далекой молодости, убеждения раннего русского социалиста осложнились размышлениями над уроками действительности.

Отсюда интерес Огарева к „индустрии", к работе Тейра, покупка фабрики, стремление перестроить свое крепостное хозяйство на новых началах,— так, чтобы у него была „большая ферма, а мужики остались бы совершенно сами по себе, на земле, ими ныне для себя обрабатываемой, платя долг в Совет", а он впоследствии „будет продавать или в наймы отдавать или сам обрабатывать ферму" (см. письмо 7).

Хозяйство хлопотливо, с мужиком трудно. Но это не мешает ни „нежным заботам сердца" — то о какой-то женщине, вывезенной с Нижегородской ярмарки, то о гр. Е. В. Салиас, то, наконец, о Н. А. Тучковой—ни возможности „целый вечер пробренчать на клавирах", ни длинным письмам к другу, полным „рефлектирования", толкам о скептицизме, о Diesseits und Jenseits (посюстороннем и потустороннем), ни наслаждениям вином, хорошей сигарой, верховой ездой, прелестью весенней деревенской природы,— не мешает, одним словом, барской помещичьей жизни. Но она лишь на время может приглушить в сердце Огарева „никогда несмолкаемые струны", которым впоследствии суждено было звучать так громко. Их звук оживил приезд А. А. Тучкова, его рассказы о революционных событиях 1848 года, свидетелем которых он был (см. письмо 13).

Любовь к Н. А. Огаревой, отъезд с нею в Крым (см. письма 16 и 17) без согласия ее отца, без венчания, так как первая жена отказала Огареву в разводе, сплетни, связанные с этим событием и поссорившие членов когда-то дружного кружка,—все это отдалило Огарева от Грановского. Этой грустной истории посвящено последнее, 18-е письмо.

Друзьям не пришлось помириться.

„Грановский умер 4 октября 1855 года,— писала Н. А. Тучкова-Огарева в неизданном письме Е. С. Некрасовой,— внезапно, разрывом сердца. Мы ехали в Москву с Огаревым, моей сестрой и ее детьми. На последней станции мы получили письмо от Сатина, где он извещает о кончине Грановского. Это был ужасный удар Огареву; я никогда не забуду, как ему было тяжело перенести эту потерю—вероятно, еще потому, что был с ним в размолвке... В Москве он каждый день ездил на могилу и непременно один".

---

[1] П. Н. Сакулин — „Русская литература и социализм", ч. I, М., 1922, стр. 144.

После такого посещения могилы Грановского Огарев написал одно из лучших своих стихотворений — „Мертвому другу", то самое, которое Герцен вставил в свои страницы о покойном Грановском в „Былом и Думах" и про которое говорил, что выпросил его „в дар нашим воспоминаниям".

И ехал я на примиренье,
— говорил Огарев, —
Я жаждал искренно сказать —
Тебе сердечное прощенье
И от тебя его принять...
Но было поздно!..

1[1]

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

Вот и я в Пбге, Грановский. Я думаю, ты чувствуешь влияние, которое он на меня производит, без того, чтоб я тебе рассказывал. Ты—я уж говорил тебе—удивительно симпатический человек, и я уверен, что ты знаешь, что́ теперь во мне, потому, что с тобой было бы точь в точь то же. Чорт знает! Даже мелкие привычки у нас одни и те же—например гаданье. Сходство натур великая вещь! Давно я так не привязывался к человеку, как к тебе. Еслиб ты мне уступил немного способности трудиться—может, я был бы счастливее. Это разница между нами, которая для меня удручительна. Ничего не делаю, да и только. Здесь даже почти не пишу. Встанешь по утру—туман; выйдешь на улицу—холод; встретишь людей—суета бесцельная. Грустно! С вами у меня был какой-то внутренний мир, в котором я уживался; здесь (на некоторое время, вероятно) какая то разорванность. Действительность и вера в большем раздоре, чем когда нибудь, чувство бессилия, безвыходности—ну словом—гадко! Не сердись за литании. Я знаю, что в самом деле для меня нет ни одного положения безвыходного. Я слаб характером, но не духом. Я довольно сохранил чистоты, чтоб ни в чем не потеряться; довольно убеждений и спокойствия духа, чтоб стоять твердо, скрестя руки, и

[1] Из числа публикуемых здесь восемнадцати писем Огарева одиннадцать были напечатаны со значительно сокращенным комментарием в пятой книге „Нового мира" за 1931 г. Принятые журналом много ранее того, как зародилась мысль об издании „Звеньев", они так долго пролежали в портфеле редакции, что я счел возможным распорядиться ими по своему усмотрению. Мое право на это вынуждена были признать и редакция „Нового мира" в лице ее секретаря, что тем не менее не помешало ей, несмотря на мое категорически выраженное несогласие, экстренно приступить к печатанию материалов. Ни одной корректуры я не держал и не могу взять на себя никакой ответственности за многочисленные погрешности текста, помещенного в „Новом мире". *Н. М.*

смотреть в даль без отчаяния. Но в моем индивиде собственно много разорванности, и есть минуты, которые очень тяжелы. Что ты? Мой Ромео! Напиши мне о том, что ты думаешь и как ты любишь. Ты, право, хорошо любишь.

— Я ходил на могилу моей матери и не нашел ее. Пойду еще. Неужели ее срыли? Вся семья тут, а ее нет. Вот уж рассержусь то. Я никогда не знал моей матери. А эта любовь—наилучшая.—Что сказать тебе об людях? Ничего пока не умею. Один—беснуется; другие тепло чувствуют. Все мне нравятся. Но... я не дома. Фигура Краевского не произвела на меня приятного впечатления, хотя он собой не дурен. Пирошки хороши—да чорт ли в них? Я и без них обойдусь. Виссарион говорит, что здесь лучше, чем в Москве, потому что дремать нельзя. Положим, что это достоинство—но весьма отрицательное. Китаизма же я, признаюсь, у нас не вижу. Что Виссарион пока был у нас—был похож на бонза, этому виноват он сам. А впрочем он славный человек. Ничто человеческое ему не чуждо. Он глубоко страдает вопросами, которые его тревожат. Знаешь что!—здесь и картины, и музыка, а в людях какое-то отсутствие глубокого внутреннего эстетического смысла. Этого довольно, чтоб я был не enheimisch.[1]— Насчет моей судьбы еще ничего не знаю. Однако, прощай—друг мой! Еще надо писать и отвозить посылку.

Доставь прилагаемые письмы по адресу. Доставь Тучкову сам; да своди к нему Реткина. Не оставляйте этого человека, так надо. Каковы стихи Лермонтова в 4 №; а стихи на прах Наполеона—превосходны. Не знаю, будут ли напечатаны. Кланяйся—Ѳ.—Прощай!! Кланяйся Блажной—я скоро к ней напишу.

Marie жмет тебе руку; мы часто говорим о тебе.

Упоминание о лермонтовских стихотворениях датирует письмо маем 1841 г. „Стихи на прах Наполеона"—это „Последнее новоселье", напечатанное в № 5 „Отечественных записок" за 1841 год (цензурное разрешение—30 апреля). В № 4 напечатана лермонтовская „Отчизна" (цензурное разрешение—1 апреля). Огарев с первой своей женой, Марией Львовной, был в Петербурге перед отъездом за границу, куда они отправились около 1 июня 1841 г. Впечатления, вынесенные Огаревым от этого посещения Петербурга, нашли свое выражение в первых строфах 2-й части „Юмора".

В „Литературных воспоминаниях" И. И. Панаева (Лнгр., 1928, стр. 448) пребывание Огарева в Петербурге перед отъездом за границу неверно отнесено к 1842 году. Панаев спутал посещение Петербурга Огаревым после поездки за границу.

Гаданье... Огарев писал из Берлина Герцену 8 июля 1844 г.: „Нет, друзья, мне кажется, что мы так хорошо встретимся, что каждый эту минуту

[1] Здешним человеком.

запишет себе на память, и Грановский эту записочку положит себе в бюро возле гадательных карт, на одной из которых написано: „любовь наилучшая" („Из переписки недавних деятелей", „Русская мысль", 1890, X, 5).

Мой Ромео!... хорошо любишь... „Помнишь, ученый друг, когда я тебя звал Ромео? Ты и любишь действительно, и верить можешь, и можешь верить, что ты любим",—писал Огарев из Карлсбада в письме, начатом 19 июля—1 августа 1842 г. („Русская мысль", 1889, XI, 12).

Ходил на могилу матери... нет. Мать Огарева, Елизавета Ивановна, урожденная Баскакова, погребена на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры. Очевидно, памятник на ее могиле поставлен после 1841 г. Надпись на нем такая: „Огарева, Елизавета Ивановна, рожденная Баскакова, д. ст. сов., род. 2 июля 1784 г., ум. 3 сентября 1815 г. Жила 31 г. 2 м. 1 д." Огарев, родившийся 24 ноября 1813 г., не помнил матери. На том же кладбище погребены его сестры, Вера и Варвара, брат Петр и другие родные (см. „Петербургский Некрополь").

Краевский, Андрей Александрович (1810—1889)—издатель „Отечественных записок", приобретенных им в 1838 г. от П. П. Свиньина (1788—1839).

Виссарион—Виссарион Григорьевич Белинский (1811—1848). Он переехал в Петербург в октябре 1839 г., переживая полосу „примирения с действительностью", почему Огарев и говорит, что в Москве он был похож на китайского бонзу. К 1841 г. от этого настроения Белинского не осталось и следа. 15 января этого года он писал В. П. Боткину: „Письма мои не могут дать тебе и слабого намека на то, как ужасно переменился я", а на другой день прибавил: „Я теперь совершенно сознал себя, понял свою натуру: то и другое может быть выражено словом That (действие), которое есть моя стихия" (Письма Белинского, т. II, стр. 203).

Тучков, Алексей Алексеевич (р. в 1800 г., приблизительная дата смерти—1879 г.) Отец Наталии Алексеевны Тучковой (1829—1913), которая в 1849 г. соединила свою судьбу с судьбой Огарева, а в 1853 г., после смерти его первой жены, обвенчалась с ним.

Редкин—Петр Григорьевич Редкин (1808—1891), приятель Огарева, Герцена и их кружка, профессор-юрист сначала Московского, потом Петербургского университета.

Θ — так подписывал свои стихотворения Ив. Петр. Клюшников (1811—1895), поэт кружка Станкевича. Подпись эта—первая буква греческого слова, означающего *бог*. Друзья Клюшникова в пору его мистических увлечений в шутку дали ему это прозвище.

Блажная—прозвище Марии Федоровны Корш (1809—1883), близкого друга Герцена и его кружка.

Marie — Мария Львовна, первая жена Огарева, урожденная Рославлева (умерла в 1853 г.)

2

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

Как жадно слушал я признанья
Любви глубокой и святой!
О! Как ты полон упованья!
О! Как ты бодр еще душой!
Ты счастлив, друг мой, дай мне руку...
Но, брат, пока ты говорил—

Какую тягостную муку
Я про себя в душе таил!
И не скажу, о чем тоскую...
Я затворен в себе самом;
Я сердца ран не уврачую,
С участьем буду незнаком.
К чему пишу? и сам не знаю;
Но хочется кому-нибудь
Сказать, что втайне я страдаю,
И что тяжел мне жизни путь;
Тебе же внутренних движений
Оттенки так понятны, друг...
Но мне не надо сожалений,
Лекарств не требует недуг.
Не спрашивай, о чем страданье
Души моей и от чего;
Но на меня ты, при свиданьи,
Не говоривши ничего,
Взгляни печально, и, быть может,
Руки пожатье мне поможет.

Долго думал, посылать или нет. Теперь стыжусь быть недоверчивым. Не обвиняй никого в тяжелом чувстве, которое вытянуло из меня эти стихи. Никто в нем не виноват... судьба и вечно мучащийся нрав—вот что виновато. Но я убежден, что это глупое расположение скоро пройдет. Нельзя долго оставаться в безверии.—Как сказано, ты мне ничего не говори об этих стихах и отнюдь никому, ни другу, ни недругу, не показывай. Моя доверенность к тебе основана на необыкновеннейшей симпатии.

Блох [?] хочет ужасно с тобой познакомиться. Не сделаешь ли ты мне удовольствия съездить со мной к ней сегодня в 1 по полудни. Отвечай! Заехать или заедешь?

Письмо в подлиннике не имеет обозначения адресата, но написано несомненно Грановскому. Л. Э. Бухгейм, которого я искренно благодарю, передал мне копию начинающего письмо стихотворения. Она снята им в 1908 году с оригинала, принадлежавшего М. К. Рейхель, где стихотворение озаглавлено: *Грановскому*.

Точную дату письма определить затрудняюсь. Оно могло быть написано или весной 1841 г. в Москве, незадолго до отъезда Огарева с женой в Петербург, а оттуда за границу (см. предыдущее письмо), когда Грановский ждал только согласия своего отца, чтоб объявить о своей помолвке с Е. Б. Мюльгаузен, или в январе-феврале 1842 г., когда Огарев, оставив Марию Львовну за границей, вернулся в Россию и жил в Москве, часто встречаясь с Грановским, который женился в его отсутствие, 15 октября 1841 г.

3

А. И. ГЕРЦЕНУ

Марта.

Сегодня мое письмо будет не длинно, хотя бы хотелось сказать много; но внутри так тревожно, иногда мучительно, иногда чудесно хорошо. Жизнь моя отчасти сбилась с толку, и — нося в душе чистейшую, восторженную нравственность — я на деле довольно беспутствую. Отдых ли это от целой зимы, проведенной в работе, или еще раз детское увлечение в Walpurgienacht,[1] — чорт знает! Но работаю мало. Перечитываю старые романы. Не считайте это бездельем, carissimi; я слежу все, что произвела скорбь в это столетие. Может, напишу статью об этом. Я переживаю старые скорби и нахожусь в тяжелом расположении духа. Но как сказал — ношу в себе нравственное чувство и на дне брожения, которое переживаю чуть ли не в последний раз, глубоко чувствую, что я молод и силен. Я даже знаю, что слабость характера исчезнет, лишь бы я попал в такую атмосферу, где мне не нужно лукавить с самим собой. Действительно могучие характеры преодолевают ложь,— нашему брату надо éviter le mal, [2] найти положение, где бы трудно было делать дурно. Сообразовать жизнь с внутренними средствами — художественная задача жизни... Что за сентенции! воскликнет profes[sor]in spe. Gar nichts, mein Freund. [3] Выпьем пожалуйста. Александр говорит, что нездорово! Я не ожидал от него такого premier Paris [4] из Journal des débats. Мы останемся при нашем мнении — не правда ли? Все здорово, что дает душе ширь. Да ведь и он только оттого это говорит, что язык без костей. Впрочем, ваше письмо навело на меня унылость. А всего более в вашем письме то, что барон плох здоровьем. Что же касается до прений литературных, чуть ли это не с обеих сторон мастурбация. Сухую тоску навели на меня эти прения. Я почувствовал сильное отвращение, будто проглотил скверную микстуру. Признайтесь, что в этом ничего нет живого и даже с вашей стороны. Вы натягиваете себя к спору, но он не одушевляет вас. Чувство презрения заглушает охоту спорить. Мне было жаль вас. Я был сухо печален и напился немножко с знакомыми и с знакомкою. Но вот другой день я воскрес опять. Пью пиво — ради дешевизны

[1] Вальпургиеву ночь.
[2] Избегать зла.
[3] Будущий профессор. Ничуть, друг мой!
[4] Такой передовой статьи.

перемешивая его некоими крепкими напитками, чтоб дойти до цели, т. е. быть mezzo-arrivato, [1] самое благородное состояние. Сегодня письмо от Риттера и от Ив[ана] Павловича — все здоровы. Милый Риттер! С какой нежностью я люблю этого человека — трудно пересказать вам. Я его люблю как сестру. Фрол[ов] трудится над естественными науками.

Мысль Лавуазье дело важное. Но заметь, что Quantum [2] вещества — eine schlechte Unendlichkeit. [3] Вот тут-то помири мне вечность и schlechte Unendlichkeit. Вопрос, который мне мучительно пал на душу. Скажи мне значение квалитета (вещества как квалитета) — в этой скучной бесконечности пространства и нигде не останавливающего[ся] развития.

Говорят — Крюков умер. Крюков! Полуденский! — вечная память! Schwer ist die Endlichkeit und die Unendlichkeit nicht leichter — wenn sie mir als schlechte Unendlichkeit erscheint. [4] Помири мне с сей последней недвижную абстрактность идеи.

Ну! полно об этом. Но мне их жаль ужасно. Крюкова знал я мало, но привык его уважать. А Полуд[енского] я любил, как близкого по доброте души. Ну! куда же выйти из этого?..

Получил ли ты письмо, которое я тебе адресовал, чтоб доставить Ал[ексею] Ал[ексеевичу]? Я надеюсь, что ты понял нужность расписки в деньгах; но надеюсь, что ты также понял, что все, что в них не лично до тебя касается, не может быть принято на твой счет. Это было бы для меня обидно. Я просил в письме Ал[ексея] Ал[ексеевича] о высылке мне 12 т. р. Без этой суммы я не могу уехать никак, т. е. на могу возвратиться. Пожалуйста поскорей вышлите — иначе остановится моя поездка, которая также необходимость. Этот месяц я доживу порядочно. Но мне бы нужно 1-е апреля, много 2-е н[ового] с[тиля] уехать, иначе я опоздаю. Займись сим. Да если братья в самом деле должны еще — выплати хоть из мне назначенной суммы; нельзя же их оставить в долгу, но напишу им, чтоб впредь сего не было. Все сбираюсь писать к ним и не сберусь.

Я к вам писал недавно довольно длинное послание. Получили ли его или нет?

Обедал недавно с Депре. У него премилая дочь; я так давно не говорил с хорошенькой дамой по-русски, что обрадовался

---

[1] Слегка выпивши (так можно приблизительно перевести шутливое выражение, пародирующее музыкальный термин).

[2] Количество.

[3] Дурная бесконечность.

[4] Тяжка конечность, да и бесконечность не легче, если она является мне как дурная бесконечность.

родному языку. И сам Депре преславный homo. [1] Пито было Кампанейское.

Больше ничего не хочется говорить. — Profes[sor] in spe! [2] Если я тебе недостаю, то посуди, сколько вы мне недостаете. Я иногда так чувствую одинокость, что впадаю в странную хандру. Мне надо к вам. Теперь я знаю, что так надо к вам, что я едва вынесу до осени наше существование врозь. Мучительно стремлюсь к вам. Обнимаю вас крепко, крепко! Dio santo! [3] Ну! да доскажите себе сами все, что мне хочется сказать вам.

С чего Вы взяли, что я плох здоровьем. Я только прогулялся по двум планетам и явился на нашу землю здоров, как Юпитер в том виде, в котором увозил Европу. Самый был гусарской поступок со стороны Юпитера. Addio! [4] ручку, сестра. Благодарю за маленькие, миленькие и меленькие строки — целую трех nepotes [5] — а за сим пойду бродить.

[*Вырвано*] знает! В предлинное послание напи [*вырвано*] иттеру.

Russland. Moskou.
Monsieur Herzen.
В Москву
Его Высокоблагородию
Александру Ивановичу Герцену
В Старой Конюшенной, в приходе Власия, в доме Г. Яковлева.

Письмо отправлено из Берлина, 8 марта 1845 г. Место отправления, месяц и число определяются по почтовому штемпелю, год — по упоминанию о смерти А. П. Полуденского и Д. Л. Крюкова: оба скончались в 1845 г., первый — 30 января, второй — 4 марта.

Барон — Николай Христофорович Кетчер (1806 — 1886) — близкий друг Огарева, Герцена и всего их кружка, врач, переводчик Шекспира.

Прения литературные. Огарев имеет в виду раздоры между славянофилами и западниками, особенно обострившиеся в связи со стихотворным доносом Языкова, защитой диссертации Грановским и появлением первых „Писем об изучении природы" Герцена (см. отражение этих событий в дневнике Герцена за 1845 г., т. IV).

Риттер — Николай Михайлович Сатин (1814 — 1873), которого в дружеском кружке прозвали Ritter aus Tambow, рыцарь из Тамбова. Поэт, переводчик, приятель Герцена и Огарева с университетской скамьи.

---

[1] Человек.
[2] Будущий профессор
[3] Святый боже!
[4] Прощайте!
[5] Племянников.

Иван Павлович — Галахов (1809 — 1849), приятель Герцена и Огарева, один из ранних русских фурьеристов.

Фролов, Николай Григорьевич (1812 — 1855), — близкий знакомый всего кружка Герцена и Огарева, особенно близкий к Грановскому. Географ, философ. переводчик „Космоса" Гумбольдта. Его дом в Берлине, где он жил с 1837 по 1847 г., был центром русской колонии.

Мысль Лавуазье. В третьем „Письме об изучении природы" Герцен приводит знаменитый закон Лавуазье: „Вес вещества не может никогда утратиться; количество материи постоянно; отвлекаясь от качественных изменений, мы остаемся при неизменном весе" (IV, 55). Названная статья появилась лишь в VII кн. „Отечественных записок" за 1845 г., и Огарев пишет о законе Лавуазье не в связи с ней, а, очевидно, в связи с упоминанием о Лавуазье в не дошедшем до нас письме своего друга.

Говорят — Крюков умер... Полуденский! Дмитрий Львович Крюков (1809—1845) — московский профессор-классик. Александр Петрович Полуденский (1817—1845) — близкий приятель Герцена и Огарева. О смерти Полуденского Огарев узнал от Сатина, писавшего ему 3 марта 1845 г. из Парижа: „Сазонов прислал сказать, что он получил известие о смерти Полуденского" („Из переписки недавних деятелей", „Русская мысль", 1892, VIII, 5, где письмо Сатина ошибочно датировано 1844 г.)

Получил ли... доставить Алексею Алексеевичу? Об этом письме Огарев писал Герцену из Берлина 29/17 декабря 1844 г. („Из переписки недавних деятелей", „Русская мысль", 1891, VI, 21).

Если братья в самом деле должны... не сберусь. В автобиографических незаконченных заметках, хранящихся в Ленинской библиотеке, Огарев дает два списка крепостных музыкантов своего отца, Платона Богдановича Огарева, где, между прочим, поименованы: Василий Иванович Немвродов, скрипач и капельмейстер, его сын Иван — первая скрипка, а впоследствии, видимо, и дирижер, и другой сын — Михаил, второй контрабас. Вспоминая об этих крепостных музыкантах, Огарев писал в упомянутых заметках: „Я с этими людьми с детства, т. е. лет с 12, жил в величайшей дружбе и возымел страсть к музыке, а лет 15 и старше, в особенности с скрипачем Иваном Немвродовым, который был один из самых талантливых скрипачей и даже композиторов, каких я знал в мою жизнь, я — 15 лет — уже с ним напивался допьяна водкой. Таким образом, я на этих людей хорошего влияния иметь не мог, а они имели на меня влияние, которого впечатления сохранились на всю мою жизнь, т. е. я остался плохим музыкантом и закоренелым пьяницей". Кроме Ивана и Михаила у жены В. И. Немвродова было еще два сына, рожденных от Пл. Б. Огарева: Григорий и Петр Немвродовы. О них и идет речь в настоящем письме, как шла и ранее и позже в письмах Огарева и Герцена. В письме к Герцену от 6 ноября — 24 октября 1844 г. Огарев просит Герцена „отклонить их от вступления в университет, бог бо крепко ограничил их умственные способности" („Из переписки недавних деятелей", „Русская мысль", 1891, VI, 9). 29/17 декабря того же года Огарев объясняет Герцену, что, советуя братьям поступить на службу „к хорошим купцам", он „не столько думал о банкирстве, сколько о commis [1] по какой-нибудь отдельной внутренней торговле оптового купца", о бухгалтерии у Боткина и т. п. („Русская мысль", 1891, VI, 21). Герцен 1/13 января 1845 г. писал другу, что о „Немвродовых будет по писанному" (III, 434). Но так случилось, очевидно, не сразу, так как, во-первых, Огарев 2 февраля

[1] О приказчике.

1845 г. писал: „С братьями покончите же, полно им шляться“ („Русская мысль“, 1892, VII, 34), а во-вторых, 17 апреля 1845 г. Герцен писал А. А. Тучкову, управлявшему делами Огарева, что „Навуходоносоры“ просят переслать их письмо, что они нуждаются, что места нет (IV, 183). Письмо Герцена — приписка к следующему письму Немвродовых, опущенному М. К. Лемке:

Ваше Высокоблагородие,
Алексей Алексеевич!

Мы надеялись по Вашей рекомендации скоро устроить себя окончательно, но что же делать, не жалуясь ни на кого, мы должны еще подождать.— Г-н Депре отправился за границу — зять его г-н Катуар принимал участие в нас и теперь имеет в виду для нас места; обнадеживают нас, что мы скоро получим их. Не приписывайте нашему нерадению, что мы живем так— без положительных дел; мы употребляем все силы, но не выходит по нашему — не человек управляет судьбою, судьба держит его в руках, надобно повиноваться ей, хотя и больно для нас терять время.

По Вашему положению следует получить нам 1-го мая назначенные Вами за треть года 650 руб. асс., то и просим Вас, не медлите, сделайте милость, вышлите их к 1-му мая. Вам известно, что из полученных от Вас у нас ничего не осталось — мы хотели просить у Вас ранее срока, но не смели итти против Вашего положения.

Ваши покорные слуги
Григорий и Петр Немвродовы.

1845 года, Апреля 7.

Я... писал недавно... Вероятно, письмо из Берлина, начатое 2 февраля 1845 г. („Русская мысль“, 1892, VII). Герцен отметил его получение в дневнике под 2 марта 1845 г. (III, 449).

Депре — известный московский виноторговец.

Прогулялся по двум планетам — здоров. В письме из Берлина от 29/17 декабря 1844 г. Огарев писал Герцену: „Занятия были прерваны довольно долго „скаканием играющей чувственности“ (Надеждин), вследствие чего я не скачу и глотаю всякую дрянь“ („Русская мысль“, 1891, VI, 2).

Сестра... nepotes... Нат. Ал. Герцен (1822 — 1852) и ее дети: Александр (1839 — 1906), Николай (1843 — 1851) и Наталия (здравствует доныне, род. 1844 г.)

4

А. И. ГЕРЦЕНУ

26 Декабря. Париж.

Наконец, получил твое послание и рад был ему, несмотря на его горечь. Что сказать тебе в ответ? Себя я защищать не стану, во-первых, потому что не хочу защищать себя несправедливо, а во-вторых, что там, где это и возможно, издали неловко. Годы прошли, вид человека неясен в памяти, жизнь его неизвестна — ergo [1] он должен играть странную роль перед судом даже и дружбы. Но прежде всего я делаюсь

[1] Следовательно

адвокатом одного человека, на которого сыплются не обвинения, а желчные нападки. Я говорю о графе. Если ты судишь его по маленькой записке, на которую ты жаловался, то pièce d'accusation [1] слишком недостаточна. Если ты судишь по словам Панаевых, то я им с своей стороны советую вообще удерживаться от всяких суждений на счет людей за неимением в себе достаточных средств для этого дела. С чего же ты судишь человека, которого ты просто забыл или не знаешь? Я к нему не имею никакой юношеской привязанности, никакой *исторической* дружбы; я с ним тысячи раз ссорился и расходился, но не могу разойтись и после каждой размолвки сближаюсь более, по действительной симпатии к нему. Я признаю в нем благородный характер и великую силу мысли. Если кто скажет, что он ничего не делает, то я только один вопрос предложу обвинителям: отчего же он имеет если не столько же, то более сведений, чем они сами? А потом спрошу их, какое право они имеют осуждать человека, из действительной внутренней жизни которого они не знают ни иоты? Я знаю и его хорошие, и худые стороны (вероятно, в этом смысле нет ни одного человека одностороннего) и готов его отстаивать против каждого со всею горячностью симпатии и со всею твердостью действительной дружбы. Тем более готов отстаивать его перед тобою, что слишком хорошо знаю откровенность твоих суждений и что ты не побоишься взять слово назад, если это слово неправда. Разумеется, когда мы будем лицом к лицу, факты и люди сделаются яснее. Вот главное, что я на эту минуту хотел сказать тебе против того, что меня всего более оскорбило в твоем письме, и надеюсь, что ты поверишь странице, написанной от души и с полным убеждением. Dixi! [2]

Я к тебе также писал письмо, которое бросил и которое было не так пусто, как то, которое ты получил и пустоту которого я сам очень хорошо знаю. Но то письмо сняло бы с меня обвинения в привязанностях к былому. Я его не послал оттого, что не захотел, оно мне самому было тягостно, как тягостно всякое отрицание.

Еще намерен одно заметить относительно старого обвинения за старое дело, говорю о М[арии] Л[ьвовне]. — Есть люди, редкие люди, которые просто счастливы в супружестве, которые счастливы с той женщиной, которую они одну любили, и ни прежде, ни после ни одна женщина не входила и не войдет

[1] Повод к обвинению.
[2] Я кончил!

в их жизнь. Есть люди, которые имеют достаточно характера, чтоб скрывать страдания даже от самых близких людей и оставаться в этом положении. Признаюсь, я иногда жалею, что не имел силы на последнее, не из привязанности к М[арии], а оттого, что своеволие привычек устранено в домашнем быте, а подчас чувствуется великая потребность к порядку в жизни. Надеюсь устроить его и так, solo, хотя мне это трудней, чем кому-нибудь, и разумеется не каюсь в том, что я одинок, и почитаю это все же более благородным, чем всякие лицемерные условия ради спокойствия жизни. Но отсутствие всякого семейства — действительно — наводит очень тусклый колорит на жизнь и допускает брожение, которое мне самому надоело. Что же касается до трудности, с которой я расставался, в этом обвинять не годится. Если когда-нибудь была горячая привязанность к женщине, то оно становится трудно; прибавь к этому слабость характера, весьма глупую, и нежность, весьма человеческую. Я прошу на этот счет индульгенцию и забвение. Зачем ты вводишь себя в сравнение — я не понимаю, потому что даже из того факта, что наша дружба не поколебалась ни на минуту, можно устранить сравнение. — Что я не достиг совершеннолетия и, может, не достигну его, в этом каюсь. Также каюсь, что скверно быть в географической зависимости насчет труда; я сам раз ругал за это человека посильней меня. Но, к сожалению, это факт; в иной атмосфере иначе, легче дышется, и внутреннее спокойствие и светлость поддерживают труд. В другой атмосфере это иначе делается. Я не умел жить выше климатических условий и виноват. Однако, я не совсем без дела, хотя и не занят наукой. Много письма в виду и кое-что делаю; но говорить об этом не хочу ни с кем. Странно! Но мне кажется, что с каждым днем далее все интимное более и более заключается внутри и не хочет высказываться. Я не люблю этого одиночества, но, видно, в самом деле я теряю *юное* и больше затворяюсь в самом себе. Не хочу принимать это in sich gehen [1] ни за силу, ни за зрелость, это просто горечь осела на дне души. Но sufficit [2] об этом.

Я не заметил, что Грановский бросил в меня камень, выпрошу его письмо у Фролова, чтоб перечесть. Ты изобрел глупое слово: бросить камень, когда друг высказывает то, что его оскорбило в друге. Ты же не камень в меня бросил, друг мой, а высказал то недовольство мною, как я его высказываю

[1] Этот уход в самого себя
[2] Довольно.

часто самому себе, и тем больше заставляешь меня видеть в тебе моего alter ego. [1]

Я даже и на счет тебя согласен, что ты диллетант в науке в сравнении с милым профессором, но не совсем; он — мой самый симпатичный из смертных — сам отдает тебе справедливость. Обнимаю его горячо. Камень его принимаю со всею откровенностью прямодушия и с полной верой в его дружбу. Carissimi, [2] я менее, чем диллетант в науке. Часто ее запросы спят во мне, и я могу работать только тогда, когда они пробуждаются. А без внутреннего запроса не хочу работать, это sui generis far niente. [3] Может быть, я долго еще не перейду к труду, который существует в намерении, т. е. к труду в науке, но этому причиной будет не лень, а занятие иным, занятие, которое слишком сильно занимает мысль и сердце, чтоб не сделаться исключительным. Ergo... [4] Ну! да из этого ничего еще не следует. — Зачем барон становится брюзгой? Неужто лета должны изменять... нет! ошибаюсь. Лета только выдвигают угловатости, лежавшие под прикрытием юности. У каждого свои. Снесем их терпеливо и с любовью.

Деньги получены и еще кое-что приполучится. Около 12-го выедем. Вышли поскорей тысячи две в Берлин, адресуй Herrn Schroeder, Buchhandlung unter der Linden, [5] № 23, для передачи мне. Это из опасений, чтоб не застрять на дороге, но не замедли.

Прилагаю письмо от Фролова к тебе. Сат[ин] сам припишет.

Обнимаю вас всех крепко, и тебя, сестра, и детей. Отчего я по вас плачу и все не еду? — Чорт знает. Раз только рационально хотел поступить, уехав сюда, а не к вам, а вышло довольно глупо, а с тех пор все деньги мешают. Вот и не все, что бы сказать хотелось, но письму finis. [6]

Приписка Н. М. Сатина

Письмо твое горько, но справедливо! Прости мне, что я отчасти принял его и на свой счет, хотя очень знаю, что я ни насколько не входил в твои упреки... Потому-то, может быть, они были для меня еще горьчее! Я давно перестал жаловаться, и знаю, что приходит время, когда человек должен нести всю

[1] Мое второе я.
[2] Дражайшие.
[3] Это своего рода нега.
[4] Итак...
[5] Господину Шредеру, книжная торговля на улице „Под липами".
[6] Конец.

ответственность на самом себе или гибнуть. Рад, что хоть ты и Грановский бодро насете ее, и оттого еще более хочется скорее быть с Вами. Здесь я знаю только одного человека, который живет истинно и в обществе которого вольнее дышется; и с тем я не умел сойтиться ближе. Но скоро увидимся, ежели здоровье мое, которое все плохо, не задержит меня по дороге. Непременно пришли денег в Берлин, нисколько не мешкая; ежели что задержит, то по крайней мере сделай так, чтобы мы нашли твое письмо в Берлине. Обнимаю всех Вас и тебя, милый друг Наташа, с детьми.

Датируется 1845 годом, так как несомненно представляет собой ответ на письмо Герцена от 22 ноября/4 декабря 1845 г. из Москвы (IV, 387 — 389).

Граф. — Так же, как и комментатор письма Герцена, затрудняемся сказать уверенно, о ком здесь идет речь. [1]

Панаевы — Иван Иванович Панаев (1812—1862) — писатель, в 1847 г. вместе с Некрасовым купивший у Плетнева „Современник", и жена его, Авдотья Яковлевна (род. около 1820 г., ум. 1893 г.), по второму мужу Головачева.

Старое обвинение... Друзья упрекали Огарева за слабость характера, мешавшую ему решительно порвать всякие отношения с первой женой, Марией Львовной, на которой он женился в 1836 г. Супруги расстались в 1843 г. По вызову жены Огарев в 1844 г. ездил к ней из Парижа в Италию, где она жила с художником Воробьевым. Огарев готов был признать себя законным отцом ожидавшегося ребенка, который родился мертвым.

Грановский бросил в меня камень. Речь идет о письме Грановского к Н. Г. Фролову от 17 октября 1845 г. с упреками по адресу Огарева, в жизни которого чередуются „искание мелких, дешевых наслаждений", „припадки раскаяния и... успокоение себя в сознании собственного бессилия". („Т. Н. Грановский и его переписка", т. II, 420).

5

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

17 Января. Акшено.

Вчера возвратился из Инсара с рекрутского набора. Сегодня получаю твое письмо и пишу к тебе. Спасибо за твое письмо, и за его содержание, и за скорость ответа на мое. Много хотелось бы поговорить с тобою, Грановский, постараюсь поговорить на бумаге, сколько могу. Прежде чем стану говорить о нас самих, скажу несколько слов о впечатлениях, принесенных мною с поездки в Инсар. Я в первый раз был в рекрутском присутствии, а ты никогда не бывал, и тебе трудно вообразить, как тяжело это зрелище. Грудь сжалась и голова закружилась, я думал, что у меня или слезы хлынут,

[1] Без риска ошибки можно утверждать, что и у Герцена и у Огарева под именем „графа" фигурирует Н. И. Сазонов. *Л. К.*

или я упаду. Но ни того, ни другого не случилось, а случилось то, что я через полчаса привык и понял, что большая часть присутствующих членов должны оставаться совершенно равнодушными решителями судьбы этих голых людей с видом испуга или отчаяния, окруженных рыдающими женщинами и трепещущими стариками. Если Ал[ексей] Ал[ексеевич] где действительно полезен и гуманен, это при наборе. Честь ему и слава!—А между тем, Грановский, что за идиотство в массе народа, это также трудно представить. Это меня очень оскорбило. Я мало верю в важность литературы, а теперь равно мало верю в важность практической деятельности, и меня обдает каким-то хаосом, в котором я чувствую себя затерянным, и рад-рад когда, приехав домой, ухожу в расчет о кристаллизации карбона (несмотря на то, что ты уверен, что я не сделаю бриллианта) или без жалости к бараньему поколению с величайшей подробностью вскрываю овец.

Еще раз перечитываю твое письмо и жму тебе руку. Я знаю, что мы не разошлись, потому что любим друг друга. Что я сердился, потому что хотелось вполне быть согласным, и это правда. И я прав, потому что этот вопрос для меня главный в жизни, и если я неловко брался за споры, то это в самом деле потому, что был зол. Грановский! Теперь sine ira et studio [1] скажу несколько слов о рефлексии. Я уважаю рефлексию, но не тогда, когда она делается систематическим самооправданием. Я не могу признать твою терпимость за скептицизм. Это просто терпимость, чувство самое раздражительное, когда хотят его сдвинуть с места. Я это говорю по собственной рефлексии. Я сам одарен этой терпимостью, хотя менее, чем ты, но это чувство едва, едва носит в себе примесь уважения к чужому лицу и чужим убеждениям. Это просто темперамент, который вот, как ни бейся, не хочет допустить до себя известной степени вперед толкающей силы, т. е. той силы, которая действительно дает силу в жизни, дает личность, отрицающую все враждебное.

Esprit de partie, [2] Грановский, еще не есть односторонность, точно так же как терпимость не есть многосторонность. Терпимость, переведенная на простой язык, значит: „я не трогаю Ваших мнений, не троньте моих". Это ли скептицизм, Грановский? Скептицизм, равно отрицающий направо и налево, любит бить направо и налево, а не давать места и тому, и

[1] Спокойно и обдуманно.
[2] Дух партии.

другому. Скептицизм насмешлив, Грановский! Нет, caro, [1] ты не скептик! И в известном главном вопросе ты не согласен с нами не из скептицизма, а потому, что ты любишь другое мнение; и этого мнения ты не выдаешь за правду не из скептицизма, а потому, что ты в самом деле не убежден, и только любишь его. Оно не нужно для твоего счастья—может быть; но оно для тебя утешительно, особенно в иные минуты, когда сердце доступно нежности и грусти. Грановский! Я уже лучше бы хотел, чтоб оно нужно было для твоего счастия, и чтоб ты стоял за него как за правду. Ты говоришь о другом убеждении, довлеющем твоему счастью, и забываешь, сколько то и другое в настоящую минуту связано. Я понимаю то убеждение, где мы неразрывны, где мы одно. Но вот я чего боюсь, Грановский, что принявши последнее за центр, а развитие за расходящиеся радиусы (если ты сколько-нибудь помнишь Геометрию), то как бы близки в начале ни были эти радиусы, в дальнейшем продолжении они все больше должны расходиться. Но, положив руку на сердце, я решился ничего не принимать за центр, кроме нашей личной близости и любви, и потому в заключение крепко обнимаю тебя. Наши споры впереди не должны носить отпечаток желчности, хотя ровный характер искреннего искания правды едва ли в них возможен. Если б последнее было возможно, мы были бы грандиозные люди, Грановский. Да мимо идет желчность, но если придется в книге или в аудитории вести спор, мы найдем в себе силу биться с неумолимым упорством, но не как человек [с] человеком, а как убеждение с убеждением. Для этого надо ужасно много силы и любви друг к другу, страшно много, Грановский! — Рефлектируя, я добился до истинного значения силы характера. Это обладание своей деятельностью, это ровность, Harmonie mit sich selbst [2] в своих поступках, несмотря ни на какую обстановку в жизни; это то, что называется в полководце хладнокровием, и что вовсе не есть хладнокровие, а поставление себя выше страха и озлобления. В науке это будет не беспристрастие, а поставление себя выше увлечений; это может только дать истинное убеждение. Но заметь, что тут нет ни увлечения, ни сожаления. Рефлектирую и хочется себя пересоздать и добиться до силы, о которой говорю, и между тем слабость моего характера тебе достаточно известна. Как выпутаться? Нужен метод. Я ре-

[1] Дорогой.
[2] Гармония с самим собою.

шился избегать всякого конфликта, где бы воля моя не устояла, до тех пор, пока сознание, мысль, идея той силы характера не возрастет до пафоса; тогда я стану искать тех конфликтов; результат должен быть постоянная привычка действовать в желанном настроении. Жизнь страшно важна, Грановский, с тех пор как в ней надо развить le salut de l'âme [1].

Das Anzulängliche
Hier wird's Ereigniss!.. [2]

Что-же наконец Герцен, уехал или нет? С сей почтой стану писать ему в Питер. Вы провожали его и пили! Я не пью, Грановский, т. е. пью не больше, даже меньше бутылки в день. От этого мне жить легче стало. Я думаю, что вовсе отвыкну пить, стану разве только при действительно симпатичных встречах. Иначе стану пить только до той степени, до которой вкус требует вина „залить горячий жир котлет". В известной настроенности и один выпью лишний стакан, но это редко случится, потому что одному вино редко придает жизни. Пусть жизнь сама собой растет.

Зайди, но пожалуйста немедленно, к Розенштрауху. Я писал Ивану Ивановичу Лудвигу (знаешь его, сидельцу, моему приятелю) о немедленной высылке мне сигар, тех, что я брал по 33 р. сотню; если нет, пусть каких-нибудь prensades вышлет от 30 до 45 р. за сотню,—500. Я уже давно жду; у меня осталось только 15 сигар. Надо выслать по почте и поскорей.

Обними от меня Корша за статью Бэра, да скажи ему, что я еще газет на этот год не получал, а просьбу о высылке и деньги выслал к нему, не помню когда, а кажется давно, а может и недавно. Обними Кавел[ина] за статью в „Современнике". Я намерен писать на нее замечания, не критику, этого я не в силах, а замечания, какие в голову пришли, с просьбой о дополнении его статьи, и скажи ему, что также очень много сбираюсь с ним говорить об ней и, может, напишу к нему, только едва-ли, по многим причинам. Во-первых, потому, что Панаев мне не высылает „Современника", и следственно мне нельзя иметь статью под рукою. Видно, Панаев не надеется на мою стихотворную плодовитость; я, пожалуй, и деньги внесу. Вот я-ж его за это завтра же обделаю. Кстати, о моей поэтической деятельности. Она равна нулю — химия и физиология

[1] Душевное благо.
[2] Недостижимому.
Здесь выполнение!..

поглощают все время. Но один цикл лирических стихотворений расширился в концепции, и я надеюсь, что выйдет не дурно. Только печатать не хочу, вскоре по крайней мере. Поэтому Панаев прав, если не ждет от меня стихов, а если ждет, то как бы не ошибся. Если нужна какая работа,—пожалуй, возьмусь, лишь бы не срочная. — „Тройка“ Некрасова чудесная вещь. Я ее читал раз десять.

Юношеские потребности + недоверие к собственному чувству значат немогута, Грановский. Вот почему я и заподозрел в романтизме то, что, может, вовсе и не романтизм. О рефлексия! Я не имею недоверия к собственному чувству, Грановский, а юношеского чувства тоже не имею. Чувство приняло иной характер. Слабее ли оно, хуже-ли? Нет! Но оно иначе происходит, внутренний процесс иной. Вот что, caro! [1] — вернуться к юному нельзя, но совершеннолетнее и не хуже, и не ложнее. Зачем же недоверие к собственному чувству и желание чувствовать юно, тогда как чувствуется мужественно? Я мало верю в твою старость. Болезненность имеет огромное место в нашей жизни, но она ложь; она является под известными впечатлениями, которых сила должна больше и больше исчезать с возрастанием ясного сознания. Любить и жить dans le vague [2] (в котором есть гибельно увлекающая поэтичность) становится с каждым днем невозможней. От этого грусть с ее Mondscheinfarbe [3] переходит, может быть, в тяжелое горе, но которое выносить ясно и мужественно становится как-то хорошо. В поэзии этого горя есть какая-то интеллигентная Sonnenlichtfarbe. [4] Может, это романтизм нашего времени, который ближе к действительной жизни, aber die Harmonie des Lebens ist noch nicht errungen. [5]

Вперед, вперед моя История!
Nur Beharrung führt zum Ziel,
Nur die Fülle führt zur Klarheit
Und im Freyen wohnt die Wahrheit. [6]

Извини, что я сделал весьма скверный стих для избежания слова Abgrund, [7] который не представляет моему воображе-

[1] Дорогой!
[2] В неопределенном, туманном.
[3] Красками лунного света.
[4] Окраска солнечного света.
[5] Но гармония жизни еще не достигнута.
[6] См. комментарии.
[7] Пропасть.

нию ничего кроме болота. А что я заменил его словом das Freye, [1] в этом дам отчет:

Zwischen Realität und Wahrheit ist ein grosses Unterschied. Die Realität ist bloss sagend, ohne sich zu bekümmern ob sie wahr oder falsch ist. Nur das frei hervorgebrachte, d. h. das bewusste Wirken, nur das Menschliche, das aus der Indifferenz der Realität sich befreite, kann eine Wahrheit sein. [2]

Прощай, caro! [3] Пиши скорей и чаще. Ты теперь ближе по дистанции, чем другие, а я один. Письмы от тебя придут скорей и свежи; а от других посмотришь—писано 1-го, а получено 16 следующего месяца. Это очень обидно.

Напиши подробности об отъезде Герцена.

Кланяйся жене. Скажи ей, что я твержу adagio D-дурной сонаты. Addio. [4]

18 Генваря. Распечатываю и еще приписываю, списываю слово в слово то, что я написал сейчас Герцену о весьма важной для нас новости; oscoltate: [5] „Иван Галахов женится на племяннице мужа Мадам Kenney, на той Элизе, которая у них живет. Это меня бесит. Добрая, но скучнейшая из скучнейших англичанок. Что за сумасшедший! Она, говорят, в него влюблена, да неужели же из сострадания жениться? Верно, Фролов его уговорил упрочить свое благоденствие любовью женщины тихой, скромной и, прибавлю, весьма некрасивой и тупоголовой, да еще скверно поет вдобавок".

А где Гал[ахов], не знаю, говорят в Пиринеях. Брат его был при наборе, но я его уже не застал.

Датируется 1847 г. по упоминанию о проводах Герцена и „Тройке" Некрасова, напечатанной, с посвящением И. И. Маслову, в № 1 „Современника" за 1847 г. Ответ Грановского на это письмо см. в книге „Т. Н. Грановский и его переписка", т. II, стр. 448—449. Ответ, как видно из сопоставления его со следующим печатаемым нами письмом Огарева, дан не полностью. Попытки отыскать в Москве подлинник письма Грановского оказались безуспешными: в бумагах редактора переписки Грановского, А. В. Станкевича, хранящихся в Историческом музее, есть лишь сделанная рукою В. Н. Щепкина копия напечатанного отрывка из письма.

Если Алексей Алексеевич . . . . . при наборе. Н. А. Огарева сохранила в своей записной книжке копию вопросов, сделанных ее отцу в III отде-

[1] Свободное.

[2] Между реальностью и истиной – большая разница. Реальность говорит просто, не беспокоясь о том, истинна она или ложна. Только свободно произведенное, т. е. сознательное действие, только человеческое, освободившее себя от безразличия реальности, может быть истиной.

[3] Дорогой!

[4] Прощай.

[5] Слушайте.

лении после ареста 1850 г. Шестой вопрос был таков: „Правда ли, что Вы, вмешиваясь в общественные дела К-х Кр-н, восстановляли их против начальства, а во время рекрутских наборов научали Кр. подавать неосновательные жалобы? („Русские пропилеи", IV, 107). См. также „Воспоминания" Н. А. Огаревой-Тучковой, стр. 31 и след.

Расчет о кристаллизации карбона . . . вскрываю овец. Следы занятий Огарева химией, физиологией и анатомией сохранились в нескольких его тетрадях, принадлежащих ныне Ленинской библиотеке. В одной из них, под заглавием „Analyse. Substances divers",[1] начат, между прочим, качественный анализ воды какого-то источника близ Яхонтова (имения Тучковых)—„Source d'une eau minérale près de Jachontovo. Analyze qualitative".[2] В другой тетради — химические заметки по книге Грэгама.

Das Anzulängliche
Hier wird's Ereigniss

Два стиха из заключительного „Chorus mysticus"[3] во 2-й части „Фауста":

Alles vergängliche
Ist nur ein Gleichniss;
Das Anzulängliche
Hier wird's Ereigniss;
Das Unbeschreibliche
Hier ist gethan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.

В прозаическом переводе М. Вронченка: „Все преходящее есть только символ: здесь достигается казавшееся недостижимым, совершается невыразимое; сюда возносит нас вечно-женственное". Сам Огарев переводил так:

Все преходящее
Только сравнение;
Недостижимому
Здесь выполнение;
Невыразимое
Здесь совершается
А вечно-женственным
Душа пленяется.

(„Стихотворения" Н. А. Огарева, изд. Сабашниковых, т. I, стр. 407).

Герцен уехал или нет? Герцен уехал за границу 19 января 1847 г.

Обними от меня Корша за статью Бера. Евгений Федорович Корш (1810—1897), один из наиболее близких Огареву и Герцену членов их кружка, с 1842 г. редактировал „Московские ведомости". В № 157 этой газеты за 1846 г. была помещена статья: „Честность русских промышленников на Новой Земле (из статьи академика К. М. Бэра об этнографических исследованиях вообще и в России в особенности)". Статья описывает быт промысловых артелей на Новой Земле, подчеркивает исключительное бескорыстие и честность членов артелей и кончается так: „Можно представить себе, в каком восхищении, видев промышленников Новой Земли, я

[1] „Анализ. Различные вещества".
[2] „Источник минеральной воды близ Яхонтова. Качественный анализ".
[3] „Мистический хор".

прибыл потом к поморцам Белого моря. Но здесь меня уверили, что те же люди, столько честные, верные и бескорыстные далеко на севере, делаются хитрыми и лукавыми в отношениях с полицейскими властями. Там они почитают свои обычаи необходимостью, здесь же видят в законах только препоны, которые надобно обойти".

Обними Кавелина . . . . . о дополнении его статьи. Имеется в виду статья Конст. Дм. Кавелина (1818—1885): „Взгляд на юридический быт древней Руси" („Современник", 1847, № 1), вызвавшая большой интерес и оживленную полемику. О ней сочувственно писал друзьям и Герцен из Берлина 8/20 февраля 1847 г. (см. А. И. Герцен—„Новые материалы. Труды Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина". М., 1927 г., стр. 28).

Цикл лирических стихотворений — вероятно, „Монологи", напечатанные в т. III „Современника" за 1847 г.

Вперед, вперед моя История.

. . . . . .

Und im Freyen wohnt die Wahrheit.

Русский стих — начало 4-й строфы VI главы „Евгения Онегина", немецкие — три заключительных строки из стихотворения Шиллера „Spruch des Confucius", [1] с указанной Огаревым заменой слова Abgrund (пропасть) словом das Freye (свобода). А. Мейер перевел строки Шиллера так:

Помни, что с твердостью только упорной
Дойдешь ты к желанной мечте,
Что истина кроется в пропасти черной,
Что ясность живет в полноте.

Иван Галахов женится . . . . . на той Элизе. Иван Павлович Галахов (1809—1849)—приятель Герцена и Огарева. Был женат на англичанке Элизе Боуен (Bowen). М-м Kenney—Мария Павловна, урожденная Галахова, сестра Ив. Павловича; на другой сестре, Елизавете Павловне, был женат Н. Г. Фролов.

Брат его . . . . . не застал. У И. П. Галахова было два брата: Александр (род. в 1802 г.), впоследствии петербургский обер-полицеймейстер, и Сергей, лицеист выпуска 1823 г. Речь идет, вероятно, о втором. (см. не поступавшую в продажу книжку: „Генерал-лейтенант Гавриил Аристархович Галахов. 1826—1899 г. Биографический очерк с приложением родословной семьи Галаховых и портрета. Издание исключительно для членов семьи и друзей покойного. Составлен И. Г. Галаховым", СПБ, 1899 г.)

6

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

14 Февраля. Акшено.

Сегодня я воротился от Ал[ексея Алексеевича], у которого провел дней 15, ничего или почти ничего не делая. Надо было отдохнуть. Я было заработался и вдруг впал в какой-то декураж мент и не мог оставаться один. Теперь это прошло.

[1] „Изречение Конфуция".

С некоторого времени я еще больше полюбил А[лексея] А[лексеевича], т. е. с тех пор, как вижу ближе внутренний процесс его жизни. Живое лицо и его История делаются для меня предметом глубокой, искренней симпатии и вместе с тем этюдой. Сколько трагического в каждом человеке, Грановский! И вот, возле, вижу, растет молодое поколение, которое я знал в детском возрасте, и что-же?—оно как то фаталистически стремится опять к трагедии и вырабатывает все трагические элементы, которыми самая обыденная жизнь нестерпимо богата. Но теперь не стану об этом говорить, хотя это начало и имеет соотношение с остальною частью моего письма. А эта часть заключается в ответе на твое письмо. Я твоим письмом весьма доволен, потому что мы, кажется, можем теперь х о р о ш о войти в полемику.

15 ф е в р а л я. Вчера вместо того, чтоб продолжать писать, целый вечер пробрянчал на клавирах и рано лег спать, потому что передпрошедшую ночь провел напролет без сна—в дороге, которая становится отвратительна.—Сегодня целое утро провозился над одним химическим процессом, которого результат никак не умею определить.

— Теперь речь о твоем письме. Не знаю, как начать, чтобы яснее выразить то, что думаю. Начну вот с чего,—с обвинения меня в романтизме. Это приведет к цели Г°.—Я нисколько не отстаиваю себя в романтических побуждениях известного разряда, но не в тех, в которых ты меня обвиняешь.

Ты обвиняешь меня в высокомерии, которое тебе тем страннее кажется, что является после безверия в литературную деятельность и безверия в практическую деятельность. В гордости я нисколько не извиняюсь; может, это мой самый сильный порок, и хотя он происходит от весьма страстной ненависти против н е м о е г о убеждения, но все же, вероятно, порок. Но не в том дело. Оставим язык у в е р е н и й о самих себе, которые могут быть и произвольны, чтобы говорить языком п о н я т и й, которые должны сами собой убеждать; иначе мы не придем к правде и будем вращаться в сфере самолюбий, которые могут заставить нас сердиться, и нехорошо, узко сердиться. — Ты пишешь о Кир[еевском], который перенес свои желания в загробную жизнь; ставишь меня в параллель, как перенесшего свои желания в 3-е или 4-е столетие и бог знает куда, и говоришь про себя:

Auf dieser Erde blühen meine Freuden. [1]

[1] См. комментарий.

Caro! Когда же я тебе говорил, что перенес свои желания куда нибудь вне себя? Вероятно, этого в моем письме не было, потому что это Schnurstraks [1] противоположно моему убеждению. Я точно так-же мало принадлежу к стремлению Кир[еевского], сколько к тому, которое ты мне навязываешь. Jenseits [2] для меня равно абстрактно, как в том, так и в другом, а Diesseits [3] существует одно: индивид с его гуманным содержанием и исторической обстановкой. Пружина деятельности одна: стремление разрешить те вопросы, к которым историческое развитие (жизнь) и логическое развитие приводят индивида. Это одно существенно и неотъемлемо, и нужды нет, верит индивид в будущие успехи человечества или нет. Индивиду нужно разрешить те вопросы общечеловеческие и личные, к которым он пришел по своему развитию, иначе ему дышать нельзя. Человек даже ничего внешнего не может понять иначе, как через себя. Никто не мог ни жить, ни умереть ради чего-нибудь внешнего или ради других, но только ради своего убеждения и своей любви. Вот единый факт, единое понятие, во что я верю и в чем я убежден. Оно так должно быть a priori из понятия индивидуальности, и так есть по опыту, потому что мы не видали еще людей, которых жизнь вся поглощена практической деятельностью, не видали, чтоб они, разуверясь в своем влиянии, перестали работать на практическом поприще. Какое бы ни было разуверение, но они делают, потому что не делать они не могут. Вот тут мы с тобой и согласимся, что абсолютной истины нет, и я никогда тебе не проповедывал абсолютную (мне впрочем неизвестную) истину. Истинно может быть многое, но истины абсолютной быть не может; абсолютная истина была бы принцип в его полнейшем развитии; а где же эта апогея развития? А если она грань принципа, то вместе с своей апогеей принцип доходит до конца, до своей смерти, что всегда и бывает с истинами относительными. Из этого не трудно заключить, что абсолютная истина есть сама в себе противуречие и ergo [4] существовать не может. Но относительная истина последующая враг истины предыдущей. От этого [хотя я далеко не смею назвать себя скептиком, несмотря на высокомерное желание попробовать собственную внутреннюю силу (в чем

---

[1] Прямо.
[2] Потустороннее.
[3] Посюстороннее.
[4] Следовательно.

каюсь)]—от этого я в скептицизме вижу признание чего-нибудь неадекватным истине, хотя эта истина и неизвестна; а это непризнание (это 2 · 2 не = 5) не может терпеть, чтоб что-нибудь выдавало себя за истину (2 · 2 = 5), не может терпеть ни в других, ни в себе, а тем менее держать что нибудь подобное pro domo suo, [1] для личного удовольствия.

Вот ты опять на меня рассердишься! Нет! пожалуйста не сердись, Грановский! Мне верно не хочется уязвить тебя; я думаю, ты такой мерзости от меня и не ожидаешь. Но мне больно, что ты считаешь задушевным, личным то, что признаешь б о л ь н ы м (твои слова); это меня бесит и оскорбляет.—Ты говоришь, что фантазия не ослабит практической деятельности. А ты думаешь, что фантазия, которой человек задушевно предан (в е р у е т), не отнимает die Kraft der Negation? [2] „Жестокий анализ чужих убеждений возможен только в века праздные, подобно нашему". . . , пишешь ты. Не от этого ли древний мир казнил Сократа, вздумавшего учинить жестокий анализ его убеждений? — Caro! [3] Где же ты видел век, в котором бы убеждения ходили на свободе? Может, в наш век они ближе к тому, чем в древнем мире. Мы терпим людей, но все же мы терпим людей, а не мнения. Мы можем уважать Еврея, но враждавать с Моисейским законом. Да как ты хочешь примиряться с чужим убеждением или оставлять его в покое, когда из убеждения строится все—жизнь, наука и цивилизация? Es lebe die Partey! [4] хотя бы эта Partey был один человек. Есть в человеке то, до чего я не допущу анализ не только постороннего, но и самого близкого, — это его отношения к лицам. Я не трону, но от всей души полюблю человека, который привязан к другу, к отцу, к матери, к любовнице, несмотря на их недостатки. Но убеждение — достояние общее.— И что за раздел теории и практики? Разумеется, практика язык теории, но ведь он ее-то и выражает.—Ах! Грановский! Ну! как же еще ты пишешь: „у меня есть известное число идей". . . Но как будто можно на этом остановиться, и в нерешенных вопросах оставаться на том, что они нерешенные вопросы? А между тем лелеять их, как любимые фантазии?

Скептицизм, говоришь ты, идет не одним путем насмешки и иронии, но и путем скорби. Совершенно согласен. Но определим слово: скорбь. Высшая скорбь отстать от своего веро-

[1] Для себя лично.
[2] Силу отрицания?
[3] Дорогой!
[4] Да здравствует партия!

вания, потому что оно не адекватно истине. Эту скорбь действительно носит в себе скептицизм. Это скорбь человека, который видит себя принужденным пожертвовать историей разуму, убеждением по преданию убеждению логическому.

Скептицизм—высший представитель неумолимости разума. Не подумай, чтоб я защищал абстракцию. Разум есть только сознание факта, оправдание существующего законно—перед произвольным. В неумолимости скептицизма действительно ужасно много скорби и трагического. Нет, например, ничего труднее и скорбнее, как признаться, что не любишь женщины, которую долго любил; а это дело скептицизма. Нет ничего скорбнее, как не позволять себе увериться в том, чему желаешь верить. Это дело скептицизма. Наконец, в науке нет ничего скорбнее, как отстать от мысли, которую лелеял. И это дело скептицизма.—Скептицизм еще не есть сомнение во всем; это было бы maaslos [1] и неопределенно. Скептицизм—сомнение во всем, что не имеет causa sufficiens, [2] поверка факта разумом и рассуждения фактом; скептицизм есть негация прошедшего и настоящего (о будущем он не имеет права говорить, как о деле, которого он не знает)... Скептицизм есть действительное движение и безбоязненность скорби. Он ищет ясности и определенности и не терпит никаких теорий и фантазий, неадекватных истине (хотя она ему неизвестна!)...

Но что же это я пишу акафист скептицизму?.. Я в самом деле не скептик, я не достиг до высоты скептицизма, хотя стремлюсь к ней. Я в самом деле, caro, может быть, только алхимик даже в самом скептицизме. Но я еще не убежден, чтоб трудом не можно было сбросить алхимическую фантазию и добиться ясности в теории и жизни, т. е. отсутствия сумерек.

Вот я напутал тебе какое-то длинное письмо наскоро, а тут меня прерывают разного рода поверенные. Это страх скучно; никак не могу принудить себя к делам; просто чувствую неодолимое отвращение. Всякую почту сбираюсь написать письмо, которое может покончить мои дела, и всякую почту не могу решиться—по лени и потому, что мне внутренно неловко решиться на известный поступок. А надо.

Еще: ты не подумай в самом деле, что я Алхимик там, где можно бы быть алхимиком, т. е. в химии и естественных

---

[1] Лишено меры.
[2] Достаточной причины.

науках. Химия становится с каждым годом определенней, и трудно выйти из нее в Алхимию, как бы из Математики. История образования планеты и организма — вот задача, которую решает один опыт без примеси фантазий. Я желаю ради этой задачи трудиться, сколько жизни хватит, и в методе занятий иду осторожно. Брилльант, о котором я говорю шутя, в самом деле для меня важен, потому что путь, по которому природа творит, важен; тут не ставь в параллель искания делать золото изо всего на свете, тут просто искание привести известные (connus) элементы в известное состояние. Химия лучше всякой науки доказывает, что каждый синтезис есть анализ. Впрочем, я не хлопочу о брилльанте, потому [что] слишком много вещей надо узнать и некогда еще приниматься за новое.—В жизни я страшный Алхимик, Грановский! и ты в этом прав.

Прощай! мне не хотелось посылать письма, потому что както еще много сказать хочется; но не хочется и почты пропустить, да и в город надо послать больного к медику, потому и спешу. Сигары получил. Цены не знаю, да и им цены не знаю, так они хороши.

Прощай еще раз. Крепко жму руку.

Речь о твоем письме—см. примечание к предыдущему письму. Датируется 1847 г.

Киреевский, Иван Васильевич (1806 — 1856) — один из виднейших представителей славянофильства. По словам Герцена в „Былом и Думах“ (XIII, 145), „совершенной близости, сочувствия у него не было ни с его друзьями, ни с нами. Между им и нами была церковная стена“.

Auf dieser Erde blühen meine Freude—на этой земле цветут мои радости. Быть может, Огарев здесь неправильно цитирует (что с ним часто бывало) стих из первой части „Фауста“:

„Aus dieser Erde quellen meine Freude“, т. е. из этой земли проистекают мои радости.

7

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

25 апреля. Акшено.

Надеюсь, что твоя головная боль прошла прежде моей лени писать письмы. Ты вздумал мое молчание приписать тому, будто я сержусь за которое-то из твоих писем. Нет, друг мой, по чистой совести этого и не было. Я ни на одно письмо не сердился. Да казнит тебя стыд за это предположение! А не писал я, потому что не писалось. А не писалось, потому что я довольно долго жил у Алексея Алексеевича, который все сбирается ехать заграницу, так что не знаешь, когда

придется с ним проститься. Знаешь, что он непременно поедет, а между тем или откладывает, или молчит об этом предположении. Я его узнал короче в это время, Грановский! Какой это чудесный человек, и сколько в нем утратилось бесплодно силы от тысячи разных скорбей — этого ты вообразить не можешь. Я больше живу у него для того, чтоб ему было жить легче. Это я говорю inter nos, разумеется. Но возвращаюсь к моему долгому молчанию. Дома мне почти некогда писать письмы, ибо я делаю три вещи: хозяйничаю, занимаюсь химией и ее приложениями и пишу.

Хозяйничаю! Ты подумаешь, что я шучу. Нет, caro, вовсе не шучу. Я надеюсь—*ибо поступаю совершенно чистосердечно*—к будущей осени устроить так, чтобы у меня была большая ферма, а мужики остались бы совершенно сами по себе, на земле, ныне ими для себя обрабатываемой, платя долг в Совет. Это я надеюсь устроить через год (т. е. почти полтора) здесь; а через три года во всех моих доменах. Ergo[1] это не игра, которая не стоит свеч, и ergo я совершенно отказался от продажи. А впоследствии, ничуть не изменяя весьма задушевному убеждению, буду *продавать* или в наймы отдавать или сам обрабатывать *ферму*. Дай только доказать всем и каждому на деле возможность этого, и тогда я доволен и могу ехать в Москву и дальше с убеждением, что сделал дело.

По прикладной Химии хлопочу делать искусственно естественное виноградное вино, а именно мадеру. До сих пор стою на разложении этого вина и не совсем безуспешно. Надежды есть и виды на возможность продавать по 50 коп. ассигнациям бутылку, что, при содействии начальства, может обратиться в народный напиток и много заменить гибельную водку. Поэтому я тут хлопочу, как о цивическом поступке.—

Пишу я повесть в стихах. Оной написана одна глава, но в ней местами кой-чего не достает еще, и начата 2-я. Заглавие: Деревня. 1-я глава—приезд, 2-я—отъезд (хотя и не тот несчастный отъезд, который Панаеву с Некрасовым чорт знает зачем хотелось напечатать). Я готовлю ее для „Современника", но едва ли решусь напечатать, по крайней мере скоро, хотя и кончу в июне.—Потом занимает меня другая пиима в драматической форме (хотя все же не моя заветная драма, до которой я не дотрагивался), и я ее соображаю.—Потом—я на-

[1] Следовательно.

чинаю бродить по лесу. Уже некоторые цветы показались. Но листьев на деревьях еще нет. Птицы есть. Как-то хорошо становится. Набираю гербарий. Сделай дружбу, вышли мне при первой возможности, т. е. с почтой, или передай для пересылки моему поверенному Ивану Яковлеву, который к тебе за этим явится, следующие книги: 1) от Арльта a) ein gutes Werk über die Forstwissenschaft, b) ein gutes Werk über die Viehzucht und, c) ein Werk über die Criptogamen, das von Fries oder was neueres. 2) Флору русскую mit Rücksicht[1] на медицинские растения и вообще. Если такого издания не имеется (спроси знающих), пришли хоть Московскую флору Двигубского; но постарайся достать что-нибудь лучшее. Для больницы мне фармацевтическая Rücksicht очень нужна, а для прогулок все нужно, да еще mit einer besondern Rücksicht auf die Cryptogamen. Попроси Мюльгаузена поговорить о сем с Ласковским. 3) Попроси у Кетчера следующий мне по его дару экземпляр Терапии Нейманна и мои лексиконы, которые мне ужасно нужны. А ему они теперь ни к чему, ибо он перевод кончил.

Арльту скажи, чтоб книги тотчас же прямо выслал по почте на мое имя. Он знает. А остальное отдай Ивану Яковлеву и деньги на книги от него получи. Dixi[2] комиссии... Теперь опять о себе. Брожу я по лесу до ночи, и, право, хорошо, Грановский. Внутренно мне довольно тяжко и mangelhaft,[3] но я переживаю какую-то поэтическую эпоху моей жизни. Даже деятельность хозяйственная не мешает мне; в ней стало для меня какое-то живое дело, которое поддерживает во мне деятельность мысли, чувства и даже фантазии. После завтрака я отправляюсь верхом по полевым работам или по лесоводству. В этом проходит часа четыре. Потом дома что-нибудь поделаешь. Потом обед. Потом иду бродить. Прихожу и распределяю работы на завтрашний день, при сем толкую с час с мужиками. Потом пишу или учусь (как же назвать иначе чтения человека, который все еще школьник в науке?) часов до 3-х или 4-х ночи. Встаю в 10 и опять то же. Вина я употребляю мало, т. е. не бываю пьян и иных нежных забот почти не имею. Нервические припадки мои совсем исчезли, голова свежа и, несмотря на глубокую болезненную Man-

[1] a) Хороший труд по лесоводству, b) хороший труд по скотоводству и c) книгу о тайнобрачных растениях—Фриса или что-нибудь более новое. Флору русскую, где было бы обращено внимание на...

[2] Покончил.

[3] Неполно.

gelhaftigkeit [1] чего-то, на душе полно и в поступках больше ровности и твердости, чем прежде. *Ты* ничего тут не примешь за Sebstlob, [2] надеюсь, нет! Грановский, внутреннее удовлетворение, которое доставляет деятельность и разумность поступков (разумеется это не beständig, [3] что было бы даже скучно), и das harmonische seiner Selbst—не Selbstlob, a Selbstentwiklung, [4] и я внутренно оживаю.

Ну, прощай, Грановский! Жму тебе руку и Коршу, и Кавелину. Кланяйся Павлову. Тебя удивит это, или не удивит, это вследствие его ответа Гоголю.

От Герцена получил небольшую записку из Парижа.—Ужасно давно не писал и к нему по тем же причинам. Получил письмо от Мюллера. Ужасно мне захотелось съездить к нему в Берлин.

Кланяйся жене—Прощай!

Боткину кланяюсь, что его рука?

А как в доме пусто без женщины!

Послал в „Современник" статью (вероятно, в смесь)—Письмы из провинции (pseudonym). Не совершенно удовлетворен художественной отделкой, но ручаюсь за меткость и достоинство статьи, если ее не испортят.

У Желтух[иных] дочь родилась.

Нельзя ли собрать у Герцена мою библиотеку? Я пришлю в Москву за Кортиком, и тогда ее привезут.

26 апреля. Хотел писать к Сатину и Герцену, но никак не успел. До следующей почты. Кланяйся Сатину и скажи ему сие.

Упоминание о сборах А. А. Тучкова за границу и о письмах Н. Ф. Павлова к Гоголю (см. ниже) датируют письмо 1847 г.

Хозяйничаю... Излагаемые Огаревым хозяйственные планы вносят дополнительные штрихи в его письма к московским друзьям, напечатанные в сборнике „Помощь голодающим" (изд. „Русских ведомостей", М., 1892, стр. 521—527), а также в характеристику Огарева-помещика, данную М. О. Гершензоном („История молодой России", М. Л., Госиздат, 1923).

Занимаюсь химией... Тетради Огарева, хранящиеся среди его бумаг в Ленинской библиотеке, позволяют заключить, что его занятия химией были довольно настойчивы и продолжительны.

Пишу я повесть в стихах. Вероятно, речь идет о стихотворной повести „Господин". Ее герой — Андрей Потапыч — несомненный автопортрет Огарева-помещика. Она была напечатана в „Полярной звезде" за 1857 г., в лон-

[1] Неполноту.
[2] Самохвальство.
[3] Постоянно.
[4] Гармония с самим собой—не самохвальство, а саморазвитие.

донском издании стихотворений Огарева 1858 г. и, с цензурными пропусками 31 стиха, в „Стихотворениях Н. П. Огарева", под ред. М. О. Гершензона (М., 1904, изд. М. и С. Сабашниковых).

Заглавие: Деревня. Речь идет о повести „Деревня", тоже носящей автобиографический характер. Напечатана впервые в „Стихотворениях Н. П. Огарева", под редакцией М. О. Гершензона, по рукописи, конец которой, повидимому, утрачен. Напечатанные главы носят заглавие: „Приезд" и „Письмо Юрия". Последнее, вероятно, входило в главу „Отъезд". М. О. Гершензон предположительно относит написание „Деревни" к 1848 – 1849 гг. Печатаемое нами письмо дает более точную датировку.

Несчастный отъезд... Огарев имеет в виду стихотворение „Отъезд", впервые напечатанное в 1 кн. „Современника" за 1847 г. (см. „Стихотворения Н. П. Огарева", под редакцией М. О. Гершензона, т. I. стр. 305).

Панаев, Иван Иван. (1812—1862) и *Некрасов, Никол. Алекс.* (1821—1877)— издатели „Современника".

Пиима в драматической форме . . . . соображаю. При чрезвычайном обилии литературных замыслов Огарева трудно сказать, о какой „пиими в драматической форме" и о какой „заветной драме" идет речь. За одиннадцать лет до настоящего письма его занимала мысль о драме „Художник", и он в 1836 г. писал: „Я хочу писать драму „Художник" и разоблачить в ней будущность искусства... Форма драмы будет оригинальна. Мой художник—энциклопедист: поэзия, музыка, живопись участвовали в его образовании. Конец—сумасшествие" (см. Анненков—„Идеалисты тридцатых годов", в книге „Анненков и его друзья", СПБ, 1892, стр. 53 – 54). Около 1843 года он собирается приняться за исторические драмы. „Замысел огромный,—пишет Огарев,—1-е оба Иоанна, из которых IV будет разделен на две части; 2-е Федор (до Годунова боюсь дотронуться), Шуйский и патриарх Никон" (см. „Из переписки недавних деятелей", „Р. мысль", 1890, VIII, 9,10).

Пришли хоть Московскую флору Двигубского... И. А. Двигубский (1771—1839)—московский профессор ботаники. Огарев, желавший иметь „флору русскую mit Rücksicht на медицинские растения", вероятно, ошибся, назвав „Московскую флору" вместо другой книги того же автора—„Изображение растений, преимущественно российских, употребляемых в лекарствах" (М., 1828).

Мюльгаузен, Богд. Карлов. (1820—1878), профессор сравнительной анатомии и физиологии в Московской медико-хирургической академии и университете, затем главный врач в Странноприимном доме гр. Шереметева. Тесть Грановского.

Ласковский—И. Э. Ласковский (1816—1871), московский профессор фармакологии и фармации.

Кланяйся Павлову . . . . . ответ Гоголю. Никол. Филипп. Павлов (1805 — 1864),— беллетрист, получивший известность „Тремя повестями" (1835) и „Новыми повестями" (1839). Издатель газеты „Наше время" (1860 – 1863), основатель и первый редактор „Русских ведомостей". Его „Письма к Н. В. Гоголю", вызванные появлением „Выбранных мест из переписки с друзьями", были напечатаны в №№ 28, 38 и 46 „Московских ведомостей", 1847 г. Там их и читал Огарев, так как перепечатка их в „Современнике" того же года началась с № 5, который еще не выходил в свет ко времени написания настоящего письма Огарева. Белинский считал письма Павлова лучшей статьей, направленной против книги Гоголя. В 1890 г. они были перепечатаны в „Русском архиве".

От Герцена . . . . . из Парижа. Записка Герцена в печати неизвестна.

Письмо от Мюллера . . . Мюллер-Стрюбинг, Герман (ум. 1893), хороший знакомый Герцена, Огарева, Бакунина, Тургенева, Жорж-Занд. Знаток классической древности и искусства. В ранней молодости был приговорен к пожизненному заключению за участие в организации вооруженного восстания во Франкфурте-на-Майне, но через 7 лет амнистирован. Участник революционных событий 1848 года в Берлине. Кроме „Былого и Дум" Герцена (XIV, 314—322) и „Воспоминаний" Тучковой-Огаревой (М., 1903, стр. 43), нельзя не отметить из воспоминаний о Мюллере некрологических страничек Г. Б. Иоллоса в „Письмах из Берлина" (СПБ. 1904, стр. 134—137), который ссылается на статью Л. Пича в „Vossische Zeitung" за август 1893 г.

Вас. Петр. Боткин (1810—1869)—близкий друг Герцена, Огарева, Белинского, писатель по вопросам искусства и литературы.

Послал в „Современник" статью. Очевидно, это та самая статья, о которой Панаев писал Огареву 6 октября 1847 г.: „Напрасно сомневаешься ты в том, что письма твои не будут напечатаны в „Современнике".—Они превосходны—и будут служить украшением (так сказать) нашего журнала. Они поместятся в *Декабрьской книжке.* Бога ради, пиши продолжение их. Такого рода вещи очень и очень полезны, полезнее иных художественных произведений"... М. О. Гершензон, напечатавший письмо Панаева в 1 вып. „Новых пропилеев" (М., 1923), отметил, что в декабрьской книге „Современника" за 1847 г. никаких „писем" Огарева нет, нет их и в первой книге за 1848 г. По всей вероятности, это же произведение Огарева тщетно разыскивала Е. С. Некрасова (см. ее статью об Огареве в „Почине", сборнике О-ва Любителей Российской Словесности на 1895 г., стр. 46). В ненапечатанных письмах Н. А. Тучковой-Огаревой к Е. С. Некрасовой неоднократно идет о нем речь. Н. А. Огарева упорно утверждает, что статья была напечатана, но не может вспомнить где: в „Современнике" или „Отечественных записках". Она припоминает в общих чертах ее содержание („переезды,—мнимые, конечно,—Огарева от одного помещика к другому, все полно иронией и вместе добродушно"), говорит, что она была подписана псевдонимом, который после долгих припоминаний и называет: „Акакий Горюнов". Поиски в обоих журналах за 1847—1849 г. оказались безрезультатны.

С. А. Переселенков, авторитетный исследователь литературной деятельности Огарева, отвечая на мой запрос, высказывает предположение, что память изменила Н. А. Тучковой, и что в письмах Огарева и Панаева идет речь о „Письме из провинции", напечатанном не в „Современнике" или „Отечественных записках" а в „Полярной звезде" за 1857 г. с датой—15 марта 1849 г.—может быть, ошибочной, а может быть, указывающей на позднейшую переработку давно написанного „Письма". Письмо подписано псевдонимом „Антон Постегайкин" (Огарев, между прочим, упоминает об этом своем псевдониме в письме к Е. Ф. Коршу, напечатанном в сборнике „Помощь голодающим", изд. „Русск. ведомостей", М., 1892 г., стр. 523).

Желтухины Алексей Дмитриевич (1820—1865) и Елизавета Николаевна—деревенские соседи Тучковых (см. „Воспоминания" Н. А. Тучковой-Огаревой, стр. 38—39).

Кортик—верховая лошадь Огарева.

8

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

Секретно. 25 Апреля.

С большой горестью надписываю это слово, Грановский! Мне кажется, что так бы хорошо было быть со всеми откровенным, а нет! сил нехватает. Не хочется через откровенность доставить другим неприятное ощущение; не хочется перед другими выставить свою больную сторону. Итак, я надписал: секретно, чтоб ты случайно не дал кому не следует читать этой записки, как то случилось с Герценом. В этой записке 2 пункта. Слушай!

1-е. Вчера я получил от Сатина письмо, получение которого перед ним я пройду молчанием, а напишу ему sine ira, [1] чего я и не имею (сегодня), как будто не получал. Дело идет о деньгах Белинск[ому]. Действительно, я виноват, что долго не отвечал. Но еще более виновато то, что доверенность на получение денег, посланная мною Ключареву, оказалась в Москве негодною и была возвращена мне, переправлена и вновь отправлена; а время ушло; а я здесь не имел *гроша* денег. Это объяснение я даю тебе, взяв с тебя честное слово не сказывать этого тем, кто сомневается в моей готовности делиться не только с близкими, но даже с каждым хорошим человеком, который встретится на пути. Тут я действительно лично, помимо всех теоретических убеждений, горд и потому не хочу давать отчета сомневающемуся. Пусть смотрят на меня, как им угодно. А в письме Сатина был букет этого сомнения, хотя оно и не было высказано. На первую минуту мне это было очень оскорбительно. Теперь... горько, но без злобы. Я оттого и пишу к тебе это, что мне горько и хочется сказать это чувство тебе, потому что ты, верно, не сомневался во мне и, верно, знаешь, что я достаточно презираю деньги, как деньги, чтоб не дорожить ими. Ну! довольно об этом. Но ты можешь заключить, что многие отношения доходят до высшей степени натянутости, я не знаю, что с ними делать, тем более, что я не желал бы разорвать их для кого-нибудь оскорбительно и не могу не поддерживать со всевозможным дружелюбием чувство, которое ужасно далеко от близости. А потому я перехожу ко второму пункту.

---

[1] Более возвышенно.

2-е. Скоро каникулы, Грановский. Где ты будешь лето? Я прошу тебя — приезжай ко мне. Я тебе отвечаю, что ты хорошо проведешь время, в не совсем дурных местах; а мне тебя очень хочется видеть. Очень хочется, Грановский. Многое проверилось бы между нами иначе, нежели это было. Опыт и рефлексия мне доказывают, что мы не так поступали друг с другом, что мы горячились и что, проживши год (а в наши лета не даром же он проживается), мы даже о том же можем толковать более плавно, даже с большею важностью и — как бы выразить мою мысль — auf eine mehr erhabene Weise. [1] Моя симпатия к тебе часто сильно пробуждается, и мне ужасно хочется видеть тебя. Я прошу тебя — приезжай. Если и жена твоя приедет, я отвечаю, что ей не будет ни неудобно, ни скучно, и даже она найдет целую библиотеку музыкальную, весьма хорошо составленную.

Мне еще хочется видеть Корша. Но я знаю, что ему нельзя. А тебя мне просто задушевно нужно. В Москву я приехать до осени никак не могу. Дела и проекты не дозволяют. Осенью я, может быть, приеду на месяц или на два — и только. А там опять сюда. Мой труд лежит у меня на совести. — Приезжай, Грановский, прошу тебя. Да ведь и лучше же тебе жить здесь, чем в Соколове, или ехать в Орел лобызаться с патером. Жду нетерпеливо твоего ответа.

Я думаю, ты понимаешь без комментарий, почему мне не хочется, чтоб этот пункт читался другими, и почему мне хочется, чтобы мое приглашение осталось между нами; да ты и то понимаешь, что мне хочется быть именно и только с тобой и что непринужденность, возможность быть каждую минуту откровенным *важна для*... нескольких месяцев (недель?) задушевной отрады.—Твоя жена иное дело, она слишком хорошо должна понимать эти струны.

Датируем письмо 1847 годом: весной этого года друзья больного Белинского, при особенно деятельном участии В. П. Боткина, собирали средства, необходимые для его поездки за границу. Оно написано в один день с предыдущим письмом. Не желая отвечать Сатину, под свежим впечатлением причиненной им обиды, решившись — по крайней мере, в данный момент — обойти письмо друга молчанием, сделать вид, что совсем его не получал, Огарев с намерением сделал к предыдущему письму приписку, помеченную 26 апреля.

Проживши год... с большой важностью... Огарев разумеет год, прошедший со времени его возвращения из-за границы. Какова была встреча, оказанная Огареву друзьями, в частности Грановским, об этом можно судить

[1] Спокойно.

хотя бы по следующим строкам последнего к Фролову, от февраля 1846 г.: „несколько лет прошло со времени отъезда Огарева, тогда мы все еще были юношами, если не по летам, то по взгляду на жизнь. Теперь прошла пора обещаний, пора выполнить их, а Огарев даже обещать перестал, хотя не приступив ни к какому делу. Более всего оскорбляет меня глубокий эгоизм, который обличается такою праздностью. Ждем их (т. е. Огарева и Сатина) приезда в Москву. Мы решились не скрывать истины, не умалчивать нашего убеждения". (Т. Н. Грановский и его переписка", стр. 426).

К этому присоединилось теоретическое расхождение между Грановским и его друзьями, намечавшееся еще и ранее, но особенно резко обнаружившееся летом 1846 г. в Соколове и расколовшее крепкий когда-то дружеский круг (см. XIII, „Былое и Думы", часть IV, гл. XXXII).

Найдет библиотеку музыкальную... В связи с этим указанием на музыкальные интересы Огарева стоит отметить среди прочих его бесчисленных начинаний и попытки музыкального творчества. В рукописях Огарева, хранящихся в Ленинской библиотеке, имеются следующие музыкальные автографы Огарева: 1. „Nachtwalzer, 11 April, ihr gewidmet".[1] 1 лист. Писано чернилами. 2. „Тучи" (слова Лермонтова), голос и аккомпанемент для клавира. 2 листа. Чернила. На обороте 2-го листа незаконченный карандашный набросок на Пушкинский текст: „Безумных лет угасшее веселье"... Голос и аккомпанемент для клавира. 3. „Песнь пленного индейца, соч. Полежаева". Голос и аккомпанемент для клавира. 1 лист. Чернила. 4 „Walse". Для клавира. 1 лист. Чернила. 5. Незаконченная музыка на лермонтовский текст: „Выхожу один я на дорогу". Голос и аккомпанемент для клавира. 2 листа. Карандаш. 6. Незаконченная музыка к лермонтовской „Русалке". Голос и аккомпанемент для двух скрипок и двух „instruments à vent".[2] 1 лист. Чернила. 7. Незаконченная музыка к лермонтовской „Молитве" (Я, матерь божия...) Голос и аккомпанемент для клавира. 1 лист. Чернила. 8. Незаконченная музыка к лермонтовскому стихотворению: „На светские цепи"... Голос и аккомпанемент для клавира. 1 лист. Чернила. 9. Музыка на лермонтовские слова: „Есть речи — значенье темно иль ничтожно". Голос и аккомпанемент для клавира. 1 лист. Чернила. На обороте — карандашный набросок для голоса и аккомпанемента без заглавия и слов. 10. „Walse" для клавира. 1 лист. Чернила. 11. Незаконченная музыка на слова Огарева из стихотворения „Дорога": „Я в кибитке валкой еду да тоскую". Голос и аккомпанемент для клавира. 1 лист. Чернила. 12. „Wehmuths Walzer".[3] Для клавира. 1 лист. Чернила. 13. „Himmelverlustwalzer".[4] Для клавира. 1 лист. Чернила. 14. Prélude".[5] Для клавира. 1 лист. Чернила. 15. Музыка на слова Фета: „Я пришел к тебе с приветом". Голос и аккомпанемент для клавира. 1 лист. Чернила. 16. „Desperatio. Walse".[6] Для клавира. 1 лист. Чернила. Характерно для Огарева и количество незаконченных вещей, и обилие музыки на тексты любимого им Лермонтова. Н. О. Лернер напечатал („Северные записки", 1913, март) начало незаконченной, повидимому, статьи Огарева о Лермонтове под заглавием: „С утра до ночи". Отвечая на поставленный себе вопрос, в чем причина, что стихотворения Лермонтова так „близки ему по сердцу", даже в тех

[1] Ночной вальс. 11 апреля. Посвящено ей.
[2] Духовых инструментов.
[3] Печальный вальс.
[4] Утраченное небо. Вальс.
[5] Прелюдия.
[6] Безнадежность. Вальс.

случаях, если с основной мыслью их он не согласен, Огарев пишет: „Да потому, что они так изящно выражены, что их можно не только читать, их можно петь, — да еще на совсем своеобразный лад. Из них каждое, смотря по объему, — или песня, или симфония". В романсах Огарева на стихотворения Лермонтова слова последних переданы не всегда точно: очевидно, во время попыток музыкального творчества печатного текста перед Огаревым не было. Так, например, в „Тучах" вместо „чужды вам страсти и чужды страдания" Огарев пишет: „нет у вас страсти, нет и страдания". В тексте „Выхожу один я на дорогу" вместо „Уж не жду от жизни ничего я" читаем: „Нет, уж в жизни ничего не жду я". В тексте „Молитвы" вместо „Не с благодарностью иль покаянием" — „Не с умилением или покаянием" и т. д. Посылая нотные автографы своего мужа, Н. А. Огарева писала Е. С. Некрасовой: „Друзья Т. П. Пассек не нашли особенного музыкального достоинства в его произведениях, но они не того искали, надо искать *его* душу. Он любил музыку, любил великих музыкальных мыслителей, как Бетховен, Моцарт, Гайдн и пр. Он любил фантазировать, потому что музыка могла выразить, что было у него на сердце, но он не считал свое знание за серьезное". См. также „Р. пропилеи", IV, 166 и письмо Герцена к М. К. Рейхель от 25 апреля 1857 г., где сообщается, что Огарев написал музыку на текст пушкинской „Русалки" и хочет послать ее на суд Рейхелю (VIII, 507).

9

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

5 Июня.

Caro Грановский! Благодарю за присланные Арльтом книги; все чрезвычайно zweckmässig.[1] Я начал большие эксплоатации леса по всем правилам теории и замечаниям туземных практических людей (т. е. крестьян).—Теперь еще комиссии насчет книг, которые, немедленно добыв, передай Александру Кобылину, ибо от него ко мне имеется оказия с путешествующим из Москвы сюда Кортиком. Книги нижеследующие:

1) Knapp. Lehrbuch der chemischen Technologie.[2]
2) Müller-Pouillet. Lehrbuch der Physik.[3]
3) Atlas zu den Cryptogamen.[4]
4) Ein Buch über die Viehzucht.[5]
5) Русскую флору.
6) Перевод Муравьева Тэера.
7) Статистику России, все, что найдешь на русском и иностранных языках.

---

[1] Целесообразны.
[2] Кнапп—Учебник химической технологии.
[3] Миллер-Пуйэ—Учебник физики.
[4] Атлас к тайнобрачным растениям.
[5] Книга о скотоводстве.

8) Спроси у Корша, как выписать Губернские Ведомости: Нижегородские, Архангельские, Астраханские, Пермские, Харьковские, Волынские и Одесский и Кавказский вестник?

Пожалуйста не пропусти оказии и отвечай мне на последний вопрос. Деньги за книги Арльту и за русские я вышлю тотчас, как ты мне напишешь, сколько они будут стоить.

Жду я от тебя письма с великим нетерпением. Вероятно, ты занят экзаменами. Ну! что-ж? Я подожду, не сетуя. Я стал ужасно терпелив, Грановский, с тех пор, как нахожусь в необходимости настойчиво приказывать, избегая грубого обращения. Я учусь терпению и деятельности и являюсь школьником в практическом мире. Иногда бывает очень тяжело, но я не унываю. Всего тяжелее одиночество и отсутствие всякого элемента нежности; но я в своих поступках убежден и добровольно беру на себя обязанность привести к концу все начатые дела.

Мне тебя непременно нужно видеть, caro mio. [1] Но я в Москву не могу приехать прежде половины Ноября по многим причинам: 1⁰) все предприятия требуют денег, 2⁰) я должен провести около двух месяцев на сахарном и винокуренном заводах en qualité d'ouvrier. [2] Из недостатка первых для собственных трат и из необходимости знать de facto [3] работы я не могу двинуться с места до $^1/_2$ Ноября. Впрочем, делаю трату рублей на 700 собственно для себя тем, что отделываю себе квартиру, т. е. 3 комнаты, в моем доме с некоторым комфортом.

Я сегодня в какой-то Herzensweichen Stimmung [4] и должен сделать усилие над собой, чтоб заняться делом.

Прощай, Грановский.

От Герц[ена] давно не получал писем.

Погода чудесная. В лесу хорошо бывает.

Его Высокоблагородию
Тимофею Николаевичу
Грановскому

В Москве.

На Трубе, против церкви Николы в Драчах, в доме Мильгаузена.

---

[1] Дорогой мой.
[2] В качестве работника.
[3] На деле.
[4] В каком-то размягченном настроении духа.

Писано в 1847 году. Огарев благодарит за присланные книгопродавцем книги, — очевидно, те, о которых он просил Грановского в письме от 25 апреля 1847 г. Кроме того, по содержанию (и даже по некоторым одинаковым фразам) печатаемое нами письмо стоит в несомненной связи с письмом Огарева к Е. Ф. Коршу от 28 июня 1847 г. (см. „Помощь голодающим", стр. 521 — 523).

Knapp... Technologie. Разумеется „Lehrbuch der chemischen Technologie", 2 тома, Braunschweig, 1847. *Müller-Pouillet... Physik* — книга Клода Пуйэ. „Traité de physique expérimentale et metéreologie", переведенная на немецк. яз. Мюллером „Lehrbuch der Physik und Metereologie".

Перевод Муравьева Тэера. Тэер, Альбрехт-Даниэль (1752 — 1828), знаменитый немецкий агроном, основоположник плодосменного хозяйства. Огарев пишет о его книге, вышедшей по-русски под заглавием: „Тэер А. Основания рационального сельского хозяйства с примечаниями Н. Н. Муравьева и Е. Крюда. Перевод С. А. Маслова и А. Ширяева, М., 1831—1835". *Е. Крюд* — французский переводчик книги Тэера; его „примечания" повторены в русском издании. *Ник. Ник. Муравьев* (1768 — 1840), председатель общества математиков в Москве, преобразованного затем в школу колонновожатых, основатель Московской земледельческой школы и Московского общества сельского хозяйства. Интерес Огарева к книге Тэера нашел отражение в автобиографической повести „Господин": Андрей Потапыч, приехав в деревню,

...вынул привезенных книг
Запас, суливший много толку,
И в шкап расставил их на полку:
Твореньа Тэйра и других
Новейших лет индустриалов.

Вероятно, внимание Огарева, который вместе с Тучковым мечтал „о разных путях обогащения путем индустрии" (см. ниже письмо от 26 сентября 1848 г.), особенно привлекали такие „примечания" Муравьева: „Весьма бы полезно было для всех, если б помещики, имеющие деревни в черноземных губерниях, вместо хлебных посевов завели бы свекловично-сахарные заводы, а хлебопашество предоставили бы тем, где земля удобривается и следовательно не так способна к возращению свекловицы. Ежели имеем примеры неудач в таковых заведениях, то их приписать должно тому, что некоторые особы вздумали взращивать свекловицу целыми полями на таких почвах, где и хлеб едва родится; напротив же примеры почтеннейших наших соотечественников — хозяев Ивана Антоновича Герарда и Ивана Акимовича Мальцева должны удостоверить в успехе такового предприятия.—В Малороссии же, где винокурение свободно, там сахарные заводы от обращения патоки в спирт должны дать неимоверную прибыль; впрочем, нужно только за сие взяться с благоразумием, настойчивостью и попечительностью, и сахарные заводы сделаются у нас столь же обыкновенными, как и винокуренные, и со временем будем сахаром снабжать не только Россию, но и всю Европу. Какой обширный сбыт и какие богатства тогда сосредоточатся в России!" Та же книга была известна русской публике и ранее. Она была переведена Вас. Алексеев. Левшиным (1746 — 1826) под заглавием: „Основания теоретического и практического сельского хозяйства Альбрехта Таера. В шести частях. Ч. I, М., 1828, ч. II, М., 1828 г." (остальные части, повидимому, не вышли в свет). В предисловии „от трудившегося в переводе" читаем: „Отчасти я должен упомянуть о том, что у Г. Таера все хозяйство сельское поставлено как промысел, на ноге коммерческой, и все работы назначены

с денежным платежем наемным работникам. Сие происходит от того, что в Германии крепостных поселян нет, и что Г. Таер описывал хозяйствование имением, или поместьем, взятым в аренду на условиях. Кто знает, что будет со временем! Навсегда ли останутся крепостные поселяне? И в таком случае Таер может служить наставником образцовым для обладания и управления поместьем собственным или взятым в аренду, или на основании арендного управления устроенным" (стр. II — III).

10

М. Ф. КОРШ

Mercі за ваши строки, милая Марья Федоровна! Печальную скажу вам повесть: Гранов[ский], с тех пор, как я к нему писал, исполнил все мои поручения, кроме одного: отвечать на мое письмо. Поэтому я не знаю до сих пор, приедет он ко мне или нет? А уж как же бы хотелось, вы себе не можете или лучше — очень можете представить. В утешение за молчание Гран[овского] скажу вам, что получил письмо от Евгения и ужасно был ему рад. Я его сильно люблю, а заодно, думая об нем, еще больше люблю его. Пишет он и о Феде, что Федя растет и теряет младенчественность; и жаль это Евгению, и знает он, что этот переход необходим. А Саша сидит на моих креслах и говорит: а я Агаёв.—

Ну-с! потом что сказать вам? Да уж теперь не знаю что; все известно из письма к Герцену. Хочу только крепко пожать вам руку и проститься. — Пишите побольше, и я напишу побольше. Дайте мне увидеть, что с вами, что вы думаете, что смотрите, что радует, что не радует, вот чего я хочу. А то я только и знаю, что вы очень отсюда далеко, в большом городе, который я очень люблю, живете себе, а как — совершенно не знаю. Пишите же.

Вероятная дата этого письма — июнь 1847 года, когда М. Ф. Корш вместе с семьей Герцена была в Париже.

Евгений — брат М. Ф. Корш.

Федя и Саша — сыновья Е. Ф. Корша: Федор Евгеньевич (1849 — 1915), впоследствии известный профессор-классик и академик, и Александр Евгеньевич (1845 — 1898).

11

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

10 Сентября.

Письмо твое получил, carissimo! Много спасибо; я так давно не был с тобой в переписке, что это наконец становилось глупо и нехорошо. Я сам узнал от Кобылина в Нижнем, что тебе

нельзя ко мне приехать, и опечалился; да и Кобылина проводил за золотом с столькими раздумьями, что день был уныл. А потом жизнь и пошла своей колеёй. Я вообще веселый человек, Грановский; сблизясь с действительной жизнью, я отвык *грустить с приятностью;* гораздо более привык к сухой и очень неприятной досаде и скорби, которая когда отлегает, я бываю очень весел и робячусь. Жить мне довольно хорошо; о моей воспитаннице теперь не намерен говорить, а при свидании; скажу только, что она очень доброе существо, и потому я ею доволен. Свяжет ли она меня впоследствии — не знаю; но я пока желал бы поддержать отношение, которое мне не мешает жить во все стороны. Мысль весьма эгоистическая — конечно; но как же быть, carissimo? Когда не предвижу действительного счастия, то хочу спокойствия в ежедневности, и если моя воспитанница будет продолжать вести себя так, как теперь, то я буду считать себя на этот счет обеспеченным и не захочу расторгнуть какого-то нежного чувства дружбы и попечительности, которое меня к ней привязывает, кажется, даже более, чем физиологическое увлечение, без которого я тоже не могу существовать. — Но довольно об этом. В настоящую минуту я только одним недоволен — переделываю дом и живу в одной маленькой комнате, что меня до такой степени теснит, что я к столу, на котором пишу, подхожу с какой-то ненавистью и целый день ношу заднюю мысль досады на медленность работников, которая нестерпима. Встарь иной бы утешился мыслью, что все эти работники свои, а меня это бесит, особенно, когда вижу, что работа, которую можно кончить в 10 дней, продолжается месяц.

Два бича гуляют над нашей головой: засуха и холера. Первая совершенно изменяет план моего хозяйства на год, грозит голодом и способствует второй; а вторая близка. Вчера верст за 50 от меня человек 12 пали ее жертвой. Спешу устраивать мою больницу, запасаюсь лекарством. Кажется, мне дадут округ под попечение, и тогда пойдет для меня работа, которую я все же более люблю, чем хозяйство, и я надеюсь, что в моем округе смертности будет меньше, ибо действительно буду хлопотать о больных. А потом — каюсь — наблюдения вместе с медиком (довольно знающим) меня очень приманивают.

Твои анекдоты о Фридрихе мне очень нравятся. Жду твоих статей с нетерпением. К сожалению, сентябрьскую книжку „Современника", вследствие отличных распоряжений М. А. Языкова, получу не прежде 10 Октября. Что касается до моих

статей, то, кажется, им не суждено увидеть свет. Это мне очень жаль, потому что статью, которую давно уже послал в „Совр[еменник"], от души люблю сам. Хотел сегодня послать Коршу статью о статистическом распределении России (замечания на статью в № 98 Моск[овских] ведомостей), но едва ли успею сегодня переписать и исправить так, как хочется; поэтому откладываю до следующей почты. А на следующей почте непременно пошлю. Я не думаю, чтобы она была совершенно бесполезна, и надеюсь, что и вы с моим взглядом согласитесь. Итак, в субботу пошлю ее, — пошлю — и уеду в Симбирскую губернию на три дня. Покупаю фабрику писчебумажную — вот цель этого путешествия. В Москву надеюсь приехать в Ноябре (по первому пути); если что попрепятствует, то разумеется, ты уж ко мне приедешь. Но надеюсь, что препятствий не будет; мне же хочется со всеми повидаться. Как скоро пойдет винокуренный завод (а у меня уже 50 т. ведер поставки и еще будет), то и стану сбираться. Сегодня пишу к Герцену. Прощай, carissimo...

Друг Фролов! Напиши хотя страничку. Мы так давно не переписывались, что я не знаю, что ты и как. Обозначь себя, хотя в немногих словах, и вступим снова в корреспонденцию. Я даже не знал, куда тебе писать. Писал к Галахову, но ответа еще не имею. Что он? и где он? Знаю об нем через Герцена и люблю его по-прежнему. Где ты побывал? Жду от тебя с нетерпением известий. Пиши скорей. — Обнимаю тебя крепко.

Примечание. Грановскому. Верно, твой человек, когда носил твое письмо на почту, ненарочно сломал печать и потом уже сам так скверно припечатал, что отвратительно было взламывать печать. Заметьте это Архипу, Г-н профессор! чтоб он вперед таких поступков себе не позволял.

Его Высокоблагородию
Тимофею Николаевичу Грановскому.
В Москве.
На Трубе, в Драчевском переулке, в доме Мильгаузена.

Ряд фактических указаний письма, о которых сказано в дальнейших примечаниях, датируют его 1847 г.

Я сам узнал... в Нижнем. В письме к Коршу от 20 Августа 1847 г. Огарев писал: „На днях я приехал из Нижнего, где был на винных торгах и ужасно прокутился на ярмарочной жизни" (см. сборник „Помощь голодающим", стр. 523).

О моей воспитаннице... говорить... Речь идет о той самой женщине, привезенной Огаревым с Нижегородской ярмарки, о которой он

писал Коршу в только что упомянутом письме. Е. Ф. Корш, напечатавший письмо, говорит в примечании к нему, явно намекая на граф. Е. В. Салиас-де-Турнемир: „Женщина, о которой идет речь, была замужем за одним виконтом и пользовалась потом некоторою известностью в русской литературе". Это неверно. Во-первых, даже основываясь только на тексте письма к Коршу, вряд ли можно допустить, чтобы Огарев говорил о граф. Салиас (он „занимается ее воспитанием", она „ведет себя так хорошо", как он „и не ожидал"), текст же печатаемого нами письма совершенно исключает предположение Корша. Во-вторых, граф. Салиас с детьми приехала к Огареву в 1848 г., уже после возвращения Тучкова из-за границы (См. „Зеленую книгу" Н. А. Огаревой в IV т. „Русск. Пропилеев", стр. 108 –109, хронологическую канву к биографии Герцена и печатаемое ниже письмо Огарева к Грановскому от 7 октября, № 13).

Вернее всего предположить, что женщина, привезенная Огаревым из Нижнего, принадлежала к той среде, которую он изобразил в „Истории одной проститутки" (см. сборн. „Недра", кн. II, где повесть напечатана под редакцией и с примечаниями Н. Л. Бродского). Быть может, личный жизненный опыт Огарева, несомненно легший в основу повести, связан с упоминаемой в обоих письмах женщиной.

Холера... наблюдения вместе с медиком... приманивают... В бумагах Огарева, хранящихся в Ленинской Библиотеке, находятся четыре тетради, озаглавленные: „Etudes anatomiques, physiologiques et thérapeutiques". Они помечены 1850 г., но дата сделана несомненно позднее, судя по цвету чернил, и как-будто не рукой Огарева, так что тетради можно отнести и к более раннему времени. Мы находим в этих тетрадях рукописную таблицу аптекарского веса, собрание рецептов д-ра Штильмарка (того самого „опытного медика", о котором идет речь в письме и который часто упоминается в письмах к Тучковым, напечатанных в „Русских Пропилеях"), истории болезней, изложение диагностических разногласий с д-ром Штильмарком, алфавит разнообразных медицинских терминов и т. д. Вот, например, не лишенная интереса в бытовом отношении одна история болезни—видимо, дворового человека или крепостного крестьянина.

Rodion. Age—20 ans. Constitution robuste. Rien de particulier. Maladie: congestion cérébrale... Perte de memoire, Idiotisme. Etat chronique. Il est à observer qu'il parait qu'une cause morale a determiné le mal deux fois; le malade croyait que c'est un péché de se marier et tendait à la sainteté. Les parents voulaient le marier pour avoir une ouvrière dans la maison. Il a eu 2 fois la congestion cérébrale la veille du mariage. Rémèdes refrigerants, Stilmark a ordonné de 2 à 3 grains de Kali tartar. stibilati par jour interieurement et un ongon à la même base". [1]

Самая большая из историй болезней носит заглавие: „Remarques pr. rapport à la maladie de M-me S. [2] и, несомненно, касается графини Салиас. Она очень обстоятельно разделяется на отделы: Habitus, Maladie, Aetiologie.

---

[1] Возраст—20 лет. Сложение крепкое. Ничего особенного. Болезнь—застой крови в мозгу. Потеря памяти, идиотизм. Болезнь хроническая. Следует заметить, что, повидимому, причина морального характера дважды обусловила проявление болезни: больной верил, что жениться—грех, и стремился к святой жизни. Родители хотели его женить, чтобы иметь работницу в доме. Дважды накануне свадьбы он имел застой крови в мозгу. Штильмарк предписал принимать ежедневно внутрь от 2 до 3 грамм рвотного камня и мазь из того же лекарства.

[2] Заметки о болезни г-жи С.

Simptomes. Historiques. [1] Одна из записей имеет отношение к ожидавшейся холере. Под заглавием „Chemin du choléra asiatique" [2] дан конспект какой-то статьи. В конце конспекта в скобках пометка: Victor Mogoulsky, Rigasche Zeitung, 1847, № 20.

Жду твоих статей... Статьи Грановского „Историческая литература во Франции и Германии в 1847 г.", начатые печатанием в сентябрьской книжке „Современника" за 1847 г.

Что касается до моих статей... люблю сам... Вероятно, Огарев разумеет прежде всего статью, посланную им в „Современник", о которой упоминает в письме к Грановскому от 25 Апреля 1847 г. (см. примечание к этому письму), а затем небольшую публицистическую статью, о которой писал Коршу из Акшена 20 августа 1847 г.: „Посылаю тебе статью в ответ на статью Чихачева, помещенную в Земледел[ьческой] газете, и прилагаю копию статьи Чихачева, чтобы ты знал, в чем дело"... („Помощь голодающим", стр. 523). Статья эта, подписанная „Н. Огарев", носит длинное название: „Замечание на замечание г. Чихачева, помещенное в № 59 „Земледельческой газеты" 1847 года, на статью 72 № „Московских ведомостей" 1847 года, под заглавием: „Два слова о работах господских людей".

Огарев предвидел, что Корш, может быть, не захочет поместить его статью в „Московских ведомостях", и просил тогда переслать ее в „Земледельческую газету", „Современник" или „Отечественные записки". Статья появилась впервые в „С.-Петербургских ведомостях" (1847 г., № 227, от 5 Октября), а оттуда уже была перепечатана „Московскими ведомостями" (1847 г., № 122, от 11 Октября). Статья будет помещена в следующем томе „Звеньев".

Хотел сегодня послать Коршу... на статью в 98 № Московск. ведомостей. В № 98 „Московских ведомостей за 1848 г. (от 16 августа) был помещен со ссылкой на заимствование из „Журнала министерства внутренних дел" „Опыт статистического распределения губерний и областей Российской империи". Огарев свое намерение исполнил и в № 116 „Московских ведомостей" (от 27 сентября) за подписью Н. О. напечатал „Замечание на статью, помещенную в 98 № „Московских Ведомостей", под заглавием: „Опыт статистического распределения Российской Империи". Статья будет перепечатана в следующем томе „Звеньев".

Покупаю фабрику... Писчебумажную фабрику Огарев купил совместно с И. И. Маршевым, своим „незаконным" братом. По воспоминаниям Н. А. Огаревой-Тучковой в ее „Зеленой книге" („Р. Пропилеи", т. IV), Маршев впоследствии писал доносы на Огарева, и последний, чтоб развязаться со своим компаньоном, занял у Сатина 25 тысяч рублей.

12

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ И Е. Ф. КОРШУ

Carissimi! [3] Вы не можете себе представить, какое это мне горе: нет денег! Получив твое послание, Корш, я еще более почувствовал это горе. Грановский! перехвати где-нибудь на

[1] Сложение, болезнь, этиология, симптомы, история.
[2] Путь азиатской холеры.
[3] Дражайшие!

2 или 3 недели денег, хотя у Никол[ая] Филип[повича]. Через две недели я непременно должен иметь деньги, иначе мне и самому придется плохо. Ergo, [1] надеюсь через 2, а много через 3 [недели] выслать вам 500 целковых. Прежде никакой возможности нет; у меня всего на все 25 целков[ых]. Найди же, не стесняйся даже и процентами, только напиши тогда, сколько выслать сверх 500 р[ублей] с[еребром]. Я щепетильности К[орша] не понимаю, потому что не принимаю ячности, а только мычность. Я порядком себя гоняю за последний год моего существования, где я был черезчур ячен. Но гоняй, не гоняй, а дел этим не поправишь. Нынешний год съежусь и выработаю на все нужды. В Москву не приеду во весь год, потому что не с чем. А кому угодно ко мне на святки или иное удобное время, то готов отдать последний лепт, чтобы доставить себе счастье видеть вас у себя. Грановскому это бы и очень возможно было. Что касается до жизни здесь, должен сознаться, что она идет довольно тупо, и какой найду исход от всех моих хозяйственных дел—я не предвижу. Грустно становится, но все же надо работать. Приезд наших друзей меня оживил на минуту с тем, чтоб дать больше заметить пустынность моего существования. Что касается до воззрения на окружающее, я больше согласен с А[лексеем] А[лексеевичем], чем с тобой, Евгений. Я уже об этом говорил с бароном перед отъездом.—Что же еще сказать? У нас выпал снег и теперь лежит кой-где в поле, несмотря на солнце. Холод изрядный, поля зелены, но хлеб дорог. Мужики просят есть. Холера мало-по-малу совсем прекращается. У меня умерло только двое. Скот ни почем: можно было бы делать блистательные аферы торговлей скотом, но капиталу нет. Мы мечтаем с А[лексеем] А[лексеевичем] о разных путях обогащения посредством индустрии, но пока богатство и того и другого=0. Ив[ан] Ив[анович] Маршев в Москве и, вероятно, скоро вернется в нашу сторону. Если он у вас не был, то отыщите его через механика Вельша, живущего близ Астракова, и спросите его, когда же он едет к нам?—Ну! прощайте, будьте здоровы, обнимаю всех крепко. Сегодня еду домой.

Марье Федоровне приношу мой mercі за сувенир об моей персоне и жму ей руку ан ами. Татьяне Алексеевне напишу вскоре ответ на ее письмецо.

Addio!

---

[1] Итак.

Упоминание о приезде друзей датирует письмо 1848 г.

У Николая Филипповича—у Н. Ф. Павлова.

Приезд наших друзей — А. А. Тучкова с семьей и М. Ф. Корш. Они вернулись из-за границы, полные впечатлений и рассказов о французской революции 1848 г.

Астраков — Серг. Иван. Астраков (1817 — 1886), приятель Герцена и его кружка.

Марья Федоровна—М. Ф. Корш.

Татьяна Алексеевна—вдова Никол. Ив. Астракова (1809—1842).

13

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

Акшено, 7 Октября.

Carol крепко обнимаю тебя за твое письмо. В нем так много любви, что я глубоко растроган и долго не мог оторваться от мысли о тебе. Все пережитое нами вместе, все минуты самые задушевные в нашей обоюдной жизни пришли мне на память, и мне стало больно, что тебя нет со мною.—Я виноват перед тобой, Грановский, я не предупредил тебя о ее приезде. Я в последнее время видел тебя мало и не наедине. Прости мне это, друг мой. Чувство заботливости и любви, которым проникнуто твое письмо, мне кажется упреком в неоткровенности. Но, право, тут не было неоткровенности. Я хотел тебя видеть с глазу на глаз, и не случилось. А если бы и случилось—я не знал бы, что́ тебе сказать, а хотел бы сказать много. И теперь, теперь даже предоставляю твоей дружбе, которая не может не видеть ясно, — заглянуть безмолвно в то, что происходит во мне; но более не скажу ни слова. — Сегодня неделя, как она у меня — и я не заметил, как успела пройти эта неделя. Не думай, саго, чтоб я не знал, что на мне лежит обязанность, что я не свободен; но я с радостью отдаю ту долю моей свободы, которая была своеволие, для того, чтоб видеть ее спокойною и довольною, и для того, чтоб чувствовать в моей жизни участие и заботливость, которые может принесть только женщина. И какая женщина, Грановский! ты еще ее не знаешь!—Мир, в котором она жила, не испортил ее; горе не убило ее душевного жара, и ты всегда ей с полной симпатией протянешь руку. Дай обнять тебя, Грановский! Принимаю благословление дружбы и чувствую в себе настолько полноты и силы, чтоб вести мою судьбу—изящно. Не могу продолжать, потому что слишком полно на сердце.

Приезд А[лексея] А[лексеевича] оживил во мне иные струны, никогда несмолкаемые. Я желал бы тебя видеть, caro, чтобы сказать тебе все, что передумалось, и все планы для будущей жизни. Caro! приезжай ко мне на святки. К тому времени будет довольно денег на поездку. Теперь ни гроша нет; даже все дела en suspend. [1] Но так или иначе вывернусь. Ради дружбы, займи денег для себя и Корша. Я в этом месяце наверно вышлю. Если Маршев, который теперь в Москве, принесет тебе 500 р. серебра для отдачи тебе моего долга, то не дивись и под сим именем и возьми, потому что есть люди, для которых нужна известная фирма в отношениях к людям и в поступках. Домби-сын! Маршев, как бы он честен ни был, совершенно принадлежит к буржуазии. Caro! приезжай же на святки. Дай мне счастье видеть тебя у меня, mein Herzensbruder! [2] Я люблю место, где я живу; но, вероятно, не долго останусь в нем и распрощусь с ним. Вполне разделяю твое уныние, то уныние, которое ты приносишь в твою деятельность, а я в свою. Я не могу увлекаться в моих оборотах надеждами без всяких данных, или лучше со всеми данными для вечного труженичества без всякой надежды на богатство.

Прощай, caro mio, спешу на почту.

Одного не понимаю: отчего же барону нельзя сказать, что она ко мне приехала? Разве он больнее? Напиши мне! Неужли он думает, что люди могут испортить мои отношения с ним? Если что было попорчено—право, не моя вина, а его. Впрочем, поступай как знаешь. Я его люблю по-прежнему, plus скорбное чувство сожаления. Пиши ко мне скорее; потребность чувствую в твоем письме. Обними всех за меня. Addio. Спешу. Нечего замечать, что это письмо останется inter nos двоих.

Датируется 1848 годом на основании ряда фактических указаний письма.

Не предупредил тебя о ее приезде.. О приезде графини Елиз. Вас. Салиас-де-Турнемир (1815—1892), урожденной Сухово-Кобылиной, писавшей под псевдонимом Евгении Тур. Имя ее не упоминается в печатаемом письме, но речь идет, несомненно, о ней: во фразе „чтоб видеть ее спокойною", слово е е надписано сверху незаконченного, зачеркнутого, но ясно читаемого слова: г р а ф [и н ю]. С письмом Огарева интересно сопоставить следующие выдержки из неизданного письма гр. Салиас к ее сестре, Евд Вас. Петрово-Соловово, помеченного „2 Octobre".

„Старое Акшено (даем выдержки в переводе с французского языка, кстати сказать, довольно плохого)... Я здесь уже два дня. В четверг, в 3½ часа после обеда, я приехала в Саранск. Я нашла Огарева ожидающим меня в гостиннице. Мы пообедали и отправились к нему за 30 верст от Саранска. Дом большой, я набросаю тебе его план на этих днях. Мои комнаты

[1] Приостановлены.

[2] Мой брат по сердцу.

еще не отделаны, но достаточно хороши, чтоб поместиться в них с комфортом. Они еще не нарядны, но будут такими,—он стремится к этому.— Он так счастлив меня видеть... нет и следа сплина, он следует за мной, как тень, и мы еще очень счастливы. Три дня, как я у него, но нужно посмотреть, что из этого выйдет.. Я расстроена разлукой с вами, т. е., главным образом, с тобой и с Соней. Мне трудно жить без вас—и, не смотря на то, что чувство нежное и истинное меня окружает и, так сказать, ограждает, слезы льются при мысли о вас, мои дорогие друзья... Сегодня устраивают мой кабинет, и завтра я напишу письма и более длинные, и более толковые... ах боже мой, нельзя быть вполне счастливой!"

Много сведений о пребывании гр. Салиас в Акшене находится в материалах 2-го тома „Русских пропилеев"—в письмах Огарева к Тучковым, в записной книге Н. А. Огаревой-Тучковой. В неизданном письме к Е. С. Некрасовой от 3 декабря 1903 г. из Пензы Н. А. Огарева писала, что после отъезда Тучковых за границу Огарев зимой поехал в Москву— „у него была корь и он чуть не умер, вылечил его Пикулин. Весной он гостил у Сухово-Кобылина, отца m-me S[alias], в подмосковной и там вспомнил детство и сблизился с дамами, потом уехал в деревню к себе.— Когда мы вернулись из Парижа, помню, что в Москве Гранов[ский] сказал, смеясь: „Огаревым завладела какая-то граф. Сальяс—она очень напоминает Марью Львовну, охота ему". Мы поехали в деревню и свиделись с Огар[евым] – вскоре приехала граф[иня] с детьми и гувернанткой".

В другом, тоже неизданном письме к Е. С. Некрасовой, Н. А. Огарева сообщала: через год после отъезда от Огарева Салиас „напечатала первую свою повесть „Племянница" в отмщение мне—там она старалась выставить меня в дурном свете". Первая часть романа „Племянница" была напечатана в №№ 1—4 „Современника" за 1851 г., с посвящением В. А. Сухово-Кобылину. По отрывку из романа было напечатано в альманахах „Раут" Сушкова (1851) и „Комета" Щепкина (1851). Отдельное издание „Племянницы" в 4 частях вышло в том же году. К старческим воспоминаниям Н. А. Тучковой-Огаревой о Салиас нужно относиться, конечно, с большой осторожностью. В частности это касается ее сообщения относительно романа „Племянница": никаких следов „отмщения" в нем мы не нашли. Небезынтересно сопоставить с письмом Н. А. Огаревой-Тучковой следующие строки из неизданного письма Е. Б. Грановской к М. Ф. Корш (вероятно, 1849—50 г.): „Не знаю, сблизитесь-ли Вы насколько нибудь с графиней, но не думаю. Вы очень т у г и на знакомство, а ее надо знать подольше, чтобы оценить вполне. У нее много в н е ш н и х недостатков, которые сначала как будто заслоняют внутренние качества. По крайней мере c'est l'effet, qu'elle m'a fait au commencement de notre liaison et comme vous ne la verrez pas assez longtemps pour vous sentir à l'aise avec elle, je crains que vous ne l'apreciezpas".[1]

Гр. Салиас, восторженная поклонница Грановского, была близка с ним и его женой. Между прочим, ей посвятил Грановский свою статью „Песнь Эдды о Нифлунгах", напечатанную впервые в „Комете".

Иные струны, никогда несмолкаемые... Огарев разумеет свои политические мечты, которые оживились под влиянием приезда А. А. Тучкова, бывшего свидетеля Парижской революции 1848 г. и привезшего друзьям Герцена огромное письмо его, посвященное изложению и оценке только что

[1] Таково впечатление, которое она произвела на меня в начале нашего близкого знакомства, и так как вы не будете видеться с нею настолько долго, чтоб чувствовать себя вполне непринужденно, я боюсь, что вы ее не оцените...

миновавших революционных событий. „Ал. Ал.,—писал Герцен,—будет для вас кладезем подробностей. Он много видел и хорошо видел, июньские дни отожгли у него последнее дикое мясо, т. е. буржуазологию..." (см. А. И. Герцен—„Новые материалы. Труды Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина", стр. 47). „Несмолкаемые струны" звучали в таких, например, строках писем Огарева к Н. А. Тучковой: „Я буду рад, если увижу вас счастливой или если паду рядом с вами на баррикаде..."—„Ни я, ни вы не отдадим баррикад, потому что вместе будем там..." („Р. пропилеи", т. IV, стр. 5, 80).

14

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

16 Октября. Долгоруково.

Caro, еще несколько слов: отыщи моего поверенного Ивана Яковлева, вручи ему прилагаемую записку и отправь его поскорее по почте сюда. Деньги на проезд у кого-нибудь (вероятно и у него) найдутся, а я тотчас возвращу по его приезде. Но дело ей же ей не терпит отлагательства, ибо il signore Marcheff [1] ведет себя очень подло, а конторщик у него еще более raca. [2] — Если ты не знаешь его адреса, то или Кетчер, или Марья Алексеевна Тучкова знает.

Addio! спешу.—Сатин в Акшене. Все здравы. Хочется тебя видеть. Ну! дай пока руку e un baccio! [3]

Быть может, отправлено одновременно с предыдущим письмом и тогда датируется 1848 г.

15

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

Caro, на твою записку одно только могу сказать, ибо спешу и многого не могу сказать, что я к А[лександру?] И[вановичу?] писал через Л[уизу?] И[вановну?] и только о деле. Caro! Отчего ты со мной играешь роль procureur du roi; [4] она для меня тем больнее, что через твои уста говоришь не ты, а сплетни. Что касается до моего отношения к Графине, научи же меня, что делать. Возобновить переписку, которая не поведет ее ни к чему хорошему и даже невозможна faute de contenu? [5] Что-ж мне делать? Я, право, не понимаю. Как же мне иначе поступить, как молчать? О иных причинах к непереписке я и не говорю, потому что ты в направлении обвинять меня. Когда это направление пройдет, то я готов говорить.

[1] Господин Маршев.
[2] Каналия, ракалия.
[3] И поцелуй!
[4] Королевского прокурора.
[5] За недостатком содержания.

Еще грустнее жму тебе руку и по крайней мере с такой же любовью.

На обороте: „Грановскому".

Предположительно датируем это письмо весной 1849 г.

А. И и Л. И. — вероятно, А. И. Герцен и его мать, Луиза Ивановна Гааг (1795—1851).

О деле... — Речь идет, вероятно, о хлопках Герценов у Марии Львовны Огаревой по делу о разводе ее с мужем (см. V, 255—256).

Отношения к графине... Речь идет о графине Е. В. Салиас, в судьбе которой Грановский принимал большое участие. Каковы были ко времени настоящего письма отношения, с одной стороны, между Огаревым и гр. Салиас, покинувшей Акшено около середины января 1849 г., а с другой — между Грановским и Огаревым, прекрасно показывает огромное неизданное письмо гр. Салиас к сестре, упомянутой выше Евд. Вас. Петрово-Соловово, с которой Огарева связывали юношеские воспоминания. Письмо писано 3, 4 и 6 февраля 1849 г., т. е. начато было как раз на другой день после того, как Огарев и Н. А. Тучкова написали Герценам о том, что любят друг друга и хотят соединить свою судьбу (см. „Р. пропилеи", т. IV, стр. 81—83). Даем (в переводе с французского) выдержки из этого письма гр. Салиас. „3 Февраля... Я стала немного спокойнее. Грановский и Фролов только что ушли от меня, сказав мне столько утешительного, что, вопреки самой себе, я имела мгновение слабой надежды. Что за сердце у Грановского! Это невероятно для человека его возраста: ведь ему около 40 лет. Как тепло, как дружелюбно принимает он участие в печальных обстоятельствах, меня постигших, как он любит Николая (т. е. Огарева), как разбирается во всем, что его окружает, какой у него правильный взгляд и как я счастлива при мысли, что убеждения, вынесенные мною относительно людей, с которыми Николай имеет отношения, совершенно те же, что и у Грановского! Я не ошиблась, и мой инстинкт, мое чувство правильно руководили мной в этом лабиринте. Мнение Грановского о Т[учкове]—совершенно мое мнение,—больше того: он сказал мне, что совсем его не уважает, и сказал это с доказательствами в руках, тогда как у меня это было лишь одним предубеждением. Если б ты знала, как я боялась найти в друзьях Николая эти преувеличения, эти невыполнимые замыслы, эти способы действия, которых я не могу одобрить, и которые видела у Т[учкова]. Слава богу, ничего этого нет: оба они люди убеждений, живых мыслей, с сердцем, способным чувствовать, не угасшим и не разбитым жизнью... Они мне показали пропасть, куда бросается Николай, и которую я вижу так же, как и они, но я думала ранее, что только я одна ее вижу, а теперь я имею утешение знать, что они тоже предостерегают Николая, что они на моей стороне, что они желают Николаю всякого блага, какого только я сама могла бы ему пожелать, что их привязанность к нему почти так же велика, как и моя,—за исключением того, что я женщина, и как таковая, приношу ему ту сердечную нежность, которую может испытывать и приносить только лишь женщина. Они много говорили мне о тебе, мой дорогой друг, они полагают, что ты можешь иметь на него огромное влияние. Воистину еще более прекрасным будет твое назначение, если ты сможешь спасти друга, одновременно спасая и сестру... Бедная, заблудшая душа, такая прекрасная, такая добрая, натура избранная,— ее можно только обожать. Более, чем убийственно, видеть, как она падает и иногда загрязняется. И как не проклинать тех, которые влекут его к гибели... 4 февраля. Фролов пришел еще сегодня утром.

У него менее чувствительности, чем у Грановского, но такое же сердце. Он огорчил меня—он отзывался о Николае сурово. Он безжалостно осуждает Т[учковых], и он, как и я, того мнения, что история, начавшаяся между Николаем и дочерью, серьезна. Это не даст счастья Николаю, это—его гибель. Николая ждут сюда каждый день, но я теряю надежду видеть его до моего отъезда. Повидимому, он медлит приездом, и я знаю, почему. Она его околдовала своим притворством, своими преувеличениями... Они очень жалеют об отсутствии Герцена, который имеет на него большое влияние. Я сказала им, что Герцен сам любил молоденьких Т[учковых], но они возразили, что никто не устоит перед столь священными и прекрасными обязанностями, которые связывают меня с Николаем..."

Даже в тех строках письма, где речь идет о домашних делах графини, о ее московской жизни, она по всякому поводу возвращается к Огареву. Так, описывая свои ежедневные обеды у брата и его подруги (известный драматург А. В. Сухово-Кобылин и француженка Симон-Деманш, трагически и загадочно погибшая),[1] гр. Салиас прибавляет: „Я вспоминаю мои ужины в Акшене, вдвоем или с детьми, и, хотя Николай был для меня братом, наше взаимное расположение постоянно чувствовалось и делало меня тогда такой счастливой.." О встречах Огарева с гр. Салиас за границей, уже на склоне его дней, см., например, резкое письмо Герцена к своему другу (1859—1860 г., XXII, 125).

16

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

Учь-Чум. 28 Июня.

Сегодня получил твое письмо, Грановский, и тотчас отправился в Ялту (это наш городок в 2-х верстах от нас), заказал доверенность и завтра с оным письмом отправлю к Игнат[ьеву].—Скажи: кто же это удружил насчет передачи векселей—М[ария] Л[ьвовна] или Ав[дотья] Я[ковлевна]? Если сия последняя, то это меня оскорбляет.—Что я виноват по Орловскому делу—тут я каюсь и в распущенности и едва готов поставить в извинение тревожное состояние, в котором находился разве на 0,000000001 долю. Глупо все это, да ведь уж не воротишь!—Satis [2] об этом.

Ты верно спросишь, что такое Учь-Чум? Это villa в 2-х верст[ах] от Ялты, которая, как можешь усмотреть из географии генерала Каменецкого, лежит на южном берегу Крыма. Описывать довольно глупо: Ялта один из самых скудных уездных городов; трудно достать чего-нибудь поесть, даже нет трактира. Народонаселение—Татары, которые, в противуположность нашим работящим татарам, ленивы до крайности, курят целый день табак, сидя на корточках, перестают работать что бы то ни было, как скоро завелся гривенник в кармане,

[1] См. Леонид Гроссман—„Преступление Сухово-Кобылина", изд. „Прибой".

[2] Довольно.

пьянствуют до 40 лет, а потом отращивают бороду, дают обет не пить ни капли вина и строго держат его по гроб своей жизни. Живут невыразимо грязно. Но фигуры довольно величавые, загорелые лица и резкие физиономии. Уже с Малороссии начинается люд, носящий портки сверх рубашки и короткое верхнее платье, но русские, которые приходят сюда, редко принимают этот удобный обычай; к сожалению, родимая леность возрастает у них здесь на 100%, и поэтому у рабочего человека раза два в неделю праздник, да после праздника день гульбы. Но чувства самостоятельности у них здесь как-то побольше. Воронцов много сделал для этого края; уже довольно сказать и то, что по всему Крыму шоссе.

Но как бы Ялта ни была скверна (или скверен?)—за то наша дача удивительна. Дом на горе и между гор, которые амфитеатром тянутся к морю. Перед домом сад и долина, покрытая садами, все зелено и еще как роскошно зелено!— до самого моря, и все это видно из наших окон и самое море без конца. Удивительно хорошо, Грановский, и жить мне хорошо. Я даже много работаю. Я даже лечусь прилежно. И на сердце хорошо, хотя многое тревожит. Я желал бы, чтоб ты мне хорошенько сказал, что и как Елена и Сат[ин]? Я никак не думал, чтоб это так скоро сделалось. Хорошо ли им? или нет? Напиши всю правду, Грановский. Мне и для себя и для Н[атали] этот вопрос страшно близок и страшен. В ее жизни это главное, что часто ее тревожит бесконечно. Меня тревожит многое, отъезд, и дела; иногда (хотя я знаю, что сам ничего не мог бы сделать) жаль, что именно мое достояние может попасть в другие руки (разумеется, это не из чувства собственника). Но в личных отношениях есть вещи, которые живее меня оскорбляют. Расскажу и их. Ты со мной не простился, хотя и знал, что мы чорт знает когда свидимся. С намерением это было сделано или нет? Был ли ты мной недоволен? Отчего-ж не придти сказать это? Или это так, ни с того, ни с сего? А ведь—в животе человек не волен—может быть, это было бы последнее рукожатие! Мне было страшно горько уехать без тебя, Грановский, все, что могу сказать, потому что ты один из тех ужасно немногих, которые заключают мой задушевный мир. Это не упрек, друг мой, но сожаление, от которого мне до сих пор горько. Неужли мы все ни с того ни с сего или чорт знает по каким причинам попадаем на путь охлаждений! Да будет, что будет — но часто не легко бывает от этого. А ведь ужасно мудрено съежить себя в специальность и в науке, и в привязанностях.

Барон со мной простился почти враждебно, по крайней мере с таковым тоном.—Ну! да впрочем что-ж жаловаться? Бесполезно—и только.

Вот здесь я наткнулся на очень милое происшествие. Возле нас (в другом доме) живет Шалашникова, сестра М. Лобанова. У ней на днях сбежала девка (должно быть, хорошо жить было), но не находя убежища, возвратилась. Барыня за таковой проступок, побив ее собственноручно кастрюлькой по голове, отрезала ей косу собственноручно же!!

Видел в Одессе С[околова] и Б[огданова]. С[околов] такой же толстый, добрый и благороднейший из смертных. Дела его, кажется, не в цветущем положении.

К Сат[ину] я пишу уже в деревню, но если он паче чаяния в Москве, то скажи, чтоб он поскорее покупал фабрику и выслал бы непременно к половине Августа денег. Почта ходит долго, а после полов[ины] Сентября у меня едва ли будет копейка. А если он может приехать сюда с женой, то ехал бы. Дорога станет взад и вперед 1000 р., а для Е[лены] и Н[атали] это крайне нужно.

Грановский! пиши чаще. Прямо Таврич[еской] губер[нии] в г. Ялту. Пиши чаще, потому что часто мне тебя хочется. Прощай! Обними всех. Будьте здоровы.

А море черное шумит, не умолкая.

Н[атали] жмет тебе руку. Я от тебя только одно письмо и получил.

Уездный Судья подписался не на месте, вот отчего на доверенности пятно и скоблено. Но это ничего не может мешать.

На обороте: Грановскому.

Письмо датируется 1849 г. Когда первая жена Огарева, Мария Львовна, отказала ему в разводе, он с Н. А. Тучковой уехал в Крым, мечтая оттуда пробраться за границу (см. „Воспоминания Тучковой-Огаревой", стр. 72, и ее же письмо к Герценам перед отъездом на юг. „Р. пропилеи", т. IV, стр. 91). В письме к Е. С. Некрасовой, от половины 90-х годов, Огарева сообщала, что они с Огаревым рассчитывали уехать на английском корабле.

Игнатьев Ник. Дмитр. (1809—1875)—обер-секретарь сената, свояк Грановского, женатый на Софии Богдановне Мюльгаузен.

Орловское дело. В этом и следующем письме, между прочим, идет речь о запутанных и сложных деловых, денежных отношениях Огарева. В основе их лежит следующее обстоятельство. В 1841 г., перед отъездом вместе с М. Л. за границу, Огарев выдал ей запродажную запись на 750 душ в обеспечение якобы занятых им у ней 500 тысяч рублей ассигнациями. Сделано это было для того, чтобы в случае смерти Огарева его сестра, А. П. Плаутина, не ограничила долю М. Л. в наследстве, согласно закону, лишь седьмою частью. В 1846 г., когда отношения Огарева с женой были уже окончательно расстроены, запродажная запись была уничтожена, и М. Л. взяла с мужа векселя на 300 тыс. рублей ассигнациями с тем, чтобы он

платил по ним 6%, т. е. 18 тыс. р. ежегодно—13 тыс. ей, а 5 тыс.—ее отцу. Полюбив Н. А. Тучкову, Огарев просил М. Л. о разводе. Она упорно отказывала в этом и предъявила безденежные векселя мужа ко взысканию. Боясь лишиться своих владений, Огарев фиктивно продал их Н. М. Сатину и Н. Ф. Павлову (за последним стоял его тесть Яниш). Одновременно Огарев занял у Герцена 40 тыс. руб. с тем, чтоб Сатин и Павлов, вступив в управление делами, выплачивали из доходов с них этот долг. При деятельном участии А. Я. Панаевой, имевшей доверенность от М. Л. и привлекшей опытных помощников, именье Огарева Уручье, Орловской губ., по решению суда перешло к М. Л. Это и есть „Орловское дело", о котором пишет Огарев. О нем же месяцем позднее, 26 июля 1849 г., писал к М. Л. Панаев, приводя выдержку из письма Н. С. Шеншиева, ведшего процесс по передоверию от А. Я. Панаевой. Огарев дал доверенность на ведение дела Грановскому (см. комментарий М. К. Лемке к письму Герцена на имя московских друзей от 2 февраля 1851 г., IV, стр. 157—180; „Р. пропилеи", IV, 96—97; А. И. Герцен, Новые материалы. Труды Публ. библ. СССР им. В. И. Ленина, стр. 83—84; статью Я. З. Черняка Конец Огаревского дела по неопубликованным материалам, в „Новом мире", 1929, кн. X).

География Каменецкого — „Краткое всеобщее землеописание в пользу детей" — очень распространенный в свое время, выдержавший множество изданий учебник Тита Алексеевича Каменецкого (1790—1844), адъюнкта географии и статистики Московского университета. Первое издание вышло в 1819 г.

Воронцов — граф Мих. Семен. Воронцов (1782—1856), с 1823 по 1844 г. бывший новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником Бессарабии.

Елена — сестра Н. А. Тучковой, Елена Алексеевна, 27 мая 1849 г. вышедшая замуж за Н. М. Сатина.

Видел в Одессе С. и Б... С.—несомненно Соколов, которого Н. А. Тучкова-Огарева в своих воспоминаниях называет Александром Ивановичем. Редактор последнего издания „Воспоминаний" С. А. Переселенков полагает, что мемуаристка ошиблась и что речь идет о Григории Ивановиче Соколове. Так же именует Соколова и М. К. Лемке в примечании к письму Герцена от 26 мая 1841 года (II, 431). Полагаю, что Огарева права, и в Одессе они действительно виделись с Александром Ивановичем Соколовым, который заведывал репертуаром Одесского театра, был плодовитым писателем, автором известных в свое время „Театральных болот". См. о нем в книге А. И. Шуберт, Моя жизнь (Театральные мемуары, VIII. Предисл., ред. и примеч. А. Б. Дермана). Он неоднократно упоминается в письмах Белинского. Его фамилия встречается, между прочим, в одном из более ранних (1843 г.) писем Огарева, вошедших в известную серию „Из переписки недавних деятелей" („Р. мысль", 1890, IV, 2), но Е. С. Некрасова, к сожалению, печатавшая переписку не только со множеством ошибок, но и с собственными поправками и домыслами, переделала Соколова в Сат[ина]. В напечатанном ею тексте читаем:

.....вернусь через Одессу.
Там у южного прибрежия
Мы в краю России новом
Устриц две—три сотни свежие
Поразделим с Сат....

В подлиннике совершенно ясно: с Сокол..., чего требует и рифма. М. О. Гершензон, перепечатавший стихотворную часть письма, исправил ошибку Е. С. Некрасовой (см. „Стихотворения" Огарева, I, 290-300).

Б.—по всей вероятности, А. Ф. Богданов, зять М. С. Щепкина, женатый на его сестре Елизавете Семеновне. Вероятно, это—то же лицо, которое было суфлером на домашнем спектакле Огарева („Из переписки недавних деятелей", „Р. мысль", 1888, XI, II). О нем также есть упоминания в названных театральных мемуарах А. И. Шуберт.

Шалашникова, сестра М. Лобанова—вероятно, сестра Мих. Евст. Лобанова (1787—1846), библиотекаря Публичной библиотеки, академика, незадолго до смерти—управляющего Румянцевским музеем. Об этом яром враге романтизма, издавшем после Пушкинского „Бориса Годунова" свою трагедию под таким же заглавием, см. интересные сведения в „Литературных заметках" Н. А. Янчука („Известия Отделения русского языка и словесности Академии Наук", 1907, т. XII, кн. 4).

17

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ ИЛИ Н. Х. КЕТЧЕРУ

11 Июля. Учь-Чум.

Сейчас получаю ваши письмы и приписки от 20 Июня, Carissimi! Удивительный вы народ! Как же спрашивать моего согласия, когда видите, что так, а не иначе поступить необходимо, и спрашивать за 1500 верст, куда ответ вам оборотится entre [1] 30 et 40 дней? Разумеется, я заранее на все согласен. Доверенность тебе, Грановский, я уже давно выслал. — Векселя мои даны в 1847 году; справьтесь в гражданской палате о числе и количестве векселей (я забыл), или лучше пришлите копию с них, адресуя на имя Богданова в Одессу. Я намерен выслать доверенность о том, чтобы похлопотали доказать их безденежность, что не совсем трудно, как знаете. Но не в том дело, а дело *во времени*. Если вы порассудите, то найдете, что это справедливо, и что я нисколько не поступаю и не поступлю бесчестно. Я вас уверяю, что это мне будет необходимо, даже еслиб вы и успели окончить совершенно начатые дела. Если можете, поговорите с кем-нибудь и пришлите ungefähr [2] черновую доверенность и напишите, на чье имя ее совершить. Конечно, процесс может продлиться полгода и долее. — Надеюсь, что после моего письма к Грановскому, caro Ketscher, ты не остановился согласиться на предложение Павлова, и полагаю, что дело в ходу. Я говорю предложение, а не предложения, потому что Сатин пишет целое письмо о двух предложениях, а высказывает только одно. Выбирайте любое, если их два, я наперед подписуюсь. — По окончании всего я, вероятно, еще пробуду несколько месяцев в Одессе, — вот оттуда-то я и намерен вести процесс. А там, когда здоровье совсем поправится, поеду домой. — Так я счи-

[1] Между.
[2] Примерную

таю, что за расплатами мне останется тысяч двести, и как половина падает на Сатина, то, вероятно, со стороны Н[иколая] Ф[илипповича] мне тысяч сто придется ломбардными билетами или иным документом чисто денежным, что было бы не худо для моих оборотов. Впрочем, предложения Павлова привезет только Мил[ютин?], а теперь я их не знаю, но повторяю, во всяком случае, согласен и более доволен, чем сделке с Соловым. Итого с Игнатьевскими деньгами мне, вероятно, достанется 187 т. Не забудьте, что во всяком случае прежде всего надо заплатить долги Евгения, долг Герцену, т. е. действительные долги, а остальное пусть в процессе.

12 Июля. Завтра это письмо отправится на почту. Пошлю на имя Игнатьева. Нет! Пошлю Астракову. Он верно в Москве. Ergo, друзья, пользуйтесь полномочием в моих делах, т. е. не теряйте времени спрашиваться меня и делайте как знаете. Пишите ко мне, если очень нужно, два письма за-раз, адресуя одно в Ялту на мое имя, другое в Одессу на имя Богданова. Может быть, я здесь не долго пробуду и уеду в другое место Крыма. Впрочем, это если и будет, то не *по капризу*, а так, хочется жить, где поудобнее. Но постараюсь остаться на месте, если никаких худших затруднений не будет, как ужасный недостаток в материалах для пищи. Жить здесь, впрочем, ужасно хорошо. Утро мое проходит в занятиях. Вечером мы бродим, или садимся на коней и отправляемся в горы. Что здесь за места! Эх! Кетка! то-то бы ты разгулялся. Мне хорошенько гулять мешает свято исполняемое предписание Пикулина. Сегодня кончил одно лекарство, завтра принимаюсь за cali hydroiodicum. Последствиями я весьма доволен, хотя немного ослаб. При воздержной жизни припадки не возращались ни разу; мне даже жить легче без вина, хотя иной раз с завистью посматриваю на Крымские вины.

Засим addio! Обнимаю всех! Фролову пришлю Крымских камешков. В заключение разве рассказать стихи, которые сегодня вспомнил. Ecoutez! [1] В Одессе живет какой-то отставной генерал Кандыба, известный тем, что богат и заставляет баб жать тростник в 12° мороза. Только один незнакомый ему молодой человек подходит к нему на бульваре и спрашивает: Позвольте узнать, как ваша фамилья? — Он говорит: Кандыба. — Молод[ой] человек: „А, так это про вас-то говорится:

Ни рак, ни рыба,
Дурак Кандыба!

а, пожалуй, оберните, все то же выйдет:

[1] Слушайте!

Ни рыба, ни рак,
Кандыба дурак.

Этот анекдот меня смешил несколько дней сряду, а потому не могу удержаться, чтоб не рассказать его вам.

Еще раз всех обнимаю и принимаюсь писать Сатину в Саранск.

Если же нельзя успеть окончить дело и результат будет = 0, то скажите Григор[ию] Иван[овичу], чтоб вексель Герцена пошел в ход. — Только в таком случае мне нужно будет тысячи три серебра, чтоб доехать домой.

Если мой расчет в получении тысяч ста с Н[иколая] Ф[илипповича] не верен, то от этого не останавливайтесь в делах. Мое полномочие вам отдано беспрекословно.

На обороте: Грановскому или Кетчеру.

Доверенность... выслал.... Это, конечно, та доверенность на продажу орловского имения, о которой писал И. И. Панаеву Н. С. Шеншиев, адвокат М. Л. Огаревой по передоверию от А. Я. Панаевой („Р. пропилеи", IV, 96).

Я намерен выслать доверенность... Несколько позднее, 4 января 1850 г., в письме к Сатину Огарев вновь возвращается к мысли доказать безденежность выданных им Марии Львовне векселей, не останавливаясь даже перед подачей прошения на высочайшее имя („Р. пропилеи", IV, 104).

Милютин — Влад. Алексеев. Милютин (1826 — 1855), экономист и публицист, подписавший вместе с Фроловым и Грановским договор Сатина с Огаревым („Р. пропилеи", IV, 93 — 94).

Сделка с Соловым — вероятно, с Мих. Фед. Петрово-Соловово (1813—1885), женатым на Евд. Вас. Сухово-Кобылиной, сестре графини Е. В. Салиас.

Пикулин — Пав. Лук. Пикулин (1822 — 1885), врач, близкий приятель Герцена и его кружка.

Фролову пришлю Крымских камешков... В тетради Огарева под заглавием „Etudes. Analyses. Substances divers" находится список минералов — „Minéraux rassamblés sur le côté meridional de la Crimée".[1]

Ни рак, ни рыба... Эта эпиграмма одно время приписывалась Пушкину (см. П. А. Ефремов — „Мнимый Пушкин", стр. 20—21, и сочинения Пушкина под редакцией Ефремова, т. VIII, стр. 102).

Григорий Иванович — Ключарев, доверенный Герцена.

18

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

Ты легко поймешь, Грановский, что встретясь и расставшись с тобой так, как это случилось, я давно хочу писать к тебе и откладывал только за невозможностью. Теперь скажу несколько слов совершенно чистосердечных. Когда К[етчер] взводит на меня обвинения, я в этом вижу трагичную настроенность, которая имеет свой пафос и энергию, и потому я только могу

[1] Минералы, собранные на южном берегу Крыма.

смотреть на это с сожалением и уважением. Но принять гадкое обвинение против меня и женщины, которую я глубоко люблю и уважаю, с таким отчаянным прекраснодушием, как ты это делаешь, это для меня более чем непостижимо! Неужто ты увлекаешься трагичной настроенностью К[етчера] или претензиями на сердцеведение графини С[алиас] (которой *глубокое понимание моего положения* — наперед уверен — та же жалоба в более приличной форме), или иным знакомым уважением к условным обязанностям? Не думал я этого, но видно выходит так de facto. Если б тебе сказали, что я пьяный валялся середь улицы, — я не удивился бы, что ты этому поверил. Это возможно, это можно вывести из моих привычек; но поверить и развить обвинение в том, чего во мне и зародыша быть не может, развить его также в отношении женщины, которой ты не знаешь, но в которую мог бы всмотреться поосторожнее, потому что я ее люблю — это может меня только поразить удивлением. Оправданий от меня не жди. Оправдываться я не стану по многим причинам, из которых скажу только одну: я считаю унизительным оправдываться в подобном обвинении.

Я увидал в тебе желание изъявить мне отсутствие всякой симпатии. Ты мне даже объявил, что нас наши занятия разными предметами, совершенно разъединяют. Этого я тоже не ждал. Я считал знание за Gesammtheit [1] и в первый раз услыхал, что если один занимается историей, а другой естествознанием, то недоступная черта меж ними есть. Или, может быть, на историю мы смотрим с разных точек зрения? Я уважаю в ней науку, но как факт, как реалитет я уважаю ее только настолько, насколько можно отрицать ее; также как я очень уважаю патологию, а горячку уважаю только настолько, насколько можно ее уничтожить. Горячку — во имя здоровья. Историю — во имя здравого рассудка.

Как бы то ни было, Грановский, сердечная утрата тебя будет для меня горче, оставит мне на всю жизнь более горечи, чем тысяча смертей.

Еще раз грустно обнимаю тебя.

Не откажись переслать письмо к Мар[ии] Касп[аровне].

Точной даты определить не можем. Вероятно, письмо относится к концу 1849 г. или началу 1850 г. Ответ Грановского на это письмо см. в книге „Т. Н. Грановский и его переписка", стр. 449-550.

Мария Каспаровна — М. К. Рейхель, урожденная Эрн.

[1] Совокупность.



А. И. Герцен

Дуализм—это монархия

Фрагмент

Перевод с французского А. И. Рубашевой. С вступительной статьей Л. К. „Затерявшаяся статья А. И. Герцена"

ЗАТЕРЯВШАЯСЯ СТАТЬЯ А. И. ГЕРЦЕНА

Среди литературно-политических изданий, в которых сотрудничал А. И. Герцен, до сих пор не упоминался один любопытный сборник, давно ставший библиографической редкостью. Между тем сборник этот интересен и сам по себе и потому, что в нем напечатана статья Герцена, с тех пор не перепечатывавшаяся, забытая и потому не вошедшая даже в самое полное из существующих собраний сочинений Герцена. М. К. Лемке, больше всех потрудившийся над выявлением литературного наследства Герцена, не знал, повидимому, ни о существовании упомянутого сборника, ни о напечатанной в нем статье Герцена. Сборник этот — „нелегальное" издание группы французских эмигрантов, органом которых служила газета „L'Homme" (Человек) — „орган всемирной демократии", как гласит подзаголовок газеты. Известно, что Герцен имел в виду опубликовать в этой газете продолжение своих „Писем из Франции и Италии" (см. его письмо редактору „L' Homme" от 7 февраля 1854 г. в „Полном собрании сочинений и писем", т. VIII, стр. 21). Это предположение не получило осуществления: продолжение „Писем из Франции и Италии" не печаталось в „L' Homme" и увидело свет только в отдельном издании. Но зато Герцен принял участие в подготовлявшемся той же группой французских эмигрантов и изданном, повидимому, в самом начале 1855 г. сборнике. Сборник назывался „Almanach d'Exil pour 1855" („Альманах изгнания на 1855 г.") и издан был на острове Джерсее, где в то время жила основная группа его сотрудников (обложка его в натуральную величину воспроизведена на стр. 157). Содержание сборника следующее: Календарь с исторической статьей в защиту календаря, установленного Великой французской революцией. За календарем следуют статьи: *Рибейроль* — „Три Наполеона", *Феликс Пиа* — „Две язвы", *Луи Блан* — „Страница истории", *Вокери* — „Революция в театре", *Виктор Гюго* — Стихи, *Франсуа Гюго* — „Демократия у Шекспира", *Бианки* — „Мануфактурные рабочие", *Сандор Телеки* — „Мученики Арада", *Арнольд Руге* — „Париж и С.-Петербург", *Пианчиани* — „Республиканская партия в Италии"; *его же* —

„Заметки о бр. Брандиера", *Казнь*— „Дантон и 10 августа", *Шарль Гюго* — „Тюрьмы г. Бонапарта", *Александр Герцен* — „Дуализм — это монархия", *Реминьи* — „Воспоминания о Польше" (ноты), *Бонэ Дювербье* — „Революция в науке" и *Тафери* — „Исторический обзор года". В сборнике 218 страниц. Статья Герцена занимает в нем стр. 179—189; она подписана полным именем и фамилией автора и датирована: Лондон, 29 ноября 1854 г.

Согласно этой датировке статью можно было бы считать написанной специально для данного сборника и именно в указанное датой время. Это однако возбуждает сомнение. Дело в том, что сопоставление этой статьи Герцена с „Письмами из Франции и Италии" указывает, что статья, появившаяся в сборнике французских эмигрантов, является вариантом, правда, сильно расширенным, двух—трех страниц, входящих в состав „одиннадцатого письма", датированного 1 ноября 1849 г. и опубликованного впервые в отдельном немецком издании „Писем из Франции и Италии" 1850 г. Возможны, следовательно, два предположения: или то, что Герцен воспользовался для французского сборника указанными страницами и, расширив их, составил на их основе новую статью, или же что он послал во французский сборник отрывок своей первоначальной рукописи „Писем из Франции и Италии". В последнем случае следовало бы предположить, что известные до сих пор страницы „одиннадцатого письма" являются сильно сокращенной редакцией первоначальной рукописи.

Несмотря на дату, поставленную Герценом под своей французской статьей, мне кажется, что именно последнее предположение наиболее вероятно. Дело в том, что соответствующие страницы „одиннадцатого письма" носят следы гораздо более тщательной литературной обработки, чем публикуемая сейчас статья. Мне кажется поэтому, что в последней мы имеем не последующую переработку этих страниц, а именно их первоначальный вариант. Во всяком случае статья эта очень интересна как фиксирующая определенный момент в идейном развитии Герцена и должна быть включена в его литературное наследие.

Следует отметить, что хотя статья Герцена не касается текущих политических тем, но по своему существу она является сильно замаскированной философским жаргоном, но все же довольно явной полемикой против ряда положений, входивших неотъемлемой составной частью в убогий идейный багаж мелкобуржуазной европейской демократии 40-х и 50-х гг. В герценовской реабилитации эгоизма не трудно заметить зачаток той теории „разумного эгоизма", которая в 60-х гг. стала боевым знаменем русской разночинной интеллигенции. Корни ее—у Герцена, как и у Чернышевского—в фейербахианстве.

Дуализм — это монархия

Фрагмент

Монархия и церковь имеют общую основу. Эта основа — дуализм, вечный, утвердившийся, установившийся антагонизм. Это — животворящий дух и грубая материя; это — священнослужитель, благословляющий паству, и паства — принимающая благословение; это — осуждающий судья и обвиняемый, подчиняющийся своей судьбе...

ALMANACH

DE L'EXIL

POUR 1855.

EN VENTE :

A LONDRES, A JERSEY ET EN BELGIQUE.

—1855.—

Правительство никогда не должно отождествляться с народом, —иначе оно перестанет существовать. Правительство — это провидение, это „добрый пастырь"; народ — это инертная масса, послушное стадо. В сущности говоря, Монархия это Теократия. Наиболее монархическое понятие это понятие Иеговы, без Иеговы могут еще существовать деспоты, но не монархи, не короли. Небесный владыка предполагает существование владыки земного и поддерживает его. Почему, в самом деле, людям не подчиняться одному, если вся природа, весь мир рабски послушны единому.

Отсюда ясно следует, что для свободной социальной организации прежде всего требуется уничтожить совершенно грани между священнослужителем и мирянином, между народом и правительством. Монархия всегда любила приравнивать себя к небесному порядку; более скромная и совсем земная Республика должна уподобляться природе. Природа — это гармония и анархия, это индивидуализм каждого отдельного существа и в то же время величайшее и наиболее совершенное единство. Принцип природы совершенно противоположен дуализму — это *имманентность*.

Имманентность соединяет то, что разъединяет дуализм; она не есть ни дух, ни материя; ни причина, отделенная от следствия, ни субстанция, отделенная от своих проявлений. Имманентность — это жизнь, одухотворяющаяся с одной стороны и кристализующаяся с другой. Законы природы не что иное как самые условия бытия. В природе нигде не видно перста, навязчиво указующего дорогу, повелевающего, спасающего, покровительствующего...

Монархия *представляет* провидение, а потому она вся полна символов. Республика, как сама природа, не нуждается в аллегориях, она есть *„вещь в себе"*, она ничего не „представляет", она—*естественная организация общественной жизни, ее зрелое состояние*. Человеческая автономия с момента ее познания не может быть передаваема; представительная республика — нечто в роде атеистической церкви — не может служить ничем иным, как переходом от монархического рабства к общественной свободе.

Опыты *политических* республик ясно показали, что это были республики лишь по имени; это были слова, *пожелания*. Они только *представляли* суверенитет народа, они, следовательно, не были его воплощением.

Монархия должна быть основана на священном авторитете, на божественном посвящении, во всяком случае на за-

воевании. Из этого авторитета, из этого посвящения должна исходить вся правительственная иерархия, сообщая каждой ступени ее, каждой зоне относительно суверенную, т. е. божественную власть. Я вижу священное миро, которым помазано чело монарха, на лбу каждого жандарма и каждого комиссара полиции. Обстановка, декорум, чрезвычайно важна для монархии. Королевская порфира так же необходима королю, как священные одежды священнослужителю. Разденьте папу, оденьте на него пальто — и с папством будет покончено.

Монархическая власть всюду должна „бросаться в глаза", она должна каждую минуту напоминать своим „подданным" о своем покровительстве, о своей милости. Основное действие республики должно остаться незаметным. Республика довольствуется лишь наличием явно необходимой, социальной связи, естественных условий для человеческой ассоциации, условий настолько существенных, всеобщих, всем понятных, что без них само общество было бы невозможно. Эти условия обязательны не потому, что их требует республика, а потому что их требует само существование общества, потому что человек не может от них отойти, не отказавшись от своего разума. Республика, требующая большего, перестает быть подлинной республикой; желать большего — это значит брать на себя правительственную *инициативу*, поставить себе определенную цель, признать за правительством право исправлять нас, посвящать нас — все вещи глубоко монархические. Свободные люди двигаются сами; им не нужно ни шпор, ни оглоблей.

В монархии правительство заботится обо всем: о просвещении и о дренаже, о ценах на продовольствие, о поощрении добродетели и о покровительстве искусствам. Уверить людей, что они настолько слабоумны, что не могут сами заниматься своими собственными делами — в этом секрет всякого правительства. Наоборот, управление общественными делами, поскольку оно не будет выходить за пределы своей пассивной роли, чрезвычайно упростится. Три четверти дел, лежащих на правительстве, будет делаться само собой без вмешательства центральной администрации.

Как монархия зиждется на недоверии и презрении к человеку, так, наоборот, единственное правило и чаяние республики—это доверие к человеческой природе. Она рассматривает человека по Аристотелю, как zoon politicon.[1] Эта вера

[1] Существо общественное.

в человека внушает страх. Моралист, священник, судья, — все постарались уверить нас, что человек по природе своей негодяй. Если мы спим спокойно, то только потому, что знаем, что сильное правительство бодрствует над нами с ружьем и что оно может наложить руку на каждого... основание вполне, впрочем, достаточное, чтобы совсем не спать.

Как! Неужели природа, такая логичная в своем творчестве, так хорошо приспособившая всех животных к их среде и образу жизни, — создала вдруг нелепость по отношению к человеку, внушив ему инстинкт жить стадной жизнью и лишив его в то же время качеств, необходимых для жизни в обществе. Если среди миллионов людей может найтись один физический или нравственный урод, то это еще не является основанием для того, чтобы отдать всех людей под надзор полиции. Если рассмотреть судебную статистику и исключить из нее все фантастические преступления, изобретенные законодателями, а также те, которые являются следствием общественного беспорядка, то остается только изумляться великой нравственности народов и наглости благочестивых клеветников, пугающих нас дьяволом, чтобы взыскать „десятину", и человеком, чтобы собрать налоги.

Человека представляют гораздо хуже, чем он есть, чтобы тем решительнее отдать его в руки правительства.

Вечное подчинение человека обществу есть продолжение человеческих жертвоприношений в другой форме. Это все тот же агнец, который гибнет, чтобы умилостивить божий гнев. Религия и законодательство возводят в принцип уничтожение личности. Они требуют отречения от личной воли в пользу воли безличной, абстрактной, непонятной, в пользу коллективного имени, мифа — Бога — Церкви — Государства — Общественного Блага — Законодательного Собрания — Всеобщего голосования.

Это совершенно по-христиански и вполне монархично.

Христианство, религия противоречий по преимуществу, религия „синтеза противоположностей", развило теорию поглощения личности „абсолютом" и создало целую систему (и очень последовательную) морального самоубийства.

Одна из отличительных черт христианства — его систематическое противоречие природе и преднамеренное смешение каждого понятия с диаметрально ему противоположным.

Это — равенство, но перед богом.

Это — бессмертие, но после смерти.

Это — монотеизм, но в троице.

Ценность, достоинство человека признаются, но лишь затем, чтобы принести их еще более торжественно в жертву богу. Как цену искупления Церковь требует полного принесения в жертву свободы. Играя всегда на антитезах, она проповедует блаженство свободного подчинения и добровольной нищеты, „сладострастие воздержания“,[1] наслаждение самоотречением. Извратив, таким образом, все простые понятия, она, естественно, достигла того, что мы благословляем руку, бьющую нас (сжигая в то же время ту, которая ее била).

Мир, сделавшись официально светским, чем он втихомолку и не переставал быть, бросил средневековый жаргон, сохранив средневековые принципы. Философы перевели церковные заповеди на светский язык. Вместо милостыни появилась филантропия; вместо любви к ближнему — любовь к человечеству; вместо того, чтобы сказать: „это предписано“, воскликнули „это принято“. Такая мораль требует от человека такой же покорности, таких же жертв, как и религия, не предоставляя ему в то же время, в качестве компенсации, мечты о рае. В этом смысле она более чиста, но также более абсурдна.

Церковь, утверждая, что наша земная жизнь в сущности есть лишь насмешка, испытание и что настоящее рождение — это смерть, имела право сделать нам жизнь тяжелой. Но политическая и рационалистическая мораль никогда нам не говорила, почему каждый должен жертвовать собой и кто воспользуется жертвой *предписанной всем.*

Современный дуализм это не что иное, как христианство, возвысившееся до логической сферы, христианство, освобожденное от откровения, традиций, мифов, поэзии; это — метафизика католической догмы. Религия была окружена тайной; это заинтересовывало, занимало умы. Светский дуализм снял завесу и оставил громадную пустоту, не предоставляя ни утешения, ни возмездия.

В основе всех словопрений о дуализме лежит всегда антагонизм между добрым творцем и никуда негодным творением. Это не что иное, как лишь перевод на абстрактный язык тайны Искупления. Сущность, как мы уже это видели, состоит в раздвоении, в вынужденном постоянном разделении того, что *едино и неделимо* — по своей природе (причина и следствие, душа и тело). Это разделение необходимо в логике, подобно различению линии и точки в математике. Но дуализм прини-

[1] Выражение св. Василия Великого в письме к его другу св. Григорию Назианскому.

мает этот процесс восприятия за реальность и беспрестанно старается победить одно посредством другого, победить тело духом, временное вечным. Pereat mundus et fiat justitia.[1]

Иисус Христос спасает только дух: тело он поражает; плоть он порабощает. Апостол Фома имел полное основание сомневаться в *воскресении* тела. Христианство, разделяя человека на два существа: одно — идеальное, ангельское, чистое, невозможное, и другое — грубое, опустившееся, скотское *и, к сожалению,* слишком возможное, — перевернуло здравый смысл бедных смертных. Человек не мог сделаться ни бесплотным ангелом, ни избавиться от плоти, которую ему велели презирать. Он *насильственно* приучился жить в постоянной борьбе совести с самым фактом своего существования. Он утешался и искренностью периодического своего раскаяния и извинялся слабостью своей злодейской натуры. Церковь торопилась принять извинения и давать разрешения от грехов: это было легкое средство привести в норму богобоязненную совесть и умиротворить взволнованные души. Она боялась, что в противном случае отчаяние может натолкнуть людей на мысли другого порядка, от которых невозможно легко избавиться отпущением всех грехов. Люди привыкли к этой богобоязненной лжи, к этому полунаивному и полутрусливому лицемерию. Они перенесли его из исповедальни на *форум,* с кафедры в трибунал. Этика, оставаясь католической, сняла с себя лишь монашескую рясу, которая начинала надоедать миру, и задрапировалась в античную тогу. Это торжественное построение *воскресной* морали, эта напыщенная фразеология остается в силе, лишь благодаря молчаливому соглашению о прощении и пощаде, напоминающему соглашение, поддерживающее республику Сан-Марино. Оно опирается на крайнюю слабость характера современного человека. Мы не смеем нападать на эту мораль из ложного стыда, вследствие порабощенности нашей совести, из страха быть обвиненным в безнравственности, эгоизме, индивидуализме. Мы слышим, как повторяются вороха правил морали, мы сами их повторяем, не придавая им реального значения, но и не протестуя против них: прекрасный способ увековечивать заблуждения. Так естественники говорят из вежливости о провидении, а поэты упоминают Аполлона и муз.

Привычка к этой незначительной условной лжи настолько присуща всем, что смелость человека, громко заявляющего о своих сомнениях и недоумениях, нас удивляет и оскорбляет.

[1] Да погибнет мир, но исполнится справедливость.

Мы чувствуем себя задетыми, подобно скромному подданному короля, чувствующему себя обиженным, когда непочтительно говорят о его господине. Чтобы не возбуждать такого возмущения, мы изобретаем официальный язык; мы взаимно обманываем друг друга; по крайней мере мы делаем вид, что обмануты. Мы обманываем главным образом наших детей, так же как нас обманывали наши отцы и так же, как они будут обманывать своих детей... если не случится революция.

Разве это не называется вводить в заблуждение умы и себя в том числе, повторяя ежеминутно, что человек не должен думать о себе, что он должен жить только для других, что нет судьбы *более сладостной и более прекрасной*, чем *умереть за родину*. Умереть за свою идею — великая, достойная вещь, — но вовсе не счастье; это грустный и трагический жребий; а между тем мы так привыкли к этому декламаторскому тону, что почти так же трудно найти человека, погибающего за идею, как человека, смеющего сказать, что счастье вовсе не в том, чтобы погибнуть по каким бы то ни было мотивам.

Есть нечто безнравственное в этой комедии; эта постоянная ложь унижает человека и опошляет его характер. „Карнавал" давно прошел, наступил „великий пост" — пора снять маски. Нужно, чтобы люди сознали свои поступки. Мало отрицать втихомолку, нам необходимо признание, необходимо слово, вещающее, обобщающее, подтверждающее. *Дуализм* настолько проник в наши мысли, в нашу манеру смотреть на вещи, что мы должны сделать большое усилие над собой, чтобы *просто* воспринимать самую элементарную истину, — и в то же время кажется, будто мы легко воспринимаем самые абсурдные вещи — как, например, существование души без тела. Наш язык — язык дуалистический; наша фантазия не знает других образов, других метафор, кроме дуалистических.

В течение пятнадцати веков все, что учило, проповедывало, писало — все было пропитано дуализмом. В конце XVI века мы видим людей, начинающих сомневаться в дуализме; но большинство даже сомневающихся продолжает пользоваться дуалистической фразеологией — как, например, Бэкон.

После энциклопедистов, после Юма и Канта, в позитивные науки стал проникать *человеческий* язык; что касается этики, то там господствовал и поныне господствует дуализм.

Пришло время проанализировать смысл этих Сивиллиных книг морали и предоставить человечеству их темное и напыщенное содержание.

Мораль, которую нам проповедуют, стремится лишь к тому, чтобы уничтожить личность, сделать из индивида тип, алгебраического человека, лишенного страстей. Изобретают невозможные обязанности, добродетели, оскорбляющие природу,— поэтому их лишь принимают, никогда не применяя на практике. Это *практическое* отрицание чрезвычайно важно. Уважая пример святых — этих „ультра" религии — люди продолжают итти своим путем, меньше всего думая сделаться пустынниками или отшельниками.

Нужно, наконец, чтобы наши моралисты объяснились, чтобы они поведали нам свои доводы; их священное негодование ничего не говорит нашим ожесточенным сердцам.

Они вызывают на смертный бой эгоизм, индивидуализм,— мы же не понимаем человека без эгоизма, личность без индивидуализма — подобно тому, как мы не понимаем человека без чувства социальности.

Человек, любящий только самого себя — чудовищен, так же как человек, любящий „всех", кроме себя самого. Человек без социального инстинкта был бы подобен плотоядному орангутангу, Калибану-людоеду. Человек, лишенный эгоизма, был бы подобен кроткому орангутангу, Жеко, сентиментальному Калибану.

Мы хотим быть свободными и счастливыми, мы хотим быть любимыми, потому что мы эгоисты. Любят всегда для себя, никогда не для других.

Проповедь индивидуализма означала революционное пробуждение человечества, усыпленного эфиром католицизма. По моему мнению, в эгоизме вольтерианцев больше братства, чем в братстве учеников Руссо.

Истинный интерес этики не в том, чтобы уничтожить эгоизм—братство никогда не поглотит его,—а в том, чтобы найти возможность соединения этих двух великих элементов человеческой жизни в гармонию, где они бы могли помогать друг другу вместо того, чтобы поносить друг друга, как это делается в христианском мире. Два великих пророка новой морали это Сен-Симон и Фурье: один отомстил за плоть, другой — за страсти.

Больше свободы, больше веры в природу — и поменьше наставлений. Мораль, заставляющая меня брататься со „всем" миром, мораль, возводящая в догму любовь к человечеству, не может поддерживаться серьезно; ведь нет оснований ни любить, ни ненавидеть кого бы то ни было лишь по одному тому, что он существует. Христианство, по крайней мере, не остана-

вливалось на таких мелочах, оно гордо повелевало *любить врагов более самого себя*. В течение восемнадцати веков восхищались величием этого положения, — пора его понять. Почему, собственно говоря, человек обязан любить именно тех, которых он ненавидит? Или почему оставаться врагом людей, которые так любезны?

Человек социален — любить так естественно для него, что он будет много любить; но иногда он будет и ненавидеть — и только тогда его любовь будет ценна. Доброжелательность — в характере социального существа, зачем же оскорблять это чувство, *предписывая* ему делать то, что он сам *хочет*. Это из тех моралистов, для которых добродетели настолько отвратительны, что на их взгляд большой заслугой является проводить их в жизнь. Последняя форма рабства это Дуализм, отделяющий Человека от Общества и изображающий их как двух врагов.

Поскольку будут существовать с одной стороны Архангел-Братство и с другой Люцифер-Эгоизм — будут также существовать правительство, чтобы их примирять, судьи, чтобы награждать добродетель, палачи, чтобы наказывать за преступления, церковь, чтобы помирить нас с богом, бог, чтобы внушать нам страх — и комиссар полиции, чтобы нас арестовывать.

Александр Герцен.

Лондон, 29 ноября 1854 г.

М. Е. Салтыков-Щедрин

Глава

Вступление Н. Яковлева

Настоящий рассказ принадлежит к числу самых ранних произведений Салтыкова и непосредственно связан с его первой повестью «Противоречия», появившейся в ноябрьской книжке журнала «Отечественные записки» за 1847 год (общность имен героев, общность отдельных мест текста). Так же, как и в «Противоречиях», здесь сильно сказывается влияние Жорж Занд. К этому присоединяется влияние Гете. В июльской и августовской книжках «Отечественных записок» 1847 года напечатан перевод романа Гете «Wahlverwandschaften» (обычный перевод заглавия — «Сродство душ») под заглавием «Отличия». Можно думать, что Салтыков познакомился с названным романом Гете именно по этому переводу. Во всяком случае, сравнение «Главы» с романом Гете обнаруживает ряд сходных черт. Гетевы «Wahlverwandschaften» упоминаются также в позднейшем рассказе Салтыкова «Приезд ревизора» (1857 г., вошел в серию «Невинных рассказов»), но уже в комическом плане — в разговоре между губернской львицей Дарьей Михайловной Голубовицкой и приезжим из столицы чиновником Голынцевым.

Этим двойным сближением «Главы» с «Противоречиями» и «Оттилией» определяется более или менее точно и дата написания произведения. Почерк и бумага рукописи, с которой мы печатаем «Главу» (хран. в ИНЛИ), также указывают на вторую половину 40-х годов.

Краткий пересказ «Главы» был опубликован В. Кранихфельдом в газете «Утро юга» (1914 г. № 64) под произвольным заглавием: «Рассуждающая любовь. Глава из ненаписанного романа Щедрина». Мы воспроизводим текст полностью, сохраняя и характерные ошибки в роде двойного имени героя — «Нажимов» и «Нагибин».

Глава

Робким и нерешительным шагом шел Николай Иван. садом по дороге из первого Парголова в Заманиловку. Разные непредвиденные вопросы беспрестанно восставали в голове его и мутили его воображение. То вдруг возникал в уме его во-

прос, какого сорта его любовь, не есть ли это потребность, им самим придуманная и навязанная себе же, а вовсе не свободное, естественное движение существа его, и действительно, оказывалось, что если бы любовь его к В. А. была любовь естественная, то он не задавал бы себе подобных вопросов, не рассуждал бы о ней, а просто на просто шел бы себе в Заманиловку без всякой задней мысли и сомнений. И так этот факт был для Нажимова ясен, так ясен, что он, который исповедывал, что человек везде и всегда должен поступать только по естественному влечению своей природы, даже испугался результатов своих размышлений по поводу настоящего его положения, и быстро повернул было назад. Но не сделал он еще и трех шагов в этом обратном направлении, как больная его мысль, не переставшая работать с обычною неутомимою деятельностью, представила ему дело в совершенно противоположном виде. „Но если, говорил он сам себе, рассуждающая любовь неестественна, стало быть ее нет, стало быть я не люблю; а если я не люблю, если я равнодушен, то нет для меня никакой причины не итти к Загреевым". И Нажимов вновь воротился и пошел по дороге к Заманиловке. Потом опять начинала тревожить его другого рода мысль. „Но если, думал он, я столько рассуждаю о своих отношениях к В. А., если я беспокоюсь о них, следовательно В. А. интересует меня, следовательно я люблю, но с другой стороны, имею ли я право любить, не теряя своего собственного человеческого достоинства? И тут расстроенному воображению его являлись вереницами такие страшные буки и пугалы, что ему становилось страшно, грудь его давила какая-то несносная тяжесть, холодный пот выступал на теле, потому что на один и тот же вопрос являлось ему вдруг два совершенно противоположных ответа, из которых один говорил совершенно ясно и доказательно да, а другой совершенно ясно и доказательно нет. „Чем сложнее организм, чем более заключает он в природе своей поводов к обнаружению своей деятельности, тем выше стоит он на ступенях бытия; чем более в человеке потребностей, чем разнообразнее они, тем шире натура человека, тем законнее его право на титул венца создания. Если же по какому-либо случаю вся жизненная деятельность человека поглотится в одной только потребности, этот факт уже достаточен для того, чтобы низвести совершеннейшее из созданий на степень низшего организма. Итак, если допустить возможность такой любви, которая непомерным развитием своим была бы в состоянии заслонить собою все другие отправления нравственного

организма человека, то вместе с тем должно признать в этом человеке совершенное отсутствие признаков, доказывающих высшую натуру, следовательно любовь и высшая натура — понятия друг друга исключающие, уничтожающие". Но через несколько минут его снова брало раздумье! „А с другой стороны, говорил он, такое проявление деятельности, где человек участвовал бы совершенно всеми сторонами своего существа, не всегда для него возможно, потому что иногда самые обстоятельства, в которые человек поставлен, или так мало заключают в себе вызывающей силы, что не возбуждают от сна дремлющих сил его, или часто даже имеют в себе такое губительное начало, что совершенно парализует их, следовательно чрезмерное развитие какой-нибудь страсти в человеке нисколько не доказывает ни высшей, ни низшей степени организма; следовательно, любовь — страсть вовсе не унизительная".

Хорошо еще, что Н. И. не пришло на мысль, что он смешивал тут два понятия совершенно различные — понятия человека нормального, которого силы находятся не в борьбе между собою, а умеряют друг друга, с понятием своего личного положения — положения совершенно ненормального; а приди это ему на мысль — вы услышали бы, может быть, изыскания еще более интересные, нежели те, которые мы уже знаем.

Такого рода мысли и рассуждения мучили бедного Нажимова в продолжение всего пути от первого Парголова до Заманиловки. Об одном только и о самом простом, повидимому, деле не подумал Н. И. Не подумал он о том, что его бессильное, больное раздражение, которое он называл любовью, по закону какой-то необъяснимой необходимости, заразило своим тлетворным дыханием существование полное силы и энергии, что его узенькая и сухая натура, не имевшая ничего в предмете, кроме удовлетворения своей мертвой потребности резонерства, сгубила своим столкновением жизнь и счастье целого семейства. Не подумал он об этом, да и время ли было ему об этом подумать: его занимали вопросы гораздо глубже этого, вопросы общечеловеческие: согласно ли, например, с достоинством человека подчиниться влиянию одной страсти и пр. А я уверен, что если бы не заносился своею мыслью слишком высоко, а, не гнушаясь, посмотрел бы вокруг себя, то увидел бы непременно, что одному человеку вовсе не след компрометировать счастие нескольких людей, и что если он уже не в состоянии изменить своей натуры, то ему следует удалиться и принести себя в жертву. Но Нажимов не думал

об этом и, занятый своими соображениями, шел себе потихоньку по дороге.

Наконец показалась и знакомая дача, и садик, обсаженный кустами акаций, и в садике мелькнуло что-то белое.

„Она", подумал Нажимов, отворяя калитку.

В самом деле это была Вера А. Она сидела в самом углу садика в беседке; в руках ее была книга, и она, казалось, была так занята своим чтением, что не слыхала, как подошел к ней Нажимов; свет едва-едва пробивался сквозь ветки акаций, которыми усажена была беседка, так что В. А. была окружена каким-то мягким необыкновенно заманчивым полумраком, который придавал еще больше прелести и без того прекрасному лицу ее; она была одета в белое кисейное платье с высоким лифом, легко и грациозно обрисовывавшее ее стройную талию; волоса были причесаны гладко и очень просто; в этой одежде в ней было что-то до того легкое, улетучивающееся, что Н. И. в невольном восторге молча остановился перед нею. На него как будто пахнуло давно забытым теплом его юности, и затвердевшее чувство жизни вдруг растопилось на дне его сердца; как пораженный, притаивши дыхание, стоял он перед этою чудною женщиною, боясь малейшим движением пробудить ее внимание и тем расстроить очарование свое. Однако, через несколько минут В. А. подняла глаза.

— Ах, это вы, Н. И.,—сказала она, подавая ему руку,—а я так занялась своим чтением, что не слыхала, как вы пришли; вы, может быть, давно уже здесь?

— Нет, я только сейчас вошел.

— Тем лучше; садитесь пожалуйста... а впрочем, знаете ли, здесь темно; пойдемте лучше в комнату.

— Если бы вы позволили, я лучше желал бы остаться на воздухе...

— Ну так пойдемте на балкон...

— Отчего же вы не хотите остаться здесь?

— Да здесь неловко... мы видеть друг друга не будем,— сказала она улыбаясь,— пойдемте, пойдемте...

И она вышла из беседки; она чувствовала, что в этом полусвете есть какое-то возбуждающее свойство, располагающее человека к восторженности и мечтательности, и боялась этого. Нажимов нехотя последовал за нею.

— А я теперь одна... надо же случиться такому обстоятельству: собирались вы собирались, насилу приехали, а тут, как нарочно, ни папеньки, ни мужа нет дома...

—Где же они?

— Да с утра еще в город уехали, да вряд ли и вернутся сегодня.

— А Вар. Ал. тоже с ними уехала?

— Нет, Варя ушла с Колей к знакомым в третье Парголово... право, предосадно!

Н. И. не отвечал, В. А. тоже не знала, как продолжать разговор: во взаимном положении их было много принужденного, потому что обоих волновала одна и та же тайная мысль, которую они во что бы то ни стало хотели скрыть друг от друга, а между тем чувствовали, что по какому-то тайному случаю наступила, наконец, для них решительная минута, когда долго удерживаемое слово должно необходимо быть сказано, когда необходимо должна упасть та завеса, которая долгое время скрывала их от них самих.

— Я, может быть, помешал вам, В. А., — сказал наконец Нажимов.

— О, нет! напротив, я очень рада вашему приезду! Досадно только, что и папенька и муж в городе; они были бы так рады видеть вас...

— Что вы читали, В. А.?

— Да Гетевы Wahlverwandschaften.

— Это мой любимый роман.

— Право?

— Да, потому что в основании его лежит истина...

— Вы думаете, что этот мрачный закон предопределения, который кладет какой-то тяжелый колорит на все действия, может существовать?.. Не знаю, мне делается больно, когда я читаю этот роман...

— Странное дело, В. А.! Вам делается больно, что люди поступают естественно, вам делается обидно, когда люди не могут долее лицемерить, когда они не в силах долее удерживать маски, закрывавшие от них истинные чувства их... Вам больно, В. А.! Мне так напротив, как-то светло и легко делается, когда я могу отдохнуть душою на подобном создании от вечных цепей принуждения и апатии, которые нас сковывают...

— Однако ж, сам Гете понял это, кажется, так, как я понимаю, потому что не даром же дал он всему действию такой невыразимо грустный характер.

— О, нет, вы ошибаетесь, В. А. Грустная сторона этого явления заключается не в самой сущности его, а в его внешнем выражении; обидно не то, что этих людей влечет друг к другу какая то безотчетная необходимость — эта безотчетность чувства именно и составляет обаяние страсти — обидно то, что

это естественное влечение людей друг к другу при самом рождении своем вызывает уже тысячи препятствий, тысячи химер...

— Однако ж, как хотите, а для меня это все таки странно... Неужели человек должен всегда покоряться какому-то внешнему закону необходимости, неужели в нем до такой степени нет воли, что непременно нужна какая-то слепая случайность, чтобы вести его?

— Да почему же вы думаете, что это случайность? Почему вы представляете себе закон необходимости чем-то внешним? Ведь этот закон в нас самих, в нашей природе; повинуясь ему, мы себе повинуемся... Разумеется, я первый бы восстал, если бы Гете имел в виду какую-либо внешнюю силу, царящую над действиями человека... Дело в том, что этого нет, что сила, заставляющая нас действовать, заключается в нас самих и в окружающей нас средине, и когда начало нашей деятельности заключается только в нас, тогда действие наше естественно и потому совершенно, но так как оно всегда изменяется столкновением с известною срединою, то и является с первого взгляда как будто бы порочным; но первое-то побуждение все-таки чисто и прекрасно.

— Может быть... но все-таки я думаю, что в человеке есть довольно силы, чтобы противустоять этому влекущему закону и быть в состоянии свято исполнить долг свой...

— Бог знает...

— Однако ж я думаю, что это зависит от самого человека, и если он захочет, то всегда найдет в себе эту силу...

— О, нет; нет в нем этой силы, нет ее... Бедный Эдуард напрасно противится увлечению, напрасно уезжает дальше от Оттилии; тщетно Шарлотта думает заглушить в себе страсть к капитану, тщетно добродетельный, но глупый Митлер усиливается как-нибудь хоть на живую нитку согласить отовсюду восстающие противоречия: против них согласилась сама природа их, она грозит им смертью за безумное сопротивление их, и они идут, идут сами не зная, не давая себе отчета, куда приведет их светлый поток их страсти...

— Однако ж они торжествуют над этою страстью...

— Смерть над всем торжествует, В. А...

В. А. не отвечала; Нажимов взял в руки книгу и молча перелистывал ее; было около девяти часов, и солнце только что село; вечер был тихий и теплый; все дачники, как будто радуясь такому редкому явлению, оживленными группами рассыпались по деревне.

— Не хотите ли вы прогуляться? — спросила В. А.

— С удовольствием, только не по деревне...

— Отчего же?

— Оттого, что тут много народу, а я, вы знаете, не большой охотник до общества...

— Да что же вам за дело до других? Вы здесь ни с кем не знакомы...

— Все это так, В. А., но ведь и вы не любите сборищ, зачем же вы сегодня хотите непременно изменить своим любимым привычкам... Вообще вы что-то очень не в духе сегодня, В. А...

— Если вы непременно хотите, пойдемте в сад.

— Да, и на озеро... Вы будете так добры?

— Уж не думаете ли вы кататься на лодке? — спросила В. А., с какой-то живостью схватившись за эту мысль.

— Если только это возможно...

— Отчего же нет... Маша, — сказала В. А. горничной, — скажи Андрею, чтобы он шел на озеро, мы будем кататься на лодке.

— Зачем же вы хотите Андрея? Я и сам надеюсь справиться с лодкой.

— Нет... вы, пожалуй, опрокинете ее, — сказала шутя В. А.

— А я думал, что мы с вами будем одни, что я буду грести... В таком случае зачем же нам не гулять просто по деревне?

Вера Ал. молчала; бедная женщина чувствовала, что роковая минута наступает и что, как ни старалась она до сих пор отдалить ее, все-таки она не исчезала, а снова являлась с более и более угрожающей настойчивостью. Она понимала, что если откажет Нажимову в его настойчивом требовании ехать вдвоем на лодке, то самим этим действием откроет ему то тайное чувство, которое руководило ею в этом случае. А с другой стороны, мысль, что страсть, и без того уже раздраженная этим продолжительным свиданием, не будет иметь более силы скрываться, ужасала ее. И бедная не знала, на что решиться, потому что, наконец, ее влекла к Нагибину ее задушевная мысль, и надо было слишком много геройства с ее стороны, чтобы своей собственной силою выйти из затруднительного положения. Она взглянула на Нажимова: он стоял перед нею и смотрел ей в глаза.

— Зачем же вы непременно хотите противиться? — сказал он слабым голосом, взяв ее за руку.

В. А. побледнела и поспешно выдернула руку свою.

— Хорошо, мы поедем вдвоем, — сказала она, — только я надеюсь, что вы не опрокинете лодку.

И В. А. улыбалась, говоря это, но улыбка ее была как-то неестественна.

И молча пошли они к озеру; во всех их движениях было что-то принужденное, связанное, как будто наступала для них минута, в которую должна объясниться им целая жизнь их, как будто для нее одной существовало все их прошедшее и в ней одной заключено все будущее их.

Тихо и ровно катилась лодка по озеру, дружно ударялись весла по дремлющей и как стекло прозрачной воде; ни малейшего звука, ни малейшего движения вокруг пловцов; чуть-чуть рябит теплый июльский ветер ровную поверхность озера; смолкла и уснула давно в гнездах своих веселая стая птиц; догорает на отдаленном горизонте вечерняя заря, отражая в воде последние лучи свои; синее безоблачное небо раскинулось без конца в недоступной высоте своей, что-то торжественное, зовущее в этом всеобщем безмолвии; оно навевает на душу сны полные обаяния и сладости, оно зовет на лоно природы давно отторгшихся сынов ее, оно напоминает истерзанному и измученному жизнью об утраченном рае его юности, о тех бывалых его порывах, когда он весь кипел стремлениями к доброму и прекрасному...

Но наши пловцы были грустны — более чем грустны: на них невыносимо тяжелым камнем лежала ложность их положения; они хотели развязать как-нибудь этот гордиев узел, в который сами невольно впутались, и не могли, потому что слова замирали на губах, мысль скудела под бременем поглощавшей их страсти.

Долгое время плыли они молча и не смотря друг другу в глаза, боясь даже в них увидеть обличение тайной их страсти; наконец Нажимов не выдержал; он бросил в лодку весла и облокотился рукою на колено.

— Бедные, несчастные мы люди! — сказал он с горечью.

В. А. сидела против него, опустив в землю глаза и машинально расплескивая концом зонтика воду; лодка медленно плыла сама собою, одно весло, небрежно кинутое, плашмя ударялось о поверхность озера; Нажимов взглянул на В. А. и покачал головой: она была бледна как полотно и едва дышала.

— Бедные, несчастные мы люди! — повторил Нажимов и глубоко вздохнул.

Заря уже догорала; ночь одела окрестности таинственным покровом своим; в воздухе начинало свежеть; тут только Ник. Ив.

вспомнил, что уже поздно и что, вероятно, отсутствие В. А. немало беспокоит домашних ее; он взялся за весла и поплыл к берегу. Они вышли из лодки и пошли к дому; было уже темно, на улице не было видно гуляющих, в раскрытых окнах светились огоньки, то там, то сям, как неясный шум, долетали до слуха их веселые голоса дачников; какая-то лихорадочная тревога обняла все существо их; от озера до дачи было с полверсты; долго шли они молча, употребляя неимоверные усилия, чтобы сдавить в себе поток страстного раздражения, который спирал им дыхание в груди, но тщетны были все их усилия: страсть гнала их влекущею своей мощью, сковала их души силою непобедимого своего очарования.

— Отчего же вы не хотите любить меня? — спросил наконец Нажимов голосом, дрожащим от волнения.

Молчание.

— Действительно ли вы не любите меня или только не хотите признаться себе в этом?

Тоже молчание.

— Зачем же вы не хотите отвечать мне, зачем хотите вы мучить меня?

И он взглянул на В. А.; скрестив на груди руки, едва дыша смотрела она на него, как будто умоляя пощадить ее слабость; на глазах ее дрожали слезы. Нажимов остановился; измученный, истомленный неимоверною внутреннею борьбой, в изнеможении прислонился он к перекладине, приложив руку к горевшему лбу.

— Бедные мы, неразумные люди! — сказал он едва внятно,— мало мы мучимся, мало страдаем мы в жизни! Мы сами, как дети, спешим затоптать в грязь наше счастье... Целую жизнь мы ждем: вот наступит наконец эта давно желанная минута, мы терпеливо сносим все лишения, все преследования... И вот эта минута наступила, а мы тешим себя какими-то пугалами, мы сами отворачиваемся от счастья, сами отталкиваем его от себя...

И он взял ее за руку и хотел привлечь к себе, но она сделала над собой отчаянное усилие и вырвала руку свою.

— Так вы не любите меня?— сказал он почти умоляющим голосом,—зачем же не скажете вы мне прямо, что это невозможное мечтание, зачем же заставляете вы страдать меня В. А.?

— Что же мне делать, что делать мне? научите меня,— отвечала она прерывающимся голосом.

— Скажите раз навсегда, любите вы меня или нет?

— Да что же мне говорить вам, ведь вы видите...

— Зачем же вы хотите противиться этой любви, зачем же вы мучите и себя, и меня?

— Зачем?.. отвечала она и вдруг вздрогнула: бедная женщина позабылась в чаду восторженной любви своей и теперь только что вспомнила, что дома, может быть, думает о ней муж, что, может быть, в эту самую минуту ждет он ее с грозным вопросом: где ты была? Что ответит она ему? Какими глазами посмотрит на него? А он между тем так любил ее, он холил и лелеял ее, как любимое дитя своего сердца. Зачем? — повторила она с горькой иронией, — пойдемте домой: там вы увидите, зачем!

И она не пошла, а скорее побежала по дороге к дому, так что Нажимов едва успевал следовать за нею.

— Вероятно, я буду иметь удовольствие видеть там В. Д.,— сказал он, иронически усмехаясь.

— Да, он, может быть, приехал, идемте, идемте скорее, Н. И.!

— О, да как вы спешите, В. А.! Вероятно это он, это страшное зачем, которое так пугает вашу добродетель?

Вера Александровна остановилась.

— Как же вы-то, — сказала она,—не имеете в сердце своем столько сожаления, чтобы не мучить меня подобными вопросами; разве вы не видите, что я ничего не могу, что я скована, связана!..

— Да... вы скованы, вы связаны, В. А.! Я говорил, что мы сами отпираемся от счастья, что сами создаем себе какие-то призраки... и после того еще жалуемся на жизнь, говорим, что нам вздохнуть свободно нельзя... Бедные, жалкие мы люди...

— Да ведь (я) принадлежу другому, и этот другой меня любит... понимаете ли вы меня, Николай Иванович, ведь он меня любит, ведь во мне все его надежды, вся его жизнь...

— А вы?... вы любите его?

Вера Александровна не отвечала.

— Зачем же вы мучите себя? он любит вас! да виноваты ли вы, что он любит вас! Хороша любовь, которая имеет результатом только несчастье любимого предмета! Дело не в том, любит ли он вас или нет, а в том, что вы-то его не любите. Он любит! а я разве не люблю вас?

— Да ведь я женщина, Н. И.! разве вы не чувствуете, что в одном этом слове заключается мое вечное осуждение, если я позволю сердцу своему раскрыться для какого-нибудь другого чувства, кроме чувства обязанности и слепого повиновения?

— Так вы просто боитесь?

— О, в вас нет жалости, Н. И.! Вы не видите ничего, кроме себя, вы не слышите никакого голоса, кроме голоса своего эгоизма...

— Так вы непременно хотите итти по пути добродетели, В. Александровна?—спросил он насмешливо.

Она молчала.

— Так нет для меня никакой надежды?

То же молчание.

— Жалкие, несчастные мы люди!—повторил со вздохом Николай Иванович.—Ну, так пойдемте же по пути добродетели, Вера Александровна.

Первое лицо, которое они встретили, подходя к дому, был Немиров. Он стоял на балконе и, казалось, давно уже ждал их. Лицо его было несколько бледнее обыкновенного, но, впрочем, ни в одной черте его не было видно ни малейшего следа волнения или гнева; как всегда, оно было спокойно и серьезно, как всегда, оно выражало необыкновенную доброту и ясность. Немного поодаль стояла Варенька с заплаканными глазами; Александра Петровича, повидимому, не было дома.

— О, да как вы загулялись сегодня!—сказал он, подходя к Вере Александровне и взяв ее за руку.

Вера Александровна не отвечала; но, чувствуя прикосновение руки мужа, она судорожно сжала ее в своих и быстро поднесла ее к губам.

— А ведь ты можешь простудиться, Вера,—продолжал В. Д.,—теперь сыро... Николай Иванович, как это вы не напомнили ей, что поздно? право, в другой раз я буду на вас в претензии.

Варя сердито взглянула на Нажимова.

— Это все вы виноваты, Николай Иванович,—сказала она,—а между тем Веру бранят.

— А Варя все плакала без вас,—начал снова Немиров,—такая, право, странная! Уж, бог знает, чего ей не чудилось: и потонули-то вы, и заблудились... ну да славу богу, все, кажется, благополучно..

Но никто не отвечал ни слова В. Д.; это молчание длилось несколько секунд и наконец становилось тягостным. Немиров чувствовал, что на нем одном лежала обязанность вывести всех действующих лиц этой маленькой драмы из затруднительного положения и потому, как ни тягостно было ему самому притворствовать и казаться равнодушным, но он и на этот раз решился пожертвовать собою.

— О, да какие вы все сегодня угрюмые!—сказал он шутя,—а ведь это все вы, Николай Иванович! право вы совсем

испортили у меня Веру своими философскими разговорами: прежде она у меня была такая резвая, веселая, а нынче... да что с тобой, друг мой,—продолжал он, обращаясь к жене,—ты что то бледна сегодня: уж не больна ли ты? Пойдемте-ка в комнату... Варя, скажи, чтобы подали самовар поскорее.

— Вы меня извините, В. Д.,—сказал Нажимов,—а мне пора вас оставить: я и без того уже запоздал, а между тем обещался притти ночевать у одних знакомых в первом Парголове...

— Да напейтесь хоть чаю с нами...

— Ах, боже мой! да зачем же вы удерживаете, братец, Николая Ивановича,—сказала Варя довольно сухо,—вы видите, что уж поздно и Вера больна...

В. Д. взглянул на нее и покачал головою.

— Вы видите, что мое присутствие здесь неприятно для некоторых лиц,—сказал насмешливо Нажимов,—а я бы не желал быть кому-нибудь в тягость...

— Как вам угодно, Николай Иванович, я не могу вас удерживать; впрочем, я надеюсь, что вы смотрите на слова Вари, как на выражение досады, весьма извинительной после тех беспокойств, которые испытала она во время вашего отсутствия.

— Совсем нет, совсем нет, вы ошибаетесь, братец,—начала, было, Варя, но Нажимов не дал ей кончить.

— Пожалуйста, не трудитесь объяснять, Варвара Александровна, я и без объяснений очень хорошо понимаю, что всегда имел привилегию возбуждать вашу антипатию.

Николай Иванович поклонился и ушел; Вера Александровна с мужем вошли между тем в комнату.

Между тем, отошедши несколько шагов, Нажимов услышал, что кто-то назвал его по имени; он обернулся: перед ним стояла Варя.

— Я надеюсь, Николай Иванович,—сказала она твердым голосом,—что вперед мы не будем уже иметь удовольствие видеть вас.

— А вы этому очень рады?

— Да, я желала бы этого...

— А если я не исполню вашего желания?

— Не думаю; а впрочем, тогда вас будет об этом же самом просить папенька.

— Вы от себя или от других изъявляете мне это желание?

— Вы видели, что я не имела еще времени ни с кем переговорить об этом.

— Бывают разные обстоятельства; бывают некоторые незаметные движения...

— Вы полагаете, Николай Иванович?

— Да... маленькие семейные знаки... а впрочем, если для сохранения добродетели вашей сестрицы достаточно моего отсутствия, я с удовольствием исполню вашу просьбу...

— Для добродетели Веры решительно все равно, будете ли вы ездить к нам или нет.

— Так какое же вы имеете право вмешиваться в чужие дела, Варвара Александровна?

— А какое право имеете вы расстраивать чужое спокойствие?

Николай Иванович задумался.

— Стало быть, все-таки мое отсутствие,— сказал он с насмешкою,— вещь далеко не так равнодушная для добродетели Веры Александровны.

Варя побледнела; из робкой неопытной девочки она вдруг выросла и сделалась женщиной в полном смысле этого слова.

— Вы низкий человек,—сказала она,—прежде я имела к вам антипатию, теперь презираю вас.

Николай Иванович смешался, закусил губу и вышел.

Между тем Немиров и Вера Александровна, оставшись один на один, были тоже в весьма затруднительном положении. С одной стороны, В. Д. все знал, все понимал и хотел скрыть это и от жены, и от самого себя, если бы это было возможно, хотел бы сам не знать и не понимать ничего; В. Д. был, видимо, взволнован, видимо, убит своим положением и хотел не только казаться, но и в самом [деле] быть равнодушным. С другой стороны, Вера Александровна хотела бы все высказать своему мужу, между тем не могла решиться, потому что чувствовала, что каждое слово ее будет истинным приговором его. И в самом деле, что она могла сказать ему? что она не любит Нажимова? но, во-первых, она сама слишком хорошо чувствовала, что любит его, а во-вторых, и происшествия того вечера подтверждали эту любовь; что она борется с тою несчастною любовью, что она надеется искоренить малейший след ее в сердце своем, но все же это еще очень и очень гадательно, все это может быть и будет, а может быть и нет, и главное — уверенность в будущем равнодушии вовсе не отрицала наличности любви в настоящем, а напротив, даже предполагала ее. И оба они страдали невыносимо, потому что между обоими стоял черный фантом, называемый заднею мыслью, который мешал им высказать слово их положения. И тогда только, в первый раз после пяти лет брачной жизни, предстала уму их во всей ужасаю-

щей откровенности своей мысль, что в них нет веры друг в друга, и в первый раз эта мысль так отчетливо стала перед ними, и так настойчиво требовала себе объяснения, почему и нет ли тут какой-нибудь тайной причины, от них независящей, и которой они до того не замечали, что оба они ужаснулись этой неугомонности и долго старались они заглушить в себе эти вопросы, хотели как-нибудь, хоть на короткое время продолжить еще обман, но все уже было тщетно, слово уже высказалось само собою, а неутомимая мысль подхватила его на лету и делала свое дело.

Василий Дмитриевич начал, было, рассказывать, как он ездил в город, с кем он виделся, где был, но все выходило у него как-то неладно; говорил он, например, что был у Ивана Макаровича и переговорил с ним о важном деле, и между тем тут же прибавил: „а хороший человек—Иван Макарович! жаль, что я не мог с ним сегодня видеться!“ И Вера Александровна на все отвечала утвердительно, вовсе не замечая в словах мужа противоречий. Наконец и этот предмет истощился, а между тем настояла безотлагательная потребность развлечь чем-нибудь раздраженное чувство.

— Ты что-то бледна сегодня, друг мой,—сказал Немиров после минутного молчания.—Здорова ли ты, не хочешь ли лечь в постель?

— Да, я хотела бы остаться одна,—отвечала Вера Александровна.

Немиров взял ее за руку и поцеловал в лоб.

— Вера,—сказал он дрожащим голосом,—ты не имеешь ничего сказать мне?

Вера Александровна молчала.

— Ну, бог с тобой, ступай к себе в комнату... а я было думал... а впрочем, я сам во всем виноват,—продолжал он вполголоса и глубоко вздохнул.

В это время вошла к ним Варя и хотела было итти за сестрою, в ее комнату, но Вера Александровна решительно сказала, что желает остаться одна.

Запершись в своей комнате, Вера Александровна вполне предалась горестным мыслям, которые осаждали ее. Беспрестанная борьба с собою до того убила, истерзала ее душу, что она, бледная, измученная, упала в изнеможении на постель и горько зарыдала. И в самом деле, в ее положении было мало утешительного. Целые пять лет жила она счастливо, никогда не задавая себе никакого вопроса, и вдруг в один вечер она прожила целую жизнь, в один вечер она увидела

перед собою такую бездну, что сердце ее надрывалось, голова кружилась от ужаса и неизвестности. Отчего, например, ей до того никогда и в голову не приходило спросить себя, действительно ли она счастлива; а теперь этот вопрос неотразимо напрашивался на мысль, а мысль между тем так ясно, так отчетливо доказывала, что счастья она еще не знала. Конечно, она не была несчастна, конечно, она не могла никогда положительно указать на ту или другую обманутую надежду, на то или другое несбывшееся мечтание, но в том то и дело, что надежд-то, мечтаний-то этих не было, что в жизни ее не было ни светлой, ни мрачной стороны, что шла она по заведенному порядку, ничем болезненно не возмущаемая, но за то ничем и не очарованная светло. В ее жизни не доставало одного условия—именно самой жизни; в ее любви к мужу не было одного качества—не было страсти, не было деятельности.

Отчего прежде не рождалася никогда в ней потребность определить характер своих отношений к мужу, а теперь, в эту минуту, она явилась с необыкновенной настойчивостью и требовала себе удовлетворения. И по размышлении оказывалось, что действительно между ею и мужем любви нет и не может быть, что то, что некогда она называла любовью, было не что иное, как невольное уважение к нравственным качествам и необыкновенной доброте Немирова. Но в самом-то деле она чувствовала к нему даже нечто похожее на боязнь, потому что в его убеждениях было что-то уже совершенно определившееся, остановившееся, а определенность мысли как-то невольно предполагает мертвенность ее. Вера Александровна жила в будущем, Вера Александровна искала чего-то; Василий Дмитриевич жил в настоящем и ничего не искал, не потому, чтобы это не было в его натуре,—напротив того, Немиров был несколько идеалист и вовсе не прочь бы от мечтаний, но самый его возраст, самые обстоятельства поставили его в такое положение, что он должен был отказаться от мечтаний и обратить всю свою деятельность непосредственно на окружающие его предметы. А любовь именно и воспитывается неизвестностью, она хочет быть предприимчивою; любовь—чувство по преимуществу эстетическое, которое жаждет простора и света и хиреет и гибнет в узеньких рамках обыкновенных домашних отношений.

И при этом Вере Александровне невольно приходили на мысль слова Нажимова, что она ничем не обязана мужу, и производили в ней невыразимое мученье. Тщетно говорила

она себе, что Василий Дмитриевич человек с необыкновенно благородной душой, что в ней одной заключены все его надежды, вся его жизнь, что ее равнодушие убьет его; тщетно придумывала она себе тысячи обязанностей, тысячи претекстов, чтобы доказать себе непростительность своей любви к Нажимову,—внутри-то себя она не могла не сознаться, что все-таки в любви должна быть взаимность, а без этого условия любовь одного не обязывает ни к чему другого.

И горько, горько плакала бедная женщина, видя, как вдруг, в одну минуту рухнула вся ее прошедшая жизнь. Конечно, в этой жизни не было положительного счастья, но она привыкла к ней, и при том судьба приковала ее жребий к участи такого человека, которого она не могла не уважать. А с другой стороны, что же представляло ей ее будущее, каким путем могла она выйти из своего настоящего, все это были вопросы темные, полные неизвестности...

А между тем настоящее невыносимо, каждый момент его есть уже ложь, каждое явление—принуждение. Притом же все это совершалось не бессознательно; вся эта ложь чувствовалась и тяжелым камнем ложилась на сердце. Как же выйти из ложного положения, как уничтожить его? Вера Александровна решительно не находила на этот вопрос ответа, потому что средства, представлявшиеся ее воображению, были до того противны всей прошедшей ее жизни, всем ее прежним убеждениям, что они страшили ее, и она спешила отогнать от себя самую мысль об них, подобно тому как спешит освободиться от тяжелого кошмара человек, изнемогающий под тяжестью его.

А между тем Немиров с своей стороны находился в не менее горьком положении. Сбираясь просить руки Веры Александровны, Василий Дмитриевич, конечно, не скрывал от себя тех неровностей, которые могли возникнуть из этого отношения. Он очень хорошо знал, что уже не молод, между тем как невесте его было только семнадцать лет, что между ними уже не может существовать никакой взаимности, что совершенному единодушию препятствовало естественное несходство их во взгляде на жизнь, даже в самой манере жить, но он и не требовал от нее любви, он ждал от нее одной дружбы, одной доверчивости. Конечно, не мешало бы ему поразмыслить в то же время и о том, что дружба не единственно возможная страсть души, что одно чувство, как бы богато и развито оно ни было, не в состоянии наполнить целой жизни человека, что, наконец, современное состояние

дружбы и любви—вещь вовсе не несовместная, что наличность одного даже заключает в себе как бы неясный намек, наводит на желание другого; но эти-то именно мысли и не пришли ему в голову, потому что и тут, как и во всех случаях своей жизни, он судил только по себе, потому что свою собственную восторженную натуру переносил он и на всю окружающую его средину. Что он в сорок лет остался тем же двадцатилетним юношей, понимающим все назначение своей жизни в удовлетворении какой-то наперед заданной идее долга, что его восторженная до фанатизма натура могла вынести это незаконное поглощение всех стихий жизни в пользу какой-нибудь одной,—следовало ли из этого, чтобы все люди были таковы, следовало ли свою болезненную восторженность и односторонность делать для всех обязательною? Действительно, легко и естественно приобрел Василий Дмитриевич дружбу и полную доверенность жены своей; действительно, пока это чувство ничем не развлекалось, пока весь мир Веры Александровны был сосредоточен в одном ее семействе, дружба ее к мужу жила своим собственным содержанием, и хотя не было в ней ни особенной энергии, ни юношеского увлечения, все-таки она, хоть с грехом пополам, поддерживалась собственною силою, хотя уже сказывалась сильная потребность в освежении ее, и по внимательном наблюдении чувство это даже как-то очень подозрительно намекало на равнодушие. И одного вечера было достаточно, чтобы разбить в пух и прах все столько лет лелеянные, столькими годами нажитые теории Василия Дмитриевича о святости долга, о вечной юности чувства и т. д. Но этим не ограничилась, однако же, пытка Василия Дмитриевича. Что убеждения его претерпели генеральное и невозвратное крушение—это бы еще ничего, от этого страдал он один; истинное мучение Немирова было в том, что эти миражи, которыми он столько лет себя тешил, поразили корротивною(?) своею силою другое существо, полное силы и страсти, и увлекли его в темную бездну безвыходного отчаяния или безвыходной апатии. Виновата ли она, что ее сердце билось с большею силою для Нажимова, нежели для него? Виновата ли она, что в одной молодости Нажимова заключалось уже такое увлекающее начало, перед которым напрасно старалась бы она устоять? Рассудок ясно говорил, что все это сделалось само собою, без всяких усилий со стороны Веры Александровны и что, следовательно, его обвинение, если только оно было возможно, падало само собою.

„Да чем же я-то виноват, за что же я-то терплю во всем этом; ведь я употребил неимоверные усилия, чтобы сгладить противоречия, я был добр, великодушен: за что же я-то так несчастен?“ Но рассудок ясно и определенно отвечал ему, что он сам создал себе несчастье, потому что всю жизнь свою смотрел на мир сквозь розовую призму восторженности, потому что всю жизнь видел в действительности не действительность, а осуществление какой-то идеи долга и обязанности. Горько было Василию Дмитриевичу, а все-таки нужно было, наконец, сознаться, что, для того, чтобы выпутаться из неестественности своего положения, предстояло ему одно только средство—отказаться от любви своей к Вере Александровне. Но с другой стороны, как же сделать это, как привести в исполнение это намерение? Слово „развод“ не раз уже мелькнуло в голове Немирова, но как-то резко неприятно поразило его мысль. Как все натуры, исключительно обращенные в одну сторону и застигнутые врасплох каким-нибудь явлением, безвозвратно разрушившим всю прежнюю их жизнь, Немиров колебался, не имея еще достаточно энергии, чтобы разом разрешить затруднение, и все приискивал средства, как бы сгладить неровности таким образом, чтобы хоть издали все казалось ровно и гладко. И потому он решился и тут принесть себя в жертву, но сделать это без огласки, так, чтобы и Вера Александровна не чувствовала всей важности его самоотвержения, потому что иначе жертва его не имела бы никакого достоинства и значения. Не понял он одного только, что такое постоянное молчаливое самоистязание невозможно, что Вера Александровна рано или поздно поймет его и тогда еще более увеличится тяжесть ее положения, еще тяжелее сделается цепь ее...

— Ни ропота, ни жалоб не услышит она от меня,— говорил сам себе Василий Дмитриевич,— я принесу всего себя в жертву ее счастью, я буду хранителем ее жизни, и что мне за дело до того, любит ли она другого, а не меня, если этот другой достоин любви ее.

В это время донеслось до слуха его из соседней комнаты глухое бесслезное рыдание, и Василию Дмитриевичу послышалась в нем какая-то жгучая, болезненная жалоба на вечную опеку, какое-то невыразимое настойчивое требование простора и свободы, и вырвался у него самого глубокий, страшный стон из груди и чуть-чуть не повторил он слова Нажимова: „жалкие, неразумные мы люди!“



Е. В. Базилевская

Мнимая эпиграмма Некрасова

К вопросу об отношениях Некрасова и Тургенева

I

Только из недавно вышедшего шестого издания „Полного собрания стихотворений Н. А. Некрасова“ (ГИЗ, 1931) исключено уже, как принадлежащее другому лицу, имеющееся во всех пяти предшествующих изданиях „юмористическое“ стихотворение „Отец твой, поп бездельник“. До самого последнего времени в принадлежности данного стихотворения Некрасову у редактора не возникало, повидимому, ни малейших сомнений. Решительное отсутствие во всех пяти изданиях каких бы то ни было, даже самых коротеньких к нему примечаний — наилучшее тому доказательство. Долговременное заблуждение редактора в настоящем случае отчасти понятно. В качестве некрасовского названное стихотворение было опубликовано еще 18 лет тому назад и притом известным некрасоведом В. Евгеньевым-Максимовым сперва в статье его „Предсмертные думы Н. А. Некрасова“ (в „Заветах“, 1913, № 6, стр. 35—36), а затем и в книге „Николай Алексеевич Некрасов. Сборник статей и материалов“ (Москва Кн-во К. Ф. Некрасова, MCMXIV, стр. 247—248). И там и тут исследователь отнес его „к числу стихотворений, в которых умиравший поэт клеймил реакционное засилье“, и высказал предположение, что эпиграмма эта „имеет, по всей вероятности, в виду одного из представителей высшей духовной иерархии“. „Отнюдь не враждебный религиозным настроениям народных масс, сам склонный иногда к мистическим порывам,— говорилось в обеих статьях,— Некрасов, как видно из приведенной эпиграммы, с крайним возмущением относился к духу той кастовой исключительности, столь удачно выра-

женной словами „конопляное масло“, которая уже начала проявляться в его время в среде высшего духовенства, неся в своем конечном развитии закоснелость, обскурантизм и крайнюю отчужденность церковных кругов от насущных потребностей народа“. Догадка показалась вполне правдоподобной и на протяжении 18 лет не вызвала ни одного возражения. Нет ничего удивительного, что счел возможным принять ее целиком и редактор „Полного собрания стихотворений Н. А. Некрасова“, К. И. Чуковский. На то в высшей степени важное обстоятельство, что в распоряжении их в данном случае находился отнюдь не автограф, а только „листок, писанный рукою все того же близкого Некрасову лица“ (т. е. сестры его—А. А. Буткевич. *Е. Б.*), с набросанными на нем „черновиками стихотворений „Песня“ („Всюду с музой проникающей“), „Великое чувство! У каждых дверей“, „Отец твой, поп бездельник“, „Приметы“, „Так запой, о поэт!“ [1] — ни упомянутый исследователь, ни тем более редактор не обратили должного с их стороны внимания. Случайная, отчасти даже оскорбительная, как убедимся сейчас, для памяти поэта ошибка сестры проникла в печать и, поддержанная авторитетом двух виднейших его знатоков и почитателей, распространилась в широких читательских массах.

В действительности указанное нами стихотворение не только не принадлежит Некрасову и не имеет в виду кого-либо из представителей высшей духовной иерархии, но и является, правда, косвеным и неумышленным, но все же бесспорным оскорблением памяти того лица, чье имя поэт чтил всю жизнь свою, как святыню. И не только на опубликование его, но и на простую апелляцию к нему в самом интимном литературном кругу Некрасов не решился даже и в одну из тягчайших минут своей жизни, даже и в отпор исключительно яростным выпадам беспощадного своего врага, которого мог бы тем самым если и не обезвредить совсем, то заклеймить сторицею.

Все это выясняется для нас непосредственно из письма самого Некрасова. Последнее было уже опубликовано в 1879 г. в биографии его, написанной А. М. Скабичевским, но, появившись столь рано, еще при жизни упоминаемых в нем Некрасовым лиц, естественно, было напечатано тогда биографом в значительно урезанном виде, с опущением всех наиболее характерных и наиболее важных для нас в данном случае

[1] „Заветы“, № 6, 1913 г., стр. 36; ср. книгу „Николай Алексеевич Некрасов“, стр. 247 и 210–211.

подробностей. [1] Благодаря любезности покойного А. Ф. Кони, познакомившего нас в свое время с его оригиналом, мы имеем теперь возможность воспроизвести его полностью. Оно не окончено и не содержит в себе ни даты, ни имени адресата, но написано, несомненно, в Париже в конце апреля или в самом начале мая 1869 г. и, как свидетельствует о том недавняя статья В. Е. Евгеньева-Максимова, [2] представляет собою один из четырех дошедших до нас черновых вариантов письма к М. Е. Салтыкову. [3] Содержание его буквально следующее:

„Мне попался здесь 4 № В[естника] Е[вропы] и я прочел намеки Тургенева и выдержки из писем Б. Прямо беру эти выдержки на себя, ибо они для меня не новость, — все это даже в более прямом и резком виде слышал я от самого Белинского; он был не такой человек, чтоб молчать. Подувшись на меня несколько дней, он сам высказал мне свои неудовольствия и свое сожаление о последовавшем в нем внутреннем разрыве со мною. Последовали объяснения не со мною одним, но и с Панаевым. Ненадо думать, чтоб я имел тогда то влияние на Панаева, какое приобрел в последствии. Он был десятью годами старше меня ⟨он был известный литератор⟩

---

[1] „Николай Алексеевич Некрасов. Биографические сведения". —„Стихотворения Н. А. Некрасова". Посмертное издание, Спб., 1879, т. I, стр. LV — LVI (перепеч. во II томе „Сочинений А. Скабичевского", Спб., 1890, стр. 335); в первоначальную редакцию биографии, помещенную впервые на страницах „Отеч. записок" 1878 г. (кн. 5 и 6), в интересующем нас варианте, вопреки ошибочному указанию на то В. Е. Евгеньева-Максимова („Красная новь", 1928, № 1, стр. 174, и „Н. А. Некрасов и его современники. Очерки", изд. „Федерация", Москва, 1930, стр. 77), оно не вошло.

[2] „Н. А. Некрасов и его современники. (К 50-летию со дня смерти Н. А. Некрасова)". „Красная новь", 1928, № 1, — гл. „Некрасов и Белинский" (стр. 168—182); в несколько переработанном и дополненном виде перепечатана в упомянутых нами выше „Очерках" его (стр. 44—98).

[3] Два наиболее поздние из них, т. е. „Отрывок 1-й" и „Отрывок 2-й" статьи, датированы В. Е. Евгеньевым-Максимовым еще апрелем или, точнее, 20-ми его числами, но из непосредственного сопоставления того и другого вариантов с письмами Некрасова к А. М. Жемчужникову от „4 Мая" и от „14 Мая 1869" („Русская мысль", 1913, кн. 2, стр. 98 и 100—101) легко убедиться, что „Отрывок 2-й" мог быть написан Некрасовым только уже после 4 мая, а „Отрывок 1-й" — ни в коем случае не ранее середины того же месяца (судя по второму письму к Жемчужникову, Некрасов должен был выехать из Парижа, в котором в тот момент находился, в ближайший после 14 мая понедельник, т. е. 19-го). В V томе „Собрания сочинений Некрасова", в „Письмах", где сближение это оказалось хронологически неизбежным, необходимость исправления предложенной им датировки признал безмолвно и сам В. Е. Евгеньев-Максимов.

и находился в эту эпоху на верху своей известности, я его, как и он меня, тогда знал мало; он был для меня авторитет; притом деньги на журнал были его; * даже контракт с Плетневым был заключен на имя одного Панаева, ⟨я же не имел с ним никаких условий⟩. Значит в сущности он один был ⟨нас⟩ хозяином дела, только в последствии спустя несколько лет, при перемене контракта с Плетневым ⟨встав⟩ прибавлено было в контракте мое имя, чем права (неразб.) мои уравнивались с правами Панаева. Нехочу этим сказать, что Панаев помешал мне сделать желаемое Белинским, но я не мог бы этого сделать помимо его. И мнение ⟨его⟩ Панаева было то же, что и мое, именно, что предоставление ⟨ему⟩ Белинскому доли, ⟨в виду⟩ было бы бесплодно для него и ⟨непр⟩ опасно для дела, в виду неминуемой близкой смерти Белинского, которая была решена врачами, что̀ не было тайной ни для кого из друзей его; пришлось бы связать себя в будущем, — име⟨й⟩я дело не с ним, а с его наследниками, именно с его женой, которую все мы не любили, неисключая и Тургенева, который между прочим сочинил на нее злые стихи. ** И вот с ней-то нам пришлось бы иметь дело, это особеннно пугало Панаева.—"

* моих было только 5/т. ас. которые не задолго до того дала мне взаймы на неопределенный срок Наталья Александровна Герц[ен].

** По манере Тургенева со мною я должен был бы напечатать эти стихи и отпереться было бы ему трудно ибо их слишком многие знают, привожу — конечно не для печати и даже не для распространения под рукою,—собств. для вас три куплета.

Отец твой поп-бездельник,
Облопавшись кутьи,
Зачал тебя в сочельник
От гнусной попадьи.

Хоть и рожден болваном,
Пошел однако в прок
На масле конопляном
Взлелеянный цветок
. . . . . .
И что жь? теперь наш пастырь,
Наш гений, наш пророк
Кладет на брюхо пластырь,
И греет ей пупок!

Едва приписав настоящее примечание с эпиграммой Тургенева, Некрасов, как видно, тотчас же в этом раскаялся и тут же отбросил письмо, не прибавив к нему ни строчки. Отброшенный черновик не был подвергнут им даже каким бы то ни было непосредственным исправлениям, и в новой его редакции письмо явилось уже в совершенно переработанном виде, сохранив от прежнего одно только начало. Правда, в последующих двух набросках его Некрасов опять возвратился было

к первоначальной мотивировке отказа своего Белинскому принять его в долю — к боязни своей и Панаева связать себя в будущем и притом без всякой пользы для самого Белинского, в виду его скорой и неизбежной кончины,—но в этих последних редакциях имя жены Белинского уже не фигурировало. С вопросом о тургеневских стихах Некрасовым во всяком случае сразу же было покончено. Когда, несколько лет спустя, очевидно, в августе-сентябре 1873 г., этот позабытый и ненужный уже черновик вновь попался Некрасову на глаза, последний не обратил на него, повидимому, никакого внимания и тут же использовал для каких-то своих подсчетов. Снова позабытый и затерянный среди прочих бумаг поэта, листок после смерти его перешел к А. А. Буткевич и вскоре был передан ею А. М. Скабичевскому. Каким образом столь внимательная к каждой строчке покойного брата А. А. Буткевич сама упустила его из вида—загадка, в настоящее время едва ли уже поддающаяся разрешению.

Не менее трудно разрешимой загадкой представляется в данный момент и самый факт почти буквального совпадения текста эпиграммы по списку Буткевич с текстом ее у Некрасова. В письме Некрасова указанное стихотворение Тургенева было воспроизведено, как мы видели, мало того, что по памяти (память у поэта, как известно, была удивительная), но и в значительном сокращении; всякая иная запись, буде таковая действительно существовала, должна была бы, казалось бы, заключать в себе еще и иные куплеты.

Как бы то ни было, факт принадлежности данного стихотворения именно Тургеневу, а не Некрасову, не подлежит сомнению. Свидетельство самого Некрасова вполне подтверждается в настоящем случае и записью в „Дневнике“ совершенно уже беспристрастного в этом деле В. П. Гаевского. Бывший приятель Тургенева, а по смерти его член комиссии по организации его похорон и редактор предпринятого немедленно Литературным фондом издания его писем, В. П. Гаевский в „Дневнике“ своем, под „25 сент.“ 1883 г., поместил, между прочим, такого рода запись:

„Получил письмо от Белинской, которая заявляет о своем непременном желании, чтоб прах ее мужа оставался там, где лежит 35 лет. [1] Писем Тургенева к Белинскому было, по

[1] За несколько дней перед тем, сообразно с желанием Тургенева быть похороненным возле Белинского, состоялось постановление упомянутой нами выше комиссии по организации тургеневских похорон о перенесении праха Белинского на новое место, рядом с могилой Тургенева. В связи с проте-

ее словам, очень немного, потому что все время знакомства они жили в одном месте и видались ежедневно, с 1843 по 1847 г. в Петербурге, а весной и летом 1847 г. за границей. Все письма к Белинскому и его бумаги она, во время издания его сочинений, передала Николаю Христофоровичу Кетчеру, который до сих пор не возвратил их, несмотря на многократные напоминания. Белинской я никогда не видал, но, по отзывам знавших ее, она препротивная и отравила последние годы жизни мужа. По словам М. А. Языкова, он много терпел от нее, но никому этого не показывал. Языков сообщил мне следующие стихи, сочиненные на нее Тургеневым:

„Какой-то поп бездельник,
Наевшийся кутьи,
Зачал ее в сочельник
От гнусной попадьи". — —

Белинская действительно дочь попа (Орлова)"...

II

Не вполне доброжелательное отношение Тургенева к М. В. Белинской (Орловой) сказалось отчасти уже в самых печатных его „Воспоминаниях о Белинском", появившихся в упомянутом выше Некрасовым № 4 „Вестника Европы" за 1869 год. Тургенев открыто заявил в них, что „имеет причину предполагать, что Белинский, с своим горячим и впечатлительным сердцем, своею привязчивостью и страстностью, Белинский, все-таки один из первых людей своего времени, не был никогда любимым женщиной", что „сердце его безмолвно и тихо истлело", что „ему не вынулся хороший нумер", и даже больше того, что в семейной его жизни никто из друзей его „не видел ничего особенно привлекательного". [1]

Явно брошенных в этих словах намеков, чтоб не сказать — обвинений, не могли, понятно, ни покрыть, ни искупить те немногие теплые строки о М. В. Белинской, которые были

стом вдовы Белинского оно, конечно, приведено в исполнение не было. По свидетельству сестры ее, А. В. Орловой (см. „Из воспоминаний о семейной жизни Белинского". — „В пользу голодающих". „Лепта Белинского", М., 1892, стр. 27—28), Мария Васильевна Белинская воспротивилась и написала Гаевскому: „Для вас это увлечение минуты, а для меня его могила — с в я т ы н я. Он всю жизнь был неудачником, зачем же теперь тревожить прах его?"

[1] Позднее (в 1880 г.) это последнее указание Тургеневым было опущено.

процитированы им под конец из письма „одной близкой Белинскому дамы“ [1] в заключение приведенного им из него рассказа ее о последних минутах покойного. Самой цитатой, в данной ее части, Тургенев воспользовался, повидимому, в первую очередь как удачной художественной концовкой, превосходно завершавшей воспоминания, создававшей известное настроение, прекрасно гармонировавшей с целым. Но видимая дань уважения и даже известного преклонения перед подвигом ее долгого и самоотверженного ухода за умирающим мужем была все же отдана им здесь Марии Васильевне до конца. Все „Воспоминания“ в целом были выдержаны Тургеневым в тоне глубокого и подчеркнутого пиэтета к Белинскому. Появление на фоне этой концовки и этих „Воспоминаний“ вышеприведенной его эпиграммы должно было бы произвести, разумеется, впечатление невероятнейшего скандала. По счастью для Тургенева, Некрасову этот скандал был ненужен, представлялся не только нежелательным, но и недопустимым.

Эпиграмма на Марию Васильевну Белинскую была сочинена Тургеневым, несомненно, еще в 40-х годах, при жизни самого Белинского и, надо полагать, под непосредственным впечатлением сильной на нее досады. Как и все почти его эпиграммы, она не замедлила распространиться в ближайшем к нему литературном кругу, но с течением времени стала, естественно, забываться, и в тот момент, когда писались его „Воспоминания о Белинском“, возможно и сам Тургенев о ней уже не помнил. Явившись в свое время непосредственной данью его чувству досады и вместе с тем его всем известному эпиграмматическому задору, эпиграмма эта, понятно, никогда не имела в его глазах сколько-нибудь серьезного значения, а позднее, по смерти Белинского, Тургенев даже в значительной степени искупил ее своими заботами о семействе покойного, выплачивая Марии Васильевне и ее дочери, — покамест они не были обеспечены более солидною пенсиею из Литературного фонда, — ежемесячное небольшое пособие. Вызвать ее из забвения и противопоставить „Воспоминаниям“ в условиях момента значило придать ей совершенно несоответствующее действительному значение и совершить почти такую же передержку, какая была допущена в его „Воспоминаниях“, при использовании в них писем к нему Белинского, самим Тургеневым. Подвигнуть на это могло только чувство страст-

[1] Александры Петровны Тютчевой.

ной, ослепляющей ненависти. Последнее, поскольку мы знаем, Некрасову было чуждо.

Тургеневские „Воспоминания о Белинском" ранили поэта в самое сердце. Но последнее исходило кровью и остро болело в тиши и безмолвии. Единственный сорвавшийся было вопль протеста и боли — отмеченное нами выше и, насколько до сих пор известно, так и не отправленное письмо его к М. Е. Салтыкову — был заглушен и замер на полпути. Адресованная было к нему непосредственно, посреди объяснений, просьба: „а вы напишите, что Вы об этом думаете" — так и осталась не выговоренной. — „Спасибо Вам за доброе слово о стихах. Теперь меня так травят, что доброе слово особенно дорого" — вот и все, что довелось услыхать от него в эту тяжкую пору, да и то одному лишь проживавшему за границей Алексею Михайловичу Жемчужникову. [1] Перед лицом русской литературы и журналистики, перед лицом широкой русской общественности уста поэта оставались неизменно сомкнутыми.

Они не раскрылись и после того, как, согласно ожиданиям Некрасова, [2] „тонкие намеки г. Тургенева", „хитро скрепленные авторитетом Белинского", были подхвачены и раздуты издававшимся при ближайшем участии Антоновича и Жуковского „Космосом", [3] и вокруг „Воспоминаний" закипела полемика. Помимо „Космоса", в нее оказались вовлеченными и „Голос" Краевского, и „С. Петербургские ведомости" В. Ф. Корша, и „Заря" Кашпирева. [4] Досталось, разумеется, не одному Некрасову. Все задетые так или иначе реагировали или собирались реагировать; [5] поэт безмолствовал. Даже на

[1] См. упомянутое уже нами выше письмо к нему Некрасова от 4 мая.

[2] См. два позднейших отрывка все того же письма его к Салтыкову.

[3] См. Приложение № 1. СПБ. 1869 г. — „Новые материалы для биографии и характеристики Белинского. Воспоминания о Белинском Тургенева". („Вестник Европы", 1869, кн. 4) — без подписи, по всем данным — статья Антоновича. Ср. также „Космос", 1869, второе полугодие, № 1. — „По поводу письма Белинского, напечатанного в С.-Петербургских Ведомостях", — тоже без подписи, статья Антоновича.

[4] См. „Голос", 1869, № 100 (10 апр.); „Космос", Прилож. № 1 (д. ц. р.: 13 мая); „СПБ. вед.", № 177 и 178 (10 и 11 июля); „Космос", 1869, втор. полугод., № 1 (д. ц. р.: 14 июля); „СПБ. вед." № 211 (3 авг.) и № 214 (6 авг.); „Заря", 1869, № 9 (дата выхода: 8 окт.); № 98 „СПБ вед." (9 апр. 1869 г.), ранее всех прочих откликнувшийся на „Воспоминания" фельетоном В. П. Буренина (подп. Z), остался еще совершенно вне круга позднейшей полемики и не только не подал никакого к ней повода, но и не представил даже и малейшего намека на самую возможность чего-либо подобного.

[5] Имеем в виду посвященный самооправданиям Краевского фельетон в его „Голосе", а также предполагавшийся ответ на него Тургенева — его

открытый вызов на оправдание, обращенный к нему Незнакомцем со страниц „С. Петербургских ведомостей", не последовало никакого ответа. Трудная роль как бы пассивного зрителя собственной своей травли была выдержана им до конца.

Впрочем, новые выпады его недругов могли уже только слегка бередить его рану; ни углубить, ни расширить ее они не были в состоянии. Удар был рассчитан Тургеневым мастерски и поразил сразу же и с предельною силою. Кроме того, в дальнейшем положение Некрасова было облегчено в значительной степени опубликованным неожиданно Скандовским на страницах „С. Петербургских ведомостей" письмом самого Белинского к В. П. Боткину и его московским друзьям. Последнее должно было влить в измученную душу поэта подлинную каплю целительного бальзама, и едва ли успел Антонович отравить ее в полной мере ядом тургеневских „Воспоминаний". Письмо Белинского к Боткину, безусловно, очень заметно ослабило впечатление от беспощадных обвинений Тургенева и сделало торжество его далеко не полным и не окончательным.

Поражая Некрасова, Тургенев сводил с ним не только свои личные, но и чисто литературные счеты. Личный элемент вошел в его „Воспоминания", конечно, в весьма достаточной дозе, но главная целевая установка их была сделана, несомненно, на непосредственное укрепление Тургеневым своей общественно-литературной позиции и на сведение ее к „лучшим" традициям 40-х годов, в противовес литературным и общественным тенденциям радикального лагеря. Память Белинского была употреблена „собственно как светлый фон для контраста", „как полемическое орудие" для уязвления противников. При расчете с ними не могло не достаться, понятно, и стоявшему во главе „Современника" и „Отечественных записок" Некрасову. Заушение Некрасова, — если не принимать в расчет опубликования упомянутого выше письма Белинского к В. П. Боткину, — прошло для Тургенева, можно сказать, безнаказанно, но и общая установка статьи и прочие его резкие выпады вызвали сразу же энергичный отпор и подняли во-

---

отправленное уже к Анненкову и лишь по совету последнего не напечатанное „Письмо в редакцию „С. Петербургских ведомостей", датированное: „Баден-Баден. (2) 14-го мая 1869." (См. „Письма к П. В. Анненкову И. С. Тургенева (1869 год). С примечаниями Л. Майкова". — „Русское обозрение", 1894, март, стр. 24 – 27 и 29 – 31, пп. №№ LXII – XLV, XLVIII и XLIX; самое письмо в редакцию „СПБ. вед." см. также в „Русских пропилеях", т. III, Москва, 1916, стр. 186 – 187.

круг „Воспоминаний“ настоящую бурю. В результате последней, при благосклонном содействии тому ярого антагониста его, Антоновича, „Воспоминания“ обошлись Тургеневу едва ли не дороже даже, чем самому Некрасову. Начиная с 27 апреля и вплоть до конца 1869 года все письма Тургенева к П. В. Анненкову наполнены неизменно упоминаниями о „брани“, о брошенных по его адресу „обвинениях“, о наделанном статьей о Белинском „гвалте“ и даже о том, что „давать ему en passant плюхи, повидимому, est très bien porté в нынешней литературе, в роде тирольских шляп: последняя мода!“ Иные из этих „плюх“, несомненно, стоили вполне собственных его „плюх“ Некрасову. Если бы Некрасов действительно жаждал отмщения, он мог бы чувствовать себя в достаточной мере удовлетворенным.

Тургенев никогда не узнал о том, что весьма счастливо избежал тогда наижесточайшей из „плюх“ и что эту „плюху“ мог и не счел возможным нанести ему именно Некрасов.

Первая революционная брошюра русской эмиграции

„Катехизис русского народа" И. Г. Головина, 1849 года

Вступительная заметка *Г. Бакалова*

Летом 1849 года в Париже была напечатана первая заграничная русская брошюра, проповедывавшая насильственное низвержение царской власти. Этот небывалый факт всполошил царского посла графа Киселева, сделавшего ряд запросов французской полиции с целью узнать, кто автор брошюры, и захватить еще не распространенные экземпляры. Парижская префектура в лице своего шефа, известного Карлье, пошла царскому послу навстречу. И в этом деле, как и во всех своих отношениях с посольством, префект Второй республики действовал как чиновник царского правительства. Он немедленно поручил своим агентам не только во Франции, но и в Бельгии собрать все интересовавшие русского посла сведения.

Брошюра эта называлась „Катехизис русского народа". Для прикрытия ее происхождения на обложке местом печатания указан С.-Петербург. Автор не назван.

Французские законы обязывали, однако, типографии ставить на издании свою фирму и адрес. В соответствии с этим в конце последней страницы брошюры мелким шрифтом напечатано: „Imprimerie Dondey Dupré, rue Saint-Louis 46 au Marais". Хотя и тут город не указан, но для каждого француза было ясно, что это—Париж. А в одном из донесений французской полиции, которые мы приводим дальше целиком, сказано, что брошюра эта была зарегистрирована в Париже в министерстве внутренних дел 10 июля 1849 г.

Брошюра, в обычной в то время форме катехизиса, в форме вопросов и ответов занимается рассмотрением образа правления в России. Разделена она на четыре главы: о царе, о дворянстве, о солдатах и о правительстве. Направлена она против царской власти и проповедует республику.

Написанная до прихода революционеров из разночинной среды, брошюра не относится отрицательно к дворянству, указывая на Декабрьское восстание как на попытку дворян свергнуть царскую власть в пользу „черного сословия". Освобождение крестьян („вольная работа") автор брошюры считает выгодным самим дворянам, оттого и не зовет крестьян к восстанию.

Автора брошюры занимает главным образом политическая свобода, которую он мыслит себе в виде республики. Он только что видел провозглашение республики во Франции.

Инициаторами движения, по мнению автора, должны выступить те „умные и благородные люди", которые понимают, что „первый враг России—ее царь". „Один замышляет, двое действуют, и народ смотрит и мало-по-малу при-

стает к зачинщикам, а русский солдат неохотно стреляет в своих". Офицеры „за двести рублей жалования не возьмут срама на свою душу", тем более, что „не царь им платит, а народ".

Автор пропагандирует баррикадную борьбу, которую он недавно видел в Париже. Он описывает, как делать „завалы". Это — первая в русской литературе рекомендация баррикадной борьбы.

Найти оружие для этой борьбы автору кажется не трудным: „у самих солдат, в арсеналах, в лавках, у частных лиц". Привлечение деревни тоже не является трудным: „когда сладим с городами, деревни будут наши сами собой".

Распространена ли была брошюра среди русской, немногочисленной в то время эмиграции и проникла ли она в пределы империи — об этом нет никаких сведений Брошюра была издана в пятистах или тысяче экземпляров.

Кто является автором этой брошюры?

Агенты Карлье узнали, что заказ типография получила от польского эмигранта Христиана Островского и ему же вручила отпечатанные экземпляры. Из этого парижская полиция, а за ней и Киселев сделали вывод, что Островский и является автором брошюры, а русский эмигрант Иван Головин — ее переводчиком на русский язык. В действительности же Иван Гаврилович Головин был не переводчиком, а автором „Катехизиса русского народа". Этого царскому посольству не удалось узнать. Свое авторство раскрыл сам Головин во второй половине 50-х годов.

Печатаемые ниже документы, как и экземпляр самого „Катехизиса", найдены нами в архивах русского посольства в Париже. Документы печатаются в переводе с французского.

Помимо печатаемых ниже документов, в архивах посольства имеются еще два документа, которые приводим тут же.

В дипломатическую канцелярию (*Chancellerie diplomatique*) Варшавы поступила просьба Станислава Островского о помиловании. Канцелярия вспомнила, что имя Островского связано с „мятежной брошюрой" „Катехизис русского народа", и отношением от 6/18 февраля 1851 г. за № 195 запросило парижское посольство о том, не есть ли этот Станислав Островский автор „Катехизиса".

Посольство отношением от 15/27 февраля 1851 г. ответило в Варшаву, что Станислав — только младший брат того Христиана Островского, на которого указывали, однако без доказательств этого, как на автора „Катехизиса". „Оба они — дети графа Островского, бывшего председателя сената, который во время восстания 1831 года командовал национальной гвардией в Варшаве и который, после того как образовал здесь партию золотой середины между двумя главными партиями в эмиграции, известными под именем аристократической и демократической, умер несколько лет тому назад в Версале. Братья существенно не сходятся в своих убеждениях и в своем поведении и не встречаются друг с другом; в то время как старший, постоянно занятый политическими планами, является одним из самых деятельных членов эмиграции, младший, получивший хорошее воспитание, всегда держался в стороне от интриг политических партий и сумел заслужить в качестве гражданского инженера похвалу министра общественных дел Франции".

Через три года после напечатания „Катехизиса" Сенявин из Петербурга посылает парижскому послу графу Киселеву депешу от 12/24 июля 1852 г., гласящую:

„По позднейшим признаниям Островского перед своими соотечественниками действительным переводчиком „Катехизиса" являлся известный эмигрант Иван Головин".

В действительности, как мы уже знаем, Головин был его автором.

I

Документы [1]

1

Копия письма парижского посла графа Киселева канцлеру графу Нессельроде от 15/27 декабря 1850 г., № 144

Господин канцлер.

Извещенный о напечатании в Париже произведения на русском языке „Катехизиса русского народа", я постарался сначала установить самый факт, а потом узнать источник, дух и цель этой публикации. В скором времени я узнал, что в самом деле небольшая русская брошюра под вышеприведенным заглавием вышла из печати в типографии Дондэй-Дюпре, улица Сен Жак 46, в Марэ.[2] Эта брошюра в 34 страницы была отпечатана в трех тысячах экземплярах, переданных непосредственно польскому эмигранту Христиану Островскому, живущему на Бульваре капуцинов № 25. Получив эти первые данные и успев достать экземпляр, я просил префекта полиции Карлье пойти мне навстречу, чтобы пополнить мои сведения и, если это еще возможно будет, помешать владельцу этого разрушительного издания провезти его в Россию.

Как всегда, я встретил большое желание со стороны г. Карлье исполнить мою просьбу. Он тут же приказал осведомить его обо всем, что известно о брошюре, которую я оставил в его руках, и тотчас же после этого сообщил мне рапорт агента, на которого он возложил это обследование. Долгом считаю препроводить вашему сиятельству приложенную здесь копию этого рапорта. Так как там сказано, что если остались еще экземпляры „Катехизиса русского народа", то они находятся, вероятно, у Христиана Островского, я просил префекта произвести домашний обыск у этого выходца, чтобы их захватить. Не зная точного содержания брошюры, г. Карлье обязал меня сделать для него ее перевод на французский язык, чтобы он мог судить, содержатся ли в ней разрушительные принципы, дающие ему право распорядиться о конфискации.

[1] Многие из этих документов написаны на французском языке. К сожалению, мы не имели возможности сверить их перевод с подлинниками, почему точность перевода оставляем на ответственности Г. Бакалова *Прим. ред.*

[2] Название одного из кварталов Парижа. *Прим. Г. Бакалова.*

Я только что передал ему перевод, и он мне обещал, как только ознакомится с ним, сделать все от него зависящее в духе моей просьбы. Я буду следить за тем, чтобы он не потерял из виду этого дела, и не упущу уведомить императорское правительство о результатах.

Что касается г. Демидова, рапорт которого, направленный префекту полиции, называет переводчика на русский язык Катехизиса, написанного Христианом-Иосифом Островским, то лицо с этим именем действительно существует. Согласно моим сведениям это действительный статский советник Николай Михайлович Демидов, бывший офицер артиллерии, раненный и плененный в битве под Аустерлицем. Это человек эксцентричный и почти сумасшедший. Он обнародовал на французском языке несколько очень посредственных писаний по политической экономии, финансам и метафизике. Он уже давно болен телом и духом, что делает его крайним мизантропом, и я узнал, что состояние его здоровья настолько ухудшилось, что врачи ожидают его смерти. Он бывал в Париже много раз и в последний раз приезжал приблизительно на шесть недель после лечения на водах в Германии, где он искал облегчения от своих страданий, происходящих главным образом от желчных камней в печени. Живет он на улице Прованс № 22 и уже с трудом может подниматься со своего шез-лонга.

Честь имею приложить к сему пять экземпляров „Катехизиса русского народа", которые мне удалось достать из разных мест, несмотря на то, что типографщик действительно обязался Островскому не отпускать в чужие руки ни одного экземпляра, вышедшего с его станка.

2

Копия полицейского рапорта, упоминаемого в первом документе

Брошюра озаглавленная „Катехизис русского народа" содержит в очень сжатом резюме самые разрушительные идеи.

Она распадается на четыре главы: первая глава занимается императором и представляет его в самых гнусных красках. Вторая глава посвящена дворянству и проповедует равенство. Третья глава предназначена солдату: непослушание, недисциплинированность и все, что может отвратить его от обязательств, которым его обучают. Между прочим там сказано (стр. 21): „Когда-то будем мы народные, а не царские? Коли славно мы деремся за его величество, каково пойдем за Русь право-

славную?" Четвертая глава посвящена правительству. Там рассматривается, какое правительство надо ввести в Россию, и приходят к заключению, что это—республика. Там указаны средства, к которым надо прибегнуть, чтобы низвергнуть настоящее правительство; восстание представляется как единственное средство, способное привести к этому результату. На стр. 31 проповедуется отказ от платежа податей, а на стр. 33—искусство построения баррикад, их защиты и стрельба против войска.

Переводчиком этого памфлета, говорят, является какой-то г. Демидов, действительный статский советник, бывший офицер артиллерии, плененный под Аустерлицем. С тех пор он обнародовал несколько брошюр на французском языке по политической экономии и финансам, очень посредственных. В России его считают очень эксцентричным и почти сумасшедшим человеком.

3

Копия рапорта коммунальной полиции г. Парижа от 18 декабря 1850 г., упоминаемого в первом документе

РАПОРТ

Приложенная здесь брошюра на русском языке озаглавлена—„Катехизис русского народа"; в эпиграфе сказано: „*Во имя бога и русского народа*".

Ее автором является Христиан-Иосиф Островский, а переводчиком на русский повидимому г. — (написано „граф", но зачеркнуто. *Г. Б.*)—Демидов.

Сам Островский сдал эту рукопись в типографию Дондэй-Дюпре, улица Сен-Луи № 46, в Маре. По словам г. Мориса, представителя г-жи вдовы Дюпре, было отпечатано всего 500 экземпляров, стоимость которых еще не уплачена г. Островским; по признанию последнего, сделанному перед одним из его соотечественников, тираж достигал 3000 экземпляров, и автор потребовал у типографа росписку в том, что он не предоставит в чужие руки ни одного экземпляра под каким бы то ни было предлогом.

„Катехизис русского народа", как говорят, написан в очень красном духе, и в нем высказаны самые передовые демократические принципы.

Хотя на нем значится 1849 год, вероятно, он опубликован только очень недавно, и только два-три дня тому назад Христиан Островский отправил много экземпляров польским эми-

грантам. Впрочем, кажется, он уже ранее послал их в Россию, в Германию и в Лейпциг. Посылка в Лейпциг была отправлена через г. Легра, книгопродавца на Бульваре капуцинов № 25. В министерство внутренних дел брошюра эта была представлена 10 июля 1849 г. за № 5416.

Является мало вероятным, чтобы на г. Эвстахия Янушкевича, о котором говорится в сообщении русского консульства, была возложена рассылка этой брошюры. С тех пор, как он вступил в русскую партию и сделался секретарем князя Витгенштейна, соотечественники оттолкнули его и, при том, его взгляды далеки от взглядов Христиана Островского.

Последний принадлежит к одной из выдающихся семей, он сын графа Палатэн, умершего в 1845 году в своем замке де-Мадэрэс подле Тура. Поэт с некоторым талантом, он писал стихи, а также и трагедии, представляемые на наших сценах; но он сумасбродная голова, горячий патриот или, по крайней мере, кажется таковым, и занимается активной пропагандой против России. По русски не знает, и он сам уверял, что г.— (зачеркнуто „граф". *Г. Б.*)—Демидов является переводчиком брошюры. В 1846 году и после этого, по случаю годовщины польской революции, он выступал по французски очень горячо, клеймя имератора Николая тираном, палачем и кровопийцем. Он живет на Бульваре капуцинов № 25 в меблированной квартире. Можно думать, что если остались еще экземпляры брошюры, то они находятся у него.

Христиан Островский признавался своим друзьям, что это он—автор „Русского Катехизиса" и что именно он им его посылал. Все это было сделано в величайшей тайне.

Евстахий Янушкевич переменил имя с тех пор, как вошел в русскую партию, и называется Любичем, под каким именем он проживает на своей квартире на улице Соссей № 3.

Чиновник полиции *Шиллер* (Officier de paix Chillerts).

4

Копия письма парижского посла графа Киселева канцлеру графу Нессельроде от 9/21 марта 1851 г., № 24

Чтобы пополнить сведения, содержащиеся в моем рапорте от 15/27 декабря пр. г. за № 144 по поводу опубликованного на русском языке в Париже памфлета под названием „Катехизис русского народа", честь имею препроводить приложенную здесь новую справку, направленную г. префекту полиции,

которую последний был столь любезен сообщить мне, предупредив меня, что он затребовал новые сведения из Брюсселя.

Ваше сиятельство заметит в этой справке, что катехизиса, вместо 3000 экземпляров, как это было сказано в рапорте de l'officier de paix (чиновника полиции) господину Карлье, приложенному к моей вышеупомянутой депеше за № 144, было напечатано всего лишь 1000 экземпляров, что до сих пор расходы по печатанию еще не уплочены Христианом Островским, за счет которого напечатана брошюра, что вероятно они никогда не будут уплочены; что эту брошюру не видели ни в одном парижском книжном магазине, следовательно, надо полагать, что отпечатанные экземпляры были отосланы за пределы Франции, вероятно в Бельгию, чтобы оттуда провезти их в Польшу и в Россию, и что приблизительно три месяца тому назад тот же Островский просил типографию Дондэй-Дюпре о новом напечатании 2—3 тысяч экземпляров, в чем ему отказано.

Сообщая мне приложенную здесь справку, г. Карлье сказал мне, что Островский вероятно попробует сделать в Брюсселе перепечатку, в которой ему отказано здесь, и обещал мне написать туда, чтобы получить сведения по этому поводу. С тех пор он меня известил, что Островский из-за отсутствия средств пробовал, как кажется, перепечатывать брошюру в Брюсселе.

Обо всем, что я узнаю по этому вопросу впоследствии и что мне покажется достойным внимания императорского правительства, я поспешу уведомить ваше сиятельство.

Считаю своим долгом исправить один пункт вышеприведенного рапорта муниципальной полиции господину Карлье, приложенного к моей депеше от 15/27 декабря пр. г. Рапорт говорил, что перевод Катехизиса на русский язык был сделан г. Демидовым. Это предположение кажется не имеет никаких оснований. Г-н Демидов только что умер в Париже. Просмотр его бумаг, сделанный нашим генеральным консулом, не обнаружил никаких следов перевода, о котором идет речь, и даже не дает повод для подозрений в том, будто усопший знал что бы то ни было о книжке, опубликованной Островским. В префектуре полиции думают, что имя г. Демидова было нарочито указано Островским, чтобы скрыть настоящего переводчика, которым, по позднейшим признаниям того же Островского, является никто иной, как Головин.

Не хочу кончить без того, чтобы не уведомить вас, ваше сиятельство, что мои представления полиции о производстве домашнего обыска у Островского, чтобы захватить те экзем-

пляры „Катехизиса", которые он может иметь у себя, не могли увенчаться удовлетворительным результатом. Г-н Карлье сказал мне, что он прочитал сам и предложил представителям юстиции исследовать данный ему мною французский перевод „Катехизиса русского народа"; что насколько бы ни были разрушительны те принципы, которые содержатся в этом издании, он не считает себя в праве распорядиться об аресте, потому что каждый день здесь встречаются издания такого же рода против правительства Франции, и что они принуждены терпеть их, без ареста и преследований, и что власть не может сделать для иностранного правительства больше, чем для правительства собственной страны.

Сколь ни досаден был этот ответ, он мне показался, к сожалению, слишком решительным, чтобы продолжать настаивать перед префектом полиции, добрую волю которого я не имел оснований заподозревать. Я, однако, не скрыл от него, насколько я сожалею о его бессилии перед деяниями столь разрушительными для всякого порядка и всякой власти в общественном и политическом мире.

5

Письмо префекта полиции Карлье от 11 февраля 1851 г.

Господин министр.

Честь имею послать Вам здесь приложенную справку о русском Катехизисе, напечатанном в Париже. Я запросил сведения из Брюсселя. Примите и пр.

Префект полиции *Карлье*.

6

Копия упомянутой в документе пятом справки от 10 января 1851 г.

Пополняю сведения, данные мною о брошюре „Русский Катехизис".

Это сочинение, в один лист, было напечатано у вдовы г-жи Дондэй-Дюпре 12 июля 1849 г. Напечатано было 1000 экземпляров за счет г. Х. Островского, Бульвар капуцинов № 15. Расходы еще не уплочены, как это видно из приложенной здесь фактуры, и, вероятно, никогда не будут уплочены.

Брошюра была представлена, согласно закона, в министерство внутренних дел и зарегистрирована в реестре книжных магазинов 21 июля 1850 г. за № 4123.

В парижских книжных магазинах брошюра эта не была выставлена, и все заставляет думать, что отпечатанные экземпляры были отправлены за пределы Франции, вероятно, в Бельгию, чтобы оттуда переправить их в Польшу и Россию.

Приблизительно три месяца тому назад г. Х. Островский заказывал в типографии Дондэй-Дюпре новый тираж в 2—3 тысячи экземпляров, в чем ему отказано.

Кроме вышеприведенных документов в архиве парижского посольства находится еще один документ, касающийся „Катехизиса" и исходящий, повидимому, из министерства иностранных дел в Петербурге. Он не датирован.

„Сообщаю вам, как информацию, которой вы можете воспользоваться, что произведение на русском языке, озаглавленное „Катехизис русского народа", о которой говорится в вашей депеше 1850 г. № 144, было послано через польскую эмиграцию в Константинополь с вероятной целью ввести его в Россию. Тайные отношения, которые вы поддерживаете с целью наблюдения за польской эмиграцией, поставят вас может быть в состояние достать нам сведения об имени того лица, которому послана была эта брошюра в Константинополь и каким путем собираются ввозить ее к нам. Все сведения, даже неполные, какие вам удастся собрать по этому поводу, благоволите сообщить одновременно императорскому правительству, как и нашему уполномоченному министру в Константинополе".

II

„Катехизис русского народа" И. Г. Головина

Брошюра Головина является величайшей редкостью.

В 1903 г. заграничный журнал „Былое" (№ 3, февраль) напомнил о ее существовании. В царской России она, конечно, не могла быть переиздана, и только в 1907 г. отрывки из нее были напечатаны М. К. Лемке в „Былом" (кн. V и VI). Мы перепечатываем ее теперь целиком.

На обложке напечатано заглавие: „Катихизис русского народа". Под ним поставлен большой крест, а под крестом: „С. Петербург. У Павловича. 1849".

На титуле (стр. 3) напечатано: „Катихизис русского народа". Потом эпиграф: „Во имя Бога и русского народа". Внизу: „С. Петербург. 1849".

Стр. 5 и 6 заняты следующим предисловием:

К НАШИМ

Мы отрезанный авангард вашего просвещения. Нас выслали за Границу, а когда мы возвратились к вам с запасом учености, ваши управители открыли по нам огонь преследования. Немцы

по знанию, мы остались русские по сердцу; потому то ваши властелины, вместо снисхождения, показали нам неистовую вражду. Не нашедши помощи в вас и будучи не в силах сносить зрелище народного унижения, мы унесли наши ропоты в те земли, из которых узнали мы меру ваших страданий и нашли средство им помочь. Без злобы, но не без негодования, изложили мы ваши мучения перед судом просвещенной Европы. Бодро сносили мы ненависти, клеветы и крамолы, которые мы возбуждали, ибо мы знали, что правда встречает неистовых врагов в тех, которые живут неправдой, удерживая других в невежестве.

Ныне во первых предстоим мы перед вами, говоря вам на языке отечественном. На нас смотрят как на умерших для России: внемлите же нам, ибо умирающие гласят правду.

Берлин, 14 апреля 1849 года.

Затем на стр. 7—34 следует текст брошюры

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О царе

Убежденный. — Сколько в России царей?

Просвещающийся. — Один, как одно солнце, как один бог на небеси.

У. Солнцев много, а если бог один, то он премудр; а наш царь есть-ли премудр?

П. Нет, ибо он человек.

У. Но он самодержавен. Всемогущество принадлежит одному богу, потому что он не может творить зла. Неограниченная же власть человека от природы слабого вредит только его уму. Как зовут нашего царя?

П. Николай Павлович Романов.

У. Чей он сын?

П. Павла.

У. А Павел?

П Петра.

У. Которого?

П. Третьего.

У. Романова?

П. Нет, Гольштейна.

У. Зачем же Николай зовется Романовым?

П. Такова его воля.

У. Следовательно он самозванец?

КАТИХИЗИСЪ

РУССКАГО НАРОДА.



С. ПЕТЕРБУРГЪ

У ПАВЛОВИЧА

1849

ФАКСИМИЛЕ ОБЛОЖКИ БРОШЮРЫ И. Г. ГОЛОВИНА

П. Самозванец.

У. Русский ли он?

П. Нет, немец. В нем нет ни капли русской крови, но он немец крещенный.

У. Верует ли он в бога?

П. Он ходит в церковь.

У. Но губит праведных, а ворам потакает.

П. Да ему не сладить со взяточниками.

У. Петр же сладил с ворами.

П. Да его бы сломили.

У. И Петра раз разбойники задержали, но он не страшился с ними в бои входить.

П. Петром ему не бывать.

У. Плохо; что и говорить. Что ворам потакать, что с ними делиться, есть одно и тоже.

П. Видно, что так уж свыше устроено.

У. Свыше идет дождик или снег, светит солнце, а судьба наша от людей зависит; но люди-то глупы, нас как стадо овец гонят, бьют и губят. Вечно ли будем мы овцами?

П. Человеку суждено мучиться на этом свете.

У. Да мучение-то не для всех одинаково. Один мучится, муча других; тот страдает от несварения желудка, а другой от голода.

П. За то на том свете будет наоборот.

У. Это выдумали счастливцы для простаков, попы для людей суеверных.

П. Но вера упрочивает наше спокойствие.

У. Вера слепая только сохраняет наше невежество, которое составляет счастье утеснителей и несчастье утесняемых.

П. Кажись, что представитель шестидесяти миллионов должен быть великодушен, благороден.

У. А выходит наоборот; и благо народное, и собственную славу подчиняет он своенравию.

П. Что же из этого заключить должно?

У. А то, что когда народ лучше своих правителей, то им неуцелеть. Народ русский добр от природы, а царь его жестокосерд, мстителен; народ велик, а Николай человек мелочной.

П. А все таки народ его любит.

У. Боится, а не любит. Ну спрашиваю тебя, годится ли миллионам людей бояться одного?

П. Но наследник будет лучше.

У. Авось. Авось да ничего управляют Россиею. Сильна матушка, выносит все обиды; ей все ничего, авось будет

лучше. По моему: на бога уповай, а сам не плошай. Пора приложить ум, умерить произвол судьбы и людей.

П. И так, теперешний порядок вещей не удержится?

У. Скажи лучше беспорядок, нарушение святейших законов природы. Уважается-ли у нас личность, ценится ли достоинство? Нет, у нас почитается чин и хранится рабство. Этот порядок есть обида богу. Чем человек походит на творца? Умом, а у нас право мыслить попрано, сообщать свои мнения воспрещено.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О дворянстве

Убежденный. — Что такое русский дворянин?

Просвещающийся. — Тот, кого бить нельзя.

У. А сам бить может?

П. Может.

У. Ну, а ругать можно дворян?

П. Правительство не только их ругает, но и вешает.

У. А за что?

П. За 14-е число; хотели умерить царскую власть в пользу ли черного сословия или дворянства, не знаю.

У. Должно быть, черного сословия, коли дворянство за них не заступилось.

П. Да и заступилось бы, так проку не было бы.

У. Отчего так?

П. Сила свыше давит.

У. Один на медведя ходит?

П. Да он сам, медведь, лес ломает.

У. Кто же ему дал такую богатырскую силу?

П. Родился царем.

У. Молод был, так слабее другого был, но силу его составляет трусость дворянская, да невежество мужицкое.

П. Дворянам-то жить не дурно.

У. Что бить их нельзя, не велика радость. В чужих краях никого не бьют. Там все дворяне.

П. Да не одно это; простой солдатом служит, а дворянин офицером.

У. Что-то не охотно служат?

П. Служба тяжела.

У. От прихотей царских.

П. Дворянин имением владеет.

У. Т. е. разоряет себя и мужиков, гоняет зайцев, плотит в опекунский совет. Ну если бы никто не владел мужиками, хуже ли было бы от этого?

П. Мужикам то лучше.

У. А дворянам?

П. Дворянам кажись хуже.

У. Разве работа вольная хуже крепостной?

П. Нет, но дороже.

У. Худое всегда дорого, а хорошее дешево. Притом если бы работа вздорожала, то и доходы бы увеличились. Теперь крестьянин строит бедную избушку, а стал бы строить богатую, то дворянин продал бы лесу больше. Плохо жить дворянину. Зло он делать может, а добра никакого. Пикнуть не смеет, тотчас его запрут или сошлют. Если служишь царю, его дарят, а коли задумал служить народу, его загонят.

П. Говорят, что государь хочет освободить мужиков.

У. Пустое. Если бы и хотел он, да не сумеет; но он вряд ли и хочет. Благодаря бога, есть у нас дворяне честные, отпускают мужиков на волю с землею. Но вольных хлебопашцев ныне блаженно царствующий уничтожил и забирает к себе. Славная воля!

П. Да, они становятся государственными, но это ведь не удельные.

У. Экономические, что ли? Грабеж—самая лучшая экономия; так например отрезают у них землю и берут в казну.

П. После этого дворяне не будут отпускать на волю.

У. На то учредили обязанных мужиков... на бумаге; ибо со времени появления указа, едва ли кто умный воспользовался этим правом.

П. А по старому дела что ли итти не могут?

У. В старину крепостного состояния не было. Сначала были все равны, но сильные и хитрые поработили глупых. У наших праотцов, славян, один не мог быть рабом другого. Рабами были военопленные, от них пошли холопы. Нахлынули татары, и из добрых христиан сделали крестьян. Годунов отнял у мужиков право переходить из земли в другую, а Петр I закрепил их за господами, и пошли писать, т. е. шкуру драть с бедных мужиков.

Теперь нужен ли барину столяр, маляр, берет из мужиков. Хорош или дурен будет, об этом бог весть. Все делается у нас по неволе, а по неволе ничего не бывает путного. В Англии, в Соединенных Штатах нет черного народа; всякий одет чисто, а много ли у нас, не говорю людей просвещенных,

а людей чисто одетых? В чужих краях, всякий следует своему призванию, а у нас раб на рабе. Как тут не ныть сердцу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О солдате

Фельдфебель. — Каторга, а не жизнь служба солдатская.

Солдат. — Да, не рай, нечего сказать.

Ф. Неужто век так будет?

С. Да, пока палки не изведутся.

Ф. Кулаки-то вечно будут. Живее становится что ли от побоев?

С. Говорят, что палки огню придают.

Ф. А вино то оживляет лучше. Кормили бы нас поплотнее, так были бы мы поживее. И на что такая пропасть солдат?

С. В Париж авось пойдут?

Ф. Немцы-то теперь нас не поведут.

С. Громили Польшу, да туречину.

Ф. Кому от того стало лучше?

С. Славе нашей.

Ф. В Польше-то нас проклинают, в Турции ненавидят. И кого-же удивили? Под Шумлой стояли даром, в Варну взошли с грехом пополам. В Польше мешкали, зарыли своих несметную гибель. А на Кавказе то, шаг вперед, да два назад.

С. Да и без войны то не мало мрет.

Ф. Ровно половина наборов до полков не доходит.

С. А в полках то гибнет бездна от перетяжек да побоев, от морозов, да докторов.

Ф. Ведь не так то в чужих войсках, а дела то от того не хуже. Мало ли француз на своем веку бил армий и немецких и наших? Когда то будем мы народные, а не царские? Коли славно деремся за его величество, каково пойдем за Русь православную? Ну да когда то чай и без нас обойдутся.

С. Как так?

Ф. Ну да мы то как раки тянемся за другими. Когда у нас будет Республика, то у других чай давно введена будет. Ну, а народ на народ редко ходит. Придется половине солдат дома сидеть.

С. А дома то будет каково?

Ф. Несравненно лучше.

С. Неужто подраться не придется?

КАТИХИЗИСЪ

РУССКАГО НАРОДА

Во имя Бога и русскаго народа.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О ЦАРѢ.

Убѣжденный. — Сколько въ Россіи Царей?

Просвѣщающійся. — Одинъ, какъ одно солнце, какъ одинъ Богъ на небеси

У. Солнцевъ много, а если Богъ одинъ, то онъ премудръ, а нашъ Царь есть-ли премудръ?

П. Нѣтъ, ибо онъ человѣкъ

ФАКСИМИЛЕ СЕДЬМОЙ СТРАНИЦЫ БРОШЮРЫ И. Г. ГОЛОВИНА

Ф. Коли придется, так за дело и с проком; а то мы ходим помогать цезарям! Какое нам до того дело? Пусть сами правятся, как знают. А то эта немчура утесняет славян, а мы ходим их усиливать. Видно бог наименее тем дает ума, кому в нем наиболее нужно. Что нам сделали венгры? Не только сами не знаем быть свободными, но и другим мешаем.

Рано или поздно пойдет у нас расправа. Проклят тот из нас, кто на своих правоверных стрелять станет.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О правительстве

Просвещающийся. — Какое же будет у нас правительство, если когда нибудь бог даст нам выгнать бусурман?

Убежденный. — Народное.

П. Поясни.

У. Не будет царя, ни подцариков. Царем станет сам народ. Будет как некогда было в Новгороде, будут веча, будут думы. Не станет притеснений, все будут равны перед законом; прекратится постыдный торг в судопроизводстве. Народ будет избирать законодателей, и они будут его представители; судей больших и малых, правителей, с низкого до высокого. Все будет решаться большинством голосов, в земской думе. Мир или война, налоги и проч.

П. Но не будет ли много потери времени, то в выборах, то в совещаниях?

У. А на что тратим мы время теперь? Стыдно и сказать.

П. Но в Новегороде не было порядка.

У. Пустое. То выдумали царепоклонники. Да что такое порядок? Вытяжка? Сквозь строй? Пьяница исправник, взяточник губернатор или дуралей бутушник?

П. Говорят, что когда ввели республику за границей, то дело нейдет на лад.

У. Там совсем другое. Жить узко, земли мало, один у другого отнимает кусок хлеба. Без добродетели, без самоотвержения спасения нету. А матушка Русь растянулась на просторе, всего вдоволь, не нужно орошать хлеба кровью. Дай нам волюшку, и как яхонт заблестит Русь в венце народов. А теперь она тускнеет в невежестве, склоняет выю в рабстве. Зацветят у нас науки, художества, зажжется свеча просвещения и славою дел наших загремит мир. Теперь не то что было, не штык, а перо молодец, не поработителей славят народы, а просветителей оных. Нечего ожидать нам от госу-

дарей, пора самому народу устраивать свои дела. Богомоления не помогут; коли родится царь дурак, непросветить его. А народ будет всегда управляться наиумнейшими из среды своей. Скора воля одного, но поспешность не годится в правительстве. Один ум хорошо, а два лучше, собрания рядят ладно, ибо один член умеряет другого, один другого наставляет.

Теперь до царя далеко, а тогда будет близко; жалобы и просьбы не будут оставаться без ответа. Судей неправых, управителей нечестных будет отрешать сам народ. Теперь одни дворяне избирают исправников, председателей и т. п., а тогда будут все участвовать в выборах.

П. Ну как же все это сбудется?

У. Весьма просто. Каждые 30 или 40 тысяч жителей выберут по представителю. В данный срок они соберутся — положим в Москве; — учредят думу, правительство, напишут грамоту.

П. Да захотят-ли дворяне?

У. А дворяне разве не наши, не русские, разве они не хотят добра отечеству? Есть между ними души покупные, приказные, царские, их устранят так, как ныне устраняет правительство друзей народных, истинных любителей общего блага. Не будет кнута, не будет телесных наказаний, кому от того будет хуже. Вместо того, чтобы называться советниками надворными, статскими, будут люди правительственные называться советниками народными.

П. И ты думаешь, что от того не будет беспорядков?

У. Взгляни на хоровод, на игры народные. Они вольны, но порядочны, потому что ими управляет приличие. Мужики у нас и теперя делят ладно полосы земли, а правительство ведь не вмешивается. Чиновники только портят, ссорят, грабят, честь заменит палку, и один будет стыдиться другого. Теперь выбирают правителей по связям да по каверзам, а тогда будут выбирать по достоинству. Полицмейстер не знает часто квартального, которого назначает, как государю знать губернаторов, а народ всех знает. Вся эта немчура, мишура, трынтрава исчезнет, будет нечто народное, русское. Коли будет что худо сделано, переменим, ибо мы будем на то властны. Нынешний порядок вещей заморский, голандский; пора перестать обезьяничать и взяться за свое. Сами немцы изменили свое правление. Исправим бывшее, приложим ум к настоящим отношениям, и с божьей помощью, все пойдет на лад. Довольно здравого рассудка да честного намерения, чтобы самим нам управляться; наш народ не глуп, слава вышнему, и себе

вреда не захочет. Довольно одного поколения, чтобы просветиться.

П. Да лучше ли будет от того?

У. Это все равно, если бы ты спросил, лучше ли быть впотьмах или на божием свету.

П. Но мы еще незрелы.

У. Полно не гнилы ли мы?

Да и как же нам созреть под палкой и в невежестве, в котором удерживает нас правительство? Добро делать никогда не рано. Цари хуже бессовестных опекунов, для них нет совершенолетия народов.

П. Станет вольность, боюсь не управиться.

У. Затяни поводья у доброй лошади, скинет; а дай волю пойдет. Зачем теперь царь удерживает народ в невежестве? Затем, чтобы было легче править, чтобы не замечали всех его грехов. А народу стыдиться самого себя не для чего.

П. Кто же будет на месте царя?

У. Да хоть посадник.

П. В чем разница?

У. В том, что власть его не наследственна, а избирательна. Следовательно, олух или злодей не заместит своего умного отца. Она же будет продолжаться только три или четыре года.

П. Да у нас половина народа не знает писать.

У. Мужики же выбирают сотских и старост.

П. И ты не боишься распрей, беспокойств при избрании, вмешательства чужих народов?

У. Целый народ не подкупишь и не обманешь. Власть же посадника будет так мала, что чужим народам и вмешиваться не придется.

П. Если власть будет мала, то не будет в ней силы.

У. Был бы ум, и излишество власти в одних только руках производит злоупотребления.

П. Каким же образом избавимся мы от теперешнего правительства сильного ябедою, штыками, деньгами?

У. Ябеда его обессиливает, ибо вызывает ненависть и презрение, против которых никакое правительство устоять не может. Штык оправдает свое название молодца, солдат вспомнит свое происхождение, и грянет с богом за народ на утеснителей оного. Правительство берет деньги с нас, но оно так мотает, что скоро их не достанет, мы же вольны ему отказать.

П. Но кто покусится на восстание?

У. Кто любит отчизну больше самого себя.

П. А если не удастся?

У. Велика слава мучеников свободы.

П. Но велико и мучение.

У. Семи смертей не бывать, одной не миновать. Приятно умереть за отчизну. Мрут же наши воины за потеху царей в войнах иноземных. Станем твердо, станем крепко, хоть раз за себя!

П. Но народ еще пресмыкается в любви к царям.

У. Довольно на Руси людей умных и благородных, понимающих, что первый враг России ее царь. Революции не так трудны, как ты полагаешь. Один замышляет, двое действуют, и народ смотрит и мало по малу пристает к зачинщикам, а русский солдат неохотно стреляет на своих.

П. А офицеры?

У. За двести рублей жалованья не возьмут они страма на свою душу. Не царь им платит, а народ. Не царские они псари, а русские офицеры.

П. Но без борьбы не обойдется.

У. Примем борьбу, наделаем завалов, изловим царя.

П. Подведут пушки.

У. Пойдем на пушки.

П. Возьмут завалы.

У. Возьмем дворец.

Разобьют раз, другой мы восторжествуем. Наши разве хуже французов или немцев?

П. Куда же денем царскую фамилию?

У. Распределим по достоинству, кого в фельдфебели, кого в сержанты.

П. А новое правительство введете с согласием народным?

У. Народ примет с благодарностью, когда поймет все свои выгоды.

П. Неужели все это совершится?

У. Непременно. Питай к тому теплую веру, и все сбудется.

П. Как же делают завалы?

У. Разбирают мостовую, накладывают камни грудою, загораживают в том же месте улицу телегами, каретами, мешками с песком; одним словом всем, что в ту пору находят, усыпывают улицы разбитыми бутылками, чтобы кавалерия не могла двигаться, засаживаются за окнами, на чердаках, в погребах, и когда неприятели останавливаются перед завалом, стреляют в них, как в кур, чтобы отучить от охоты сражаться против своих.

П. Но где же взять оружие?

У. У самих солдат, в арсеналах, в лавках, у частных лиц.

П. Ну хорошо в городах, а в деревнях? Там то наших больше.

У. Когда сладим с городами, деревни будут наши сами собой.

П. Но нет ли другого средства, нельзя ли помириться с царем?

У. Он неисправим, запятнан кровью жертв, дурной же мир хуже доброй войны.



Н. Г. Чернышевский

Борьба пап с императорами

С вводной заметкой *Н. Чернышевской-Быстровой*

Статья Н. Г. Чернышевского „Борьба пап с императорами" печатается с подлинника, хранящегося в Доме-музее его имени. Эта статья вместе с целым рядом других его рукописей астраханского периода была приобретена сыном писателя М. Н. Чернышевским, как видно из документов его личного архива, при следующих обстоятельствах.

В апреле 1905 г. М. Н. Чернышевским было получено от неизвестного корреспондента письмо такого содержания:

„Петербург, 21 апреля 1905.

Милостивый Государь
Михаил Николаевич!

Мои знакомые, бывшие в хороших отношениях с покойным Николаем Григорьевичем (?), сохранили кое-какие его произведения, перешедшие к ним от секретаря Николая Григорьевича (?).

Эти знакомые обеднели и согласны за небольшое вознаграждение возвратить Вам все ими сохраненное.

Произведения сейчас переданы мне для приведения в порядок и уведомления Вас.

К сожалению, не могу перечислить, что именно есть, потому что, получивши только вчера, не успел еще просмотреть.

Помимо произведений, есть вещи: стакан, перо, чернильница, лично подаренные Николаем Григорьевичем (?) перед смертью.

Видеть произведения Вы можете у меня в квартире: Фонтанка, 53, кв. 1, от $5^1/_2$—$6^1/_2$ ч. в простые дни и от 11—12 час. в праздники.

С почтением имею честь быть
Фед. Павлов".

М. Н. Чернышевский сейчас же отправился на розыски указываемых ему рукописей и вещей Чернышевского. Ф. К. Павлов дал ему свою визитную карточку, указав на ней адрес Елизаветы Григорьевны Зеленской. 5-го мая Михаил Николаевич побывал у Зеленской, которая оказалась бывшей квартирной хозяйкой К. М. Федорова, служившего, как известно, переписчиком у Н. Г. Чернышевского в Астрахани и Саратове с 1886 г. по 1889 г. Съезжая с квартиры, — рассказывала Зеленская,—К. М. Федоров

оставил в ее распоряжение свой чемодан с бумагами, разобрав которые, она увидела, что это—произведения Н. Г. Чернышевского, очевидно, перешедшие к К. М. после смерти писателя в 1889 г. Разумеется, М. Н. Чернышевский сейчас же купил их, и они вместе с другими рукописями и печатными материалами составили фонд музея, основанного им в доме Чернышевского в 1920 г.

Автору этих строк пришлось ознакомиться с этим собранием рукописей и привести его в порядок в 1925—1926 гг. Оказалось, что оно заключает в себе статьи и главным образом отрывки статей историко-философского и естественно-исторического содержания, написанные Н. Г. Чернышевским после ссылки. Большая часть рукописей писана рукою К. М. Федорова под диктовку Н. Г. Чернышевского, но с поправками Николая Гавриловича на полях и в тексте. Другая, незначительная часть представляет автограф писателя. Статьи написаны на писчих листах среднего формата и объединены обложкою из газетной бумаги („Саратовский листок" от 26 января 1888 г.), охваченной белым листком в $^1/_4$ л., с карандашной пометкой Н. Г. Чернышевского: „Мои начатые и брошенные статьи". В середину вложен, как бы случайно, еще листок с такой же пометкой: „Брошенные статьи (мои)". Объем всего этого собрания простирается до 10 печатных листов. По приведении его в порядок нами было составлено предисловие к этой части литературного наследия Николая Гавриловича: в предисловии давались сведения о происхождении статей, излагались соображения о датировке их, сообщалось подробное архивное описание их и библиографические справки.

Публикуемая статья о папах является извлечением из этого собрания. Она написана на 50 листах писчей бумаги среднего формата рукою секретаря Н. Г. Чернышевского, К. М. Федорова, за исключением первой страницы 21-го листа, которая целиком писана рукою Н. Г. Чернышевского. Им же сделаны вставки на полях 1-го листа и на обороте 29-го (муз. инв. № 1068). К рукописи приложен вариант начала статьи на 4 листах того же формата, представляющий собою автограф. (Муз. инв. № 1027).

Время написания статьи определяется совершенно точно перепиской Н. Г. Чернышевского астраханского периода: в письме к А. Н. Пыпину от 29 августа 1887 г. [1] он сообщает о том, что начал писать „очерк так называемой борьбы пап с императорами". Однако останавливаться на этом хронологическом пороге не следует, так как, если мы, отступив на 11 лет назад, заглянем в сборник сибирских писем Чернышевского к родным, то найдем в письме к сыну Михаилу от 19 октября 1876 года [2] как бы проспект этой же статьи, определенно намечающий развитие темы вокруг тех же 2-х фигур — пап Григория VII и Иннокентия III, в плане тех же теоретических установок и в тоне той же непримиримой борьбы против общепринятой, т. е. реакционно-идеалистической точки зрения,—одним словом, все элементы астраханской статьи. [3]

---

[1] Н. Г. Чернышевский, „Литературное наследие", т. III, М., 1930, Стр. 223.

[2] „Чернышевский в Сибири". Переписка с родными. Вып. II, СПБ, 1913, стр. 77—79.

[3] Очерк „Борьба пап с императорами" посвящен выяснению степени политического могущества папы Григория VII. Статья об Иннокентии III не была написана или не дошла до нас. Но о том, что и она входила в план астраханской работы, говорит переписка Н. Г. Чернышевского с А. Н. Пыпиным и В. А. Гольцевым 1887 г. (см. „Литературное наследие", т. III, стр. 223—231).

Можно думать, что статья эта была задумана и выношена и уже написана, но уничтожена автором в долгие годы его пребывания в Вилюйском остроге, а в Астрахани она была лишь вызвана из памяти и вновь нанесена на бумагу, подобно целому ряду других произведений писателя.

„Цель очерка,—пишет Н. Г. Чернышевский А. Н. Пыпину в 1887 г. [1]—разъяснить, каков был действительный размер политической силы пап в ту эпоху, когда, по общепринятому мнению, они имели громадную политическую силу... Я нахожу, что этот размер был очень мал".—„Господствующие между историками взгляды,—поучает он своего сына в 1876 г., [2]—слишком преувеличивают важность папской власти в средние века..."—„Я опровергаю ошибочные взгляды,—добавляет Н. Г. Чернышевский в том же письме,—господствующие почти во всех исторических книгах... Поэтому я выражаюсь очень решительно: иначе не годилось бы вести спор, когда споришь почти один против всех историков..."

Отсюда понятно отношение к статье „Борьба пап с императорами" такого органа, как „Вестник Европы". Он возглавлялся М. М. Стасюлевичем, которого Чернышевский несомненно имел в виду, говоря об историках, придерживающихся „общепринятого мнения". В письме от 4 сентября 1887 г. [3] А. Н. Пыпин дает понять Н. Г. Чернышевскому, что журнал вряд ли примет его очерк, и предлагает свое содействие к помещению его в других изданиях („Русская мысль", „Северный вестник"). Он вступает в переговоры с редакцией „Русской мысли" в лице В. М. Лаврова, и последний выражает согласие принять статью.

Получив извещение об этом от Пыпина, Н. Г. Чернышевский сообщает В. А. Гольцеву о скорой присылке ему очерка, но считает необходимым сразу же поставить его в известность относительно своего расхождения в трактовке предмета с общепринятыми мнениями. Потому он прямо ставит вопрос: „Удобны ли для журнала статьи в таком роде?" [4]

Ответ редакции „Русской мысли" нам известен:—„На этих днях,—извещает Чернышевского Пыпин,—был здесь редактор „Русской мысли", давно мне приятельски знакомый (речь идет о В. М. Лаврове. *Н. Ч.-Б.*); он говорил мне, что ожидает статей о Григории VII и Иннокентии III и очень рад будет поместить их и дальнейшие, какие могут быть." [5]

Однако, несмотря на столь благоприятный прием со стороны В. М. Лаврова, статья 18 лет пролежала под спудом в годы изгнания имени Чернышевского из русской легальной печати и 23 года после разрешения опубликования его сочинений. Совершенно очевидно, что и здесь Чернышевскому было суждено пережить тот гнет реакции 80-х годов, который пытался задушить последние побеги его оригинальной мысли, не сдавшей своих революционных позиций за годы ссылки. Статья о папах—лишь одно из звеньев глубоко драматического периода литературной деятельности писателя. [6] Извлечением этой статьи из забвения мы покрываем хотя бы до некоторой степени наш далеко еще не погашенный долг перед его памятью

---

[1] „Литературное наследие", т. III, стр. 231 (письмо от 19 ноября 1887 г.)

[2] „Чернышевский в Сибири", вып. II, стр. 83 (письмо к О. С. Чернышевской от 30 октября 1876 г.)

[3] „Литературное наследие", т. III, стр. 562—563.

[4] Письмо от 27 сентября 1887 г., там же, стр. 227.

[5] Письмо от 1 декабря 1887 г., там же, стр. 563.

[6] Возникает вопрос: почему статья, найденная в 1905 г., не вошла в полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского 1906 г.? На это мы ответим в другом месте, когда коснемся истории этого издания вообще.

(О ч е р к)

С львами нередко случаются беды: в боях между собою они наносят один другому тяжелые, иногда смертельные удары. Вероятно случается также, что слон убивает льва; быть может, убивает его иногда и буйвол. Все это неудивительно. Но случилось однажды попасть льву в беду небывалую, он имел дерзость отважиться на бой с кошкой. Вы помните, чем должно было кончиться дело по предсказанию крысы: кошка должна была растерзать льва, потому что нет на свете зверя сильнее кошки. В числе других легкомысленных людей, вероятно, и вы смеялись над мнением крысы. Напрасно. То же самое приключение повторялось что-то очень много раз, и всегда развязка была та самая, которую предвидела крыса; лев погибал, растерзанный кошкой, и победительница, взобравшись на его труп, задрав хвост, возвещала вселенной свою победу громогласным мяуканием. По крайней мере, летописи XII и XIII столетий свидетельствуют об этом. Сохранились и груды актов торжествующего кошачьего мяуканья. Очень многие историки считают себя обязанными верить (им) и пересказывают все, как было: около двухсот лет один лев за другим был терзаем кошкой.

Впрочем, упрекая вас за легкомыслие, я сам сделал большую ошибку по чрезмерной доверчивости: басня напрасно говорит о кошке; дело происходило между львом и зайцем. Исправив свою ошибку, возвращаюсь к исправлению ваших. Вы предполагаете, что заяц трус. Он бывает трусом далеко не всегда, вы упускаете это из виду. Когда ему угрожает опасность, он действительно не выказывает геройства. Но когда ни малейшей опасности нет, он бывает очень храбр. В записках Паска вы можете прочесть, что прирученные им зайцы ходили на охоту за волками и кабанами. Правда, они знали, что стая собак, приученных стоять за них горой, не даст [их] никому в обиду, что, кроме того, они находятся под охраной рогатин и ружей Паска и его псарей, которые не подпустят волка и взглянуть на храбрых зайцев.

Основательно ли или неосновательно судила крыса об исходе борьбы льва с кошкой, если рассматривать дело не с крысьей точки зрения, но с своей, крысьей, она рассуждала очень правильно. Впрочем, я согласен, что мы не обязаны руководиться ее суждениями. [1]

[1] Поставленное в прямые скобки зачеркнуто в подлиннике. *Прим. Н. Ч.-Б.*

Мы читаем, что во второй половине XI века началась ужасная борьба между немецкими королями, получавшими обыкновенно сан римских императоров, и папами. Она длилась почти два столетия; вообще побеждал папа, но римский император, если не был растерзан победоносным зайцем, собирал новое войско и возобновлял борьбу. А если и был растерзан, борьба все-таки не прекращалась. Немецкие князья выбирали нового короля, и он шел мстить победоносному зайцу за своего погибшего предместника и обыкновенно родственника. Очень упрямы были львы. Но в конце концов никакое упрямство не превозможет силы: зайцы были сильнее львов, и последние Гоэнштауфены были последними жертвами страшных когтей зайцев. Наученные их примером, следующие немецкие короли уже не возобновляли борьбы с всепобеждающим могуществом владыки всего западного христианского мира. Впрочем, едва прекратились походы немецких Гоэнштауфенов на Рим, как всемогущий владыка западного христианства оказался играющим очень жалкую роль послушного лакея в свите того или другого из римских вельмож или итальянских государей, а потом поступил в постоянное лакейство к королю французскому. Превращение несколько неожиданное: но каких чудес не бывает на свете.

Кем писаны те источники, по которым пересказывается история борьбы пап с немецкими королями? Эти летописи, биографии, панегирики и пасквили все писаны монахами. Нечего спрашивать о том, кто были люди, писавшие оффициальные акты римской курии. Но и все официальные акты немецких королей, все их письма, предназначенные для отправления какому-нибудь государю или сановнику, писаны тоже монахами. Монах на службе у короля, конечно, писал в защиту его от притязаний папы; но [не] оставался ли он человеком, в голове у которого засели сословные отношения низшего чина католической иерархии к высшему? Если он был только капеллан короля, он мечтал о епископской кафедре; каждый епископ был для него то, что теперь офицер для унтер-офицера, который может занимать в канцелярии главнокомандующего довольно влиятельную должность, (но) при всякой встрече с офицером обязан протягивать руки по швам. Хочешь получить офицерский чин! Важные люди подпоручики! И унтер-офицер не может заглушить в душе благоговение к ним, даже когда пишет по приказанию своего начальника решения сажать их под арест. Впрочем, он может и ругать их самыми грубыми словами, если велел начальник. Старшие канцелярские чинов-

ники королей были уже не капелланы, а епископы. Над епископом было в то время довольно близкое и довольно сильное начальство: власть архиепископа над епископами его митрополии еще оставалась довольно велика. Но если правителем канцелярии немецкого короля был и архиепископ, все-таки он имел над собой церковного начальника — папу. Правда, архиепископы, в случаях личной ссоры, не слишком церемонились тогда с папами. Но самое чувство высокого личного положения поддерживало в них приобретенную ими в низших чинах привычку говорить о папе тоном благоговения, пока нет надобности ругать папу. Привычка — великое дело; в пасквилях, писанных против пап лицами духовного сословия, главное основание порицаний то, что нынешний папа, по своему характеру и образу жизни, не достоин своего высокого сана; и, для эффекта, высокость папского сана превозносится до небес: контраст с личной низостью папы выходит от этого резче. Сословный иерархический тон владычествует в летописях и актах, писанных монахами, служившими немецкому королю; они очень основательно находили, что, пользуясь милостями короля, все-таки не следует ссориться с тем сословием, к которому они принадлежат; милость короля переменчива, да и кто поручится, что он завтра не упадет с лошади на охоте и не разобьется до смерти? А сословие вечно и оно сильно.

Духовенство действительно было в средневековой западной Европе сословием очень сильным. Но, рассуждая о силе духовенства в те времена, следует помнить, что такое было тогда духовное сословие. Преподаватели были монахи. То, что называется теперь чиновниками, это были тогда монахи; младшие сыновья вельмож и государей были отдаваемы в духовное сословие, если отцы были люди расчетливые, не желавшие ослаблять свою династию выдачей уделов младшим братьям будущего рода. Таким образом, духовное сословие было тогда вовсе не то, чем осталось оно в католических странах теперь. Под названием „средневековое духовенство“ должно понимать класс, которому принадлежали все сановники гражданского управления и в котором находилось столько сыновей и братьев графов, маркграфов, герцогов, королей, что не было ни одной династии, ни одной знатной фамилии, которая не была бы соединена с этим сословием близкими родственными связями. Потому-то оно и пользовалось очень сильным влиянием на государственные дела, имело в своем владении огромные поместья, целые области.

Итак, мы не должны забывать, что под названием „духовенство“ в средневековых летописях, других книгах и в официальных актах, словом, во всех письменных памятниках средних веков, должно понимать сословие, важнейшую часть (которого) составляли дяди и младшие братья государей и главных лиц аристократических семейств и высшие гражданские сановники. Чтобы правильно понимать этот термин средневекового языка, должно подставлять под него в наших мыслях понятие „младшие родственники государей и вельмож, не получившие уделов и не нашедшие себе выгодных невест, потому оставшиеся холостяками, и сановники гражданского управления“.

Лишь в немногих случаях, когда речь идет о делах нимало не интересных для высшего сословия, — о догматических спорах, об отправлении богослужебных обязанностей,—надобно дополнять это понятие прибавкой: „и находившиеся под начальством этих лиц профессоры, священники, простые монахи“. Во всех других случаях, эта масса, составлявшая так называемое низшее духовенство, была только исполнительницей приказаний своих начальников, принадлежавших к духовному сословию лишь по названию, да и в этих делах, вообще не интересных высшему сословию, профессоры, проповедники и другие даровитые люди низшего духовенства имели некоторую самостоятельность лишь настолько, насколько для людей, не интересующихся религией, были безразличны их рассуждения в том или другом смысле. Как только спор о догматах, обрядах или нравственных обязанностях, облекавшийся тогда в религиозную форму, получал хотя маленькое политическое значение, вельможи, родственники государей и административные сановники, составлявшие высшее духовенство, брали ведение дела в свои руки, и низшее духовенство рассуждало по их инструкциям.

При обыкновенных семейных отношениях дело невозможное, чтобы глава богатого семейства не заботился доставить своим младшим родственникам такой образ жизни, какой приличен родственникам богатого человека. Если богатство главы семейства очень велико, то и его собственное родственное чувство, и общественное мнение требует, чтобы его младшие братья и младшие сыновья пользовались очень большими доходами. Областной владетель, имеющий младших сыновей или еще не пристроенных младших братьев, имел два выбора: или дать уделы или доставить им приличные доходы из других источников. Бывали случаи, что во владение ему попадали достаточно большие куски земли вдали от главных масс его вла-

дений, и он находил, что они делают ему хлопоты, не окупающиеся выгодами, какие приносят. Если он был человек расчетливый, он мог без сожаления отдавать эти куски младшим сыновьям или младшим братьям. Он не ослаблял этим себя и не делал убытка старшему сыну, своему будущему преемнику. Но, разумеется, гораздо чаще случалось, что он не имел в своем распоряжении таких кусков земли, которые были бы лишними для него и отчуждение которых из-под непосредственной власти главы династии не ослабило б ее. Ему приходилось ослабить себя и свою династию, если он решится дать уделы братьям и младшим сыновьям. Многие государи и вельможи, или по недостатку сообразительности или по слабости характера, нарушали династический и свой личный интерес, отдавая в уделы такие области, отчуждение которых ослабляло их самих и старших сыновей их. Но люди рассудительные предпочитали другое средство—дать приличные доходы младшим членам своего семейства. Главным источником таких доходов служили церковные земли. Епископская кафедра или аббатство имели поместья. Главная масса этих поместий находилась во владении епископа или аббата; довольно большие куски были назначены во владение членов епископского капитула или главных помощников аббата. Государь, непосредственными владениями которого были охвачены поместья кафедры или аббатства, назначал епископа, аббата, членов капитула, главных помощников аббата. Он давал эти должности младшим членам своего семейства; другие такие же должности заменяли жалованье его сановникам. Конечно, непосредственно распоряжался он лишь важными церковными должностями, на второстепенные он назначал людей по просьбам своих родных или вельмож или аббата.

Понятно, что интерес государя требовал расширения церковных поместий, лишь бы не в убыток ему и его династии. Правителю государства, в котором лежит множество крупных и мелких владений, не находящихся под непосредственной его властью, беспрестанно представляются случаи брать эти владения; но не все случаи увеличить свое государство благовидны; часто человек навлекает на себя порицание, если берет все, что может взять. Другое дело, когда он отдает на прекрасное употребление те куски земли, которые подвертываются под его распоряжение; отдавать земли церквам считалось заявлением благочестия. Расчетливый государь и отдавал церквам те владения, которые подвертывались под руки ему, но которые неблаговидно было бы взять в состав не-

посредственного своего имущества. Вместо порицания он заслуживал этим похвалу, а выгода ему была почти та же самая, если б он взял их себе. Он увеличивал свои средства давать как награды своим сановникам, другим людям, оказавшим ему важные услуги, и доставлять приличные доходы младшим членам своего семейства.

Не все государи и главы вельможеских родов были люди благоразумные; попадались между ними расточители, тратившие свои средства на турниры, пиры, другие прихоти; в числе прихотей у некоторых бывало желание блистать благочестием; они, делая подарки всяческим другим льстецам, делали пожертвования и для того, чтобы заслужить похвалы льстецов, владевших кафедрами или аббатствами, дарили земли церквам, доходами которых пользовались эти льстецы. Бывали между нерасчетливыми государями и вельможами люди истинно благочестивые; они делали подарки церквам по действительной набожности; впрочем, пересмотр фактов ведет, кажется, к заключению, что количество имений, данных церквам вельможами и государями под влиянием этого чувства, было гораздо менее велико, чем обыкновенно говорят; кажется, что набожность была мотивом, который произвел результаты незначительные, сравнительно с действием расчета политических выгод.

Чаще и больше, чем подарками при жизни, отдавали большие владения церквам умирающие государи, государыни и вельможи по завещаниям. Самый крупный факт этого рода— завещание Матильды, графини тосканской, отдавшей все свои аллоды (родовые владения) римскому престолу. Это завещание стало причиной споров между папами и немецкими королями, и не раз немецкие короли, отказавшись в пользу римского престола от своих притязаний на аллоды покойной графини Матильды, потом возобновляли притязания на них. Шума было очень много. Но в сущности, дело было маловажно: ни папы, ни короли немецкие никогда не могли в самом деле стать владетелями этих аллодов; они были захвачены местными государями или вельможами, лишь на словах признававшими себя за вассалов иной раз папы, иной раз короля немецкого. Это было нечто в роде спора о том, кто сюзерен короля венгерского: папа или король немецкий.

Кроме государей, вельмож, других богатых людей, делали пожертвования церквам деньгами и землями люди небогатые и вовсе бедные. Об этом шло немало шума и в те времена, а в очень многих исторических книгах нашего времени идет очень много шума: клерикалы и наивные люди благочестивого

направления толкуют восторженным языком о громадности количества этих пожертвований бедняков церквам, наивные противники клерикальной партии скорбят о громадности богатств, набранных средневековым духовенством от бедняков и людей небогатых; но, хотя количество жертвователей и жертвовательниц этого разряда было очень велико и хотя хитрецами, в пользу которых шли эти пожертвования, было употребляемо очень много хлопот на выманивание их; хотя много стариков и старух оставались без куска хлеба, отдав его церквам, — сумма всего приобретенного церквами из этого нищенского достояния, была незначительна по сравнению с тем, что получили церкви от государей вельмож. Дело походило своими результатами на то, что производится патриотическими пожертвованиями во время войн: хлопот очень много, криков об успехе еще больше, а собранная сумма образует каплю в море денег, расходуемых на войну. Да и в ней большую половину составляют немногие крупные вклады.

Родственные чувства, надобность награждать усердных слуг, давать большие доходы сановникам гражданского управления — были важнейшими из тех мотивов увеличивать церковные имения, которые можно назвать чувствами личной приязни государей. Но гораздо большие результаты производил политический расчет, не имевший никакого отношения к личной приязни или неприязни, происходивший исключительно из надобности королевской власти.

С самого начала средних веков, с самого завоевания римских областей германскими народами, проявилось у военачальников, служивших князю-завоевателю (стремление) сохранить в завоеванной стране ту независимость от него, какую имели они на родине перед нашествием на римскую область. Этот князь, сделавшийся теперь королем, назначал областных правителей, и по закону, если можно назвать законом притязание завоевателя играть роль государя в римском смысле слова, областные правители были только комиссары, которым он велел заведывать в его интересах сбором доходов, судопроизводством, полицией и военными делами в областях, куда он послал их. На деле было не то: эти люди, бывшие на родине родоначальниками или князьями своих племен, считали свои должности в завоеванной стране своей личной собственностью и хотели сделать их наследственной их власть на родине. Лучшим средством ослабить их короли находили то, чтобы выделять из-под их заведывания как можно больше земель и отдавать эти земли во владение таким людям, которые не могли иметь

наследников. Таковы были епископы и аббаты, по самому своему сану обязанные оставаться безбрачными. С самого основания германского королевства королям было уже трудно передавать по смерти областного правителя должность его кому-нибудь кроме его наследника, или если наследник был несовершеннолетний, то кому-нибудь, кроме близкого родственника, который был бы в благоустроенном государстве опекуном сироты, а в те времена насилия и беспорядка становился сам наследником прав отца сироты. По смерти епископа или аббата никто не имел законного притязания быть его преемником, и король мог назначить на его место, кого хотел. В некоторых частях завоеванной германцами Западной империи расчет королей, основанный на безбрачии духовных сановников, действовал так успешно, что во всех округах должность графа (окружного правителя) была передана епископам.

Французские и немецкие короли династии Каролингов и их преемники не могли и мечтать об этом: Франция уже разделилась на областные государства, почти совершенно независимые от короля; в Германии дело еще не дошло до этого, но герцоги немецких племен и маркграфы пограничных военных округов были так самостоятельны, что все силы короля были поглощены заботами о поддержании своей власти над этими непосредственными соперниками. Иной раз королю удавалось низложить того или другого герцога, отдать его должность своему сыну или брату, победить или запугать других герцогов, стать полновластным хозяином королевства. Но такое положение дел держалось только насилием, и как только попадал король в какое-нибудь затруднение, герцоги переставали повиноваться его приказаниям, помогали ему, только когда находили это выгодным для себя: он должен был действовать по соглашению с ними, как старший союзник их; это был обмен услуг: король удовлетворял каким-нибудь желаниям герцога,—герцог за это приводил ему свое войско для его походов на другого герцога или против иноземного государя, или для восстановления немецкой власти над Италией. Таково было положение и самых сильных из немецких королей до последней трети XI века: Оттон I и Генрих III были полновластными государями Германии лишь по несколько лет: большую часть времени своего царствования и тот и другой или проводил в усмирении герцогов, или в управлении делами по соглашению с ними. Но и во Франции королям удалось передать много больших кусков королевства в упра-

вление епископам и аббатам, а в Германии они успели дать каждому епископу довольно большую область. Ни семейные, ни нравственные мотивы не касались дела при передаче этих областей во владение епископам. Если употреблять выражения, имеющие ясное значение на языке нашего времени, мы должны говорить о переходе немецких областей во владение епископских кафедр и некоторых аббатств такими словами: Германия делилась на наследственные областные государства; эти государства назывались герцогствами и впоследствии такие же государства, хотя менее обширные и сильные, возникали, под названием маркграфств и ландграфства тюрингского, в землях вновь присоединяемых к немецкому королевству; каждое герцогство делилось на графства, владетели которых тоже были наследственной власти: королевская, герцогская и графская. На всех степенях она была наследственной только фактически, а не по формальному закону, который, напротив, утверждал, что король избирается князьями, а князья назначаются королем. На деле выбрать короля не по порядку наследства значило для выбирающих другого кандидата князей решиться на войну с прежней династией и ее сторонниками; назначить герцогом не того князя, который считал себя законным наследником покойного герцога, значило для короля решиться на войну с прежней герцогской династией, и очень часто короли терпели неудачи в таких войнах.

Кроме государств, находившихся в непосредственном владении герцогов и графов, были в Германии другие государства, над которыми король имел более серьезную власть, нежели над герцогствами и графствами, оставшимися потомственной собственностью династий; это были государства, в которые король свободно назначал государей при вакансиях; они должны были принадлежать людям, не имеющим права вступать в законный брак, потому не оставлявшим после себя наследников; государи, безбрачие которых давало королю такую большую выгоду, назывались архиепископами, аббатами. Очевидной пользой для него (было)—расширять их владения во вред наследственным областным государям. Немецкие короли так и делали при всякой возможности. Ко второй половине XI века дело это было доведено королями до такого размера, что почти всем архиепископам и многим епископам были доставлены довольно сильные государства. Однако же ни одно из них не равнялось силой ни одному из герцогств.

В оборонительных войнах пожизненные безбрачные государи имели то преимущество над большинством потомственных, что

резиденциями их служили города, по тогдашнему времени многолюдные и богатые. Жители такого города имели средства окружить его укреплениями, по тогдашнему времени очень сильными, и не жалели никаких личных трудов и денежных расходов на это дело. Будучи торговыми центрами, большие города имели изобильные запасы хлеба. Осадное искусство того времени не давало быстрых средств разрушить крепкие стены, и город мог выдержать продолжительную осаду. С наступлением осенних непогод войска расходились тогда по домам: потому осада длилась непрерывно лишь несколько месяцев. Выдержав ее эти месяцы, горожане поздней осенью и зимой имели время поправить укрепление, даже усилить их и сделать новые запасы хлеба. Таким образом, город мог держаться против самого могущественного герцога несколько лет, и если епископ или архиепископ, бывший государем его, находится в хороших отношениях с горожанами, и они хотели защищать его, он очень долго мог сопротивляться своим соседям, наследственным областным государям. Были довольно большие и богатые города и у некоторых из них, но лишь у немногих, кроме герцогов, и города эти были, сравнительно с архиепископами и многими епископами, незначительны.

Но, при всем превосходстве своих резиденций над герцогскими и графскими в оборонительной войне, ни один из пожизненных безбрачных государей Германии не мог удержаться независимым от соседнего герцога без помощи короля. Были и простые графы более сильные, чем самый сильный из безбрачных государей. По своим титулам безбрачные государи занимали высокие положения между князьями. Архиепископы воображали себя равными герцогам. Епископы мечтали о себе, что они выше графов. Нельзя и смеяться над ними за эти притязания, не соответствовавшие их силам: потомственные государи вообще расположены были оказывать им большой почет, как высоким церковным сановникам. Почему же бы не оказывать? Быть благочестивым — дело хорошее, а гнуть спину, валяться в ногах вообще не казалось в те времена делом унизительным; притом, это составляло часть церемонии. Читая рассказы тех времен, встречаешь такие забавные факты этого рода, что готов бываешь думать: становиться на колена, кланяться в землю доставляло удовольствие исполняющему эти вещи в парадной обстановке. Очень хорош, например, случай, происшедший по поводу дела об учреждении епископской кафедры в городе Бамберге. Императору Генриху II хо-

телось учредить эту кафедру. Но епископ должен же иметь епархию. Приходилось для бамбергской кафедры отрезать куски от соседних епархий. Собрались епископы, пришел император Генрих II, повалился им в ноги, умоляя, чтоб они согласились на учреждение бамбергской кафедры, упрашивая соседних епископов, чтоб они отдали куски своих епархий бамбергской кафедре, а других умоляя, чтоб они склонили своих товарищей к этому пожертвованию. Не знавши подробностей, подумаешь, что епископы, в ногах у которых валялся Генрих II, были люди самостоятельные, так что могли бы пожалуй и не исполнить просьбы Генриха. Но вы читаете (историю) его царствования и видите, что он при всем своем благочестии держал немецких архиепископов и епископов в ежовых рукавицах. Не только просить их согласия на учреждение бамбергской кафедры, но и разговаривать с ними об этом ему не было никакой надобности. Надобно было только войти, велеть принести готовый для подписи акт и сказать епископам: „подписывайте!“ Если бы кто раскрыл рот возразить, Генрих велел бы отвезти его в ближайший монастырь и держать там под стражей, объявил бы его низложенным и назначил бы на его место другого. Но человеку действительно нравилось играть комедию. Недурно характеризуются тогдашние понятия о подобных церемониях и поступками Фридриха Барбароссы в парадных случаях. Перед первой его встречей с папой ему сказали, что он должен вести за повод иноходца папы (встреча должна была происходить под открытым небом, и, поздоровавшись, Фридрих и папа должны были отправиться прямо в церковь для молебствия). Фридрих вспыхнул и сказал, что не унизит свой сан исполнением роли конюшего папы. Ему объяснили, что унижения в этом нет, и он повел за повод иноходца папы; прекрасно; тут еще можно подумать, что он действительно имел какую-нибудь надобность угодить папе: это был папа, живший в Риме за крепкими стенами большого города и владевший римскою цитаделью: замком св. Ангела, очень крепким. Подумаешь, Фридрих рассчитывал: не угодишь папе, он уйдет в Рим, и осаждай Рим, когда-то еще возьмешь город; а возьмешь, то найдешь, что папа ушел в замок св. Ангела, и веди новую осаду. Но через несколько лет Фридрих поссорился с римским папой; стали они низлагать друг друга. Фридрих собрал епископов, которые были под его властью, и велел им выбрать другого папу. Этот папа Фридриха дышал только его милостью, не смел показать носа никуда без охраны войска

Фридриха, и Фридрих, при всех парадных случаях, водил за повод иноходца, на котором восседал этот жалкий прислужник его.

Очень любили парады люди того времени, до такой степени любили, что не разбирали, какую роль приходится играть им в параде, лишь бы играть видную роль. Одной из привилегий императорского сана было право надевать в известные праздники иподиаконский стихарь и читать в парадном богослужении то, что следует читать диакону. И не то, что императоры XI или XII века, но Сигизмунд в начале XV века так восхищался своей активной ролью в парадном богослужении, что не догадывался о том, какое же место занимает он в этом параде: самое последнее, ниже всех священников.

Итак, много было почета духовным сановникам, они очень важничали. Притом, многие из них были люди очень грамотные, умели писать пышным слогом по правилам реторики; а малограмотные имели ученых секретарей и писали целые горы в прославление своей важности. Монахи, писавшие ответы им от имени королей других государей, писали такие же высокопарные фразы в превознесение благочестия своих государей, воздающих должное уважение князьям церкви. Но все это были пустые фразы; если бы придавать реальный смысл условным любезностям, то пришлось бы перевертывать вверх дном все в азиатской истории, да и в нынешнем ее быте: пока сильный азиатский государь не идет войной на ничтожного князька, он пишет ему такие комплименты, по буквальному смыслу которых выходит, что он — человек ничтожный перед этим князьком, чуть ли не раб его.

Собственной силы немецкие безбрачные государи имели не очень много. Но должность королевского канцлера занимал обыкновенно один из них. Это, по нынешней терминологии, следует выразить словами, что должность первого министра была соединена с церковным титулом. Канцлер имел большое влияние на дела. Когда немецкий король, уходя в Италию, не имел взрослого сына или очень надежного родственника, он обыкновенно назначал регентом не герцога, а когонибудь из этих безбрачных государей. Вся гражданская администрация во всех сколько-нибудь крупных областных государствах находилась в руках людей, получавших, вместо жалованья, церковные имения и потому имевших духовные титулы епископов, аббатов, капелланов и пр. Они начинали свою карьеру, быть может, действительным исполнением богослужебных обязанностей, но, сделавшись администраторами,

имели главным своим делом служебные обязанности по гражданскому управлению и совершали литургию лишь когда имели досуг, если имели охоту. Дипломатические сношения были поручаемы обыкновенно этим же дельцам. В некоторые, особенно важные, посольства король отправлял герцога или графа, но этого главного посла все-таки сопровождали дельцы, причислявшиеся по своим титулам к духовному сословию. Гражданская администрация не имела в то время такого широкого развития, как теперь, потому что военные начальники делали все, что умели, по всем частям управления. Но все-таки особые гражданские чиновники были многочисленны и важны. Дипломатические дела имели и тогда очень большую важность,—вероятно, такую же, как теперь; принято говорить, что они развились только в новые времена; но это относится разве к тому, что при подавлении областных государей короли французские стали чаще прежнего отправлять послов к другим королям, с которыми имели меньше дел, пока были заняты войнами и переговорами в самой Франции. Будучи государями, немецкие архиепископы, епископы и аббаты важнейших монастырей вели войны с соседними государями. Находясь на службе у герцогов и короля, они бывали и полководцами,—не только дипломатами и гражданскими администраторами.

Таким образом, высшее духовенство в Германии было духовенством только по названию и по праву совершать богослужение. Если мы будем помнить это, то наши мысли о громадном политическом значении его будут справедливы: после сословия, состоявшего из потомственных государей, высшее духовенство было могущественнейшим сословием в Германии. Но если мы под деятельностью духовенства будем понимать только богослужебную, проповедническую, собственно духовную, то мы должны сказать, что в те времена значение духовенства во всей Западной Европе было едва ли более важно, чем теперь, и, по всей вероятности, даже менее важно. Говорят о религиозности людей в средние века. Должно полагать, что, действительно, и тогда, как теперь, было очень много людей, которых религиозное чувство имело сильное влияние на поступки. Но, всматриваясь в тогдашние дела, мы видим, что огромное большинство сильных людей—государей, вельмож, военачальников, гражданских администраторов — поступали с церковью несравненно круче, чем теперь. Припомним, много ли в католических государствах было случаев низложения епископов за последние 50 или 60 лет, многие ли епископы были

заключаемы в темницу католическими государями. Трудно припомнить хоть один такой случай. В средние века такие факты встречаются нам на каждом шагу. Возможно ли теперь в католическом государстве, чтоб областной правитель велел бить епископа, сам бил его или даже казнил — и остался безнаказанным, даже заслужил похвалу от своего государя? В средние века такие факты были вовсе не редкостью. В Германии жители города, бывшего резиденцией епископа, били, прогоняли или убивали его и нимало не раскаивались в том. Скажут: „Это были проявления тогдашней грубости нравов". Конечно, так, но должно же помнить, что при известной степени грубости нравов общество не может иметь серьезного уважения к представителям религии. Оно уважает только военную силу.

Положение дел в Италии около половины XI века было еще менее, чем в Германии, благоприятно могуществу духовенства в нынешнем смысле слова, то есть могуществу духовных сановников, как людей, занимающихся богослужением, проповедничеством, действующих на религиозное и нравственное чувство. По свидетельству и немцев, и самих итальянцев, в Италии было меньше благочестивых людей, чем в Германии. Политическое значение духовенства было сильно в тех областях Италии, которые находились под властью государей, имевших церковные титулы. Крупных государств этого разряда было тогда в Италии только четыре: архиепископства аквилейское и равеннское, папское государство и государство аббатства монтакассинского. Архиепископы аквилейский и равеннский были государи слабые по сравнению не только с Венецией или с маркграфами северо-восточной Италии, но и с второстепенными соседними светскими государями. Аббат монтакассинский был государь ничтожный по сравнению с герцогами северной части Южной Италии. Остается определить размер политического могущества папы. Об этом и будет идти у нас речь в обзоре политической деятельности тех двух пап, которых называют наиболее могущественными.

Но какова бы ни была политическая сила папы, мы не должны забывать некоторых крупных фактов, признанных всеми историками. Сильнейшим государством Средней Италии было в XI веке маркграфство тосканское. В южной Италии продолжалась борьба между греками, сарацинами и местными государями, пока не задавили всех их норманны. К концу третьей четверти XI века владычество над южной Италией принадлежало норманнам. Между норманским герцогством,

апулийским и Тосканой не было простора для государства равного им. По всей этой промежуточной земле вплоть до ближайших окрестностей Рима повсюду владычествовали мелкие государи, не повиновавшиеся никому. Конечно, всякий желающий мог называть себя их сюзереном. Не могли бы они воспретить этого и королю шведскому, если б ему пришла охота величаться таким титулом; но немецкий король имел столько же власти над ними, сколько шведский, когда не ходил с войском по их землям. Впрочем, немецкие короли приходили туда часто. В те месяцы или годы, которые проводили они в тех местах, им действительно повиновались те мелкие среднеиталийские государи, которые не предпочитали запираться от них в своих укрепленных резиденциях. Потому притязания немецких королей на сюзеренную власть над ними бывали хоть временами не пустой фантазией. В городе Риме правил или какой-нибудь из соседних мелких государей, или граждане жили по своей воле. Когда римский народ или римский государь находились в дружбе с папой, то не мешали ему титуловать себя как ему нравится; когда сердились на него, то били его, сажали в темницу или убивали, а на его место назначали другого. Так было в первой половине XI века. В начале второй половины пришел в среднюю Италию с большим войском король немецкий Генрих III; местные государи покорились ему, немногих не покорившихся добровольно он заставил покориться, был без сопротивления впущен в Рим и с того времени стал государем этого города, и папский сан снова сделался должностью, на которую назначает римский император — немецкий король, как было при Оттоне. Это факты общеизвестные, признанные всеми историками.

Таково было состояние Италии и Германии в ту эпоху, когда, по мнению большинства историков, папа стал владыкой западного христианского мира. Против этого мнения не может быть никаких возражений, кроме одного: не то, что в других землях западной Европы, не то, что в северной половине Средней Италии и в Южной Италии не было места государственному владычеству папы, но не было никакого уголка свободного для него по соседству с Римом, ни в самом Риме. Не будь этого затруднения, где поместить папское государство, оно могло бы, конечно, простираться на всю ту землю, в которой могло бы существовать. Только в том и беда, что нигде в Средней Италии не было ни кусочка такой земли.

„Но не о том и говорят,—что папа фактически был светским государем Средней Италии или хотя бы одного города Рима; он владычествовал над королями силою своего сана папы, он был владыка католической церкви, а католическая церковь господствовала над королями". Конечно, если бы короли повиновались католической церкви, а католическая церковь повиновалась папе, то он был бы повелителем королей. Но затруднение состоит в том, чтобы найти в средних веках время, когда ж это было. После удачного для папы исхода борьбы с базельским собором сопротивление областных церковных правителей папе прекратилось. Но это было уже в конце средних веков, и притом времена эти были очень неблагоприятны владычеству папы над католической церковью и по признанию самих панегиристов папского могущества: архиепископы испанских королевств, французского королевства, Англии, Шотландии — действительно не вступали в споры с папой, но только потому, что не могли ничего говорить ни с ним, ни об нем без приказания своих королей. Управление своими национальными церквами короли взяли непосредственно в свои руки, и архиепископам их государств не было уже никакого дела до приказания папы. В XI веке так было только в Нормандии, в Англии — со времени ее завоевания Вильгельмом, в Апулии и Сицилии, завоеванных норманнами. Архиепископы других государств еще сохраняли некоторую независимость от королей, потому имели дело прямо с папой. Их отношения к нему походили на отношения немецких герцогов к своему королю: архиепископы безусловно признавали, что папа занимает в иерархии место гораздо более высокое, чем они, что он имеет право заниматься общими интересами католической церкви, потому может издавать общие постановления по вопросам церковного порядка; но каждый из них сохранял свою независимость от папы по управлению частными делами своей митрополии. Так и немецкие герцоги признавали, что король выше их по своему сану, что ему принадлежит право заведывать общими интересами немецкого государства, но ни один не допускал короля вмешиваться в его отношения к графам его герцогства. При сходстве желания охранить свою независимость была, однако же, очень большая разница в отношениях герцогов и архиепископов к сановникам, старшинство которых они признавали: у немецкого короля всегда были довольно большие силы, и часто бывали огромные силы. Герцогу было опасно ссориться с ним, и если другие герцоги не помогали ему против короля, то король обыкновенно

побеждал и низлагал его, назначал другого вельможу герцогом на его место. Папа был бессилен повредить архиепископу: он мог отлучить архиепископа от церкви, низложить его, но архиепископ отвечал на церковное проклятие со стороны папы таким же формальным проклятием самого папы и спокойно оставался на своей должности, — если был в хороших отношениях с людьми, которые действительно могли повредить ему, — с королем, сильными соседними государями и с епископами своей митрополии. Когда король был недоволен архиепископом, он был рад прогнать его, как низложенного папой, когда был доволен им, то объявлял, что он прав, и произнесенное папой низложение недействительно. Если архиепископ своей надменностью или алчностью раздражил епископов своей митрополии, они съезжались на областной собор и решали, что архиепископ заслужил быть низложенным, и просили короля содействовать отнятию должности у него; но, когда были довольны им, съезжались на собор по его приглашению и утверждали отлучение папы от церкви, произнесенное им. Точно также поступали и соседние сильные областные государи: принимали сторону папы и прогоняли архиепископа, или отправляли папе заявление, что не потерпят никакого иноземного вмешательства в дела своего королевства. Бывали случаи, что архиепископ, низложенный папой, действительно терял должность или ехал в Рим просить прощения у папы; но, разбирая эти дела, мы каждый раз находим, что важность дела была не в церковных мерах, принятых против него папой, а в приказании короля, почему-нибудь желавшего прогнать или унизить этого архиепископа, или в том, что соседние областные государи хотели отнять у архиепископа должность, отдать ее другому лицу, собрали войско и победили архиепископа. Можно ли говорить о серьезной подвластности младших сановников старшему, когда, при его ссорах с ними, дело решают по своему усмотрению другие лица? И каким образом может быть сильной власть папы над французскими или немецкими архиепископами, когда в самой Италии на севере находились два церковные сановника, провозглашавшие, что они совершенно независимы от папы, и когда один архиепископ даже не признавал старшинства папы над ним, а в Южной Италии норманские государи формально воспретили всякое вмешательство в их государства и заставили папу формально передать им всю ту церковную власть, (на) какую (он) имел прежде притязания? Вообразим себе, что государи областей, лежащих кругом Иль-де-Франса, не повинуются

французскому королю. Возможное ли дело, что он имел какую-нибудь действительную власть над областными государями южной и юго-восточной Франции?

Таковы были в половине XI века отношения архиепископов к папе. Кроме архиепископов Апулии и Сицилии, постановленных в полнейшее подчинение своим государям по делам церковного управления и не имевшим права принимать какие бы то ни было приказания от папы, и кроме архиепископов миланского и равеннского, заявлявших полную независимость от папы, все другие католические архиепископы признавали папу своим церковным начальником. Но признавали только на словах, да и то лишь пока не ссорились с ним, в случаях ссоры с ним отвечали на его проклятия им проклятиями ему.

Расскажем теперь в самых кратких словах историю пап до начала одиннадцатого века.

Пока Рим оставался под властью западного римского императора, не могло быть вопроса о том, каковы отношения папы к светской власти. Он был одним из сановников, которых император назначал, удалял от должности, наказывал по своему усмотрению; первый сановник западно-римской империи по церковному ведомству, подобно всем другим начальникам разных других ведомств, не имевший ни малейшей самостоятельной власти, обязанный исполнять и действительно исполнявший приказания императора. В последнее время западно-римской империи действительными правителями государства были главнокомандующие немецких наемников. Приказания, отдававшиеся императорами или от имени императоров, были в действительности приказаниями этих главнокомандующих, и папы повиновались этим немецким владыкам Италии. Так продолжалось при Одоакре, который, низложив последнего западного императора, стал править Италией от имени восточного императора. Италию завоевали готы, папы должны были безусловно повиноваться готским королям; имели тайные сношения с византийским императором, но измена, пока остается секретной, не избавляет от повиновения. Готы были побеждены войсками византийского императора, государем Италии стал он, папы безусловно подчинены ему. Потом Северную Италию и большую часть Средней завоевали лангобарды. Но Рим остался под властью византийского императора. Временами власть его над Римом, окруженным лангобардскими владениями, была слаба, тогда, подобно римским вельможам, мог не исполнять его приказаний и папа; временами она восстановлялась, тогда и он, как римские вельможи, повиновался

ему. Но если и случались тогда более или менее продолжительные перерывы полной подчиненности папы светскому государю, эти времена давно прошли: Среднюю Италию завоевали франки, и папа был поставлен в безусловное повиновение франкскому государю Рима. Та линия Каролингов, которой досталась Италия, ослабела (и) прекратилась; в Италии началась междоусобия; Рим переходил из рук в руки: кому доставалась власть над Римом, доставалось с тем вместе и владычество над папой. В Южной Италии шла тогда борьба греков и повиновавшихся им мелких государей с другими мелкими государями и сарацинами; потому соперничество за власть над Римом шло между государями Средней Италии, Ломбардии, бургундскими, французскими, немецкими королями; чаще других соперников случалось иметь под своей властью Рим ближайшему сильному государю - маркграфу тосканскому; а когда не мог сохранить ее он, она обыкновенно переходила к какой-нибудь из местных династий римской области. Довольно долго владычествовали в Риме женщины, бывшие одна за другой наследницами одного из соседних с Римом мелких государств и принадлежавших к владениям этого государства частей города Рима, в том числе римской цитадели, называвшейся замком св. Ангела. Папы были слугами этих государынь. Потом овладел Римом маркграф тосканский; папа повиновался ему. Когда он лишился владычества в Риме, оно стало предметом войн между соседними мелкими государями. При незначительности сил этих соперников, граждане Рима иногда отдавали победу тому, который более пользовался их расположением. Так шли дела до начала XI века, до той поры, с которой будущий папа Григорий VII мог подробно знать историю Рима и пап по рассказам дяди, других своих воспитателей и отчасти по воспоминаниям детства. Сделаем обзор его жизни до вступления на папский престол и расскажем кратко главные факты истории пап этого времени.

Имя Григория VII до вступления на папский престол было Гильдебранд. Он родился около 1020 года в Тоскане. Отец его был простолюдин. Но брат его матери был аббат одного из римских монастырей. Дядя взял к себе племянника. Гильдебранд учился, принял монашество и рано вышел в люди; когда ему было двадцать пять лет, он получил должность капеллана (придворного священника) и с тем вместе секретаря папы Григория VI. [1]

[1] Начиная с этого абзаца рукопись писана рукою Н. Г. Чернышевского. *Прим. Н.Ч.-Б.*

Этот папа приобрел свой сан способом, показывающим, какой совестливый человек был он. — С 1012 года в Риме владычествовали графы тускульские. Кому из них приходилось по семейным расчетам, тот и занимал папский престол. Вышло наконец так, что семейство посадило на папский престол мальчика, впрочем, уж не маленького. Стал мальчик папой Бенедиктом IX и продолжал расти, подрос и оказался развратником. Это еще не беда бы, но он и его приятели буянили и добуянились до того, что рассердили жителей Рима. Римляне взялись за оружие и прогнали вон буяна. Графы тускульские были не так сильны, чтобы взять Рим осадой, если римляне были единодушны. На этот раз римляне были единодушны. И, быть может, долго, а пожалуй и всю жизнь привелось бы буяну жить на хлебах у родственников, слушая их попреки, что через него лишились они господства над Римом; но на их и его счастье пошел в Италию король немецкий Конрад, уж ходивший лет за десять перед тем в Рим, коронованный тогда в сан императора прежним папой, дядей Бенедикта, и считавший графов тускульских усердными своими слугами. Бенедикт поехал к нему жаловаться на римлян. Он рассудил, что следует возвратить графам Тускульским господство над Римом, стало быть, и папскую должность их милому родственнику. Римляне не отважились ослушаться приказания Конрада, и благонравный юноша снова уселся на папский престол. Конрад, покорив мятежных вассалов в южной Италии, возвратился в Германию и скоро умер. Сын его Генрих III был несколько лет занят установлением своей власти над Германией и войнами с ее восточными соседями. Графы тускульские в эти годы забыли оставаться усердными слугами немецкого короля. А Бенедикт, на беду им и себе, продолжал буянить. И опять добуянился до того, что рассердил римлян; опять они взялись за оружие и погнали его вон из города. Он бежал; на этот раз не так далеко, как в прошлый, не в Тускул, а только на другой берег реки, в предместье, называвшееся [1] Леоновым городом. Оно было обведено стенами; он и засел там; жители предместья остались почему-то друзьями его; соседние вельможи, союзники его рода, пришли на помощь ему; он стал нападать на Рим. Но штурмы были неудачны. Эти драки, сначала на улицах Рима, потом под стенами его, происходили в январе 1044 года. Отбив нападение Бенедикта, римляне низложили

[1] После этих слов рукопись снова писана рукою К. М. Федорова. *Прим. Н.Ч.-Б.*

его и стали выбирать нового папу. Епископ сабинской епархии, соседней с римскою, Иоанн, дал подарки влиятельным людям и был выбран папой. Он принял имя Сильвестра III. Это было в феврале. Но не дальше, как в апреле, римляне помирились с Бенедиктом; он возвратился в Рим и снова сел на папский престол, а Сильвестр уехал в свою сабинскую епархию. Прожив в Риме год, Бенедикт стал говорить, что тяготится папской должностью, желает продать ее и удалиться на покой. Покупщик нашелся, имеющий хорошие деньги; это был архипресвитер римской церкви Иоанна Предтечи Иоанн Грациан. Сошлись в цене. Бенедикт продал ему папский сан и уехал из Рима. Иоанн Грациан стал папой и принял имя Григория VI. Вступать на папский престол с дракой или подкупом избирателей — это было в порядке вещей. Так бывало каждый раз, когда Рим во время замены прежнего папы новым не находился под чьим-нибудь владычеством. Но чтобы человек, желающий стать папой, прямо формально купил эту должность—такого казуса еще не случалось. Превосходно дал выгодное употребление своему капиталу Иоанн Грациан.

Впрочем, о нем говорят, что он был человек истинно благочестивый. Это очень правдоподобно, и тем лучше, разумеется.

Плохо одно: он ошибся в расчете. И неудивительно: когда истинно благочестивый человек войдет в коммерческую сделку с бессовестным, то обыкновенно будет обманут; так вышло и тут. Через несколько месяцев после того, как продал папский сан, Бенедикт снова принял его. Очевидно, он и передавал его накопившему капитал истинно-благочестивому человеку лишь для того, чтобы обобрать тщеславного дурака, воображавшего себя ловким дельцом, но умевшего только ханжить и копить деньги. Графы тускульские собрали войско, взяли с собой Бенедикта, пошли в Рим, в котором большинство граждан было тогда в дружбе с ними (потому-то Бенедикту и безопасно было продать должность и уехать из Рима). Римляне приняли своих друзей с удовольствием, графы тускульские посадили милого родственника опять на папский престол, а Григория прогнали.

Остался человек без денег и без места, но продолжал называть себя папой.

Сильвестр, живший в своей сабинской епархии, тоже называл себя папой.

Таким образом, летом 1046 года было целых три папы: один при папской должности; другой хоть не при папской, но все же хорошей; третий, бедняга, на подножном корму.

В то время Генрих III, король немецкий, добившись повиновения себе от всех немецких герцогов и удовлетворительно покончив войны с восточными соседями Германии, пошел в Италию восстановить немецкое владычество над нею, получить императорскую корону в Риме и кстати поставить там немецкий гарнизон.

Императорская корона получалась через коронование в Риме; коронование совершал папа.

Кому ж из трех пап Генрих велит совершить коронование и отдаст в ненарушимое владение папский престол под командой немецкого начальника немецкого гарнизона.

По соображению Григория, выходило, что Генрих отдаст папский престол ему за его благочестие. Он и поехал навстречу Генриху — поскорее услышать удостоверение в этом. Он встретил Генриха в Пиаченце. Генрих выслушал его доводы, почему он истинный папа, не сказал ничего как думает об этом, и пошел дальше на юг, велев Григорию оставаться при войске.

Пришедши в Сутри — это уж неподалеку от Рима — Генрих остановился, созвал находившихся при войске епископов, велел им сесть, быть собором и судить пап. Григорий был тут. Собор послал Сильвестру и Бенедикту вызов явиться к суду. Сильвестру некуда было спрятаться, он явился. Бенедикт имел надежный приют, не поехал к суду. Генрих велел собору отложить суд над ним; собор стал судить только тех двух пап, которые уже попали под железную рукавицу Генриха. Первого привели на суд Сильвестра. Собор нашел, что он виновен в симонии (приобретении церковной должности за деньги) и низложил его. Потом призвали Григория, велели ему говорить, как он думает о своем папстве. Он сказал, что купил себе папский сан, что это симония, что потому он считает себя недостойным оставаться папой. Собор нашел, что он рассуждает о себе правильно, и низложил его. Генрих велел держать его под арестом и пошел к Риму. Граждане Рима не захотели защищать Бенедикта. Он уехал в свой надежный приют — тускульский замок. Римляне отворили ворота Генриху. Вошедши в Рим, Генрих снова созвал собор и велел ему судить Бенедикта. За этим папой были грешки покрупнее симонии. Собор низложил и его. Папский престол стал вакантным. Отцы собора должны были выбрать нового папу. Кого ж велит им выбрать Генрих? Вероятно, каждому из них уже случилось слышать, кого: Адальберта, епископа Бременского.

И, вероятно, все те из них, которые не были лишены здравого смысла, понимали, почему Генрих велел им низложить прежних пап. Те трое только за то и пострадали, что были итальянцы. Если бы не этот общий их порок, любой из них годился бы остаться папой. Нечего говорить о Сильвестре и Григории, в осуждение которым собор не мог найти ничего, кроме симонии. Хорош был даже Бенедикт; так хорош, что отец Генриха возвратил ему престол, когда он в первый раз был прогнан римлянами. Генрих был дня за четыре перед его низложением готов оставить его папой. Это видно из того, что в Сутри Генрих велел собору отложить суд над ним, сохраняя за собой свободу признать его безукоризненным папой, если так понадобится.

Посадить на папский престол немца было для Генриха выгоднее, чем оставить на нем итальянца. Папа-немец не мог держаться на своей должности иначе, как под охраной воинов немецкого короля. Он по необходимости должен был служить верно королю. Относительно итальянца нельзя было иметь твердого убеждения, что он не войдет в сношения с итальянскими врагами немецкого владычества. Но у Генриха была надобность несравненно более важная, чем выгода иметь папой немца. Он помнил, что ему должно спешить возвращением в Германию. Некоторые из немецких герцогов и многие из второстепенных немецких князей были враждебны ему. Как он ушел из Альп, они начали готовиться к восстанию, склонять других князей на свою сторону. Власть Генриха в Баварии ослабевала с каждым месяцем.

Как же следовало ему поступить, если римляне запрут перед ним ворота? Брать Рим силой или удовлетворить тем требованиям, какие заявят римляне? Немецкие короли, коронованные ли, не коронованные ли в сан императора, не раз осаждали Рим. Если римляне оборонялись упорно, то осада длилась два—три года, и случалось, что немецкий король, потеряв под Римом все войско, пробирался в Германию беглецом. Генрих был властолюбив, но рассудителен. Выступая из Сутри, он, очевидно, решил, что войдет в Рим не силой, а с согласия римлян. Если они (не) запрут ворота, он удовлетворит их требованиям, а если они запрут ворота, значительную часть их оборонительных сил будут составлять войска графов тускульских, и ворота не отворятся иначе, как с согласия графов тускульских. В чем же будет состоять важнейшее, непоколебимейшее требование графов? В том, чтобы папой был оставлен Бенедикт.

Генрих не велел собору в Сутри судить Бенедикта потому, что имел намерение оставить его папой, если это понадобится для того, чтобы ворота Рима отперлись. Хорошо сделать папой немца. Но если для этого надобно было бы осаждать Рим, то „как быть?“ Лучше отбросить это желание, оставить на папской должности итальянца.

Оказалось: римляне не хотят подвергать себя бедам осады, приглашают Генриха пожаловать в их город — принять императорский сан и получить от них титул патриция, то есть государя города Рима.

О! когда так, то можно опростать папский престол для немца. Отцы собора, созванного в Риме, низложили Бенедикта и ждали, кого велит им выбрать папой Генрих.

Он предложил папский сан Адальберту, архиепископу бременскому, как и было, вероятно, известно всем отцам собора.

Адальберт был усердный слуга Генриха, очень умный человек, опытный делец, самый влиятельный из тех советников Генриха, которые принадлежали к духовному сословию. Важнейшей из забот Генриха в Германии было удерживать в повиновении герцога саксонского саксонских графов, которые почти все были преданы своему герцогу, и саксонский народ, всегда готовый поддерживать своих князей в попытках низвергнуть франконскую династию, неприязненную саксонцам. Генрих назначил Адальберта архиепископом бременским, чтоб он следил за умыслами герцога и графов саксонских. Бремен, по своему местоположению, был пунктом очень удобным для этого. Он находился посредине северной части герцогства саксонского; на запад лежали главные массы аллодиальных (родовых) владений герцога саксонского, на востоке герцог и саксонские графы собирали свои войска для походов против северных славянских племен. Адальберт приезжал в Бремен, жил там, сколько было нужно, чтобы разузнать все о замыслах герцога саксонского, и ехал с этими сведениями к Генриху, потом возвращался в свой обсервационный пункт. Таким образом, кроме пользы, какую приносил Генриху своими советами по управлению общими делами королевства, Адальберт превосходно исполнял очень важную особую обязанность надзора за герцогством саксонским. Но иметь такого хорошего надзирателя и уполномоченного в Риме было для Генриха еще важнее: держать в покорности Среднюю Италию представлялось задачей для немецких королей несравненно более хлопотливой, чем предотвращать или усмирять восстания саксонцев. До сих пор

они повиновались немцам лишь пока главные военные силы немецкого короля находятся за Альпами и пока по их возвращении в Германию государи Средней Италии не подготовят восстания.

Если б Адальберт стал папой, то, без сомнения, он же и был бы назначен главнокомандующим войск, которые Генрих оставит в Средней Италии; он сумел бы держать эту страну в повиновении королю немецкому.

Адальберт был человек честолюбивый до чрезвычайного тщеславия. Он впоследствии разорился на блеск своей бременской обстановки, хотя доходы его были очень велики. Трудно было предположить, чтобы такой честолюбец не принял с восторгом папский сан. Генрих очевидно был уверен в его согласии. Мы не знаем, были ль у короля с ним формальные прямые разговоры об этом до формального заявления короля князьям и собору, что папой должен быть выбран Адальберт. Вероятно, были, и, судя по исходу дела, следует полагать, что Адальберт, в беседах с королем наедине, отказывался от папского сана, и что Генрих, зная его честолюбие, считал отказы притворными. Как бы то ни было, король объявил, что рекомендует собору выбрать папой Адальберта, и услышал на свое предложение решительный отказ Адальберта. Все убеждения короля остались напрасны. При всем своем тщеславии Адальберт нашел, что ему, влиятельному советнику короля немецкого, не стоит быть папой. Он был прав. Обязанный проводить большую часть времени в Риме, между тем, как Генриху необходимо было проводить почти все время в Германии, Адальберт стал бы, сделавшись папой, человеком менее важным, чем был до сих пор. Генриху пришлось бы иметь своим обыкновенным советником кого-нибудь другого. Влияние Адальберта на управление всем государством Генриха ослабело бы. Он справедливо рассчитал, что папский сан слишком плохое вознаграждение за утрату места постоянного советника короля. Увидев, что Адальберт непреклонен, Генрих попросил его рекомендовать, кого же назначить папой. Адальберт рекомендовал своего приятеля Свидгера, епископа бамбергского. Генрих велел собору выбрать Свидгера и пошел на Тускул. Графы тускульские покорились. Бенедикт или успел спрятаться, или был оставлен Генрихом в покое, как человек уже не опасный. Покончив наскоро дела, какие имел в Южной Италии, Генрих поспешил вернуться в Германию, где уже готовилось восстание. Низложенного Григория VI он взял с собой. Гильдебранд поехал в Германию с своим покровите-

лем. Так как Иоанн Грациан, утратив папский титул, не мог, разумеется, утратить свое благочестие, то Генрих поступил с ним в Германии снисходительно. Говоря серьезно, должно думать, что Генриху было жаль старого дурака, виноватого лишь в глупом тщеславии. Кажется, Григорий VI пользовался в Германии хорошим содержанием и не подвергался обидам. Правда, его держали под надзором. Но кажется, вовсе не строгим. Через год старик умер. Гильдебранд, по его смерти, отправился жить в клюнийское аббатство. Оно находилось во французской части королевства бургундского, но все это королевство принадлежало тогда королю немецкому. Есть мнение, что жизнь в Клюньи имела большое влияние на развитие в Гильдебранде тех идей, которым следовал он, сделавшись влиятельным советником, потом и руководителем пап, и которые стал громко высказывать, сделавшись папой. Действительно, клюнийское аббатство было школой, из которой выходили богословы и юристы, провозглашавшие папу верховным владыкой церкви, доказывавшие, что епископы (и архиепископы) не имеют самостоятельной власти, должны считаться только уполномоченными папы, что он — единственный епископ, а все другие сановники, занимающие должность епископов, только его агенты, исправляющие, по его поручению, те его обязанности, которые необходимо исполнять не в Риме, а на местах, куда он посылает их; невозможно же, в самом деле, всем людям, назначаемым на священнические должности в Испании, Франции, Германии, Англии, в скандинавских государствах и т. д. ездить в Рим для посвящения в сан, и не доставало бы у папы времени объезжать все области Западной Европы для посвящения их в сан на месте; вот потому-то он и передает исполнение этой своей обязанности сановникам, живущим в разных городах католических земель. Они лишь агенты его; у каждого из них он может отнять поручение (и) передать кому хочет другому. Такова была клюнийская теория папской власти над церковью. Об отношениях церкви к государству клюнийцы говорили, что так как вся земная жизнь людей должна быть подчинена обязанности забот о душевном спасении, а этими заботами управляет церковь, то светская власть должна быть подчинена церковной, и владыка церкви, папа, — начальник над королями в их делах по управлению государством. Относительно приходского духовенства клюнийцы говорили, что священники и диаконы должны быть безбрачными, как монахи. Все это действительно совпадало с мыслями, какими руководился Гильдебранд, давая советы папам, уважавшим

его мнения, и высказывал, сделавшись папой. Но до приезда в Клюньи он уже несколько лет был деловым человеком. Образ его мыслей, без сомнения, уже установился. Те мысли, проповедниками которых были клюнийцы, принадлежали папскому двору. Клюнийцы только потому и защищали их, что угождали папам, покровительства которых искали в своей борьбе против епархиальных епископов, желавших удержать их монастыри под своей властью. Гильдебранд не мог услышать в Клюньи ничего такого, чего не знал бы сам давно. Притом он прожил в этом аббатстве меньше года.

Возвратившись в Германию, Генрих III уже нашел там врагов, взявшихся за оружие: по смерти Гезелона, герцога лотарингского, он, опасаясь оставить в одних руках управление этой обширной областью, разделил ее на две части и лишь одну из них отдал сыну Гезелона, Готфриду Бородатому, который считал себя вправе наследовать все отцовские владения. До похода Генриха в Италию Готфрид уже вел войну с ним и по удалении короля за Альпы снова собрал войско, получил от короля французского обещание поддержки, пошел овладеть той частью отцовских земель, которая была отнята у него Генрихом. Саксонцы выказывали сочувствие Готфриду. Неприязнь их проявлялась резко, и Генрих, искренно или притворно, поверил доносу, что брат герцога саксонского Титмар составил заговор убить его, — велел Титмару биться на поединке с доносчиком, по тогдашнему обычаю решать судом божьим споры между обвинителем и обвиняемым. Титмар был убит на поединке. Генрих изгнал его сына. После продолжительной войны король одолел Готфрида и его союзников. Готфрид приехал к нему просить прощения. Он отдал побежденного герцога под стражу. Нам здесь нет надобности разбирать, кто был прав, Генрих или Готфрид, клеветою или правдой был донос на брата герцога саксонского, — для нас теперь важно только то, что, по возвращении из Италии, Генрих запутался в тяжелую войну с своими немецкими противниками, и по началу ее было видно, что она протянется долго. Поэтому противники немецкого владычества в Средней Италии ободрились. Графы тускульские отложились от повиновения Генриху. Бонифаций, маркграф тосканский, тоже стал открытым врагом немецкого короля. Папа, назначенный Генрихом на место Бенедикта IX, умер вскоре после удаления короля из Италии. По всей вероятности, он был отравлен агентом Бенедикта IX. По его смерти этот низложенный папа приехал в Рим. Но римляне рассчитывали, что, скоро или не

скоро, Генрих возвратится в Среднюю Италию восстановить свою власть, не хотели ссориться с ним из-за Бенедикта (и) отправили посольство к Генриху с просьбой о назначении нового папы. Бенедикт уехал в Тускул и через несколько лет умер или там, или в одном из итальянских монастырей. Римские послы просили Генриха назначить папой архиепископа лионского (Лион был город королевства бургундского и архиепископ этого города был подданный короля немецкого). Но Генрих не уважил просьбы римлян (и) назначил опять немца, епископа бриксенского. Вскоре по приезде в Рим новый папа умер. Римляне отправили посольство просить Генриха о назначении нового папы. Он назначил опять немца и притом своего родственника, Брунона, который был епископом города Туля, принадлежавшего тогда немецкому королевству. Брунон пригласил Гильдебранда ехать с ним, приехал в Рим в феврале 1048 года и поручил Гильдебранду управление папскими финансами. Как видим из этого, Гильдебранд уже пользовался репутацией очень хорошего дельца, хотя ему было тогда 28 или 29 лет. Папские финансы находились в очень расстроенном состоянии, когда он получил управление ими; он привел их в порядок.

Папа, который привез с собой Гильдебранда в Рим и дал ему очень важную должность, прожил несколько лет и сделал много важного, потому надобно назвать его по имени, в чем не было надобности относительно двух его немецких предместников; он принял имя Льва IX. Усердный приверженец мысли, что приходское духовенство должно вести безбрачную жизнь, подобно монахам, он возобновлял постановления прежних пап об этом. Но дело все еще подвигалось очень медленно. В 1050 году граждане Беневента, восставшие против своего герцога, отдались под покровительство папы. Норманны, главным вождем которых был тогда один из старших братьев Робера Гискара, рассчитывали овладеть Беневентом и поссорились с папой. Лев IX поехал просить помощи у Генриха. Император дал ему отряд конницы. Возвратившись в Рим, Лев стал вербовать наемников. Пока тянулись его сборы, старший брат Робера Гискара был убит, главнокомандующим норманнов стал Робер. Когда папа набрал наемников и повел свое войско против норманнов, Робер Гискар разбил его и взял в плен. Это было в 1053 году. Перед решительным сражением Робер предлагал папе мир, вызывался признать себя вассалом его. Тогда папа был уверен в победе, требовал, чтобы норманны удалились из Италии. Попавшись им, (он) согласился

на повторенное прежнее предложение Робера, которого не даром назвали Гискаром-„хитрецом“. Робер и второстепенные вожди норманнов, еще сохранившие некоторую независимость от нового своего главнокомандующего, присягнули на верность своему пленнику, обещались платить ему дань. Он за это пожаловал им, как членам папского престола, все те земли Южной Италии, которые они завоевали или желали бы завоевать.

Применяя к этому договору понятия нового времени, многие историки пишут пышные фразы о величии, какое приобрела папская власть благодаря договору, заключенному между Львом и Робером Гискаром: папа стал верховным государем Южной Италии, Робер Гискар и другие норманнские вожди признали себя подвластными ему. Разумеется, если бы тогда был XVII или XIX век, а не XI, трактат имел бы именно такое значение. Но при таком своем значении он не был бы и заключен: что за охота была бы Роберу Гискару отдавать себя под власть своему пленнику?

В XI веке государи, не имевшие королевских титулов, охотно называли себя вассалами какого угодно другого, хотя бы самого бессильного государя, если видели в этом хоть самую маленькую выгоду себе. Герцоги бывали вассалами не только епископов, но и простых аббатов: герцог получит по наследству от ничтожного родственника кусок земли, считавшийся леном соседнего аббатства, и, чтобы ничтожный аббат не подымал спора против его вступления в права наследника, он признавал себя вассалом этого аббата, присягал на верность ему. Если бы дошло до ссоры, герцог без малейшего труда покорил бы все владения аббата и взял бы их себе. Но у него были другие дела, ему не хотелось тревожить лишний раз своих вассалов, которых и без того призывал он в поход чаще, нежели бы нравилось им, и он признавал аббата своим сюзереном. Сказать: „Я твой вассал и буду верен тебе“ было в те времена так же легко, как ныне написать в заключение письма обычную формулу: „Имею честь быть вашим покорнейшим слугой“, и формула вассальской присяги сама по себе точно так же мало связывала свободу действий человека, произносившего ее, как эта наша обычная заключительная фраза писем. Если тот государь, на верность которому приносилась присяга, был сильнее дающего ее и мог в случае нарушения вассальских обязанностей, прийти с войском и прогнать вассалов из его владений, то, разумеется, присяга не была пустой формулой. Но Робер Гискар знал, что от его

воли будет зависеть взять Рим, посадить папу в темницу, если не будет подле Рима немецкий король или маркграф тосканский. Приобрести дружбу Льва IX было выгодно Роберу Гискару, потому что этот папа находился под покровительством Генриха и пользовался влиянием на него, как его усердный приверженец. Поэтому Гискар и оказал своему пленнику любезность, назвав его своим сюзереном и обещавшись платить ему дань, которая, по ничтожности своего размера, была очень выгодной для Гискара платой агенту императора в Средней Италии за поддержку желаний вассала перед владыкой сюзерена.

Неаполитанские короли, преемники Гискара, много раз гонявшие пап из Рима или сажавшие их в темницу, продолжали называть их своими сюзеренами. Это длилось несколько веков. Дело ясное, что ни Гискар, ни следующие государи Южной Италии не находили свое вассальство таким отношением, которое стоило бы отменить: пусть человек, усердие которого временами бывает полезно, восхищается своим титулом сюзерена и усердствует услуживать вассалу. А когда он вздумает ссориться, то не трудно посадить его в тюрьму, если нет у него покровителя, какого-нибудь короля, более сильного, чем неаполитанский. А когда Средняя Италия занята немецкими или французскими войсками, идущими низвергнуть короля неаполитанского, то сущность дела для него в том, чтоб отразить эти войска, а не в пустой фразе, что он вассал папы.

Надобно же помнить, каковы были действительные отношения государей Южной Италии к папам: на самом деле, король неаполитанский был повелителем папы, если над папой не было другого повелителя, более сильного. Титулы и теперь не во всех случаях соответствуют степеням могущества государей. Бразильский государь называется императором; значит ли это, что он, по действительному размеру своей силы, приблизительно равен, например, императору австрийскому? Нет на свете правительства, которое не считало бы королей голландского и бельгийского государями более сильными, чем этот император. В XI веке соответствие титула действительной силе государя было случаем едва ли не более редким, чем несоответствие. Граф саксонский был сильнее всех трех скандинавских королей, взятых вместе, и мальтретировал короля датского, как никогда не отваживался обижать ландграфа мейсенского, хоть ландграф был ниже его по титулу.

Генрих наконец управился с немецкими своими врагами и собирался идти опять в Италию. В это время Лев IX умер. Римляне отправили к Генриху посольство с просьбой назначить нового папу. Главою посольства был Гильдебранд. Генрих назначил папой Гебгарда, епископа эйхштедского. Кто такой был этот епископ? За несколько времени перед тем Генрих прогнал герцога баварского и отдал Баварию своему сыну, бывшему еще малюткой, а управление герцогством баварским в малолетство нового герцога поручил епископу эйхштедскому: спрашивается, был ли этот епископ хорошо известен Генриху, пользовался ли он его доверием и правдоподобно ли, чтобы нужна была теперь чья-нибудь рекомендация, чтобы Генрих нашел этого своего влиятельного советника и усердного слугу человеком, который будет усердным слугой его на папском престоле? Но по рассказам панегиристов Гильдебранда, он рекомендовал епископа эйхштедского Генриху. Он опутал Генриха своими хитростями так, что возвел на папский престол своего кандидата; собственно ему епископ эйхштедский обязан своим назначением в папский сан. Пусть Гильдебранд был в тысячу раз умнее и хитрее Генриха, но возможно ли приписывать ему в этом деле какую-нибудь роль, кроме льстивого выражения благодарности Генриху за превосходный выбор папы, и мог ли быть приятен Гильдебранду или кому-нибудь из влиятельных людей папской администрации выбор человека, который на папском престоле оставался усерднейшим исполнителем приказаний Генриха, а потому не мог предоставить никакой самостоятельности никому из своих помощников? Новый папа приехал в Рим весной 1055 года и принял имя Виктора II. Гильдебранд удержался при нем на своей должности. Спрашивается, какую роль играл Гильдебранд при Викторе II? Дело ясное: исполнял приказания папы, исполнявшего приказания Генриха III. Пусть Гильдебранд был очень хитер, но есть положения, в которых никакой хитрец не может быть ничем, кроме как исполнителем чужой воли.

Отправив нового папу в Рим, Генрих вслед за ним пошел в Италию сам и в начале июня, то-есть менее, чем через полтора месяца по вступлении Виктора II на папский престол, находился уже во Флоренции и созвал там собор. Император шел через Северную и Среднюю Италию, не встречая сопротивления. Года за три перед тем умер Бонифаций, маркграф тосканский. Маркграфиней тосканской стала его дочь Матильда. Она была тогда шестилетним ребенком. Государством стала править ее мать, маркграфиня Беатриче. Регентша желала

приобрести сильного союзника против короля немецкого, называвшего значительную часть тосканского государства немецким леном и претендовавшего на серьезную власть над этим государством. Упорнейшим врагом Генриха в Германии был герцог верхне-лотарингский Готфрид Горбатый, сын герцога Готфрида Горбатого. Весной 1054 года — за год до нового похода Генриха в Италию — Готфрид Горбатый приехал в Тоскану, Беатриче повенчалась с ним. Но Генрих шел теперь с таким сильным войском, что регентша и ее муж находили сопротивление невозможным. Муж уехал из Италии во Фландрию. Беатриче с дочерью явилась к Генриху, вызывавшему их к себе. Он велел арестовать Беатриче и Матильду и отнял у Матильды те земли, которые называл немецкими ленами. Но долго оставаться в Италии он не мог, надобно было назначить кого-нибудь правителем этих земель. Он отдал их в управление своему усердному слуге, бывшему теперь папой. Кроме того, отдал в управление ему герцогство беневентское. Виктор II правил этими областями не как папа, а как наместник императора. Это было дело доверия императора лично к нему.

Пришедши во Флоренцию, Генрих созвал там собор. На соборе присутствовал и слуга его, папа. Чью волю исполнял флорентийский собор? Дело ясное: он принимал те решения, какие находил надобными Генрих. Император, конечно, был не специалист ни по богословию, ни по церковным законам. Но он много занимался вопросами по этим отраслям знаний, потому что был человек благочестивый и, с тем вместе, любивший читать серьезные книги, беседовать с учеными. Он и его супруга Агнеса, имевшая большое влияние на мысли мужа, разделяли мнение массы набожных мирян, считавших монашество образом жизни более богоугодным, нежели брачную жизнь. Уже давно у всей этой массы благочестивых мирян в католической Европе уважение к монашескому званию дошло до того, что они желали видеть приходских священников монахами. Генрих и Агнеса были проникнуты этим желанием. Флорентийский собор издал постановление, строго требовавшее безбрачия приходских священников. Нужны ли были внушения Гильдебранда для того, чтобы Генрих велел собору принять закон, которого желал сам?

Генрих оставался в Италии очень недолго: в Германии готовилось новое восстание, он спешил туда и на Рождество был уже в Цюрихе (принадлежавшем тогда к немецкому государству). Король чувствовал, что здоровье его, никогда не быв-

шее крепким, ослабевает, и, понимая сам, что насильственные распоряжения, сделанные им, не могут удержаться, помирился с противниками. Он увез Беатриче и Матильду с собой в Германию. Но через несколько месяцев отпустил их в Тоскану, помирился с мужем Беатриче, [1] дозволил ему ехать к жене— помогать ей в управлении государством. Чувствуя приближение смерти, он пригласил Виктора II приехать к нему. Ясно, что Виктор оставался довереннейшим его советником. В начале октября 1056 года Генрих умер. Похоронив его, Виктор помогал советами вдове своего друга Агнесе, сделавшейся правительницей государства в малолетство сына, Генриха IV, которому при смерти отца было только шесть лет. Весной следующего года Виктор II возвратился в Рим и летом умер.

Немецкие князья, тяготившиеся попытками Генриха III ограничить их привычные права, готовившиеся к восстанию и заставившие короля отказаться от самовластий, хотели воспользоваться регентством Агнесы, чтобы упрочить свою власть и самостоятельность. В Средней Италии было известно, что власть правительницы империи очень слаба, что Агнеса не может послать в Италию большого войска. Тосканским государством правили Беатриче и Готфрид. Они по смерти Генриха III могли делать в Риме, что хотят. У Готфрида был брат Фридрих, принявший духовное звание. Он уже довольно давно был кардиналом и жил в Риме. Когда Генрих III, через год по женитьбе Готфрида на Беатриче, пришел в Тоскану, и Готфрид уехал во Фландрию, а Беатриче и Матильда были арестованы императором, кардинал Фридрих уехал в монтекассинский монастырь. Теперь Готфрид и Беатриче владычествовали в Риме, и по смерти Виктора II папой был выбран кардинал Фридрих. Спрашивается: хлопотал ли Гильдебранд об избрании кардинала Фридриха папой? Разумеется, выказывал величайшее усердие в этом деле, но кому было нужно оно? Только ему самому, чтобы заявить свою преданность властелину и властительнице Рима, Готфриду и Беатриче. Брат Готфрида принял имя Стефана X.

Сам Генрих III замечал, что зашел слишком далеко в своем стремлении возвысить королевскую власть, подчинить немецких герцогов и других сильных князей своему произволу. Противодействие их, которое старался он в последнее время жизни смягчить уступками, проявилось без всяких стеснений по его смерти, когда власть перешла в руки его вдовы, фран-

[1] В оригинале списка—„Матильды". *Прим. Н. Ч.-Б.*

цузской принцессы, не имевшей родственных связей в Германии. Иноземка, она не имела никакой опоры себе в немецкой нации. Оттон, герцог швабский, был старик, не имевший наследников. Генрих III обещал отдать по его смерти герцогство швабское одному из сильнейших швабских владетелей, Бертольду, графу тюрингенскому. По смерти Генриха сильный швабский владетель, Рудольф, граф рейнфельденский, вздумал принудить Агнесу передать сан герцога швабского по смерти Оттона ему. Средством для этого он выбрал насильственное вступление в родство с Агнесой, увез дочь ее и Генриха III, одиннадцатилетнюю девочку, и обручился с похищенной невестой. Агнеса была бессильна отнять у него дочь, согласилась на брак, которому не могла помешать. Через несколько времени герцог Оттон умер, Агнеса назначила зятя герцогом швабским. Все это произошло в первый же год регентства Агнесы. Кто же мог не видеть, что Агнеса бессильна? Впрочем, это было бы ясно и без насилий, которыми Рудольф вынудил у нее себе сан герцога швабского: немецкие князья делали что хотели, и кому из них была охота нападать на соседей, (тот) нападал на них, и они оборонялись, как могли. Регентша не имела силы прекратить эти междоусобия.

Кажется, папа мог бы обойтись без поддержки несчастной женщины, которая не могла защитить и свою дочь от похищения. Какое войско могла бы послать в Рим Агнеса? Притом пути из Германии в Рим находились под властью Готфрида и Беатриче. Утверждение со стороны Агнесы было нимало не нужно брату Готфрида, выбранному в сан папы. Но привычка повиноваться королю немецкому была так сильна в Риме, что Стефан IX отправил к Агнесе посольство просить, чтобы она утвердила его выбор. Главою посольства был опять Гильдебранд. Зачем он принял на себя такое поручение: ехать послом к Агнесе? Не следует ли отвечать на это так: Гильдебранд еще не был папой, потому интересы папской власти не сливались с его личными интересами. Ему привелось подыматься вверх, цепляясь за пап, но чья бы рука не подымала его, ему было все равно, лишь бы подыматься. Немецкий король—ребенок, но станет же он совершеннолетним и пойдет в Рим получить императорский сан. Ссориться с немцами не следует: их расположение пригодится и умный человек должен воспользоваться случаем для выражения своей преданности императрице и молодому королю и для приобретения дружбы влиятельных людей немецкого государства. Как знать? Быть может, немецкий король опять будет владыче-

ствовать в Риме, когда папский престол снова станет вакантным. Кто объясняет поездку Гильдебранда к Агнесе не этими соображениями, тот слишком наивен.

Меж тем, как Гильдебранд хлопотал в Германии об утверждении Стефана IX в папском сане, новый папа занемог. Болезнь стала безнадежна. Он просил римлян отложить выбор его преемника до возвращения Гильдебранда и уехал к брату во Флоренцию. В марте 1058 года он умер. Гильдебранд еще не возвращался. Графы тускульские пошли в Рим, и под их влиянием был выбран их прислужник, принявший имя Бенедикта X. Некоторые кардиналы бежали из Рима, не желая подчиняться графам тускульским. Возвращавшийся из Германии через Флоренцию (Гильдебранд) узнал в этом городе о выборе нового папы. Кардиналы, бежавшие из Рима, собрались в Сиэне. Что такое была тогда Сиэна?—Один из городов маркграфства тосканского. Мог ли быть созван в Сиэне собор иначе, как по воле Готфрида и Беатриче? Созванный в Сиэне собор мог ли решать что-нибудь иначе, как по желанию Готфрида и Беатриче? Отняли ли графы тускульские у Готфрида и Беатриче власть в Риме? Могло ли это быть приятно маркграфине тосканской и ее мужу? Ловкие дельцы нужны хозяевам дела. Но в чем состоит роль этих дельцов? В исполнении желаний хозяев, в приискивании технических средств и в мелких хлопотах по устройству дела.

Готфрид был человек неглупый; о Беатриче тоже говорят, что она была очень неглупа. Но пусть оба они были люди очень ограниченного ума, чего не говорят о них. Интерес их в данном случае был так ясен, что, хотя б они были очень недалекого ума, все-таки не были нужны им ничьи разъяснения, чтобы понимать его.

Итак, кардиналы, бежавшие из Рима, собрались в Сиэне; собрались там и другие епископы. Составился собор, объявил собор Бенедикта незаконным, выбрал другого папу. Кого же? Епископа флорентийского. Кто был епископ флорентийский? Слуга маркграфини и маркграфа тосканских.

Нужны ли были хлопоты Гильдебранда, чтобы достичь этого результата? Он мог очень много суетиться и заслужить своим усердием признательность Готфрида и Беатриче. Но если он хлопотал, то очевидно, для исполнения их воли, которая была б исполнена и без его хлопот.

Готфрид собрал свое войско и пошел на Рим. Пришедши в Сутри, созвал новый собор. Этот собор низложил Бенедикта, Готфрид пошел дальше к Риму. Графы тускульские и часть

римлян, бывшая на их стороне, пытались отразить Готфрида от стен города. Но он был гораздо сильнее, вошел в Рим. Графы тускульские и клиент их Бенедикт бежали. Готфрид посадил своего усердного слугу на папский престол. Этот папа принял имя Николая II.

Причем тут Гильдебранд, когда дело было решено силой оружия?

Если Гильдебранду принадлежит мысль, что папа не должен ссориться с Робером Гискаром, а уступать во всем этому бессовестному властолюбцу, чтобы иметь в нем защитника себе в случае беды, то следует признать Гильдебранда положившим прочную основу папской политике. Но раньше, чем Николай II, сделал то же самое Лев IX, о котором нелепо предполагать, будто он в самом деле слушался только советов Гильдебранда. Он уже раньше того, будучи советником Генриха и управляя Баварией, выказал себя человеком даровитым, ловким дельцом, не нуждающимся в суфлерах.

Но если верить, что действиями Николая II управлял Гильдебранд, то, находя делом умным примирение с Робером Гискаром, следует же спросить, умно ли было ссориться с ним. Едва ли Гильдебранду принадлежит честь примирения Николая II с Гискаром, едва ли виноват он и в ссоре. Исправление ошибки и ошибка вероятно одинаково принадлежали самому Николаю II. Но если он действительно был лишь исполнителем советов Гильдебранда, то следует сказать, что его руководитель, при всей своей хитрости, уже высказал тогда себя человеком, хватающимся за дела не под силу себе. Мысль победить Гискара была такою же нелепостью, как и надежда подействовать на него отлучением от церкви. Если бы Готфрид привел на войну с Гискаром все военные силы тосканского государства, то был бы какой-нибудь шанс победить этого почтительного сына церкви. Велика ли была вероятность победы или мала, мы не можем судить по недостатку точных данных для сравнения сил Гискара и Готфрида. Но какой-нибудь шанс победы Готфрида вероятно был бы, потому что маркграфство тосканское было государство довольно могущественное, а без его помощи ссориться с Гискаром было со стороны папы нелепой фантазией. Разве уже не оказалось лет за семь перед тем, что Гискар гораздо сильнее папы? А с той поры его могущество возросло в несколько раз.

Приписывают Гильдебранду подчинение архиепископа миланского папе. Это дело церковное, потому можно пропустить его и без разбора при оценке деятельности Григория VII

с политической точки зрения. Достаточно сказать, что ломбардское высшее духовенство жило роскошно и весело. Возникла в Ломбардии аскетическая партия, требовавшая, чтобы каноники, аббаты, епископы и сам архиепископ миланский служили для народа примерами воздержности, скромности и всех подобных добродетелей, которыми очень легко отличаться беднякам, но требовать которых от людей с большими доходами — ребяческая наивность. Проповеди фантазеров, обличавших роскошь высшего ломбардского духовенства, понравились миланским простолюдинам. Начались драки. Простолюдины одолевали архиепископа. Папа прислал в Милан легата. Архиепископ был трус и, запуганный надменными словами легата, знаменитого своим аскетизмом, Петра Дамиани, отрекся от своего права миланской архиепископской кафедры — быть неподвластным папе. Само собой разумеется, из этого ничего не вышло. Ломбардское духовенство не захотело покориться папе, и права ломбардской церкви остались прежние. Архиепископы миланские, как прежде, так и теперь не повиновались папе и обыкновенно были врагами его.

Но покровительство Робера Гискара, приобретенное покорностью его требованиям, было действительно умно и принесло пользу Николаю II. Гискар разрушил замок графов тускульских, покровителей Бенедикта, взяли и тот замок, в который заперся этот соперник Николая. Попавшись в руки Гискару, Бенедикт отрекся от папского сана.

В политических делах Николай II был только продолжателем деятельности предшествовавших ему пап-немцев, но в церковных делах он произвел нововведение относительно порядка выбора пап: прежде в выборе участвовали римские вельможи, население города Рима и все духовенство римской епархии. Когда выбор производился не под владычеством какого-нибудь государя, он обыкновенно сопровождался драками. При Николае II был принят (собором), созванным в латеранской церкви, закон, постановлявший, что папу избирает коллегия, состоящая из главных духовных сановников римской эпархии, которым был дан титул кардиналов. Участие вельмож и народа было ограничено тем, что выбор, сделанный коллегией кардиналов, предлагается на утверждение собранию римских вельмож и граждан. Говорят, что это постановление латеранского собора 1059 года, остающееся в силе до сих пор, было сделано с целью дать выбору папы независимость от государей и, главным образом, от короля немецкого. Очень вероятно, что патриотическая партия римского папского двора имела это

намерение. Но если это так, то цель, предположенная ею, не была достигнута. Но, всматриваясь в закон, мы видим, что характер его не совсем такой, как обыкновенно говорится. В отношениях немецкого короля к выбору папы он не делает никакой перемены. Если бы прежде немецкие короли производили назначение пап формальным заявлением, что такое-то лицо возводится в папский сан волею немецкого короля, закон 1059 года производил бы коренную перемену, заменяя волю немецкого короля властью коллегии кардиналов. Но немецкие короли не делали прямых заявлений, что назначают пап собственной властью. Такие заявления были не сообразны с тогдашним порядком всяческих назначений в церковные должности, считавшиеся самостоятельными. Были в Германии аббатства, считавшиеся личною собственностью или короля, или того областного государя, владениями которого были окружены. В эти монастыри король или областной государь назначал аббатов формальным повелением монахам повиноваться новому начальнику. В них аббат был избираем коллегией старших монахов, так называемым конвентом аббатства. Епископские кафедры в Германии были учреждениями, по форме самостоятельными. Выбор епископа производился так называемым капитулом — коллегией старших должностных лиц кафедральной церкви, имевших общий титул каноников. Король только рекомендовал своего кандидата капитулу кафедральной церкви. Только в этом состояло формальное участие короля в выборе епископов. На деле выбор был лишь формальностью, приводившей в исполнение волю короля. Когда король был далеко от вакантной епископской кафедры, капитул выбирал епископа, не дожидаясь королевской рекомендации, и сделанный выбор посылал на утверждение короля. Само собой разумеется, что было выбираемо лицо, которое, по мнению избирателей, могло получить королевское утверждение в сане, то есть то лицо, которое рекомендовал (бы) сам король, если бы было время дожидаться, кого он рекомендует. Относительно римской кафедры делалось в последнее время точно так же, как относительно немецких кафедр: когда немецкий король находился неподалеку от Рима или в Риме, он рекомендовал своего кандидата, и только, когда он был далеко от Рима, избиратели выбирали папу, не дожидаясь его рекомендации, и посылали свой выбор на его утверждение. Как было до закона 1059 года, так осталось и по этому закону. Если он был составлен под влиянием патриотических мыслей об ограждении независимости папских выборов от немецкого короля, то эти мысли

существовали в уме составителей закона, а в законе не выразились ничем. Патриоты не решились сделать перемены, о которой мечтали. Но предположение о патриотическом намерении составителей закона едва ли не следует назвать пустой выдумкой позднейших панегиристов Григория VII. Всматриваясь в закон, принятый латеранским собором 1059 года, мы видим, что цель его была совершенно не та, как стали потом говорить поклонники мудрости и благочестия Григория VII: закон производит перемену только в составе избирательной коллегии.

Прежде она состояла из вельмож, народа и духовенства. Латеранский собор постановил, что она будет состоять из некоторых церковных сановников римской епархии, что остальное духовенство римской епархии, римские вельможи и народ исключаются из ее состава. Очевидно, что духовные должностные лица папского двора хотели возвысить свое положение, исключив остальное епархиальное духовенство, народ и вельмож от участия в выборе папы. Достигли ль они хоть этого? Формальным образом, да: они одни заседали в коллегии, выбиравшей папу, и только их голоса считались на этих выборах. Но дело не в том, кто избиратели, а в том, самостоятельны ли они. Если они находятся под чьей-нибудь властью, то выборы производятся ими лишь по форме, а на самом деле избирается кандидат по назначению их повелителя. Через несколько столетий после латеранского собора 1059 года установился в Средней Италии такой порядок вещей, что коллегия кардиналов могла производить выбор папы самостоятельно. Но тогда сильные государи Западной Европы уже не находили надобным посылать войска в Рим для управления папскими выборами. Только поэтому коллегия кардиналов и могла выбирать пап не по чужому приказанию, а по своим соображениям. До той поры изредка случалось, что Рим был городом независимым от иноземного господства не на словах только, а на деле. В этих случаях бывали над ним повелители из соседних вельмож, и выбор папы производился по их приказанию. Но обыкновенно владычествовал над Римом, не по форме, а на деле, какой-нибудь иноземный государь: или король неаполитанский, или император немецкий, и коллегия кардиналов выбирала папой его кандидата. Короли французские, когда забрали папу в свои руки, то предпочли переселить его во Францию. По возвращении из этого плена вавилонского в Рим папа извертывался как мог в борьбе между королями испанским, французским и немецким. А когда умирал, то кол-

легия кардиналов вертелась по приказанию того из них, кому приходилось ей повиноваться в том году.

Николай II умер в июле 1061 года. Римские вельможи не хотели предоставить выбора нового папы кардиналам и отправили в Германию посольство просить Агнесу о назначении папой их кандидата. Кардиналы тоже отправили посла к Агнесе. Она сказала, что разберет это дело. Посол кардиналов увидел, что она решит спор не в их пользу, вернулся в Рим (и) передал это своим товарищам. Покровителем коллегии кардиналов был в это время довольно сильный соседний государь, аббат монтекассанский. Он рассудил, что его силы не достанет на борьбу против римских вельмож, и обратился с просьбой о помощи к другому соседнему государю, который был сильнее его, норманскому полководцу Ришару, бывшему тогда герцогом. (Робер Гискар был занят покорением греческих владений в Южной Италии, потому еще оставлял государям некоторых областей ее других норманских полководцев). Ришар привел свое войско в Рим, и был выбран папой прогнанный из Милана противник независимости миланского архиепископа от папы, Ансельм, бывший тогда епископом лунским. Он принял имя Александра II. Агнеса между тем собрала в Базеле собрание немецких и ломбардских князей и епископов для решения спора между кардиналами и римскими вельможами. Ей казалось, что следует отдать предпочтение вельможам. Базельское собрание светских и духовных сановников объявило, что кардиналы произвели выбор противозаконно, низложило Александра II и выбрало папой епископа пармского Кадолая, усердного приверженца немецкой власти над Италией. Кадолай принял имя Гонория II. Базельское собрание дало ему несколько войска; сам он имел большой запас денег и много друзей в своей епархии, пошел с данным ему небольшим войском из Базеля в Парму, набрал там побольше войска и пошел на своего соперника, сидевшего в Риме. Ему надобно было проходить через владения Матильды. Она и Готфрид были застигнуты врасплох, не успели собрать войска, потому Гонорий II прошел к Риму, не встречая сопротивления. Александр II и его покровитель Ришар приготовились к обороне. Панегиристы Григория VII говорят, будто обороной управлял он и войско собрал тоже он. Едва ли так. Тут был Ришар, без сомнения, не нуждавшийся в его руководстве по распоряжению военными делами. Но пусть управлял всем он. Гонорий II разбил войско, вышедшее против него из Рима, овладел Леоновым городом, ворвался в собственно так называемый

город Рим, взял римскую цитадель, замок св. Ангела. Но большинство римских граждан было на стороне Александра II. Кроме цитадели, в Риме было много других укрепленных зданий: Гонорий штурмовал их. Но, пока длилась эта борьба, Готфрид собрал войско и пошел к Риму. Он и Матильда не хотели допустить, чтобы папой был слуга немецкого короля. Когда Готфрид подошел к Риму, Гонорий отступил в Тускул. Готфрид велел обоим папам ехать в свои епархии, объявив, что дело будет решено королем немецким. Они, поджав хвосты, поехали: Александр — в Лукку, Гонорий — в Парму, а Готфрид отправился в Германию, где уже было подготовлено дело, по которому распорядителем решения немецкого правительства должен был стать он, — похищение ребенка короля клиентом Готфрида Анноном, архиепископом кельнским.

Сильнейшие областные государи Германии, герцоги, маркграфы и владетели обширных графств, находили неудобным для себя непосредственно заниматься текущими делами центральной администрации в те времена, когда от их воли зависело стать правителями королевства от имени короля, или малолетнего, или надолго ушедшего в Италию, или утратившего фактическую силу, сохранившего лишь формальное право. Администрация была дело скучное для этих военных людей. Притом, они были и непривычны к ней. А главное, они были бы принуждены запустить дела своих государств, если бы занялись канцелярской работой по центральной администрации. Часто случалось, что надежнейшим помощником, вернейшим другом короля был какой-нибудь герцог, но никогда герцог не занимал должности канцлера. Редко случалось и то, чтобы король, отправляясь в Италию, поручал регентство герцогу, своему другу; обыкновенно он только просил его поддерживать регента, а регентом назначал какого-нибудь церковного сановника, то есть дельца, привычного к канцелярской работе. Должность канцлера никогда не занимали ни герцоги, ни другие светские князья, (но) всегда занимали церковные сановники.

Припомним, на сколько герцогств делилась тогда Германия. Их было пять: лотарингское, саксонское, франконское, швабское и баварское. Королевский сан принадлежал тогда франконской герцогской династии, и франконским герцогом оставался король. Герцоги саксонские постоянно находились во вражде с франконскими королями. Герцогом баварским тогда был саксонец Оттон Нортгеймский, разделявший опасения саксонских вельмож и всех свободных людей, что франконские короли и советники их хотят подавить самостоятель-

ность саксонского племени. Теперь, в малолетство короля, при слабости центрального правительства, было удобное время подвести королевскую власть под такие ограничения, чтобы король, достигнув совершеннолетия, не мог поработить саксонцев. Герцогом швабским был Рудольф, отнявший дочь у регентши и насилием вынудивший центральное правительство дать ему герцогство швабское. Таким образом, из четырех герцогов три были враждебны франконской династии. Приехал в Германию Готфрид, герцог лотарингский, муж Матильды Тосканской, старинный враг франконской династии, и было решено передать управление королевством такому дельцу, который был бы усердным приверженцем самостоятельности немецких племен, то есть самостоятельности герцогов племен. На стороне четырех герцогов племен были их племена и большинство второстепенных областных государей. Что можно было сделать с такой коалицией? Был, правда, еще один герцог только по титулу, а не по действительной силе, Бертольд Тюрингенский, получивший от Агнесы Каринтию с возведением этой малонаселенной области на степень герцогства. Бертольд имел довольно значительные владения в Швабии, но и с прибавкой к ним Каринтии оставался гораздо слабее каждого из четырех герцогов племен.

Как шли совещания между четырьмя герцогами племен и важнейшими их союзниками, мы не знаем, видим только, что решено было передать управление государством клиенту герцогов саксонского, баварского и лотарингского, Аннону, архиепископу кельнскому, и что это решение было принято союзниками по совету Готфрида. Аннон заманил на свой корабль короля-ребенка, жившего тогда с матерью на одном из островов Кельна, и увез его в Кельн. Князья, орудием которых был (Аннон), объявили его правителем королевства. Решителем дел, в которых замешаны были интересы маркграфини тосканской, стал ее муж Готфрид. Аннон созвал в Аугсбурге собор для решения вопроса о том, кого из двух соперников признать истинным папой. Александр был клиент Готфрида. Гонорий был назначен Агнесой и ломбардскими приверженцами немецкой власти над Италией. Дело ясное, в чью пользу должен был решить вопрос аугсбургский собор. Но, когда соблюдение форм беспристрастия не представляло неудобства, люди и тогда умели принимать на себя вид беспристрастия. Собор постановил отправить в Рим уполномоченных, которые рассмотрят, кто был выбран папой по законному порядку. Кто окажется выбран по законному порядку,

тот и будет папой. Уполномоченные приехали в Рим, нашли выбор Александра законным, выбор Гонория незаконным. Готфрид, возвратившийся в Тоскану, собрал войско, взял с собой Александра, привел его в Рим и посадил его на папский престол. Это было в январе 1063 года.

Через несколько времени собрал большое войско Гонорий, подступил к Риму. Готфрид почему-то не мог принять участия в этой новой борьбе. Один из римских вельмож, бывших на стороне Гонория, владел замком св. Ангела. Гонорий овладел Леоновым городом, вошел в Рим и, при помощи этого вельможи, штурмовал те укрепленные здания, в которых держались норманны, защитники Александра. К этим норманнам приходили подкрепления. Запасы денег у Гонория истощились. Наемники, составлявшие главную часть его войска, ушли от него, не получая жалованья. Норманны выгнали его из Рима, отняли у него и Леонов город. Он удалился в Ломбардию, епископы которой признавали его папой. Готфрид и Аннон созвали в Мантуе новый собор. Он потребовал обоих пап явиться для защиты своих претензий. Гонорий знал, что дело будет решено в пользу Александра, потому не поехал в Мантую. Александр приехал. Собор нашел его притязание на папский сан законным, провозгласил его папой, объявил Гонория низложенным. Готфрид собрал войско, пошел с Александром, усмирил вельмож, враждебных Александру. Власть этого папы была теперь окончательно упрочена.

Но архиепископы миланский и равеннский и ломбардские епископы продолжали признавать папой Гонория, и он оставался главою ломбардской церкви до самой своей смерти.

Александр был папой более десяти лет, если считать время с его выбора, и лет девять, если считать с окончательного удаления Гонория из Рима. Вероятно, об этих годах справедливы те уверения панегиристов Гильдебранда, что он был руководителем пап. Относительно предшественников Александра нет никакой вероятности, чтоб они в самом деле были исполнителями внушений Гильдебранда. Кажется, они были сами люди очень умные и хорошие дельцы. Должно полагать, что Гильдебранд мог только высказывать свои таланты ловким исполнением их поручений. Но Александр был, кажется, человек не даровитый, и очень может быть, что Гильдебранд действительно управлял им.

В те девять лет, которые прошли между мантуанским собором и смертью Александра, не было сделано папским правительством ровно ничего важного. Если Гильдебранд действи

тельно владычествовал тогда над папой, то должно думать, что он гораздо ниже своей репутации государственного человека, что он был одним из тех людей, которые умеют ловко исполнять чужие инструкции, а сами не могут придумать ничего важного и вместе умного. Таковы обыкновенно бывают даровитые интриганы. Постоянно обращая силу своего ума на устройство мелких хитростей, они теряют способность хорошо соображать решения по крупным делам.

В том, что Гильдебранд был очень ловкий интриган, нельзя сомневаться: он умел поладить с каждым папой, угождал Готфриду, угождал и правительству Агнесы, с которым Готфрид был во вражде. Крепко держался на своем месте при всяческих переменах повелителей над папами. Плохие интриганы не умеют устраивать свою карьеру так успешно и вместе так прочно.

Бесспорно, он был человек очень талантливый, но кажется, что слишком усердно заботясь исключительно о своей карьере, он сделал себя способным только исполнять чужие поручения и утратил способность самостоятельно вести политические дела с таким же благоразумием, с каким заботился о своем личном возвышении.

Панегиристы его говорят, что коллегия кардиналов уже находилась в полном его распоряжении при смерти Николая II и что, если б он захотел, то был бы выбран папой тогда. Так или нет, но в годы папства Александра II его преобладание в коллегии кардиналов или упрочилось, если было сильно раньше, или установилось, если раньше того не было очень сильным. Хотел ли он, но еще не мог, или уже мог, но считал преждевременным сделаться папой по смерти Николая II, но теперь, при смерти Александра II, кардиналы были готовы выбрать его, и он уже хотел стать папой. Тем страннее ошибка, сделанная или допущенная им в этом случае: раньше, нежели успели собраться кардиналы и произвести выбор по форме, установленной латеранским собором 1059 года, кардинал Гуго, горячий приверженец Гильдебранда, взволновал толпу народа, доказывая, что надобно провозгласить папой Гильдебранда, повел эту толпу к Гильдебранду; она схватила его, повела в ту церковь где стоял папский престол, и посадила его избранника на этот престол, провозглашая его папой. Кардиналы торопливо собрались и утвердили выбор народа. К чему был нужен этот фарс народного избрания, нарушивший законную форму выбора? Думать ли, что уверения панегиристов Гильдебранда относительно преданности

кардиналов ему лживы, что он не надеялся получить большинство голосов в коллегии кардиналов, если не запугает тех своих товарищей, которые враждебны ему и составляют большинство, или кардинал Гуго действовал не по соглашению с ним? Панегиристы Гильдебранда говорят, что кардинал Гуго действительно поступил без его ведома, что Гильдебранд не притворялся, выказывая огорчение от его поступка. Если так, то должно сказать, что Гильдебранд не умел держать свою партию в дисциплине, то есть был ловким интриганом, но плохим вождем партии.

Как бы то ни было, кардиналы выбрали его папой. Он принял имя Григория VII; стал делать распоряжения, как будто уже исполнял папскую должность, но не принимал на себя папского сана до получения из Германии известия, признал ли его папой король германский.

Послал ли он просить у немецкого короля утверждения его в сане? Нет, говорят его панегиристы; он только послал немецкому королю извещение о своем выборе, как послал другим королям. Они говорят, что это было со стороны Гильдебранда очень замысловатой хитростью: будет ему привезен ответ, что король немецкий не согласен признать его папой, он может отказаться от сана, потому что еще не принял рукоположения; а если король немецкий согласится признать его папой, то он может говорить, что стал папой без утверждения немецкого короля, потому что не просил у него утверждения, а не просил потому, что не нужно, что папский сан дается выбором кардиналов независимо от воли немецкого короля.

Хитро, это правда. Но бывают хитрости очень плохого сорта. Та, которую придумал сделать Гильдебранд по вступлении в должность папы, была очень плоха. Если он рассчитывал, что доброе расположение короля немецкого не нужно ему, то незачем было отлагать рукоположение в сан до получения ответа немецкого короля на извещение о выборе. Отлагая его, Гильдебранд показывал, что нуждается в согласии немецкого короля на выбор.

(На этом рукопись обрывается)

Н. А. Пыпин

Сыновья Чернышевского

Из воспоминаний

За четыре дня до ареста Н. Г. Чернышевского, 3 июля 1862 г., жена его Ольга Сократовна с двумя сыновьями — восьмилетним Александром и четырехлетним Михаилом, — спешно распродав имущество, выехала в Саратов, а сам Николай Гаврилович, по приведении в порядок своих литературных дел, должен был отправиться к ним через месяц. Планам этим, однако, не удалось сбыться, так как вслед за тем, 7 июля, последовал арест Николая Гавриловича и заключение его в Алексеевский равелин. Больше двадцати протекших после этого лет Чернышевский не видел сыновей (не считая трехдневного свидания с маленьким Мишей во время приезда Ольги Сократовны с ним в Кадаю в 1866 г.), и все эти долгие годы забота о детях, не переставая, мучила его.

В первые годы разлуки с отцом дети оставались в Саратове с матерью, которая, на время своих частых отлучек, распределяла их по родственникам, а затем сперва старший (1864 г.), а после и второй (1868—69) были перевезены в Петербург и переданы матерью в семью А. Н. Пыпина, в которой и провели годы отрочества и юности. Будучи значительно моложе по возрасту, я начинаю помнить Сашу и Мишу Чернышевских с самых первых минут моей сознательной жизни, с их участием проходят все мои ранние жизненные впечатления, о них и хочется сказать несколько слов, тем более, что „Саша", Александр Николаевич Чернышевский (род. в 1854 г., ум. в 1915 г.), упоминается теперь редко и уходит в число забываемых.

Годы учения Саши начались еще до поступления его в гимназию: дома занимались с ним, в память Николая Гавриловича,

лучшие тогдашние педагоги (Герд, Странолюбский и др.); большое участие в нем принимали также друзья Н. Г. Чернышевского и А. Н. Пыпина—И. М. Сеченов и П. И. Боков. Саша был хорошо подготовлен, но самое поступление в гимназию удалось не сразу: мешало имя отца. Жажда знаний мальчика была очень сильна, и скоро он пристрастился к чтению: увлекаемый пылкой фантазией, он зачитывался повестями Гофмана и, в особенности, Эдгара По; из наук его больше всего привлекала математика, изучению которой он преимущественно и отдался. Саша был полон умственных интересов, но способность отвлекаться и уходить целиком в свои личные настроения мешала иногда ходу его школьных занятий,—это видно, между прочим, из письма Н. Г. к Ольге Сократовне от 12 января 1871 года, где Николай Гаврилович говорил: „Я получил письмо от Саши, в котором наш с тобой почтенный сын стыдится сообщить мне, что в нынешнем году не выдержал экзамена; пожалуйста, уверь его, мой друг, что я не придаю этой его неудаче никакой важности". [1] В последующие годы Н. Г., противник патентованной науки, смотревший на школьное преподавание как на „пустую схоластику", надумал сам принять участие в умственном развитии своих сыновей и в длинном ряде писем повел с ними ученые рассуждения и, применяясь к индивидуальным способностям юношей, будил в них критическую мысль. Эта переписка продолжалась год за годом и особенно развилась тогда, когда Саша, окончив гимназию, был студентом математического факультета в Петербургском университете; она не прекратилась и по окончании им курса и получении кандидатского диплома. В этих письмах Н. Г., высказывая свои взгляды и суждения о науке, разделял темы: с письмами на математические темы он обращался к старшему сыну, а письма исторические предназначались для младшего, тогда еще гимназиста. К обоим корреспондентам относились общие указания основных путей к истинному знанию и стремление Н. Г. привить им идеи справедливости и правды и внушить общие начала для ориентировки выявления исторического процесса. В специальных письмах к Саше рядом остроумных приемов Н. Г. умышленно выказывал свое „незнакомство с математикой" и излагал результаты некоторых своих „математических подвигов", вызы-

[1] Это и следующие сибирские письма цитируются по книге „Чернышевский в Сибири". Переписка с родными. Пб. 1912—1913; письма астраханского и последнего саратовского периода— по „Литературному наследию" Н. Г. Чернышевского, ГИЗ, 1930, тт. II и III.

вая этим сына на желание „учить“ отца математике и, тем самым, невольно углублять собственные научные средства. По этому поводу 21 апреля 1877 г. Н. Г. писал сыновьям: „Милые мои друзья, Саша и Миша, мои письма имеют почти беспредельное ученое достоинство в том отношении, что доставляют вам неисчерпаемый материал для развития в вас важнейшей научной привычки: не принимать ничего без проверки“.

В университете Саша имел не мало товарищей, среди которых были будущие профессора Зинин и Броунов и студент-медик Тарханов, впоследствии известный физиолог. Но в эту пору с особенной ощутительностью начала проявляться болезненная нервность Александра Николаевича и его „странности“, по временам наблюдавшиеся и прежде, а всегдашняя неуравновешенность его выразилась теперь в том шаге, которым он немало удивил отца и близких: во время войны 1877—78 гг. А. Н. отправился добровольцем в армию. Чем, в сущности, было вызвано такое решение, осталось неизвестным, но результат его оказался для А. Н. совсем неблагоприятным: не побывав ни в одном бою, он вернулся из армии больной южной лихорадкой, от которой с трудом излечился. К этому эпизоду относится ответное письмо Н. Г-ча от 24 апреля 1878 г., в котором он говорит сыну: „Твои выражения „Вы простите меня“—за Твою поездку на войну,—„прошу Вас простить меня“ и т. п.—относительно отца, по моим понятиям, неуместны. Отец—не мать. С отцом почтительность—дело, без которого очень можно обходиться сыну. Отец—лишь приятель“. Далее Н. Г. прибавляет несколько, как всегда, исключительно мягких строк, из которых, однако, А. Н. должен был понять, насколько отец не сочувствовал ему в данном случае.

Оправившись от болезни и поселившись вскоре самостоятельно (Миша продолжал жить у Пыпиных), Саша начал заниматься частными уроками и, как писал Пыпин Чернышевскому в Вилюйск (30 июня 1881 г.), „в этом нашел свою дорогу“,— ученики его любили, и он любил свой предмет. Характер его, по словам Пыпина, „выработался очень мягкий, добродушный, правдивый, немного торопливый и рассеянный“. Математикой А. Н. занимался и по научно-исследовательской линии: в журнале „Мысль“ мы находим его статьи по теории вероятности. [1] В то же время в нем развивалось поэтическое дарование: он

[1] „Движение народонаселения и теория вероятности“ („Мысль“, 1881 г., май), „Элементы теории вероятности“ (там же, 1882 г., май). Кроме того, в сентябрьской книжке „Мысли“ за 1881 г. помещена статья А. Н. „Об общем характере явлений“.



АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

1873 г.



МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

1880 г.

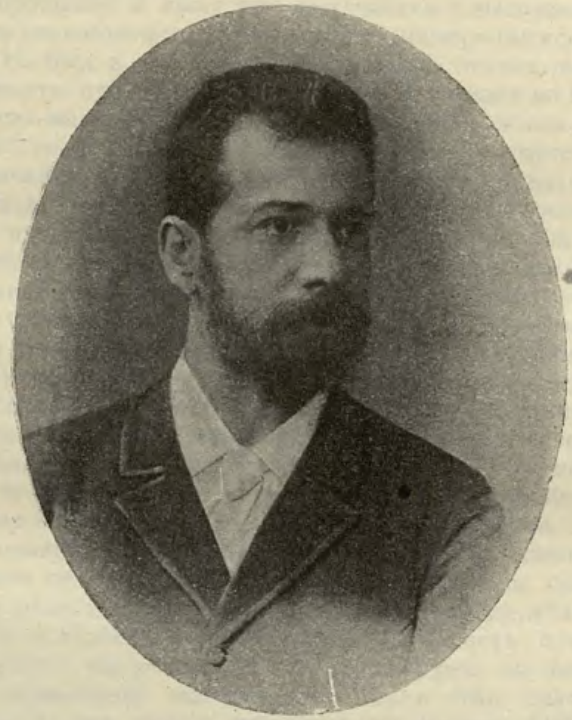
писал стихи и начинал печатать их. Это дарование, несомненное по красоте стиха, легкости и оригинальности мысли и формы, было уже отмечено Пыпиным, указывавшим на „большие поэтические наклонности“ Саши, и заинтересовало также самого Ник. Г-ча: еще из Вилюйска (1 января 1882 г.) он выражает сыну удовольствие по поводу получения „лирической пьесы, внушенной природой Крыма“, и просит „поделиться с ним другими поэтическими произведениями“. Наплывы вдохновения А. Н., по временам прерываясь, длились многие годы; из большого ряда написанных им вещей немногое было напечатано в „Вестнике Европы“ (1884 г., VI) за подписью Ал. Ч-ий — стихотворения: „Много жил золотоносных“, „Половину небосклона“, „Новая волна“ и др.); более позднее вошло в изданный впоследствии небольшой сборник „Fiat lux“ (Пб., 1900); кое-что сохранилось в бумагах А. Н. в Саратовском Доме-Музее, например, одобрявшееся Ник. Г-чем (письмо из Астрахани 5 марта 1885 г.) стихотворение „Сияние ясного неба“, иное совсем не сохранилось и известно лишь по названию, как „Разговор взволнованного идеалиста с хладнокровным приятелем“, „Валенты нет на свете“, „Войдя к нему“, „Тихо так в комнате было“, и проч. Исполняя не раз повторенные пожелания отца, А. Н. посылал ему свои стихотворения и советовался с ним: Н. Г. иногда подробно высказывал свои впечатления, — так было с стихотворением „Долго шел он“ (письмо 27 января 1885 г.) и с некоторыми другими. Впоследствии А. Н. писал и прозой: в 1896—98 гг. им было написано несколько фантастических рассказов. Но полному развитию его литературных талантов помешало его основное горе — болезнь.

Еще в 1862 г., после недавнего ареста отца, маленький Саша был тяжело болен и Ник. Гавр. писал тогда, 1 ноября, из Петропавловской крепости С. Н. Пыпину, как ближайшему лицу после отсутствовавшего А. Н. Пыпина, следующие тревожные строки: „Узнай хорошенько от докторов и скажи мне, что это такое за болезнь, бывшая с Сашею: „от застуженной кори сделалась у него водянка и 3 раза ставили пиявки от воспаления в почках“ — так пишет жена. Пожалуйста узнай и напиши по правде, оставляет ли это по себе следы в ребенке 8 лет, или все изглаживается с ростом“. Весьма вероятно, что кроме обычных осложнений при кори, на этот раз видимо серьезных, были и еще какие-нибудь другие, и возможно, что предположения Н. Г. относительно последствий для здоровья мальчика имели свое основание. Как бы то ни было, в моло-

дые годы Саши понемногу выяснилось, что при исключительном, хотя и не вполне пропорциональном, физическом сложении он страдал сильной неврастенией. Болезнь прогрессировала, но была понята и определена не сразу: долгое время за ним наблюдались только „странности" и „чудачества", и лишь к началу 80-х годов определилось душевное заболевание Ал. Ник-ча, с 1882 г. принявшее форму острых припадков. Больного приходилось неоднократно помещать в специальные лечебницы, откуда его, однако, по миновании ярких приступов болезни выпускали, еще не умея применять лишь впоследствии выработанных специальных способов лечения. В Вилюйск об этом Ник. Г-чу родные не сообщали, естественно желая оберечь его от новой тяготы; поэтому у него дольше других держалось впечатление „странностей" сына, которого он считал просто „нелепым чудачиной". После личных встреч с сыном в Астрахани Н. Г., конечно, мог увидеть настоящую картину, но все же, видимо, отдалял от себя окончательное впечатление, являвшееся для него тяжелым ударом. В 1885 г. (9 июня), когда А. Н. находился на излечении в лечебнице для душевно-больных на Удельной, Н. Г. писал младшему сыну Михаилу Ник.: „Пиши мне чистую правду о состоянии его (Сашиного) здоровья. Мне смягчений не нужно... Напиши, мой милый друг, как мне поступить для облегчения бедственной жизни твоего брата. Пишу ему несколько строк". Но только лишь через год Н. Г. узнал эту правду: прежде он „очень досадовал" на сына, теперь, — пишет он Ольге Сократовне (9 июня 1886 г.), — разговоры с П. И. Боковым „произвели перемену" в его чувстве: „бедный Саша действительно болен, объяснил мне Петр Иванович; когда, к несчастью так, то — досадовать на больного дело напрасное". Но несмотря на это, Н. Г. все-таки остается неубежденным и через много времени, в 1889 г., пишет Михаилу Ник. о „нелепостях несчастного (душевно-больного или просто бестолкового, не разберу), нищенствующего брата". [1]

Таким образом отношения отца к сыну были затруднены: сначала по приезде в Астрахань Н. Г. звал Сашу жить вместе, потом он приглашал его в Астрахань под условием отдельной самостоятельной жизни Саши, наконец, по водворении в Саратове, он решительно отклонял для А. Н. самый приезд туда. Причиной этому, как можно предполагать, являлись отношения

[1] Слово „нищенствующего" относилось к поездке А. Н. за границу (см. ниже).



АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

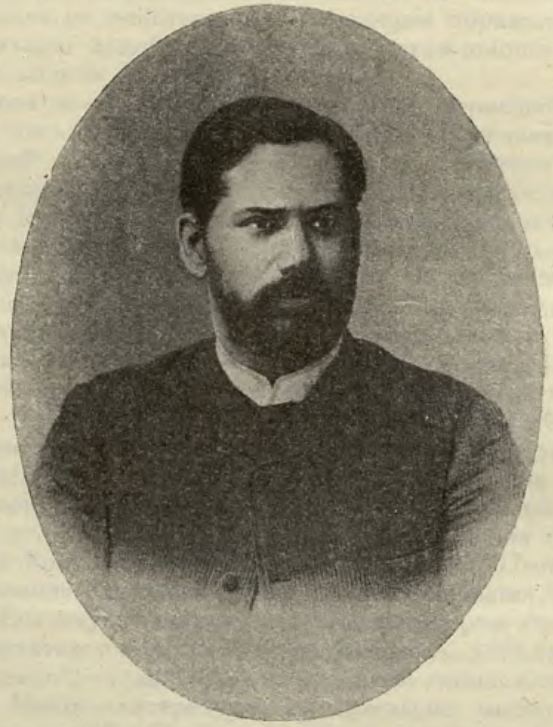
1895

матери к сыну: Ольга Сократовна не любила Сашу,— приходилось оберегать ее покой и, по возможности, устранять или отдалять встречи ее с сыном, готовым видеть в ней „врага". Все это ложилось тяжелым бременем на измученного Н. Г-ча; последнее из известных нам его писем было написано к Саше 11 октября 1889 г., т. е. за шесть дней до смерти Н. Г. В нем обращение к сыну уже смягчается и высказывается возможность свидания в случае Сашиного „намерения исправиться". Сам А. Н. был в это время за границей, откуда возвратился после смерти отца: это была неудачная поездка на Парижскую всемирную выставку, задуманная им в болезненном состоянии. А. Н. пустился в путь почти без денег, очутился вскоре в чрезвычайно затруднительном положении и наделал не мало хлопот для Ник. Г-ча и близких, которым пришлось вызволять бедного путешественника, оставшегося за границей без гроша. После этого старые припадки психического расстройства А. Н. повторялись еще несколько раз; в дальнейшем острота этих явлений сгладилась и перешла в хроническую форму психостении с постоянно повышенной нервной восприимчивостью и чувствительностью. Беда была в том, что в таких условиях, наряду со своими математическими и философскими интересами, при обширной начитанности и замечательной памяти, А. Н. был лишен возможности приложить эти незаурядные данные к жизни и заняться регулярным трудом: ни уроки в учебных заведениях, ни служба, хотя бы не очень ответственная, не оказывались для него возможными, и приходилось отказываться от того и другого: так не удалась однажды его работа в качестве гувернера, так кончилась служба по нефтяному делу у Нобеля в Астрахани и др. Вместе с тем иногда болезненность не мешала А. Н производить на посторонних вполне нормальное впечатление. Таков был случай, когда в последний год перед отъездом из России (1898—99) он приехал к Пыпину на дачу; завязавшаяся беседа на литературные темы и спор о Лермонтове дали Ал. Н-чу повод неожиданно ярко и художественно обрисовать дарование и значение поэта и без конца декламировать его стихи; впечатление было столь сильное, что один из участников разговора, впервые познакомившийся тогда с Ал-дром Ник., не мог впоследствии поверить, что наш талантливый собеседник был больной человек. Наконец, усилившаяся Базедова болезнь потребовала для А. Н. коренной перемены климата: на севере ему становилось трудно дышать; побывав в Париже и почувствовав там сильное облегчение, он решил уехать туда на

постоянное житье. Средства к жизни за все эти и последующие годы были у А. Н., конечно, самые скромные: с 1883 по 1889 г. помогал ему из Астрахани сам Н. Г. По смерти Н. Г. эту заботу взял на себя А. Н. Пыпин, а когда умер и он (1904 г.), на помощь А. Н. пришли Лит. Фонд, близкие и Комиссия по выдаче пособий при Академии Наук. На эти небольшие деньги жил А. Н. в одном из парижских пригородов, иногда прирабатывая немного литературным трудом: он интересовался тогда кустарным делом и изредка писал по этому вопросу Его интересы оставались очень широкими, не изменяла и прежняя память, которой он удивлял окружающих: так, осматривая однажды Музей Монетного двора в Париже, он обнаружил при этом такие богатейшие познания в нумизматике, что поразил своими разъяснениями не только публику, но и самих сотрудников Музея, поднесших ему при этом на память небольшую медаль города Парижа. Однако, болезнь не дала А. Н. твердо обосноваться в Париже: в 1903 г. он перебрался в Рим, где и прожил уже безвыездно свои последние годы; физически здесь он чувствовал себя лучше, а любовь к итальянскому искусству, которое А. Н. хорошо изучил, давала возможность отвлекаться от душевных переживаний. Личные материальные требования его были всегда очень невелики: в небольшой комнатке с каменным полом на окраине города, он жил в одиночестве, без друзей, кроме разве семьи своих хозяев-итальянцев, привязавшихся к нему, но не вполне отвечавших на его разносторонние интересы. Переписки он почти не вел, обмениваясь лишь немногими строками с своей родственницей В. А. Пыпиной; за все последние годы жизни из своих близких А. Н. видел лишь ее (в Париже в 1902 г.) да ее брата, навестившего его в 1906 году в Риме и видевшегося с ним в продолжении нескольких дней. Ал. Н. был заметно рад обоим этим встречам и с увлечением показывал своему гостю римские музеи, где его встречали как привычного посетителя и заведомого знатока, не обращая внимания на болезненную оригинальность его небогатого внешнего вида.

Умер А. Н. скоропостижно в Риме в 1915 году.

Насколько можно себе представить, А. Н., одаренный, образованный, полный интересов к науке и жизни, не придававший цены материальным благам, должен был во многом напоминать своего отца, конечно, в далеком приближении. Когда, бывало, в пылу экстаза он полувдохновенно, полуистерически говорил, что если бы люди его послушали и поняли самые простые истины, тогда бы жизнь пошла иначе: все сделались бы



МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
1887

счастливыми, и жизнь стала бы красива и радостна, — он хотел научить людей быть счастливыми... Было ли это отражением снов Веры Павловны в „Что делать?“ или это было лишь совпадение?.. Сам он много счастья не видел. Развитию врожденной сосредоточенности и замкнутости помогала болезненность, а в результате последней усиливалось душевное одиночество. Все переживания, связанные с тяжелой участью отца, не могли не действовать угнетающим образом на крайне впечатлительную душу сперва ребенка, потом юноши и зрелого человека, а личная жизнь не создалась.

Следующим после Ал-дра Ник-ча сыном Чернышевских был Виктор, по письмам — „Викторинька“ или „Витенька“ (1857—60), умерший от скарлатины $3^1/_2$ лет в Саратове у деда и тетки, к которым он был отправлен на время погостить. Судя по письмам Ник. Г-ча, это был „любимейший“ из сыновей.

Годом моложе Виктора был третий сын Миша, родившийся в 1858 году. Первые впечатления его были разнообразны; после целого ряда всяких мытарств и переездов мальчика, передававшегося матерью то одним родственникам в Саратове, то другим в Петербурге и в восьмилетнем возрасте совершившего с „Мамашей“, — как он всегда и впоследствии называл Ольгу Сократовну, — путешествие к отцу в Кадаю, он плотно водворился в семье А. Н. Пыпина, проводя здесь зимы и время ученья, а на лето уезжая в Саратов. Он обучался в бывш. Ларинской гимназии, по окончании которой поступил в университет. По наклонностям и интересам он отличался от старшего брата. Вот как писал о нем А. Н. Пыпин Николаю Гавриловичу 30 июня 1881 г.: „Миша перешел теперь во 2-ой курс. Его вкусы другие, и некоторые черты от Мамаши: веселый характер с хорошими способностями, хотя заниматься немножко ленив“,—и далее: „Миша ловкий гимнаст, пловец“, и „интересы Миши—литература, он довольно много читал и занимался языками“. Однако, глубоко развиться этим молодым интересам Мих. Ник. не пришлось: не закончив университетского курса, он принужден был заботиться о заработке и вскоре стал самостоятельно работать. В работе он оказался человеком неутомимым, энергичным и четким. Много лет он служил по железнодорожному делу, занимаясь главным образом тарифными вопросами и явившись в этой сложной и специальной области выдающимся знатоком. Отношения Михаила Николаевича с отцом, то письменные, то личные, никогда не прерывались. К зрелым годам в нем окончательно выработалось сознание исторического значения Ник. Гавриловича,

и любовь сына выросла в глубокое почитание человека. В 1882—83 гг. он принимал непосредственное участие в хлопотах близких о возвращении отца, и его личная настойчивость и упорство немало помогли в этом деле. По переезде Ник. Гавр-ча в Астрахань Миша, находясь с ним в постоянной переписке, часто являлся как бы его посредником, то передавая Антоновичу переводную работу Н. Г., то отправляясь к А. Я. Панаевой по поводу писем Добролюбова, высылая в Астрахань книги и т. п. По смерти отца Мих. Ник. вскоре задумал издание некоторых его сочинений. По тому времени (цензурный гнет еще висел над Чернышевским) это была особенно не легкая задача, но он добился своего, и в конце концов в 1890-х годах были выпущены в „издании М. Н. Чернышевского" несколько сборников статей Ник. Гавриловича („Очерки Гоголевского периода русской литературы", Пб., 1890, и др.) Кроме того, он издал „Что делать?", „Пролог", а в 1905—1906 гг. „Полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского" в десяти томах. В то же время Мих. Ник. не отрывался от предпринятой большой работы: в продолжении двадцати слишком лет занятый служебными делами и уже окруженный собственной большой семьей, он с необычайной вдумчивостью и вниманием занимался систематическим изучением и подбором материала по биографии и трудам отца. О характере и значении деятельности Мих. Ник. за весь последний период его жизни уже говорилось немало, но пишущему эти строки приходилось не раз видеть Мих. Ник-ча за его работой и с наглядностью убеждаться в ее размерах и стройности, — и поэтому она ярко вспоминается. Сохранившийся архив Н. Г. Чернышевского представляет собою материал весьма обширный: его исследователю приходилось разбираться в массе семейных писем, рукописей, корректур и т. п., делать определения, выписки, копии, — все это входило в задачу Мих. Ник-ча. Затем на долгое время М. Н. занялся выполнением сложнейшей задачи расшифровки хранившихся в сенатском архиве дневников Н. Г. за 1848—53 гг., писанных наспех с пропусками чрезвычайно своеобразной и причудливой стенограммой, не поддававшейся первоначально никакому раскрытию: здесь потребовалось глубокое и точное знакомство с биографией Н. Г. и его окружением и настойчивый труд, чтобы слово за словом, строка за строкой пройти эти обширные страницы, комментировать их, подготовить к печати и дать нам теперь возможность знакомиться с этим ценнейшим материалом. Самому Мих. Ник-чу, к сожалению, не удалось до-

ждаться этой радости во всей полноте: при своей жизни в X томе „Полного собрания сочинений" Н. Г. Ч. он мог напечатать лишь небольшую часть дневников. В 1909 г. М. Н. издал составленный им библиографический указатель статей о Н. Г. Ч. и его сочинениях, переизданный в 1911 г. с значительными дополнениями, а в последующие годы поместил ряд своих статей в „Былом". В 1918 г., передав государству небольшой дом Чернышевских в Саратове, в котором родился и жил Н. Г. в молодости, Мих. Ник. окончательно переселился со всей семьей из Ленинграда в Саратов и принялся за устройство в этом доме памятного музея Н. Г. Чернышевского. Он собрал здесь громадный печатный и рукописный материалы, поставив себе целью ознакомление широких масс с жизнью и деятельностью знаменитого писателя, крупнейшего из предшественников русского марксизма, и с эпохой 60-х годов. В трудных условиях шла подготовительная работа Мих. Ник.: в еще неприспособленном помещении, непрерывно выхлопатывая средства на ремонт и оборудование дома, М. Н. решил не терять времени и в 1920 г. открыл для посещений созданный им Дом-музей. В назначенные дни он вынимал из картонок и размещал для осмотра очередные материалы и давал посетителям подробные объяснения, являвшиеся как бы лекциями, по окончании которых эти материалы снова укладывались в картонки, заменявшие отсутствовавшие витрины. Музей рос и креп, работа Мих. Ник-ча не прекращалась. На этой работе он и умер в 1924 году, в Москве, куда приехал, несмотря на болезнь, для хлопот перед Центром по делам Музея, который он стремился довести до полной законченности к столетней годовщине рождения отца. Действительно, к юбилейным дням 1928 года Дом-музей Н. Г. Чернышевского явился хранилищем ценнейшего рукописного и книжного материала и крупной культурной базой Поволжья.



И. С. Тургенев

Письма к М. Н. Толстой

Сообщил и комментировал *В. И. Срезневский*

И. С. Тургенев познакомился с М. Н. Толстой, интересуясь сначала и прежде всего тем, что она — сестра Л. Н. Толстого, автора так понравившейся ему „Истории моего детства". Он узнал от Некрасова, что эта повесть, автор которой скрылся под буквами „Л. Н.", принадлежит какому-то Толстому, узнал его верные инициалы, узнал, что он — на Кавказе, а ему, Тургеневу, конечно, было известно, что близ его Спасского, в 20—25 километрах, куда в это время он был сослан за свою статью по поводу смерти Гоголя, в сельце Покровском, [1] живут Толстые, Валериан Петрович и Мария Николаевна. Он старался узнать, нет ли у Марии Николаевны, рожденной тоже Толстой, брата на Кавказе, а „этот молодой человек,— по его словам,— если будет продолжать так, как начал, пойдет далеко". [2]

В 1852 г., однако, Тургеневу не случилось познакомиться с М. Н. Толстой; только в свой приезд в Спасское осенью 1854 г., когда Л. Н. Толстой был в Южной армии, он осуществил свое желание. Основой знакомства, как видно из писем Тургенева, был все-таки Л. Н. Толстой, но уже сразу его сестра увлекла Тургенева. Знакомство их начал муж М. Н. Толстой, В. П. Толстой, приезжавший к Тургеневу в Спасское „знакомиться"; он „женат на сестре автора" („Отрочества"),— подчеркивает Тургенев. На другой день после посещения В. П. Толстого он посылает ему только что вышедшую книгу „Современника" с „Отрочеством". [3] 24 октября Тургенев был в Покровском и познакомился с М. Н. Толстой. „Жена гр. Толстого, моего соседа, сестра автора „Отрочества",— премилая женщина, умна, добра и очень привлекательна",— пишет Тургенев Некрасову. „Я узнал много подробностей об ее брате... Жаль, что отсюда до них 25 верст. Она мне очень нравится". [4] Через два дня, 1 ноября, то же, но более свободно, просто и искренно, он пишет П. В. Анненкову; [5] сказав несколько слов о Л. Н. Толстом, он

---

[1] Чернского уезда, Тульской губернии, в 80 километрах от Ясной поляны и в 20—25 от Спасского.

[2] Письмо Т. А. Ергольской к Л. Н. Толстому (письмо по-французски).

[3] Письмо Тургенева к Н. А. Некрасову 22 октября 1854 г. („Русская мысль", 1902, № 1, стр. 120).

[4] Письмо к Некрасову 29 октября 1854 г. („Русская мысль", 1902, № 1 стр. 120).

[5] „Новый мир", 1927, кн. 9, стр. 157—158.

говорит про М. Н. Толстую, называя ее одним „из привлекательнейших существ, какие только мне удавалось встречать. Мила, умна, проста—глаз бы не отвел—на старости лет (мне четвертого дня стукнуло 36 лет)—я едва ли не влюбился.—Я вижу отсюда, как у вас круглятся глаза и губы, раскрывшись, испускают звук: кгха, кгха,—что по-вашему значит смеяться, но не могу скрыть, что поражен в самое сердце. Я давно не встречал столько грации, такого трогательного обаяния... Останавливаюсь, чтобы не завраться, и прошу вас хранить все это в тайне. Они будут жить в Москве нынешней зимой—и если вам можно будет оторваться на несколько дней от издания Пушкина для юбилея Московского университета...—я вас познакомлю". В постскриптуме к этому письму Тургенев снова пишет о своем увлечении М. Н—ой: „Вы подумаете: эка влюбчив, старый чорт!—Что делать! Чувствительным сердцем одарен от природы, Павел Васильевич!—но повторяю усиленную просьбу о содержании всей этой операции в тайне.—Странно мне, что я вас всегда избираю в конфиденты.—В „Отрочестве" Толстой описал свою сестру под именем Любочки. Только у ней теперь ноги „не гусем" и талия прекрасная. Ma basta, ma basta, per preta, как поет Лаблаш в Фигаро". П. В. Анненков в своей статье „Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым 1856—1863" [1] сводит в один ряд характеристики Марии Николаевны, набросанные И. С. Тургеневым. Он, по словам Анненкова, называет ее „умной, понимающей все кругом себя и обнаруживающей свое понимание только при случае".

В 1855 году Тургенева посетили в его Спасском его приятели В. П. Боткин, [2] А. В. Дружинин и Д. В. Григорович, конечно, предупрежденные его рассказами о Толстой. В своих воспоминаниях Григорович говорит, [3] что впечатление от М. Н. Толстой, которую он все время комически называет соседкой-красавицей, у них было иное. „Тургенев,—пишет он,—говорил, что при первом взгляде на нее ум наш помрачится и мы все попадаем ниц, как подкошенные стебли... Соседка-красавица произвела на нас обратное действие против того, что мы ожидали: она была во всех статьях скорей дурна собою, чем красива". Приятели, собравшиеся в Спасском (они были с 12 мая по 1 июня 1855 г.), проводили время беззаботно, очень приятно и шумно. „Разыграли",—пишет Тургенев Анненкову 2 июля, [4]—на домашнем театре фарс нашего сочинения и пародированную сцену из Озеровского Эдипа в костюмах, с декорациями, занавесом, публикой, вызовами, соперничеством и маленькой даже интрижкой—словом, со всеми принадлежностями домашнего театра". Толстые принимали близкое участие в этой жизни приятелей Тургенева. „По этому случаю,—говорит Д. В. Григорович,—граф. М. Н. Толстая прислала нам целый ларец браслетов, колец и диадему, долженствовавшие украшать костюм Антигоны". [5] Позже Тургенев вспоминает о той „восторженной веселости, подобной вечному смеху гомерических богов, которая по вдохновенному примеру графини кипит и гремит в стенах Покровского". [6]

---

[1] „Вестник Европы", 1885, т. II, № 3, стр. 11.

[2] Боткин познакомился с М. Н. Толстой раньше, в Москве: см. чрезвычайно интересные, в высшей степени положительные отзывы о ней в его письмах к И. С. Тургеневу. (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка 1851—1869, Ленинград, 1930, стр. 46—47 и 49—50).

[3] „Литературные воспоминания" Д. В. Григоровича, 1928, стр. 228.

[4] Из письма Тургенева, „Новый мир", 1927, кн. 9, стр. 159—160.

[5] „Литературные воспоминания", 1928, стр. 237.

[6] „Первое собрание писем И. С. Тургенева 1840—1883", П., 1884, стр. 23.

Увлечение Тургенева находило известный отклик у Марии Николаевны. Свое впечатление от знакомства с Тургеневым она сообщает брату уже значительно позже отъезда Тургенева из Спасского (средина ноября 1854 года). Ее письмо к Л. Н—чу, „восхитительное", как пишет Л. Н., пришло в Севастополь только в марте 1855 года; „милое, славное письмо, возвысившее меня в собственных глазах и побуждающее к деятельности", записал Толстой в дневнике. Отношения между М. Н. Толстой и Тургеневым прекрасно очерчены в одной статье, важной тем, что она основана на словах самой М. Н—ы, правда, довольно отдаленных от того времени, к которому они относятся, но все-таки живых и ярких. Затерявшаяся в провинциальной печати и оставшаяся почти неизвестной, статья эта приводит чрезвычайно интересные воспоминания М. Н. Толстой; статья написана М. А. Стаховичем по поводу двадцатилетия смерти Тургенева и почти 50 лет после описываемых событий. [1]

„Да, я была очень дружна с И. С.,—говорит М. М.—Одно время мы видались ежедневно. Потом мы долго переписывались, и у меня было много его писем, очень интересных и, по-моему, великолепно написанных". Их дружба особенно окрепла в 1855 году, когда Тургенев прожил в Спасском целых семь месяцев и „они сошлись еще теснее". „Мы (т. е. М. Н—на и ее муж), как семейные люди, реже ездили к нему, нежели он, одинокий, к нам, и, помнится, не проходило у нас дня без встречи. Мой муж был такой же страстный охотник, как И. С. С охоты они обыкновенно возвращались к нам и вечер проводили за чтением или беседой. Тургенев читал очень хорошо: просто, вдумчиво, как бы толкуя, но охотнее читал чужое и любимое им, нежели свое. Свое он читал только что написанное, даже не отделанное еще... Я помню, как он читал нам „Рудина", который и мне, и мужу очень понравился. Чаще всего мы с ним спорили о стихах. Я с детства не любила, не читала стихов; мне казалось, я говорила ему, что они всё выдуманные сочинения, еще хуже романов, которых я почти не читала и не любила. Раз наш долгий спор так настойчиво разгорячился, что перешел даже как-то в упреки, в личности. Тургенев сердился, декламировал, доказывал, повторяя отдельные стихи, кричал, умолял. Я возражала, ни в чем не сдаваясь и посмеиваясь..." Кончился их спор тем, что Тургенев уехал из Покровского, не прощаясь, и целых две—три недели не показывался Толстым. В следующий раз приехав к ним, он привез новую вещь—это был „Фауст", рассказ в девяти письмах. „Фауст" касается непосредственно Марии Николаевны; для нее он написан и ее изображает. „Это была рыцарская дань,—говорит в своих воспоминаниях И. Л. Толстой,—дань, которую он принес ее чистоте и непосредственности". [2] Осторожно коснулся Тургенев изображения М. Н—ы в лице Веры Ельцовой; рисует и самого себя, увлеченного ею и влюбленного в нее, ее мужа, которого, нужно сказать, в то время еще не вполне понял. „Фауст"

---

[1] „Орловский вестник". 1903, № 224: „В 1903-м году о 1853". Статья подписана буквами *М. С.* с названием места „Пальна" (имения Стаховичей). Имя М. Н. Толстой тоже скрыто в приведенном в статье ее разсказе. Следует отметить, что начало знакомства с Тургеневым Толстая относит ко времени жизни Тургенева в Спасском в ссылке, т. е. к 1852 г., но, очевидно, в этом случае память ей изменила, потому что первое впечатление от знакомства подробно описано Тургеневым в его датированных письмах, приведенных выше, и в письме к Е. Я. Колбасину 29 окт. 1854 г.: „Я здесь познакомился с его сестрой (она тоже за гр. Толстым). Премилая, симпатичная женщина". „Первое собрание писем Тургенева", стр. 9.

[2] И. Л. Толстой, „Мои воспоминания", М., 1914, стр. 256.

написан летом 1856 г., когда Тургеневу не была известна, конечно, та семейная драма, которую пришлось пережить М. Н — не, но многое он чувствовал и угадывал. В. П. Толстой был плохой муж для М. Н—ны; далекий от жены по годам (она вышла замуж, когда ей было 16 лет, а ему 34), [1] он еще до брака с ней находился в сожительстве с некой Гальцевой и продолжал эту связь и после брака; у него от неё были дети. Когда в 1857 году, после уговоров братьев, М. Н. Толстая разошлась с мужем [2] и поселилась в своем имении Пирогове, в 3 верстах от имения С. Н. Толстого, она сама написала Тургеневу об этом трудном и тяжелом для женщины того времени событии. Письмо это неизвестно, но из ответа Тургенева видно, что дружба их была глубока и искренна: „Вы не даром,—писал он ей,— полагаетесь на мою дружбу; действительно, я останусь вашим другом, пока буду жив". По словам воспоминаний И. Л. Толстого, она „до конца своей жизни сохранила о Тургеневе самое поэтическое воспоминание, ничем не запятнанное, светлое и яркое". [3]

Так на перекрестке Орловской и Тульской губерний в Тургеневском Спасском и Покровском Толстых у И. С. Тургенева и М. Н. Толстой мало-по-малу возникла взаимная близость; она постепенно росла и крепла и вместе с увеличением общих интересов и сходством взглядов достигла прочной и надежной дружбы.

Писем И. С. Тургенева к М. Н. Толстой сохранилось немного: всего шестнадцать. По словам М. Н—ны, „они пропали". „Один бесцеремонный мой свойственник,—говориг она,—посетил мое имение, после того как я переехала в монастырь, поднял стамеской верх письменного стола, в который я их запирала, унес вместе с двумя письмами Некрасова, которыми я очень дорожила, и, говорят, даже напечатал одно или несколько в каком-то журнале". [4]

Все теперь печатающиеся 16 писем хранились у М. Н. Толстой до самой смерти и завещаны ею С. А. Стахович, а последней отданы в Толстовский ленинградский музей. Большая часть печатаемых 16 писем без дат; когда они писаны—определяется довольно точно по разным привходящим данным (см. примечания). Не поддается определению последнее письмо, по почерку приблизительно относимое к 1860-м годам.

1

ПИСЬМО К В. П. ТОЛСТОМУ

[1854 г. Конец октября—ноябрь].

Посылаю Вам, любезный Граф, Порфирия. Собаку приведет к Вам охотник. Я буду у Вас в Четверг—если этот день Вам удобен. Привезу с собой Онегина. Да кстати, Вы может быть не читали мою повесть „Затишье". Посылаю

[1] В. П. Толстой род. в 1813 г., ум. в 1865 г. М. Н. Толстая род. в 1830 г. ум. в 1912 г.

[2] См. письмо В. П. Боткина к И. С. Тургеневу 7 авг. 1857 г. с отрицательным отзывом о В. П. Толстом (В. П. Боткин и И. С. Тургенев, Неизданная переписка 1851–1869, Ленинград, 1930, стр. 122).

[3] И. Толстой, „Мои воспоминания", М., 1914, стр. 256.

[4] „Орловский вестник", 1903, № 224.

её Вам.—Двух приятелей у меня нет.—Мой усердный поклон Графине. До свидания.

Преданный Вам

И. Тургенев.

Воскресение вечером.

Даты в письме нет; она определяется упоминанием о повести „Затишье" как о только что напечатанной, посылаемой Тургеневым для прочтения. „Затишье" вышло в „Современнике", 1854, № 9. Тургенев в 1854 г. приехал в Спасское 22 сентября, а в средине ноября был уже в Петербурге (Н. М. Гутьяр, „Хронологическая канва" для биографии И. С. Тургенева. „Сборн. отд. русск. яз. и слов.", (т. XXXVII, № 2, 1910). Знакомство Тургенева с Толстыми состоялось: с В. П. Толстым 20 октября 1854 г. В. П. Толстой приехал к Тургеневу в Спасское знакомиться; с М. Н. Толстой—24 октября в Покровском („Русская мысль", 1902, № 1, стр. 120: письма к Некрасову 22 окт. и 29 окт. 1854 г.)

Порфирий Тимофеевич Кудряшев, врач в Спасском, крепостной В. П. Тургеневой, матери И. С. Тургенева, был ею отправлен за границу с И. С. в качестве „козачка"; там он поступил на медицинский факультет одного из немецких университетов (по словам М. Н. Толстой—Берлинского, см. ниже); несмотря на уговоры Тургенева, он вместе с ним возвратился в Россию. См. о нем интересную заметку Е. Я. Колбасина в Первом собрании писем И. С. Тургенева (Спб., 1884, стр. 20—21).

Онегин—„Евгений Онегин" Пушкина.

„Двух приятелей".—Повесть И. С. Тургенева „Два приятеля" напечатана в „Современнике", 1854, № 1.

2

ПИСЬМО К В. П. ТОЛСТОМУ

С.-Петербург. 3-го января 1855 г.

Ваше письмо очень обрадовало меня, любезный Граф—а то я боялся, что уеду отсюда, не получивши Вашего Московского адресса. — Я непременно — если буду жив и здоров, выезжаю отсюда 7-го числа, т. е. в Пятницу—и в Субботу вас увижу.— Я от моей кумы получил такое милое письмо, что непременно написал бы ей большой ответ, еслиб она не сказала мне, что моё письмо уже её в деревне не застанет.—И так до скорого свидания. Явлюсь с фотографом, Постоялым двором и т. д. и т. д.—Надеюсь, что мы несколько дней очень приятно проведем вместе.— Я думаю в Москве остаться до 18-го числа. — Будьте здоровы и веселы — жму Вам обоим крепко руки — и до свидания через пять дней.

Душевно любящий Вас

Ив. Тургенев.

От моей кумы, т. е. от М. Н. Толстой, с которой Тургенев крестил, как читаем в письме к Н. А. Некрасову 29 окт. 1854 г.: „завтра я с гр. Толстой крещу у Тургеневского попа, покумлюсь с ней" („Русская мысль", 1902, № 1, стр. 120). В письме № 4 М. Н. Толстая приписала, что с Тургеневым она „крестила у его спасского доктора Порфирия". Отметка эта относится к позднему времени, потому, вероятно, и неточна.

С фотографом, т. е. с фотографическим портретом (ср. ниже, письмо 17 октября 1855 г.)

„Постоялым двором".—Повесть И. С. Тургенева „Постоялый двор" в то время были еще в рукописи; напечатана в „Современнике", 1855, № 11.

До 18-го числа.—Тургенев из Москвы в Петербург вернулся позже, не 18 января, а 8 февраля (Н. М. Гутьяр, „Хронологическая канва").

3

ПИСЬМО К М. Н. ТОЛСТОЙ

[1855 г. январь].

Жалею, что Граф не может приехать — а я бы его обыграл. Впрочем здоровье моё поправляется — и если не завтра, то уже после завтра наверное увижу Вас, милая моя кума.— Будьте здоровы сами — это главное. — До свидания.

Ваш *И. Т.*

На обороте: Её Сиятельству Графине Марии Николаевне Толстой.

Предположительно относим это и следующее письмо к январю 1855 г., ко времени жизни В. П. и М. Н. Толстых в Москве; Тургенев в Москву приезжал на юбилей университета, т. е. к январю 1855 г. Дает право на это предположение употребление Тургеневым слова „кума", которое, кроме этих писем, только и упоминается в письме 3 января 1855 г. (предыдущем); затем это подтверждает и краткость этих писем, указывающая на городские, т. е. более доступные сношения.

4

ПИСЬМО К М. Н. ТОЛСТОЙ

[1855 г., январь]

Желание моей милой кумы мне дороже всяких приказаний— я и без того хотел завтра быть у Вас вечером—а уж теперь-то непременно. До свидания.

Преданный Вам

Ив. Тургенев.

На обороте: Её Сиятельству Графине Марии Николаевне Толстой.

Милой кумы.—При этом слове отметка М. Н. Толстой и затем внизу примечание: „Я с ним крестила у его спасского доктора Порфирия, который был крепостной его матери; по просьбе Ив. Серг. был послан учиться за границу и был в Берлине в университете". О П. Т. Кудряшеве см. выше, № 1.

5

ПИСЬМО К В. П. И М. Н. ТОЛСТЫМ

С. Петербург. 25-го февр. 1855.

Любезные друзья мои.

Пишу Вам сегодня только несколько строк.—Не стану говорить Вам о потрясающем событии, которое занимает теперь все умы... Хочу сказать Вам два слова о себе. Вообразите Вы себе, что я до сих пор нездоров и вышел только раз—а именно на другой день кончины Государя—опять простудился и опять сижу дома—и поручение M-lle Vergani исполнить до сих пор не мог!—Это очень досадно!—Надеюсь, что дня через три опять поправлюсь—и тогда первым моим делом будет исполнение этого поручения.—Что Вы примолкли.—На последнее мое письмо к Вам я ещё не получил ответа. Может-быть—Вы уже выехали в деревню—или собираетесь выехать? Как здоровье Графини?—Пожалуйста, уведомьте меня обо всем этом.—До свидания—могу сказать—до скорого свидания.—Жму Вам всем руки и остаюсь

Преданный Вам

Ив. Тургенев.

Потрясающее событие—смерть Николая I—18 февраля 1855 г.

Vergani, Евгения,—компаньонка у девиц Арсеньевых, живших в соседстве с Ясной Поляной, в имении Судакове. На старшей из Арсеньевых—Валерии Владимировне—Л. Н. Толстой одно время предполагал жениться.

Последнее мое письмо.—Письмо это не сохранилось.

6

ПИСЬМО К В. П. И М. Н. ТОЛСТЫМ

С. Петербург. 22-го марта 1855.

Милые мои друзья, я получил Ваше письмо, в котором Вы меня извещаете о Вашем отъезде в деревню; — если буду жив и здоров, надеюсь увидать Вас через две недели — не позже — я отсюда хочу выехать 30-го Марта—весна зовет в деревню — да и здесь делать нечего.—Надеюсь застать Вас всех в хорошем здоровьи. Я видел здесь Графа Сергея Николаевича. — Он сообщил мне несколько известий о Льве Николаевиче. Пожалуйста перецелуйте за меня всех Ваших детей — и кланяйтесь всем знакомым, начиная с Дельвигов. — Моё здоровье теперь порядочно—а в деревне, я уверен, мы все заживем припеваючи. Ваше ружье, любезный Граф, отделано весьма

хорошо—я Вам его привезу.—И так, до скорого свидания—жму Вам всем руки.

Преданный Вам
Ив. Тургенев.

P. S. Боюсь как бы меня не выбрали в ратники. Это было бы плохо. —

Хочу выехать 30-го марта.—Тургенев приехал из Петербурга в Спасское 12 апреля 1855 г.

Граф Сергей Николаевич—Толстой, брат Л. Н. Толстого, род. в 1826 г., ум. в 1904 г.

О Льве Николаевиче. — Л. Н. Толстой в это время был в Севастополе.

Ваших детей. — Дети М. Н. и В. П. Толстых были: Варвара (1850—1921), Елизавета (р. 1852) и Николай (1851—1879).

Дельвигов. — Семья бар. Александра Антоновича Дельвига (1818 — 1882), близкие соседи М. Н. и В. П. Толстых; жена его Хиония Александровна, сестра его Любовь Антоновна (см. о них в воспоминаниях Т. А. Кузминской, рожд. Берс—„Моя жизнь дома и в Ясной Поляне").

Ратники. — Ратники ополчения собирались по случаю войны с Англией, Францией и Турцией.

7

ПИСЬМО К М. Н. ТОЛСТОЙ

[1855 г. 24 июля].

Любезная Графиня, завтра чем свет карета отправляется вместе с Порфирием и девушкой—и в 9-м часу уже будет у Вас.—Очень мне жаль, что Анне Семёновне не удалось погостить у Вас, тем более, что в Спасском прескверно—каждое утро погребальный звон и голосьба—Вы знаете—кладбище у нас под окнами.—Сегодня трое умерло от холеры—на завтра четверо готовы и т. д. Можете себе представить, как это восхитительно.—Надеюсь, что нездоровье А. С. скоро преходящее—а вам всем в Покровском один мой совет:

Покаместь наслаждайтесь ею,
Сей легкой жизнью.

Преданный Вам
Воскресение. *Ив. Тургенев.*

P. S. Повесть я кончил — и если буду жив, привезу ее в Пятницу.

Даты у письма нет; определяем ее из упоминания в письме о холере, которая этим летом посетила Орловскую и Тульскую губернии. Тургенев в этом году приехал в Спасское 12 апреля; 15 июня он писал П. В. Анненкову, что „здесь еще холеры нет"; 1 июля он пишет ему же: „здесь холера свирепствует"; вероятно, письмо писано после 24 июля (воскресенье),

что определяется временем окончания упоминаемой в P. S. к письму повести „Рудин". Все сказанное подтверждается письмом Тургенева к В. П. Боткину от 25 июля 1855 г., в котором говорится о „погребальном звоне" в Спасском, о „голосьбе баб на кладбище", о том, что там „холера свирепствует", и о том, что он „вчера окончил большую повесть, листов 7 печатных" (В. П. Боткин и И. С. Тургенев, Неизданная переписка 1851 — 1869, Ленинград, 1930, стр. 66—67).

Порфирий—П. Т. Кудряшев, см. выше, прим. к письму 1.

Анна Семеновна — Белокопытова, сестра жены дяди Тургенева, Николая Николаевича (см. ниже), Елизаветы Семеновны; здесь в письме приписка рукою М. Н. Толстой: „belle soeur его дяди". Очевидно, она захворала в Покровском у М. Н. Толстой и за ней была отправлена Тургеневым карета и доктор.

Покаместь упивайтесь (а не „наслаждайтесь") *ею, сей легкой жизнию* (а не „жизнью"). — Из 2-й главы „Евгения Онегина", строфа XXXIX.

При слове „*повесть*" приписка М. Н. Толстой: „Фауст", но по „Хронологической канве" Гутьяра эта повесть отнесена к 1856 году. Не „Рудин" ли эта повесть, которую Тургенев написал в Спасском, начав 5 июня и окончив 24 июля 1855 года? (Впоследствии он сделал к этой повести несколько больших прибавлений. См. Н. М. Гутьяр, „Хронологическая канва", и „Вестник Европы", 1885, т. II, № 3, стр. 8). Ср. ниже письмо 17 окт. 1855 г.

8

ПИСЬМО К В. П. ТОЛСТОМУ

[1855 г., август или сентябрь].

Любезный Граф,

Сей час вернулся с охоты — валдшнепов совсем нет—и не будет пока не пойдут дожди—и потому не хотите-ли завтра приехать с Графиней—я буду дома—а если С. Н. приедет—то можно будет прислать за Вами—жду Вас к обеду.

Преданный Вам

Ив. Тургенев.

Пятница.

Его Сиятельству Графу Валериану Петровичу Толстому.

Время написания письма определяется охотой на вальдшнепов, которая с собакой начинается в сентябре, когда вальдшнепы, перед отлетом на юг, перемещаются из леса в более открытые и сырые места.

С. Н.—Сергей Николаевич Толстой.

9

ПИСЬМО К В. П. ТОЛСТОМУ

[1855 г., 23 сент.]

Любезный Граф, если у Вас еще уцелела бутылка пороху, которую я Вам возвратил, сделайте Божескую милость—пришлите ее мне. Предусмотрительные мои охотники только тогда объявили мне, что надо бы достать пороху—когда его не

осталось ни пылинки.—Я сегодня чуть свет посылаю в Орел—но ужасно не хотелось бы пропустить хоть один из последних дней охоты.

В Середу я приеду проститься с вами — что, видели ли Вы наконец Сергея Ник. и нет ли известия от Льва Ник.?— До свидания.

Преданный Вам

Пятница утром. *Ив. Тургенев.*

Время написания письма определяется: *год*—словами: „нет ли известия от Льва Николаевича"; тогда вести были особенно тревожны: незадолго был взят Севастополь, и какова была судьба Л. Н. Толстого—было неизвестно; *месяц* — близкий отъезд Тургенева из Спасского (7 октября он был в Москве); „в середу я приеду проститься—с вами", — читаем в письме; конечно, эта середа последняя в сентябре—28-го. Следовательно, письмо писано в пятницу 23 сентября.

Сергей Ник. — Сергей Николаевич Толстой.

10

ПИСЬМО К М. Н. И В. П. ТОЛСТЫМ

С. Петербург. 17-го октября 1855.

Любезные друзья мои, я дня четыре тому назад приехал благополучно в Петербург—и нашол всех друзей на старых местах, Некрасов поправляется (фотограф его вышлется Вам, Графиня, с первой окказией) — и т. д. Мне предстоит много дела—и разъездов—времени собственно для себя останется мало.—Считайте нынешнее письмо не более как за дружелюбный поклон, который я посылаю Вам. Напишите мне, что Вы все делаете—и как Ваше здоровье. Жду так же от Вас музыкальных поручений, которые исполню все в точности. Повесть я свою прочел — она понравилась — но мне сделали несколько дельных замечаний, которые я принял к сведению.— Я приехал сюда с Боткиным — и он и Дружинин Вам кланяются.—Напишите мне, бываете ли Вы в Спасском.— Новостей особенно никаких нет — об отставке Клейнмихеля Вы уже вероятно слышали. Я достал в целости статью Льва Николаевича [6] — и уже велел списать ее для Вас.—Страшная вещь. Если Вы получите письмо на Ваше имя, с прозьбой переслать его к нему, сделайте это без отлагательства.

Пока прощайте. Будьте здоровы и пишите мне.

Душевно вам преданный

Ив. Тургенев.

Дня четыре... — Письмо это определяет время возвращения Тургенева в Петербург—13 или 14 октября. В „Хронологической канве" Н. М. Гутьяра только „приблизительно" 10 октября.

Фотограф — фотографический портрет Н. А. Некрасова.

Повесть прочел. — Повесть эта — „Рудин", написанная в Спасском летом 1855 года. См. прим. к письму 7.

Боткин В. П. и Дружинин А. В., познакомившиеся с М. Н. Толстой летом 1855 г. в Спасском и Покровском.

Клейнмихель, гр., Петр Андреевич (1793 — 1869) с 1842 г. до 1855 г. главноуправляющий, затем министр путей сообщения; 15 окт. 1855 г. он был уволен от должности министра.

Статью Льва Николаевича — „Севастополь в мае", как известно, напечатанный с громадными урезками цензуры. Как видно, Тургеневу удалось получить этот рассказ без сокращений.

11

ПИСЬМО К М. Н. ТОЛСТОЙ

[1856 г., 8 мая].

Любезнейшая Графиня,

Я вчера приехал сюда—гораздо позже чем думал—и думаю пробыть здесь недель шесть.—Очень бы хотелось повидаться и поговорить.—Не приедете ли Вы завтра с Графом (завтра именины дяди) — мы очень будем рады. Дядя собирался ехать к Вам в Воскресение — да услыхал, что Вы нездоровы. — И так, в надежде увидеть Вас завтра, остаюсь

преданный Вам

Ив. Тургенев.

P. S. По обычной своей аккуратности я забыл порох—хотя теперь он не нужен—охоты нет—но если есть немного у Графа, привезите с собой. Я отдам.

Её Сиятельству Графине Марии Николаевне Толстой.

8 мая.—По Н. М. Гутьяру („Хронологическая канва") Тургенев приехал в Спасское в 1856 г., 9 мая; судя по настоящему письму, надо предполагать приезд Тургенева 7 мая, так как письмо писано на следующий по приезде день и накануне именин дяди, Николая Николаевича, которые праздновались 9 мая по старому стилю.

Именины дяди. — Дядя И. С. Тургенева, Н. Н. Тургенев, по словам Д. В. Григоровича, „человек старый, но крупный, служивший когда-то в кавалерии, большой весельчак и жуир, взявший на себя все хлопоты по хозяйству [Тургенева] и, как оказалось, распоряжавшийся им на более широкую ногу, чем бы следовало" (Д. В. Григорович, „Литературные воспоминания", 1928, стр. 231). Он был женат на Елиз. Сем. Белокопытовой. См. еще А. Фет, „Мои воспоминания 1848—1889", Москва, 1890, т. I, стр. 268—270.

12

ПИСЬМО К В. П. ТОЛСТОМУ

[1856 г., 4 июля].

Любезнейший Граф,

Я возвратился с охоты гораздо ранее чем ожидал, но я уезжаю отсюда ранее чем предполагал, а именно в будущий

Вторник. — Слышал я, что Графиня уехала к Льву Николаевичу — то можете ли Вы мне сказать, правда ли это—и когда она намерена вернуться, вместе-ли с ним или останется в Поляне? Я бы, соображаясь с Вашим ответом, так распорядился, чтоб увидать её, и его, и Вас.—Во всяком случае до свидания.

Душевно Вам преданный

Ив. Тургенев.

С. Спасское.
4-го июля 1856 г.
Середа.

В будущий Вторник, т. е. 10 июля; по „Хронологической канве" Н. М. Гутьяра—12 июля.

Графиня уехала... — М. Н. Толстая, судя по дневникам Л. Н. Толстого, у него в Ясной в эти дни не была. Л. Н. Толстой в Покровское приехал 3 июля; к Тургеневу из Покровского было послано 4 июля, и 5-го он приехал (Дневник Л. Н. Толстого). Отмечаем, что в первом собрании писем И. С. Тургенева находится письмо Тургенева к Е. Я. Колбасину, писанное из Покровского 2 июля 1856 г.

13

ПИСЬМО К М. Н. ТОЛСТОЙ

[1857 г., август].

Милая Графиня, я недавно (не более десяти дней тому назад)—получил письмо Ваше, писанное 25-го июля. Прежде всего благодарю Вас за то, что Вы, в тогдашнем Вашем положении, вздумали—или нет—подумали написать мне.—Вы не даром полагаетесь на мою дружбу; действительно—я останусь Вашим другом, пока буду жив.—Вы уже теперь, вероятно, давно свиделись с Вашим братом Львом; он Вам все рассказал и сообщил, признаюсь, я не без зависти думаю о Вашем житье-бытье вместе—и милый Николай Николаевич мне так и видится с своей трубкой, шахматами, неизменным хладнокровием и ласковым взглядом.—Надеюсь провести несколько дней в Вашем кружке в Москве зимой. Меня особенно порадовала в Вашем письме спокойная твердость, с которою Вы взглянули на Ваше будущее. Это положение довольно затруднительно—но оно не ложно—это главное.—Детки Ваши славные—с ними Вам больших хлопот не будет. Главное затруднение—будет ли прошедшее чисто и навсегда отрублено?—Надобно постараться определить эти отношения теперь же—и раз навсегда. — В этом случае я опять таки больше всего надеюсь на Ник. Ник. — Лев Ник. — поэт; он за все берется слишком быстро и живо — и выдержки в нем до сих пор не

было. — Так же надобно позаботиться хорошенько о Вашем здоровьи.

Жизнь на берегу Снежеди с ее смеющейся (извините выражение) пошлостью и глухо-немыми скорбями не могла не разрушать Вас по немногу; всё это надобно сбросить — навсегда.

Я надеюсь увидеть Вас скоро — а именно за несколько дней до Тульских выборов, на которых я непременно буду присутствовать. Если я застану Л. Н. в Петербурге, то я увезу его с собою.

О себе больше говорить не буду; до сих пор мне было худо — но, может быть, еще не всё для меня кончено, хоть я всё это время...

[оборвано]

В тогдашнем Вашем положении. — Летом 1857 года М. Н. Толстая разошлась с мужем и переехала в Пирогово, имение С. Н. Толстого, в 40 верстах от Ясной Поляны.

Братом Львом. — Л. Н. Толстой 30 июля вернулся из-за границы и 8 августа приехал в Ясную Поляну, а 9 августа свиделся в Пирогове с М. Н., С. Н. и Н. Н. Толстыми.

... в Москве зимой... — Тургенев только в июне 1858 г. приехал в Россию, весь 1857 год прожив за границей.

Снежедь или Снежет — река, приток Десны, на котором стоит Покровское.

14

ПИСЬМО К М. Н. ТОЛСТОЙ

[1858 г., октябрь].

Любезная Графиня,

Два слова в ответ на Ваше письмецо. — Я выздоровел от горячки — совершенно — но у меня на шее вскочил какой-то гадкий прыщ, который мешает мне выходить. — Однако я надеюсь, что к концу месяца я буду свободен от всех недугов и 30-го числа явлюсь к Вам в Ясную Поляну. — Все наши Вам кланяются — а я Вам дружески жму руку и желаю Вам ясности духа и спокойствия. — Поклонитесь от меня Вашему брату и всем Вашим домочадцам.

Преданный Вам

Ив. Тургенев.

Время письма определяется следующим письмом, писанным 24 октября 1858 г.

30-го числа, т. е. 30 октября 1858 г.

Брату — Л. Н. Толстому.

15

ПИСЬМО К М. Н. ТОЛСТОЙ

[1858 г., 24 октября].

Любезная Графиня,

Я только что вернулся вчера из Орла, куда я ездил для того чтобы освободиться от чирия, который засел у меня на затылке.—Теперь я почти совсем здоров—и надеюсь выехать отсюда 1-го или 2-го Ноября—то есть я буду у Вас в Ясной к вечеру 1-го или 2-го числа и надеюсь застать там Льва Николаевича.—И потому, до скорого свидания.—

Преданный Вам

Ив. Тургенев.

С. Спасское.
24-го Октября 1858.

5 ноября 1858 года Тургенев приехал из Спасского в Москву.

16

ПИСЬМО К М. Н. ТОЛСТОЙ

Любезная Графиня,

Я собирался завтра на охоту с Фетом, но узнавши Ваше прибытие в наши края и желание меня видеть, готов с удовольствием остаться на завтрашний день. И потому, пожалуйте сюда завтра как можно раньше—а я сей час Фета известил и попросил его так же приехать. Тряхнем стариной—и потому в надежде скорого свидания остаюсь

Преданный Вам

Ив. Тургенев.

Суббота.

Время письма не определяется точно: выражения „наши края," „тряхнем стариной" указывают на сравнительно позднее время, когда близкие для Тургенева места стали уже далеки для М. Н. Толстой. За позднее время говорит и почерк письма.

Г. Е. Благосветлов, Я. П. Полонский, Г. А. Кушелез-Безбородко

Письма и документы

С примечаниями и вступительной статьей *Г. Р. Прохорова*

«Начало „Русского слова“ и Г. Е. Благосветлов»

Конец 50-х годов характеризуется необычайным оживлением общественной мысли, нашедшей свое отражение и в печати. „Еще никогда,—писал Н. В. Шелгунов в воспоминаниях „Из прошлого и настоящего“,—не бывало в России такой массы листков, газет и журналов, какая явилась в 1856—1858 гг. Издания появлялись, как грибы, хотя точнее было-бы сказать, как водяные пузыри в дождь, потому что как много их появлялось, также много и исчезало... Вся печать, с *официальной*, доходила до 250 изданий“. [1]

С 1859 г. начали выходить, между прочим, два журнала: „Рассвет“ Кремпина, в котором выступил со своими первыми статьями Писарев, и „Русское слово“ гр. Гр. А. Кушелева-Безбородко (ум. в 1876 г.)

Гр. Г. А. Кушелев-Безбородко был сыном Александра Григ. Кушелева-Безбородко, преобразовавшего нежинскую гимназию в лицей. Ему чрезвычайно нравилась роль мецената, возможность которой ему обеспечивали его богатства. Сам не чуждый литературы,[2] он сближается с писательской разночинской средой;

[1] Сочинения Н. В. Шелгунова, II, СПБ, 1891, стр. 688.

[2] В 1857 г. он напечатал под псевдонимом Грицко-Григоренко „Очерки и рассказы“. Позже, в 1868 г., вышли его „Очерки, рассказы, путевые заметки“, 2 тт. В „Русском слове“ Кушелев стал помещать свои произведения с 1-го же номера, напр., „Воспоминания о путешествии за границей“; „Бианка (из записок моего приятеля)“. „Каприз богатого мальчика“; между прочим,

писатели и художники из разночинцев становятся постоянными посетителями его роскошных палат. Об „угощениях" и „гостях" графа сохранились воспоминания Фета,[1] Григоровича,[2] и Боборыкина.[3]

Но, отстав от своего круга, Кушелев не пристал и к „богемской братии", которая подсмеивалась над ним[4] и подшучивала над его рассказами.[5] С другой стороны, и дворяне не могли простить ему „измены" своему классу.[6] К тому же высшее общество было шокировано женитьбой графа на женщине „не из общества", Любови И. Кроль, которая будто бы имела на Кушелева „роковое влияние".[7]

У Л. И. Кроль был умный и образованный брат, Николай Иванович Кроль, сам поэт, который, повидимому, и втянул Кушелева и в литературу[8] и подбил его на издательство журнала.[9] По словам Шелгунова,[10] Кушелев решил завести свой

он писал и критические статьи, напр., по поводу „Униженных и оскорбленных" Достоевского (61, IX).

[1] „Мои воспоминания", ч. I, М., 1890, с. 130—133.

[2] „Литературные воспоминания", XII, 337.

[3] „За полвека (мои воспоминания)". Редакция, предисловие и примечания Б. П. Козьмина, 1929, с. 172.

[4] А. Фет, „Мои воспоминания", I, 133.

[5] Б. Козьмин, „Г. Е. Благосветлов и „Русское слово", „Современник", 1922, I, с. 200—292.

[6] „И вот русский барин—богач, взявшийся за непосильную ему умственную работу, является со знаменем во всех отношениях враждебного ему лагеря".—А. Фет, „Мои воспоминания", I, 133.—Еще резче отозвался о Кушелеве Тургенев в письме к Дружинину из Парижа от 5 дек. 1856 г.: „Кушелев мне кажется дурачком; я его все вижу играющим у себя на вечере—на цитре—дуэт с каким-то итальянским голодным холуем; но он богат, и потому может быть полезен".—„Первое собрание писем И. С. Тургенева, 1840—1883, СПБ, 1885, стр. 32.

[7] А. Г. Полянская, „К биографии Л. А. Мея". „Рус. старина". 1911, V, 354—355.

[8] Там же.

[9] В своих воспоминаниях Н. К. Михайловский говорит, что „Кроль грешил подчас некоторым либерализмом"—„Литература и жизнь" в журнале „Русская мысль", 1891, март, с. 209.—Вот отзыв, данный о Кроле в 1866 г. агентом СПБ. обер-полицеймейстера: „Кроль (поэт). Личность в высшей степени энергичная, даровитая и беззаботная. Ему было бы вино, карты, да подчас и женщины, вот и все. Вращаясь в кругу нигилистов, он далеко не нигилист, но в то же время и не консерватор. Кроль написал даже и русскую Marcellaise, и она долго ходила по рукам. Он не враг администрации, но заклятый, непримиримый неприятель придворной аристократии и, чтобы нагадить ей, готов на все. Обожает нынешнего императора и ненавидит окружающих его"—„Дело по Канцелярии С.-Петербургского Обер-Полицеймейстера. О литераторах и журналах. 1868—1872 г.", хранится в Московском государственном историческом музее.

[10] „Из прошлого и настоящего", 703.

журнал из-за удобства печатать в нем свои произведения, которые, как говорили злые языки, не хотел печатать ни один журнал.[1]

Дело стало за редактором, так как Кушелев-Безбородко не мог сам справиться с обязанностями редактора. Этого редактора и помощника ему Кушелев-Безбородко нашел за границей в лице поэта Я. П. Полонского и критика А. А. Григорьева.

Полонский с 1855 по 1857 год состоял учителем сына А. О. Смирновой,[2] урожденной Россети, муж которой был петербургским гражданским губернатором. Весною 1857 г. (18 мая) Полонский вместе со своим учеником Мишей выехал за границу; однако, за границей в семействе Смирновых он оставался недолго: уже в августе он расстался с ними и в конце того же 1857 г. приехал в Рим, где нашел, между прочим, Тургенева, Боткина и опять вошел в круг литературных интересов. Вот здесь-то и встретился он с Кушелевым-Безбородко, который и решил пригласить его редактором затеянного им журнала „Русское слово".[3] Летом 1858 г. Полонский женился в Париже на Е. В. Устюжской,[4] а осенью вместе с молодою женою вернулся в Петербург и приступил к исполнению своих редакторских обязанностей.

Весною 1858 г. был приглашен помощником редактора и А. А. Григорьев, живший в это время во Флоренции. Григорьев был приглашен Кушелевым по рекомендации Полонского,[5] который был сотоварищем Григорьева по универси-

---

[1] Письмо Чернышевского к Некрасову от 5 ноября 1856 г.; ср. Б. Козьмин, „Современник", 1922, 1, 202.

Идея издания журнала у Кушелева возникла еще в 1856 г. По крайней мере, Колбасин писал Тургеневу 18 октября 1856 г.: „Кушелев-Безбородко затевает какой-то критико-литературный журнал". Он же пишет Тургеневу 2 дек. того же года: „Журнал Безбородко приостановился; Дружинин, Гончаров и др. посоветовали ему, и совершенно резонно, чтоб сей влюбленный юноша прежде хлопотал о собрании статей, а потом уже приступил к изданию". Из дела СПБ цензурного комитета № 112 видно, что ходатайство Кушелева-Безбородко о разрешении ему издавать журнал подано им 2 ноября 1856 г. — Тогда же Кушелев стал заказывать статьи авторам, напр., Г. П. Данилевскому (см. письма к А. Краевскому в Лгр. Госуд. Публ. Библиотеке).

[2] Ср. „Рассказы А. О. Смирновой в записи Полонского", „Голос минувшего", 1917, кн. XI—XII.

[3] „Я. П. Полонский в Баден-Бадене в 1857 г. (неизданные письма поэта и воспоминания)", „Голос Минувшего", 1919, I—IV.

[4] Об этом у Л. П. Шелгуновой, „Из далекого прошлого". СПБ., 1901 г., стр. 88.

[5] „А. А. Григорьев". Материалы для биографии, стр. 339—340.

тетскому кружку, организованному тем же Григорьевым, как рассказывает в своих воспоминаниях Фет.

Апол. Григорьев после закрытия в 1856 г. „Москвитянина", подобно Полонскому, уехал в 1857 г. за границу с семьей кн. Юрия Трубецкого в качестве воспитателя его сына Ивана. Подобно тому как Полонский разошелся со Смирновыми, А. Григорьев вынужден был уйти от Трубецких.[1] Естественно, что он с радостью принял предложение и деньги Кушелева. Но были и другие причины, почему А. Григорьев так охотно пошел в журнал Кушелева; о них он говорит в письме к М. П. Погодину (15 апр. 1858 г., из Рима): „Возобновить прошлый круг, какая мечта. А Кушелевского журнала средства безграничные—редактором его, по *имени*, будет он сам, помощником, тоже только по *имени*, друг мой—поэт Полонский. Ergo, без имени редактора, я буду душою журнала. Стало быть, ничтоже сумняся, я предложение его принял, тем более, что все мною написанное здесь, а в этом написанном, с свойственною мне резкостью и безобразием, приведено все, что я передумал,—принято им безоговорочно и даже куплено... Тут мне будет полная свобода".[2] Чувствуя, что размах от „Москвитянина" к „Рус. слову" очень велик, А. Григорьев заранее пытается парировать упреки в этом, ссылаясь в письме к Тургеневу, от 11 мая 1858 г. из Флоренции, на то, что его упрекали и за работу в „Москвитянине", а с другой стороны, ему „нет выбора"[3].

Итак, в октябре 1858 г. А. Григорьев был уже в Петербурге, где усиленно занялся работою для „Русского слова". Не позже возвратился в Петербург и Полонский. Работа в редакции началась, но шла она, повидимому, не гладко по той простой причине, что между редакторами не было единства, а между тем, по словам Полонского в письме Кушелеву-Безбородко, „редакция есть общество людей, одинаково мыслящих, друг другу симпатизирующих". Кушелев был, конечно, дилетант в вопросах литературы и журналистики, к тому же часто уезжавший из Петербурга за границу и иногда надолго. По-

[1] И Полонского и Григорьева очень характеризует их отрицательное, а у А. Григорьева даже враждебное отношение к аристократии. Не Кроль ли, ненавидевший аристократию, указал Кушелеву-Безбородко на Полонского и Григорьева?

[2] „Аполлон Александрович Григорьев". Материалы для биографии. Под редакцией Влад. Княжнина. Пгр., 1917, стр. 231.

[3] Там же, стр. 236-а.

лонский был честный человек, но не имевший „определенных воззрений, определенной литературной физиономии; его рассказ, не принятый в либеральных органах, преспокойно появлялся на страницах „Русского вестника".[1] Что касается А. Григорьева, то В. М. Фриче в посвященной ему работе [2] характеризует его как „критика путаного и сумбурного", который и „сам не знал, кто он такой". В 40-х годах он одно время интересуется социализмом, посещает собрания у Петрашевского, позже входит в качестве деятельнейшего члена в молодую редакцию „Москвитянина" и, настроенный враждебно к „петербургским" принципам и журналам, восстает против „беллетристики" Петербурга, отстаивая „художество" Москвы.[3] Это было в начале 50-х годов. В 1856 же году он изъявляет согласие на предложение, исходившее чрез посредство Тургенева от Боткина, работать в „Современнике" Некрасова; как писал Некрасову Боткин, А. Григорьев „готов взять на себя всю критику „Современника", но с тем, чтобы Чернышевский уже не участвовал в ней".[4] Участие А. Григорьева в „Москвитянине" говорит о его славянофильских симпатиях,— так смотрели на него и современники, в частности и Благосветлов,[5]—однако, сам А. Григорьев заявлял, что он „столь же мало славянофил, сколь мало западник, столь же далек от Аскоченского, сколько от Добролюбова".

Хотя Полонский и не был писателем с определенной литературной физиономией, однако, вряд ли он мог разделять критические воззрения Григорьева.[6] С другой стороны, поскольку в распоряжение А. Григорьева в журнале было отдано два отдела—критики и библиографии, постольку в редакции с неизбежностью создавалось двоевластие. Трения между вторым редактором (Полонским) и помощником редактора (А. Григорьевым) были неизбежны, и они, действительно, начались. По крайней мере, Кушелев-Безбородко уже в начале фев-

---

[1] В. П. Соколов, „Боевые журналы бурной эпохи. I. Начало „Русского слова", „Русский библиофил", 1914, I, стр. 79.

[2] „Очерки по истории русской критики". Под редакцией А. Луначарского и Вал. Полянского, т. I, 1929, стр. 306.

[3] Б. М. Эйхенбаум, „Лев Толстой". Книга I. 50-е годы. Лгр. 1928, стр. 96.

[4] Там же, стр. 223.

[5] См. ниже, письма Благосветлова к Полонскому.

[6] В одной из тетрадей архива Полонского, хранящихся в ИНЛИ (б. Пушкинском Доме), имеется черновик статьи Полонского, критиковавшего критические статьи А. Григорьева.

раля 1859 г. пишет инструкцию,[1] в которой точно устанавливает права и обязанности членов редакции. Но, конечно, эта инструкция не могла устранить самого источника разногласий между Полонским и Григорьевым, тем более, что А. Григорьев твердо держался той линии, о которой он писал Погодину еще из Флоренции 11 мая 1859 г. Теперь он пишет ему же из Петербурга: „Разве не делаю я честно того же дела, которое делал в „Москвитянине", да и погодите, так ли еще будет, если великий банкир и покровитель всех Хлобуевых продлит жизнь Кушелева и хорошее состояние дела. Теперь еще, для того чтобы не запугать, я еще вынужден иногда хвалить и существующие факты, как факты признанные... Будет время, я все яснее и яснее разовью учение „Москвитянина", только разумеется, очищенное...[2] „Ясно, что на этом пути Григорьева Полонский являлся для него помехою, и вот Григорьев принялся выживать своего друга из редакции „Русского слова". [3]

Деятельность Полонского как редактора была таким образом очень стеснена, и положение его в редакции становилось невозможным. Вопрос об его уходе из редакции поднимался сам собою, и это стало скоро известно в литературных и журнальных кругах не одного только Петербурга. По крайней мере, уже 26 апреля 1859 г.[4] Благосветлов в письме В. П. Попову из Парижа высказывал сожаление о предстоящем уходе Полонского из „Русского слова", и его письмо от 1 мая 1859 г.

---

[1] Инструкцию см. ниже; она хранится в ИНЛИ (б. Пушкинском Доме) в архиве Полонского.

[2] „А. А. Григорьев". Материалы для биографии, стр. 243.

[3] В 1889 г., вспоминая о давно прошедших временах и в частности об Апол. Григорьеве, Полонский писал о нем Фету: „Он прибыл в Петербург и, сделавшись присяжным критиком „Русского слова", вытеснил меня из редакции за то, что я в одной из критических статей его сделал отметку такого места, которого ни я не мог понять, ни те, кому я читал это место. Это начало статьи о 2-м томе Русской истории Соловьева, которая начинается словами: „*Русский народ переживает двойную формулу...*" и затем не малое количество иностранных слов, избегать которых я, в качестве соредактора, обещался в объявлении о выходе в свет нового журнала" (там же, стр. 340). Ср. там же, стр. 341, интересное письмо П. П. Чубинского (1839—1884), который обвиняет А. Григорьева в некрасивом поступке в отношении Полонского. О Чубинском см. у Боборыкина, „За полвека", стр. 169—189.— Незлобивый Полонский не стал сердиться на Григорьева и даже содействовал его вступлению в журнал Достоевских „Время".

[4] М. Лемке, „Политические процессы в России 1860-х гг. по архивным документам", стр. 620.

было последним письмом к Полонскому, как редактору Кушелевского журнала.

Правда, Полонский пытается спасти положение. 25 мая 1859 г. он обращается к гр. Кушелеву-Безбородко с большим письмом, которое в мрачных красках рисует картину редакционных отношений и положение Полонского, как „второго редактора". [1] Кушелев-Безбородко отвечает на это 30 мая 1859 г. письмом в редакцию „Русского слова" и в этом письме намечает реорганизацию и журнала, и самой редакции.

Сохранился отрывок ответного письма Полонского на письмо Кушелева; в нем Полонский настаивал на том, чтобы редакция была передана в руки одного редактора. На другой день после написания этого ответа Полонский пишет Кушелеву-Безбородко новое письмо и в нем указывает на целый ряд несообразностей в ведении журнала. [2]

Повидимому, гр. Кушелев-Безбородко во всей этой истории держал сторону А. Григорьева, так как в одном из черновиков своих писем к Кушелеву Полонский жалуется ему на то, что его поверенные—управляющий главною конторою журнала Букин и Григорьев—„подыскивают редактора".

Кризис разразился в том же июне 1859 г.: июньская книжка журнала „Русское слово" вышла с большим запозданием, а июльская была подписана уже не тремя редакторами, а только одним Кушелевым-Безбородко; позже, в объявлении о подписке на 1860 г., помещенном в декабрьской книжке журнала за 1859 г., между прочим, было сказано: „с июля месяца нынешнего года состав редакции подвергся коренному преобразованию". Это преобразование проявилось в том, что заведывающим редакцией был приглашен А. Хмельницкий.

Таким образом триумвират распался. Иного конца и нельзя было ожидать от этой разношерстной редакции, не имевшей

---

[1] См. ниже.

[2] В архиве Полонского имеется несколько черновиков писем Полонского к Кушелеву-Безбородко, все на ту же тему редакционных нестроений и ненормального положения самого Полонского как редактора. Так, в одном черновике Полонский пишет: „Быть может т в о е „Русское слово" было бы теперь одним из лучших журналов в России, но с первого шагу ты связал мне руки, ты вместо того, чтобы оградить меня от всякого вмешательства других в дела редакции, создал мне соперников. Редактором—даже вторым—ты помешал мне быть".

К сожалению, мы не могли ознакомиться с письмами Кушелева-Безбородко к Полонскому; эти письма значатся в каталоге рукописей ИНЛИ, но их „нет на месте".

никакого политического направления в такое ответственное время, как конец 50-х и начало 60-х годов.[1]

После распада первой редакции „Русского слова" А. Григорьев, который уже в июне почувствовал шаткость своего положения и стал искать работы у Краевского в „Отечественных записках",[2] продолжал все же некоторое время играть в редакции известную роль. Так именно по его рекомендации заведывающим редакцией был приглашен Хмельницкий—„личность темная и в литературе совершенно неизвестная"[3]. Но сам Григорьев не удержался даже в числе сотрудников „Русского слова". С одной стороны, его статьи встретили „град насмешек" со стороны Добролюбова, с другой стороны, Хмельницкий стал выправлять статьи Григорьева, вымарывая дорогие последнему имена—Хомякова, Киреевского, Аксакова, Погодина, Шевырева.[4] В августе 1859 г. Григорьев окончательно порвал с „Русским словом",[5] Полонский же продолжал сотрудничать, причем ему было назначено даже особое жалованье (см. ниже письмо к Полонскому Хмельницкого и письмо Полонского к Кушелеву-Безбородко, уже от ноября 1859 г.).

Хмельницкий забирает журнал в свои руки, становится почти хозяином его, доходит до того, что отказывается помещать в журнале произведения своего патрона. Однако, сам Хмельницкий совсем не был журналистом: журнал, который разбух до 50 листов, он, не считаясь с потребностями времени, заполнял скучными и никому ненужными статьями.[6]

---

[1] В. П. Соколов чрезвычайно идиллически рисует эту первоначальную редакцию „Русского слова" („Весело, дружелюбно началось издание „Русского слова". Редакторы и сотрудники пировали у графа"...), причем ответственность за ее распадение склонен, к удивлению, свалить на „случайную особу", т. е. на Благосветлова, хотя сам же пишет: „Просвещенная, добродушная редакция не имела никакого политического направления... ею владели добрые намерения, общий гуманизм и тяготение ко всему хорошему русскому. Она не считалась с интересами и настроениями минуты; не считалась с потребностями молодого поколения"—„Русский библиофил", 1914, I, 82—83.

[2] Письмо к А. А. Краевскому от 3 июня 1859 г. „А. А. Григорьев". Материалы для биографии, стр. 244.

[3] Из письма Полонского к Фету. „А. А. Григорьев". Материалы для биографии, стр. 340; ср. письмо А. Григорьева к М. П. Погодину, от марта-апр. 1860 г.,—там же, стр. 257.

[4] „А. А. Григорьев". Материалы для биографии, стр. 306: „Краткий послужной список на память моим старым и новым друзьям".

[5] Там же, стр. 349.—Из письма Горбунова к Островскому известно, что Хмельницкий вооружал против Григорьева даже его кредиторов,—там же, стр. 349, 392.

[6] О том, как плохо велись дела в редакции „Русского слова" при Хмельницком, см. у Л. П. Шелгуновой, „Из далекого прошлого", стр. 107.

А между тем общественная атмосфера насыщалась электричеством: заработали политические кружки, приближалась реформа 19 февраля, а с нею и первые революционные выступления, первые революционные прокламации. Время требовало журнала с более ясной политической платформой и определенным характером.

Тогда Кушелев увидел себя вынужденным взять новое лицо в редакторы своего журнала,—лицо, которое могло бы придать журналу определенную физиономию и примирить его с современностью. Выбор пал на проживавшего в Париже сотрудника „Русского слова" Г. Е. Благосветлова, которому он и предложил взять журнал в свои руки. Благосветлов соглашается, немедленно едет в Петербург и уже в июне (1860 г.) подготовляет к печати очередную книжку „Русского слова".

Григорий Евлампиевич Благосветлов (1824—1880),[1] сын священника, родился в Казанской губ. Среднее образование он получил в саратовской семинарии; по окончании семинарии он едет в Петербург и поступает сначала в медико-хирургическую академию, а потом переходит в университет, юридический факультет которого он оканчивает в 1851 г. Еще студентом Благосветлов знакомится и сближается с И. И. Введенским,[2] оказавшим на него большое влияние.[3] И. Введенский был выдающейся личностью, собравшей вокруг себя в конце 40-х годов целый кружок, в который входили, между прочим, А. П. Милюков, поэт Минаев, В. Д. Яковлев, автор книги „Италия", Вл. Н. Рюмин, наконец, Н. Г. Чернышевский и А. Н. Пыпин. В кружке больше всего внимания уделяли литературе, но интересовались и политикой, в особенности в связи с европейскими событиями 1847—1848 гг.; „горячих почитателей

---

[1] Мы не имеем сколько-нибудь обстоятельной биографии Благосветлова. Наиболее ценный биографический материал о нем мы находим у Н. В. Шелгунова: биографический очерк, приложенный к „Сочинениям Г. Е. Благосветлова". СПБ, 1882, I—XXVIII, и „Переходные характеры" — Сочинения Н. В. Шелгунова. СПБ., 1891, т. II, стр. 794—788; кроме того: „Из прошлого и настоящего", гл. XVIII; в „Критико-биографическом словаре" С. А. Венгерова, т. III, стр. 345—362 (здесь указана и литература о нем, но далеко не полная); в статье Б. П. Козмина, Г. Е. Благосветлов и „Русское слово", „Современник", 1922, I, стр. 192—250 (здесь ссылки на новейшую литературу о нем).

[2] В 1857 г. Благосветлов написал биографический очерк своего безвременно погибшего друга—„Сочинения Г. Е. Благосветлова", стр. 3—36.

[3] Ср. А. Лебедев, „К биографическому очерку Г. Е. Благосветлова", „Рус. стар.", 1913, март, 631.

социализма в этом кружке не было".[1] В 1853 г. Введенский предпринял путешествие за границу, побывал и во Франции, и в Англии. Поклонник политической свободы, он чувствовал себя „счастливым" в Лондоне;[2] в Париже ему было скучно.

Преподававший в военно-учебных заведениях литературу, а потом назначенный Я. И. Ростовцевым наставником-наблюдателем за преподаванием русского языка и словесности, И. И. Введенский „живо чувствовал эстетическую сторону художественного произведения" и ценил литературу.[3]

В кружке Введенского Благосветлов „прошел хорошую школу демократизма".[4] Вероятно, здесь сложились его основные воззрения—и политические, и литературно-критические. Можно думать, что не без влияния Введенского Благосветлов первые свои работы посвятил именно литературе, напр., „Исторический очерк русского прозаического романа" („Сын отеч.", 1856 г.), „Взгляд на русскую критику" („Отеч. зап.", 1856 г.), „Современное направление русской литературы" („Общезанимат. вестн.", 1857 г.); это было тем естественнее, что Благосветлов преподавал литературу в военно-учебных заведениях, куда его устроил тот же Введенский.

Впрочем, преподавание Благосветлова в пажеском корпусе окончилось неудачно: он был удален за „неспособность передавать воспитанникам ученье в выражениях приличных";[5] потом он был уволен и из других учебных заведений и в частности из Мариинского института, в котором он, как преподаватель, имел выдающийся успех.[6] Это было в 1856 году, а в следую-

---

[1] А. Милюков, „Литературные встречи и знакомства", СПБ, 1890, стр. 72; А. Н. Пыпин, „Мои заметки". М., 1910, стр. 74—77; здесь, между прочим, Пыпин отметил, что уже в это время Благосветлов заявил себя „человеком решительных мнений".

[2] А. П. Милюков, стр. 76.

[3] Перечень критических и историко-литературных статей Введенского, а равно и его переводов, дан Благосветловым в его биографическом очерке, стр. 28.

[4] Б. П. Козьмин, „Г. Е. Благосветлова „Русское слово"—„Современник", 1922, I, стр. 199.

[5] Об этом инциденте см. в биографическом очерке Благосветлова, составленном Н. В. Шелгуновым, стр. VII—VIII.

[6] Чрезвычайно красочно рассказал обо всем этом Благосветлов в письмах к своему слушателю по дворянскому полку, М. И. Семевскому. Часть писем Благосветлова, и притом наиболее интересных, напечатана В. Тимощук в книге „Михаил Иванович Семевский", СПБ, 1895, приложения, стр. 12—28; к сожалению, письма напечатаны неисправно и с сокращениями; один пропуск восстановлен Б. П. Козьминым в статье: „К биографии Г. Е. Благосветлова"—„Каторга и ссылка", 1928, № 12 (49), стр. 71—73.

щем, 1857 г., Благосветлов отправился за границу, чтобы там пополнить свое образование.

Он побывал в Швейцарии,[1] затем во Франции, наконец, в Англии,[2] где в Лондоне прожил некоторое время в семье Герцена в качестве учителя его детей, а затем опять поехал в Париж. В Париже Благосветлов слушал лекции в Сорбонне, сам мечтал попасть туда на кафедру,[3] сотрудничал в журналах, недоедал, как и другие обитатели Латинского квартала, но не забывал и о развлечениях.[4]

Шелгунов писал, что за границей у Благосветлова сложилось „вполне законченное общественно-политическое мировоззрение, с которым он и вернулся в Россию". Возвратившись в Россию, он „думал сначала проводить политические и исторические идеи и знакомить читателей с главными поворотными событиями в истории Франции",[5] в связи с чем приглашает для журнала специальных французского (Лефрень) и английского (Гаррисон) корреспондентов.

Живя в Париже и проклиная русскую действительность,[6] Благосветлов не порывает связей с русскими литературными кругами и журналами, в которые он посылает свои статьи, причем его посредниками в этом случае являются: его друг, тоже преподаватель военно-учебных заведений, В. П. Попов, впоследствии деятельнейший сотрудник „Русского слова",[7] а до того сотрудник „Пантеона" и „Общезанимательного вестника", и затем его ученик по кадетскому корпусу поэт К. К. Случевский.

Новый журнал Кушелева привлек к себе особенное внимание Благосветлова.

---

[1] Памятником этого явились очерки: „Часы моего досуга", озаглавленные потом: „Из путешествия по Швейцарии" — „Сочинения Г. Е. Благосветлова", стр. 569—600.

[2] С какими чувствами Благосветлов вступил на берег, „на котором человек чувствует себя лично свободным, как птица", он говорит в начале своей статьи „Страна живых контрастов", „Сочинения", стр. 129—157.

[3] Письмо к В. П. Попову от 18 янв. 1858 г., стр. 611.

[4] Об этом в письме Благосветлова к его другу В. П. Попову — см. М. Лемке, „Политические процессы в России 1860-х гг. (по архивным документам)", ГИЗ, 1923, стр. 608.

[5] Н. Шелгунов: биографический очерк, приложенный, к „Сочинениям Г. Е. Благосветлова", СПБ, 1882, IX.

[6] Ср. письма его к В. П. Попову.

[7] Именно на квартире у этого штабс-капитана (Вас. остров, 2 линия, д. Дорна) проживал Д. И. Писарев; когда был арестован Писарев, то опечатали и переписку Попова и вместе захватили письма к нему Благосветлова.

Смотря с надеждою на журнал Кушелева, Благосветлов, однако, отрицательно относился к самому Кушелеву.[1]

Познакомившись в Париже с Полонским и с Кушелевым, который купил у него для журнала статью „Значение Парижского университета", Благосветлов, не зная еще о внутренней борьбе в редакции нового журнала, вступает с Полонским в деятельную переписку.

Ниже мы печатаем весьма интересные для первоначальной истории „Русского слова" письма Я. П. Полонского и другие документы, относящиеся к первоначальной истории „Русского слова", по подлинникам, хранящимся в Ленинградском институте новой литературы (б. Пушкинский Дом) при Академии наук СССР, и письма Благосветлова как к Я. П. Полонскому, так и к К. К. Случевскому по подлинникам Института новой литературы и Московского государственного исторического музея.

Инструкция о редакции журнала „Русское Слово"

Второму редактору

Якову Петровичу Полонскому[2]

ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ РЕДАКЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ ЖУРНАЛА „РУССКОЕ СЛОВО"

1

Состав редакции журнала

Редакция журнала состоит из: 1) Главного редактора, он же Издатель. 2) Второго редактора. 3) Помощника главного редактора. Кроме сего могут состоять еще несколько постоянных сотрудников, которые, по желанию главного редактора, могут быть приглашаемы для совещания в случае надобности.

---

[1] В феврале 1859 г. он писал В. П. Попову: „О сиятельной бездарности нечего иначе думать. Это мальчишка, накрытый юбкой пройдохи женского рода" (стр. 618). Или в письме от 26 апреля 1859 г.: „Графа я никогда не считал выше глупого мальчишки, но его журналом всегда дорожил" (620—621).

[2] Эти строки написаны рукою Кушелева-Безбородко.

2

Главный редактор и Издатель

Главный редактор оставляет за собою исключительное право постоянно блюсти за развитием направления всего журнала. Он принимает на себя лично главную ответственность всей редакции и становится как бы центром всех распоряжений по журналу. Никакая статья ни в каком отделе журнала не может быть напечатана без особого на то согласия главного редактора, выраженного его подписью на самой статье.

Все рукописи, доставленные из разных мест и разными лицами, должны быть представлены прежде всего ему и по его назначению передаваемы будут или второму редактору или помощнику главного редактора, по его усмотрению, на просмотр и оценку. После чего эти рукописи с пометкою на них, кто их читал, отосланы будут в главную контору журнала, откуда они докладываются главному редактору, который и делает на них особую пометку для помещения оных в тот или другой отдел журнала.

В случае отъезда главного редактора, он оставляет за собою право передать по усмотрению своему, кому-либо, свои права на время отсутствия.

3

Второй редактор

Второй редактор обязан все вообще сочинения, в рукописях предъявленные ему авторами или переданные ему по приказанию главного редактора из главной конторы, рассматривать по времени их вступления и по совещании с главным редактором, определять достоинство их, т. е. могут ли они быть помещены в журнале или нет, а если могут, то когда именно и в каком нумере и отделе журнала должны быть напечатаны; для чего он в обоих случаях делает на рукописях собственноручную отметку чернилами или карандашем и присылает их в главную контору редакции журнала. Затем те рукописи, которые, согласно определению главного редактора, должны составить на предстоящий месяц книжку журнала и ее приложение, будут отправлены немедленно в типографию согласно 2 пункту. А те рукописи, которые по рассмотрении оставлены будут в запасе на следующие месяцы или окажутся неудобными к напечатанию, остаются в главной конторе для хранения, первые впредь до надобности, а последние впредь

до востребования их авторами. Кроме того должен он, в случае непропуска цензором каких-либо статей или сделанных в них таких вымарок, которые могут искажать литературное их достоинство, иметь с цензором личное объяснение и вообще о разрешении по сему предмету ходатайствовать где следует, а также наблюдать за правильностию и верностию корректуры, как в отношении текста сочинения, так и в отношении грамматических ошибок. Вообще он, как соредактор, должен всеми средствами содействовать видам главного редактора, приискивать рукописи по всем отделам для помещения в это издание и представлять их главному редактору с своим мнением о них. Наблюдать за правильным производством дел в типографии, во всех конторах журнала и по всем частям управления, сохраняя всюду ныне утвержденные в этой инструкции положения об обязанностях всех лиц к этому делу причастных.

4

Помощник главного редактора

Помощнику главного редактора поручено временно заведывание отделом *критики и библиографии*, а потому главная обязанность его состоит в том, чтобы постоянно следить за всеми выходящими книгами, журналами и другими изданиями. Составлять по ним критические статьи и библиографические заметки для журнала ежемесячно. Кроме того пересматривать все получаемые конторою журнала или членами редакции статьи по критическому отделу, и по совещании с главным редактором и определении им всех статей, как достойных войти в ту или другую книжку журнала, отправлять их в типографию для напечатания в следующий нумер, соблюдая правило, изложенное во 2-м пункте.

По всем статьям порученного ему отдела, он обязан иметь сам сношение с цензором и ходатайствовать, где будет нужно, о пропуске представленных им статей.

В типографии помощник редактора не вмешивается, он только посылает туда статьи своего отдела и может требовать последнюю корректуру на просмотр только своих статей или порученных ему кем-либо из других сотрудников.

Для составления отдела библиографии помощник главного редактора имеет право получать постоянно из магазина Д. Е. Кожанчикова все вновь выходящие книги на просмотр, согласно особому условию заключенному между конторою журнала и Кожанчиковым.

5

Постоянные сотрудники

В числе постоянных сотрудников должно быть необходимо лицо, которому будет поручено составление *фельетона* сведений петербургских новостей, частной и общественной жизни и т. п. И еще таковое же лицо для сведений Московских новостей,—и третье об новейших открытиях по части наук, искусств и т. п. в Европе. Все таковые статьи доставляются или главному редактору или второму редактору и поступают в типографию на общем основании. Лица, занимающиеся таковыми статьями, могут получать вместо платы за лист месячное жалованье. Еще по отделу *Шахматного листка* избран будет главным редактором заведывающий этим отделом, который будет доставлять прямо к главному редактору свои статьи и по утверждении их отсылать в типографию.

6

Корректоры

При издании журнала „Русское слово" необходимо иметь добросовестного и сведущего корректора, который исполнит все свои обязанности под руководством *второго редактора*. Но так как кроме книжек самого журнала еще будут издаваться приложения в особых книжках, то необходимо иметь *особого корректора* для этих приложений.

Обязанности корректоров заключаются в своевременном и тщательном рассмотрении всех отпечатанных корректур (двух, трех или более, если в этом есть необходимость) кроме тех вышеупомянутых случаев, когда сам автор пожелает проследить последнюю корректуру, но и в таком случае корректор обязан снова после него пересмотреть каждый лист для соблюдения однажды и навсегда принятого правописания в журнале.

Корректору журнала поручено вместе с тем постоянное наблюдение за правильным и своевременным ходом дел в типографии, о чем он обязан докладывать главному редактору или словесно или краткою ведомостью о количестве напечатанных и набранных листов журнала, обозначая и заглавие каждой статьи. Такую ведомость представлять каждые три дня.

Корректор приложений так же поступает по своему отделу, но ведомость он доставляет только в тех случаях, когда печатаются или набираются приложения.

7

Собрания редакции

Если представятся в течении месяца какие-либо важные вопросы касающие [ся] будущего успеха журнала, то главный редактор оставляет за собою право собирать членов редакции, т. е. второго редактора и своего помощника на совещание; тут же могут быть приглашаемы и другие лица, как сотрудники журнала, корректоры, управляющий типографиею и управляющий главною конторою журнала и конторою комиссионерства. Эти совещания бывают или в квартире главного редактора или в главной конторе журнала.

8

О цене статей в журнале

Цена статей, помещенных в журнале в разных отделах, зависит от усмотрения главного редактора; приблизительно однако можно положить для отдела словесности от 50 до 75 и даже до 100 р. за печатный лист для сочинений в прозе. В стихотворных произведениях если нет оценки за все стихотворение, то по стихам, от 25 к. до 50 к. и более до 1 р. за строчку. По отделу ученому оригинальным сочинениям от 50 до 70 р. за лист, за компиляции или переводы от 20, 30 и 40 рублей за лист. Рассказы, повести и т. п. оригинальные статьи помещенные в отделе Смеси от 30 до 45 и 50 р., но не более за лист, компиляции или переводы никак не выше 35 р. за лист. За статьи критические, помещенные в особом отделе критики, по 50 р. за лист. В библиографию никак не выше 40 р. за лист. Кроме сего так как г. помощнику главного редактора поручено между прочим составление этого отдела, за что ему назначено постоянное жалованье, то в этом отделе должно быть доставлено мне ежемесячно бесплатно лист печатных разборов новейших книг, что свыше окажется этого количества им написано то он получает по общему положению по 40 руб. за лист. Он же представляет 4 раза в год хронику русского театра и за этот труд он получает билетами спектаклей, когда он пожелает. За фельетоны могут быть назначены или ежемесячное жалованье или от 25 до 35 р. за лист, то же и по всем статьям о известиях в Москве или за границей. О Шахматном листке будет цена определена в свое время самим главным редактором. Уплата за помещаемые статьи по определении самой суммы главным редактором,

должна быть производима из главной конторы журнала только по отпечатании самой статьи и появлении той книжки, в которой она помещена на другой день появления. Вперед денег редакция никому не имеет права выдавать, разве по особому распоряжению самого главного редактора.

При появлении каждой книжки журнала составляется Главною конторою краткий отчет о стоимости всех статей в ней напечатанных, и представляется этот отчет главному редактору на утверждение собственноручною пометкою, после чего он возвращается в главную же контору для исполнения и производства всех выдач по ней.

[Дальше разделы: 9. Состав главной конторы. 10. Обязанность главной конторы.]

Инструкция эта написана в пяти экземплярах

[Подпись] Издатель—Главный Редактор
граф *Кушелев-Безбородко.*

2 февраля 1859 г.
СПБург.

ШТАТ

по изданию журнала „Русское слово"

		Назначается			
		в месяц		в год	
		руб.	к.	руб.	к.
	По Редакции				
1	Издатель—Главный редактор граф Кушелев-Безбородко	—	—	—	—
2	Второй редактор Я. П. Полонский	200	—	2400	—
3	Помощник Гл. редактора А. А. Григорьев .	100	—	1200	—
4	Фельетонист Е. Ф. Моллер	75	—	900	—
5	Корректор журнала Сидоров	75	—	900	—
6	Корректор приложений Н. Ф. Горбун . . .		С	листа	
7	Корреспондентам разным	—	—	—	—
	По Главной конторе				
1	Управляющему М. В. Букину	75	—	900	—
2	Помощнику	30	—	360	—
3	Двум писцам	25	—	300	—
4	Рассыльному	10	—	120	—
5	На канцелярские расходы		По	счету	
	Всего . . .	590	—	7080	—

Переписка Я. П. Полонского

1

К ГРАФУ Г. А. КУШЕЛЕВУ-БЕЗБОРОДКО

[1859 г. май].

... по природе своей раздражительнее, откровеннее и прямее всех тебя окружающих и что стало быть невольным словом мог досадить тебе — или от того, что тебе на меня наговорили. — Если последнее, то странно, что ты по обыкновению не верящий никаким сплетням, поверил именно тем из них, которые были против меня. —

Если ты недоволен мною, как соредактором — то знай, что едва ли кто-либо так горячо принимал к сердцу всё что касается до Русского слова — что никто столько не испортил крови в этом деле как я. — Я так любил дело тобою начатое, что не пощадил бы ради его отца родного. — Друзья и прежние товарищи отошли у меня на последний план — и ни к кому из них ни малейшего не оказал бы я пристрастия, если бы действовал хоть сколько-нибудь самостоятельнее. — Вспомни — что два отдела, *критика и фель[е]тон*, два единственных отдела, в которых журнал должен не посредственно относиться к публике—совершенно от меня не зависили,— и что стало быть за главное в нашем журнале я не могу отвечать, ни перед тобой, ни перед публикой. —

На совет ты меня никогда не звал — и многое узнавал я после. — Когда спрашивали меня — правда ли что Хмельницкий поехал по распоряжению графа собирать статьи для журнала? — я отвечал — не знаю, граф главный редактор — а не я. — Когда меня спрашивали: правда ли, что вы будете прилагать записки мелкотравчего, [1] я отвечал *не знаю*. — Одним словом, после всего этого сам рассуди и подумай — какая может быть с меня за журнал ответственность — Даже за корректуру, я бы тогда только мог отвечать, если б сам нашел корректора — или не говорил бы тебе несколько раз, что наш корректор дурак набитый, изобретающий какую то свою грамматику.

И так, за чтож ты на меня сердишься — если только сердишься?! Если же не сердишься, то подумай, не лишил ли ты меня всякого на твой журнал морального влияния, — не оставивши меня при

[1] Так в оригинале.

себе единственным проводником всего, что до него касается. — Если я желал этого, то клянусь для пользы твоего журнала — (материальной выгоды от этого мне ни какой бы не было —) Я не огорчался тем, что в написанном мною первоначально объявлении, тебе не понравились в ней иностранные слова: *арена* и *пульс* — и понявши мысль твою, был бы самым деятельным ее исполнителем — и уж у меня не прошли бы в журнал целые легионы слов в роде следующих: *принцип, термин, потенция, амальгамирование — синтизм*, и проч. проч... Если теперь ни в одном русском журнале нет столько [1] иностранных слов, сколько их в Русском слове — я ли теперь виноват?!

Но все это тебе самому очень хорошо известно. — Мне остается только, имянем чести твоей, просить тебя уведомить меня о том, что тебе известно и что мне неизвестно, — то есть — должен ли я искать другого места или хлопотать о том, чтоб примкнуть к другой редакции — или оставаться при Русском слове, с уверенностью, что ни жена ни ребенок мой не умрут с голоду. —

Вспомни граф, что если пишутся биографии Прокоповича, Дельвига, Языкова и других, то есть надежда, когда-нибудь по смерти моей явится и моя биография — и что в этой биографии наши отношения и влияние их на судьбу мою займут не последнее место. Если моя излишняя доверенность к службе твоей меня погубит или с ума сведет — ты ответишь за меня перед потомством. —

Должен ли я проклинать мою встречу с тобой или благославлять, — это [*вопрос*] для меня — такой вопрос, от которого я по целым ночам не сплю, — особливо после слов одного господина, — которому Букин поверял тайну журнальной будущности — *О вас* сказал *он мне* — и *помину не было — вы как будто и не существуете — я невольно пожалел об вас — да и не я один, — все вас жалеют зачем вы...* и проч. и проч.

От этих слов у меня сердце перевернулось. — Будь я холостой я мог бы убежать из Петербурга куда глаза глядят — но... судьба судила иное.

Жду твоего ответа — Кланяюсь милой графине — желаю ей всего хорошего — тебе также —

Остаюсь тебе преданный *Я. Полонский.*

25 мая 1859 года.
С. Пет.

[1] Так в оргинале.

Письмо начинается прямо со второго листа; первый не сохранился.

„Записки мелкотравчатаго" — сочинение *Е. Э. Дриянского* — дано в приложении, начиная с VII книги за 1859 г.

Вспомни, граф, что если... — Для мнившего себя меценатом Кушелева это были чувствительные слова, которые исполняются ровно через 70 лет.

2

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО ГР. Г. А. КУШЕЛЕВА-БЕЗБОРОДКО В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА „РУССКОЕ СЛОВО"

Я надеюсь, что в то время когда вы получите это письмо, июньская книжка будет почти вся набрана согласно оставленного мною еще в Петербурге оглавления, — впрочем если назначенный ряд статей составит слишком много листов, то поручаю вам отложить некоторые из них на следующий номер, дабы не увеличить чрезмерно расход по изданию.

До сих пор рассматривая все ведомости нашей конторы о приходе и расходе сумм, я нахожу, что расходы по журналу далеко не соответствуют не только нынешним доходам, но даже и вообще всем возможным доходам от журнала.

Постоянно вести так дела нет никакой возможности.

В нынешнем году однако нужно продолжать так, как начато с весьма малыми возможными изменениями.

Так как вы знаете хорошо что я намерен ехать за границу в начале июля и может быть даже не буду иметь возможности возвратиться ранее весны, то на всякий случай нужно определить перед моим отъездом каким образом и на каком основании будет продолжаться издание Русского слова без меня.

Я вам предлагаю Яков Петрович и Аполлон Александрович рассмотреть этот вопрос, и если возможно придумать исход ему. При этом случае передаю вам некоторые мои предположения, которые впрочем могут измениться в случае надобности.

Я полагаю:

1-е Русское слово издавать в числе 12 книжек в год в начале каждого месяца без прибавлений, цена всему изданию могла бы быть 13 р. 50 к. без пересылки, 15 р. с пересылкою.

2-е Переводных статей все-таки не принимать, кроме переводов классических и в стихах и некоторых ученых компиляций.

3-е К отделам ныне существующим Словесности и Наук, Критики и Библиографии, Критики Иностранной (которую по возможности пополнить) к смеси можно бы прибавить изве-

стия о новых открытиях в науках и искусствах в Европе, этот отдел следовало бы печатать самым мелким шрифтом, дабы он не занимал слишком много места в журнале.

4. Вообще ввести в журнал побольше мелкого шрифта и уменьшить по возможности количество шрифта так называемого cicero.

5. По управлению журнала иметь одну главную распорядительную контору для отсылки журналов на почту и всем подписчикам при главной конторе находящейся в моем доме, это избавит нас от многих ненужных издержек. Кроме этой конторы иметь только для подписки и продажи разных наших изданий несколько книжных магазинов, как в Петербурге, Москве так и других городах, которые бы все сносились с главною конторою.

6. Печатать журнал в том только количестве, какое полагается нужно для подписчиков.

7. На счет управления редакциею я полагаю поручить вам обоим управление этою редакциею во время моего отсутствия и полагал бы еще удобным предложить вам сообщничество с третьим лицом, который бы мог принять в свое ведение чисто ученую часть журнала как в первом отделе, так и в смеси. Это лицо мною вовсе еще не выбрано, а потому я ничего не могу положительно сказать об условиях которые бы я ему предложил и об обязанностях которые бы ему поручил.

8. Все дела спорные, как-нибудь выходящие из общей нормы или превышающие права каждого из редакторов на свой отдел были бы решаемы из общего согласия трех соредакторов.

9. Удаление от должностей лиц, причастных к изданию, кроме некоторых особо мною помеченных, выбор сотрудников, оценка статей, до известной нормы, оставались бы в произволе каждого соредактора в своем отделе.

10. Кроме того Я. П. Полонский сохранил бы за собою полное управление типографии и всех дел причастных к ней.

11. Утвержденные мною теперь штаты жалований всем лицам служащим при журнале будут пересмотрены мною вместе с обоими вами перед отъездом моим за границу и утверждены.

12. Главная контора журнала получая таким образом новые занятия может быть несколько увеличена она обязана будет высылать ко мне, буди я за границей, два раза в месяц отчет по всем статьям конторы, дабы постоянно я имел надлежащее сведение об ходе журнала.

13. На все расходы, как по управлению так и по изданию самого журнала я полагал бы назначить: 1-е, получаемые от

Г. г. подписчиков деньги, 2-е, от продажи разных изданий мной уже выпущенных и, 3-е, в виде добавочной суммы по 1 000 р. с. в месяц от моей главной кассы, что составляет 12 000 р. в год. — Полагая 1500 подписчиков по 13 р. 50 к. 20 250 р., от продажи в разное время разных изданий 1750 р. и из конторы 12 000 р. всего 34 000 р. с., эта сумма по мне должна бы достать на полное годовое издание Русского слова.

14. Еще я получил сегодня письмо от Дюма, который меня извещает о высылке на мое имя нового написанного им романа, который должен быть в 6-ти томах за взятые у меня в бытность его в Петербурге взаймы деньги согласно его обещанию и моему согласию. Этот роман не будет напечатан ни где до выхода в свет его в моем издании и я полагаю им воспользоваться, чтобы устроить премию для будущих подписчиков на 1860 год, — для того нужно будет поручить его перевесть по возможности в скорое время и по выгодной цене, потом при объявлении о подписке объявить всем, что каждый из подписчиков получит в виде премии при начале года и даже если возможно при первой книжке новый, еще никогда не изданный роман Дюма и что редакция Русского слова предлагает каждому потребовать какой угодно экземпляр или французский подлинник, или перевод этого романа, я думаю, что в особенности французские экземпляры разойдутся весьма скоро и могут вознаградить за расходы печати. О стоимости самого сочинения я уже не говорю.

Сегодня я только что вернулся из поездки в Москву и спешу отправить это письмо, потому не успел еще все написать; с другою почтою я дополню по возможности все эти распоряжения, а теперь буду ожидать ваших отзывов на мои предложения.

[подписано] Граф *Безбородко.*

30 Мая 1859 года.
С. Кораллово.

Полагая 1500 подписчиков...—В объявлении „От редакции", помещенном в № 12 „Рус. слова" за 1859 г., между прочим, было сказано: „С будущего года почтовое ведомство требует двойную плату за пересылку „Русского слова" и его приложений. Поэтому подписная цена на „Русское слово„ в 1860 году, с доставкою по почте, не 16 рублей, как было прежде объявлено, а 17 рублей 50 копеек".

В *объявлении о подписке* на 1860 год о романе Дюма не было сказано ни слова. Роман А. Дюма (отца) „Маркиза д'Эскоман" (Les drames galants) начат печатанием в виде приложения к „Русскому слову" с 9-й книги журнала за 1860 год.

3

ЗАПИСКА ПОЛОНСКОГО К КУШЕЛЕВУ,

написанная под диктовку Полонского и потом им исправленная и дополненная

Любезный Граф,

Ты просил меня и Григорьева прислать к тебе наши соображения на твой вопрос об издании Русского слова в будущем 1860 году, и о том, если[1] какая-либо возможность придумать исход из того ненормального положения, в котором он находится.—

Взвешивая все расходы твои по журналу, знаю, что они далеко превышают доходы и совершенно согласен с тобой, что постоянно вести так дело нет ни какой возможности.

По этому считаю долгом со свойственною мне откровенностию, забывая всякие свои интересы дать тебе совет или в будущем году совершенно прекратить твое издание, или решившись на гораздо меньшие издержки, издавать его так, как того требуют современные понятия о журнале вообще и редакции в особенности.

Начинаю с того, что редакция не есть министерство, где у каждого департамента есть свой начальник, подчиненный министру. Редакция есть общество людей, *одинаково мыслящих*, друг другу *симпатизирующих* и друг в друге ищущих, ради взаимных интересов, материального вознаграждения за умственные труды свои. Все это общество связывается, приводится в единство, или нравственною властью (т. е. моральным влиянием), или денежными средствами одного лица, которое принимая на себя все труды по изданию называется редактором.— Редактор, во 1-х должен быть также независим в своих действиях по делам журнала, как всякий из его сотрудников в собственных делах своих, следовательно: если ты непременно хочешь, чтоб журнал твой во 1-х шел к совершенству, имел влияние на общество и рано или поздно дошел до того, чтоб не только доходами с него покрывались все текущие издержки, но и выплачивались расходы, уже тобой сделанные, то по моему крайнему разумению тебе необходимо раз и навсегда избрать одного редактора и дать ему власть ничем неограниченную т. е. дать ему 1-е право печатать журнал твой в какой он хочет типографии и каким хочет шриф-

[1] Очевидно, вместо „есть ли".

том, 2-е, издавать журнал твой раз в месяц, два, три или даже четыре как он хочет, 3) избирать сотрудников по своему личному усмотрению дабы иметь полную возможность заменять лучшими худших.

Такой редактор должен быть найден тобой...[1] а между тем возьмешь на себя всю ответственность, так как в нынешнем 1859 г., не думай, повторяю, что публика поймет твои задушевные стремления и не осмеет всякую с нашей стороны неловкую попытку поддержать наше литературное предприятие. Ты сам видишь, что мало одних денежных средств для того, чтоб журнал выигрывал в общественном мнении. Не смотря на множество превосходных статей, нами теперь помещаемых журнал наш до сих пор ничего не сказал ясного и положительного в тех отделах, которые более всего определяют его характер и его направление; в критике был непроходимый туман, а в фельетонах — отсутствие жизни — ума, и полное незнание того, что нужно нашей публике, в особенности провинциальной.

В твоей воле согласиться или не согласиться с моим мнением, но я высказал все, что продиктовал мне мой рассудок и моя совесть. — Разумеется, я не вдавался в подробности— Я болен — и эту записку диктую стало быть многое могу упустить, по крайней мере ты узнаешь главные основания моего мнения. — Прочти все это, рассуди и если я не справедлив, найди сам другой лучший исход делу тобою затеянному. Скажу только в заключение, что тот кто возьмется за журнал твой совершенно согласившись с тем, что ты высказал в своей записке, тот рано или поздно заставит тебя горько раскаиваться в своем выборе.

Июня 1859 г.

4

[Июнь 1859 г.]

Любезный друг Граф Григорий Александрович.

Вчера продиктовал я записку в ответ на твои запросы присланные мне Григорьевым. Ты просишь нас обоих высказаться— не знаю, что скажет Григорьев; — но что сказал Полонский — то в твоих руках... Мнение Григорьева мне совершенно неизвестно — он у меня ни разу не был с тех пор как ты уехал —

[1] Большой пропуск: нехватает трех листов оригинала.

Вот когда я узнал всю не урядицу — всю путаницу — всю не лепость разъединения в деле редакторства. Этот месяц — лучшая и для меня и для тебя практика—Типография не знает кого слушаться — статей накопляется на 50 листов — Одно приказывают выкинуть — является другое будто бы по твоему приказанью. Так Моллер который до 8 числа этого (июня) месяца еще и не думал о доставлении в типографию Петербургской хроники — поручил печатать статью свою *о Гумбольте* — О творец небесный! — О Гумбольте пишет Моллер! — Сам Гераклит, вечно плачущий, расхохотался бы от этой штуки.— Статья эта была уже набрана — и уже не знаю каким манером Букин ее взял — и прислал мне на рассмотрение — Я прочел ее — и не будь я болен — мог бы положительно сказать из каких клочков она сшита, помню только что весь конец статьи взят из С.-Петербургск. ведомостей—где было помещено письмо о кончине Гумбольта—Между прочем я нашел в этой статье следующий анекдот — выписываю тебе слово в слово.

„Одна молодая девушка из Уритуку показала, однакож, не обыкновенное присутствие духа и тем спаслась от ужасной смерти.—В ту страшную минуту, когда голова ее уже *была в пасти крокодила*, она *схватила* его за глаза и так сильно *сжала их*, что крокодил выпустил свою жертву... Смелая девушка, поплатившись только рукой, благополучно доплыла до берега. —

Вообрази себе голову в пасти крокодила, руки *схватывающие* глаза и их сжимающие — и удивляйся великодушию крокодила которому стоило стиснуть зубы — чтоб откусить ей голову, и который вместо этого откусил только руку...??? Вероятно, все это иначе рассказано у Гумбольта — и не лепость произошла от поспешности перевода или выписки — Всего этого я поправить уже не могу, потому что статья прошла через цензуру — А какая бы статья смогла быть в цензуре без моего одобрения, если б я был редактор. —

Дела Рюмина очень плохи. Я ныне слышал, что к нему являлась полиция описывать за долги его вещи. Сначала я очень жалел его — теперь решительно не жалею — с нами он поступает не добросовестно — работает медленно, делает проволочки — оставляет у цензора подписанные листы до 6 дней (так сказывал мне Палаузов), — и вот, как мне пишет Букин, набирает библиографию...

Записка, о которой упоминает в начале письма Полонский, датирована июнем 1859 г.; это определяет дату и настоящего письма.

Григорьев—Аполлон Александрович.

Моллер Егор Ф.—фельетонист „Р. слова", в котором в течение 1859—1860 гг. вел отдел „Общественная жизнь в Петербурге". В этом отделе в майской книжке сообщалось о смерти Гумбольдта (6 мая н. ст.) и была обещана в следующем номере его полная биография. Действительно, в июньской книжке в отделе „Смесь" эта биография напечатана, стр. 1—33.

Полонский цитирует выдержку о *девушке в пасти крокодила* правильно, но в журнале после слов „свою жертву" есть еще фраза: „По словам туземцев, это единственное средство спасения"...

Рюмин, Влад. Ник. — гвардейский офицер, издатель (1857—1858) „Общезанимательного вестника", в котором участвовал Благосветлов до своего редакторства в „Р. сл." (см. письма Благосветлова к Попову). О Рюмине, как издателе „Общезаним. вестника", см. „Рус. ст." 1892, IV, стр. VIII—IX и „М. И. Семевский" В. Тимощук, СПБ., 1895, стр. 87—88. Рюмин заведывал типографией Кушелева. СПБ оберполицеймейстер в своем донесении в III Отделение писал, между прочим, 19 марта 1863 г. о типографии „Р. слова": „Кто заведывает ею и даже кому она принадлежит, неизвестно: по спискам, ведущимся Полицией, она записана на имя подполковника Рюмина, с соблюдением всех установленных на этот предмет формальностей; между тем Рюмин есть подставное лицо. — При устройстве ее в 1858 году граф Кушелев-Безбородко употребил на нее свой капитал и передал ее в управление Рюмина, на имя которого она и была записана"... Это донесение находится в связи с предположением, что именно в типографии „Р. слова" в 1863 г. печаталась прокламация „Льется польская кровь"—Дело б. III Отделения, № 97, ч. II; ср. А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, под редакцией М. К. Лемке, т. XVI, стр. 170, но здесь цитация не вполне точная.

Палаузов Спир. Ник. (1818—1872)—цензор „Р. слова" в 1859 г. с II по XI книжку. С той же XI книжки начинает сотрудничать в „Р. слове", сначала под инициалами С. Н. П-в; первая его статья: „Австрия со времени революции 1848 г."

Письмо не докончено.

5

Копия.

ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ,

данной главнозаведывающему редакциею „Русского слова".

Яков Петрович Полонский, за исключительное сотрудничество в Русском слове получает постоянного содержания по 150 р. в месяц, которое с 1-го генваря будущего 1860 года до 1-го маия будет выдаваться ему от главной конторы, а с первого маия от редакции Русского слова. Плата за сочинения, помещаемые в Русском слове, определяется следующим образом:

За малые стихотворения по 25 р.

За большие по 25 к. за стих, или по особому соглашению.

За прозаические рассказы по 75 р. за лист.

Граф *Кушелев-Безбородко.*

18 Ноября 1859 года.

Верно с подлинным. Заведующий редакциею
Русского слова *Александр Хмельницкий.*

6

Ноябрь [1859 г.]

Любезный Граф, Григорий Александрович.

Благодарю тебя за доброе письмо твое, полученное мною вчера вечером от Михайлова —

Но отвечаю тебе не столько на письмо твое, сколько на слова твои, сказанные Михайлову что я не старался своим влиянием быть *полезным Р. слову.*

Милый Граф — я никогда ничем не хвалился; — но желаю перед тобою оправдаться — в виде следующих вопросов. —

Кто старался в Риме познакомить тебя с Тургеневым Боткиным и Авдеевым? — Полонский (с тех пор, первый написал одну повесть, а последние ни строчки — стало быть я не мог иметь на них дальнейшего влияния —)

Кто в Неаполе, получив письмо от Михайлова, где он писал что *не хочет марать своего имени и отдавать роман свой в Р. с.* — написал ему такой ответ, который *заставил его взять роман у Дружи[ни]на и передать его в твою контору?* — Полонский.

[свидетель Н. И. Кроль]

Кто во Флоренции бегал высунув язык по городу — и *искал Григорьева?* — кто нашел его и с тобой познакомил? — Полонский.

Кто в Париже открыл Благосветлова — завербовал статью его *Парижский университет* — и потом письме[н]но поддерживал с ним сношения? — Полонский.

Кто добыл повесть у Потехина „Бесталанный" — Полонский (я имел терпенье выслушивать ее на другой день свадьбы).

Кто по прибытии в Москву написал Северцеву — и потом через друзей своих помешал ему отдать свою статью Каткову, и наконец окончательно заманил его в твой журнал? Полонский.

Кто приобрел статьи об *охоте* у Вышеславцева — и заставил его написать для нас интересную статью о *Московских скачках?* — Полонский.

Кто познакомил Григорьева с Лавровым — и через чье посредство добыта у него статья о *Немецких теистах*? — Через посредство Полонского.

Кто доставил в контору Бенедиктова — *Дзяды* 4 песнь (уже пропущенную цензурой) — Полонский?

Кто выпросил у Милюкова — статью *Афины и Константинополь?* — Полонский.

Кто познакомился с Маркой Вовчком и упросил ее из Дрездена прислать повесть? — Полонский.

Кто добыл от Филипова *Ученые новости* (еще [не] [1] напечатанные)? — Полонский.

Но могу ли я все исчислить что делалось через меня? У меня зимой в неделю являлось до 20 человек всякого рода пишущей братии — и какого часто труда стоило мне от них отделываться...

Поверь милый Граф — еслиб не ненормальное положение мое при редакции — я бы еще и не так хлопотал — но...

Написанное мною покажи хоть Хмельницкому — я надеюсь что после приведенных мною фактов — и он скажет что мое пребывание при редакции в такое короткое время не было там *бесплодно* как ты говоришь и думаешь.

Благодарю тебя за жалованье и за обещанные 500 рублей. Принимаю их, как подарок, обеспечивающий жену мою на несколько месяцев от холоду и голоду — как подарок; — но не как награду — Мою нелицемерную преданность, с какою я боролся для чести и славы твоего журнала — мои тревоги, ради которых я забыл три трети моих знакомых — и со многими из друзей разорвал связи — всего, мною испытанного и прочувствованного ты оценить не можешь — я одного желаю, чтоб только рано или поздно ты перестал жаловаться на мое бесплодное пребывание при Р. слове. — Желаю тебе всех благ на свете — и душевного спокойствия, как одного из первых благ. — Дай бог, чтоб журнал процветал под твоим исключительным редакторством. — Прощай до свидания.

Остаюсь тебе преданный

Я. Полонский.

Дата этого письма определяется предыдущим письмом Хмельницкого, сообщавшего Полонскому о назначении ему графом Кушелевым-Безбородко жалованья, за которое Полонский благодарит графа в конце настоящего письма.

Повести Тургенева в „Рус. сл." не появлялось, хотя в объявлении об издании журнала в 1860 г. и был упомянут в числе сотрудников „И. С. Тургенев, от которого мы получили положительное обещание дать нам свою повесть, давно уже им начатую".

М. Л. Михайлов (1826 — 1865) — деятельнейший сотрудник „Русского слова" в начале его существования. Писал стихи, прозу, критические статьи, библиографию; известный революционер, сосланный в Сибирь за прокламацию „К молодому поколению", составленную им вместе с Н. В. Шелгуновым.

В 1859 г. в „Р. сл." был напечатан роман *Михайлова* „Благодетели" (VI—VIII).

Свидетель Н. И. Кроль — поэт, брат жены Кушелева.

[1] „Не" — пропущено.

В письме к Фету *Полонский* писал об этом так: „Григорьева я когда-то розыскал во Флоренции и привел его к графу Кушелеву-Безбородко с тем, чтобы тот пригласил его в сотрудники „Русского слова". При мне он читал свое „Море" и запродал его в наш тогдашний журнал, получив порядочный задаток".—„А. А. Григорьев", стр. 339—340.

Благосветлов в письме Попову, от авг. 1859 г., между прочим писал: „Я Кушелеву предложил, и он принял статью: „История Сорбонны или Париж. университета", Письма Г. Е. Благосветлова к В. П. Попову в книге М. Лемке, „Политические процессы в России 1860-х гг. (по архивным документам)", ГИЗ, 1923, стр. 614.

Повесть Н. А. Потехина „Бесталанный" была напечатана во II книжке „Р. сл." за 1859 г., под инициалами „Н. П-т-х-на".

„В Рус. сл." были напечатаны следующие произведения *А. Н. Северцева*: „Месяц плена у коканцев" (59, X) и „Зоологическая этнография" (60, IV).

Статьи об охоте. — В „Р. сл." (59, III — IV) была напечатана статья „Несколько замечаний об охоте в России", подписанная „Ревельским бароном".

Современные *германские теисты* — „Р. сл." 59, VII. Напечатание этой статьи было предварено в V книжке журнала особым заявлением редакции.

„Дзяды". — Перевод из Мицкевича „Деды" напечатан в „Р. сл." за 1860 г., X и ч. IV в III книжке за 1861 г., но подписаны оба перевода инициалами А. С. О сильном впечатлении от „Дзядов" при чтении их еще в студенческие годы Полонский говорит в статье „Мои студенческие воспоминания" — „Литературные приложения" к „Ниве", 1898, XII. Что касается Бенедиктова, то в „Р. слове" было помещено его стихотворение „К Неману" (1861, II). Полонский был хорошо знаком с Бенедиктовым (см. „Литературные воспоминания" Скабичевского, стр. 330); он написал биографию Бенедиктова, приложенную к „Собранию сочинений В. Г. Бенедиктова", 1883 г., повторенную Вольфом в 1902.

Статья *Афины и Константинополь* напечатана в журнале за 1859 г., V—VI.

В IX книжке „Р. сл." за 1859 г. была помещена повесть *Марко-Вовчок* „Ледащица".—О Марко-Вовчок см. у Скабичевского в его „Литерат. воспоминаниях", 269 — 272. — О ней же в нашей статье „Благосветлов и Писарев", где приведено письмо Благосветлова к Марко-Вовчок по поводу инцидента, из-за которого Писарев порвал с Благосветловым — „Звезда", 1929, XI.

Лишь с 1863 г. в „Р. сл." появляются статьи юридического характера *М. А. Филиппова* 1871 г., 22 марта, Благосветлов обращался к Филиппову с таким письмом: „Уважаемый Михаил Авраамович. Посылаю Вам ради сведения „Русскую летопись", в которой есть отзывы о вашей книжке. Только прошу Вас возвратить в Контору „Дела" этот №. Преданный Вам Григ. Благосветлов".

Письма Г. Е. Благосветлова к Я. П. Полонскому

1

Париж. 1859. 20 янв.

Вспомнив ваше обещание принимать мои работы в журнал графа Кушелева, я посылаю Вам переводную критическую статью о Маколэ. Внутреннюю цену ее Вы увидите. Это един-

ственная меткая и глубокая критика на великого историка. Правда, она немного отзывается желчью радикала против Вига, но ее общий анализ и частности не имеют ничего равного в английском языке.

Эта статья имеет для нас особенное значение; она учит литератора *сердцу*, которым мы слабы, не заменяя его даже мозгом.

Если ваш журнал вышел в свет и принимает серьезные работы, я желал бы представить Вам ряд подобных очерков, избирая те личности, которые бросают свет не только на европ. жизнь, но и нашу.

Если благоволите взять мои листки, обяжите вручить деньги Вас. Петров. Попову, моему любезному душеприказчику. Передайте мой поклон Григорию Александровичу, если он помнит меня.

Вы женились, если не ошибаюсь; а я был в Англии и обручился с ней искренней любовь*[ю]* к этой великой стране. Ваш ответ утешит меня.

Совершенно преданный вам

Г. Благосветлов.

P. S. Перечитав письмо, увидел, что и забыл поздравить Вас с новым периодом жизни. Будьте счастливы. Вы истинный поэт не только на бумаге, но и на деле.

Вспомнив Ваше обещание... — Очевидно, что это было в средине 1858 г., когда Полонский, по его словам в письме к Кушелеву, „в Париже открыл Благосветлова"; о свидании с Кушелевым и о принятой последним статье „История Сорбонны или Парижского университета" Благосветлов пишет В. П. Попову в письме из Лондона, от августа 1858 г.—М. Лемке, Политические процессы в России 1860 х гг. (по архивным документам), стр. 614. Из этого письма Полонского видно, что М. Лемке ошибался в своем опровержении сообщения Н. В. Шелгунова о посредствующей роли Полонского в данном деле. - Там же, стр. 614, прим. 4.

Статья *„Ораторская деятельность Маколе"* была напечатана в III книжке „Рус. сл." за 1859 г.

Григорий Александрович—Кушелев-Безбородко.

Вы женились... — Полонский женился в Париже летом 1858 г. на Елене Васильевне Устюжской; через $1^1/_2$ года он овдовел и во второй раз женился на Жозефине Ант. Рюльман. Памяти умершей жены Полонский посвятил несколько стихотворений.

Я был в Англии... — Как видно из письма Благосветлова к К. К. Случевскому от 20 ноября 1858 г., Благосветлов прожил в Оксфорде с половины августа до половины ноября 1858 г. и затем около 2 недель в Лондоне.

2

Париж 59. 23 марта *н. с.*

Я просил В. П. Попова передать Вам, что к апрельской книжке Р. слова готовится мной статья: „Италиянский вопрос", возбудивший общее внимание Европы. Мне жалко Италию; я люблю ее, как Мадонну, как падшую красавицу. Мне грустно, что старая баба — Pio Nono мешает пробуждению этого живого и страстного народа. Я хотел развить ту мысль, что в нашу эпоху глупо и недостойно подавать реформы народу на конце штыка, особенно французского; мне хотелось сказать, что Франция убила Италию, пусть же она и поднимает ее, но только не с той целью, какая таится в тюильерийском кабинете. Разумеется, говоря о таком кровавом деле, мне приходится качаться на канате и каждую фразу пропускать сквозь приблизит. факт или простой намек. Здесь же мне хотелось разобрать прекрасную книгу „Della speranza d'Italia" — Цесаря Балбо. Извините, что не могу сдержать своего слова и прислать эту статью к Апрелю; оканчивая ее, я ужасно заболел глазами. Desmars—знамен. окулист — решительно запретил мне заниматься в течение этих двух недель, и навсегда позднее *minuit.* К майской книжке — кстати к петерб. весне — надеюсь прислать „Итал. вопрос" и переводную статью „Характер Робер. Пиля".

Печатайте больше об Италии; это имеет всеобщее значение в настоящую пору. В Париже и Лондоне разыгрывается этот вопрос жарче и жарче.

Не желает ли ваш журнал (которому я от души желаю успеха) иметь в Париже постоянного или для нескольких статей корреспондента. Это бывший превосходный сотрудник du „Journal du peuple"—Camille Monhmalon. В 48 году его имя везде стояло рядом с Louis Blanc — автор. истории 10 лет. Он сам просил меня об этом, и я не знаю лучшего места для него, как в Р. слове. Monhmalon человек старой трампы, с направлением Louis Blanc; его критический взгляд на вещи — верный и глубокий; он знает Францию от тюрьмы св. Лазаря и до Тюильери превосходно. Он, между прочим, читал мне о Ламартине; но в Париже эта умная статья не пройдет, а нам это очень нужно. Мы считаем эту дрянь февральской революции за какого-то олимпийского бога. Ламартина и Гизо пора давно разоблачить до нага и показать в них убийц Франции, каких в ней было немного. Желал бы, чтобы честь этого дела принадлежала вашему журналу.

Притом, русские не знают ни современной Франции, ни современного Парижа, а толпами идут на поклонение Лувру и Итал. бульвару. Что такое настоящая Франц. буржуазия? Во что и как она переродилась? Это вопрос важный, и совершенно темный для нас. Monhmalon может все это разъяснить до костей; он профессор центральной школы и смотритель des ècoles pour les ouvriers de Paris.

Если редакция Р. слова изъявит желание иметь его своим сотрудником, он охотно, под моим влиянием, примет труд. Статьи его (он не знает, разумеется, по русски) я могу переводить сам, пока остаюсь заграницей, и присылать их Вам готовыми. Плата за печатный лист, кажется, не может быть меньше 70 р. сер.—50 за оригинал и 20 за мой перевод. Другому переводчику он не соглашается поверить, потому что его уже один раз обокрали в Петерб., кажется Краевский. Уведомьте меня через В. П. Попова, как примет это предложение ваша редакция.

Извините великодушно, что не получив ответа на мое первое письмо, пишу второе. Надеюсь, что эту дерзость простить можно.

P. S. Что мой лорд Маколэ? Если напечатан, передайте г. Попову ваш искренний суд и брань других. Желаю Вам счастия в успехе вашего журнала.

P. P. S. S. Современем надеюсь затащить в наши журналы Тэна; это славный боец. В Париже мысль умерла, а у нас просыпается.

Rue de la Sorbonne, Hotel de Rollin, 20

Григ. Евлампиевич.

Статьи *Итальянский вопрос* в „Русском слове" не появлялось. В X книжке журнала за 1860 г. в отделе „Политика" был помещен „Обзор современных событий", где идет речь об итальянском вопросе.— Кроме того, в нашем распоряжении имеется ненапечатанная статья Благосветлова под заглавием: „Вопросы нашего времени. Письмо из Парижа. 1860 г. 2 марта". Статья начинается так: „Между тем как Европа с нетерпением ожидает решения итальянского вопроса, он, подобно осеннему дню, то проглянет солнцем, то серым облаком, то согреет, то заморозит"...

Мне жалко Италию...—Сделавшись редактором „Рус. слова", Благосветлов не раз писал в журнале об Италии.

Pio Nono.—Пий IX (1846—1878) противился освободительному и революционному движению в Италии. В 1859 г. от папы отложилась Болонья, за ней Умбрия и Марки; в 1860 г. Пий IX потерял две трети своих владений.

Della speranza d'Italia.—Статья „Надежды Италии" была напечатана в V книжке „Р. сл." за 1859 г.

Статья *„Роберт Пиль и его политический характер"* была напечатана уже в редакторство самого Благосветлова, под инициалами Р. Р., в ноябрьской книжке „Рус. сл." за 1860 г.

Печатайте более об Италии... — А. П. Милюков, побывавший в 1857 г. в Лондоне у Герцена, в своих воспоминаниях потом писал: Герцен „к итальянцам... относился с уважением... Это, говорил он, не революционные бурши и не бульварные клубисты, а люди, понимающие, чего хотят и за что борются".—„Литер. встречи и знакомства", 144—145.

Уведомьте через Попова...—Статьи самого Попова начинают появляться в „Рус. сл." с IV книжки за 1859 г. Первая его статья „Макиавелли".

3

Вслед за моим письмом от 28 апр., добрейший Яков Петрович, я решился обременить Вас еще несколькими строками. Примите их, как пояснение того, что высказано вскользь и неясно в первом письме.

1. Я хотел бы попросить Вас позволить мне пересылать мои статьи в Р. слово прямо к Вам или в редакцию журнала, с тем однакож условием, чтоб они ни[1] пропадали и не лежали долго нераспечатанными. В. П. Попов, вероятно, уедет заграницу, и потому я лишаюсь всякого посредника в Петербурге. Если же явится к Вам от меня г. Случавский, примите его, как моего доброго приятеля. Это юноша умный и благородный. Когда я не посмею беспокоить Вас лично, г. Случевский передаст вам и мою работу и мою просьбу, если таковая встретится.

2. Печатайте, пожалуйста, мои переводные статьи. Они не уронят ни репутации журнала, ни дела. Я строго выбирал их, и Бэгот * — великолепный критик, как я думаю. Его оценка Маколэ и Р. Пиля — лучшие две статьи. Далее их нечего сказать об историке и министре Англии. Впрочем, как я уже писал, больше переводных работ не буду посылать Вам. Замечу, однакож, что они ни в каком случае не мешают нашим журналам. Образованных европейски деятелей у нас мало; притом, чтоб судить о той или другой иностранной личности, всегда суд национального критика будет лучше и вернее, чем русского. Вы согласитесь, что в статьях Бэгота есть строчки, которые могут быть только плодом глубокого понимания английской жизни, ее литерат. и конституции. Наши двух-недельные путешественники Лондона, разумеется, этого не скажут и я боюсь, что многие даже не поймут сказанного. Притом, я не рабски передаю английский оригинал; я пережевываю его в голове на пользу р[усского] читателя.

[1] Так в оригинале.

* Сохраните в своем журнале это слово именно в таком виде. У нас кто-то с дуру назвал его *Маколей* — это вовсе не правильно".

3. Не знаю, напечатали ли Вы „Надежды Италии“ в майской книжке. Скоро идет к Вам „Монтанелли“—один из славных представителей Италии. Я близко сердца держу соврем. итал. вопрос. Где бы ни обличалась политич. ложь и гадость,— результат один и тот же. Наш век—век демократического погрома и строгой критики. Жалко, что работать запрещено повечерам, исключая трех дней в неделю и то не долее 9 часов.

Еще раз прошу Вас и прошу от всего сердца — судите меня строго, передавайте свои мнения, советуйте — я все это приму с искренной благодарностью. Между редактором и его сотрудниками должно быть согласие и спетость; без этого нет идеи и ее результатов.

Да заступитесь за Италию. Это святое дело и богатое плодами для всей Европы. — Душевно преданный Вам

Г. Благ.

P. S. Желал бы знать, в какой степени Ваш журнал ограничен относит. политич. воззрений. Впрочем будем валить все на историю; это здоровый бык.

P. P. S. S. Кажется, дело с Camille Monhmalon не состоится; признаюсь, я буду рад этому. Как видно, граф принял это предложение холодно; не понял, мой голубчик, толку. Ведь на Ап. Григорьеве нельзя въехать в храм бессмертия. Это старая метода—садиться на осла и наровить попасть в Капитолий.

Случевский К. К.—поэт, ученик Благосветлова по кадетскому корпусу.

Бэгот—Бэджот или Бэджот (Bagehot) Вальтер (1826—1877) — английский экономист и публицист. Его „Государственный строй Англии“ был переведен и издан у нас дважды: в 1867 и в 1905 гг.

Монтанелли. — 26 апреля 1859 г. Благосветлов писал В. П. Попову: „Не знаю также, почему он (Полонский) не хочет ответить, что решено у них относительно корреспонден. о Монтанелли“, а в другом письме, от 5 января 1860 г., опять пишет о том же: „Монтанелли не высылают и ни одного слова в ответ“. Эту статью под заглавием „Реформа Италии, как ее понимал Монтанелли“ Благосветлов напечатал уже сам в первой книжке, вышедшей под его редакцией (1860, VII).

4

Париж. 1 мая 1859 г.

Вы наказали меня, милый и благородный Яков Петрович, за мою дерзость самым любезным письмом. Я желал бы почаще нести это наказание. Не думайте, однакож, чтоб я злоумышлял на ваше беспокойство и требовал непременно письменных ответов на все мои докучные запросы. Положение Ваше мне несколько известно; его нельзя назвать легким, тем

менее приятным. Я всегда понимал, что ваше дело по журналу К. Безбор. будет трудным, назойливым и нередко отвратительным. Вы резко перешли из области чисто художественных инстинктов в область мелочных, скучных и под-час невыносимых бессмысленных занятий. Чтоб прочитать безграмотную статью, чтоб удовлетворить всякое литературное самолюбие, которое, к сожалению, всегда растет в обратной пропорции с истинным умом и сердцем—это стоит любой каторги, особенно для Вас, так свято и благородно отдавшего свою жизнь чистому искусству. Мы *все* это понимали и в Лондоне и в Париже.

Но с другой стороны, на-зло Вам, мы радовались вашему избранию в редакторы журнала, и я объясню Вам — почему? Журнал Куш. Безб.— явление в высшей степени интересное для нашей литературы. Чистота его намерений, чуждых денежных расчетов или барышей Краевского, давала ему огромное значение; он должен быть и легко может быть первым журналом в России, если только граф съумеет дать ему солидное и современное направление. Притом, я жаркий социалист на одном пункте; каким бы путем не [1] совершилась у нас эманципация литератора из когтей Андрюшек-монетчиков, она необходима для нашего успеха. До тех пор, пока Белинские будут умирать с голоду или от чахотки, жертвуя своими силами благороднейшей деятельности, до тех пор, пока звание писателя, ради насущной крошки хлеба, мы будем грязнить званием чиновника или канцелярского писаря, до тех пор, пока самый честный труд не получит достойной гарантии в обществ. мнении и будет зависеть от *merci* разных литературных гуртовщиков,— истинный писатель невозможен. Вы понимаете меня. Я разумею под этим именем не барскую прихоть, не желание похвалиться печатным листом, сподличать литературно или набить себе карман журнально, нет, мне хотелось бы видеть в р[усском] писателе личность независимую, самостоят., всецело преданную своему труду. Выше его мысли и чувства для него ничего не должно существовать в мире. Этой эманципации мог сильно помочь бескорыстный журнал Графа. В десять лет, он мог воспитать целое поколение деятелей новых и неизвестных у нас доселе,— он мог воспитать [*их*] его очень просто,— обеспечив [*их*] труд заслуженным вознаграждением и избавив от необходимости толкаться в дверь генерала-покровителя или киснуть за канцелярским столом. Надеюсь, что Вы не смешаете этого чувства с каким-то свое-

[1] Так в оригинале.

корыстным намерением с моей стороны, как смешивают его другие. Когда я сказал графу, в прошлом году, в вашем присутствии, что честный сотрудник не возьмет за печатный лист более 70 р. сер. и менее 50,— я сказал правду, и сказал не в свою пользу, а ради многих и многих других. Идеализировать эти вопросы, повидимому, столь прозаические и немножко грязные, могут только те, которые владеют *душами* или собранными тысячами с душ; но кто хочет трудиться на этом неблагодарном поле, не имея за пазухою копейки, тому очень честно позволено замолвить в свою пользу несколько слов и потребовать должной оценки за свою работу. А чем бы мог быть Белинский, еслиб он был поставлен [*на*] во-время на место тупого, необразованного и грязного по душонке Краевского? А как бы далеко пошло ваше собственное развитие, какая бы новая мощь хлынула из души, если б Вы имели средства Кушелева для вашего развития? И что бы и как бы я распорядился своим образованием и безграничной жаждой литерат. труда, если б какой нибудь Юсупов вместо пяти гончих собак подарил мне три тысячи на заграничное путешествие? Все эти обстоятельства имеют [*имеют*] для меня огромное значение, и я бессовестно и явно протестую за них...

С этой точки зрения я первый благословил мысль Графа. Как она зашла в его голову — до этого мне дела нет; но это не все; ему нужен был помощник, который бы чистыми руками взялся за издание превосходного журнала (в идее, если не на самом деле). Мы искренно обрадовались, когда он избрал Вас. Мы знали и вашу честность, и уважение к литерат., и чистоту стремлений, и художественный такт, столь необходимый периодич. изданию, особенно у нас. С полной доверенностью к Вам, я обратился с своими посильными листками в Р [усское] слово; печатая за-очно, я надеялся, что Вы мой судья, мой редактор и первый цензор: я был спокоен и хотел продолжать долго и писать много для вашего журнала. И вдруг узнаю, что Апол. Григорьев, названный в литерат. лакеем [Кавелин в Р. вестн.], заклятый славяновил[1] и человек положит[ельно] вредный журналу по своим московско-вяземским убеждениям, — первенствует в Р. слове. Это прошибло меня до мозгу. Я хотел сию же минуту взяться за перо и писать прямо Графу,— писать резко и искренно, чтоб он закрыл свой журнал или избавил его от такого критика; эта мысль еще доселе не покидает меня. Куш. Безб. поймет, что если он продаст

[1] Так в оригинале

десять деревень или проиграет в карты полмиллиона — я не осмелюсь сказать ни слова; но в [буду] пользу общего предприятия, связанного с успехом многих писателей и всей нашей литературы, я в праве говорить. Я сочел бы себя малодушным рабом, если б [я] стал молчать при такой вопиющей нелепости. Но меня удерживает одно обстоятельство: не раздражит ли это Графа еще больше и он, пожалуй, наперекор, отдаст свой журнал в полное распоряжение сыромятного делателя критик в покойном Москвитянине. Тогда позволяю себе быть пророком и предсказываю скорую смерть превосходнейшему предприятию, одному из благороднейших журналов; тогда мы опять надевай колодки Краевского и ползай в передней Некрасова. Боже мой! Что это за страна — Россия: едва взойдет прекрасное дело, как его затопчут в грязь, уничтожат на первом шагу. Посоветуйте мне, добрейший Яков Петрович, могу ли я и как могу заступиться за святость и честь журнала своим письмом и выйдет ли из этого что нибудь путное?

Но пока (я просил передать Вам эту просьбу Попова я посылаю свои статьи в Р. слово прямо Вам, и с той минуты, когда Вы не будете руководить журналом, смею молвить Графу, что я не печатаю у него ни одной ёты, т. е. не печатаю, пока Апол. Григорьев царит в его журнале. Это не каприс; [мне] кровная необходимость что нибудь заработать *пером* далеко от всяких капризов. Но кто же поручится, что Григ. не станет изменять, урезывать и поправлять моих статей, à son mercі? Ведь наши направления, кажется, немного различны. В силу этой чести, чести моего имени и слова, я прошу Вас убедительно принять на себя труд отдавать в печать мои листки непосредственно из под вашей редакции и, разумеется, с согласия с самого Графа. Куш.-Безб. может сделать это исключение в пользу человека, у которого не нынче, так завтра потухнет зрение, но который поставлен в положение работника, не желающего бесчестно есть кусок своего хлеба. Я буду даже дерзок в своих надеждах, и скажу прямо, что отселе я буду даже самым деятельным сотрудником Р. слова, лишь бы он освободил меня от Григорьева. Если Граф успокоит меня, мне остается умолять Вас не отказать мне в этой просьбе. Вероятно, я еще год пробуду за-границей. Мне хочется быть в Италии, и пробыть там долго. В Париже я живу, как Симеон Столпник ради покаяния и спасения души; Лондон — моя обетованная земля.

Давно я послал Вам через Попова две статьи: переводную „Роберт Пиль“ и „Надежды Италии“ оригинальную. Первая, если не ошибаюсь до-дна исчерпывает характер политич. дея-

теля Англии; другая как нельзя больше сходится с соврем. вопросом Италии. Это вопрос жгучий и широкий. Не знаю, как у нас понимают его, но на этом вопросе может оборваться не один австрийский забияка. Кажется, что политич. взглядов в статье немного; я старался их слить с историч. развитием моей идеи. Заступитесь за нее и напечатайте поскорее. Не пренебрегайте, пожалуйсто, моими переводными безделками; это мой отдых, и я строг в выборе предметов. Пожалейте меня и дайте им какое нибудь место в Р. слове. Если же ваш журнал вовсе не приним. переводных статей, я перестану посылать. Теперь я работаю для Р. слова над другой статьей об Италии; она разовьет дальше мою мысль и завершит [1] вопрос окончательно. И этим листкам я придам чисто-исторический характер.

Относительно Camille Monhmalon я начал речь с той единственной мыслью, чтоб бросить свет на Францию. Ведь у нас. Вы знаете, есть партия поклонников ее и гонителей Англии. Monhmalon превосходно знает слабые стороны своего отечества и обладает метким критич. взглядом на вещи. Сделав мне это предложение, он однако ж оговорился, что переводить свои статьи он только позволит мне. Я уважаю его, и взялся за этот труд. Но, разумеется, эти статьи должны являться с его именем. Не знаю, как он примет ваше решение, не заверив себя в постоянном сотрудничестве при вашем журнале.

Очень жалею, что лукавый попутал нас с Поповым отдать Краевскому статью о „Народном воспит.“ * Я раскаялся и умыл руки. Краевский, по обыкновению, надул меня и исказил статью. В „Надеждах Италии“ я вставил замечание, в кот. я оправдываюсь, что вместо „*Пауки Бэкона*“ Отеч. зап. оклеветали меня в каком то грубом [клевете на] обвинении „*Наук* Бэкона“. Если это замечание не мешает интересам Р. слова — допустите его. Если оно покажется слишком резким — смягчите его. Кстати, я предоставляю Вам полную волю поправить, изменить в моих статьях ту или другую фразу или слово — но только Вам, и больше никому. О правописании не говорю: это дело принятого условия во всем журнале. Некоторые цитаты — я забываю пометить; надеюсь, что пора верить писателю хоть в этом — на слово; иногда я не ставлю с намерением, чтоб не доставить удовольствия узнать, из какой книги автор выхватил мысль, особенно если книга пользуется дурным мнением

[1] В оригинале: „завернит“.

* [В письме Благосветлова сноска внизу страницы]: „я, между прочим, и потому не отдал ее вам, что в ней есть повторение „Париж. университ.“ — [так].

в цензуре, иногда же место, слишком известное, и не заслуживает пометки. Все это, впрочем, мелочи.

Но вот дело. Вы подарили меня лестным словом относит. моих крошечных трудов. Искренно благодарю Вас. Но знаете ли, я был бы более доволен, если б Вы в чем-нибудь упрекнули меня, пожурили, наставили.

Верьте, что говорю от души. Мне нужен суд, и Вы поймете это. Критика ставит меня в какое-то исключительное положение, обходя и бранью и похвалою, суда публики я не слышу, голос умных друзей до меня не доходит, а между тем мне хочется идти вперед и совершенствоваться. Всякое замечание — для меня драгоценный факт, всякое разумное суждение — подмога. Я хотел бы выслушать от Вас строгое и чистосердечное мнение о том, чего не достает моим статьям и чего много. [Меня] Я знаю один упрек—меня обвиняют за риторику. Но это приказная придирка. Спорить о том — почему Чернышевский любит носить грязные калоши, а я — чистые сапоги — не стоит и сального огарка. Очень странно, но писать гадко, неопрятно, немецко-пономарским стилем для меня также отвратительно, как спать на паршивой постели. Нет, я желал бы выслушать здоровый и крепкий упрек за содержание, идею статей. Если будет у вас досужная минута, подарите меня своим искренним отзывом. Между сотрудником и редактором не должно быть этих пустых церемоний. В то же время замечу, что некоторые выражения — невольная ложь, как напр. чистота религии и т. п. понятны и не должны решать моих убеждений. Иногда одно слово спасает целый ряд мыслей не бесполезных.

В заключение позвольте попросить Вас всякое деловое замечание, всякое ваше желание сообщить В. П. Попову; он передаст мне его и тем избавит Вас от ненужного особенного письма.

Мое длинное письмо, четверть печатного листа, как думаю, всего лучше доказывает Вам, как [по] мне приятно иногда побеседовать с Вами и как я глубоко предан Вам.

Гр. Благосветлов.

P. S. Если ваша редакция поверит мне, попросите ее послать мне деньги за последние работы поскорей; я плачу обильную дань и аптекам и докторам — и эти крошки мне будут очень кстати. Искренно благодарю Вас за прошлую присылку 800 франков. Я поручил Попову и эту просьбу, но он скоро едет за границу, и тогда Вы мой спаситель. Но это еще впереди.

Просьбу Попова... — Повидимому, Попов писал Благосветлову о трениях в редакции „Рус. слова" и о возможном уходе из нее Полонского. Благосветлов пишет Попову 26 апр. 1859 г.: „Жалко и очень жалко, что такое прекрасное предприятие, как журнал Кушелева, упадет". Дальше он упрекает Попова и других в том, что они не поддерживают „Р. сл." и тем играют в руку Краевскому. И дальше: „Разумеется, ничего не могло быть нелепее, как призвать к себе холуя в критики, подобного Ап. Григор. Попроси от меня Полонского, что я посылаю ему свои статьи, и только ему, и никогда бы не желал вмешательства московского кожевника в мои литературные взгляды".—М. Лемке, стр. 621.

Статья „*О народном воспитании*" была напечатана в „Отеч. зап." за 1859 г., № 3.

О пауках Бэкона... — Замечание это в журнале напечатано не было, очевидно, потому, что его трудно было пристегнуть к статье, да и опечатка была сама по себе неважной. „В Отеч. зап.", 1859, III, стр. 272, упоминаемая Благосветловым фраза была напечатана так: „Пауки Бэкона виноваты в том, что мы целую жизнь учимся словам, а не идеям—не тому, что надо мыслить, а тому как надо мыслить".

Мне нужен суд... — О том же просит Благосветлов и Попова в письме от 26 апр. 1859 г.: „Я хочу суда, потому что жажду совершенства. Я не слышу ни голоса критики, ни отзывов частных; я живу далеко от того мира, который вправе миловать и казнить меня, без протеста и апелляции; в таком положении, ты поймешь, больше чем интересно знать мнение людей, достойных моего уважения", стр. 620.

5

Милейший Яков Петрович,

Если моя просьба не совсем обеспокоит Вас, позвольте узнать, дадите ли Вы нам что-нибудь для июльской книжки. В этом мой личный интерес. Я хотел бы свою первую книжку не лишить ни вашего имени, ни вашей статьи или стихотворения. С другой стороны, ваше грустное положение заставляет меня осторожно просить Вас. Во всяком случае, обяжите меня одной строчкой ответа.

Преданный Вам *Г. Благосветлов.*

1860. 21 июнь
Из Редакции
Р. Слова.

Милейший Яков Петрович... — Это и следующие два письма к Полонскому относятся к эпохе редактирования Благосветловым „Р. слова", третье — к эпохе издания „Дела", и именно к последнему году жизни Благосветлова. Эти письма говорят о неизменно добром и сердечном отношении Благосветлова к Полонскому, никогда не порывавшему с Благосветловым и его журналами. В архиве Полонского сохранилея проект договора Полонского с издателем „Дела", передававшим Полонскому редакцию этого журнала.

Что-нибудь для июльской книжки... — Ничего из произведений Полонского в июльской книжке напечатано не было.

6

[1860] 1 окт.

Милейший Яков Петрович,

Если Вы были так любезны и приготовили для Р. Слова листок о художественной выставке, перешлите его поскорей в Редакцию или типографию. Книжка журнала скоро выйдет.

Еще раз душевно благодарю Вас за этот предупредительный совет, который Вы мне дали в прошлый вечер у меня. Все сбылось; государю показали то выражение и он немножко поморщился. Жалко добрейшего Ярославцева; право уже лучше бы валили все на меня.

Я попрежнему болен и никуда не выхожу. Не оставляйте меня вашим участием и расположением, добрейший Яков Петрович.

Совершенно преданный Вам

Григорий Благосветлов.

Жалко добрейшего Ярославцева. — Речь идет об увольнении цензора Ярославцева, пропустившего статью Благосветлова о Белинском.

7

1860. 17 дек.

Милый Яков Петрович,

Есть у меня до Вас не маловажная [1] просьба. Сегодня, т. е. в воскресенье Майков читает в Пассаже свой „Свинкс". Как бы поволочиться за этим стихотворением? Вы знаете г. Майкова хорошо и близко; не можете ли Вы выпросить у него для Р. слова его стихотворение. Это было бы одолжением для меня лично и украшением январской книжки. Кроме Вас не на кого рассчитывать для будущего номера, и мы будем бедны.

Да поспешите, голубчик, послать в типографию окончание вашего 3 письма. Пора явиться в свет дек. книжке.

Душевно любящий вас

Григорий Благосветлов.

Его стихотворение... — Майков и до этого времени печатался в „Рус. слове", например: „Сны" (1859, I), „Приговор" (60, I), „Поэт и цветочница" (60, II). В объявлении об издании „Русского слова" в 1860 г. (1859, XII), между прочим, было сказано о том, что А. Н. Майков дает для журнала большое стихотворение „Приговор".

3 письма... — В XII книжке „Русского слова" за 1860 г. (отдел Смеси, стр. 33 – 41) была помещена статья „О выставке" (письмо 3-е и последнее) П. Я. П-го.

[1] В оригинале это слово написано раздельно.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
„ДЕЛО"

С.-Петербург
39 Надеждинская ул., 39
1880 г. Мая 31 дня

8

Многоуважаемый Яков Петрович,

Редакция журнала „Дело" получила приглашение от Общества любителей российской словесности представить от себя депутата по случаю празднования открытия памятника Пушкину в Москве. Редакция уже имела случай поблагодарить Общество любит. росс. словесн. за его любезное приглашение и в лице моем назначила от себя депутата, о чем я имел честь уведомить Общество. Но так как праздник не мог состояться 26 мая, а теперь мне предстоит неотложный отъезд за-границу, то позвольте просить Вас, многоуважаемый Яков Петрович, принять на себя мои полномочия, как депутата от вышеозначенной редакции, и в этом качестве присутствовать на празднике, устроенном в память нашего великого поэта. Мне остается с берегов Тэмзы или Сены *присоединить мой искренный привет почитателям Пушкина и от всей души пожелать, чтобы в венках преемников его таланта и Музы было побольше роз и поменьше шипов,* чем досталось их на долю отца Русской поэзии.

С совершенным уважением к Вам

Григор. Благосветлов.

Письма Г. Е. Благосветлова к К. К. Случевскому

1

Лондон. 1858. 20. н.

Mio caro, Константин Константинович, Ваше письмо, пролежав на почте две недели, явилось ко мне с радостной и печальной вестью. Я жил последние три месяца в Оксфорде и только третий день как переехал в Лондон. Из этого китайско-

европейского города выгнали меня осенняя сырость и ужасные простуды. Другой год за границей я страдаю такими зубными болями, каких не знал в России. Вы знаете, что такое западные камины; к ним надобно долго привыкать, особенно после наших православных печей, которые, впрочем портят здоровье хуже каминов. Из России все переезжают за границу с тем бледно-матовым цветом, который показывает, как будто этому господину кто-нибудь долго плевал в лицо или погрозил здоровой пощечиной. Это наш тип; но Вы розовое исключение, потому что молоды.

Вы напугали меня своим горлом. Неужели в Париже Рикор не мог вылечить Вас? Это страшно, и туринская конституция должна стыдиться такого гнилого блядовства. Впрочем, я уверен что воздух родины, а главное ваши молодые силы поборют зло и уничтожут его последствия. Выздоравливайте радикально; это гниль мерзкая.

Странно, что мы с Вами разошлись в Лондоне; да трудно и встретиться. Сборного пункта у русских нигде нет; не смотря на их прославленную коммуну, они всегда действуют особняком. Ну, Вы в две недели оглянули Лондон; но узнать его трудно и в год: это свой мир, во всем самобытный и особенный, грубый и сильный, богатый и нищий, деятельный и ленивый, блестящий и грязный, с чудесным Парламентом и вонючей Темзой. Но к чему я расточаю эпитеты? Вы знаете, верно, не меньше моего, что такое Лондон. Теперь он пуст, но скоро соберется House of Cummons и пойдет кутерьма. Общественное мнение требует парламентской реформы; Брайт разжигает митинги, клубы работают под влиянием Росселя; аристократия дует в кулак под сладкие речи еврея Дисраели, а журналы из конца в конец протестуют за работника, за свободу совести за уничтожение последних привиллегий дармоедов. Страшная нравственная сила, неистощимый источник реформ спокойных, осторожных, но великих и действительных,— не на словах, а на деле. Португальский вопрос, поразивший с одной стороны шайку разбойников, с другой маленький и бессильный народ не способный защитить правого дела, сильно отозвался в Англии. Францию презирают, унижают — и, кажется, кончится взрывом.

Благодарю Вас за Шекспира, которого Вы отдали Попову. Нет, это издание при Вас было; Regent Street, 71 №. за стеклом имела эту книгу. Я помню мое обещание и, верьте, исполню его. Благодарю Вас и за то, что принимаете на себя труд похлопотать по моим маленьким делам в Петербурге. Позвольте

воспользоваться вашей добротой на следующий раз. Я скоро оставляю Лондон и думаю провести зиму или остаток зимы в Италии, а потом в Россию, в баню и на печку — этого сокровища даже и в Китае нет.

Попов сошел с ума и женился. Напишите мне, пожалуйста, какова его жена? Они прислали мне портрет и на нем я вижу женщину с ужасным ртом, так что если она сердита притом, она проглотит и капитана гвардии и кавалера. Разумеется, эти строчки между нами, потому что мое „озлобление" против человечества сгубило мою репутацию и без того. Это выражение Попова. Он видимо глупеет, вероятно от того, что слишком много работает над произведением потомства. Вчера видел Макбета в Princess hall — великолепно играют, великолепные декорации и Шекспир не умирает. Кин (Kean) играл Макбета, сын бывшего знаменитого Кина, но этот не дурен.

Кажется, письмо мое написано не четко, глаза болят; но все же читается лучше вашего убивающего почерка. За всем тем готов читать часто и с удовольствием; пишите пожалуйста.

Литературная ваша лень — перемена горизонта, впечатлений, физический недуг. Все это пройдет — и Вы охотно возьметесь за перо. А что Британник и Нерон?

N. B. Не забудьте сказать справедливого слова о Рюмине.[1] Что он провалился с своими аферами навсегда или встанет. Мое пророчество сбылось, но стоило ли это дело пророчества? Журналов, правда, очень много, но вздор большею частию — аферы литерат. прасолов.

Я не думаю, чтобы Вы стали мне писать в Лондон, где я останусь не больше двух недель; о последующем адресе уведомлю Вас. Выздоравливайте от души желаю!

Письма к К. К. Случевскому. — В письме к В. П. Попову, от сентября 1857 г., Благосветлов высказывается по адресу К. К. Случевского, своего ученика по кадетскому корпусу, очень неодобрительно; из письма Благосветлова к тому же В. П. Попову, от августа 1858 г., видно, что летом этого года К. К. Случевский был у Благосветлова в Париже. С того времени отношения к нему Благосветлова становятся более сердечными, и Благосветлов дает ему разные поручения в Петербурге, как раньше В. П. Попову.

2

10 мая 1859.

В прошлом году, при нашем свидании в Париже, Вы, Константин Константинович, были так любезны, что обещали помочь мне, на случай нужды, в моих литер. сношениях с Петер-

[1] *А. Н. Рюмин* — издатель „Общезанимательного вестника".

бургом. Если вы не изменили своего желания и любезной готовности быть мне полезным, — вот время, когда Вы можете обязать меня бесконечно. Не думайте, впрочем, чтоб я слишком обременил Вас. Единственная моя просьба будет к Вам—передать ту или другую статью в тот или другой журнал. Разумеется, Вам придется иногда иметь дело с разными литерат. мошенниками, но позвольте на этот раз сообщить Вам самые подробные сведения — как и с кем действовать: я немножко знаю эту петербургскую сволочь.

Надеюсь, что Вы уведомите меня строчкой, если не будете находиться в Петербурге. В таком случае, я должен просить другого, известного мне корреспондента. Если же Вы постоянный житель сырого и навозного города, примите мою просьбу к сердцу. Вы окажете действит. услугу человеку, которого все состояние состоит в трех пальцах правой руки и голове с больными глазами; я буду часто зависеть и сердцем и телом от вашего письма и его своевременного получения. Помните, что я живу не далее будущего дня. Побольше фактов и поменьше лицемерия—и я благословлю ваши строчки, как лучший подарок с родины.

Вас. Петр. Попов, развлеченный домашними хлопотами, или заграничной поездкой, прекращает со мной переписку. Я очень обязан ему за доброе внимание и главное за доминиканское правило: „faites tout ce que vous voulez; mais ne demandez pas des paroles à coeur ouvert". Удивительный человек Василий Петрович; в два года ни один раз не проговорился. Если Вы обладаете таким же душевным геройством, позвольте наперед попросить пощады.

Совершенно преданный вам *Г. Б....*

P. S. Ваше письмо до 22 мая н. с. может найти меня в Париже, по след. адресу: Rue de la Sorbonne, Hôtel Rollin, 20. Далее не знаю, где буду, но уведомлю Вас. За границей еще год остаюсь; тем на лучшее свидание рассчитываю с Вами. Поклонитесь, кто помнит меня.

3

[Июль 1859 г.]

Mio caro, Константин Константинович. День великолепный в Париже; со мной В. Петрович и я очень рад. Вот все, что есть нового у нас или лучше у меня. Война остановлена до 15 августа, говорят. Язва в войсках. Франция беднеет и ропщет.....

Душевно благодарю Вас за эту милую готовность, с которой Вы приняли мою просьбу. Вы бесконечно обяжете меня, и я с своей стороны был бы рад услужить Вам за границей.

Теперь поручения — исполните их, пожалуйсто. 1-х узнайте, напечатан ли в июльской кн. Р. слов.(а) „Монтанелли" и сколько печатных листов выйдет. 2-х позвольте повторить просьбу В. Петровича — уведомить поскорей, когда граф Кушел. Безбор. выедет из Петерб. и будет в Париже. Это знает Я. П. Полонский или Рюмин. Скорым известием Вы очень обяжите нас, 3-х. Если узнаете что-нибудь нового по редакции Кушелева, сообщите это. Для меня важно это дело в том отношении, что с ним, т. е. с судьбой Р. слова соединяется непосредственно мое заграничное путешествие — последний год его.

Желаю Вам полного успеха в „От. зап.", только не поддавайтесь обману Андрюшки Монетчика.

Вам совершенно преданный *Г. Благ*.....

Р. S. Не сходите ли Вы к Зотову, издателю и редактору „Иллюстрации". В ней должна быть отпечатана моя статья „Лола Монтес". — Возьмите за нее деньги и вручите их Евгении Алексеевне Поповой. В то же время спросите Зотова, не хочет ли он поместить биографию Гарибальди. Но пусть уведомит меня поскорей, если хочет. Деньги, взятые у него, передайте Евг. Ал. Поповой, с тем, чтоб она переслала их вместе с деньгами В. Петровичу в Париж или Рим — куда случится.

Адрес наш: Paris, Rue de la Sorbonne. Hôtel Rollin, 20.

Написание настоящего письма определяется следующей припиской В. П. Попова на этом же письме:

„Будьте так добры, Константин Константинович, известите о судьбе моего Феррари; сколько листов занял он, как поступила с ним цензура и как она напечатана; а главное узнайте обстоятельнее, когда Кушелев выедет из Петербурга, и если возможно, то где остановится

Не стану описывать Вам своих впечатлений: Вы сами были за границей и знаете, что в первое время они накопляются целыми кучами, так что надо время, чтобы правильно оценить их.

Если Вам некогда будет самим известить меня, потрудитесь передать ответ Полонского жене моей.

Весь Ваш *В. Попов.*

N. B. Пожалуйста, будьте обстоятельны с Полонским: помните, что он поэт и рассеян.

10 июля 1859 г.

Андрюшки Монетчика, т. е. А. А. Краевского.

Зотову—Влад. Раф. Зотов (1821—1896).

В VII книге „Русского слова" за 1859 г. была напечатана (стр. 37—56) статья *В. П. Попова:* „Histoire des révolutions d'Italie ou Guelfes et Gobelins, par J. Ferrari".

4

Париж. 1859 г., 22 авг.

Вы очень любезны, Константин Константинович, вызываясь исполнить наши коммиссии. Вот Вам целая куча поручений, с убедительнейшей просьбой похлопотать о них.

1-х. Узнайте, пожалуйсто, напечатан ли в Р. слове „Монтанелли", если нет, спросите г. Григорьева: думают ли они и когда напечатать его? Я послал статью в мае мес. и убедительно просил г. Полонского не медлить ее напечатанием; она писана под влиянием событий Итал. войны и следов. как не больше современная. Такие статьи или вовсе не печатаются или печатаются немедленно. Поставьте это на вид пьяной, растрепанной и глупой редакции. С тем вместе и обяжете немедленным ответом.

2-х. Я посылаю Вам новую статью „Образование ремесленников". Передайте ее также в Р. слово, как можно поскорей и попросите, кого следует из редакторов просмотреть (не более как в день) ее, и, если понравится, принять ее; но во 1-х с тем условием, чтоб она была напечатана в *сентябр.* книжке и на *прежних условиях* (я прибавляю на прежних условиях потому, что, кажется, какой-то Хмельницкий хочет убавить плату за лист — до личного или заочного объяснения с самим Кушелевым-Безбородко — я не принимаю никаких изменений). Если редакция Р. слова примет мою статью на этих двух условиях, оставьте им.

3-х. Если б они не приняли статью, передайте ее немедленно г. Краевскому в Отеч. записки. Я прилагаю здесь ему письмецо; Вы потрудитесь вручить его Краевскому только в том случае, когда ничего не успеете сделать в редакции Р. слова. В противном случае, оставьте его у себя. Вы поймете, что ничего не может быть неприятней, как иметь дело заочно с нашими редакторами; поэтому я прошу у Вас всей энергии, всего доброго внимания к моим интересам; не сомневаюсь, что вы не откажите обязать меня.*

4-х. Если статья останется в ред. Рус. слова, и след. письмо Краевскому не будет отдано, сообщите ему, при удобном случае, такое предложение: — не желает ли он поручить мне какую нибудь серьезную работу, которую бы я мог продолжать несколько месяцев. Я не отказался бы даже от переводного труда, с англ. или итал., но только при лучших условиях, чем это

* Если отдадите статью Краевскому, не говорите ему, что она была послана в Р. слово.

водится у Краевского. Впрочем я еще подумаю об этом и сообщу Вам подробней. Кажется с Р. слов. придется расквитаться. Безумию его нет конца, а между тем год заграничной жизни должен быть обеспечен.

Что Вам сказать о новостях Парижа? Кроме мерзкой рожи Семевского здесь все по старому. Кстати, что это за осел этот Семевский? Груб, дерзок, нахален и неприличен, как следует воспитаннику Дворянского подполья, взлелеянному на старых солдатских шинелях, у Павловского. Мне жалко русских, когда я слышу и смотрю на эту угловатую и костлявую фигуру, самолюбивую до опьянения, в прямой пропорции с его невежеством. Он был у меня, я принял его сухо, угрюмо, как приним. рвотное, и он начал ругательствами: обругал в моем присутствии Введенского, Вас и все, что есть антипатичного этой смердящей крысе из литературного анбара; я оборвал его раза два—горячо и сильно; он, вероятно, не понял; я принужден был почти выгнать его от себя, потому что каждый его визит буквально равнялся приему самой гадкой микстуры. Теперь он живет в одной отели с нами, и больше не бывает у меня и перестал кланяться. Кажется, он особенно обиделся тем, что я не хотел прочитать его „Елисавету". Заглянув в первый лист я увидел какое-то сыромятное произведение, чужеядное, дерзкое и шарлатанское по цитатам и бросил. Он знакомится в Париже очень оригинально: на лестницах, в кафе, на улицах—с гарсонами, с разной сволочью и все это вменяет себе в особенную честь. Везде—даже гризеткам рекоменд. „Je suis l'officier de la garde impériale" и проч. и все смеются ему прямо в рожу. Всем говорит, что он напис. Елисав. и след. имя его должно быть известно каждому. Вообще такого Подхалюзина,—я отстал от них,—в Москву, в Москву, — но стыдно пускать за границу. Поправьте его, если можно, в печати, но так, чтоб он почувствовал, что от литерат. моли до истинного писателя — далеко. Это подлый человек, по голове и сердцу, и их надо давить прежде, чем из них образуются Булгарины. В. П. Попов кланяется Вам. Я попрежнему люблю Вас и желаю Вам полного успеха в деле литерат. Извините, что я забросал Вас поручениями, но прошу Вас помочь мне.

P. S. Пожалуйсто, известите поскорей. Ответ Ваш воскресит меня. Адрес тот же: Rue de la Sorbonne. Hôtel Rollin. 20.

P. S. Пожалуйсто, похлопочите, не затерялся „Монтанелли" он был у г. Полонского, и след. от него надо требовать. Если б

„Монтанелли“ был назначен к Сентябрской книжке, тогда „Образов. ремесленн.“ пусть пойдет в октябре; так и уговоритесь.

Мерзкой рожи Семевского... М. И. Семевский в 1859 г. в первый раз был за границей. Отношения Благосветлова к М. И. Семевскому, ученику Благосветлова по Дворянскому полку, вначале были самыми сердечными, как о том свидетельствуют письма Благосветлова к Семевскому.—„М. И. Семевский“—биографический очерк В. В. Тимощук, СПБ, 1895, II, стр. 12—28. Но за границей, как показывает настоящее письмо, отношения Благосветлова к Семевскому резко изменились к худшему.

5

Многоуважаемый Константин Константинович. Позвольте удержать „Маниака“, которого мы постараемся пристроить в „Деле“ в июньской или июльской книжке. Что-бы Вам не попробовать писать небольшие рассказы из русской жизни, мне кажется, что у Вас есть все данные для произведений этого рода. Журналы же сильно в них нуждаются и, конечно, печатали бы их охотно.

Другие рукописи спешу возвратить Вам и прошу извинить меня, что продержал их долго.

С истинным уважением к Вам *Григор. Благосветлов.*

1876 г., 26 апр.



Е. И. Жуковская

Из записок шестидесятницы [1]

I

„ВНЕ КОММУНЫ"

Первое время, по моем переезде, к Юлию Галактионовичу,[2] я некоторое время еще продолжала ходить в библиотеку братьев Яковлевых, но вскоре отказалась от этого места и ограничивалась только переводами, которые получала неправильно, урывками, преимущественно в „Современнике" и „Заграничном вестнике", издаваемом Вольфом и редактируемом Петром Лавровым. Юлий Галактионович некоторое время продолжал служить в Государственной канцелярии и писать в „Современнике". А когда начальство его нашло неудобным такое совместительство и предложило ему на выбор, уходить или перестать писать, то он, захваченный тогдашними преобразованиями, предпочел отказаться от службы и вышел в отставку.

Весною мы переехали на дачу на Поклонной горе, а осенью поселились в Дмитровском переулке. Нас часто посещали мои товарищи по коммуне, а также и другие литераторы: Некрасов, Салтыков, Антонович, Пыпин. Были среди моих гостей и общественные деятели, преимущественно из тверских помещиков, между которыми выдавались: Унковский, Европеус,

[1] „Записки шестидесятницы" Е. И. Жуковской вышли в свет в 1930 г. под названием: „Екатерина Жуковская. Записки. Редакция и предисловие Корнея Чуковского", 257 стр." в „Издательстве писателей", Ленинград. В них вошли очерки: Брак по принципу.—Знаменская коммуна. — Плещеев—Некрасов — Салтыков-Щедрин". Печатаемые здесь два очерка: „Вне коммуны" и „Гауптвахта" остались в рукописях и предоставлены нам дочерью писательницы Н. Ю. Жуковской. *Прим. ред.*

[2] Ю. Г. Жуковский—муж Е. И. Ценциной-Жуковской.

Неведомский, Головачев—двоюродный брат секретаря „Современника", его однофамилец, получивший известность позже как публицист („Десять лет реформ" и др. публицистические статьи). Все эти лица, как и Юлий Галактионович, находились в приподнятом настроении и предавались общественной деятельности всей душой и в качестве публицистов, и в качестве непосредственно соприкасающихся с народом, как вышеупомянутые тверитяне. Одно время наш дом сделался средоточием, куда ежедневно, во всякое время дня и вечера, приходили эти лица с новостями, которые горячо обсуждались и по поводу которых писалось.

Вместе с тем всем казалось недостаточным участвовать только в ежемесячном журнале; захотелось завести свою газету. Главное затруднение состояло в отсутствии денег. Решили начать с выпуска газеты по два раза в неделю. Типографию и бумагу можно было устроить в долг. Но не было денег даже на объявления. Верещагин—известный насадитель сыроварения в России,—нашел возможным выделить из суммы, им запасенной на поездку в Швейцарию 150 рублей, которые целиком пошли на рассылку объявлений при „Современнике", „Русском слове", „Петербургских ведомостях" и „Голосе"—наиболее распространенных в то время журналах и газетах. В виду отсутствия гонорара, большинство сотрудников, воодушевлявшихся первоначально идеею иметь свой орган, простыло; так, что Ю. Г. пришлось писать газеты почти целиком одному с Эрнестом Карловичем Ватсоном, который вел политический отдел очень аккуратно до самого конца. Остальные дали, кто по фельетону, кто по заметке и как-то отступили. Аполлон Филиппович Головачев наблюдал за печатанием газеты, для чего ему была дана в полное распоряжение типография князя Голицына, купленная князем у Владимира Онуфриевича Ковалевского. На этих двух личностях стоит остановиться.

Голицын заслуживает доброй памяти уже потому, что это один из немногих, не погрешивших на деле против своих взглядов и убеждений; он принес, может быть и нелепо, в жертву либеральным идеям не только все свое состояние, но и имя.

Он получил в наследство дом на Шпалерной и 40 или 50000 денег, что по тогдашнему времени представляло довольно внушительную сумму. Он познакомился как-то с вышеупомянутым Ковалевским, который представлял собою тип интеллигентного аферист а. Он завел было в долг типографию, но, по отсутствию оборотного капитала, не мог удержать и потому выгодно спустил ее Голицыну. Купивши типографию,

князь выказал полное неуменье ею заведывать и потому Ковалевский предложил ему передать это заведывание Аполлону Филипповичу Головачеву, который, разумеется, тоже не особенно успешно вел ее. Но на первое время выказал особенную деятельность, потребовавши у Голицына оборотного капитала, позволявшего ему брать работу в долг. Он тотчас же предложил новой газете печататься в этой типографии. Несмотря на кратковременное свое существование, газета эта расплатилась с типографским долгом, так как никто из сотрудников, согласно общему уговору, не взял ни копейки гонорара. Кроме типографии Голицын купил библиотеку у братьев Яковлевых, в которой я прежде работала, живя в коммуне. И так как князь и библиотеку вести не умел, то предоставил заведывать ею тому же брату Яковлеву, который вел ее ранее. С Фонтанки они перенесли библиотеку в хорошее помещение на Невском и расширили дело, присоединив к ней книжный магазин. В помощницы Яковлев взял себе красивую малороссиянку Марью Дмитриевну Шабельскую, в то время разошедшуюся с мужем.

Помню, как раз, войдя в магазин купить какую-то книгу, я застала лишь одного князя за прилавком. Вызванный мною через мальчишку Яковлев попросил меня пройти в другую комнату, где я застала за завтраком Шабельскую. Стол был уставлен разными закусками, среди которых красовалась корзина земляники виктории, по тогдашнему раннему, весеннему времени еще очень дорогой. Оба стали предлагать мне эту землянику. По тогдашнему моему настроению я находила, что есть такую дорогую землянику безнравственно, и высказала это им и отказалась. Они стали смеяться и оправдываться тем, что это от магазина, а не их трата. Это меня еще более возмутило. Когда Яковлев был сам владелец магазина, то никогда не позволял себе таких трат, и завтраки ограничивались вареной колбасой с чаем, и потому я сочла нужным наговорить им еще более неприятных слов, вследствие чего мы перестали видеться.

Об дальнейшей участи князя я слышала только от других. Книжный магазин и библиотека велись на такую широкую ногу, что ему пришлось продать свой дом на Шпалерной. К этому времени возникли затруднения у Зайцевых, о которых я писала в моих „Записках Шестидесятницы“.[1] Голицын женился на Зайцевой фиктивным браком, выдал ей заграни-

[1] См. вышеуказанное издание, стр. 105 и 106.

ный паспорт, с которым она уехала в Швейцарию тотчас же после свадьбы, а он остался. Дела магазина тоже запутались, князь продал и его. С продажею магазина князь Голицын совсем как то исчез с горизонта, и я более ничего об нем не слыхала. Яковлев попал в мировые судьи в первые выборы во вновь учрежденном институте мировых судей. Шабельская, еще до продажи магазина, куда то скрылась, оставив на произвол судьбы своего восьмилетнего сына, которого призрел Яковлев.

Теперь вернемся к газете. Ответственным редактором и издателем был Ахшарумов, известный беллетрист. Он не отличался особенным талантом; но был литературно образован и добросовестен в своих писаниях. Описывая что-нибудь, он предварительно изучал подробности, входившие в его роман. Так, например, принимаясь за роман, в котором аллегорически действующими лицами являлись звери, он изучал их нравы по обширному сочинению Брема.

Было очень трудно найти ответственного редактора, который был бы угоден правительству и не мешался бы в дела редакции.

Первоначально кто-то представил Лесевича, тогда еще не печатавшего своих философских статей и совершенно неизвестного Современниковскому кружку. Но он потребовал непременно действительного, а не фиктивного участия в газете, желал распоряжаться серьезно и влиять на выбор статей, что не могли ему предоставить, в виду его полной неизвестности, как литератора.

Ахшарумов не принадлежал ни к какому лагерю, держался чистого искусства. Вещи свои он помещал в журналах противоположного, консервативного лагеря, так как почему то не сошелся с либеральными журналами, требовавшими большую или меньшую тенденцию, если произведение не отличалось особенною талантливостью. Потому согласие его выручить Ю. Г., главного вдохновителя и инициатора газеты, было крайне любезно и основано на его исключительной симпатии к последнему. Познакомились они случайно в Академии Художеств, куда Ю. Г. ходил одно время рисовать с натуры, а Ахшарумов в то время готовился в художники и писал на заданную тему. Случайно же встретились они одно лето в Мурине, где оба предавались живописи с натуры. Все, кому только не случалось сблизиться с Ю. Г., весьма тугим на знакомства, к какому бы кругу общества ни принадлежали эти люди, все они поддавались обаянию этой выдающейся по своему уму, образованию, доброте и гуманности личности.



Е. И. ЖУКОВСКАЯ

Так случилось и с Ахшарумовым. Видя затруднение Ю. Г. найти подходящего ответственного редактора, он согласился взять на себя эту, тем более неблагодарную роль, что сам он ничего не выгадывал от этого, кроме неприятностей. Он помещал свои романы, как я сказала, в консервативных журналах, в газете же, и при том выходящей всего два раза в неделю, ему нечего было думать помещать эти романы; тем более что он жил исключительно этими романами, а „Народная летопись" (так называлась редактируемая им газета), до поры до времени, литературного труда не могла оплачивать.

Неудобство быть ответственным редактором Ахшарумов ощутил тотчас же, как Ю. Г. перешел к полемике с Катковым, у которого, главным образом, помещал свои романы Ахшарумов. Однажды он написал очень резкое письмо Ю. Г., в котором просил его прекратить всякую полемику с Катковым. Ю. Г. тотчас же понял, что ставит Ахшарумова в неловкое положение. Но он не мог совсем отказаться от полемики с Катковым, которого считал главным наускивателем против либеральных начинаний, и потому стал подыскивать другого редактора, которому его статьи против Каткова не вредили бы.

Написавши такое резкое письмо, Ахшарумов думал, что очень рассердил этим Ю. Г., и не только не пришел к нам в определенный день обедать, как делал эти годы, но даже отвернулся от нас, встретив нас едущими на извозчике. Тогда, по просьбе Ю. Г., не любившего писать письма, я написала Ахшарумову: „Что это вы от нас отвернулись? Неужели же вы все сердитесь? Простите Ю. Г. за то, что не подумал об вас, писавши свои статьи. Если же вы полагаете, что мы обижены на вас за ваше письмо Ю. Г., то мы не сердимся; приходите обедать, как приходили". Ахшарумов тотчас же пришел, радостный и дружественный. За обедом они с Ю. Г. пришли к решению искать другого редактора, тем более, что как раз Некрасов, восхищенный публицистическими статьями Ю. Г.,—который до сих пор писал исключительно научные статьи,—предложил Ю. Г. деньги для превращения газеты в ежедневную. Пока шли переговоры и хлопоты по подысканию другого ответственного редактора, Ахшарумов получил правительственное распоряжение о полном закрытии газеты на 12 номеров.

Хотя в газете не были упомянуты имена ее сотрудников, тем не менее слух о ней стал распространяться и обратил на нее внимание начальства. К закрытию газеты было столько денег, что ими удалось расплатиться вполне по расходам ти-

пографии и за бумагу; только Ю. Г. с Ватсоном и очень немногие другие, кой-что писавшие, проработали даром.

По закрытии „Народной летописи“ Некрасов предложил Ю. Г. принять более деятельное участие в „Современнике“ и взять на себя редакционные обязанности вместо Антоновича, которым был недоволен за его полемику с Достоевским. Не желая перебивать Антоновичу его положение, Ю. Г. отстранил от себя это предложение, ссылаясь на неохоту заниматься черновой работой, и только оговорил себе определенное содержание в 300 рублей в месяц, с тем, чтобы поставлять приблизительно 20 листов в год.

Тогда же Некрасов узнал, что нам хочется съездить за границу и, без всякой просьбы с нашей стороны об авансе, выдал нам за месяц, или два вперед.

Ю. Г. уже раза три был за границей; поездки эти освежали его и он нетерпеливо ожидал, какое впечатление произведет и на меня такая поездка. Затруднял нас паспорт. Я обратилась с прошением к тогдашнему генерал-губернатору Суворову, который велел телеграфировать моему мужу [1] выслать мне разрешение, при чем я уплатила как за мою, так и ответную телеграмму, и эстафету. Между тем прошло 10 дней, и никакого ответа не последовало. Я предполагала новую неприятность со стороны мужа. Оказалось, что он действительно имел в виду сделать что-нибудь неприятное, но не решался сделать это прямо, в виду требования генерал-губернатора из Петербурга. Вероятно, посоветовавшись с кем-нибудь, тянул ответ 10 дней, и послал его с эстафетой на телеграфную станцию после конца срока, положенного законом на ответ. Это мы уже узнали от Салтыкова, который был в то время в Рязани председателем казенной палаты, и к которому я обратилась с просьбою справиться на телеграфной станции. Ему подали ответную телеграмму мужа, которую он заставил протелеграфировать, оплативши вторично. Таким образом на этот раз моя заграничная поездка могла совершиться благополучно.

К великому разочарованию Ю. Г., мои первые заграничные впечатления были не радостны. Я была страшная патриотка, любила только русских и все русское и почему-то не выносила немцев. С ненавистью отнеслась я и к немецкому носильщику и к полицейскому, выдававшему номера дрожек,

[1] Здесь говорится о первом муже писательницы — Ценине, за которого она не рассуждая вышла замуж очень молодой девушкой, желая вырваться из гнетущей домашней обстановки, и с которым вскоре разошлась. (См. ее „Записки“). *Прим. ред.*

и даже к ругательствам двух немецких мальчишек, подравшихся у моих дрожек в то время, как Ю. Г. отыскивал с носильщиком наш багаж. Взглянувши на проходившую с младенцем на руках немку, я было улыбнулась миленькой мордочке последнего, но тут же подумала: „и ведь и из тебя выйдет немец".

В Берлине мы оставались не более недели. Для лучшего ознакомления с городом Александр Николаевич Пыпин сказал нам обратиться к причетнику русской посольской церкви Казанскому, тяготевшему к литературе и оказывавшему много услуг Добролюбову и, по рекомендации последнего, и Пыпину.

Устроившись в гостинице, я тотчас же написала Казанскому, который не замедлил явиться и очень обрадовался, когда на вопрос, предложенный им Ю. Г.: „Не родственник ли он Ю. Г. Жуковскому?" получил ответ, что он самый и есть. Он руководил нами в осмотре достопримечательностей Берлина, в посещении парламента, музеев, а также и Кролля. Здесь я встретилась с моим московским знакомым из периода „исканий знакомства по человечески"—Василием Ивановичем Сергеевичем, который пришел нарочно встретиться с нами у Кролля, так как узнал от Казанского, что мы там будем. Ю. Г. пришлось познакомиться с ним впервые: до отъезда за границу с научной целью, Василий Иванович преподавал законоведение в одной из гимназий в Москве, где я с ним и познакомилась. В Москве он жил на Плющихе во флигеле при доме родителей своих товарищей по университету братьев Дювернуа, на сестре которых он впоследствии женился. Пирогов увез его и братьев Дювернуа в числе самых выдающихся молодых ученых за границу, куда их откомандировал министр народного просвещения Головнин. Выдающийся по своему уму, ученый, Василий Иванович отличался не одною только научною любознательностью; он был живой человек и с неменьшею охотою изучал и живых людей; и не только людей своих воззрений, но пожалуй даже, с большим любопытством, людей совершенно иных направлений. Я познакомилась с ним и Н. Л. Дювернуа у Коптевой, в которой его, видимо, заинтересовали новые веяния. Своими саркастическими замечаниями на счет наших тогдашних выходок В. И., видимо, пытался охладить наши экстравагантности. И, хотя большого успеха в этом направлении не имел, тем не менее относился крайне дружески к нам. Уезжая за границу, он передал Коптевой, терпевшей много неприятностей от квартирных хозяек, свой флигель у Дювернуа и довольно долго переписывался

с нами в свое пребывание в Гейдельберге. Впоследствии, у меня по крайней мере, переписка с ним оборвалась и я не подозревала о его пребывании в Берлине. Встреча с ним у Кролля была для меня приятною неожиданностью. Он представил мне тут же младшего брата Дювернуа Александра Львовича, который впоследствии был профессором по одной из словесных кафедр в Московском университете. Последний, крайне красивый, на половину француз, произвел на нас чрезвычайно приятное впечатление, и мы как-то сразу с ним сошлись и видались почти ежедневно во время нашего недельного пребывания в Берлине, точно также как и с Василием Ивановичем.

Мы рассчитывали пожить часть лета где-нибудь на вольном воздухе. Сергеевич рекомендовал нам Аллерхейлиген. Мы уложились, чтобы ехать туда. Ю. Г. зашел перед отъездом в книжный магазин за какою-то книгою; разговорился с владельцем книжного магазина на счет красивых мест; тот отсоветовал нам ехать в Аллерхейлиген и очень рекомендовал Баденвейлер, который только что стал возникать в то время. Почему то мы решили последовать этому совету и поехали в Баденвейлер.

Тогда еще не была построена маленькая линия, соединяющая Баденвейлер со станциею Мюльгейм баденской дороги. Приходилось брать экипаж. Мы пообедали пока нам закладывали экипаж, и через час нас привезли в вышеупомянутый курорт. Мы остановились в единственной порядочной гостинице, еще не совсем отделанной, так что нас поместили в комнате с невыкрашенными полами, без ковров. Мы оказались первыми и в тот момент единственными квартирантами этой гостиницы. Был подготовлен целый штат кельнеров, с обер-кельнером, с расчесанными бакенбардами, во главе; все это от безделья смотрело нам в глаза и до отвращения ухаживало. При этих условиях, при полном уединении и полной пустоте возникающего курорта, довольно миловидная местность показалась нам тоскливой, и мы едва выдержали двое суток.

Ю. Г. повез меня в Швейцарию, которою, по его мнению, я должна была очароваться. Мы приехали в Люцерн и остановились в гостинице „Англетер“ на набережной озера, прямо у пароходной пристани, напротив Пилата. В то время Люцерн не обиловал гостиницами, как теперь, да и путешественниками тоже; набережная была на половину менее теперешней и на ней красовалось только 4 отеля, из которых только Швейцергоф выдавался своею величиною. У моста стоял все тот же,

что и теперь „Шван", на вид, как и теперь, не казистый, хотя и очень поместительный, благодаря своим полуэтажам и низким комнатам; рядом с ним стоял отель Риги, с которым он соединился во-едино теперь; да еще отель, в котором мы остановились, находившийся непосредственно около Швейцергофа. Уже по дороге, во время нашей остановки в прелестном Гейдельберге, меня привели в отчаяние горы, с которыми я до тех пор была незнакома; мне казалось, будто я заперта в яме; а великолепное Люцернское озеро, окруженное высокими горами, произвело на меня еще более удручающее впечатление отсутствием открытого горизонта, столь привычного русскому человеку. Жизнь в гостинице казалась мне, не испытавшей гостиничной жизни, чрезвычайно дорогой, деньги начинали таять, это усугубляло мое неудовольствие. „Погоди, вот приедем в Бекенрид, там мы дешево устроимся", утешал меня Ю. Г. Действительно, в Бекенриде мы остановились не в отеле, а в частной квартире у сыровара, в комнатах, которые в прошлом году занимал Ю. Г. и Ахшарумов. Комнаты, нам отведенные, были чисты, низки и не дороги, но крайне неуютны вследствие отсутствия мягкой мебели. Ю. Г. целыми днями рисовал на воздухе, не замечая этого недостатка; меня же, по целым дням читавшую, тяготило отсутствие мягкой мебели, на которую можно было бы опереться. Главное же уныние наступало по вечерам, когда, с темнотой и прекращением пароходного движения, как то особенно напирали горы и беспрерывно раздавались иодельны с противоположного берега озера. Меня охватывала непреодолимая тоска по жизни и людям, в которых в тогдашнее время сосредоточивались мои интересы.

По приезде в Люцерн я написала о нашем прибытии Надежде Прокофьевне Сусловой, спрашивая, где и когда мы можем с ней встретиться. Письмо свое я адресовала ей в Цюрихский университет, где продолжала свои медицинские занятия Надежда Прокофьевна, начавшая их в Петербургской медицинской академии. В Цюрих она выехала вследствие запрещения женщинам посещать названную академию; она первая снарядилась туда и там, на скромные средства, выдаваемые ей родителями, добилась докторской степени. Она так обрадовалась нашему прибытию, что, получивши от университетского педеля мое письмо, тотчас же поспешила к нам в Люцерн и, узнав в отеле, что мы переехали в Бекенрид, поехала туда на пароходе разыскать нас. Понятно, как мы обрадовались ее приезду. К сожалению, ее появление было

непродолжительно. Ожидание сначала поезда в Люцерн, потом парохода и, наконец, самый путь отняли у нее много времени и она дошла к нам около 4-х часов, а через час уже отходил от нас последний пароход в Люцерн. Ей было необходимо почему-то вернуться в этот же день в Цюрих. Она радостно, по братски, расцеловала нас обоих. Едва успели мы перекинуться с ней несколькими впечатлениями, как показался издали последний обратный пароход. Нужно было спешить к пристани, и мы заметались. Услыхав от нас, что мы тоскуем об отсутствии людей, Н. П. предложила сейчас же ехать с ней в Цюрих, повидать колонию русских ученых и докторов, проживавших с ней в одном пансионе. Нам показалось это таким соблазнительным, что мы согласились на ее предложение. Поспешно оделись, поручили на сутки моего маленького пятилетнего сына покровительству добродушных хозяев и оставили его с нянькой швейцаркой, нанятой нами смотреть за ним, чтобы он не упал в озеро, на берегу которого копошился с разными постройками целый день. Хотя швейцарка ни слова не понимала по-русски, а сын по-немецки, тем не менее они отлично ладили и как то понимали друг друга. К отъезду нашему сын мой, углубленный в свои постройки, отнесся очень хладнокровно. Успокоенная на этот счет, я поехала с легким сердцем. В Люцерне пришлось порядком подождать поезда, так что в Цюрих мы приехали ночью. Было страшно темно и ни одного извозчика у дебаркадера. Уличное освещение если и полагалось, то ко времени нашего приезда, в одиннадцатом часу, совершенно отсутствовало, и мы могли идти только благодаря Сусловой, близко следуя за ней. Она же вела нас с твердою уверенностью. В пансионе ее и нас ожидало полное разочарование. Доктор Покровский с женою, Княжнина и еще кто-то отправились в горы до понедельника утра. Мы с Ю. Г. предполагали ночевать в гостинице, но Суслова уговорила меня ночевать с ней рядом, в комнате Княжниной, с которой она была близка и комнатою которой она могла распоряжаться, так что только одному Ю. Г. приходилось уходить в отель. Пока мы болтали за чаем, заваренным Сусловой на спиртовке, так как после 9 часов нельзя было ничего получить у хозяйки, покуда Суслова устраивала мне свежее белье на постели Княжниной, наступил для Швейцарии, в то время в особенности, поздний час — 12 часов. В виду полного незнания Ю. Г. города и полной темноты, Надежда Прокофьевна решилась постучаться в дверь к изучавшему в Цюрихе химию Лугинину, уже спавшему. Она из-за закрытой двери объяснила ему труд-

ность положения Ю. Г. и просила помочь ему дойти до отеля. Лугинин тотчас же оделся и сошел к нам вниз и проводил Ю. Г. в гостиницу Бель-вю.

Комната Княжниной, в которой мне пришлось ночевать, походила, по беспорядочно разбросанным вещам, на комнату студента бурша: то там, то здесь был навален табак, гильзы и к довершению всего чубуки. Княжнину я знала только в лицо. Она однажды обратила на себя мое внимание крайне суетливым, беспокойным поведением на одной публичной лекции детского доктора Быстрова. К тому же и одета она была тогда довольно оригинально, в красной кумачной косоворотке, которая виднелась из под до полу длинной плисовой поддевки. Мне кто то объяснил, что это Княжнина. Теперь она приехала в Цюрих вслед за Сусловой изучать медицину, которую впоследствии бросила на втором, или третьем курсе. Суслова рассказала мне несколько забавных анекдотов про нее, где ее оригинальность, совершенно непосредственная, без всяких кривляний, проявлялась вполне. Крайне добрая, она в качестве товарища бурша раздавала полученное небольшое наследство направо и налево и вот на остатки его приехала изучать медицину, которую, к сожалению, ей не пришлось изучить до конца. А что с ней сделалось потом—я не знаю. С Сусловой я проговорила почти до рассвета. Мы с ней познакомились года за два до ее отъезда в Цюрих и как-то особенно симпатизировали друг другу. Первоначально она возбудила во мне симпатию к себе как лицо несправедливо терпевшее преследования некоторых студентов, поклонников покойного Помяловского и его литературных друзей, наускиваемых им вследствие его негодования на брата Сусловой, при чем последняя была совершенно не виновата и не причастна к поступкам своего брата. Напротив она и ее родители, даже по словам потерпевшей девушки, старались всячески облегчить положение последней и высылали ей деньги. Суслова была необычайно скромна и даже застенчива с незнакомыми людьми. Комарова в своей книге говорит, что она занималась подпольной деятельностью. Может быть она и соприкасалась с этою деятельностью в ранние годы своей юности, но в эпоху нашего знакомства с ней она никогда ни с кем не вступала в политические разговоры и ничем иным как своей наукой не занималась, желая во что бы то ни стало доказать всем, своим собственным примером, возможность равноправия женщины с мужчиной и действительно доказала его.

В эпоху нашего первоначального знакомства она отличалась аскетизмом, как нравственным, так и физическим. Ходила в каком то черном шерстяном балахоне, перепоясанном ременным кушаком; волосы носила обстриженными вовсе не для того, чтобы казаться нигилисткой, как многие обвиняли женщин, обстригших волосы, а просто потому что модные прически отнимали много времени у женщин трудящихся или занимающихся наукой.

Однако, возвращаюсь к рассказу. На другой день, пообедав в пансионе за 1 франк с каждого, мы с Ю. Г. должны были спешить в Бекенрид, так как в то время последний пароход отходил из Люцерна уже в 4 часа. Едва успели мы добежать и вскочить в поезд, как он тотчас же тронулся. Было воскресенье, и вагоны были переполнены воскресной швейцарской публикой, так что мы с Ю. Г. с трудом нашли себе места порознь в 3-м классе. Ехавшие с нами швейцарцы очень веселились и смеялись, при чем наиболее интеллигентный из них счел нужным сообщить Ю. Г., что они все потешаются над моими обстриженными волосами, которые, говорю не в виде оправдания, разумеется, я просто обрила после тифа; они подросли несколько к моей поездке за границу и я, время от времени, подвивала их. В Люцерн мы приехали, когда уже отчаливал последний пароход, и мы на него не поспели; пришлось взять возницу до Бекенрида.

Поездка в Цюрих мало освежила нас, к тому же еда в Бекенриде была прескудная. Хозяйка могла нас снабжать только молоком, яйцами, картофелем и довольно скверным сыром, вырабатываемым ее мужем для итальянцев и их макарон. Принося все это два раза в день, она неизменно говорила нам „Гутен апетит“ таким тоном, будто подала царские блюда. Попытка питаться в местном отеле не удалась, потому что нам подали тухлятину, сильно приправленную перцем. Разумеется, не еда играла главную роль в тоскливости нашего пребывания, а запертость в горах и отсутствие людей. В конце недели мы решили уехать, не дожидаясь Сусловой, которая обещала нам приехать через неделю. Мы телеграфировали ей, что будем ждать ее в Люцерне, быстро собрались и, не дожидая парохода, выехали в Люцерн в наемном экипаже.

Так как я разочаровалась в заграница, и решила более туда никогда не ездить, то, для очищения совести, собралась уж за одно посмотреть Париж.

По приезде в Париж, я отправилась к графине Сальяс, к которой у меня было рекомендательное письмо от Слепцова,

уговорившего меня поехать к ней, как к парижской старожилке, хорошо знавшей этот город. Графиня, урожденная Сухова-Кобылина, сестра автора известной комедии „Свадьба Кречинского", тоже известная писательница под псевдонимом Евгении Тур, жила в предместье Парижа Нейльи, в вилле своего мужа, с которым разошлась; при ней жил сын, тоже известный автор исторических романов. С ним нам, впрочем, не пришлось познакомиться, вследствие его отсутствия. Графиня была совершенно бодрая, крайне подвижная шестидесятилетняя старуха, маленького роста, благообразная, напоминающая французские гравюры. Она отнеслась ко мне крайне любезно. На мои вопросы, что где купить, тотчас же вызвалась меня сопровождать и руководить моими покупками. При прощаньи не пустила меня ехать одну домой и повезла меня круговой железной дорогой, чтобы научить дешевому сообщению. Она так быстро бегала, что я едва поспевала за ней. Она довела меня до номера гостиницы, потому что захотела непременно познакомиться с Ю. Г., оставшимся дома караулить моего сына, и пригласила нас всех троих к себе обедать через день. Она же устроила мне дешевую портниху и вообще была до того любезна во все время пребывания нашего в Париже, приезжая или сама к нам, или приглашая к себе, что я была крайне удивлена, услыхав впоследствии от сестры Сусловой, Аполлинарии Прокофьевны, познакомившейся со мной гораздо позже, что она никак не ожидала встретить во мне столько простоты, мягкости и женственности, судя по рассказам графини. Оказалось, что в число анекдотов, рассказываемых графиней о новом движении, в котором и она когда-то принимала участие, издавая в Москве газету, входил и рассказ обо мне, будто я явилась к ней и отрапортовалась, что такая-то и живу с Ю. Г. Жуковским. Видимо фантазия романистки мешалась с действительностью. Дело было так: переехав жить с Ю. Г., я считала себя тем самым выкинутою из так называемого „общества" и потому никогда сама ни с кем первая не заводила знакомства и всегда ждала предварительного визита от выражавших желание со мной познакомиться. Графиня, хотя и разошедшаяся с мужем, всецело принадлежала к „обществу", которое всегда впрочем бранила, и жаловалась даже на необходимость в свои приезды в Россию выносить придворное общество, посещавшее дом ее дочери, жены флигель-адъютанта Гурко, впоследствии фельдмаршала, у которой она останавливалась. Когда Слепцов предложил мне познакомиться с графиней, я отклонила это предложение по выше-

приведенным мотивам, так как не желала шокировать графиню моим незаконным положением. Но Слепцов так убедительно доказал мне, что графиня женщина вполне без предрассудков, что я решилась пойти к ней первая.

При первом же моем визите, когда мы закидали друг друга вопросами, она об петербургских литераторах, я об заграничных, преимущественно о заграничных эмигрантах, с которыми она была близка, как то о Герцене, Бакунине и Огареве, она сказала мне, что одна из сестер Корсини, жившая с Николаем Утиным, очень страдает от своего ложного положения не венчанной с Утиным. Из этого я заключила, что графиня относится неодобрительно к такому сожительству и потому сочла нужным предупредить ее, что живу с Ю. Г., дабы она не подумала, что я хочу вторгнуться к ней обманным образом.

— Помилуйте, какое же это сравнение? Вы не можете выйти за Ю. Г., так как уже замужем—это другое дело. Да мне лично все равно — живет ли матримониально Корсини с Утиным, или нет; но я вижу, как она тяготится, что не может показываться с ним в обществе.

— Разве же это лишение, когда любишь человека?—возразила я.

— Вначале лишение это не чувствуется, но затем надоест сидеть все вдвоем, захочется общества.

— Да вот вы принимаете их; есть и другие умные и хорошие люди, которые с ними верно видаются.

— Да, но это все не то.

В доказательство своего либерального отношения к невенчанным графиня, узнав, что я живу с Ю. Г., даже будто обрадовалась этому новому знакомству и взялась проводить меня домой и пригласить к себе и Ю. Г.

А потом вот вдруг и присочинила для красного словца и обратила меня, повидимому, в один из своих анекдотов.

На обеде у Сальяс мы познакомились с Евгением Утиным. Встреча эта прошла не без пользы для нас. Он познакомил Ю. Г. с некоторыми местными публицистами по экономическим и финансовым вопросам, возил Ю. Г. на какое-то литературно-экономическое собрание, в котором я, в качестве женщины, присутствовать не могла.

Так как я и Ю. Г. были в то время заняты кооперативным движением и интересовались тамошними потребительными и производительными обществами, то Ю. Г. расспрашивал об них специально занятого этими обществами Paul Blanc, с которым познакомил его Евгений Утин. Последний любезно

предложил свои услуги для ознакомления нас обоих с некоторыми потребительными и производительными обществами, для чего заехал к нам в гостиницу, и мы поехали вместе.

Потребительные общества не представляли ничего особенного и имели вид наших мелочных лавочек, в которых продаются все необходимые предметы, для бедного люда по преимуществу. Из производительных обществ у меня осталось в памяти первое, в которое мы попали, чугуно-плавительное (Fondeur de fer). Меня поразило здесь не само производство чугуна, которое я могла бы видеть и в России, а то, что из расспросов выяснилось, что литейная эта принадлежала не всем работавшим в ней, а только небольшой части собственников; остальные же рабочие нанимались в качестве поденщиков и не участвовали в прибылях предприятия.

Покончивши с Парижем, мы отправились домой, так как я положительно стосковалась по всему русскому.

В нашей квартире нас ожидал неприятный сюрприз. Без нашего ведома, к нам переселился Владимир Ануфриевич Ковалевский со всеми своими вещами, огромным ясеневым шкапом с разбитыми стеклами, занявшим целую стену нашей приемной комнаты и наполненным клише его различных изданий. Теми же клише был завален письменный стол в кабинете Ю. Г. Рассыльный Ковалевского расположился, со своей стороны, в нашей передней, придавая ей неприятный „запах чичиковского Петрушки", по выражению Ю. Г. К довершению всего на столе Ю. Г. оказался еще и пистолет, который мой мальчик поспешил схватить, пока мы раздевались и расспрашивали о нашествии Ковалевского нашу горничную, к счастию заперевшую нашу спальню и сохранившую таким образом хоть одну комнату в неприкосновенности. Сына моего мы, слава богу, успели во время обезоружить. Оказывается, Ковалевский не ожидал нашего возвращения так скоро и надеялся обернуться с квартирой, так как ему отказали за неплатеж в его прежней. Сам он, по словам рассыльного, уехал на несколько дней за город, и мы были осуждены пребывать в этом хаосе неопределенное время и слушать беспрерывные звонки и ругань всех, ведших с ним деловые сношения, которым он не платил во-время. Он вернулся только на четвертый день и на нашу просьбу очистить квартиру поскорее, объявил, что не может же он в один день найти себе квартиру, что сам он устроится у приятеля; но вещи и рассыльного просил оставить у нас. К концу недели он, впрочем, нашел себе квартиру и съехал с нашей.

Вызванный нами Аполлон Филиппович Головачев встретил нас тоже с неприятностью. Оказывается, что, благодаря только отсутствию нашего адреса, он не мог предупредить нас подольше не возвращаться в Россию из опасения, чтобы меня не захватил и не выслал из Петербурга к мужу полицмейстер Анненков, брат известного издателя Пушкина, и все это по следующему приключению. Дочь генерала Делагарди бежала от родителей с каким-то молодым человеком. Отец бросился в погоню за ними и, по приезде в Петербург, прежде всего обратился к генералу Анненкову. Последним была наряжена облава, главным образом на Николаевском вокзале, так как молодыми влюбленными, бежавшими тогда по Николаевской дороге, была увезена собака, за которой они должны были неминуемо прийти, или прислать кого-нибудь. По справкам, собака оказалась не взятой, и сыщику было уже не трудно подстеречь лицо, явившееся за собакой. Это и послужило к раскрытию убежища парочки. Как и почему донесли генералу Анненкову о моей прикосновенности к этому делу—это и до сих пор осталось тайной для меня, не имевшей понятия ни о Делагарди, ни о влюбленной парочке. Генерал Анненков благодарил генерала Делагарди за то, что последний дал ему возможность напасть на целую нить общества, занимающегося похищением жен и дочерей, во главе которого почему-то стою я. Можете себе представить, как расстроило это сообщение нас обоих, тем более, что мне предстояло родить нашего первенца через месяц. Известия эти Головачев получил от Некрасова и других литераторов, знавших брата Анненкова—издателя и друга Пушкина, как я упомянула. Благодаря влиянию последнего по всей вероятности, я была оставлена в покое и была даже рада, что меня не известили о всей этой истории за границу, так как перспектива сделаться эмигрантами нас нисколько не прельщала.

Рождение первого ребенка тоже обошлось не без неприятностей и осложнений. Шел вопрос, как его записать. Вдова Панаева, Авдотья Яковлевна, впоследствии Головачева, предложила было записать ребенка на ее имя; когда же я родила, она пришла сообщить, что сама беременна и должна родить через четыре месяца. Стали справляться с законом, оказывалось, что замужняя не имеет права записывать незаконным ребенка до тех пор, пока муж сам не станет опровергать эту законность. Пришлось решиться на последнее, хотя мне было очень неприятно записывать нашего ребенка ребенком мужа, в руках которого мы могли

оказаться. Не хотелось также лишать ребенка прерогатив законнорожденного.

На второй день после родов я вдруг получаю извещение, что муж мой со своим братом выехали в Петербург помещать в Училище Правоведения сына последнего. Зачем ехал муж? Этот вопрос не мало мучил нас и держал в ожидании какой-нибудь неприятности с его стороны. К счастию наши опасения не оправдались. Через горничную, от дворника узнали мы что какие-то два господина вызывали его из дворницкой, расспрашивали обо мне и дали ему на чай. Вот и все.

Зиму эту Ю. Г. провел в усиленном писании для „Современника". Некрасов то и дело заходил к нам подбивать Ю. Г. писать еще и еще; так что в первую бесцензурную книгу Ю. Г. пришлось написать три статьи, за одну из которых [Записки современника, „Современник", 1865 г., № 8] „Современник" получил первое предостережение. Помню, как в день выхода первой бесцензурной книги Некрасов зашел ко мне утром и, подавая книгу „Современника", сказал: „Я принес вам номер на случай, если бы цензуре вздумалось что-нибудь из нее вырезать". Вообще же всю эту осень и зиму господствовал общий подъем. Возлагались большие надежды на беспредварительную цензуру, несмотря на первое предостережение „Современнику" за статью Ю. Г. „Записки современника" и переводную статью Пыпина „Новые времена".

Мы с Антоновичем и Пыпиным устроили очередные воскресные собрания, на которые, кроме сотрудников „Современника", собирались сотрудники и других журналов и многие другие лица, так или иначе стоявшие близко к литературе. К нам набиралось столько народа, что за закуской часто не хватало стаканов для вина и приходилось пускать в ход чайные чашки; засиживались до 5—6 часов утра за разговорами и спорами. Я помню, как однажды все засидевшиеся были поражены неожиданным появлением моего маленького сына, который выспался, оделся сам и явился к нам в зал непричесанный с вопросом ко мне: „Что это уже день?"—„Вот так чудачина!"—воскликнул Некрасов,—„действительно пора спать—уж день наступает". Все шло довольно благоприятно, пока не раздался Каракозовский выстрел. Помню, мы собирались идти гулять с Ю. Г., как к нам кто-то вбежал из знакомых и объявил об этой несчастной попытке. В первую минуту взволнованные самым событием, мы не отдавали себе отчета об ужасных последствиях такого поступка, перевернувшего сразу все, что было сделано в либеральном направлении и вызвавшего

тот тяжелый гнет, который лег надолго на все гуманные начинания предшествовавших лет и на лиц, так или иначе стремившихся провести их в жизнь, и, в первую голову, на Ю. Г., которого ненавидевший его Катков затравил без всякого труда, так как с закрытием „Современника“ Ю. Г. лишился возможности возражать на обвинения.

Никто из сотрудников „Современника“ не имел понятия о преступнике, а между тем каждый день приходило известие, что взят то тот, то другой. Особенно жутко становилось, когда стали забирать ни в чем неповинных сотрудников „Современника“. Катков, не подозревая, что заговорщики и покуситель были москвичи, не имевшие никакого сообщения с сотрудниками „Современника“, вздумал свалить всю вину покушения на либеральную петербургскую печать с Ю. Г. во главе.

Полная неизвестность, за что были взяты Елисеев, Слепцов и некоторые другие, менее связаные с „Современником“ лица, приводили нас с Ю. Г. в тревожное состояние, которое усилилось еще более закрытием „Современника“ и „Русского слова“. Никакое дело не шло на ум. С утра, бывало, ждешь, что кто-нибудь забежит сказать, что забрали того или другого. К вечеру нервы напрягались до того, что ничего не оставалось, как нанять с Антоновичами на половинных издержках коляску и ехать куда-нибудь за город—до того становилось невыносимо сидеть в квартире в каком-то неопределенном ожидании чего-то гадкого. По возвращении с катанья мы просиживали вчетвером до рассвета, пока не одолевала дремота, заставлявшая расходиться спать. И так изо дня в день, пока не переехали с Антоновичами на дачу в Лесное 17 мая в 1866 году.

Здесь, под влиянием воздуха и того, что, кроме Елисеева и Слепцова, никого из сотрудников „Современника“ не тронули, нервы наши стали успокаиваться. Попрятавшиеся по своим углам во время Муравьевских репрессий знакомые стали чаще наезжать; молодость вступила в свои права; по временам наши хмурые и озабоченные лица озарялись веселым настроением, стал раздаваться смех. Набеги сыщиков на знакомых как-то притихли, и мы с этой стороны почти успокоилась.

Вдруг однажды, около 2-х часов дня, когда я после завтрака играла в 4 руки с м-м Антонович веселый вальс Штрауса, всегда запертая и завешанная пледом дверь, отделявшая нашу спальню от гостиной, отворилась и Ю. Г. окликнул

меня: „Иди—обыск!“ Я поспешила к балкону, на котором с понятыми и полицейскими стоял адъютант Муравьева Бибиков. Поздоровавшись со мною, он показал мне мою фотографическую карточку, снятую с сыном, и коротенькую записку мою к философу Козлову, бывшему потом профессором киевского университета, писанную мною еще два года тому назад в бытность мою в Москве во времена моих исканий знакомств по человечески. [1] В записке этой я благодарила за приглашение приехать к ним пить чай и почему-то отказывалась. Оказалось, что их с женой забрали и при обыске нашли мою записку и карточку, что и дало повод сделать у меня обыск и попутно у Ю. Г., к которому они не нашли возможности придраться, несмотря на все инсинуации Каткова. На вопрос Бибикова—мой-ли портрет и записка, я признала и то, и другое.—„На мне лежит тяжелая обязанность произвести у вас обыск“,—расшаркнулся он.—„Мы посылали в адресный стол узнать ваш адрес и ночью попали в пустую квартиру. Утром выехали отсюда, но нас завезли в Парголово, и потому мы у вас в неурочный час“.

Как раз в столовой лежала французская книга м-м Антонович, употреблявшей портрет Ма[д]зини вместо закладки.

— Чей это портрет?—спросил Бибиков.

— Ма[д]зини, — ответила я, думая устранить Елизавету Ивановну, так как мне уж приходилось за одно.

— Это моя книга и мне принадлежит карточка,—поспешила вступиться Елизавета Ивановна.

— В таком случае я не должен ее трогать,—возвратил обратно книгу с карточкой Бибиков;—у вас мне не велено делать обыска,—заметил он ей галантно.

Не найдя у нас ничего подозрительного, он объявил, что должен осмотреть нашу городскую квартиру, и предложил нам обоим ехать с ним в его карете; но, в виду нашего желания ехать вдвоем на извозчике, согласился и на это. В городской квартире тоже не оказалась ничего подозрительного. Увидевши картины Ю. Г., Бибиков заметил: „Будь у меня такой талант, ни за что в жизни не делал бы ничего другого, только бы рисовал“. Большую галантность проявил он также при осмотре платяных и бельевых шкафов.

— Оставьте это, обратился он к сыщикам,—это все бальные платья Екатерины Ивановны.

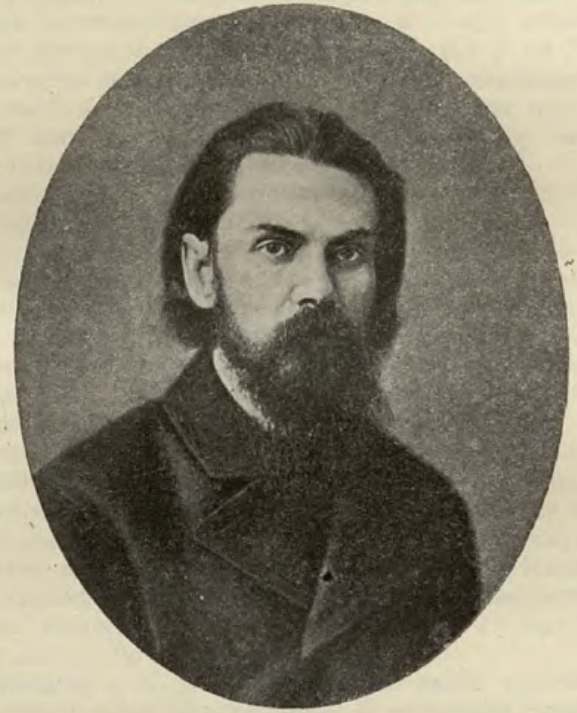
Ю. Г. не любил переписываться и никогда не хранил писем,

[1] См. „Записки шестидесятницы“, т. I, часть 3.

которые очень редко получал, и потому у него никаких писем не нашлось. Хранил он только не пропущенные цензурой корректуры, которые еще до переезда на дачу поручил покойному Жохову свести в редакцию „Петербургских ведомостей“ не только из-за того, что они могли скомпрометировать его, сколько для того, чтобы они не запропастились. Но там-то они именно и запропастились. У меня нашли несколько писем от родственников и знакомых, лишенных всякого политического интереса; но все-таки, на всякий случай, запаковали их вместе с альбомом с карточками, при чем заставили подписать фамилии сфотографированных лиц, преимущественно родственников. Все это составило очень небольшой пакет. С нас взяли подписку о невыезде из пределов Петербургской губернии и отпустили с богом.

С закрытием „Современника“ нам приходилось очень плохо. Нужно было найти средства к существованию уже вне литературы. Так как в этом году только открылся институт присяжных поверенных, то Ю. Г. попробовал было записаться в число присяжных поверенных, но деятельность эта пришлась вовсе не по его характеру. Он не умел извлекать из нее себе выгод, потому что отказывался брать от бедных вознаграждение, а из богатых очень немногие шли к нему, а те, что шли, старались или вовсе ему не заплатить, или недоплатить, и вообще эта сутяжническая деятельность была ему не по душе, и он очень скоро отказался от нее. Попробовал было выставлять свою кандидатуру во вновь учрежденный мировой суд, при чем покойный Лихачев, игравший видную роль в думе, выбранный впоследствии в головы, гарантировал ему успех; но и тут Скарятин нашел нужным выступить против этой кандидатуры.

Между тем Катков не переставал травить Ю. Г. чуть ли не в каждом номере „Московских ведомостей“ и натравливать на него полицию. Не найдя ничего подозрительного у нас, последняя решила преследовать Ю. Г. за статью, напечатанную в „Современнике“ под заглавием „Вопрос молодого поколения“! В биографии Ю. Г. напечатаны подробности этого дела, а также и о ряде тяжелых положений, которые нам пришлось пережить, благодаря невозможности найти помещение статьям Ю. Г., вследствие трусости тогдашней уцелевшей либеральной печати, которая не только подобралась и боялась компрометировать себя в глазах правительства, печатая статьи Ю. Г., но еще находила приличным травить Ю. Г., зная, что ему негде себя защищать.



Ю. Г. ЖУКОВСКИЙ

II
ГАУПТВАХТА

Судебная палата приговорила Ю. Г. к трехнедельному сидению на гауптвахте и к 100 рублям штрафа за статью „Вопрос молодого поколения“.[1] Приговор довольно долго не приводился в исполнение. Наконец, в конце ноября, часов около 7-ми вечера явился к нам пристав. Ю. Г. не было дома. Пристава я встретила с довольным лицом, так как была рада, что это „сидение“ перестанет, наконец, висеть у нас над головами.

На мой вопрос, чем я обязана удовольствию его видеть, пристав сделал грустную физиономию и сказал:

— На мне лежит тяжелая обязанность...

— Вы приехали за Ю. Г.?

— Вы почем это знаете?—удивился пристав.

— Как же не знать, когда приговор произнесен еще в октябре.

Видя мою подготовленность к грустному событию, пристав повеселел и, в ожидании Ю. Г., разговорился со мной.

Ю. Г. пришлось первому отсиживать по судебным уставам. Пристав не был о них осведомлен и думал, что Ю. Г. арестуется по старому политическому порядку. Мне пришлось разъяснить ему все это и, с его разрешения, я стала готовить белье, подушки и пр. для Ю. Г., который не замедлил явиться.

Ю. Г. сговорился с Пыпиным, что будут сидеть вместе на гауптвахте нового Адмиралтейства, которая, по слухам, была самая чистая и ближе всего отстояла от жилья Пыпина и тем давала возможность доставлять узникам домашнюю пищу. Пристав не возражал и, таким образом, Ю. Г. был водворен на вышеупомянутую гауптвахту.

Я сговорилась с М. А. Антоновичем ехать вместе на другой день утром навестить узников. Я захватила с собою спир-

[1] Статья „Вопрос молодого поколения“ напечатана в „Современнике“ в 1866 г., кн. 2 и 3. За нее Ю. Г. Жуковский был преследуем по суду вместе с А. Н. Пыпиным, как редактором журнала „Современник“. Им было предъявлено обвинение в оскорблении дворянства. Был судебный процесс. В августе 1866 г. они были судимы окружным судом и оправданы. По обжалованию прокурора дело перешло в судебную палату, которая не согласилась с приговором окружного суда. Приговор в октябре 1866 года был отменен. Подсудимые были приговорены к аресту на гауптвахте на три недели и к уплате денежного штрафа в сто рублей. Вот именно это отбывание наказания на гауптвахте, состоявшееся в ноябре 1866 года, и описывается здесь. Об этом литературном процессе упоминается у проф. Любавского в его книге „Русский уголовный процесс“, а также в „С.-петербургских ведомостях“, № 233, 1866 г., и у Межова в „Истории русской литературы“, изд. 1872 г. *Прим. ред.*

товку, кастрюлечку, вычищенную рыбу для ухи и еще кое-какой провизии, не будучи уверена, там-ли уже Пыпин и доставляют-ли им во время пищу.

Нас впустили в довольно просторную комнату, очень длинную и очень высокую, с одним окном, отчего она казалась узкой. Здесь мы застали Ю. Г. и Пыпина в компании двух офицеров, из которых один состоял тоже в качестве узника, а другой был дежурный по гауптвахте. Офицеры скромно отошли в сторону, предоставляя нам расспрашивать заключенных о проведенной ночи. Так как Пыпина привезли значительно ранее Ю. Г., то ему успели прислать из дома кровать, Ю. Г. же пришлось ночевать на стульях.

— Боже, что за беспомощный человек ваш муж!—воскликнул Пыпин.— Мы нарочно легли ранее, чтобы освободить ему достаточно стульев, а он взял в руки подушки и одеяло с простынями и все ходит с ними взад и вперед, не зная, как взяться за дело; стулья как-то расползаются, стоят не ровно; так что мы с офицером вышли из терпенья, встали, связали ему платками стулья и уложили его наконец.

Я стала варить им уху на спиртовке, и все мы очень весело болтали и острили; но только что я принялась разливать им уху на тарелки, как явился плац-адъютант из комендантской с приказанием от великого князя Николая Николаевича рассадить узников по разным гауптвахтам, так как двум виновным в одном и том же преступлении сидеть на гауптвахте вместе не показано. Увидав разлитую по тарелкам уху, плац-адъютант очень любезно даже настоял на том, чтобы узники уху съели. И только после того, захватив Ю. Г., повез его на сенатскую гауптвахту; а мы с Антоновичем последовали за ними, захватив вещи Ю. Г.

Сенатская гауптвахта была огромная и сырая, на половину в подвальном этаже, и потому Ю. Г. просил перевести его на гауптвахту у Окружного Суда на Литейной. Это было и ближе к нам, жившим в Дмитровском переулке, и почти в нескольких шагах от квартиры мачехи Ю. Г. на Фурштатской против Анненской церкви, что было удобно в смысле доставки горячей домашней пищи.

Самостоятельно перевести Ю. Г. на Литейную гауптвахту плац-адъютант не смел, но обещал доложить об этой просьбе на другой день великому князю, который и разрешил этот переезд.

На другой день явился на сенатскую гауптвахту другой дежурный плац-адъютант, тоже чрезвычайно любезный и гу-

манный. В виду прекрасной погоды, он предложил Ю. Г. пройтись с ним часть дороги пешком, а мне прокатиться со своей сестрой, ожидавшей его в санях, вместе с вестовым на запятках, чем мы и воспользовались. Я поехала с молоденькой девушкой в парных санях, и мы подождали у гауптвахты Ю. Г. с плац-адъютантом, которые часть пути прошли пешком, часть на извозчике.

Литейная гауптвахта была самая просторная из трех гауптвахт. В ней свободно размещались по трем стенам три узника. Мы застали там артиллериста и сапера. Сапер был, что называется, милый малый, довольно простодушный и приветливый. Он сейчас же вошел с нами в общение; мы разговорились, познакомились, и он подсаживался разговаривать с нами всякий раз, когда я приходила к Ю. Г. Приходила я к нему ежедневно, тотчас после раннего обеда, и уходила перед зарею, после которой вход посторонним на гауптвахту запрещался. Интимных разговоров, в присутствии других, вести не приходилось, и потому сапер нам не мешал. Для развлеченья я принесла однажды кедровых орехов, и мы с ним щелкали в перемежку с разговорами. Когда затем запас кедровых орехов истощился, то сапер послал солдата купить еще и после этого требовал очереди в покупке.

Раз столкнувшись с человеком и вынужденная проводить с ним неизбежно 4—5 часов в сутки, я — как у меня всегда была привычка в таких случаях пользоваться случаем пополнить мои сведения о предметах, до того времени для меня незнакомых — вместо того чтобы болтать о пустяках и разных случаях, стала расспрашивать сапера об саперном деле. Он охотно принялся излагать мне подробности этого дела, разные способы окопов, фортификации и пр. Рассказы эти удовлетворяли нас с Ю. Г. более, чем переливание из пустого в порожнее.

Совершенно иначе отнесся к нашим расспросам мрачный артиллерист. Сапера через неделю выпустили. Тогда только артиллерист, все время или читавший, или наблюдавший за нами издалека, со своей кровати, решился, в свою очередь, подсесть к нам и даже прямо с заготовленным мешком с кедровыми орехами. Мы отнеслись к нему весьма приветливо, приняли его угощение. После первоначального предварительного знакомства, я тотчас же перешла к расспросу об артиллерийском деле.

— Послушайте, если вы намерены занимать меня этим разговором,—вскочил он обидевшись,—то я уйду к себе. Это только

такой болван, как сапер, мог вас занимать целую неделю своим саперным делом и не догадываться, как вы на него смотрите.

— Что же, мы очень хорошо на него смотрели и очень ему благодарны за преподанные сведения. Где бы нам ознакомиться с таким интересным делом?

— Разве же это не насмешка с вашей стороны? Ну, к чему вам понадобилось саперное дело?

— По крайней мере, узнаешь, в чем оно состоит.

— Ну, а дальше-то что?—Нет, нет, если вы намерены расспрашивать меня точно так же об артиллерии, то я это принимаю за желание от меня отделаться и больше ничего.

Как ни старались мы убедить его, что нам было бы приятно узнать более подробно артиллерийское дело, он ни за что не хотел встать на нашу точку зрения и, чтобы его не обидеть, мы перешли к другому разговору. Артиллерист, кроме своей специальности, был образованный человек: читал, оказалось, все статьи Ю. Г.; был его ярым поклонником; читал Тиндаля и другие общеобразовательные книги, о которых и пришлось разговаривать. Так нам и не пришлось узнать подробнее о сущности артиллерийского дела, кроме того, что уже знали, то есть, что оно касается пушек, взрывов и всякой стрельбы.

Вскоре, по уходе сапера, на гауптвахту привезли кавалергарда. То был огромный, рослый молодой человек, которого мне не привелось даже разглядеть, несмотря на то, что он провел на гауптвахте трое суток за то, что просрочил на целый месяц отпуск.

— Случись это у нас в артиллерии, пришлось бы целый месяц высиживать за такую отсрочку: а вон у них всего тремя сутками отделываются; отсыпаться его после кутежей прислали,—проговорил нам в полголоса озлобленно артиллерист, когда кавалергард растянулся на привезенной ему лакеем постели и заснул крепким богатырским сном.

Так как я садилась всегда спиной к его постели, да вообще не интересовалась его разглядывать, то так и не видала его лица, по временам слушала лишь его всхрапывание, от которого в один из вечеров вздрагивал и пожимал плечами сумрачный Салтыков-Щедрин, пришедший навестить Ю. Г. вместе с всегда противоположно ему приятно и весело настроенным Унковским, тотчас же принявшимся острить над компаньоном Ю. Г.

— Так-таки вторые сутки все спит?—с удивлением, сумрачно спросил Салтыков.

— Часов около 11 встает умыться и освежиться, а затем, как видите. Поест и ляжет,—ответил Ю. Г.

В один из трех дней сиденья кавалергарда я застала Ю. Г. в обществе молодого гусара, который тотчас же, по представлении его мне Ю. Г., деликатно ушел.

— Видишь ли, он пришел навестить его,—кивнул мне Ю. Г. на спавшего кавалергарда,—не добился от него и двух слов и потому пришел занимать меня; предложил мне даже привести веселых дам для развлеченья; я, разумеется, отказался, поблагодарив его за доброе намерение.

Однажды, прийдя как-то утром к смене караула, я была удивлена сердечной встречей Ю. Г. с офицером, приведшим караул. Точно они были век знакомы. Выяснилось, что то был офицер, разделявший одну ночь участь Ю. Г. и Пыпина на первой гауптвахте в новом Адмиралтействе и помогавший вместе с Пыпиным устраивать постель Ю. Г. Вообще все караульные офицеры необыкновенно мило относились к Ю. Г., высказывались его поклонниками и все до одного осуждали Валуева, которого считали виновником сиденья Ю. Г.

Наконец, за несколько дней до Рождества наступил 21-й день сиденья Ю. Г., и я пришла за ним с утра, так как нам сказали, что выпускают утром. Между тем пошел первый час, и никто не являлся с необходимыми бумагами. Заметя нашу тревогу, артиллерист, не предупредив нас, послал навестившего его товарища в Комендантское управление, чтобы напомнить о Ю. Г. и узнать, почему вышло замедление. Товарищ скоро вернулся, сообщив, что бумагу сейчас вышлют. Я поспешно стала собирать вещи. С артиллеристом мы сердечно простились. Он на прощанье просил Ю. Г. взять на память от него книгу Тиндаля (кажется „Свет") и с обидой отказался от книги, предложенной Ю. Г. взамен, выпросил только простой карандаш, которым Ю. Г. писал свои заметки. Через год после этого к Ю. Г. явился знакомый артиллериста, привез от него поклон и просьбу достать ему какую-нибудь литературную работу. Оказалось, он почему-то эмигрировал из России за границу и бедствовал. Бедствовали в то время и мы, не находя литературной работы, и Ю. Г. с трудом помещал свои чисто научные статьи в более храбрых журналах, большинство которых поспешило от него отвернуться после его сиденья на гауптвахте и боялось компрометировать себя перед Валуевым, давая в своих журналах место статьям Ю. Г. Таким образом Ю. Г. был лишен возможности помочь бедному артиллеристу, и с тех пор мы ничего о нем не слыхали.

Игорь Ильинский

Жандармский обыск в Ясной поляне в 1862 г.

По архивным и печатным материалам.

„Кто хочет писать биографии русских политических деятелей, пусть только справится в архиве III отделения. Жандармы писали подробно".
Слова Л. Н. Толстого из беседы о Герцене и Огареве, записанные Д. П. Маковицким 6/XI 1906 г.

(Неопубликованные записки Маковицкого).

В Тульском губернском архивном бюро оказалось дело 1862—1863 года за № 49 Канцелярии г. начальника Тульской губ. под следующим заглавием: „По сообщению штаб-ротмистра корпуса жандармов полковника Муратова о дознании о литераторе Якушине[1] и спутнике его, заезжавших в с. Ясную поляну к гр. Льву Толстому". Содержание нескольких первых листов этого дела вполне отвечало скромному заголовку выцветшей сероватой обложки. По первому впечатлению все дело представлялось малоинтересным. Однако более внимательный просмотр документов скоро привел нас к неожиданному выводу, что в данном случае под скромным названием скрывается подлинное производство об обыске в Ясной поляне в 1862 году и что перед нами находятся новые исторические документы.

Обыск в усадьбе Толстого был произведен по предписанию шефа жандармов князя Долгорукова через жандарма III отделения, специально командированного из Петербурга. На этом основании до сих пор можно было думать, что и все важнейшие документы, относящиеся к этой экспедиции петербургского жандарма в Тульскую губернию, сосредоточены в „Деле (1862 года, 1-й экспедиции. № 230) III отделения собственной его императорского величества канцелярии о графе Льве Толстом". Под таким заглавием дело это было опубликовано С. Сухониным еще в 1906 году в июльской книжке редактируемого им журнала „Всемирный вестник". Теперь подобному предположению не может быть места. Достаточно сказать, что

---

[1] Следует читать „Якушкин". В некоторых документах, как и на обложке дела, эта фамилия искажена.

такой существенный акт всякой сыскной операции, как протокол обыска, ранее неизвестный, оказался во вновь обнаруженном деле канцелярии тульского губернатора. Сопоставление этого дела с „делом III отделения" показало нам, что оба производства взаимно пополняют друг друга. Дело III отделения изучалось нами сначала по публикации Сухонина (отдельный оттиск июльской книжки журн. „Всемирный вестник", С.-Петербург, 1906 г.), а затем по подлинному производству, хранящемуся в Центрархиве (заглавие его приведено выше). При этом оказалось, что публикация Сухонина, которой до сих пор пользовались как главным материалом по Яснополянскому обыску, является простой перепечаткой документов, выполненной весьма небрежно: какие бы то ни было комментарии в ней отсутствуют, хронологический порядок не соблюден, в датах встречаются опечатки, есть документы, перепечатанные с пропусками целых абзацов без всяких оговорок, авторство неподписанных резолюций на документах установлено неверно почти во всех случаях; наконец некоторые документы, впрочем, сравнительно немногие, взяты Сухониным, вопреки заглавию его публикации, не из дела № 230, а из других дел III отделения, причем из подстрочных примечаний часто нельзя установить, из каких именно. В таком виде публикация Сухонина представляет из себя кучу отдельных документов, весьма интересных по содержанию, но документов не вполне точных, разрозненных, не всегда понятных, породивших уже, как увидим, превратные толкования в толстоведческой литературе.

От подобной простой перепечатки вновь обнаруженных документов мы воздержались, тем более, что сплошная перепечатка не оправдалась бы степенью их интереса. Нам хотелось познакомить читателя с наиболее существенными из них, объединив их в общей фабуле с ранее никем не проанализированными материалами из дела III отделения, дать таким образом более или менее законченный очерк всех материалов по яснополянскому обыску в рамке последовательного рассказа. Основывая свое изложение в значительной части на материалах из дела III отделения, некоторые из них приводя в тексте статьи наряду с документами, публикуемыми впервые, привлекая и мемуарную литературу, мы старались проследить, как в охранительных тайниках самодержавия, в недрах жандармских кабинетов и канцелярий возникло первое крупное дело о Толстом, как оно зрело, разрослось до размеров чуть ли не выдающегося государственного преступления и вдруг лопнуло мыльным пузырем, обнаружив водевильную глупость генералов охранителей, увенчанную бесчестным, полуграмотным, пьяным сыщиком „для карманных воришек" Михаилом Ивановичем Шиповым. Совершенно исключительной ролью Шипова в деле о яснополянском обыске объясняется то внимание, которое нам пришлось уделить этой темной личности. Постоянное появление на сцене этого горохового пальто среди блестящих мундиров шефа жандармов кн. Долгорукова, московского генерал-губернатора Тучкова, московского обер-полицмейстера графа Крейца, управляющего III отделением генерал-майора Потапова и других действующих лиц яснополянского охранительного фарса делают фигуру Шипова не только колоритной, но и загадочно-интересной.

Нельзя не пожелать, чтобы вслед за нашей несовершенной попыткой как эта колоритная фигура отошедшей эпохи, так и все дело об обыске в Ясной поляне,—дело общего историко-бытового интереса,—были освещены полнее путем разработки явно недостаточно обследованных архивных материалов.

1

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ III ОТДЕЛЕНИЯ О ТОЛСТОМ

Чтобы ввести читателя в круг интересов Толстого описываемого периода, перечислим события из его жизни за 2—3 года, предшествовавших обыску, получившие то или иное отражение в исследуемых документах.

С осени 1859 года во флигеле Яснополянской усадьбы, где теперь помещается Малый музей, Лев Николаевич открывает школу для крестьянских детей. В школьных занятиях проходят осень и зима. 28 мая 1860 года Толстой почти на год уезжает за границу. Там он изучает постановку школьного дела. К началу 1861 г. относится его знакомство с Герценом и Прудоном. Возвратившись в Россию через Петербург (13 апр. 1861 г.), он добивается разрешения на издание педагогического журнала „Ясная поляна". В мае месяце того же года возобновляются школьные занятия с детьми, и Толстой отдается этому делу с страстным увлечением. Тогда же он принимает должность мирового посредника. Отстаивая интересы выходящих на земельные наделы крестьян, Толстой до крайности обостряет свои отношения с некоторыми помещиками. В конце 1861 года он пишет педагогические статьи для своего журнала, первый номер которого выходит 2 февраля 1862 года. [1]

Круг интересов Толстого этого периода хорошо передает письмо его к другу и родственнице, Александре Андреевне Толстой, написанное из Москвы 10 февраля 1862 года:

„...в октябре я был в Москве и ожил — читаем в этом письме, — принялся за работу, неестественно усиленную и до нового года находился в этом состоянии. На днях вышел 1-й № моего журнала... нынче еду назад в деревню. Дела у меня пропасть и по посредничеству, и по школе, и по журналу". [2]

Обратимся теперь к нашим материалам. [3]

---

[1] См. „Канва жизни Толстого". Изд. Толстовского музея Всесоюзной академии наук. 1928 г. Даты приводятся по старому стилю.

[2] Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой, 1857—1903 г. Изд. О-ва Толстовского музея, СПБ, 1911 г. Толстовский музей, том I, стр. 159.

[3] При ссылках на документы из дела III отделения в тексте статьи указываются страницы публикации С. Сухонина („Всемирный вестник", VII, 1906) и листы дела подлинного производства (1862 г., I эксп. № 230), хранящегося в Центрархиве. В прямые скобки заключены вставки автора.

Как гласит справка в деле III отделения (стр. 12, л. д. 6), „Граф Лев Толстой, отставной артиллерии поручик", впервые сделался известен III отделению в связи с данным ему в мае 1861 года разрешением издавать журнал „Ясная поляна". В исходе того же года (там же) Толстой привлек к себе внимание и по другому поводу, на этот раз весьма заинтересовав охранительные органы. Осведомления и события, приведшие к июльскому обыску в Ясной поляне, развивались в следующем порядке.

25 ноября 1861 года начальник 2-го жандармского округа генерал от кавалерии Перфильев, [1] извещая об отъезде из Москвы в Тулу поднадзорного студента Соколова, [2] предложил тульскому жандармскому полковнику Муратову учредить за поднадзорным негласное наблюдение. Секретным путем Муратов выяснил, что Соколов „прибыл в имение графа Льва Толстого, в сельцо Ясная поляна, 1-го декабря 1861 г., в качестве сельского учителя" (стр. 21), о чем, вероятно, и донес московской жандармерии. 3 января 1862 г. жандарм по московской губ. Воейков, получив из неизвестного нам источника более подробную информацию относительно педагогической деятельности Толстого, сообщил ее как тульскому жандарму Муратову, так, повидимому, непосредственно в III отделение (стр. 17 и 21).

Информация эта сводилась к следующему:

„Отставной артилерийский офицер Толстой, очень умный человек, воспитывался кажется в Московском университете и весьма замечателен своим либеральным направлением; в настоящее время он очень усердно занимается распространением грамотности между крестьянами, для сего устроил в имении своем школы и пригласил к себе в преподаватели тоже студентов и особенно тех, которые подвергались каким-либо случайностям, оставили университет..., в числе таковых оказался здешний студент Алексей Соколов, состоящий под надзором за участие в издании и распространении разных запрещенных антирелигиозных сочинений".

---

[1] С семьей жандармского генерала Степана Васильевича Перфильева Толстой был знаком с юности. Генералу Перфильеву, участнику войны 1812 г., Лев Николаевич в период создания „Войны и Мира" читал некоторые главы своего романа.

[2] Соколов, Алексей Павлович, сын потомств. поч. гражд., род. 12 февраля 1842 г., студент Московского университета, участник студенческого кружка Заичневского, Аргиропуло. В 1861 г. привлекался по делу о распространении запрещенных сочинений (процесс 27-ми). Приговором Сената освобожден от ответственности.

Сообщив, что Толстой „состоит мировым посредником и имеет в Тульской губернии большое значение", жандарм Муратов передает слух, будто у Толстого в собрании преподавателей „сказана была речь, в которой весьма многое заимствовано из Великорусса" (там же). [1]

На секретном документе с пометкой „3 января 1862 г. Москва", содержащем в себе приведенные выше сведения о Толстом, имеется резолюция от 7 января, свидетельствующая до известной степени о литературной невинности высшей жандармерии: „кажется граф Лев Николаевич,—гласит резолюция—автор Юношество и Детство, Воспоминание о Севастополе и проч. Спросить об этом у полк. Муратова" (стр. 17).

Запрашивался ли „об этом" тульский жандарм, из наших материалов не видно; по содержанию же приведенной информации относительно педагогической деятельности Толстого между управляющим III отделением генерал-майором Потаповым и тульским жандармом полковником Муратовым возникла переписка (стр. 18 и 21). Муратов в секретном отношении от 16 няваря 1862 г. называет следующие 7 фамилий учителей „сельских и волостных школ", открытых Толстым: Альфонс Эрленьейн,[2] Митрофан Бутович, Александр Сердобольский Иван Авксентьев, Алексей Шумилин, Петр Морозов, Борис Головин. Что касается студента Соколова, то, по словам Муратова,

[1] Три прокламации тайного общества „Великорусс" появились в 1861 г.: в июне, в августе и в октябре. См. „Прокламации шестидесятых годов" под ред. Раскольникова. Изд. „Московский рабочий", 1926 г. См. также „Полное собрание сочинений Герцена" под ред. М. К. Лемке (т. XVI, стр. 165—167, Госиздат, Петербург, 1920), где говорится, что осведомлением о деятельности революционного общества Великоруссов или Великорусской партии в начале 60-х годов занимался тайный агент Петербургского обер-полицмейстера Анненкова (брата писателя) быв. студент Технологического института Волгин, исключенный из Института за участие в студенческих беспорядках в октябре 1861 г. Доносы Волгина, переполненные всяким вздором, Анненков пересылал III отделению. Следующие строки в одном из доносов Волгина посвящаются Толстому: „Гр. Толстой в Ясной поляне, кроме сношения с крестьянами, ведет дела с Московским университетом; его агентом в Петербурге был Н. Успенский, один из сотрудников „Современника". Успенский ездил по России для узнания духа простонародия. Он в большом количестве распространил между крестьянством брошюру Герцена „Крещеная собственность". Успешнее всех действовал тут [„для приготовления народа к революции"] П. Якушкин, который вместе с тем давал также знать обо всем Герцену (там же). Интересно заметить, что Н. В. Успенский [двоюродный брат Глеба Ивановича Успенского] действительно был знаком с Толстым, состоял сотрудником журнала „Ясная поляна" и одно время, кажется, жил в Ясной поляне. Бывал в Ясной поляне у Льва Николаевича, как увидим ниже, и Якушкин (см. о нем прим. ниже).

[2] Действительная фамилия—Эрленвейн. *Авт.*

он выехал в Москву в начале января, а о якобы „произнесенной речи, возмутительного содержания, в кругу преподавателей школ графа Толстого нет никаких слухов". На этом отношении Муратова помечено: „Доложено его величеству 21 января" (стр. 21—22).

По этим основным вехам и пошли в дальнейшем слежка за Толстым и осведомление о Ясной поляне как III отделения, так и министерства внутренних дел. Вот та канва, по которой сыщик Шипов,—видная фигура и слежки, и осведомления,—стал вышивать свои фантастические узоры.

Кто же ввел в дело о Толстом эту небезынтересную личность?

2

СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ ШИПОВ

В заключительном рапорте от 14 июля 1862 г. о результатах неудачного обыска в Ясной поляне жандармский полковник Дурново, ссылаясь на частного пристава московской городской части Шляхтина, докладывал своему шефу Долгорукову следующее: „Гр. Толстой, проживая в Москве, имел постоянные сношения со студентами... у него весьма часто бывал студент Освальд [1] который и был впоследствии замешан в дело о распространении Великороса. Зная при том, что граф Толстой сам много пишет и, полагая, что, может быть, он сам был редактором этого сочинения, частный пристав приказал следить за ним Михаилу Шипову, как в Москве, так и по отъезде в имение его Тульской губернии" (л. д. 21—23, об. стр. 51—55).

Из этой выдержки можно заключить, что выбор Шипова и организация надзора за Толстым якобы принадлежали част-

[1] Освальд, Николай Николаевич, сын иностранца, принявшего русское подданство, отст. учителя Кашинского уездного училища. Род. ок. 1840 г. Студентом Моск. университета принимал участие в студенческих волнениях в окт. 1861 г., за что исключен из ун-та. В середине дек. 1862 г. арестован в Москве по доносу типограф. Федорова за литографирование и распространение „Великорусса". Преданный суду Сената в 1862 г., приговорен к лишению всех прав состояния и к каторжным работам на заводах на 2 г. 8 м., замененным ссылкою в Сибирь на поселение. Был сначала поселен в Красноярске, затем с 18 апр. 1865 г. в Тесинской вол. Енисейск. губ. В 1870 г. возвращен из Сибири в г. Кашин (Тверской губ.) на попечение родственников. В 1872 г. освобожден от надзора полиции и в 1873 г. получил право свободного проживания. Жил в восьмидесятых годах, страдал нервным расстройством. (Био-библиографический словарь деятелей революционного движения в России, том I, ч. II, М., 1928).

ному приставу Шляхтину. В нашем распоряжении есть однако прямые доказательства, что рапорт в этой части не соответствует действительности.

После неудачного обыска в Ясной поляне у Дурново, видимо, было желание валить вину за неудачный выбор сыщика на стрелочников, вуалируя более видных деятелей политического сыска. На самом деле Шипов имел связи и отношения с лицами несравненно более крупного калибра, чем скромный частный пристав. Связь Шипова непосредственно с III отделением можно усмотреть прежде всего из письма московского жандармского штаб-офицера Воейкова от 30 января 1862 г., которым открывается дело III отделения (№ 230).

„Милостивый государь, Александр Львович! — таким обращением начинается это получастное, полуслужебное письмо на имя управляющего III отд. генерал-майора Потапова.—Конфиденциальное письмо вашего превосходительства я имел честь получить 25 января от подателя оного, агента Михаила Иванова Шипова, который объясняет, что имеет намерение сблизиться с лицами, занимающимися тайными литографиями и печатанием разных запрещенных сочиненей“ (л. д. I, стр. 7). Дальше Воейков поясняет, как надо понимать подобное „сближение“. Дело идет о провокации. Шипов предлагает вовлечь своего знакомого литографщика в организацию нелегальной типографии, помочь ему нанять отдельную комнату и оборудовать ее станком. „Для сего устройства“ он просит у Воейкова от 30 до 50 р., уверяя, будто бы Потапов сказал, „сколько нужно будет денег, он [Шипов] может получить [от Воейкова], каковые вышлются в возврат“. По этому поводу Воейков просит указаний Потапова.

Вывод, который можно сделать из этого письма, что Шипов был агентом III отделения и исполнял поручения управляющего Потапова, на первый взгляд как будто опровергается следующим обстоятельством: на письме Воейкова имеется довольно неожиданная резолюция без подписи от 1 февраля: „Мне этот Шипов вовсе неизвестен“. В публикации Сухонина данная резолюция приписана Потапову. Получается какая-то странность: судя по письму, Потапов командировал Шипова к Воейкову с конфиденциальным письмом, а затем, спустя неделю, утверждает, что Шипов ему вовсе неизвестен. Но странность рассеивается, когда находишь для нее разгадку, после чего связь Шипова с III отделением делается еще прочнее.

Загадочность резолюции от 1 февраля объясняется простой ошибкой Сухонина, принявшего все резолюции шефа жандар-

мов Долгорукова за резолюции Потапова. Приведенная выше резолюция принадлежит не Потапову, а Долгорукову. [1] Но тут возникает новый вопрос: почему на письмо, адресованное Потапову, попала резолюция Долгорукова, и чем она вызвана? Оказывается, у Потапова были основания наводить справки о маленьком агенте Шипове у самого шефа кн. Василия Андреевича Долгорукова. В документах III отделения Шипов именуется „временно обязанным и бывшим дворовым человеком князя Александра Васильевича Долгорукова". [2] Получается весьма важная новая черта к характеристике Шипова. По нашим изысканиям, недавний крепостной барин его, Александр Долгоруков, был не кто иной, как сын шефа жандармов Василия Андреевича Долгорукова. [3] Сыщик, приставленный следить за Толстым, оказывается недавним крепостным человеком кн. Долгоруковых и притом крепостным из дворовых. Последнее обстоятельство позволяет предполагать известную его приближенность к Александру Долгорукову, через которого после эмансипации он, возможно, устроился на работу по тайной агентуре. Пусть самому шефу Долгорукову к моменту резолюции от 1 февраля 1862 г. Шипов не был известен, но одно звание Шипова „быв. дворовый человек кн. Долгорукова" несомненно наделяло Шипова известным приоритетом в глазах подведомственного Долгорукову чиновничества. Само собой разумеется, предприимчивый сыщик не упускал случая пользоваться своим „высоким" званием, спекулируя им везде, где было возможно. Едва ли возможно сомневаться и в том, что В. А. Долгоруков все же знал, что Шипов недавний крепостной его сына. В ближайшие же месяцы Шипов несомненно стал известен ему и лично. Недаром в упомянутом рапорте на имя Долгорукова жанд. полк. Дурново не определяет служебного положения „Михаила Шипова", говоря о нем как бы о лице, хорошо известном самому шефу.

[1] В этом нетрудно убедиться, изучая почерки резолюций по подлинному производству (д. № 230). Несомненный почерк Долгорукова имеется на л. 20 и 21 об. Характерны для этого почерка начертания буквы „ер", затем букв „ен" и „де" (л. д. 3, 20, 21, 24, 36). Несомненным почерком Потапова сделана пометка на письме Тучкова (л. д. 9). Обращают внимание буквы „те" и „ша" с нанесением у буквы надстрочной или подстрочной черты.

[2] См., напр., л. д. 15, стр. 45.

[3] В Российской родословной книге, имеющейся в Яснополянской библиотеке Льва Николаевича (изд. кн. Долгорукова, ч. I, стр. 100 и 104), значится под № 187—Василий Андреевич Долгоруков, под № 217—сын его Александр Васильевич Долгоруков, род. 1839 г. О военной карьере Долгорукова Александра Васильевича (1839—1876 г.) см. также Власьев, Потомство Рюрика, III, 164.

Вот, значит, в какие руки попала судьба Льва Толстого. Шипов был не простой рядовой сыщик. Положение его было каким-то особенным, загадочно привилегированым. Это положение объясняет многое и в фабуле его сыскных похождений и в деле о яснополянском обыске.

Но вернемся к письму Воейкова. По поводу провокаторского предложения Шипова „сблизиться с лицами, занимающимися тайными литографиями" Воейков между прочим пишет, что он предложил Шипову „хорошенько удостовериться в справедливости начинаемого им дела" и обещал „постараться доставить ему возможность на необходимые расходы", если данные его подтвердятся. Столь туманные посулы журавля в небе, конечно, не могли удовлетворить Шипова, жаждавшего оплачиваемой работы и совершенно равнодушного к „справедливости начинаемого им дела".

И вот энергичный агент с поразительной быстротой из сферы III отделения перекочевывает в сферу министерства внутренних дел.

Письмо Воейкова Потапову написано 30 января, а уже с 1 февраля 1862 г. Шипов завязывает отношения с чиновником московского военного генерал-губернатора Тучкова, подполковником Шеншиным, от которого получает деньги за исполнение агентурных поручений. Вот что рассказывает об этом сам Шипов в показании, отобранном от него Шеншиным значительно позднее, 12 июня 1862 г.: „Объявивши желание,—пишет Шипов,—следить секретно за действиями графа Льва Николаевича Толстого и узнать отношение его к студентам Университета, жившим у него под разными предлогами,—я в феврале месяце сего года командирован был Вашим Высокоблагородием для сего в г. Тулу" (л. д. 11, стр. 40). Из предыдущего мы знаем, что Шипов предлагал свои услуги московскому жандарму Воейкову по части провокации печатания нелегальной литературы. Вероятнее всего, с таким же предложением он обратился и к московскому генерал-губернаторскому чиновнику Шеншину, как раз в то время искавшему агента для слежки за Толстым в виду полученной в Москве информации о его школьной деятельности и связи со студентами (см. выше). Предложение, стало быть, совпало со спросом.

То, что деньги на выполнение поручений Шеншина Шипов стал получать уже с 1 февраля 1862 г., подтверждается его собственноручным полуграмотным показанием от 13 июня 1862 г.

„К етому имею присовокупить,—пишет Шипов,—что мною от господина полковника Дмитрия Семеновича Шеншина

с 1-го февраля по настоящее время получено в разное время на расходы триста пятнадцать руб. серебром, в ста рублях из оных представлен отчет в феврале месяце“ [1] (л. д. 14, стр. 44).

Отсюда совершенно ясно, что блестящее умозаключение, не является ли Толстой редактором Великоросса, так как он, при связях его со студентами, „сам много пишет“,—принадлежало во всяком случае не одному частному приставу Шляхтину, как это изображено в рапорте Дурново, а и чиновнику московского генерал-губернатора Шеншину. Больше того, трудно допустить, чтобы командировка агента в чужую губернию с секретным поручением могла состояться без ведома московского генерал-губернатора Тучкова. Предположение о том, что Шипов был послан в Тулу Тучковым, как увидим дальше, высказывает в одной из своих резолюций сам Долгоруков, который, быть может, и лично имел случай беседовать или переписываться с Тучковым, если не по вопросу об этой командировке, то вообще о Шипове.

Итак, подводя итоги сказанному, можно установить, 1) что назначение Шипова следить за Толстым вовсе не было простой случайностью, как об этом рапортует Дурново, 2) что оно произошло с ведома и соизволения значительно более крупных персонажей, чем какой-то частный пристав, и 3) что Шипов был не совсем обыкновенный сыщик, а лицо в той или иной степени известное, благодаря особым обстоятельствам его социального происхождения, главнейшим фигурам политического сыска императорской России шестидесятых годов.

3

ШИПОВ В ТУЛЕ

„Нынче еду назад в деревню“,—писал Лев Николаевич в цитированном выше письме своем к А. А. Толстой из Москвы от 10 февраля 1862 года, не подозревая, конечно, что к этому времени он уже состоял под наблюдением секретного агента. Мы знаем, что за первую половину февраля Шипов успел издержать на свои сыскные операции около ста рублей.

Полномочия Шипова следить за Толстым распространялись как на Москву, „так и по отъезде в имение его Тульской губ.“

[1] В первом показании от 12 июня Шипов говорит, что он отчитался Шеншину в 115 руб. в феврале перед своим отъездом в Тулу (л. д. 12, стр. 41). Уехал же он, как мы увидим, в середине февраля.

Вслед за отъездом поднадзорного секретному агенту, стало быть, надлежало тоже выехать из Москвы. Так это и случилось.

Из „весьма секретного" донесения тульского жандарма Муратова от 1 июня 1862 г. (стр. 10—11, л. д. 4—5) нетрудно установить, что Шипов приехал в Тулу 17 февраля 1862 г.

Прежде чем привести этот интереснейший документ, благодаря которому оживает фигура Шипова и мы узнаем некоторые подробности его жизни в Туле, следует заметить, что нашему секретному агенту, как это полагается, была присвоена чужая фамилия. Это обстоятельство не было учтено Сухониным. Встречая в опубликованных им документах из дела III отделения разные фамилии секретных агентов, иные с весьма нелестными характеристиками, и полагая, что под каждой отдельной фамилией разумеется отдельное лицо, — Сухонин в своем предисловии, возмущаясь произволом бюрократии, высказывает удивление, как можно было оказывать доверие и снабжать полномочиями „Шипова и других подобных ему лиц" (стр. 3).

С легкой руки Сухонина в ошибку впадает и такой обстоятельный исследователь, как Н. Н. Гусев, когда в своем биографическом труде „Толстой в молодости", цитируя по публикации Сухонина некоторые документы из дела III отделения, между прочим говорит: „Для надзора (за Толстым) в феврале 1862 года был послан в Тулу сыщик Зимин". И дальше: „Кроме Зимина был послан еще другой сыщик Шипов".[1] В действительности же никакого „другого сыщика Зимина" не существовало. Бытовая пикантность секретного дела о Толстом в том-то и заключается, что доверие оказывалось не нескольким лицам, а одному полуграмотному сыщику, заведомо не заслуживавшему никакого доверия, но зато носившему „высокое" звание бывшего дворового человека кн. Долгорукова.

Читатель сам, без особых комментариев, легко поймет, что в напечатанном ниже документе речь идет именно о Шипове, фигурирующем под псевдонимом „Зимин" при сохранении своего подлинного имени и отчества. Для этого достаточно вспомнить, что командировка нашего героя Михаила Ивановича в Тулу, по собственному его признанию, состоялась в средине февраля 1862 года и что к ней имел касательство

[1] Н. Н. Гусев Толстой в молодости, изд. Толстовского музея, Москва 1927, стр. 407.

пристав Московской Городской части Шляхтин. Документ так хорошо рисует ведомственные отношения того времени, быт охранителей, их отдельные фигуры, что мы перепечатываем его полностью по подлинному производству, хранящемуся в Центрархиве.

Весьма секретно.

От штаб-офицера
КОРПУСА ЖАНДАРМОВ,
находящегося
в Тульск. губ.

№ 102
Июня 1-го дня 1862 г.
Тула

О Галицком почетном гражданине Зимине и его товарище Гирос.

Галицкий почетный гражданин Михайло Иванович Зимин, прибыв в гор. Тулу 17-го минувшего февраля с тамбовским мещанином Гирос, распустил слухи, что он агент Правительства и что ему поручены важные секретные дела.

По требованию полиции г. Зимин представил свидетельство, выданное ему приставом московской полиции, городской части, г. Шляхтиным, от 15 февраля 1862 г. за № 101, сроком на два месяца; у г. Гирос был паспорт, выданный ему из Тамбовской градской думы. Г. Зимин все время пребывания своего в Туле вел разгульную, нетрезвую жизнь, посещая гостиницы низшего разряда и, наконец, дошел до такой крайности, что у товарища своего г. Гирос заложил часы, без его позволения, и через этот поступок они поссорились и разошлись.

Между тем, Зимин болтливостью своей обнаружил секретное поручение, данное ему будто бы Правительством следить за действиями графа Льва Толстого и за лицами, живущими у него в имении в с. „Ясная Поляна".

Узнав об этом, я пригласил к себе г. Гирос, который подтвердил все относящееся до г. Зимина и прибавил, что г. Зимин обещал ему дать 6 т. рублей сер., если он откроет что-нибудь о графе Толстом; но все это время г. Гирос ездил только в с. „Ясную Поляну" два раза, не открыв ровно ничего.

Об этом обстоятельстве я лично сообщил г. начальнику губернии, который вполне разделяет мое мнение, что г. Зимин (если ему и было дано какое-нибудь поручение) болтливостью своею много повредил к указанию истины и действию лиц, живущих в имении графа Толстого, за которыми ему, быть может, поручено было следить.

Г. Гирос живет еще в Туле, а Зимин выехал в Москву 22 мая, не заявив никому о своем отъезде.

О чем долгом считаю почтительнейше донести Вашему превосходительству.

Подписал полковник *Муратов.*

Управляющему III отделением собственной его императорского величества канцелярии свиты его величества господину генерал-майору и кавалеру Потапову.

Пометка внизу страницы:
„Московск. обер.-полиц. 7 июня № 1234".
(Пометка получения:) „6 июня 6—2 г." (л. д. 4—5, стр. 1011).

Прочтя этот документ, не трудно, действительно, догадаться, что Зимин — наш старый знакомый Михаил Иванович Шипов.

Из дальнейшего изложения тождество Шипова-Зимина устанавливается с полной очевидностью целым рядом совпадений и в датах, и в фактах. Здесь на этот счет пока достаточно сказать, что, установив тождество Зимина-Шипова еще по публикации Сухонина, до рассмотрения подлинного производства, мы затем получили весьма авторитетное и простое подтверждение того же при обозрении подлинного секретного донесения Муратова в деле № 230, хранящегося в Центрархиве: в тексте подлинника к фамилии „Зимин" сделана карандашная сноска и на полях документа карандашом рукою Долгорукова написано „Шипов". Авторитетность подобной ремарки не подлежит сомнению: Зимин тот же Шипов.[1]

Благодаря такому открытию скудные сведения архивных материалов, прежде относимые к двум лицам, с установлением тождества их концентрируются вокруг одного Шипова, лучше освещают его фигуру и позволяют уразуметь довольно занимательную фабулу его похождений.

Покинув III отделение, уйдя не солоно похлебавши от московского жандармского полковника Воейкова и попав в лоно московской столичной полиции, наш сыщик из быв. долгоруковского дворового человека „Михайло" Иванова Шипова иждивением генерал-губернаторского чиновника Шеншина и пристава Шляхтина был обращен путем допустимого в подобных случаях подлога в галицкого почетного гражданина Михаила Ивановича Зимина. С соответствующим свидетельством, выданным ему Шляхтиным 15 февраля 1862 г., он отправился в Тулу, прописавшись по своему подложному документу 17 февраля. Из донесения Муратова, пожалуй, можно заключить, хотя прямо Муратов этого и не пишет, что Шипов просто переложил свои обязанности по слежке за Толстым на товарища по профессии Гироса, а сам „все время своего проживания в Туле" только пьянствовал и распутничал, ни разу даже не побывав в Ясной поляне. Не имея оснований оспаривать муратовскую характеристику Шипова со стороны морали, трудно однако принять сообщения тульского жандарма целиком, без оговорок, особенно в части, основанной

[1] В 1930 г. появилась II часть вып. 2-го книги Л. П. Меньщикова „Охрана и революция" (Изд. политкаторжан, Москва, 1929). В главе „Наблюдения за Ясной поляной" (стр. 8 — 14) автор, вкратце излагая историю Шипова, в свою очередь указывает на тождество Шипова и Зимина.

на беседе его с Гиросом. Далеко ли сам Гирос ушел от своего товарища по профессии в нравственном смысле? Ведь дружба их не подвергалась никакому искушению, пока Шипов только „вел разгульную, нетрезвую жизнь, посещая гостиницы низшего разбора", в чем, очевидно, сопутствовал ему и Гирос. Она омрачилась лишь тогда, когда Шипов „дошел до такой крайности", что заложил часы Гироса. Именно „через этот поступок", как пишет Муратов, „они поссорились и разошлись". Легко себе представить, какой громадный импульс чернить своего приятеля и отрицать за ним всякую полезную для начальства работу получил Гирос после проявления „крайностей" в отношении его самого, когда вместо часов в его распоряжении оказалась ломбардная квитанция.

С другой стороны, вполне ли беспристрастно и донесение тульского жандарма Муратова, опорачивающее сыскную деятельность чужого агента, командированного на вверенную ему территорию не только без предварительного соглашения с ним, но даже без простого предупреждения об этом каких-либо тульских властей.

Ведомственное неудовольствие по этому поводу как будто чувствуется в некоторых фразах донесения.

Уже по этим основаниям нельзя сделать вывода, что сам Шипов не был в „Ясной поляне", тем более, что ни Гирос, ни Муратов прямо нигде и не утверждают этого. Мы, напротив, не сомневаемся, что „нетрезвая жизнь" не мешала Шипову бывать в „Ясной Поляне" и лично собирать сведения о толстовской усадьбе. Сам Шипов утверждает, что за три месяца своего тульского жития он „часто бывал в Ясной Поляне", „от Тулы за 13 верст" (показание от 12 июня 1862 г., л. д. 11, стр. 40).

Наконец, как бы ни были фантастичны доносы Шипова на Яснополянскую усадьбу, психологически невозможно допустить, чтобы их писал человек, никогда не бывавший в Ясной поляне, а главное—чтобы этому человеку, взятому после жалобы Муратова под сугубое подозрение, кто-либо поверил. Ведь несомненно, прежде чем поверить доносам Шипова на Ясную Поляну и снарядить туда жандармскую экспедицию, начальники III отделения убедились, хотя бы из личных опросов Шипова, что в Ясной поляне Шипов бывал.

С показаниями Шипова мы вскоре познакомимся, а теперь, соблюдая хронологию секретных донесений о Ясной поляне, обратимся к группе вновь обнаруженных документов из архивного дела канцелярии начальника Тульской губернии.

4

ДОЗНАНИЕ О ЛИТЕРАТОРЕ ЯКУШКИНЕ И ЕГО СПУТНИКЕ

Дело открывается дознанием о якобы преступной деятельности П. И. Якушкина[1] и его спутника, заезжавших в Ясную поляну весной 1862 года.

Событие это получило отражение и в документах III отделения.

Как гласит „справка" в деле III отделения, „в мае месяце (1862 г.) получено было сведение, что литератор Якушкин и проезжавший с ним вместе через Тульскую губернию какой-то студент распространяли печатные возмутительные возвания и заезжали в имение графа Толстого". Подстрочная сноска в этом документе свидетельствует, что сведения о заезде Якушкина III отделение почерпнуло из писем московского обер-полицмейстера (там же). Кто был в данном случае автором доноса, неизвестно, но по некоторым косвенным признакам не исключена прикосновенность Шипова и к этому делу. Известным нам осведомителем московской столичной полиции был Шипов. Дух сообщения „о каком-то студенте" и, как оказалось впоследствии, вздорность сообщения характерны для информации Шипова. Отъезд Шипова из Тулы (22 мая) совпадает с окончанием дознания о Якушкине. Можно отметить еще следующее совпадение: в некоторых документах из дела III отделения Шипов именуется „частным агентом" (л. д. 24, стр. 56; л. д. 33, стр. 65). Согласно одной из „справок" в деле III отд., о распространении Якушкиным возмутительных воззваний стало иззвестно „по частным сведениям" (л. д. 7, стр. 24). Возможно, эти „частные" сведения и принадлежали „частному" агенту Шипову. Возможно однако, что источник их был другой. Переписки московского обер-полицмейстера нам, к сожалению, обозреть не удалось.

---

[1] Якушкин, Пав. Ив., родственник декабриста. Род. в 1820 г., ум. в 1872 г. Писатель-этнограф. Собиратель народных песен, сказок и пословиц. Странствовал по деревням под видом коробейника в крестьянском платье. Одно время был учителем уездного училища. В 1858 г. сошелся с кружком петербургских литераторов. В 1859 г. был арестован, что наделало много шуму, вызвало обсуждение в печати, как акт произвола, и официальные разъяснения. В 1865 г. выслан из Петербурга, сначала на родину в Орловскую губ., затем в Архангельскую губ. (Энцикл. слов. Брокгауза и Эфрон, т. LXXXII, стр. 640—641).

Но кто бы ни был в данном случае осведомителем московской полиции, возникшая по возбужденному вопросу переписка представляет интерес. Тем более, что раньше опубликована она не была. На ней мы и остановимся.

Получив из Москвы информацию о Якушкине, управляющий III отделения генерал Потапов отношением от 11 мая 1862 г. предложил тульскому жандарму Муратову иметь „по этому предмету надлежащее наблюдение" (стр. 25). 16 мая того же года Муратов обратился к тульскому губернатору с нижеследующим отношением: [1]

Весьма секретно.

От штаб-офицера
КОРПУСА ЖАНДАРМОВ
находящегося
в Тульск. губ.

№ 82

Мая 16 дня 1862 г.

Тула.

16 мая.

Исправляющему должность Тульского военного губернатора, господину действительному статскому советнику и кавалеру Никифорову.

Я имею положительные сведения, что литератор *Якушкин*, проезжая недавно с каким-то студентом через Тульскую губернию, распространяли печатные возмутительные воззвания; при этом сообщено также, что г. Якушкин и его спутник заезжали к графу Льву Толстому в с. Ясная Поляна.

Доводя об этом до сведения Вашего, считаю долгом покорнейше просить Ваше превосходительство, не изволите ли Вы признать возможным поручить кому-либо из чиновников, заслуживающих доверия, негласно узнать, заезжали ли к графу Толстому г. Якушкин и кто был студент, спутник его.

Я полагаю, что приезд г. Якушкина в Тульскую губернию и распространяемые им брошюры имеют некоторые сходства с теми, которые были получены Вашим превосходительством. [2]

Сведения эти посланный чиновник мог бы получить от Крапивинского исправника и через расспросы у жителей села Ясная Поляна.

О последующем же имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство не оставить меня своим уведомлением.

Полковник *Муратов.*

---

[1] Печатаемые ниже документы извлечены из Тульского архивного бюро (дело № 49, 1862—1868 г. Канцелярии начальника губернии. Заглавие—см. предисловие). В ссылках на документы указываются листы подлинного производства.

[2] Этими „брошюрами", полученными тульским губернатором, может быть, была прокламация „Молодая Россия". Она была выпущена в Москве в мае 1862 г. и „наделала много шуму". Раскольников, Прокламации шестидесятых годов, Москва, 1926, стр. 23.

Никифоров немедленно поручил дознание частному приставу Кабеляцкому, по словам Л. Н. в письме его к Алекс. Андр. Толстой [1] занимавшему должность „губернаторского меркурия". Этот человек, по словам того же письма „выгнанный из какой то службы за то, что был бит по лицу", в скором времени прославил себя особенно беззастенчивым поведением при обыске в Ясной Поляне.

Вот текст копии отношения Никифорова на имя Кабеляцкого из дела Тульского архивного бюро:

М. В. Д.

НАЧАЛЬНИКА

Тульской губернии

По канцелярии

ОТДЕЛЕНИЕ 3

16 мая 1862 г.

№ 64

Тула

Уведомление штаб-офицера Корпуса жандармов, наход. в Тульской губ. 16 мая 1862 г., № 64.

л. д. 2—3

Весьма секретно.

Господину частному приставу 1-й Тульской градской части.

Штаб-офицер Корпуса жандармов полковник Муратов, от 16-го сего мая за № 82, уведомил меня, что он имеет положительные сведения, что литератор Якушкин, проезжая с каким то студентом через Тульскую губернию, распространяли печатные возмутительные воззвания; при этом сообщено также, что господин Якушкин и его спутник заезжали к графу Льву Толстому в с. Ясная Поляна.

Вследствие сего поручаю Вашему высокоблагородию по усмотрению вашему и благоразумной вашей распорядительности и опытности произвести секретное дознание о вышеизложенном обстоятельстве и кто спутник г. Якушкина.

На случай могущей встретиться потребности в разъездах, препровождаю вам подорожную и открытое предписание.

О последующем предписываю мне донести с возвращением препровождаемой подорожной и откр. предписания.

Исправляющий должность губернатора

вицегубернатор *Никифоров.*

Правитель канцелярии *(подпись неразборчива).*

Через пять дней Кабеляцкий представил следующий рапорт, перепечатываемый нами с подлинника из того же архивного дела.

---

[1] От 7 августа 1862 г.

л. 4—5

Совершенно секретно.

Его превосходительству господину исправляющему должность начальника Тульской губернии, вице-губернатору действительному статскому советнику и кавалеру Никифорову.

Частного пристава Тульской 1-й городской части, штабс-ротмистра *Кабеляцкого.*

РАПОРТ

На предписание Вашего превосходительства, от 16-го ч. мая № 64, имею честь донести, что по сделанному мною секретному дознанию открылось: действительно литератор г. Якушкин с г. фон-Болл приезжали 11-го сего месяца в имение графа Толстого село Ясную Поляну и помянутый Якушкин 13-го числа уехал обратно, а фон-Болл до сего времени находится в Ясной Поляне, но слухи о том, что они будто бы распространяли печатные возмутительные воззвания не подтверждаются, но я все средства употребляю секретным образом открыть справедливость слухов о действиях гг. Якушкина и фон-Болла и постоянно слежу за этим и, что успею открыть, немедленно донесу Вашему превосходительству, сам граф Толстой 14-го ч. мая уехал из имения, как говорят, в Самарскую и Казанскую губернию пить кумыс и когда возвратится неизвестно.

Частный пристав штаб-ротмистр *Кабеляцкий.*

№ 21
21-го мая 1862 года
г. Т у л а.
Частный пристав
Штаб-ротмистр
Кабеляцкий.

Других заслуживающих внимания документов по вопросу о заезде литератора Якушкина в Ясную поляну в деле канцелярии тульского губернатора нет.

Нельзя не заметить, что дознание и переписка по этому вопросу являют собой классический образец бюрократизма и централизации императорской России середины XIX века.

Вместо того, чтобы с информацией о близлежащем селении обратиться к тульскому губернатору, Шипов или иной неизвестный нам осведомитель адресуется в Москву. Москва, в свою очередь минуя Тулу, пишет в Петербург. Наконец Петербург запрашивает Тулу, но запрашивает не прямо губернатора, а тульского жандарма, жандарм адресуется к губернатору, тот к частному приставу и т. д. Даже рапортом пристава о результатах дознания не заканчивается этот слож-

ный круг ведомственной переписки: и тульский губернатор, и тульский жандарм отписываются еще перед Петербургом, каждый по своему ведомству. Достаточно пустить утку в виде „частных сведений", как пошла писать не только губерния, а чуть не целая империя. Бумага родит бумагу, донесения и отношения описывают тысячеверстные никому не нужные круги, в итоге же этих бумажных потоков не открывается ровно ничего, перевираются фамилии и немилосердно искажаются факты. Так тульский жандарм Муратов 22 мая, сообщая III отделению результаты дознания, именует спутника Якушкина студента фон-Болля—Николаем Вольфом (стр. 26), исправляя свою ошибку новым отношением от 30 мая. Что же касается частного пристава Кабеляцкого, то в вышеприведенном рапорте он устанавливает совсем невероятные вещи: у него выходит, будто бы Якушкин с фон-Боллем заезжали в Ясную поляну 11 мая, тогда как самый запрос из Петербурга о заезде Якушкина, вызвавший дознание, датирован тем же 11 мая. Ниже из показания фон-Боля при обыске мы узнаем, что он приехал почти на месяц раньше. Вероятно, тогда же заезжал и Якушкин. Но на эти бьющие в глаза несообразности и погрешности дознания никто не обращает внимания, и о Якушкине мы не встречаем больше никаких упоминаний.

5

АРЕСТ ШИПОВА И ЕГО ПОКАЗАНИЯ

Вероятно, в связи с возней, поднятой тульскими охранителями вокруг вопроса о пребывании Якушкина в Ясной поляне (запрос III отделения по этому поводу был получен в Туле 15—16 мая), тульский жандарм Муратов пришел в соприкосновение с Шиповым, чужим для него секретным агентом, известным ему под фамилией Зимина. Действиями последнего по тем или другим мотивам Муратов был недоволен. К этому времени относится и приведенная выше жалоба Муратова на Шипова-Зимина III отделению.

Как же реагировало III отделение на эту жалобу?

Донесение Муратова датировано 1 июня. На нем имеются две резолюции, обе от 5 июня. Первая из них, как можно установить по подлинному делу III отделения (№ 230), принадлежит генералу Потапову. „Хорош агент! — возмущается генерал, сам несколько месяцев тому назад, судя по письму московского жандарма Воейкова, наградивший Москву Ши-

повым,—но я удивляюсь, как можно было его выбрать,—это простой сыщик для карманных воришек, которого я знаю лично и он служил при мне“[1] (л. д. 3, стр. 9).

Поперек этой резолюции карандашом рукою Долгорукова написано: „Сообщить графу Крейцу с тем, если Зимин [2] отправлен самим генерал-адъютантом Тучковым, чтобы он доложил об этом Павлу Алексеевичу“ [3] (там же).

Исполняя эту резолюцию, Потапов 7 июня „весьма секретно“ сообщал московскому обер-полицеймейстеру о недопустимой болтливости „Галицкого почетного гражданина Зимина“, прося „по поручению генерал-адъютанта кн. Долгорукова“, если Зимин был послан в Тулу генерал-адъютантом Тучковым, доложить последнему об этом.

Может быть в силу каких-то особых отношений Шипова с верхами III отделения, Петербург, как видим, не счел нужным осведомлять Москву и о разгульной жизни и разных других художествах пресловутого сыщика, несмотря на столь богатую информацию на этот счет со стороны тульского жандарма.

Что же делал в это время агент Шипов-Зимин, над головой которого сгущались тучи? Надо полагать, приближение грозы он почувствовал, еще находясь в Туле, при своих вероятных объяснениях с Муратовым. Быть может, это и заставило его спешно оставить Тулу и искать защиты у своих высоких покровителей. Из собственных показаний Шипова от 12 и 13 июня 1862 г. (л. д. 12 и 14, стр. 41 и 44) можно заключить, что из Тулы он уехал в Москву, а затем через несколько дней попал в Петербург. Впрочем, по официальной версии, выдвигаемой Шиповым в этих показаниях, он отправился в Петербург для дальнейшего наблюдения за Толстым. „Узнавши, — пишет Шипов, — что граф Толстой в мае уехал в С.-Петербург и взял с собой двух мальчиков для представления начальству, я же с одним из близких ему тоже отправился в С.-Петербург“ (л. д. 14, стр. 44). 14 мая 1862 г. Толстой действительно выехал из Ясной Поляны на

[1] А. Л. Потапов с июня 1860 г. был и. д. петербургского обер-полицмейстера, с ноября того же года московским обер-полицмейстером, в 1861 г. ему было поручено переоборудовать варшавскую полицию, и с октября 1861 года до 24 мая 1864 г. он состоял и. д. начальника штаба корпуса жандармов и управляющим III Отделением (Русский Биографический словарь).

[2] В перепечатке Сухонина эта фамилия искажена в „Зизин“, вследствие чего получается представление о каком-то третьем сыщике по делу Толстого.

[3] Так звали Тучкова.

лошадях в Москву в сопровождении слуги Алексея Степановича Орехова и двух яснополянских школьников, Морозова и Чернова. В Петербург однако он ехать не собирался, а прямо из Москвы со своими спутниками отправился на Тверь и Самару, а затем в степи, где пробыл до конца июля вместе с Ореховым, проходя кумысное лечение.

„По приезде [в Петербург], — продолжает Шипов, — его [Толстого] там не оказалось и потому [я] отправился к управляющему III отделением собственной его императорского величества канцелярии генерал-майору Потапову для узнания, не имеют ли они его адреса, но генерал-майор Потапов сказал мне, что получил от тульского начальства обо мне донесение, и что мне будет нехорошо".

„Я же для защиты себя не имевши даже и паспарту [1] в следствие чего и отправился в Москву, по приезде сюда я явился к квартальному надзирателю А. ч. 4 к. Бочечкирову, коим и был заарестован и отправлен в городскую часть" (там же).

Таким образом предсказание Потапова, что Шипову „будет нехорошо", вполне оправдалось. Наш герой, 15 февраля 1862 г. вышедший из московской городской части в звании галицкого почетного гражданина Зимина, через несколько месяцев вновь оказался в той же части уже в качестве арестованного бывшего секретного агента Шипова.

После жалобы Муратова и ареста Шипова можно было ожидать, что этот „простой сыщик для карманных воришек", возымевший желание принять на себя более ответственные амплуа, едва ли когда-нибудь воскреснет даже для скромных ролей мелкого уголовного филера. Однако роль Шипова в деле о Толстом была далеко не закончена, и в ближайшие недели он, напротив, достиг зенита своего успеха. Каким же образом это удалось ему?

Под арестом Шипов находился более двух недель, неоднократно подвергаясь допросам со стороны московского генерал-губернаторского чиновника Шеншина. По словам Шипова, он был арестован 9 июня, по возвращении в Москву из Петербурга, где пробыл одну неделю (показания л. д. 12, стр. 41). Первый его допрос состоялся 12 июня.

---

[1] Мы знаем из донесения Муратова, что „галицкий почетный гражданин Зимин" действительно не имел паспорта, а только свидетельство от 15 февраля 1862 г. на 2 месяца. Впрочем, всякие сомнения в тождестве Шипова и Зимина окончательно устраняются этим показанием Шипова, из которого видно, что „донесение тульского начальства", т. е. жалоба жандарма Муратова на Зимина, относилось именно к Шипову.

Следовательно, до допроса Шипов, находясь под арестом, имел достаточно времени, целых три дня, чтобы обдумать свое положение и попытаться восстановить свою замаранную Муратовым репутацию. Делает это Шипов, если принять во внимание его полуграмотность, не без таланта. С каждым новым допросом плоды его фантазии все обильнее. Чувствуется, как постепенно он заинтриговывает допрашивающих, в конце концов овладевая вниманием всего своего начальства вплоть до самого шефа жандармов Долгорукова.

В первом же показании Шеншину Шипов сообщает, будто бы за три месяца своего проживания в Туле „он узнал, что при графе находится более 20 студентов разных университетов и без всяких видов", проживающих „в волостных правлениях участка графа Толстого" в качестве „учителей крестьянских мальчиков и волостных писарей". По воскресеньям все эти студенты якобы собираются к графу, но цель этих собраний им „еще не узнана". „На четвертой неделе минувшего великого поста, — продолжает Шипов, — когда я находился в Туле, к графу Толстому привезены были из Москвы литографские камни со шрифтом и какие-то краски; на этих камнях, как мною было узнано через одного из бывших у графа учителей, предположено было печатать какие-то запрещенные сочинения". Однако, по словам Шипова, печатание не состоялось в виду близости Ясной поляны от города, и все необходимое оборудование для печати было якобы „перевезено потом в другое имение графа — в Курскую губернию", где и предположено начать печатание с августа месяца. Улавливая темы и называя лиц, которые могут представить интерес для политического сыска того времени, Шипов заявляет далее, что „в деле печатания принимает участие мировой посредник Белевского уезда князь Евгений или Павел Александрович Черкасский, [1] к которому граф часто ездит" (л. д. 12, стр. 41).

На следующий день, 13 июня, Шипов был вновь допрошен, причем к первому своему показанию добавил, что „у графа в имении есть один человек, который исполняет должность курьера и часто ездит по трактам к Харькову и к Москве" (л. д. 14, стр. 43).

---

[1] Шипов, видимо, имеет в виду кн. Владимира Александровича Черкасского, известного деятеля по освобождению крестьян. С кн. Черкасскими Толстой был знаком и бывал у них. В своих воспоминаниях кн. Оболенская пишет: „Наиболее удачны были охоты на волков в имениях Евгения и Владимира Черкасских в Веневском и Каширском уездах". А п о с т о л о в, Живой Толстой, Москва, 1928, стр. 73.

Наконец в третьем показании, от 21 июня, Шипов делает еще несколько новых добавлений, окончательно заинтересовавших московские власти. Так Шипов повествует, будто в августе месяце „у его сиятельства предполагается печатание какого-то манифеста по случаю Тысячелетия России и оный манифест был у них на рассмотрении и отправлен для чего-то заграницу, но куда, мне неизвестно". Особое внимание московского генерал-губернатора Тучкова привлекло сообщение Шипова о том, что у Толстого „часто бывают продавцы разного товара из Стародубенных слобод, которые иногда у него ночуют и живут по 1 и 2 дня".

Показания Шипова заканчиваются следующим образом:

„К тому же в доме его сиятельства из кабинета и канцелярии устроены потайные двери и лестницы, и вообще дом в ночное время всегда оберегается большим караулом" (л. д. 13, стр. 42).

Читая эти показания, нельзя не заметить, что в них чистый вымысел довольно искусно переплетен с некоторыми правильными сведениями, которыми Шипов располагал о Ясной Поляне и Толстом. Шипов, напр., знал, что в Курской губ. у Толстых есть имение, что учителями толстовских школ состоят студенты без надлежащих видов на жительство (последнее подтвердилось при обыске), что Толстой знаком с кн. Черкасскими, что в мае он уехал, взяв с собой двух школьников. Сообщение „о потайных дверях и лестницах из кабинета и канцелярии его сиятельства" дает основание думать, что Шипову приходилось бывать даже в яснополянском доме и под каким-нибудь предлогом заглянуть в кабинет поднадзорного графа. Дело в том, что в первой половине 60-х годов яснополянский дом еще не был расширен позднейшими пристройками до его настоящих размеров. В 1862 году кабинетом Льву Николаевичу служила так называемая „комната под сводами". В 90-х годах в этой комнате Толстого написал худ. Репин. Передняя находилась тогда рядом с комнатой под сводами, в теперешней „комнате доктора Маковицкого". В ней за перегородкой помещался слуга Алексей Степанович Орехов. Одна из дверей передней вела непосредственно в кабинет под сводами, где жил Лев Николаевич. Громадные кольца в сводчатых потолках этой комнаты, оставшиеся от того времени, когда при деде Толстого Волконском здесь помещалась кладовая и на кольцах подвешивались окорока и другая снедь, в противоположном от входа углу маленькая дверца в небольшую каморку с каменным полом, из которой до первой при-

стройки (1866 г.) не было выхода наружу, и которая со вторым этажом сообщалась узенькой винтовой лесенкой,—таковы были в 1862 г. „кабинет и канцелярия его сиятельства". Эта странная обстановка графских аппартаментов не могла не привлечь настороженного внимания сыщика и должна была воскреснуть в его памяти впоследствии, когда, сидя под арестом, он сочинял свои показания.

В то же время осведомленность Шипова о Ясной поляне была самая поверхностная. Действительно, приходится только удивляться, что, несмотря на плохую репутацию Шипова, не проверив ни одного сообщаемого им факта хотя бы „через других подобных ему лиц", — высшее начальство ударило во все колокола и снарядило в Ясную поляну целую экспедицию с огромными полномочиями.

Во всяком случае Шипов своего добился. Он заставил себе поверить и на некоторое время вновь возродился из праха.

6

СНАРЯЖЕНИЕ ЖАНДАРМСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ТУЛЬСКУЮ И КУРСКУЮ ГУБ.

Уже 26 июня ген.-губернатор Тучков в частном письме писал управляющему III отделением генералу Потапову: [1]

„Препровождаю к Вам, почтеннейший Александр Львович, бывш. секретного агента Михайлу Шипова со всеми показаниями, сделанными им по известному вам делу гр. Льва Толстого.

Хотя Шипов есть такого рода личность, на которую полагаться совершенно нельзя, но важность показаний его требует особенного внимания и указание на подготовляемый манифест к Тысячелетию, не должно остаться без тщательного исследования. Требуют особенного внимания и указанные им сношения с раскольниками" (л. д. 9, стр. 38).

Несомненно, Тучков и сам был бы не прочь пуститься в „тщательное исследование", но Ясная поляна, как он указывает дальше в письме, „вне района вверенного мне управления" (там же).

В Петербург, в III отделение, Шипов приехал на этот раз не свободным человеком, а был доставлен в качестве аресто-

[1] На подлинном письме в верхнем его углу почерком Потапова написано „Пол. 29 июня. Отвечал собственноручно того же 29 июня".

ванного. Об этом свидетельствует рапорт от 29 июня [1] 1862 г. дежурного по штабу корпуса жандармов „о принятии арестованного, временно обязанного крестьянина князя Александра Васильевича Долгорукова, доставленного из Москвы от московского военного генерал-губернатора, подпоручиком Ловягиным" (л. д. 15, стр. 45). Ловягину, как служащему в штабе московской полиции, того же числа была выдана квитанция из III отделения в принятии от него „крестьянина, имения князя Долгорукова, Михаила Шипова" (л. д. 16, стр. 46). В тот же день Шипов был помещен под арест „в № 2 старого здания" (л. д. 15).

Что происходило с Шиповым в Петербурге, кто допрашивал его, видел ли он самого Долгорукова, — на этот счет можно строить только предположения. Но уже 2 июля, т. е. через 2 — 3 дня после прибытия Шипова, Долгоруков дал весьма секретное предписание полковнику корпуса жандармов Дурново, основанное, как видно из мотивировки, исключительно на показаниях Шипова. Дурново предлагалось: „отправиться в Тульскую и потом, если окажется нужным, в Курскую губернии и сделать надлежащее дознание... при содействии местных чиновников... Если по оному откроется что-либо противозаконное, передать виновных в распоряжение полиции" (л. д. 18, стр. 48). Иными словами, по делу Толстого намечались аресты, как говорится, „в зависимости от результатов". Определить достаточность этих результатов должен был жандармский полковник Дурново. Вместе с предписанием Дурново были вручены отношения на имя начальников Тульской губ. ген.-лейтенанта Дарагана и Курской губ. ген.-майора Дена с просьбой о содействии (л. д. 19 и 20, стр. 49 и 50).

Анализ дальнейших документов приближает нас к обыску в Ясной поляне.

Уже 2 июля Дурново, судя по представленному им впоследствии рапорту, выехал в Москву. Едва ли подлежит сомнению, что Шипов сопровождал его вплоть до завершения карательной экспедиции, т. е. ездил с ним в Ясную поляну, чтобы присутствовать при обыске в качестве какого-нибудь понятого и наводить жандармов, как лягавая собака охотника, на следы нанюханного им преступления. Как было не захватить вместе с материалами по делу Толстого, которые легли в основу предписания Долгорукова и вызвали всю экспедицию, и самого автора этих материалов? Ведь он к тому же находился поблизости, сидя под арестом в „№ 2 старого здания".

[1] В публикации Сухонина ошибочно напечатано „23 июня".

Относительная свобода при поездке с жандармом в южные губернии несомненно улыбалась Шипову больше, чем пребывание в клоповнике. Он сам должен был настойчиво предлагать себя в спутники. Впрочем, в пользу версии о прикомандировании нашего „частного агента" к Дурново говорят не одни логические соображения. В заключительных строках своего рапорта Дурново дает как бы отчет в том, почему он не привез Шипова обратно в Петербург. Но на этом мы еще остановимся в свое время, а теперь проследим дальнейшие шаги Дурново.

По прибытии в Москву жандарм обратился к генерал-губернатору Тучкову с просьбой указать лиц, от которых он мог бы получить дополнительные сведения. Тучков указал ему известных нам из предыдущего чиновника своего Шеншина и пристава городской части Шляхтина. Первый никаких дополнительных сведений не дал, а второй якобы сообщил те сведения о причинах слежки за Толстым, которые мы привели выше, цитируя рапорт Дурново в этой части.

„После сего, — рапортует Дурново, — я немедленно отправился в Тулу". В Тулу Дурново приехал числа 4 июля. Здесь он вручил свои грамоты вице-губернатору Никифорову, который в разговоре с ним, между прочим, высказал предположение, что „у графа есть типография для печатания его журнала". Следует заметить, что толстовский педагогический журнал „Ясная поляна", на обложке которого указана московская университетская типография Каткова, вице-губернатор, очевидно, ни разу не удосужился почитать. „Сейчас же, — продолжает Дурново, — была отправлена эстафета к исправнику и становому Крапивенского уезда о прибытии в г. Тулу, чтобы ехать мне с ними вместе в имение графа Толстого, Ясные поляны, для избежания огласки, так как в г. Крапивну за сими чиновниками мне пришлось бы ехать по близости сего имения" (там же).

Отсюда нельзя не видеть, какое серьезное значение придавали яснополянскому обыску как жандарм Дурново, так и тульские власти.

В ночь на 6 июля вся карательная экспедиция в составе жандарма Дурново, „губернаторского меркурия" штаб-ротмистра Кабеляцкого, прибывших из Крапивны исправника и станового, а также еще каких-то лиц (среди них, надо думать, были Шипов и канцелярист тульского жандарма Муратова, почерком которого написан протокол обыска) на почтовых тройках двинулась из Тулы на мирно спавшую толстовскую усадьбу. „Жандармы и полицейские чиновники ввалились

в дом около полуночи", — ссылаясь на слова Льва Николаевича, вспоминает Т. А. Кузьминская в своих мемуарах. [1]

В июле 1862 г. в тогда еще небольшом яснополянском доме проживали родственница Льва Николаевича Т. А. Ергольская, ее компаньонка Н. П. Охотницкая и сестра Толстого, Мария Николаевна, приехавшая погостить. За отсутствием брата она занимала его кабинет под сводами. Во флигеле, где была толстовская школа и контора, помещались учителя и управляющий имением бывший студент фон-Болль, уже известный нам по дознанию о литераторе Якушкине.

Постараемся теперь с возможной точностью восстановить по нашим документам, а также письмам и воспоминаниям, опубликованным в свое время, картину этого жандармско-полицейского нашествия, пережитого почти 70 лет тому назад теперешней усадьбой-музеем „Ясная поляна".

7

ОБЫСК В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Для того, чтобы представить себе, насколько основательному обыску подверглась Ясная поляна, следует отметить, что оперативные действия многочисленного отряда под командой петербургского жандарма Дурново, как это можно уяснить на основании наших источников, начались с раннего утра 6 июля, продолжались весь день, вероятно часть ночи и закончились лишь 7 июля: „Обыск продолжался два дня", — писал Толстой в своей жалобе Александру II (л. д. 30, стр. 62).

Остановимся прежде всего на начальных моментах события. В письме от 7 августа 1862 г. к А. А. Толстой, [2] написанном Львом Николаевичем по возвращении с кумыса под свежим впечатлением от рассказов об обыске, появление полиции в Ясной поляне изображено следующим образом: „Они подъехали и тотчас арестовали всех студентов. Тетенька [Т. А. Ергольская] выскочила им навстречу. Она думала, что это я, и с ней сделалась та болезнь, от которой она и теперь страдает". „Татьяна Александровна так перепугалась, — рассказывала впоследствии горничная Дуняша Татьяне Андреевне Берс, — что из своей комнаты не выходила". [3] В большей

[1] „Моя жизнь дома и в Ясной поляне" (1846 — 1862 г.), изд. 2-е Сабашниковых, 1927, ч. I, стр. 99.

[2] Письмо от 7 августа 1862 г. Переписка. Описание обыска с ссылками на Толстого взято нами и в дальнейшем из этого письма.

[3] Т. А. Кузьминская, Моя жизнь..., ч. I, стр. 123.

степени сохранила присутствие духа сестра Толстого, Мария Николаевна. Она, по словам Дуняши, „в ту пору послала Николку к Маркову“,[1] проживавшему в это лето по соседству с Ясной Поляной, видимо, в деревне Деминке или Судакове. Вот что рассказывает по этому поводу Марков: „Я и наш общий приятель Г. А. Ауербах проводили это лето со своими семьями верстах в пяти от Ясной Поляны, сняв внаймы дом одного помещика в той же Малиновой Засеке, среди которой была и Ясная Поляна. Вдруг рано утром к нам верховой из Ясной Поляны. Нас просят поскорей приехать по важному делу. Мы с Ауербахом садимся в шарабан и катим что есть духу“. Когда Марков и Ауербах приехали, обыск был уже в полном разгаре, охватив всю усадьбу. „Въезжаем во двор,— рассказывает Марков,—смотрим, там целое нашествие! Почтовые тройки с колокольчиками, обывательские подводы, исправник, становые, сотские, понятые и в довершение всего—жандармы. Жандармский полковник во главе этой грозной экспедиции, со звоном, шумом и треском подкативший к мирному дому Льва Николаевича, к бесконечному изумлению деревенского люда. Нас едва пропустили в дом. Бедные дамы лежат чуть не в обмороке. Везде кругом сторожа, все разрыто, раскрыто, перевернуто (ящики столов, шкапы, комоды, сундуки, шкатулки). В конюшне поднимают ломом полы; в прудах парка стараются выловить сетью преступный типографский станок, вместо которого попадаются только одни невинные караси да раки. Понятно, что злополучную школу и подавно вывернули вверх дном“.

По описаниям отдельных моментов яснополянского обыска и относящимся к нему документам можно думать, что вскоре по приезде в усадьбу карательная экспедиция разделилась на несколько отрядов. Частный пристав ротмистр Кабеляцкий, как человек местный, в большей степени отражавший весьма враждебные Толстому настроения некоторой части местного дворянства, орудовал в комнате под сводами, т. е. в толстовском кабинете, в котором, со слов Шипова, предполагались потайные лестницы и ходы. Между тем петербургский жандарм Дурново, распределив силы в разных пунктах усадьбы, главное свое внимание обратил на студентов. Студенты были арестованы во флигеле, где помещалась школа. „Им,—как пишет Лев Николаевич, — не позволяли перейти из одного дома в другой, чтобы пить чай или обедать“. У них были отобраны

[1] Евгений Марков — педагог, критик и публицист, интересовавшийся педагогическими опытами Толстого. В 1862 г. учитель Тульской гимназии.

для проверки виды на жительство (см. ниже протокол обыска). В стремлении к уловлению подозрительных молодых людей жандарм Дурново распространил свои действия и за пределы Ясной поляны. „Кроме того, — рапортовал он впоследствии, — я ездил в школы, заведенные графом Толстым, при разных селениях, именно в сельцо Кривцово и сельцо Колпна, где были бумаги [студентов-учителей] Томашевского и Сердобольского, для осмотра“ (л. д. 22—23, стр. 53—54). Надо полагать, жандарм Дурново ездил в указанные школы без ротмистра Кабеляцкого. В печатаемом ниже рапорте Кабеляцкого говорится о его совместной поездке с Дурново только в Ясную поляну и в Чернский уезд. Ротмистр Кабеляцкий по всей вероятности на время отсутствия Дурново оставался его заместителем в обшариваемой усадьбе, продолжая рыться в толстовском кабинете и распоряжаться в доме. Недаром, судя по письму Толстого, Кабеляцкий при обыске в доме и кабинете играл наиболее видную роль. Он же возбудил и наибольшее негодование Толстого: „Частный пристав, — говорит Лев Николаевич в письме к А. А. Толстой,—прочел все, что мне писано и что я писал с 16 лет. Не знаю, в какой степени все это он нашел интересным, но он позволил сестре выйти в гостиную и позволил ей лечь спать, когда пришел вечер [6 июля], и только после того, как его об этом попросили“... Очевидно, того же Кабеляцкого имел в виду Толстой, когда, по словам Татьяны Андреевны Кузьминской, рассказывал Берсам в Москве осенью 1862 г.: „Один из чиновников открыл мой письменный стол, сломав замок, так как ключ от стола я брал всегда с собой, куда бы ни ехал“. [1]

„Частному приставу, — описывая обыск, вновь упоминает Толстой о Кабеляцком, — показалось подозрительным письмо старого князя Дундукова-Корсакова, и секретарь мой утащил это письмо из фуражки, куда оно было отложено“. Конечно, обыск в кабинете мог начаться в присутствии жандарма Дурново. Дурново уходил, возвращался, просматривал отобранные его сподручными письма и дневники, но главную роль при обыске в доме несомненно играл тульский штаб-ротмистр, просидевший в доме до самого вечера.

Осмотру дома и кабинета в рапорте Дурново посвящены следующие строки: „По осмотре кабинета и дома гр. Толстого никаких предосудительных бумаг не оказалось, и только по некоторым частным письмам, писанным в 1858 г. к нему Тургеневым, можно было судить, что он находится в коротких отношениях с Герце-

[1] Т. А. Кузьминская, „Моя жизнь...“, ч. I, стр. 100.

ном, и что переписка прошлых годов чрезвычайно большая, но писем нынешнего года найдено очень мало" (л. д. 23, стр. 53).

Дурново и Кабеляцкий, в течение двух дней хозяйничая в усадьбе, вели себя особенно вызывающе. Толстой пишет, что „они делали поучения, угрожали тем, что возьмут, требовали себе есть и лошадям корму бесплатно". С его же слов Т. А. Кузьминская рассказывает в своих воспоминаниях, что чиновники тотчас по приезде в усадьбу „потребовали ключи от шкапов и комодов, вина и еды". „И что только тут было! Вина спросили, всю ночь шарили, читали и пили", — рассказывала ей об обыске горничная Дуняша. [1] Повидимому, дело действительно не обошлось без возлияний. Возбуждение от сознания ответственности минуты подогревалось от времени до времени еще и винными парами. Компания обыскивающих вела себя крайне развязно. „Вооруженные жандармы, — описывает Толстой, — ходили, кричали, ругались под окнами сестры, как в завоеванном крае. Ходили в подвалы, [2] в ватерклозет, в фотографию, в кладовые, в школы, в физический кабинет, требовали все ключи, хотели ломать и не показывали никакой бумаги, на основании которой все это делалось". [3]

Надо думать, что наш герой Шипов, если только он был в Ясной поляне, в чем едва ли можно сомневаться, находился в числе действующих лиц и в качестве какого-нибудь понятого принимал самое настойчивое участие в обследовании тайн заподозренной усадьбы. Легко себе представить, в какой степени он был заинтересован в том, чтобы хоть что-нибудь удалось обнаружить. Ведь вся его карьера ставилась на карту. Что, кроме возвращения в тюрьму, мог ожидать скомпрометированный бывший агент в случае полного провала его информации?

На основании имеющихся материалов трудно решить, где заночевала карательная экспедиция, когда первый тревожный день кончился. Быть может, после того как Мария Николаевна была отпущена спать, чиновники собрались во флигеле и здесь продолжали „шарить, читать и пить".

Во всяком случае действия их продолжались и на следующий день, 7 июля. Утверждение Льва Николаевича, что обыск продолжался два дня, вполне подтверждается вновь обнару-

---

[1] Т. А. Кузьминская, „Моя жизнь...", ч. I, стр. 99 и 123.

[2] Под всеми тремя домами, построенными дедом Толстого, Н. С. Волконским, имеются обширные подвалы.

[3] Никакого ордера от тульских властей на обыск в усадьбе Толстого у Дурново не было. Жандарм имел только упомянутое выше предписание кн. Долгорукова о производстве дознания.

женными документами из канцелярии начальника Тульской губернии. Именно 7 июля был составлен „акт“ об обыске и другие формальные бумаги, представленные Дурново на распоряжение управляющего Тульской губернии. К рассмотрению их мы теперь и перейдем.

8

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБЫСКЕ.—ОБЫСК В С. НИКОЛЬСКОМ, ЧЕРНСКОГО УЕЗДА

Акт, сопроводительное к нему отношение и показание фон-Болля написаны на листах простой белой бумаги обыкновенного формата с оттисками в левом верхнем углу фабричных клейм. На клеймах из трех слов можно разобрать два: „Суровской фабрики“. Таких клейм на других листах производства нет. Первые два документа написаны тем самым почерком, что и приведенное выше отношение за подписью тульского жандарма Муратова на имя тульского военного губернатора по поводу литератора Якушкина от 16 мая 1862 г., которым открывается все дело (л. д. 1). На этом основании мы и делаем вывод, что Дурново, выезжая из Тулы, прихватил с собой в Ясную поляну на роли секретаря какого-то местного жандармского чиновника. Нельзя не обратить внимание, что муратовское отношение о Якушкине написано тщательным почерком, без пропусков слов, обычным канцелярским стилем. Этого отнюдь нельзя сказать про документы, написанные тем же почерком, но относящиеся к обыску. Особенно „акт“ носит на себе следы если не пьяного угара, то во всяком случае крайней рассеянности и утомления. Соответствующие места, останавливающие в этом смысле внимание, мы перепечатываем курсивом. Текст сопроводительного отношения занимает одну страницу:

л. д. 10.

КОРПУСА ЖАНДАРМОВ
ПОЛКОВНИКА
ДУРНОВО
№ 30
7 июля 1862 года.
ТУЛА

Управляющему Тульскою губерниею, вице-губернатору, господину действительному статскому советнику и кавалеру Никифорову.

Имею честь при сем представить к Вашему превосходительству составленный акт, в Крапивенском уезде имения графа Льва Николаевича Толстого и отобранное показание бывшего студента Московского университета Николая фон-Болль с документами о звании *домашних* учителей и выпискою из журнала *Колокова* на благоусмотрение Вашего превосходительства.

Полковник *Дурново.*

К этому отношению приложен лист бумаги. Первые две страницы его занимает „акт" следующего содержания:

л. 11 и 11 об.

1862 года июля 7 дня корпуса жандармов полковник *Дурново при частном приставе* Тульской градской 1-й части штаб-ротмистре Кабеляцком и *Крапивенском исправнике* Чернове, *по распоряжению г. полковника Дурново делали осмотр Крапивенского уезда* в сельце Ясная поляна в конторе и доме графа Льва Николаевича Толстого, где и оказалось: в конторе, занимаемой бывшим студентом Московского Университета из дворян *Николая* фон-Боль из запрещенного журнала *Колокола* № 11, 1858 года, тетрадь с заглавием Русскіе в Париже и два листа тоже из *Колокола* один за № 1-й, а другой 12-й и потом отобраны у живущих в имении графа Толстого при сельских школах учителей: *название документ*: Анатолия Константиновича Томашевского, Митрофана Федоровича Бутовича, Николая Павловича Петерсон,[1] Сергея Леонтьевича Гудима, Владимира Павловича Лукашевича, Александра Павловича Сердобольского и управляющего имением Николая Львовича фон-Боль. Окончивши осмотр в Ясной поляне отправлялись в сельскую школу сельца Кривцова в школу учрежденную в сельце Колпне; но *кроме конторы у г. фон-Боль отобрано запрещенного журнала, как в доме графа Толстого, так и сельских ничего* подозрительного не найдено, почему определили: отобрать показание от бывшего студента Московского университета фон-Боль и *вместе с ним его показание* и отобранными от других учителей документами *представить* на распоряжение Его Превосходительства г. управляющего тульской губернии.

Полковник *Дурново.*

Частный пристав Штаб-Ротмистр *Кабеляцкий.*
При обыске находился Крапивенский исправник *Чернов.*
При обыске находился из дворян Саратовской губернии бывший студент Московского университета Николай Львов *фон-Болль.*

Таков был „акт", и в слабой степени не отражающий действительной картины обыска. Само собой разумеется, по такому документу нельзя судить о тех или других моментах обыска и их последовательности.

В частности из акта вытекает, что мужи, руки к нему приложившие, порешили показание фон-Болля вместе с ним самим представить на распоряжение управляющего Тульской губернией. Однако ни в одном источнике мы не встречали указаний на то, чтобы по обыску в Ясной поляне кто-либо был взят в Тулу. Неряшливый, безграмотный и глупый произвол, пропитавший все дело о Толстом, великолепно завершается столь же неряшливым, а может быть и пьяным актом об обыске. Определили одно, а потом передумали. Может быть просто по той причине, что фон-Болль, как управляющий име-

[1] На полях в левом углу 1-й страницы против фамилии Петерсон написано карандашом: „20 лет".

нием, во время распорядился дать жандармской тройке лишний гарнец овса или самому жандарму лишнюю бутылку вина к обеду. Своя рука-владыка. По странной случайности именно эта формула произвола прекрасно передана первой фразой аляповатого акта. Смысл ее тот, что вся сыскная операция в толстовской усадьбе была предпринята жандармским полковником Дурново при тульском приставе и крапивенском исправнике по собственному „распоряжению". . . того же „Г. полковника Дурново".

Приводим далее показание фон-Болля, написанное им собственноручно на трех страницах отдельного листа бумаги того же образца.

л. д. 12—13.

1862 года июля 7-го дня корпуса жандармов полковник Дурново, при частном приставе Тульской городской первой части штаб-ротмистре Кабеляцком и крапивенском исправнике Чернове, бывший студент Московского Университета из дворян Саратовской губернии Николай Львов фон-Болль дал сие показание в том, что живу я в Крапивенском уезде в сельце Ясных полянах, принадлежащих графу Льву Николаевичу Толстому, с 17-го апреля нынешнего года в качестве управляющего имением. При обыске сего числа у меня в бумагах выписка из запрещенного журнала „Колокол", под заглавием „Русские в Париже" и два листа тоже из „Колокола"—один за № 1-м и другой 12-й—достались мне после отъезда из Москвы в Нижний-Новгород в начале мая месяца прошлого года одного товарища моего Андрея Федоровича Макавеева. Уехавши, он оставил у меня до своего приезда эту выписку вместе с другими бумагами, книгами и вещами. В начале июля Макавеев случайно возвратился в Москву с тем, чтобы ехать недели на две в Петербург, а потом возвратиться опять в Нижний-Новгород. Но в Петербург он не поехал, потому что не получил денег и остался дожидаться возможности ехать хоть опять в Нижний-Новгород. Таким образом прожил он до конца июля, находясь по несколько дней то у меня в квартире, то у нашего общего товарища Вигилянского, проживавшего неподалеку от Москвы, в Марьиной деревне. Около конца июля Макавеев от неизвестной причины застрелился, и все его вещи и бумаги остались у меня до приезда его родных в Москву в начале августа. Книги по требованию родных я возвратил им—остальное, то есть: литографированные лекции, выписка об которой идет речь и кой какие вещи остались у меня до сих пор; не уничтожал я эту выписку не потому, чтобы желал ее оставить у себя, но потому, что совершенно забыл и до сих пор не помнил о ней. Все это показываю по сущей правде и справедливости. К сему показанию дворянин Саратовской губернии бывший студент Московского Университета Николай Львов фон-Болль руку приложил. К сему добавляю, что я находился под следствием по происшествию 12 октября прошлого года в московской студенческой истории, но чем это дело кончилось, мне еще не объявлено. Николай Львов фон-Болль.

Полковник *Дурново.*

Частный пристав штаб-ротмистр *Кабеляцкий.*

Крапивенский исправник *Чернов.*

Упоминаемые в акте и показании выписки из „Колокола“ вшиты в производство на л. д. 20—34 об. Первая из них „Русские в Париже в 1858 г.“ (л. д. 20—32) представляет собой диалог на политические злободневные темы славянофила, западника, сенатора, камергера, полковника и др. персонажей. Вторая, под названием „Правда ли?“, разоблачает неправильные действия ряда правительственных лиц.

Других документов, изъятых при обыске, в производстве не имеется.

Повидимому, к вечеру 7 июля Дурново и Кабеляцкий были уже в Туле. Из Ясной поляны они, как пишет Лев Николаевич в письме к А. А. Толстой, „уехали.... прочитав всем поучения и потребовав себе обедать“. „Жандармский офицер сказал: каждый день мы можем опять приехать“.[1] На другой день крапивенский исправник Чернов обязал Н. фон-Болля следующей подпиской о невыезде.

л. д. 14.

1862 года июля 8 дня, я, нижеподписавшийся Саратовской губернии дворянин Николай Львов фон-Болль дал сию подписку Крапивенскому исправнику в том, что я обязываюсь впредь без разрешения Крапивенской земской полиции, из имения Льва Николаевича Толстого сельца Ясной Поляны никуда не выезжать в том подписом моим свидетельствую.

Дворянин Саратовской губернии, бывший студент Московского Университета Николай Львович фон-Болль.

Исправник *Чернов.*

Между тем, представив документы об обыске вице-губернатору Никифорову, Дурново и Кабеляцкий, как это видно из печатаемых ниже рапортов, покатили в Чернский уезд. Заехав за чернским исправником Гофштетером, они отправились производить обыск в толстовском имении при с. Никольском. Рапорт Кабеляцкого от 10 июля 1862 г. за № 26 тульскому губернатору генерал-лейтенанту Дарагану (л. д. 17—18), чтобы не повторять уже известного, приводим только в части.

Сверх того,—рапортует Кабеляцкий,—отправлялись мы с г. полковником Дурново в Чернский уезд, в село Никольское, имение графа Льва Николаевича Толстого и по осмотру всех бумаг ничего подозрительного не найдено.

О чем имею честь донести Вашему превосходительству и покорнейше просить сделать распоряжение о возвращении издержанных мною прогонов в Крапивенский уезд и на станцию Ясенки и обратно в Тулу вкл. 40 верст 2 р. 40 к. и в Чернский уезд в село Никольское и обратно в Тулу 224 версты 13 р. 44 к., а всего на обе поездки пятнадцать рублей восемдесят четыре копейки серебром.

Частный пристав штаб-ротмистр *Кабеляцкий.*

[1] Письмо Толстого Александру II (л. д. 30, стр. 62).

Обыск в Никольском был произведен 9 июля, о чем свидетельствует рапорт Чернского исправника.

л. 19.

Секретно.

13 июля 1862 г.

Его превосходительству
господину начальнику Тульской губернии.
Чернского исправника

РАПОРТ

Полковник корпуса жандармов Дурново сего числа пригласил меня с собою в имение графа Толстого село Никольское, где при мне и приставе Тульской градской полиции г-не Кабелянком, пересмотрев все книги и бумаги бывшие в доме графа Толстого, но искомого полковником Дурново ничего не оказалось.

О чем Вашему превосходительству имею честь донести на предписание от 8 сего июля № 79.

Исправник *Гофштеттер.*

№ 6
9 июля 1862 г.
г. Чернь.

Об этом обыске Толстой пишет в письме от 7 августа: „Мало того они поехали в другую мою Чернскую деревню; почитали бумаги покойного брата, к[отор]ыя я, как святыню беру в руки, и уехали"...

9

ИТОГИ ОБЫСКА

Итак, жандармский полковник Дурново посвятил подробному ознакомлению с деятельностью Л. Н. Толстого в Тульской губ. не менее пяти дней (5—9 июля). Вероятно, 10—11 июля он уже отбыл в Петербург, так как рапорт его III отделению о поездке в Тульскую губернию датирован 14 июля, а по дороге Дурново заезжал еще в Москву. В общем, кроме выписок из старых номеров „Колокола", найденных у фон-Болля, писем Тургенева о Герцене и неисправных видов на жительство учителей-студентов, обыск, от которого так много ждали, не дал ничего. Может быть этим яснополянская усадьба отчасти была обязана предприимчивости ее обитателей, которые старались попрятать от жандармов и полицейских все, что внушало им хоть какое-нибудь опасение. Так горничная Дуняша в самом начале обыска спрятала в канаву портфель Толстого. В нем будто бы находились портрет и письма Герцена; [1]

[1] Т. А. Кузьминская, „Моя жизнь...", ч. I, стр. 123.

Т. А. Ергольская и Мария Николаевна Толстая в свою очередь „вне себя от испуга старались прятать самые невинные бумаги".[1] Исчезли, как нам известно, даже отложенные письма из фуражки Кабеляцкого. Конечно, в этом укрывательстве не отставали и другие студенты, тем более, что некоторые из них имели и раньше дело с полицией, а Бутович был „сыном лишенного прав состояния и сосланного в Сибирь" (л. д. 22, стр. 52). Поневоле Дурново приходилось дополнить в рапорте скудную добычу от обыска следующей характеристикой Толстого, которая в глазах III отделения могла быть отрицательной: „С посторонними граф Толстой держит себя очень гордо и вообще восстановил против себя помещиков, так как, будучи прежде посредником, он оказывал особое пристрастие в пользу крестьян, так что, по словам начальника губернии, многие его просили об удалении графа Толстого...

Обращение его с крестьянами чрезвычайно просто, а с мальчиками, учащимися в школах, даже дружеское; увольнительных свидетельств он выдал 125-ти временно обязанным дворовым людям своим, как говорят, против их воли".

Что же касается информации Шипова, то она провалилась с треском. В рапорте об обыске Дурново как бы слегка иронизирует над ее фантастичностью, не называя однако Шипова и не критикуя его открыто: „В доме графа Толстого,—пишет он,—устроенном весьма просто, не оказалось ни потайных дверей, ни потайных лестниц; литографских камней и телеграфа также не оказалось". Сообщив затем, что и в толстовских школах „кроме общеупотребительных материалов и книг ничего не найдено", Дурново заканчивает рапорт следующей лаконической фразой: „По прибытии моем в Москву, я все обстоятельства этого дела передал словесно г. Московскому военному губернатору, и получил приказание сказать Михаилу Шипову, чтобы он отправился к приставу городской части г. Шляхтину" (л. д. 23, стр. 55).

Фраза эта, несмотря на свою лаконичность, представляется нам весьма содержательной.

Как бы подводя итог всей поездке и безрезультатности обыска, словно давая отчет в том, как поступлено с прикомандированным к нему агентом, заварившим всю эту кашу, Дурново в заключительной фразе неожиданно упоминает о Шипове. Зачем было бы Тучкову отдавать именно Дурново ка-

[1] Письмо Л. Н. Толстого к А. А. Толстой от 7/VIII.

кие бы то ни было приказания насчет Шипова, а Дурново докладывать о них III отделению и отчитываться в чужом секретном агенте, если бы Шипов в действительности не был освобожден из-под ареста при выезде Дурново из Петербурга для совместной поездки с ним в Ясную поляну? Дурново привез Шипова к тому самому генерал-губернатору Тучкову, от которого незадолго перед тем этот бесполезный груз был получен Петербургом. Можно себе представить, какие чувства возымел Тучков к Шипову после доклада Дурново о юмористических результатах „тщательного исследования". Нам понятен смысл приказания раздосадованного генерала: „Сказать Михаилу Шипову, чтобы он отправился к приставу городской части Шляхтину". С городской частью Шипов был хорошо знаком. Из нее он вышел когда-то в звании потомственного почетного гражданина Зимина, в нее был посажен после жалобы Муратова, из нее под арестом доставлен в Петербург. В нее же, очевидно, Шипов был ввергнут снова, как только выяснилось, что он не только не реабилитировал себя, но одурачил целый ряд высших чиновников и в первую очередь генерала Тучкова. Однако имя свое Шипов основательно вписал в ту главу биографии Толстого, которая относится к первому крупному столкновению великого писателя с российским самодержавием.

В заключение истории о яснополянском обыске остается упомянуть еще о том, как закончилась она для самого Толстого.

В воспоминаниях Т. А. Кузьминской выдвигается версия, будто бы царь обратил внимание на это „гнусное дело" и „через своего флигель-адъютанта прислал Льву Николаевичу извинение".[1]

Официальные документы этой версии не подтверждают.

Известно, что, узнав об обыске, Толстой был взбешен оскорблением, нанесенным ему, его семье и гостям. Грубое попрание неприкосновенности его жилища „по высочайшему повелению" вызвало в стане его врагов бурю восторга и должно было, по его глубокому убеждению, подорвать доверие к нему народа, которым он дорожил. В двух письмах к А. А. Толстой будущий непротивленец говорит, что „убил бы" жандарма, если бы во время обыска находился в Ясной поляне, и что на случай вторичного появления жандармов у него „заряжены пистолеты". В этом состоянии крайнего негодования на власть Толстой видел для себя выход либо в перемене подданства и эмиграции из России, либо в получении

[1] Т. А. Кузьминская, „Моя жизнь...", ч. I, стр. 100 и 101.

„такого же гласного удовлетворения, как и оскорбление". Для осуществления второго выхода он советуется с А. А. Толстой, как подать жалобу главе государства—царю, повидимому, рассчитывая на извинение с его стороны. В жалобе Александру II, датированной 22 августа и поданной через знакомого флигель-адъютанта,[1] Толстой между прочим писал: „По свойственному человеку чувству, я ищу, кого бы обвинить во всем случившемся со мною. Себя я не могу обвинять: я чувствую себя более правым, чем когда бы то ни было; ложного доносчика я не знаю; чиновников, судивших и оскорблявших меня, я тоже не могу обвинять: они повторяли несколько раз, что это делается не по их воле, а по высочайшему повелению"... „Для того, чтобы знать кого упрекать во всем, случившемся со мною, я решаюсь обратиться прямо к Вашему Величеству. Я прошу только о том, чтобы с имени Вашего Величества была снята возможность укоризны в несправедливости и чтобы были, ежели не наказаны, то обличены виновные в злоупотреблении этого имени" (л. д. 31, стр. 63).

Как же откликнулся на эти призывы к праву и справедливости носитель власти?

Вспомним, что по делу Толстого кн. Долгоруков делал доклад царю еще 21 января 1862 г., когда было получено секретное донесение тульского жандарма о педагогической деятельности Толстого. Затем „государь император изволил читать", как отмечено в резолюции 23 июля, выписку из рапорта Дурново об обыске в Ясной поляне. В ней передается содержание всех доносов Шипова, не исключая сообщений о литографских камнях, манифесте по поводу тысячелетия России, потайных лестницах и проч. (л. д. 24, стр. 56). Наконец в производстве III отделения имеется „справка"[2] от 31 августа 1862 г. с кратким изложением обстоятельств дела Толстого и „соображениями" III отделения по поводу „полученной ныне всеподданнейшей жалобы графа Толстого на сделание обыска в его доме и у лиц, у него проживающих". Эту справку кн. Долгоруков, очевидно, и докладывал Александру II в связи с жалобой Толстого. В ответ на жалобу „полагалось бы возможным", как сказано в „Соображениях", „объявить" *словесно* (курсив везде наш) графу Толстому" через начальника Тульской губернии, что обыск вызван подозрением к моло-

[1] Н. Н. Гусев, „Толстой в молодости", стр. 412.

[2] Сухонин совершенно произвольно дал ей расширенное заглавие: „Всеподданнейшая справка по поводу письма гр. Толстого".

дым людям, „состоящим на замечании правительства", из коих некоторые проживают без надлежащих видов, близкими сношениями с ними Толстого и открытием школ „неизвестно на каком основании в имениях графа Толстого". „Все эти обстоятельства слишком важны,—говорится в соображениях,—чтобы могли быть оставлены без внимания в настоящее время" (л. д. 34, стр. 66).

Таким образом по этому проекту в ответе на жалобу Толстого III отделение предполагало дать все-таки объяснение. Неизвестно, как принят был всеподданнейший доклад кн. Долгорукова, но, судя по письму его к тульскому губернатору от 7 ноября 1862 г., „высочайшая воля" состояла лишь в том, чтобы Толстой был освобожден от дальнейших кар, „хотя" проживавшие у него близкие к нему лица и оказались не имеющими „для жительства законных видов, а у одного хранились запрещенные сочинения".

„Уведомляя о таковой высочайшей воле" тульского губернатора и „*представляя* [ему] сообщить оную гр. Толстому при личном с ним свидании", шеф жандармов просил передать от себя, что если бы Толстой „присутствовал при обыске лично, то он, вероятно, убедился бы, что штаб-офицеры корпуса жандармов при всей затруднительности возлагаемых на них поручений, стараются исполнять оные с тою осторожностью, которая должна составлять непременное условие их звания" (л. д. 36, страница 67).

Так расценено было „высочайшей властью" это „гнусное дело".

На этом мы и закончим.

Остальные документы из дела Тульского архива относятся исключительно к учителям - студентам, давая некоторое представление об их дальнейшей судьбе. Они не вошли в настоящую статью, как материалы, выходящие за пределы ее основной темы.



П. Л. Лавров

Последовательные люди

Неизданная статья с предисловием и примечаниями
Б. Козьмина

16 февраля 1872 г. П. Л. Лавров писал из Парижа своей приятельнице Е. А. Штакеншнейдер:

„Может случиться (даже вероятно), что вам доставят из редакции „Дела" пакет, заключающий статью Последовательные люди. Она состоит из следующих элементов: письмо помещика в редакцию при доставке рукописи; донесение шпиона высшего сорта некоему дипломату о собрании, при котором шпион присутствовал; четыре речи (подслушанные шпионом) представителей четырех противоположных мнений в самой резкой их форме, именно: умного буржуа, интернационалиста, духовного фанатика и позитивиста. Речи очень резки, и единственная надежда у меня была на то, что все четыре одинаково резки, повидимому, ни одному собеседнику не дано преимущества, и того, которому я сочувствую, даже не поставлено в конце. Я бы очень желал, чтобы эту статью можно было поместить в какое-нибудь не подлежащее цензуре издание, совершенно устраняя мое имя. Так как я в этой форме не писал, то может быть это возможно будет. Если рукопись носит следы того, что была в редакции „Д[ела]" или что послана из за границы, то дайте ее переписать. Я полагаю, что издание, не подлежащее цензуре, может смело печатать, потому что на суде всегда будет оправдано, так как не видать, чтобы то или другое направление хвалилось; напротив, и помещик, и шпион относятся ко всем четырем с порицанием. Если нужно, то можно усилить эти порицания и вообще можно делать в словах помещика и шпиона требуемые изменения. В крайнем случае, можно выбросить кое-что из речей, помещая в скобках, что тут пробел рукописи (предисловие позволяет это сделать). Не найдете ли вы кого, кто взялся бы представить статью в „Вестник Европы", как свою или, по крайней мере, совершенно умалчивая мое имя, и взялся указать редакции возможность отстоять себя, имея в виду что поражаются в статье односторонности... Если удобнее поместить в другом журнале, то я и на это согласен, так как личность свою пока совсем устраняю, лишь бы не искажена была статья совершенно неподходящими прибавками к речам или сокращением одной речи, напечатав остальные и т. п." [1]

---

[1] Письма П. Л. Лаврова к Е. А. Штакеншнейдер, „Голос минувшего", 1916, № 9, стр. 118 — 119.

Из этого письма видно, что Лавров не рассчитывал на появление своего произведения, — которым он, видимо, весьма дорожил, — на страницах „Дела" и заранее приготовился к тому, что редактор этого журнала Г. Е. Благосветлов откажется поместить у себя „Последовательных людей". Думать, что Благосветлов побоится допустить на страницы „Дела" скомпрометированного в политическом отношении эмигранта, каким был Лавров, последний конечно, не мог. Еще в августе 1871 г. Благосветлов, приехав в Париж, посетил Лаврова и пригласил сотрудничать в „Деле";[1] Лавров принял это, предложение, и в течение 1871 и 1872 гг. на страницах „Дела" появился ряд его статей, напечатанных под псевдонимом П. Кедров („История городского и сельского устройства в Западной Европе", „Первобытная форма взаимных человеческих отношений", „Философия в Германской империи" и „Подготовление новой европейской мысли"). Таким образом Лавров на деле убедился, что сотрудничество эмигранта не пугает Благосветлова. Очевидно, Лаврова смущало не это: он знал, что журнал „Дело" выходит под предварительной цензурой и что цензура относится к этому журналу с исключительной подозрительностью.[2] Лавров опасался, что цензор, на просмотр которого поступят „Последовательные люди", не найдет возможным пропустить эту статью.

Опасение Лаврова вполне оправдалось. Несмотря на то, что Благосветлов, — цензурного страха ради, — произвел в статье Лаврова значительные сокращения, которые, кстати сказать, пришлись весьма не по вкусу Лаврову,[3] она на страницах „Дела" не появилась.

Приведенная выше цитата из письма Лаврова, где он перечисляет „элементы", из которых состоят „Последовательные люди", заставляет вспомнить о другом произведении Лаврова, напечатанном первоначально в 1874 г. во 2-м томе „Вперед"; мы имеем в виду — „Кому принадлежит будущее?" В этом произведении, как и в „Последовательных людях", даны речи „представителей четырех противоположных мнений в самой резкой их форме, именно: умного буржуа, интернационалиста, духовного фанатика и позитивиста". Однако в „Кому принадлежит будущее?" нет ни письма помещика, ни донесения шпиона, о которых упоминает Лавров в письме к Штакеншнейдер. Из этого ясно, что текст „Последовательных людей" далеко не совпадает с текстом „Кому принадлежит будущее?"

Это заключение вполне подтверждается корректурными гранками „Последовательных людей", которые нам удалось найти в архиве цензурного ведомства в одном из томов производства Петербургского цензурного комитета о журнале „Дело". Цензор, просматривавший „Последовательных людей", нашел, что статья эта „не может быть допущена в подцензурном издании". (Заключение цензора мы воспроизводим в виде приложения к статье Лаврова). Цензурный комитет, согласившись с его заключением, в заседании 22 марта 1872 г. постановил запретить статью Лаврова (имя ее автора не было известно цензорам). Ниже мы воспроизводим ее по корректурным гранкам.

Сравнение „Последовательных людей" с „Кому принадлежит будущее?" показывает, что при печатании во 2-м томе „Вперед" статья эта подверглась весьма значительной авторской переработке.

---

[1] Письма П. Л. Лаврова к Е. А. Штакеншнейдер, „Голос минувшего", 1916 г., № 7 — 8, стр. 129.

[2] О цензурных мытарствах „Дела" см. в моей статье „Г. Е. Благосветлов и журнал „Русское слово", „Современник", 1922, № 1.

[3] См. письмо П. Л. Лаврова к Штакеншнейдер от 2/20 июня 1872 г., „Голос минувшего", 1916 г., № 9, стр. 122.

Мы уже говорили о том, что из окончательного текста произведения Лаврова исчезло письмо помещика. Исчез и шпион, от имени которого ведется рассказ в „Последовательных людях". Зато в „Кому принадлежит будущее?" появились завещание учителя последовательных людей и письма двух отсутствовавших на беседе его учеников — художника и бюрократа; и того, и другого в первоначальном тексте не было. Старик, вмешавшийся в беседу последовательных людей, речь которого шпион не счел нужным приводить полностью, в „Кому принадлежит будущее?" заменен молодым человеком — русским народником-революционером, на долю которого выпало быть выразителем взглядов и мнений самого П. Л. Лаврова: относительно необходимости оценки общественных явлений с точки зрения „критической мысли" (субъективный метод в социологии), о прогрессе, как стремлении к наиболее полному и совершенному удовлетворению естественных и здоровых потребностей личности и т. д. Что касается речей четырех последовательных людей, то некоторые из них (речи буржуа и духовного фанатика) подверглись незначительным изменениям, обусловленным главным образом возможностью говорить, не считаясь с требованиями русской цензуры. Лавров пишет „религия" там, где в первоначальном тексте стояло „традиции", „монархии" — вместо „западно-европейские государства". Наибольшим изменениям подверглась речь „интернационалиста". Вместо осторожного, корректного, более похожего на трэдюниониста, чем на революционера, Рр, речь которого до некоторой степени ввела в заблуждение русского цензора, — в „Кому принадлежит будущее?" выступает пламенный революционер „Бабеф", полный нескрываемой ненависти к существующему порядку. Объясняется ли это изменение всецело одною только возможностью свободно говорить с читателем в заграничном революционном органе? Ответить на этот вопрос можно лишь после детального выяснения эволюции социально-политических взглядов Лаврова, подвергавшихся, как известно, весьма значительным изменениям на протяжении его многолетней литературной деятельности. Сопоставление и сравнительное изучение текста „Кому принадлежит будущее?" с публикуемым нами первоначальным вариантом этого произведения является задачей будущего биографа Лаврова и исследователя его миросозерцания.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Письмо к редактору

Совершенно чуждый литературе и мало знакомый с политическими партиями и философскими мнениями Европы, я случайно получил рукопись, значения которой я не в состоянии оценить. Многое в ней кажется мне очень странным, столь далеким от обихода нашей русской мысли, что я, проживший полвека в деревне и лишь под старость выглянувший из нее, готов был признать содержание этой рукописи скорее заметками медика о каких-либо сумасшедших, чем отчетом о разговоре между здравомыслящими людьми. В этом убеждении я даже хотел передать рукопись одному английскому доктору душевных болезней, с которым встретился на водах, куда меня

послали лечиться от ожирения. Но он мне возвратил тетрадь с ироническою улыбкою, говоря, что она не входит в его специальность, и я тогда заподозрил, не насмехается ли он над моим невежеством, не сделал ли я глупости, которая может уронить наше русское развитие в глазах англичанина. Я еще раз прочел рукопись, остался при своем убеждении, что эта вещь для меня совершенно непонятная, но подумал, что, может быть, кто другой поинтересуется ею, и не уничтожил ее. Во время страшной скуки, которую я испытывал тому месяц назад, вследствие отсутствия всякого сообщения с соседями, я принялся за перевод этой рукописи, и мне пришло в голову послать ее в какой-либо журнал, предоставляя редакции судить, стоит ли напечатать посылаемое и можно ли угадать, что за люди выставлены под таинственными знаками, которые я передаю с буквальною точностью? что за человек составлял отчет и сделался, вероятно, жертвою одного из несчастных случаев на железной дороге? наконец, кто превосходительная особа, к которой обращено письмо? Мой двоюродный брат, с которым я говорил на этот счет, не показывая ему, впрочем, рукописи, но передавая ему вкратце ее содержание, насколько был способен сделать это, — посоветовал мне послать рукопись не к г. Каткову, имя которого дошло и до меня, а в ваш журнал, который я не имею чести знать, так как, не получая ничего, кроме губернских ведомостей, я верю рекомендации двоюродного брата. Если найдете содержание нелепым или неподходящим для вашего журнала, то прошу меня не винить, а распорядиться с рукописью, как вам заблагорассудится.

Сообщаю вкратце, как я получил рукопись. В последние годы я начал сильно страдать ожирением и одышкою. Медики (городской и земский) решили, что мне надо ехать на воды. Несмотря на нежелание, я поехал, и мне очень пригодилось (впервые), что моя покойная матушка настояла, чтобы в моем детстве я выучился довольно порядочно трем иностранным языкам. Мне было очень любопытно вслушиваться и вмешиваться в разговоры на железной дороге о вещах, которые у нас не составляют предмета откровенной беседы и в кругу знакомых, а тем менее в публичном месте. Конечно, я более спрашивал и слушал, чем сам говорил, потому что сознавал свою неподготовленность или даже свое невежество в этом отношении, а заграницею, как и у нас, люди гораздо более любят, чтобы их слушали, чем сами слушают других. Вот однажды, в вагоне зашел очень серьезный и длинный спор о высших предметах политики, об общественных реформах и т. п.

Говорили разное, много и хорошо; видно было, что это — люди привычные к подобным разговорам, хотя, конечно, каждый говорил свое и единомыслия не было. На какой-то станции около Праги все говорившие вышли, и мы остались вдвоем с одним старичком, который внимательно слушал, но молчал все время. Я обратился к нему.

— Приятно слушать подобный дельный разговор, — сказал я, — как иностранец ...

— Да, вы иностранец, это слышно по выговору, — перебил он, — и даже, вероятно, русский; я это заключил по некоторым вашим замечаниям. Я в России не бывал, но русских знаю не мало. Вам с непривычки кажется это дельным, а мы здесь уже много лет слушаем подобную дребедень. Эти господа мололи вздор. Они — болтуны, повторяющие с чужого голоса вещи, сто раз высказанные и ни разу недодуманные до конца.

Тут у нас начался разговор; старик стал развивать мысли, которые мне казались несколько странны и малопонятны, может быть потому, что он говорил тихо и не совсем внятно, едваль не по недостатку зубов. Мне приходилось его переспрашивать, и скоро свисток нам дал знать, что мы прближаемся к следующей станции. Старик заторопился ...

— Я здесь прощаюсь с вами,—сказал он, — и докончить не поспею; но у меня в кармане есть интересная рукопись, где переданы мысли нескольких последовательных людей, между прочим, одного, которого убеждения я высоко ценю и разделяю почти безусловно. Прочтите, прочтите. Рукопись эта интересна еще тем, что автор ее неизвестно куда исчез через несколько дней после того, как он представил свой отчет по принадлежности и имел черновую при себе. Она найдена в потайном кармане пальто, на трупе человека, раздавленного на лионско-марсельской дороге, и раздавленного так искусно, что он был совершенно неузнаваем. Вероятно, ловкие мошенники успели украсть бумажник, кошелек, часы и все, что могло бы навести на след его настоящего имени. Его похоронили на деревенском кладбище, и пальто попало в руки соседнего трактирщика, который уже позже нашел рукопись и продал ее мне... Вот и станция. Прощайте.

— Но как же я вам возвращу рукопись? — кричал я ему, когда он уже стоял на платформе.

— Я вам дарю ее на память, — проговорил он улыбаясь, и мы с тех пор не видались.

Рукопись оказалась черновой, писанною очень наскоро; в иных местах я не мог разобрать ее; в других она была разо-

рвана. Я перевел ее как нашел, не прибавляя ничего своего, и оставляя пробелы, где недоставало кусков или где совсем не понял. [1] Название „Последовательные люди" поставлено мною самим, потому что мой двоюродный брат сказал мне, что оно необходимо для журнала. Я хотел было назвать: „Разговор помешанных", но потом вспомнил ироническую улыбку доктора-англичанина и предпочел назвать этих господ, как назвал мне их старичок на железной дороге.

Я в жизни никогда не гнался за последовательностью, не видал, чтобы и другие отличались ею, и потому не могу точно сказать, следует ли считать последовательность достоинством или недостатком. Кто из четырех лиц, речи которых изложены в рукописи, заслужил сочувствие моего старичка, осталось для меня загадкою, над которою я не мало ломал голову. Конечно, на мой взгляд лучше других говорило духовное лицо, хотя наши священники, благодаря бога, не таковы. Но судя по немногому, что я слышал от старичка, едва ли он разделял мнение отца Kt, как его обозначил таинственный автор донесения.

Вот все, что могу сообщить о рукописи и о моем отношении к ней.

Примите, милостивый государь, уверение в совершенном уважении и таковой же преданности помещика Белгородского уезда

Павла Пыхова.

Село Чусеры
14 декабря 1871 г.

[Перевод с черновой рукописи на. . . .[2] языке].

Ваше превосходительство!

Спешу донести вам о результатах вчерашнего совещания, которое передаю с наивозможной аккуратностью, так как тонкость моего слуха и память, доставившие мне честь не раз уже получать поручения от вашего превосходительства, и в этом случае оказались не ниже обыкновенного.

Не знаю, будете ли вы удовлетворены сведениями, которые заключены в моем донесении; играя в этом деле лишь роль орудия, на которое ваше превосходительство возлагает иногда

[1] Эта оговорка была сделана своевременно на случай возможных редакционных и цензурных сокращений его рукописи. В действительности же никаких пробелов в ней нет. *Б. К.*

[2] В рукописи г. Пыхова здесь находится огромное чернильное пятно, не позволившее заключить, с какого языка сделан перевод. На письмо, посланное в с. Чусеры, Белгородского уезда, ответа не последовало. *Ред.*

скромную долю исполнения обширных государственных планов, вас занимающих, я не считал себя в праве действовать по собственным соображениям; точность в сообщениях может быть единственною заслугою. Но позволю себе высказать предположение, что вы были обмануты относительно политического значения совещания, о котором вам угодно было получить от меня подробный отчет.

Лица, которые в нем принимали участие, были действительно те самые, которые вами названы: я имел случай быть в личных сношениях с двумя из них; третьего встретил в Риме тому два года назад, а вашему превосходительству хорошо известно, что личности, однажды мною встреченные, навсегда остаются в моей памяти: что касается до четвертого, то, надеюсь, вашему превосходительству и на минуту не придет в голову усомниться, что я этого человека узнаю всегда и везде, после того, как уже несколько лет я слежу за ним во всех государствах Европы по поручению вашему и других моих высоких доверителей. Да, это были они: владетель известной мануфактуры $\frac{10}{z}$, профессор N″, отец Kt и член совета High Holborn [1] — Рр. Я с первого ме взгляда заметил, что они нисколько не думали скрывать своих личностей и не приняли самых элементарных мер для обеспечения тайны своего совещания. Самый ограниченный из людей, которые помогают мне в моей общеполезной деятельности, мог бы также легко слышать сначала до конца разговор этих господ, как и я; самый легкомысленный из блестящего круга чиновников миссии, во главе которой ваше превосходительство стоит с таким достоинством, мог бы исполнить ваше поручение с таким же успехом, как и я. Оценив с первого же взгляда мое положение и средства, которые мне доставляли те самые, которые должны были быть под моим наблюдением, я почувствовал то смущение, которое должен испытывать великий математик, когда ему предлагают решить задачу из элементарной арифметики, или великий полководец, когда расположение войск неприятеля показывает ему, что он имеет дело с противником, не имеющим понятия о тайнах тактического расположения масс пехоты и кавалерии на поле битвы. Зная личности, с которыми я имел дело, я тотчас же заключил, что лицо, обратившее внимание вашего превосходительства на это оригинальное совещание, было жертвою недоразумения.

---

[1] Предместье Лондона. *Б. К.*

Вы припомните, может быть, что в первую же минуту, когда вы соблаговолили сообщить мне цель моего призыва в ваш кабинет и предмет почетного поручения, которым вы меня удостоили, я позволил себе выразить некоторое сомнение о возможности действительного сближения между партиями или, вернее, направлениями, которых гг. $\frac{10}{z}$, Kt и Рр служат видными представителями. Каждый из них достаточно знает стремление других и роль, которую они играют в кругу своих единомышленников, чтобы хоть на минуту подумать о их переходе в иной лагерь; самые же лагери их настолько враждебны, что даже временное сближение между ними в виду определенной цели для меня немыслимо, в особенности же сближение всех четырех направлений, что превзошло бы, на мой взгляд, в области мысли, то смешение языков, которое, по уважаемым преданиям, было следствием вавилонского столпотворения. Я пошел даже далее в моем скептицизме и счел самое сообщение, вам сделаное, о совещании между этими четырьмя лицами плодом фантастических умозаключений какого-нибудь легкомысленного агента, недостойного вашего доверия: и лишь заверение вашего превосходительства, что на сведения, сообщаемые этим путем, положиться можно, и то высокое уважение, которое я питаю ко всему, исходящему из уст вашего превосходительства, побудили меня заглушить в себе мои скептические недоумения и принять на себя поручение, представлявшееся мне столь мало сообразным с действительными характерами лиц, к которым оно относилось.

Отправляясь в мою экспедицию в костюме весьма тщательно обдуманном и исполненном, который уже не раз мне служил в подобных положениях, я ожидал, что вовсе не встречу тех лиц, которых вы мне указали. Я был в высшей степени поражен, услышав еще издали громкий голос $\frac{10}{z}$ и Рр. Я даже остановился на полсекунды, едва доверяя своему слуху; но сомнение было невозможно. Скоро до меня долетел и дребезжащий смех Kt. Тогда я мысленно покаялся в моем скептицизме, преклонился пред проницательностью и обширностью сведений вашего превосходительства, которым мне столь часто уже пришлось удивляться, и осторожно вошел в беседку, о которой я вам имел честь докладывать и которая позволила мне, сквозь трельяж, прекрасно видеть и слышать лиц, порученных моему наблюдению. Мои два агента были на своем посту. Один из них, занимавший по моему распоряжению место, которое было мне всего удобнее для моих наблю-

дений, встал немедленно, как бы для расплаты с трактирщиком, а я сел на его стуле, другой агент сообщил мне условными знаками, что мои клиенты находились здесь уже более получаса, но разговор шел пустой. Наши соображения о времени совещания,— так как ваш корреспондент часа не знал,— оказались, следовательно, ошибочными, но немногим. Не вполне доверяя сообразительности моего, весьма второстепенного агента, я готов был уже сожалеть об упущенном получасе, который мог заключать весьма важные данные под пустыми формами, но, как ни быстро совершилось все предыдущее, я успел уже оправиться от неожиданного для меня подтверждения донесений вашего корреспондента, охватил взглядом поле моих будущих действий, распределение враждебных сил и разом убедился, что мой агент говорил правду, и что мой скептицизм был в о о б щ е основателен, хотя непредвиденная комбинация и представила ему фактическое опровержение.

Я слишком часто присутствовал невидимым или незамеченным, но весьма внимательным наблюдателем при собраниях людей, имевших цели, враждебные планам вашего превосходительства; я слишком хорошо присмотрелся к физиономиям и позам людей, готовящихся на общее дело, решившихся на действительную борьбу, чтобы сомневаться хоть на минуту, когда передо мною настоящие заговорщики. Глаза и углы губ агитаторов в их сборищах выдадут мне их тайну с первого взгляда столь же легко, как лицо опасно больного выдает его болезнь медику, прежде чем пациент ответит на первый вопрос ученого врача. На политических совещаниях, где люди разных партий сходятся с целью согласиться для общей выгоды, с целью обмануть друг друга или с целью продать за хорошую цену то, что они пред ограниченными людьми называют своими убеждениями, — на этих совещаниях люди иначе садятся, иначе смотрят друг на друга, иначе слушают друг друга, и даже каждый из случаев, мною перечисленных, представляет в этом отношении особенности, которые, конечно, не ускользнули от проницательности вашего превосходительства, так как вы столь часто и с таким замечательным превосходством присутствовали на подобных дипломатических совещаниях, где все преклонялось пред силою и искусством вашего ума, а ваши собеседники оказывались окончательно марионетками, которые двигались по воле вашего превосходительства.

Итак для меня стало несомненно с первого взгляда, что эти господа, которые были у меня перед глазами, сошлись

не для политического совещания, не для соглашения, не для какой-либо практической цели; ясно было, что их присутствие в одном месте не имеет ни малейшего интереса для государственного деятеля, подобного вашему превосходительству, или даже для далеко ниже стоящей личности, подобной мне. Умоляю вас не считать эти слова высокомерием: я имею некоторое право гордиться моим положением, если не по особенным заслугам, то уже потому, что я удостоен доверием высоких особ; все минуты мои рассчитаны для внимательного и целесообразного наблюдения за многочисленными врагами вашей собственной особы и того общественного порядка, который вы поддерживаете, и услуги, которые мне удавалось не раз оказывать моим высоким доверителям, настолько ими ценятся, что я могу уже теперь безбоязненно смотреть на будущее, надеюсь еще лучше обеспечить мою старость от печальных возможностей жизни и тем строже должен обратить внимание на действительную пользу, которую могут принести мои скромные услуги.

Лица, которых я имел перед собою, очевидно, сошлись по одному из тех бесчисленных, совершенно мелочных и пустых побуждений, которым подчиняются дюжинные люди, живущие без цели, под влиянием разных чувств, симпатий и антипатий. То обстоятельство, что подобные личности могут иногда столь бесполезно тратить свое время, еще раз подтверждает не высокое мнение о людях вообще, которое я с таким удовольствием имел честь не раз выслушивать из уст вашего превосходительства, — с удовольствием потому, что сам я давно уже пришел к подобному же результату. Эти люди, — из которых двое играют весьма немаловажную роль в своему кругу, а двое остальные, хотя и посвящают свою деятельность разным праздным теориям, но на этой почве пользуются не малым влиянием, — эти люди употребили значительную часть дня на бесполезное словопрение, когда ни один из них не мог обмануть другого, не мог надеяться склонить его на свою сторону или каким-либо другим путем извлечь из него пользу. Непростительное, а для подобных людей непонятное легкомыслие!

Мой агент был прав. Разговор их в упущенные полчаса был, наверное, разговор пустой, и я ни минуты не сомневался, что он должен был остаться пустым и в остальное время совещания. На полсекунды я даже подумал, что мое присутствие, очевидно, не имеет цели, что мне лучше удалиться и не тратить времени на выслушивание разговора, столь же бесполезного, как заявление кандидатов перед выборами об их убежде-

ниях, которые завтра же обратятся в ничто, и о их плане действия, который никогда не осуществится. Разница была лишь в том, что, повидимому, мои невольные клиенты страдали иллюзией, будто их убеждения составляют нечто действительное и их план осуществим.

Но привычка к точному исполнению всякого возложенного на меня поручения сейчас преодолела минутный порыв удалиться: я решился буквально следовать вашим указаниям, стал слушать с глубочайшим вниманием речи этих господ и передаю их вашему превосходительству с надлежащею точностью. Драгоценный дар моей памяти позволил бы мне дать вам самый точный стенографический отчет о каждом слове, перерыве, оттенке выражения и голоса, о каждом движении и о каждой мине четырех лиц, находившихся под моим наблюдением, но я это считаю положительно бесполезным при таком малопрактическом деле. Поэтому, не опуская ничего существенного (в чем смею уверить ваше превосходительство), я группирую этот разговор для того, чтобы вы, узнавши так хорошо цену времени, не теряли его слишком много на прочтение отчета, о котором я имел честь заранее донести, что он не заключает никаких особенно важных элементов.

Прежде всего замечу о самих личностях. $\frac{10}{z}$, которого я не встречал два месяца, стал, как мне показалось, еще полнее или шире телом; движения его столь же, если не более прежнего, резки и самоуверенны; знаменитая золотая цепочка на его широкой груди, которая так дерзко вызывала воров, извиваясь по его белому жилету, была, как обыкновенно, будто бы выставлена напоказ. Ρρ я не видел с год, но имел его фотографию, снятую месяцев 7 тому назад; он похудел и побледнел; но также сохранил свой обычный лондонский костюм, строго правильный и чистый, так что и он, очевидно, не думал скрывать своей личности. Похудел и отец Kt в последние два года; он как то болезненно осунулся и пожелтел; он был одет так, что с первого же взгляда можно было узнать духовное лицо, следовательно, тоже не имел в виду обмануть даже непривычного посетителя. N был в том самом платье, в котором присутствовал тому неделю назад на заседании ученого общества, где я был по вашему поручению для наблюдения за Rx во время его кратковременного пребывания здесь. Он и отец Kt были скорее саркастичны, чем раздражительны; напротив, в тоне Ρρ и $\frac{10}{z}$ сквозило озлобление, более явное у $\frac{10}{z}$, более сдержанное, но столь же глубокое у Ρρ.

Все эти люди, очевидно, друг друга терпеть не могут, по крайней мере, это можно сказать наверное о Kt, $\frac{10}{z}$ и Pp; профессор N смотрел, как мне кажется, на своих собеседников, как на кроликов, нужных ему для вивисекции и которые его интересуют лишь настолько, насколько они составляют предмет его наблюдений и ученых выводов.

Из отрывочных фраз я вывел заключение, что повод их сходки был самый пустой и даже едва ли вероятный для столь умных людей (судя, конечно, относительно, потому что безусловно все эти люди, преданные каким-то завирательным идеям, каждый в своем роде, названы умными быть не могут). Они, повидимому, воспитывались вместе у какого-то оригинального учителя, который не мешал каждому из них развивать в себе самостоятельные убеждения и самостоятельный характер, но внушил им одно общее стремление: быть последовательными в мысли и в жизни и затем связал их честным словом, чрез каждые пять лет собираться в одной из столиц Европы, в день их выхода из его школы, чтобы пообедать вместе и при этом высказать друг другу откровенно свои убеждения и надежды осуществить их на деле, как бы эти убеждения ни были противоположены и стремления их враждебны. Этот странный оригинал имел не мало воспитанников, но на последний год отпустил всех, кроме шестерых, которых стремления, характеры и развитие были наиболее различны. Этими шестерыми он с особенным старанием занимался в последний год учения, не жалея средств на каждого из них, чтобы развить его в особенном направлении, его характеризовавшем; и каждый месяц он выслушивал беспристрастно их диспуты, помогая каждому усилить свои аргументы. Из шестерых один умер тому два года, а другой был отчаянно болен в Ницце. Имен их я не узнал и не имел еще времени особенно заняться этим.

Знаю только, что первый был живописец, что его картины пользовались огромною репутациею в артистическом мире, что он признавал лишь искусство целью жизни личности и целью развития человечества; в вопросах религиозных, политических и социальных он был совершенный индифферентист; науку признавал, как пособие для искусства. Он выставил однажды рядом четыре картины, которые все были одинаково проникнуты глубокою истиною и пламенным вдохновением. Первая изображала Христа, произносящего слова „кто мать моя и кто братья мои?“ („Матф., XII, 48; Лука, VIII, 21) и, по

сознанию всех знатоков, ни один художник не сумел выразить так полно величие неземной религии, отрицающей все кровные плоские связи во имя высшего божественного начала. Другая картина представляла монаха Тимотео из „Мандрагоры“ Маккиавеля, уговаривающего прекрасную Лукрецию покориться необходимости и предаться неизвестному молодому человеку во славу католической церкви. Личность Тимотео была, говорят, изображена с неподражаемым совершенством. На третьей картине Людовик XIV произносил свое: „L'état— c'est moi“, и зритель соглашался невольно, что все эти люди, опытные, умные, заслуженные, почтенные, но обыкновенные люди были низшими, ничтожными существами перед личностью короля, просветленного величием своего сана, как бы обоготворенного вдохновением художника. Сентябрьские дни 1792 г. были предметом четвертой картины, и художник умел так группировать личности, оживить их лица и движения, что зритель невольно сознавал, что в этих кровавых, беспощадных палачах перед ним стояли мстители за несколько веков страданий большинства, и что беззащитные, гибнущие жертвы были представителями отжившего прошедшего, которое само погубило себя своим эгоизмом и своей ограниченностью. Впрочем, как ни великолепны были эти четыре произведения, говорят, что сам художник ставил выше их, — и его товарищи с ним соглашались, — небольшой этюд спящей женщины, на котором видна была, из-под шелкового одеяла, лишь часть спины, закинутая за шею рука и белокурый локон.

Умирающий в Ницце был важным государственным лицом. Я бы постыдился, что не мог угадать его имени, если бы, по странной случайности, именно в настоящую минуту шесть государственных лиц не находились больными в Ницце, и о степени опасности их болезни я не имел сведений. Вероятно, вашему превосходительству будет легче отгадать то, что превосходит мои средства, так как вам хорошо известно, где воспитывался каждый из ваших товарищей по влиянию на европейские дела. Лицо, о котором я имею честь говорить, было, судя по комбинации многих выражений, фанатиком государственной идеи. Стройность административного механизма была для него высшим идеалом. Никакая общественная потребность не имела в его глазах права отстаивать себя, если она хотя сколько-нибудь противоречила задачам порядка в государственной машине. Личности должны были считать за счастье, если они жили и гибли для государства. Наука, искусство, религия были настолько священны, насколько служили госу-

дарственным целям; становились бесполезны, как только их содействие этим целям переставало быть очевидным; заслуживали преследование, как только выставляли свои особенные, самостоятельные цели, которые могли в каком-либо случае противоречить целям государства. Говорят, что он обрабатывает уже двадцать лет обширный и подробный проект систематического законодательства для всех отраслей социальной жизни, при чем дает видную роль регулированию браков и применению искусственного подбора к производству личностей, наиболее годных для данных государственных функций. В этом проекте находится, между прочим, весьма выработанная программа научных работ и системы школ, целого ряда заказов по всем отраслям искусства и видоизменений в формах культа; все это направлено к одной и той же цели, к подчинению развития во всех отраслях жизни государственным целям. Считают, повидимому, весьма остроумным и замечательным в техническом отношении, изложенное в том же проекте, устройство контрольного кабинета министерства наблюдения. Если это не выдумка, то я не могу не удивиться величию мысли, на которую позволю себе обратить внимание вашего превосходительства, и которая могла бы быть действительно полезна, в чем сознаюсь с полным бескорыстием, хотя осуществление этой мысли лишило бы всяких средств к жизни и меня, и значительное число моих товарищей. Поэтому я несколько подробнее расскажу это обстоятельство.

Дело в том, что подданные, по этому проекту, имеют право собираться на совещания или выслушивать речи и лекции лишь в определенных залах, устроенных правительством сообразно цели во всех городах государства, при чем всякий, говорящий речь или даже делающий замечание, должен становиться на определенное для оратора место. Даже для общественных обедов с речами есть залы и особенное кресло, занимаемое каждым говорящим поочередно. Значительная пеня наказывает нарушение этого постановления. Всякая речь и всякое замечание, по обычаю и по закону, должно начинаться словами, в которых говорящий называет себя и свое общественное положение. От мест, с которых говорят речи, проведена весьма остроумная система акустических приемников и электрических нитей, передающих каждое слово говорящего сокращенными микроскопическими знаками на одну из множества движущихся полос особенной бумаги, в первое ораторское отделение контрольного кабинета министерства наблюдения. В другом отделении того же кабинета, которое назы-

вается почтовым, устройство также замечательно. Для удобства подданных правительство доставляет даром бумагу, перья и чернила, при чем всякая продажа этих принадлежностей запрещена законом. Всякий может придти в почтовое отделение города и писать там что угодно на одном из многочисленных столов, там находящихся: перья привязаны к столу на длинном шнуре и сквозь шнурок проходит электрический привод, так что каждое написанное слово в то же время пишется микроскопическими и сокращенными знаками в почтовом отделении министерства наблюдения. Более простое устройство представляет третье, библиотечное отделение того же министерства, находящееся в электрическом сообщении со всеми типографиями государства и заключающее микроскопическую библиотеку всего печатаемого, которая образуется по мере процесса напечатания. Остроумная система немедленной автоматической классификации всего хранимого в кабинете министерства, краткость употребленных знаков и их микроскопичность позволяют хранить весь собираемый материал с большим удобством, чем можно бы думать, судя по громадности материала, но все-таки кабинет министерства наблюдения должен представлять огромнейшее здание мира весьма оргинальной конструкции. Говорят, что к описанным отделениям, по плану составителя, должно было присоединяться еще одно, и на опыты для его устройства составитель употребил значительную часть своего состояния, но результатов удовлетворительных не получил, хотя, говорят, не отчаивается победить более значительные трудности этого вопроса, как победил меньшие трудности предыдущих задач. Дело шло о контролировании всех частных разговоров в этом идеальном государстве, при пособии особенных чувствительных плит, которые должны были служить для мощения всех улиц и полов, находясь в свою очередь в сообщении с кабинетом министерства. Я думаю, что это едва ли исполнимо, хотя при настоящих успехах в технике отчаиваться не следует.

Повидимому, больной прислал из Ниццы письмо, объясняющее его отсутствие и указывающее надежды, которые он имел на исполнение цели своей жизни. Думаю даже, что это письмо было читано перед моим приходом и потому составляло главный предмет разговора собравшихся лиц в первые минуты, когда я начал их слушать. Именно это позволило мне дать вашему превосходительству очерк проекта отсутствующего больного. (В ту самую минуту, когда я дописывал последние строки, мне прислали журнал, из которого вижу, что один из

высоких посетителей Ниццы умер, а кончины другого ожидают с минуты на минуту. Может быть, загадочный пятый собеседник из моих клиентов находится в числе этих двух).

Затем приступил к изложению своего взгляда на современное положение и на вероятное будущее $\frac{10}{z}$. Я уже выше предупредил ваше превосходительство, что передаю не стенографический отчет, — который, впрочем, мог бы легко передать, — и потому устраняю форму разговора, возражений, возвращений к тому же и т. п. Мой отчет принимает форму монолога, но так как я в большей части случаев передаю собственные слова говорившего, то я нахожу более правильным писать и от его имени. К этому, признаюсь, несколько побуждало меня и то, что в этом отчете я желал бы особенно устранить всякое личное участие моей мысли, потому что для меня большая часть сказанного представляет странную смесь возмутительных отрицаний существующего порядка и еще более нелепых бредней помешанных.

Итак $\frac{10}{z}$, которого так сильно поддерживала правительственная партия на последних выборах, высказал, повидимому, весьма откровенно следующие убеждения:

„Вы отлично знаете, что я не считаю ваших единомышленников, Рр. и Kt., своими друзьями, что употребляю и буду употреблять все усилия, чтобы скорее обессилить и раздавить их, не щадя при этом никого и ничего. Ваших же мыслителей и исследователей (с сильной иронией), многоученый профессор, я не трогаю, потому что вижу в них частью безвредных тружеников, частью наших бессознательных союзников. Для вас наука — все, для меня это — орудие, как и для Рр., но я далек от того, чтобы относиться к ней с бессмысленною враждою Kt. Она — орудие, но орудие сильное и единственно целесообразное. Она позволяет предвидеть вероятное будущее, и потому именно я считаю несомненным, что победа принадлежит нам, тому деловому расчетливому классу общества, который в речах Рр так часто является под именем ожиревшей буржуазии, тунеядного рантье и т. д. и т. д.; тем отрицателям всякого нереального авторитета, которых наш наивный Kt громит в своих проповедях, как исчадие ада, развращенных безбожников; тем практическим людям, на которых так презрительно смотрят профессора, вроде N″, и которые позволяют себе смотреть еще более презрительно на слепых ученых, не замечающих, что именно их доводы свидетельствуют в нашу пользу.

Точное ли мы исчадие ада, я разбирать не стану, потому что считаю бесполезным восходить к столь метафизическим соображениям (из улыбки многоученого N″ вижу, что, вероятно, не точно употребил слово метафизический, но это, по правде сказать, мне все равно). Что мы не крепки верой, это пожалуй так, но для нас существует лишь то, что можно котировать на бирже, и мы в этом не виноваты. Мы не ожирели как надеется или мечтает Ρρ, хотя в наших рядах очень много ожирелых и отупелых; но ошибка Ρρ именно в том и состоит, что он смешивает эту бессмысленную массу с нами, живыми деятелями; подобное смешивание так же разумно, как для анатома смешивать клетчатую ткань с мускулами. То и другое — тело, но для движения организма это не одно и тоже. Мы — мускулы человечества; нами оно движется и только нами. Нам и принадлежит будущее. Наши недалекие и отупевшие товарищи составляют удобное средство хранения питательного материала, который в надлежащее время переходит в кровь и в нашу ткань. Между нами идет постоянная борьба, как во всем мире, и всякий, кто отупел, ожирел, устал, немедленно падает жертвою борьбы, разоряется; исчезает из наших рядов, переходя в ту массу мелкой, ничтожной буржуазии, которая ничего не знает, ничего не видит; служит и государственным людям, ее разоряющим, и клерикалам, отнимающим у нее последний здравый смысл; ненавидит нас, но служит нам и унижается пред нами, потому что мы ее природные предводители; ненавидит пролетариат, как кровного врага, но бессознательно помогает ему своим нелепым либерализмом и своею бестолковостью. Победа этой буржуазии невозможна и была бы вредна для нас; но будь эта победа возможна, она привела бы к тому лишь, что этот класс буржуазии исчез бы, перейдя частью в наши ряды, частью в ряды наших простоватых товарищей. Мелкая буржуазия должна разориться, и ее капиталы должны перейти в руки крупной, а личности, ее составляющие, должны перейти в ряды пролетариата. У нас нет настоящих союзников, и слепые болтуны, которые воображают, что нынешние западно-европейские правительства, нынешний государственный порядок вещей поддерживает нас и должен быть поддержан нами, тем самым доказывают свое полное непонимание. Нынешние западно-европейские государства поддерживать нас не могут, если бы и хотели. Их борьба принимает все более громадные размеры, требует все более громадных средств, и потому они неизбежно будут высасывать из нас все, что могут. Они теперь еще

живут на счет бедных людей, потому что те могут еще платить. Но бедные будут становиться все беднее и скоро бюджет государства ляжет всею своею тяжестью на мелкую буржуазию. Если мы будем продолжать поддерживать существующее status quo, то и она разорится окончательно, и останемся плательщиками лишь мы. Если мы допустим до этого, то западно-европейские государства нас раздавят и сами сделаются добычей пролетариата, который один будет лицом к лицу с чиновничеством. Но мы не должны позволить этого и не позволим. Прежде, чем государства будут поставлены в необходимость перенести подати с низшего класса на буржуазию, мы их разрушим, перестроим, и эта бесполезная нам административная организация должна рухнуть пред нашими усилиями!

И здесь мы имеем за себя науку. Она доказала, что биржи управляют государствами, и что лишь тогда политика здрава, когда она соответствует развитию и преуспеянию оборотов денежного рынка. Если это так, то надо быть последовательным; к чему фиктивная и дорого-стоящая организация, когда уже открыт истинный источник власти и политического влияния. Биржи — вот наши дворцы и парламенты; маклера и торговые агенты — вот наша администрация; торговые сделки — вот наша дипломатия, наши трактаты, разорение одного и обогащение другого в столкновении коммерческих интересов — вот наши битвы. Монархии, республики, конституции, законы, суды — все это старые формы или пустые слова, которых истинный смысл один: где находится капитал, там находится власть; капитал под разными именами управлял и управляет миром. . . Все остальное — болтовня или бессмысленная, непоследовательная деятельность.

Но для того, чтобы деятельность была осмыслена, чтобы власть биржи сделалась действительно тем всепоглощающим деятелем, которым она должна быть по своей сущности, необходимо, чтобы авторитет ее действовал не случайно, не рутинно, но пользовался всеми средствами науки, не был стеснен никакими предрассудками; словом, — имел за собою самый развитый ум, опирающийся на самое обширное знание и самую энергическую волю для поддержания безустанной деятельности. Именно потому нам нужна наука, как орудие, и мы должны объявить решительную войну притязаниям клерикальной партии, которая хочет ограничить научные исследования, остановить критику мысли, поставить нам фантастические цели и отвлечь часть нашей деятельности для этих целей. В сущ-

ности нам совершенно неинтересна борьба этих господ с материалистами, рационалистами, позитивистами, нигилистами, вольтерианцами, скептиками и как там их всех зовут. Еще ни одна акция не вздорожала и ни один торговый оборот не потерпел от того, состоит ли небо из хрустального свода, из-за которого выливались когда-то потоки на плоскую землю, или земля есть атом, вращающийся около другого атома, несколько большего, в неизмеримо пустом пространстве, где, кроме вещества, нет ничего; деловому человеку некогда обдумать, если ли у него особая духовная субстанция или нет; для нашей индустрии безразлично, может ли тесто перейти в составные части мяса или нет; наконец, мы никогда не станем беспокоиться о том, стало ли светить нам солнце со времени появления первой биржи на земном шаре, или несколько миллиардов лет, как утверждают некоторые утописты!

Все это для нас могло бы иметь лишь интерес забавного представления, в роде „Прекрасной Елены", если бы за этими пустяками не скрывался вопрос, для нас несравненно серьезнейший и весьма практический. Время рутинного обогащения торговлей или биржевыми оборотами для нас прошло, как я уже сказал. Государство нам грозит гибелью; рабочие союзы донимают нас своими стачками; мы сами обречены положением дел бороться между собою, губить друг друга в неумолимом соперничестве, истреблять мелкую буржуазию, отнимать друг у друга капиталы и не можем отстоять себя, следовательно, и победить, без самых напряженных усилий. Поэтому ум и знание нам необходимы; мы не можем пренебрегать никакими умственными средствами; все, что мешает уму, что сдерживает его — нам гибельно. Следовательно, прежде всего, мы не должны допустить господства или даже влияния католического обскурантизма. Нам достаточно реальных забот, реальных вопросов, чтобы мы позволили отвлекать наши силы на что-либо супранатуральное. Все догматы принадлежат прошлому; все капиталы, бесполезно скопленные в руках духовенства, должны усилить нашу партию, концентрироваться в наших руках. Мы не материалисты, позитивисты и вообще не какие-нибудь — исты, потому что нам некогда решать все эти пустые вопросы; но мы говорим патерам: вы нам вредны, потому что не можете не тратить части наших сил на предметы для нас ненужные. Нам нужно только реальное знание, только знание законов, приложимых прямо к практике. Вы не только не даете их нам, но отвлекаете нас от них, враждуете против тех, которые этим исключительно занимаются, пренебрегая

нашими мечтаниями. При этом вы представляете еще довольно сильную, обширную и влиятельную организацию. Поэтому мы вам враги, враги на смерть, как мы враги всему, что нам мешает. Нам нужен ум; вы стремитесь нас сделать глупее. Нам нужна власть над миром; вы толкуете о предметах непрактических. Те из нас, которые воображают, что в их интересах вас поддерживать, не понимают всей опасности настоящего положения. Между борющимися силами в настоящую минуту союза уже быть не может. Государство или подчинит вас себе и уничтожит вас нравственно, или само подчинится вам и потеряет свое политическое значение. Биржа или сделается орудием и жертвою государства и духовенства, или обессилит их как самостоятельные силы, заменив политические и богословские вопросы экономическими. Последнее должно случиться, и мы употребим все силы для этого.

Именно той доле биржевого мира, которая соединит в своем мозгу силу ума и знания, в своем характере силу воли, в своей организации силу капитала, принадлежит будущее, и ее едва ли справедливо называть отупевшею. Пред нею падут все посторонние силы, о которых я уже говорил; она соберет в своих руках всю материальную силу, оставляя в своей среде лишь умнейших, наиболее знающих, наиболее энергических, наиболее сильных союзников во всех отношениях. Эта естественная и законная аристократия должна захватить всю государственную силу, все духовное господство, все экономические средства, всю монополию знания и, на основании строгих научных данных, выработать социальное устройство, которое закрепило бы навсегда ее безусловное господство и вечную подчиненность всего остального человечества.

Господа социологи нас зовут эксплоататорами труда, врагами прогресса; первое — глупо, второе — нелепо. И здесь опять наука составляет нашу самую лучшую опору. Борьба за существование есть общий закон природы, мы в этом не виноваты; всегда и везде одни существа эксплоатируют других: овца эксплоатирует траву; волк эксплоатирует овцу; меховщик эксплоатирует волка; заимодавец эксплоатирует меховщика; государство эксплоатирует барыши заимодавца; биржевой оператор эксплоатирует потребности государства; умнейший биржевой игрок эксплоатирует более глупого. Человеку остается признать необходимое и построить систему общего на этом необходимом. Я уже говорил, что все нынешние преобладающие общественные элементы должны исчезнуть пред этой силой или должны быть обращены в его орудия. Он должен

выработать аристократию, которая монополизирует все силы, и все вне себя должен обратить в бессильное и совершенно ничтожное орудие своей деятельности. Это — закон природы, против которого бороться глупо, а споспешествовать которому и разумно, и нравственно, — если последнее слово имеет смысл.

Я сказал еще, что объявлять нас противниками прогресса нелепо. Действительно, не совершенно ли ясно доказывает история, что лишь там был прогресс, где процветала биржа, где мешок с деньгами был идолом ниц падавшей перед ним толпы. Кто воздвиг дворцы и храмы Египта, которым удивляется современность? Самые неумолимые эксплоататоры, не жалевшие миллионов жизней и неисчислимого количества труда для получения блестящих продуктов цивилизации. Что такое было это античное общество, которое прославляют за его литературу, искусство, философию? Небольшое меньшинство, эксплоатировавшее огромную массу рабов. Фантазеры нравственности говорят о рыцарском благородстве, о рыцарских добродетелях. Но рыцари были цветом феодализма, давившего на все остальное население. Ни одно замечательное произведение искусства, ни одна оригинальная и несколько сложная работа в науке, не могла быть никогда совершена, если не было капитала, который мог бы быть затрачен не на удовлетворение первых потребностей, а на роскошь мысли. И этот капитал, без которого невозможны были бы ни искусство, ни наука, был необходимо результатом труда людей, никогда не воспользовавшихся продуктами этого труда, но эксплоатированных в пользу того меньшинства, которое выработало цивилизацию. Но я говорю азбучные истины, на которых едва ли не смешно останавливаться. Прогресс возможен только при существовании капитала, при посредстве капитала, и самый значительный прогресс произойдет там, где наибольший капитал будет концентрирован в руках меньшего числа наиболее умных людей. Прогресс есть ни что иное, как естественный и искусственный подбор социально-сильнейших личностей при гибели остальных. Но мы именно и стремимся организовать этот подбор самым рациональным образом, не стесняясь никакими посторонними соображениями.

„Эта будущая аристократия биржи, приобретя безусловное господство, монополизировав экономические и умственные силы, должна выработаться в особенную избранную расу, которая бы имела все превосходства над остальным человечеством. Последнее надо поставить систематическим воспита-

нием на степень полезного орудия и только орудия, чисто экономически оценивая расходы на его содержание, выгоду им приносимую и период времени, в которой его особи истрачивают свою годность. Развитие меньшинства и его обеспеченное положение может быть куплено только ценою полного и совершенного подчинения большинства, так чтобы оно не имело ни возможности, ни даже мысли улучшить свое положение; чтобы всякая случайная попытка единицы возмутиться против подобного положения влекла за собою, как неизбежное следствие, сокращение вредной личности. Но я ошибаюсь; эти существа должны быть не личностями, а особями рабочей расы человеческого рода, не имеющими в глазах рассуждающего человека ни малейшего достоинства или значения вне их экономической пользы. Нет сомнения, что, употребляя систематически надлежащие приемы, при пособии точной науки можно дойти до образования в человечестве той же разницы в формах тела и в наклонностях, которое мы замечаем в муравьях одной и той же общины, и до придания общественному строю подобной же устойчивости, как муравейнику".

„До сих пор тому мешали неосуществимые идеалы, которые влекли людей к бессмысленным действиям; невозможные требования благоденствия, справедливости, знания для всех, столько же, как государственные формы и догматические мечтания, которые, тяготея над личностью, не были однако же достаточно целесообразны, чтобы подавить всякую попытку к сопротивлению и централизовать всю силу там, где хотели создать центр силы. Западно-европейское государство допускало в своей среде независимую силу догмата, не могло не дать развиться рядом со своим политически-административным центром независимой экономической силе капитала и для мгновенных целей опиралось то на догмат, то на капитал, то на попытки бедных классов улучшить свое положение. Догматы католицизма и протестантизма одновременно охраняли существующую власть и льстили воображению пролетария, и организовали особую форму капитала в ряду других капиталов. Бестолковая буржуазия не понимала, где ее враги, какие ее настоящие цели; либеральничала и заискивала в духовенстве; употребляла полумеры с пролетариатом; с непонятною глупостью писала на своем знамени: свобода, равенство и братство! Для всех этих вздоров время минуло. Теперь время господства биржи, с ее азартной денежной игрой и меной, спекуляцией в hausse и baisse. Разделять власть и значение

ее уже нельзя. В истории нет уже места двум или трем силам. Из всех существующих сил экономическая сила о д н а рациональна, она и должна обессилить все прочие, захватив себе и т о л ь к о себе все, что осталось в них живого, и пересоздать человечество при пособии науки и по своим требованиям. Ни догматы, ни политика не сумели создать ничего прочного. Капитал сумеет это сделать, раздавив всякое препятствие. Будущее принадлежит капиталу, усиленному умом и знанием; оно принадлежит ему одному".

После $\frac{10}{z}$ стал говорить Рр.

„Я очень рад, что представитель биржи вполне высказал свой план и свои надежды. Действительно, он верно указал, что государство и догмат, в котором прежние консерваторы видели свою опору, начинают чувствовать над собой влияние денежной власти. Я не мог бы лучше выставить опасного положения буржуазии, чем оно выставлено защитником ее... Впрочем, я ошибаюсь: не защитником буржуазии в о о б щ е, а защитником небольшого меньшинства мыслящих, энергических и беззастенчивых ее членов, которые прямо ставят себе задачею выработать из себя высшую расу и создать свое будущее величие на счет и в ущерб всего остального человечества. Действительно, полумеры прежнего времени не приведут уже ни к какому удовлетворительному результату; война между представителями биржи и представителями труда началась в Западной Европе; дело идет для тех и других о том, кому б ы т ь и кому н е б ы т ь. Едва ли даже путь, который только что был здесь указан для буржуазии, если она желает отстоять себя и господствовать над всем остальным, не есть единственный для нее, повидимому, остающийся. Мой оппонент откровенно объявил войну всем прочим силам общества во имя естественной борьбы за существование и заранее отвергнул всякое вмешательство в спор тех громких слов: свобода, братство, справедливость и т. д., которые до сих пор писались на знаменах борющихся партий, но которые слишком часто оказывались пустыми словами или лицемерными масками эгоистических стремлений. Я устраню тоже эти слова из моего рассуждения, ограничусь вопросом о том, что полезно и что возможно, и столь же откровенно сознаюсь, что мы, работники, признаем себя необходимым элементом будущего и ненавидим всякую монополию, которая одна может составлять и действительно составляет политическую цель деятельности наших противников. Мы тоже со-

знаем, что из всех сил прошедшего лишь о д н а может и должна быть нашею союзницею, нашею опорою, нашим орудием в борьбе; эта сила есть и для нас та самая, на которую хочет опираться денежная власть для подчинения себе будущего, именно — наука. И точно так же, как мой противник, оценивая наши силы и средства, критически всматриваясь в прошедшее, чтобы заключить от него о невероятном будущем, я говорю: будущее принадлежит нам!

Да! Путь, указанный представителем капитала для буржуазии, рассчитан хорошо, энергичен и устраняет от нее все те предрассудочные препятствия, которые мешали прежде людям вполне обессилить своих противников; этот путь есть для небольшого числа капиталистов единственный, который остается, но этот путь невозможен, если сколько-нибудь можно заключить из прошедшего истории о ее будущем, если добытые результаты опытной науки о человеке имеют хотя малейшую долю вероятности; если повальное безумие и бесхарактерность не охватят всего человечества, за исключением того небольшого кружка монополистов всех общественных сил, из которого предполагается выработать будущую господствующую расу.

Мы видим, что история до сих пор представляла все убывающий успех меньшинства в подчинении себе большинства. Неполноправные граждане и рабы Греции и Рима стояли уже выше бесправных населений Востока, с его кастами и с всеобщим ничтожеством народов пред самым небольшим числом личностей. Городские населения средних веков доставили себе еще лучшее положение, несмотря на давление феодалов. Следовательно, вероятность историческая не в пользу предположения, что низшие классы будущих поколений допустят прямо противоположный процесс и сойдут на степень римского раба или спартанского илота.

Но мне возразят, что в прошедшем господствующие классы действовали инстинктивно, а не пользовались научными методами; что их знания, сравнительно с знаниями низших классов, были ограничены; что сила слепой традиции и предрассудочные нравственные стремления мешали им действовать вполне целесообразно; что все эти препятствия не существуют для монополистов настоящего, обогащенных наукою, которая стоит дорого, следовательно, легко может быть сделана недоступною для бедняков. Мне даже могут указать, что там, где действительно превосходство умственного развития в борьбе было весьма значительно на одной стороне, огромное большинство подчинялось горсти беззастенчивых смельчаков или гибло;

что так было при столкновениях белой расы с племенами краснокожих, негров, океанийцев. Но это едва ли убедительный аргумент, потому что дикие племена, в большинстве случаев, не подчинялись, а гибли, оставляя белым природные богатства страны для их экономической обработки, а будущая господствующая раса монополистов не имеет в виду потерять свое привилегированное положение и приняться сама за черный труд. Ей приходится решить задачу несравненно сложнейшую, чем американским конквистадорам и пионерам: пред нею классы, которые, в ряде постепенных оттенков, восходят от поденщика угольных копей, отупелого вследствие лишений и сверх-посильного труда, до менее богатого буржуа, умственные средства развития для которого весьма немногим отличаются от средств современного денежного туза. Все эти многочисленные оттенки должны быть доведены до одной и той же ступени умственного ничтожества. Затем эту новую расу илотов придется охранять одновременно от физического вырождения и от умственного развития, что едва ли не представит задачу невыполнимую.

Но все это — фантазия о далеком будущем; чтобы осуществить этот план, для господствующей биржевой власти нет другого средства, как направиться к своей цели путем легальной реформы. Это, повидимому, возможно, так как возрастающие финансовые затруднения государств дадут более и более поводов денежным централизаторам усиливать политическое влияние, притягивать в свои руки власть и мало-по-малу сделать из парламентов, министерств и государственных советов лишь исполнительные ведомства для тех соображений, которые будут обдумываться головами больших банкирских, торговых и промышленных фирм. Имея в руках все выборы, все назначения, все влияния, они точно могли бы править миром под именем государственных властей, давить своих противников в назначенных ими судах, издавать какие угодно законы, употреблять армии для уничтожения всякой попытки противустать их преобладанию и шаг за шагом могли бы идти к своей блестящей цели.

Могли бы, но не могут, потому что всему этому есть существенное препятствие в том, что составляет самую невыделимую черту, характеризующую развитие денежного рынка. И эта черта была подмечена моим оппонентом. Вечное соперничество, вечная борьба между монополистами, вечное старание каждого подорвать всех своих товарищей и взять все себе, себе одному — вот сущность развития биржи, основание

ее господства, ее исторической роли. Если бы все удалось совершенно так, как предполагалось по плану, перед этим изложенному, то конкуренция погубила бы сначала мелкую буржуазию, потом среднюю, потом менее развитую, менее умную и менее энергическую долю высшей; но она на этом не могла бы остановиться и не остановилась бы. Борьба продолжалась бы между умнейшими и могущественнейшими монополистами, или они бы опустились, поглупели бы и сделались бы жертвою социальной катастрофы. При продолжении же борьбы, они образовали бы не всемогущую федерацию самодержавных денежных центров, управляющую миром, а столь же соперничествующие единицы, как нынешние государства; они употребляли бы свое политическое влияние для того, чтобы подрывать друг друга; они направляли бы армии для взаимного разорения; и пока в мире оставалось бы *две* господствующих биржи, они вели бы борьбу между собою с целью образовать всемирную империю, где один эксплоатировал бы все человечество. При подобной борьбе, лежащей в самой сущности положения, союз их для согласного дела был бы тем яснее возможен, чем менее оставалось бы около иных сил, им враждебных. То, что теперь еще встречается: образование больших денежных ассоциаций для подавления мелких или для эксплуатации государства не имело бы повода существовать, когда мелкие капиталы были бы уничтожены, а государства подчинены. Капиталы осуждены самою своею сущностью на взаимное поедание, а не на согласное действие. Будущее принадлежит не им, а тому элементу, который хранит в себе возможность ассоциации.

Но представители биржи не могли бы не только упрочить своего господства над миром; они не могут и достигнуть этого господства все по той же причине. В виду большего *сегодняшнего* барыша в их рядах, и как раз между умнейшими, всегда найдутся изменники общему их делу, которые будут столь же равнодушны к торжеству денежной власти над всеми ее противниками, если это торжество наступит после их смерти, как и к страданиям человечества, которые действительно происходят около них в настоящем, вследствие их беззастенчивой биржевой игры. Они продадут своих компанионов по денежным операциям, как продают своих приятелей, доверивших им свои заработки, как продают свое отечество, как продали бы все на свете, чтобы обделать крупное дельце. Они станут на сторону разрушающегося государства противу *великого* плана всемирного господства биржи в будущем. Они станут

на сторону традиции противу критики мысли, которая одна может закрепить это господство. Они готовы будут взять крупный барыш, обделывая выгодное дело и в том случае, когда их капитал дал бы средство мелкой буржуазии отдалить на некоторое время свою гибель, все-таки неизбежную; или даже в том, когда этот капитал сделался бы в руках рабочего класса оружием для ниспровержения великих замыслов их сотоварищей. Обширный план действия, обнимающий несколько поколений! Будущее торжество! Не смешно ли думать, что люди, отрекшиеся от всего, называемого ими предрассудочными иллюзиями, люди, улыбающиеся при словах: справедливость, общее благо, сочувствие и содействие другим, что эти люди откажутся от малейшего верного барыша в виду неродившихся поколений! Что они пожертвуют чем-либо для какого-то будущего? Разве грядущие поколения для них не представляют иллюзии? Разве будущее для них существует? Для них реально лишь их личное наслаждение в краткий период, который наука назначает человеческой жизни; пожалуй еще — благоденствие немногих лиц, которым они симпатизируют, опять на тот же краткий период; для них реален настоящий барыш, вычислимый и ощутимый. Но будущее! Положительные люди, дельные торговцы подобных призраков не знают, так как эти призраки не котированы на бирже. Им принадлежит настоящее — до поры до времени. Но будущее принадлежит нам.

Будущее принадлежит соединенным силам людей, которые всегда превозмогут отдельную личность. Оно принадлежит ассоциации, которая может пережить быстро стареющую личность; ассоциации, которая может составить план действия для ряда поколений и неуклонно следовать этому плану. Католическое и буддистское духовенство в своей ассоциационной деятельности, переживающей века, особенно же иезуиты, в борьбе с самыми опасными врагами, представляют блистательный пример могущества ассоциации, несмотря на фантастичное ее учение. Государственная сила возвысилась над всеми прочими общественными силами лишь потому, что она представляла лучшую организацию соединенных деятельностей отдельных личностей, несмотря на то, что сменяющиеся правительства, при своей непоследовательности, под влиянием личных интересов, тратили бесполезно силы этой организации на противоположные стремления. С другой стороны, успехи науки в последние века показывают, чего может достигнуть совокупность усилий небольшого числа лиц, когда цель ясно

поставлена, метод достижения ее твердо установлен даже при полном недостатке организации этих сил. Быстрые успехи денежных ассоциаций, даже при взаимном плутовстве компанионов, при их хищнической конкуренции, свидетельствуют о могуществе целесообразной организации союза для определенной цели, ясно понятой, при устранении всех посторонних стремлений. Итак, теория и опыт истории указали все элементы успеха в будущем. Возможность искренней и прочной ассоциации есть основание всего, и ее-то, ее одной недостает для полного господства биржи. Ясное понимание цели и средств, к ней ведущих, научная определенность задач в области реального и возможного составляет второе необходимое условие, и оно отсутствует для клерикальной партии. Последовательность в плане действия сменяющихся поколений есть третье условие, вытекающее из предыдущих двух, и ее не может быть в политическом устройстве, при нынешней его организации, так как личные интересы правителей и разнообразные влияния соперничествующих государственных людей, при неясности того, что называют государственным благом, постоянно мешают этой последовательности. Крепкая организация ассоциации для общего дела составляет последнее условие, и его не доставало до сих пор науке; но она сама и не может дать себе этой организации, так как ее деятели, по самой сущности дела, мыслят и работают в одиночку; организуются же эти работы извне общественными силами: государством — в ученых обществах, в школах, музеях и лабораториях; капиталом — в периодических и непериодических изданиях; целым обществом — в его стремлении распространить свои знания по данным живым вопросам.

Мы одни имеем возможность составить искреннюю и прочную ассоциацию, потому что труд не требует монополии при правильной его организации. Мы хотим ясного понимания реального и возможного, следовательно, опираемся на науку, и на нее одну. Но мы не только ищем в ней орудия, для нас постороннего, как говорил мой оппонент; мы видим в ней элемент нашей ассоциации, которому мы одни, и мы одни можем и должны помочь столько же, сколько наука может и должна помочь нам. Мы хотим крепкой организации для себя, и в эту организацию входит необходимым и важным условием организация науки для ее всесторонних успехов: организация ученых обществ и ученых пособий не в виду тщеславия и выгоды немногих официаль-

ных и чиновных знаменитостей, оттесняющих молодые силы, а в виду взаимной помощи всех ученых и технических трудов; организация школ для реальных и возможных целей; организация распространения книг и периодических изданий не в видах обогащения издателей-монополистов, а для возможно быстрой и удобной передачи научной мысли всем, кому она может быть полезна или кого может интересовать.

Работа мысли должна стать рядом с работою рук, выиграть от своего союза с последнею и воспользоваться всеми своими победами в будущем, как чернорабочие воспользовались всеми победами науки над старыми предрассудками. Имея за себя возможность ассоциации, научное понимание и крепкую организацию, мы ручаемся за последовательность наших действий, за неуклонное стремление к нашей цели, за неумолимость нашу для всего, что станет на нашей дороге. Одно поколение за другим пойдет по этому пути к определенному будущему, не подрываясь конкуренциею, не увлекаясь призраками, но расширяя и уясняя свое понимание реального и возможного, расширяя и укрепляя свою организацию, пока знание даст нам надлежащую опору для торжества; пока организация наша охватит все живое и развеет прах всего мертвого; пока все препятствия рухнут пред нами, и наши потомки повторят, в сознании одержанной победы, те слова, которые мы теперь уже произносим в твердой уверенности, что они одержат ее: нам принадлежит будущее!

Наша ближайшая цель: крепкая организация ассоциации всех трудящихся на научных основаниях и для научных целей. Мы враги всякой монополии, потому что она нераздельна с конкуренциею, а конкуренция подрывает ассоциацию в самой ее сущности. Мы расходимся со всеми теми, кто хочет пользоваться чужим трудом для своих наслаждений, потому что эти люди неизбежно враждебны всякой ассоциации и мешают нам косвенно, даже тогда, когда не противодействуют нам прямо. Мы зовем в свою среду всех трудящихся, потому что наша победа будет возможна и окончательна лишь тогда, когда в ней будет участвовать большинство человечества; и это именно делает ее вероятнее, чем победу биржи, так как для последней, по сознанию моего оппонента, необходимо унижение почти всего человечества на степень простого мешка с деньгами и монополия выгод для наименьшего числа личностей. Мы — враги предрассудка и союзники науки, подобно нашим противникам, потому что предрассудок отупляет нас, а наука дает нам средства для усовершенствования...

Я говорил лишь о нашей выгоде, избегая того, что мой оппонент мог считать пустыми нравственными иллюзиями; но я прямо и смело объявляю, что для мыслящих деятелей в нашей среде наш прогресс не есть только торжество одного класса людей над другим, труда над монополией, знания над традицией, ассоциации над конкуренциею. Наша победа есть для нас нечто высшее: это — будущее царство истины и справедливости, осуществление умственной и нравственной цели развития личности, общества и всего человечества. Если это — иллюзия, то она не отнимет у нас ни ясного понимания реального и возможного, ни энергии в деятельности, ни решимости уничтожить все, нам сопротивляющееся. Наши противники могут смеяться над нашею наивностью, но мы думаем, что именно это убеждение позволит нам подготовить лучшую участь будущих поколений, участь, которой мы не увидим; именно это убеждение свяжет нас крепче с нашими единомышленниками и сделает нас солидарнее относительно наших врагов. Именно это позволяет мне с большею уверенностью утверждать: будущее принадлежит нам".

Когда Pp кончил, то с полминуты продолжалось молчание. $\frac{10}{z}$, развалившись на своем стуле и сгибая своею широкою рукою лезвие ножа, упертого в пол, проговорил наконец: „Посмотрим"—и потом, быстро обращаясь к Kt: „что же, святой патер, очередь за вами".

Kt откашлялся, — а кашель его нехорош, — и начал:

„Подумаешь, какие вы умные, всезнающие, всемогущие люди. Прошедшее перед вами как на ладони, силы природы в ваших руках, и будущее вы читаете, как школьник читает букварь. Не только то будущее, которое так искусно предсказывают ежедневно ваши газетчики, — будущее, долженствующее наступить чрез несколько дней или чрез несколько месяцев, — это уже дело в наше время слишком обычное, чтобы такие умные люди над ним трудились, хотя мне как-то чаще приходилось видеть, что господа газетчики сами описывали, как случались вещи совсем навыворот против их предсказаний. Вам же нужно более широкое поле: точно пророки, которых вы не признаете в вашей суетной гордыне, или точно наемные предсказатели, над которыми вы смеетесь, вы видите за несколько поколений, видите за сотни, за тысячи лет. Путь человечества вами предначертан; вы ставите ему цели, указываете средства, и, подобно послушному ребенку, оно идет, куда угодно его вести вашей неудержимой фантазии. Через век оно должно посту-

пить так, через два века — этак; а там, через тысячу лет, произойдет такая-то катастрофа; и наконец... да! что будет наконец?... я совсем смущен ослепительною перспективой, которую вы передо мною развиваете, — наконец наступит торжество плоти и безбожной мысли. Один уже выработал особенную расу, вероятно с большим числом чувств, с мозгом усовершенствованного сорта, обратив, при пособии науки, своих братьев людей в обезьян, что весьма немудрено, если они когда-то и без всякого пособия науки сделались из обезьян людьми. Другой вывернул все общество на изнанку, так что старое проклятие человека, — труд в поте лица, — стал господином и повелителем. И все это на основании науки! Одному она не хочет подать своей руки — это религии. Для нее нет места в разносторонних способностях будущей расы, которая должна монополизировать все человеческие силы. Она исключена и из царства истины и справедливости, которое должно быть воздвигнуто сапожниками и столярами, когда, кроме сапожников и столяров, никого не будет на свете. Науке — поклонение, религии — гонение. Это старье нам не нужно, чтобы резать друг друга и праздновать торжество самых низких побуждений.

По крайней мере, вы откровенны и прямо объявляете войну всему, что человечество когда-то уважало, чем оно руководилось в продолжение своей тяжелой жизни, что его поддерживало в его страданиях. Особенно мне нравится создатель новой расы: он так-таки прямо и говорит: закон взаимного поедания, существующий для бессмысленного животного, есть высший закон и для человека, проглотившего всю науку, выработанную им с таким трудом в продолжение тысячелетий. Построитель царства истины и справедливости не додумал еще до конца своих теорий; его слух еще ласкают слова, вынесенные им из старого мира, им оплеванного, но отчаяваться не надо: и он найдет наконец, что для царства, таким образом построенного, истина и справедливость не более, как пустые слова, что если он последователен, то должен поставить себе не человеческий, а звериный идеал, должен отречься от всего, отличавшего его предков от бессмысленного животного, должен приблизиться к тем существам, происхождением от которых он нынче гордится. Старая религия говорила человеку: тебя создал бог по своему подобию; сделайся ангелом, чтобы приблизиться к этому образцу. Вы это изменили: ты родился от животного; сделайся животным, чтобы приблизиться к твоим предкам, — так гово-

рит новая наука. И она должна говорить это. Отрекаясь от единственного источника истины и добра, она должна ставить идеалом животное; она должна ослеплять вас более и более; должна внушать нам стремление истреблять друг друга, должна вести вас к вашей гибели, временной и вечной. А вы не видите этого; вы прославляете ее, преклоняетесь перед нею, смотрите на нее, как на ваше единственное спасение, как на всемогущую силу, которая позволит вам пересоздать природу и человека, осуществить ваши порочные и грязные идеалы будущего, сделаться богами.

Я не жалею вас, потому что ненавижу от глубины души, — ненавижу, как участник божьего града должен ненавидеть участников града дьявола; я радуюсь вашей гибели, на которую вы сами обрекли себя, как праведники радуются вечным мукам осужденных в аду. Но я удивляюсь вашему ослеплению. Посмотрите, что вам дала ваша наука, пред которой вы идолопоклонствуете, и сравните с этими жалкими результатами то, чего вы от нее ожидаете. Вглядитесь хорошенько и в то, чему она может вас научить, и сравните с планами, которые вы так гордо строите.

Ваша наука обещала вам господство над природою. Дала ли она его? Даже подвинулась ли она далеко в доставлении его вам? Завоевали ли вы у моря и у степи новые владенья? Улучшили ли вы климат какой-либо страны? Изменили ли вы направление ветров, морских течений, распределение дождя и града, ход ураганов? Могут ли ваши доктора, употребляя всю жизнь на свою науку, гордиться тем, что в силах излечить хотя одну болезнь, которая не излечилась бы во многих случаях и без их пособия? Могут ли ваши метеорологи предсказать за несколько дней погоду? Вы избороздили поверхность земли дорогами, настроили пароходы для движения по океанам, воздвигнули кое-какие города и гордитесь этим. Да ничтожнейшие животные сделали больше вашего: они построили обширные острова, громадные горы, целые материки; они плавают, не боясь кораблекрушения; они летают по воздуху, чего вы до сих пор не могли сделать с вашими аэростатами, построенными по всем правилам науки и техники; они летают без компаса, по указанию инстинкта; они предвидят погоду далеко ранее вас. Вы бессильны пред природою столько же, как они, и даже более, чем они, несмотря на всю вашу науку.

Но вы гордитесь знанием; вы понимаете природу. Странное знание, которое не дает власти! В сущности, если вы вглядитесь в него, то оно крайне незначительно. Ваши

наблюдения и опыты, ваши индуктивные и дедуктивные рассуждения дали вам кое-какие отрывочные факты, но смешно и называть это пониманием. Вы до сих пор не знаете, что за штука такая тяготение, а это самый всеобщий закон вашей физики, за который вы ваших Ньютонов произвели чуть не в боги. Вы думали, думали и до сих пор не додумались, что такое свет и теплота, а уж, кажется, это вещи не сверхчувственные. Как ни вертитесь вы с вашей критикой, отвергающей гипотезы, а приходите, наконец, опять к эфиру, которого никто не видал, никто не ощущал, да никто и не может видеть и ощущать, т. е., в сущности, вы в понимании света не пошли далее Аристотеля или, еще вернее, не далее того древнейшего писателя, который на первых строках своей древней книги написал: и бысть свет. Я все это говорю об ваших основных науках, которые давно уже перешли, как вы выражаетесь, из теологического и метафизического фазиса к позитивному. Ну, а как заглянем далее, в область вашей премудрой биологии? Я не могу не хохотать, читая хитрые определения жизни, которые дают ваши уважаемые ученые и мыслители. Как только приходится понять, чем отличается живое существо от неживого, как происходит жизнь, все становятся в тупик. „Вот живое существо; смотрите, оно движется“,— говорит один. „Куда! Это—продукт разложения,—отвечает другой,—мертвая соринка, движущаяся по физическим законам“. „Я сделал организм из мертвого вещества!“—восклицает гетерогенист. „Врешь! там было невидимое яйцо“,—возражает его противник. И спорят, и спорят; все наблюдения, опыты, размышления, индуктивные и дедуктивные... вот ваше понимание природы! Мне надоело приводить примеры, а их не оберешься. Если бы вы не были ослеплены для вашей гибели, то вы давно сознались бы, что вы природу еще менее понимаете, чем ею властвуете, а в этом вы недалеко ушли.

И с этим-то круглым невежеством, с этим-то полнейшим бессилием вы приступаете к решению вопросов о человеческом обществе, что, и по вашему сознанию, составляет предмет сложнейшей из ваших человеческих наук; приступаете к определению будущего истории и решаетесь сказать: мы так-то и так-то перестроим общество... Вы были бы жалки и смешны, если бы вас стоило жалеть и если бы вы не возбуждали отвращения.

Между тем именно история могла бы вас научить кое-чему для вас полезному. Не вы первые задумали руководить судьбами человечества и построить будущее его по своей мысли.

Это очень старинная попытка. Я не стану вам говорить о тех, которые пытались сделаться богами путем познания добра и зла, или о тех, которые вздумали построить себе башню до неба. Вы, в вашей высокой мудрости, называете это преданием. Я не считаю нужным спорить с вами и останусь на почве вашей немифической истории. Мне ее достаточно для моих аргументов. Переберите все цели, которые ставили себе народы и их могущественные предводители,—цели, для осуществления которых употреблены были все средства человеческой мудрости, все силы разнообразных цивилизаций, и сравните это с полученными результатами. Люди хотели одного, выходило как раз противоположное; народы стремились обособиться, считали врагом всякого чужого, ограждали свое обособление строгими законами и мрачными верованиями,—на деле народы постоянно смешивались, сливались в обширные группы; цивилизации разливались от океана до океана: всякое обособление оказывалось невозможным. Государства были основаны на господстве силы,—на деле вырабатывался закон. Завоеватели стремились ко всемирной монархии,—их труд давал в результате пробуждение национальных ненавистей, усиление национального обособления. Греческие философы задумали заменить религию своих сограждан безбожным миросозерцанием,—результатом их учения было подготовление языческого мира для христианства. Еретики древнего времени хотели обсуждать таинство догматов по приемам языческой диалектики,—результатом было подчинение личной мысли авторитету соборов и слову пап. Еретики времен так называемой реформы думали усилить религию, отрицая папство,—они привели своих учеников к атеизму и теперь тщетно ищут средств отвратить гибель того, что они называют своей церковью. В новое время либералы думали обеспечить мир в человечестве, отрицая веру, отрицая политическую вражду, отрицая национальное обособление, ставя единственной целью человеку экономические обороты и денежную выгоду,—в результате получились столь кровопролитные, столь разорительные и столь варварские войны, какие едва ли видел свет со времен гуннов; и за этими войнами видна уже неизбежность новых, еще более кровопролитных столкновений, так как не только личные честолюбия правителей, но и международные ненависти обширных племен проснулись с ожесточением, непонятным для ограниченных утилитаристов. Но и это не все: из-за борьбы честолюбивых завоевателей, из-за ненависти народов уже виднеется приближение еще иной, более глубокой, более истребительной

борьбы социальных элементов, которые ваша близорукая наука привела в брожение и не может установить их на место.

И вот, в виду этих, весьма ясных уроков вашей критической истории вы забавляетесь построением планов для далекого будущего и говорите: мы направим человечество туда-то. Безумцы! Человечество направить нельзя; каждый раз, когда ослепленные руководители думали его вести к своей цели, они бессознательно вели его к другой. То, что придумывает, что хочет, к чему стремится человек, прямо противоположно тому, чего хочет и что без труда совершает высшая сила, управляющая человечеством, но вы не признаете этой высшей силы и потому действуете, как лунатики.

Наука, говорите вы, поможет вам пересоздать мир и направить историю, куда вам надо. Наука победила традицию... Презренные слепцы! сочтите, много ли вас всех, в обоих ваших лагерях, относя сюда и всех людей без убеждения, готовых служить всякому, да, пожалуй, и много ученых скептиков, вроде нашего четвертого собеседника? сочтите: много ли в целом мире адептов вашей науки, и сопоставьте с этим числом лиц, которые живут еще верою. Как в то время, когда древние философы смеялись над своими богами, так огромное большинство людей и теперь даже не знает, над чем это вы трудитесь так тщательно, что значат ваши наблюдения и опыты, ваша индуктивная и дедуктивная логика. Большинство готово верить в колдовство и заклинание, готово вызывать души мертвых или приносить жертвы Молоху, но оно не хочет знать вашей науки. А еще сколько между адептами вашей науки людей, которые в минуту болезни или несчастья торопятся сжечь то, что они вчера обожали; прибегают к молитве, которую еще вчера осмеивали; готовы позвать ворожею, чтобы заговорить себе зубную боль; бледнеют пред изречением медиума, который передает им слова их умершей любовницы, даже не решаются сесть за стол тринадцатым. И все это— развитые, просвещенные люди; все это—адепты науки. Вы причисляете их всех к своим лагерям и надеетесь на то, что они помогут вам воцарить науку... Ничтожные черви! Вас, настоящих врагов великой традиции, так мало, что если бы собрать вас всех вместе в один новый Содом, то ваш город вышел бы меньше второстепенных городов нашего времени. Да и друг на друга вы совсем напрасно надеетесь. Едва коснется вас какое-нибудь несчастье,—лопнет едва заметный сосуд в мозгу, переродится микроскопическая клеточка,— и где ваши гордые замыслы, ваши остроумные соображения? Вы

тогда окружены призраками, которых не отгонит ваша наука, вы высказываете мысли, которые решились глубоко скрыть в вашем сердце; вы забавляетесь игрушками, как маленькие дети; вы не можете произнести обыденного слова; вы готовы пожирать ваши извержения, как низшие животные. И вот— ваша всемогущая наука! Вот ваш гордый разум!

Вы так бессильны, так малочисленны, так ничтожны, что лишь ваше безумие объясняет ваши нелепые надежды на построение собственными силами будущего, где вы одни будете господствовать безусловно. Провидение, которое до сих пор вело человечество без вашего указания и наперекор всем вашим, более могущественным предшественникам, поведет человечество и теперь к своим целям. Масса верующих поглотит и переработает униженные остатки ваших слепых партий, как она поглотила и переработала школы мыслителей иного времени. История сотрет вас с лица земли. То, что вы самоуверенно называете наукой, будет записано будущими историками, как одно из многочисленных заблуждений человеческой гордости, как археологическая редкость, как нравственная эпидемия, давно исчезнувшая. То, что вы излагаете, как верные планы постройки будущего, будет тоже записано, как кровожадные сновидения преступника, мечтающего еще удовлетворить свои животные влечения, когда его через час разбудит палач. Все это—небольшие эпизоды истории, которая рассказала уже много подобных эпизодов. Поколения сменяют друг друга, принося каждое свою долю заблуждений, грехов, бессильных возмущений против вечной силы и вечной воли. Но действует лишь она.

Конечно не нынешним жалким правительствам, не нынешнему идиотическому консерватизму победить вас, и против него вы—гиганты. Нынешний политический строй заражен тою же болезнью, которая в вас дошла до последнего своего кризиса. Он преклоняется пред теми же идолами, которых вы ставите в вершине вашего вавилонского столпотворения. Он не решается отречься от религиозного предания, но не потому, чтобы он видел в церкви единственную истину и единственное спасение, а потому, что он боится нашего влияния на массы. Я считаю ослепленными идиотами или изменниками всех тех из нас, которые проповедуют консерватизм, ищут поддержки в нынешних государственных формах и хватаются за statu quo, как за свою единственную опору. Новая Европа в своем политическом строе не может уже отречься от двуличного либерализма и от промышленно-материальных на-

чал своей традиции. Следовательно, этот строй нам враждебен; поэтому мы отвергаем его. Союзников нам не нужно, потому что нет в мире ничего и никого, имеющего возможность быть равноправным союзником единого сущего. Все существующее может для него быть лишь орудием, подчиняться слепо его воле и его руководству. Кто ставит себе с в о и цели, кто считает себя чем-то самостоятельным, тот обрекает себя на гибель и должен погибнуть. Нынешние государства с их конституциями, парламентами, правами человека и правами гражданина, с их спорами о цензе и всеобщей подаче голосов, о республике без республиканцев, о монархии без монарха—все это для нас столь же мало имеет смысла, как древние фараоны. Над каждым царством, над каждою республикою, древнею и новою, одинаково поднимается бесстрастный меч Дамокла. Он опускается неожиданно, и Мемфисы, Вавилоны, Селевкии, Римы язычества пустеют в развалинах. Не все ли нам равно, ждет ли та же участь Париж, Лондон, Берлин и т. д.? Не все ли равно, когда палач опустит свой топор на шею осужденного преступника? Мы радуемся их падению, потому, что их трупы ложатся в основание будущего Иерусалима. Очень может быть, даже вероятно, что вы на этот раз будете избраны орудием кары. Как проконсулы Рима республиканского и вольноопущенники Рима императорского истощили народы язычества своим хищничеством, чтобы бросить их к подножию алтарей христианства, так заговор бессовестных монополистов, может быть, разорит нынешние недоноски западно-европейских государств, чтобы приготовить торжество церкви. Как бич божий в руках Атилл и Гензерихов обращал во время оно города и села в развалины для того, чтобы выросло семя далекого будущего, так нынешние консводы прогрессивных начал, может быть, сотрут с лица земли ту блестящую цивилизацию, которая гордится своею научною критикою и политическою свободою. Палач уже поднимает топор над вашею головою!

Вы погибнете и должны погибнуть. Вы бессильны и ничтожны, но вы враги истины, враги бога. Вы вредны и, как вредная трава, должны быть выброшены с поля истории. Под чьей рукою вы ни падаете, эта рука, которая вас поражает, совершает высшие цели. Чем вы более будете враждовать между собою, истреблять друг друга, тем лучше. Если бы кто из вас перехитрил и перемог всех своих противников, истребил их и остался среди их трупов единственным представителем ваших дьявольских начал, то мы призовем против него

миллионы самых ревностных, незараженных вашим учением католиков, верующих, но не мыслящих. Кто же не обратится в прах перед этими легионами? Природа свидетельствует за нас о ничтожестве ваших сил. История свидетельствует за нас о безумии ваших планов. Вечная жажда веры свидетельствует за нас об ограниченности вашей эфемерной науки. Поэтому наше царство—царство вечной истины. Будущее принадлежит нам одним".

Kt начал иронически, дребезжащим, довольно тихим голосом. Под конец глаза его горели, сухие руки как бы сзывали сонмы невидимых сил на голову собеседников; хриплый голос становился все громче, и долгий приступ кашля последовал за последними словами. Слушатели улыбались.

„Мне нечего много сказать вам,—заговорил N,—у меня нет плана будущего, которое я стремился бы осуществить, и нет врагов, которые мне были бы ненавистны. Я не желаю никому победы и никому поражения, потому что желать чего-нибудь смешно, когда не в нашей воле исполнение. Я не печалюсь ни о чьей гибели и не радуюсь ничьей победе, потому что нелепо волноваться от фактов, совершающихся по неизменным законам причины и следствия. Я наблюдаю, сравниваю и делаю скромные выводы относительно небольших групп фактов, не забегая ни в область гипотез, ни в область предсказаний будущего. Впрочем, прилагая к фактам настоящего результат наблюдений над прошлым, я не могу не считать, с почтенным Kt, совершенно ненаучным предположением мысли создать новую господствующую расу монополистов насильственным путем или основание царства истины и справедливости. Эти слова, по моему мнению, представляют абстрактные формулы без всякого конкретного значения и основать царство несуществующего довольно трудно. Я схожусь с почтенным Kt и в том, что признаю ничтожными научные успехи, научное понимание и распространение самых элементарных научных сведений. Физика и химия еще весьма недавно перешли в позитивный фазис. Биология едва вступила в него. Что касается социологии, то позитивный метод в ней еще так неясен для большинства умов, даже серьезно ею занимающихся, что едва можно встретить единицы, которые не только теоретически, но и практически усвоили в этом отношении надлежащие убеждения, прямо следующие из требований метода. Факты общественной жизни должны быть наблюдаемы с тем же индифферентизмом, как явления химического сродства. Мы не должны в них вносить ни наших желаний, ни наших при-

вычек, ни наших симпатий, если хотим оставаться на поле науки. Все общественные формы должны быть для нас столь же индиферентны, как различные химические комбинации элементарных тел. Все события истории должны столь же мало возмущать и радовать ученого, как различные фазисы развития яйца цыпленка. Мы можем описывать существующее, следить за процессом его подготовления в прошлом, классифицировать факты и отыскивать их ближайшие законы; но вот и все. Мы должны тщательно избегать всего, что может повлиять на точность нашего наблюдения и умозаключения, а потому должны воздерживаться от всякого участия в борьбе партий, участия не только реального, но и умственного. Весь пестрый калейдоскоп симпатий и антипатий, желаний, надежд, стремлений, комбинированной деятельности для объективного мыслителя есть не более, как призрачная субъективная оболочка настоящего процесса, совершающегося по неизменным законам связи фактов и последовательности явлений, вне всякого аффекта и произвола. Это есть единственная сущность всего познаваемого и сознаваемого, на ней единственно и стоит останавливать мысль. Последовательный ученый должен быть индифферентистом в жизни частной и общественной. Все существующее для него необходимо и потому оправдано. Нравственный суд, как суд эстетический, для него—заблуждение. Ученый знает, что факт существует, что он характеризуется такими-то признаками, что он произошел таким-то путем, что его следствия могут быть таковы-то. Этого знания достаточно ученому. Он стоит среди волнений общества, как посторонний наблюдатель. Он следит за ходом истории, не мечтая изменять или направлять ее течения. Не все ли равно химику, каким цветом окрашен исследуемый состав, или астроному, по какому пути следует солнечная система, в которой он занимает микроскопическое место. Их дело определить все обстоятельства горения, отметить орбиту в ее особенностях, но на этом и остановиться.

Указав пункты моего согласия с почтенным патером Kt, я не имею нужды возражать на его речь, так как положения, им высказанные, находили своих оппонентов. Он употребил против науки прием, весьма обычный в его лагере, но потому не менее нелепый. Он ставит науке задачи, от которых она отреклась, и потом укоряет ее в том, что она их не решила. В период метафизики хотели знать, что такое тяготение? что такое свет? что такое жизнь? Теперь мы знаем, что этого знать невозможно, и научное понимание ограничивается оты-

сканием законов явлений света, определением точных условий, при которых данное жизненное явление происходит. Законы явлений, законы связи явлений, если возможно, то всеобщий закон, связующий все явления и позволяющий предсказывать будущее во всех сферах науки, как астрономы предсказывают затмения,—вот вся область научного понимания, все царство науки. В мир сущностей она не идет, предоставляя его метафизике.

Ограничив и уяснив таким образом свою сферу, наука оказывается не только не бессильною теоретически и практически, но единственным средством знать что-нибудь и установить какой-нибудь рациональный технический процесс. Завоевания науки оказываются незначительными, сравнительно с областью, которою ей следует овладеть, но немаловажными, принимая в соображение, как не много было бы сделано без ее пособия и как недавно она ясно установила свою задачу. Именно в ясном установлении своей задачи заключаются ее важнейшие приобретения последнего времени. Избавившись от призрачных областей знания, на которые она так бесполезно тратила большую часть своих сил, наука обеспечила навсегда свое будущее. Конечно, между наукою и учеными существует еще большая разница. Схоластические привычки увлекают еще людей, посвятивших себя, повидимому, научной деятельности. Не мало и таких, для которых наука есть лишь средство для доставления себе места в жизни, и в таком случае они перемешивают ее исследования с соображениями вовсе посторонними. Но это не мешает научному методу быть единственным правильным методом мышления, не мешает и тому, что наука и в ее настоящей, более определенной форме, беспрестанно распространяет свое влияние в обществе, подчиняя себе более и более умы. Догматизм теряет более и более почву под ногами. То, что смело отстаивали еще двадцать лет тому назад, не решаются уже отстаивать в наше время. И в рядах темной массы, на которую так надеется почтенный Kt, во многих местах влияние научной мысли чрез светские школы значительнее, может быть, чем он думает. Масса оставалась в продолжение тысячелетий безучастной зрительницей наших знаний и цивилизации и пребывает, большею частью, на ступени дикого верования в амулет, в фетиш, в заговор, в колдовство, в одушевленную природу и в души мертвецов. Между тем тот элементарный фетишизм и анимизм, который мы здесь встречаем, допускает прямой переход к элементарным позитивным знаниям, без посредства тех мифов,

которые создали такие крепкие культурные привычки в высших цивилизациях, или тех метафизических миросозерцаний, которые создали столь же вредные и, может быть, столь же крепкие привычки мысли в школьной традиции. Поэтому всюду, где с массой случайно столкнется мыслящий человек, он встречает менее препятствия для пропаганды науки в невежестве низшего класса, чем в рутинной культуре и в рутинной мысли высшего. Популярная научная литература, при всей ее недостаточности и малой целесообразности, тоже делает свое дело. Каждый день приносит небольшие, но верные успехи в распространении позитивной мысли именно в массе. Отрицая науку и поражая ее проклятием, почтенный Kt, как мне кажется, впал в ту же ошибку, как и предшествующие ораторы, над которыми он так язвительно смеялся. Он вздумал направлять историю, вносить субъективные цели и оценки в объективное течение событий. Это самообольщение весьма обычно во всех лицах, не привыкших к позитивному мышлению, и я не удивляюсь, что встретил подобный факт в человеке, вообще стоящем на точке католического миросозерцания. Но история не подчиняется никаким верованиям, а подчиняет их себе. В ней может совершиться и то, и другое, но мы совершить в ней и то, и другое не можем. Мы обречены в ней на роль бессознательных орудий или мыслящих, но посторонних наблюдателей. В обоих случаях ее поток уносит нас независимо от нашей воли, от наших симпатий, от нашего сознания, от нашей деятельности. Если мы предаемся субъективному самообольщению так называемых нравственных побуждений, то мы не в состоянии узнать даже и того, что одно доступно нашему познанию при этих обстоятельствах, именно не в состоянии узнать даже причинной связи событий, нас уносящих, закона течения истории. Если же мы, помощию строгой критики мысли, удержимся от самообольщения и останемся равнодушными наблюдателями событий, то мы приобретаем знание общественной динамики, понимание истории. Так как это—единственное приобретение для нас возможное, то нам и следует к нему стремиться.

Позитивные привычки мысли уже господствуют во всех простейших науках и мало-по-малу прокладывают себе путь к сложнейшим. Рано или поздно они сделаются столь же обычными в общественной динамике, как теперь в математике, астрономии, физике или химии. Тогда большинство людей не будет мечтать о возможности построить будущую историю по своему плану, как делал поочередно каждый из предшествующих ораторов; не будет обольщаться мыслью, что можно на-

сильственно обратить большинство людей в расу рабочего скота, или создать небывалое царство отвлеченных формул, или поднять крестовый поход против научных привычек мысли. Тогда большинство людей разуверится в возможности нравственных идеалов добра, общей пользы, справедливости; не будет волноваться религиозными, политическими или социальными страстями; не будет делиться на консерваторов и прогрессистов, на монархистов и республиканцев, на централизаторов и децентрализаторов, на государственников и отрицателей государства, на экономистов и социалистов. Все эти партии вымрут со всеми бесполезными стремлениями к какой-либо исторической цели, со всеми горячими симпатиями и антипатиями к какому бы то ни было общественному идеалу. Спокойное наблюдение и бесстрастное отыскивание закона событий, независимо от всякого идеала, от всякой воли,—такова будет тогда привычка мысли в большинстве. Тогда наука завладеет вполне последнею сферою человеческой мысли, общественною динамикою или историею. Наука охватит весь ряд явлений, нам доступных, начиная отвлеченным математическим мышлением и кончая процессом истории. Бесстрастие, нужное ученому, будет царствовать всюду. Субъективное самообольщение атрофируется. Человечество, давно отрекшись от догмата, отречется от метафизики в теории и в жизни, т. е. от абстрактных объектированных формул, от связующих гипотез, от увлекательных идеалов нравственности, от целей личной и общественной жизни. Сознав законы необходимости в общественном строе и в течении общественных событий, люди будут подчиняться этим законам в экономических сношениях, в политических формах, без борьбы и без ропота, как теперь подчиняются законам тяготения, питания, смерти. Мир будет между ними, потому что борьба не будет иметь ни основания, ни цели. Наука принесет этот мир человечеству, надписывая над всяким фактом частной и общественной жизни—необходимость. Медленно, но верно подвигаясь к своей цели, оно наконец достигнет ее, войдя не только в метод исключительного мышления, но в привычки обыденной жизни. Что наука завоевала, того она никогда не уступала и не уступит. Менялись нравственные идеалы и жизненные цели, возбуждая вечные споры. Научное положение, однажды п о н я т о е, не допускало споров и не допустит. Поэтому успехи науки прочны. Рано или поздно, она наверно достигнет своей цели и овладеет всем человечеством. Поэтому позитивной науке и ей одной принадлежит будущее".

Я с радостью заметил, что должно быть совещание приходит к концу. Признаюсь, что все это начинало мне сильно надоедать, и меня удерживало на месте лишь желание буквально исполнить возложенное на меня поручение. По окончании речи профессора начался беспорядочный ряд возражений. Все встали и говорили вместе, так что я даже с трудом мог различать отдельные фразы и кому принадлежала каждая из них.

„Наши иллюзии, если это иллюзии, ближе к истине, чем ваши,—говорил кто-то (кажется $\frac{10}{z}$): — никогда борьба за определенную цель, любовь к поставленной цели, ненависть к врагу не исчезнет из привычек человека".

„Это—будущность насекомых, а не людей,—возражал другой (повидимому Рр):—никогда человек не откажется от стремления к осуществлению того, что он сознает, как истину и справедливость; никогда мыслящий человек, просвещенный наукою, не перестанет ненавидеть врагов ее и бороться против них. Наука не есть идиотическое примирение с существующим; это—орудие для осуществления лучшего".

„Великолепное будущее! Картина достойна самого последовательного представителя многопрославленной науки,—хрипел Kt.—Мир марионеток, сознавших, что они марионетки в мудреной игрушке, которою никто не играет! Бессмысленная и бесконечная агония существ, не имеющих ни малейшей надежды жить и не имеющих возможности даже умереть!"

На минуту спор затих. Собеседники очевидно собрались расходиться.

„Где же соберемся следующий раз?—спросил N.—Ваша очередь назначить, Рр".

Вдруг в совещание вмешался новый участник. Это был маленький старичок, очень просто одетый, который все время сидел молча в беседке направо. Он подошел к разговаривавшим.

„Извините, господа,—сказал он,—что я, человек вам совершенно незнакомый, позволяю себе вмешиваться в ваш разговор. Вы говорили так громко, что, очевидно, не имели в виду скрывать своих мыслей. Я слушал внимательно и не проронил ни слова. Разговор ваш касался общих предметов, а не частных дел, и потому именно я позволяю себе в него вмешаться. Замечания постороннего, может быть, будут не лишними в этом случае. Я, вероятно, имею пред собою учеников известного педагога, о котором много слышал, и который ставил в

основание своего учения два начала: самостоятельное развитие и последовательность. Именно на этих основаниях возможно бы, как мне кажется, вашим четырем воззрениям не стоять рядом, как равноправным учениям, допускающим, вследствие своей равноправности, полный скептицизм в теории и индифферентизм или произвольный выбор на практике. Вам следовало бы глубже заглянуть в природу человека, где развиваются в форме потребностей и стремление к исключительной монополии, и стремление к идеалу истины и справедливости, и религиозное верование, и научная критика. Проследив психологически последовательность развития этих потребностей, их элементы и их зависимость, можно бы правильнее судить о том, кто из вас ближе к истинному пониманию вопроса, кто далее от него; какие доли ваших воззрений расходятся настолько, что, признавая одно, следует бороться с другим, и какие доли представляют частные истины, допускают комбинации, развитие и более широкое научное целое. Если позволите, то я попробую сделать это.

Посмотрим, во-первых...“

Но тут я убедился, что мне приходится выслушивать еще новую, столь же бесполезную и, вероятно, еще более скучную речь, так как новый оратор говорил, запинаясь, повторяя слова или исправляя их, и, вообще, не привык, очевидно, произносить речь пред незнакомыми лицами. Не желая утомлять внимания вашего превосходительства дальнейшим отчетом, я встал, вышел из-за трельяжа в противную сторону и уехал.

III

Приложение

ОТЗЫВ ЦЕНЗОРА О СТАТЬЕ ЛАВРОВА

Доклад 22 марта 1872 г.

Для журнала „Дело“ представлена статья под названием Последовательные люди.

Она написана в форме отчета какого-то тайного агента к иностранному дипломатическому лицу и заключает в себе речи четырех представителей разных партий, существующих в Европе.

Начинает говорить разбогатевший буржуа и доказывает, что будущее принадлежит только одному капиталу, так как в настоящее время биржа—единственная сила в мире. Биржи управляют государствами; монархии, республики, конституции,

законы, судьи и самые догматы—все это старые формы; как совершенно лишние, они падут, и на развалинах их водрузит свое знамя капитал, который один будет управлять миром.

Ему начинает возражать социалист. Он, соглашаясь с тем, что капиталисты, пользуясь финансовыми затруднениями государств, могли бы мало-по-малу захватить власть в свои руки, но что они никогда этого не достигнут, доказывает, почему именно не достигнут. Что в настоящее время уже началась в Западной Европе война между представителями биржи и прдставителями труда—война на жизнь и на смерть. Исход же не подлежит сомнению: крепкая ассоциация людей труда, стремящихся неуклонно к своей цели и принявших своим девизом—неумолимость ко всему, что станет на их пути, такая ассоциация, конечно, одержит верх, и ей одной принадлежит будущее. Прогресс же, к которому они стремятся, не ограничивается торжеством одного класса людей над другим, труда над монополией, знания над традицией, ассоциации над конкуренцией; онн видят в своей победе нечто высшее: это будущее царство истины и справедливости, осуществление умственной и нравственной цели развития личности, общества и всего человечества.

Затем следует речь духовного лица. Он с яростью опрокидывается на своих оппонентов за то, что те все успехи хотят основать на одной науке, устраняя из своих планов действий участие религии, и в свою очередь топчет в грязь науку,—презрительно отзывается о всех вообще правительствах и провозглашает, что будущее принадлежит им, потому что их царство—царство вечной истины.

Беседа заканчивается рассуждениями четвертого лица, которого можно назвать позитивистом-индифферентистом. Он ни к чему не стремится, ничего не желает, ни отчего не печалится; он знает, что все, что свершается в природе и в истории, совершается по законам необходимости, что не в нашей воле изменить ход событий, и потому индифферентно относится к планам и надеждам трех ораторов, равно как и ко всем возможным общественным формам. Все существующее для него необходимо и потому оправдано; нравственный суд—заблуждение. Для него имеет значение одна наука; догматизм все более и более теряет почву под ногами, и придет время, когда человечество, отрекшись от догмата, отречется от метафизики в теории и в жизни. Последняя фраза этого ученого, так же, как и его предшественников, та, что позитивной науке, и ей одной, принадлежит будущее.

Автор упомянутых речей предпосылает им нечто в роде объяснений, где говорит, что он перевел их из случайно попавшей ему рукописи и готов был признать содержание ее скорее заметками медика о каких-либо сумасшедших, чем отчетом о разговоре между здравомыслящими людьми. Действительно, все эти речи отличаются парадоксальностью и, конечно, не выдержат и самой легкой критики. По существу своему они представляют не более, как безвредные мечтания о далеком будущем фанатиков-утопистов, которые при этом не стремятся осуществить свои мечтания путем революционной пропаганды с целью коренного переворота в формах общественной жизни. Только одна из них, именно речь буржуа, упоминает о бесполезности ныне существующих государств и правительств, при водворении на земле царства капитала; но нелепость этой мысли и невозможность ее исполнения доказывается убедительно последующей речью социалиста. Затем три остальные оратора выражают только желание облагодетельствовать человечество развитием в нем истины, справедливости и вечного мира. Таким образом, с одной стороны, эти речи представляются, как сказано выше, безвредными мечтаниями; но с другой стороны, принимая во внимание, что в каждой из них высказано несколько, уже далеко не безвредных, мыслей относительно догматов, начал нравственных и социальных, и что такие мысли остаются не опровергнутыми,— статья Последовательные люди, по мнению цензора, не может быть допущена в подцензурном издании.

И. д. Цензора *С. С. Юферов.*

Ек. Леткова

О Ф. М. Достоевском

Из воспоминаний

Это было в зиму 1878—1879 г. У Я. П. Полонского и его жены Жозефины Антоновны уже были тогда их знаменитые „Пятницы“,[1] и Яков Петрович как-то сказал мне ласково и внушительно:

— Вы непременно должны быть у нас в эту пятницу... Не пожалеете! На этот раз будет особенно интересно...

Жили тогда Полонские на углу Николаевской и Звенигородской, окнами на Семеновский плац.

В прихожей меня поразило количество шуб, висевших на вешалке и лежавших горой на сундуке, обилие галош и шапок, и рядом с этим полная тишина, полное отсутствие человеческих голосов.

— А-а!.. Пожалуйте! —приветливым шопотом встретил меня Яков Петрович на пороге первой комнаты.—Пожалуйте!..

Он по-дружески взял меня под локоть, провел через пустую залу с накрытым чайным столом и пропустил во вторую комнату.

Здесь у среднего из трех окон стоял кто-то, а вокруг его сплошной стеной столпились мужчины и нарядные женщины, старые и молодые,—и молча слушали. В первую минуту я могла только расслышать глухой, взволнованный голос:

— Холодно!.. Ужасно холодно было!! Это самое главное. Ведь с нас сняли не только шинели, но и сюртуки... А мороз был двадцать градусов...

И вдруг, в промежутке между стоявшими передо мной людьми, я увидела сероватое лицо, сероватую жидкую бороду,

---

[1] Об этих „Пятницах“ я говорю в другом месте моих воспоминаний.

недоверчивый, запуганный взгляд и сжатые, точно от зябкости, плечи.

„Да ведь это Достоевский!"—чуть не крикнула я и стала пробираться поближе. Да! Достоевский!.. Но совсем не тот, которого я знала по портретам с гимназической скамьи и о котором на Высших курсах Герье у нас велись такие оживленные беседы. „Тот" представлялся мне большим, ярким, с пламенным взглядом, с дерзкими речами. А этот — съежившийся, кроткий и точно виноватый. Я понимала, что передо мной Достоевский, и не верила, не верила, что это он; он—не только великий писатель, но и великий страдалец, отбывший каторгу, наградившую его на всю жизнь страшной болезнью.

Но, когда я вслушалась в то, что он рассказывал, я почувствовала сразу, что, конечно, это он, переживший ужасный день 22 декабря 1846 г., когда его с другими петрашевцами поставили на эшафот, на Семеновском плацу, для расстрела.

Оказалось, что Яков Петрович Полонский сам подвел Достоевского к окну, выходящему на плац, и спросил:

— Узнаете, Федор Михайлович?

Достоевский заволновался...

— Да!.. Да!.. Еще бы... Как не узнать?..

И он мало-по-малу стал рассказывать про то утро, когда к нему, в каземат крепости, кто-то пришел, велел переодеться в свое платье и повез... Куда? Он не знал, как и не знали его товарищи... Все были так уверены, что смертный приговор хотя и состоялся, но был отменен царем, что мысль о казни не приходила в голову. Везли в закрытых каретах, с обледенелыми окнами, неизвестно куда. И вдруг — плац, вот этот самый плац, под окном у которого сейчас стоял Достоевский.

Я не слышала начала рассказа Федора Михайловича, но дальше не проронила ни одного слова.

— Тут сразу все поняли... На эшафоте... Чей-то чужой, громкий голос: „Приговорены к смертной казни расстрелянием"... И какой-то гул кругом, неясный, жуткий гул... Тысячи красных пятен обмороженных человеческих лиц, тысячи пытливых живых глаз... И все волнуются, говорят... Волнуются о чем-то живом. А тут смерть... Не может этого быть! Не может!.. Кому понадобилось так шутить с нами? Царю?.. Но он помиловал... Ведь это же хуже всякой казни... Особенно эти жадные глаза кругом... Столбы... Кого-то привязывают... И еще мороз... Зуб на зуб не попадал... А внутри бунт!.. Мучительнейший бунт... Не может быть! Не может быть, чтобы я, среди этих тысяч живых,—через каких-нибудь пятьдесят минут

уже не существовал бы!.. Не укладывалось это в голове, и не в голове, а как-то во всем существе моем.

Он замолчал и вдруг совершенно изменился. Мне показалось, что он никого из нас не видел, не слышал перешептывания; он смотрел куда-то вдаль и точно переживал до мелочей все, что перенес в то страшное морозное утро.

— Не верил, не понимал, пока не увидал креста... Священник... Мы отказались исповедоваться, но крест поцеловали... Не могли же они шутить даже с крестом!.. Не могли играть такую трагикомедию... Это я совершенно ясно сознавал... Смерть неминуема. Только бы скорее... И вдруг напало полное равнодушие... Да, да, да!! Именно равнодушие. Не жаль жизни и никого не жаль... Все показалось ничтожным перед последней страшной минутой перехода куда-то... в неизвестное, в темноту... Я простился с Алексеем Николаевичем,[1] еще с кем-то... Сосед указал мне на телегу, прикрытую рогожей. „Гробы!"—шепнул он мне... Помню, как привязывали к столбам еще двоих... И я, должно быть, уже спокойно смотрел на них... Помню какое-то тупое сознание неизбежности смерти... Именно тупое... И весть о приостановлении казни воспринялась тоже тупо... Не было радости, не было счастья возвращения к жизни... Кругом шумели, кричали... А мне было все равно,— я уже пережил самое страшное. Да, да!!. Самое страшное... Несчастный Григорьев сошел сума... Как остальные уцелели?—Непонятно!.. И даже не простудились... Но...

Достоевский умолк. Яков Петрович подошел к нему и ласково сказал:

— Ну, все это было и прошло... А теперь пойдемте к хозяюшке... чайку попить.

— Прошло ли?—загадочно сказал Достоевский.[2]

Он стал точно восковой: желтовато-бледный, глаза ввалились, губы побелели и страдальчески улыбнулись. И мне ясно представился весь его крестный путь: эта пытка ожидания казни, замена ее каторгой, Мертвый дом со всеми его ужасами: никогда не снимаемыми кандалами (даже в бане), грязью и вонью камер, с самодурством надзирателей; и все вынес вот этот

---

[1] Плещеевым.

[2] Когда я записала этот вечер у Полонских и,—всегда боясь „достоверных свидетельств",—прочла Якову Петровичу, чтобы проверить так ли передала я слова Достоевского, Яков Петрович добавил, что последняя фраза Федора Михайловича: „Прошло ли?"—намекает на его болезнь (падучая) развившуюся на каторге, но зародившуюся, как он предполагал, на эшафоте...

маленький человек, показавшийся мне вдруг таким большим среди всех нас, окружавших его.

И я забыла про различие направлений и политических идеалов, о которых так много говорилось у нас на Высших курсах среди молодежи, забыла о „Бесах", которых мы все ненавидели. Я сознавала только то, что передо мной стоял *Достоевский*. Чувство невероятного счастья, того счастья, которое ощущается только в молодости, охватило меня. И мне захотелось броситься на колени и поклониться его страданию...

Его сейчас же окружили его знакомые, и он добродушно отвечал дамам, усадившим его за стол между собой, и отвечал на их обыкновенные комнатные слова такими же обыкновенными комнатными словами. Кругом все разом заговорили, о своем, о чужом. Яков Петрович подводил всех к столу, усаживал пить чай и шел встречать новых гостей; Жозефина Антоновна ласково улыбалась подходившим к ней поздороваться и угощала чаем. Точно не случилось ничего необыкновенного...

Я смотрела на Достоевского, и мне казалось, что он стал совсем другим—и похожий и не похожий на того, что стоял у окна, как бывают не похожи два фотографических снимка с одного и того же лица. Он равнодушно отвечал что-то своей соседке и со сдержанной улыбкой передал ей сухари...

Вскоре после этого был назначен очередной литературный вечер Литературного Фонда в б. Кононовском зале. Участвовали, как всегда, литературные корифеи, в том числе и Федор Михайлович Достоевский.

Я пошла не без волнения послушать, как читает Федор Михайлович. И, действительно, все мои ожидания не только оправдались, но и превзошли все, что я воображала. Передо мною был опять великий писатель, страдавший в своих писаниях не только за меня, за нас, но за всех людей. Когда он читал „Пророка", казалось, что Пушкин именно его и видел перед собой, когда писал: „Глаголом жги сердца людей".

Аплодисменты и неистовые крики были такими ненужными и назойливыми после его тихого, внутреннего голоса. Я вышла из залы и наткнулась на П. И. Вейнберга, всегдашнего устроителя этих вечеров.

— Пойдемте в артистическую,—сказал он.—Там найдете ваших знакомых.

И действительно я наткнулась прямо на Григоровича и Гончарова, которых встречала часто у моей сестры Ю. П. Маковской.

Достоевский сидел в стороне, один, усталый, раздавленный. Я не решалась подойти к нему, сомневалась, запомнил ли он меня. Но, когда он взглянул в мою сторону и я поклонилась ему, он встал, и я подошла к нему. У него была какая-то особая „светская" манера подавать руку, внимательно-сдержанная учтивость и условность тона, какая всегда бывает, когда говоришь с малознакомым человеком. Мне было совестно, что он, такой утомленный, все-таки встал с кресла, и я сказала:

— Сядьте, пожалуйста, сядьте, Федор Михайлович.

Но он не сел и, точно чтобы только сказать что-нибудь, с особой любезно-иронической усмешкой проговорил:

— Слышал от Якова Петровича, что вы пописываете...

— Готовлюсь, Федор Михайлович.

— Постом и молитвою?—все с той же иронией сказал он.

— Почти.

Он как-то неожиданно серьезно проговорил:

— Вот это хорошо... Так и надо.

И опять он показался мне „иным". В нем как-то сочетались два разных человека, и потому получались совершенно разные—я бы сказала—противоположные впечатления.

Подошел шумный Григорович и, не считаясь с настроением Достоевского, взял его за руку и сказал:

— Горло промочить, Федор Михайлович...

Увидя меня, он по-приятельски (он был особенно близок с моим зятем К. Е. Маковским, и мы очень часто видались) взял меня под руку и повел к чаю.

В „артистической" был накрыт стол, и за ним сидели участники этого вечера. И меня посадили между ними... Петр Исаевич Вейнберг незадолго перед смертью, значит, лет через 25—30, вспоминая об этом вечере, смеялся над моим тогдашним „восторженным" видом и „ожидающими откровения глазами"...

Это было первое допущение меня в литературную среду, конечно, не в качестве равной среди равных, но уже в качестве своего человека, никого не стесняющего. Я никому не мешала, и мне никто не мешал слушать и запечатлевать все в сердце и в голове.

Заговорили о Балканах, о „братушках", о нашей миссии на Востоке, по поводу известной картины „Скобелев перед войсками", где белый генерал мчится на белом коне перед окаменевшими полками. Достоевский молчал. Турецкая война, воспламенившая вначале даже таких людей, как сотрудники

„Отечественных записок", скоро всколыхнула со дна столько мутных осадков и человеконенавистнических инстинктов, что отношение к ней было не только критическим, но прямо враждебным.

— „Крест на св. Софии?.."—с гневно подчеркнутой иронией кричал Григорович.

Достоевский встал и отошел в сторону.

Позвонил звонок. Антракт был кончен. Началось второе отделение, и все, или почти все пошли слушать какую-то певицу. Достоевский взял шапку, чтобы незаметно уйти; мне показалось, что я уже никогда в жизни не увижу его, и я смело подошла к нему.

И вот, что у меня записано в книжке 1879 года:

„Достоевский сказал:—Никогда не продавайте своего духа... Никогда не работайте из-под палки... Из-под аванса. Верьте мне... Я всю жизнь страдал от этого, всю жизнь писал торопясь... И сколько муки претерпел... Главное, не начинайте печатать вещь, не дописав ее до конца... До самого конца. Это хуже всего. Это не только самоубийство, но и убийство... Я пережил эти страдания много, много раз... Боишься не представить в срок... Боишься испортить... И наверное испортишь... Я просто доходил до отчаяния... И так почти каждый раз..."

Помню, как потрясли меня эти слова. Федор Михайлович был особенно нервный в тот вечер. Вероятно, шумный успех, пламенное чтение Пушкина, наконец, страшно больной для него вопрос—славянский вопрос—до того взволновали его, что он мог так горячо и искренно говорить с совершенно незнакомой ему девушкой, подошедшей к нему как к другу, как к брату.

Несколько дней после того вечера я ходила как-то особенно взволнованная и решила отправиться на квартиру к Федору Михайловичу. Зачем пойти?— не отдавала себе отчета, но чувствовала потребность еще услышать его.

Случайно у Маковских, в один из этих дней, обедал И. А. Гончаров, и, когда я незаметно свела разговор на Достоевского, он сказал вяло, равнодушно, как всегда, как бы не придавая значения своим словам:

— Молодежь льнет к нему... Считает пророком... А он презирает ее. В каждом студенте видит ненавистного ему социалиста. В каждой курсистке...

Гончаров не договорил. Хотел ли сказать какое-нибудь грубое слово, да вспомнил, что и я курсистка, и во-время остановился,—не знаю.

Я не пошла к Федору Михайловичу.

Скоро я уехала домой, в Москву, увозя с собой образ Достоевского — великого писателя, к которому прибавился еще ореол мученика. Я, конечно, знала биографию Достоевского и с этой стороны, но читать про человеческие муки—это одно, а слышать от него самого, вложить, так сказать, персты в раны—это другое. И я решила ничего не говорить о Достоевском на курсах, чтобы не поднимать горячих споров об его ретроградстве, славянофильстве, обо всем том, что ставила ему в упрек тогдашняя молодежь.

Но это было трудно. Достоевский занимал слишком большое место в общественной и политической жизни того времени, чтобы молодежь так или иначе не отзывалась на его слова и приговоры. В студенческих кружках и собраниях постоянно раздавалось имя Достоевского. Каждый номер „Дневника писателя" давал повод к необузданнейшим спорам. Отношение к так называемому „еврейскому вопросу", отношение, бывшее для нас своего рода лакмусовой бумажкой на порядочность,— в „Дневнике писателя" было совершенно неприемлемо и недопустимо: „Жид, жидовщина, жидовское царство, жидовская идея, охватывающая весь мир"... Все эти слова взрывали молодежь, как искры порох. Достоевскому ставили в вину, что турецкую войну, жестокую и возмутительную, как все войны, он приветствовал с восторгом. „Мы [Россия] — необходимы и неминуемы и для всего восточного христианства и для всей судьбы будущего православия на земле, для единения его... Россия — предводительница православия, покровительница и охранительница его... Царьград будет наш..."

Все эти слова принимались известной частью общества с энтузиазмом,— молодежь же отчаянно боролась с обаянием имени Достоевского, с негодованием приводила его проповедь „союза царя с народом своим", его оправдание войны и высокомерие... „если мы захотим, то нас не победят!!"

Турецкая война с ее сомнительными героями и никому не нужными жестокими геройскими подвигами (вроде Шипки) еще продолжала волновать общественную совесть. Вначале, когда в ней видели народную инициативу и протест против правительства, когда казалось, что она поможет разрешить и наши проклятые вопросы, т. е. попросту ускорить взрыв революции,—Балканский вопрос привлекал к себе симпатии и крайней левой части общества: „Отечественные записки" уделяли ему сочувственное внимание (Елисеев, Михайловский), а такие революционеры, как Степняк-Кравчинский, М. П. Сажин,

Д. А. Клеменец и другие даже принимали участие в добровольческом движении.

А рядом с ними шли сотни, тысячи никудышных людей, тех, кому некуда было деться в современной им действительности, шли и нежелавшие нести какую бы то ни было работу, или вояки в душе, жаждущие кровопролития. И они, как известно, так безобразно вели себя, что весною 1877 г. сербское правительство в 48 часов выгнало русских „волонтеров“ из пределов Сербии. Взгляды на восточный вопрос мало-по-малу передвинулись, и печать как-то незаметно разделилась на два лагеря. Всем было ясно, к которому из них присоединится Достоевский.

В таком настроении застали его знаменитые „Пушкинские дни“. После долгих серых лет труднейшей работы русских писателей, после мрачного подполья—вдруг явилось какое-то всенародное признание литературы в лице великого Пушкина. Открытие памятника ему стало (может быть даже и помимо воли устроителей) национально-общественным торжеством и разрослось в настоящее историческое событие.

Молодежь, хотя (уже надо покаяться!) тогда далеко стоявшая от Пушкина, встрепенулась. К тому времени, правда, Писарев уже был забыт, о „печном горшке“ никто уже не говорил, но и о Пушкине не говорили. У нас (т. е. у поколения 70-х годов) был Некрасов. Пушкина же любили „индивидуально“. Конечно все его читали, многие его строки входили в ту ненапечатанную „хрестоматию“, которую создает себе каждое новое поколение. Но о нем не было повода говорить, пока не появился памятник на Тверском бульваре. Помню наше возмущение по поводу того, что на одной из сторон цоколя оказалась переделанной строка Пушкина: вместо: „И долго буду тем любезен я народу“ высечено: „И долго буду тем народу я любезен“...

Причина та, что слово „народу“ неизбежно бы притягивало сакраментальное слово „свободу“...

Помню, с каким восторгом мы распределяли полученные на курсах билеты „На открытие памятника Пушкину“.

Я позволю себе привести здесь отрывки из моей записной книжки 1880 года.

ИЮНЬСКИЕ ДНИ 1880 г. В МОСКВЕ

„*7 июня*. Какой день был вчера? Говорят, утром шел дождь? Не заметила. Кажется, весь день светило солнце, а когда

упал покров с Пушкина, оно так и рассыпалось на нас... Вся площадь была унизана плотно-плотно людьми... Мы забрались рано. У нас были прекрасные места: направо от памятника, у церкви, над забором. Все видели отлично. Пока шла обедня в Страстном, на площади, у памятника, под колыхавшеюся на нем парусиной, шло никогда невиданное торжество. Знамена депутатов, значки цехов и на первом месте „литература". Какая радость для нас (курсисток) было видеть перед собою живыми таких близких, таких знакомых нам авторов. Что за прелесть эти длинные седые бороды, длинные волосы, оживленные лица, бодрые жесты. Они собрались все вместе налево у памятника: И. С. Аксаков, С. А. Юрьев, А. Н. Плещеев, А. А. Потехин, А. Н. Островский, Д. В. Григорович, П. И. Вейнберг, Н. Н. Страхов, С. В. Максимов и, наконец, И. С. Тургенев. Вчера был их праздник: праздник русской мысли, русского слова, русского писателя... Все чувствовали это. Слились все возрасты, стерлись сословия... У всех одинаково блестели глаза, и у старых, и у молодых, все чувствовали какое-то счастье...

... Когда спала завеса, скрывавшая памятник, у меня дух захватило; я уверена, что у всех также... и, конечно, не от красоты его, а потому, что тот, кем жила в ту минуту многочисленная толпа, появился над ней, среди нее. Кругом кричали, смеялись, плакали...

Тургеневу, когда он садился в коляску на площади, сделали настоящую овацию, точно вся эта толпа безмолвно сговорилась и нарекла его наследником Пушкина. И в университете, куда мы сейчас же отправились на торжественное заседание О-ва любителей русской словесности,— опять Иван Сергеевич был центром внимания. Избрание его в почетные члены было встречено с такими радостными кликами, каких, конечно, не слыхали еще стены университета.

... Речь нашего Ключевского — лучше всех. Какое громадное значение придает он Пушкину и, как историку, именно в художественном произведении его „Капитанская дочка". „История Пугачевского бунта"—только историческое примечание к ней... XVIII век в России... Русский чувствует себя рожденным не европейцем, а обязанным сделаться европейцем...

...Вечером „Благородное собрание". До рассвета... И опять Пушкин сливается с Тургеневым. Мы забрались за колонны, к эстраде, чтобы видеть поближе участников. Прошел, странно съежившись, Ф. М. Достоевский (днем я его не видела), степенно проследовал Островский; прошел Писемский, пере-

валиваясь с ноги на ногу; пролетел Григорович с длинными седыми „баками“, и все скрылись за эстрадой, в круглой комнате...

... Ник. Рубинштейн продирижировал оркестром (увертюра „Русалки“), Самарин — „Скупой рыцарь“ (восхитительно), и опять „они“. Такие старенькие и такие бодрые, живые, трепетные... Достоевский как-то по-особенному прочел монолог Пимена и прочел прекрасно. Писемский бодро — „Гусара“; Островский — отрывок из „Русалки“, Григорович — „Кирджали“ (немного долго), Потехин — „Полтаву“, Тургенев — „Опять на родине“. Читал тихо, но было что-то в его чтении, несмотря на старческую шепелявость и слишком высокий голос, завораживающее... Выходил на вызовы семь раз.

Когда мы, человек двенадцать, шли домой, уже светало. И не устали... Жалели только, что такой день прошел... И, идя по московским переулкам, повторяли: „Довольно! Сокройся! Пора миновалась, земля освежилась, и буря промчалась!!“

8 июня. Вчера день был мучительно хороший. Не знаю, что и записывать. Речь Достоевского... Маша Шелехова упала в обморок. С Паприцем сделалась истерика. А я слушала и злилась. Ирония, с какой Достоевский говорил об Алеко, мучила. „Мечта о всемирном счастье. Дешевле не возьмет русский скиталец!..“

Что это? Не хотелось верить своим ушам, не хотелось понимать так, как это понимал Достоевский. И не я одна, а очень многие так же реагировали на его слова, как и я. И как-то без уговора перенесли все симпатии на Тургенева. Стоило Достоевскому упомянуть имя Лизы Калитиной (из „Дворянского гнезда“), как о родственном Пушкинской Татьяне „типе положительной женской красоты“,—чтобы его речь была прервана шумной овацией Тургеневу. Весь зал встал и загремел рукоплесканиями. Тургенев не хотел принимать этих оваций на себя, и его насильно вывели на край эстрады. Он был бледен и сконфуженно кланялся. Конечно, Лиза не наш идеал, как не идеал и Татьяна с ее „рабским“: „я другому отдана и буду век ему верна...“ Мы преклоняемся перед Еленой с ее жаждой деятельного добра, с ее смелостью и самоотверженной любовью. Она является в русской литературе первой политической деятельницей, которых в России так много, как ни в одной стране, а упоминание о Лизе было для нас просто поводом к выражению Тургеневу нашей солидарности с ним, а не с Достоевским, речь которого была насыщена выпадами против западников, а, значит, и против Тур-

генева. Овации ему вырвались, может быть, и бессознательно, но после заседания уже совершенно осознанно явилась потребность выразить Ивану Сергеевичу, на чьей стороне мы видим правду. Было решено подать венок Тургеневу".

Вот непосредственное впечатление рядовой курсистки о том „событии", как называли речь Достоевского.

Конечно, это было событие, о котором говорили самые разные люди и которое вспоминают и до сих пор. По внешнему впечатлению кажется, ничто не может встать рядом с тем днем 8 июня 1880 года, когда в громадном зале б. Дворянского собрания, битком набитом интеллигентной публикой, раздался такой рев, что, казалось, стены здания рухнут. Все записавшие этот день сходятся на этом. Но, право, не все, далеко не все, одинаково восприняли вдохновенно сказанные слова, прозвучавшие в этом зале с такой неслыханной до того времени художественной мощью. Речь была *так* сказана, что тот, кто сам не слыхал ее, не сможет объяснить произведенного ею впечатления на большинство публики. Но была и другая часть, вероятно, меньшая, та левая молодежь, которая сразу встала на дыбы от почти первых же слов Достоевского. Отчасти этому содействовало, может быть, то, что Достоевский явился на Пушкинский праздник не как писатель Достоевский, один из славных потомков Пушкина, а как представитель Славянского благотворительного общества. Это, может быть, создало предвзятую точку зрения, так как — повторяю — молодежь в то время непрерывно вела счеты с Достоевским и относилась к нему с неугасаемо критическим отношением после его „патриотических" статей в „Дневнике писателя". О „Бесах" я уже и не говорю.

Понятно, что, когда Достоевский заговорил о „несчастном скитальце в родной земле", о бездомных скитальцах, которые „продолжают и до сих пор свое скитальчество", некоторые из нас переглянулись между собой. „И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы,—сказал он,—искать у цыган своих мировых идеалов... то все равно ударяются *в социализм*, которого еще не было при Алеко, ходят с новой верой... что достигнут в своем *фантастическом делании* целей своих и счастья не только для себя самого, но и *всемирного*, ибо русскому скитальцу *необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться:* дешевле он не примирится!!"

Это было сказано с такой тончайшей иронией и вместе с тем с такой непреклонной верой в правоту своих убеждений, что многие, даже среди молодой публики, были настолько

захвачены художественным пафосом Достоевского, что не могли сразу разобраться. Но для других — ни вдохновение, с каким говорил Достоевский, ни его растроганный голос, ни бледное взволнованное лицо не заслонили содержания речи и ее громадного отрицательного значения.

Кроме насмешки над „русским скитальцем", его резкие выпады против западников, проповедь „смиренного" общения с народом и личного совершенствования в христианском духе, рядом с презрительным отношением к общественной нравственности,—определенно поставили Достоевского вместе с врагами того движения, которое владело в эту эпоху всеми симпатиями молодежи.

Только что перед этим „Московские ведомости" Каткова обличили Тургенева в помощи Бакунину. Достоевский же считался в этом вражеском катковском лагере „своим", принадлежащим к охранителям самодержавия, и все знали, что его „Дневник" читался в высших бюрократических кругах. Надо было отмежеваться от него, показать, что *мы* не на его стороне, и, как поссорившиеся родители дерутся с детьми, так молодежь стала драться с Достоевским Тургеневым.

Еще до речи Достоевского на Пушкинском празднике уже определилось первое место Тургенева, и у подножья памятника, и в университете, и на всех празднествах, где бы ни появился этот седой гигант, он был первым лицом. Но и на всех литературных собраниях, так распространенных в то время среди молодежи, Достоевскому неизменно противопоставлялся Тургенев и, может быть, преувеличивались преступления против жертвенных стремлений молодежи—одного и раздувалось значение в этом смысле—другого.

Но время было боевое, и молодежь была беспощадна. Все симпатии были направлены в одну сторону... И даже к Пушкину подходили больше с общественно-политической точки зрения.

Понятно, что при таком настроении речь Достоевского только подлила масла в огонь и обострила враждебное отношение к нему молодежи и прогрессивной части печати.

Но разгорелось это не сразу. Нужно было известное время, чтобы, как говорил Глеб Иванович Успенский, „очухаться" от ворожбы Достоевского.

Сам Успенский,—для которого социализм был тоже своего рода религией,—написал непосредственно после речи Достоевского почти восторженное письмо в „Отечественные записки". Его заворожило то, что впервые публично раздались слова

о страдающем скитальце—(читай—социалисте),—о всемирном, всеобщем, всечеловеческом счастьи. И фраза „дешевле он не примирится" прозвучала для него так убедительно, что он не заметил ни иронии, ни дальнейшего призыва: „Смирись, гордый человек!" И только когда он прочел стенограмму речи Достоевского в „Московских ведомостях", он написал второе письмо в „Отечественные записки", уже совершенно в ином тоне. Он увидел в словах Достоевского „умысел другой". „Всечеловек" обратился в былинку, носимую ветром, просто в человека без почвы. Речь Татьяны—проповедь тупого, подневольного и грубого жертвоприношения; слова „всемирное счастье, тоска по нем" потонули в других словах, открывавших Успенскому суть речи Достоевского, а призыв: „Смирись, гордый человек" (в то время, как смирение считалось почти преступлением)—зачеркнул все обаяние Достоевского. И это осталось так на всю жизнь. Недаром при первом свидании с В. Г. Короленко Успенский спросил его:

— Вы любите Достоевского?

И на ответ В. Г., что не любит, но перечитывает, Успенский сказал:

— А я не могу... Знаете ли... У меня особенное ощущение... Иногда едешь в поезде... И задремлешь... И вдруг чувствуешь, что господин, сидящий напротив тебя... тянется к тебе рукой... И прямо, прямо за горло хочет схватить... Или что-то сделать над тобой... И не можешь никак двинуться...

И вот это чувство власти Достоевского над ним, с одной стороны, и какая-то суеверная боязнь этого обаяния („И не можешь никак двинуться") остались у Г. И—ча на всю жизнь.

Вспоминаю одну из наших последних бесед с ним по поводу статьи Михайловского о Достоевском. Глеб Иванович уже заболел своей страшной болезнью, но это было почти незаметно. Он очень горячо говорил, вдруг замолчал и, точно поверяя мне какую-то тайну, прошептал:

— Знаете... он просто чорт.

Когда после летних каникул 1880 г. мы собрались на первую студенческую вечеринку, где-то в школе у Сухаревой башни, мы почти забыли о Достоевском. Но стоило кому-то принести номер „Дневника писателя" с речью и ответом критикам, чтобы снова загорелся совершенно дикий спор. Достоевский тогда кончал Карамазовых, дошел до крайних высот своего творчества, а в „Дневнике" являлся настолько чуждым молодым его читателям, что они могли забыть всю

его художественную мощь и с пеной у рта кричать о нем, как о политическом враге.

Когда кто-то попытался напомнить товарищам о значении Достоевского, как великого художника, с его скорбной любовью к человеку и великим состраданием к нему, это вызвало такие резкие споры и пламенные раздоры, что пришлось перевести разговор на страшные переживания Достоевского, на каторгу, перестраданную им. Кто-то закричал: „Это все зачеркнуто его же заявлением: Николай I должен был так поступить... Если-бы не царь, то народ осудил-бы петрашевцев!"

— Забудьте публицистику... Великий художник... „Преступление и наказание....

— А „Бесы"?..— Пасквиль на Тургенева!! А высмеивание Грановского?! А презрительное отношение к Герцену, к Кавелину!..

Это все были наши боги, и, конечно, для Достоевского не нашлось слов оправдания.

Но если Достоевский не находил созвучного отклика среди известной части читателей, то, с другой стороны, никогда ни один русский писатель не имел такого успеха в так называемом „обществе", как Достоевский, в этот последний год его жизни. Неославянофильское направление разливалось все шире и шире; боязнь террористических актов вызывала ненависть к учащейся молодежи, солидаризировавшейся с социалистами; вера в божественную миссию русского народа успокаивала сердца и наполняла их гордостью... Все это находило себе исход в поклонении Достоевскому, и его буквально раздирали на части: ему писали сотни писем, и он считал долгом отвечать; к нему с утра приходили люди, старые и молодые, искать у него ответа на мучившие их вопросы или высказать ему свое преклонение, и он принимал их, всех выслушивал, считал своим долгом не отталкивать никого. По вечерам он бывал на заседаниях самых разнообразных обществ, на журфиксах, на литературных вечерах. А рядом с этим у него шла напряженная работа: он объявил опять подписку на „Дневник" и готовил первый номер к январю 1881 года. Когда он мог работать и как вообще мог жить?— Непонятно! К его постоянной болезни присоединилась эмфизема, и он страшно похудел.

Когда я увидела его (в октябре или ноябре 1880 г.), я была поражена его страдальческим видом, может быть оттого, что обстановка, в которой я встретила его, была необычайно праздничная.

Маркиза Паулуччи, хозяйка дома, где жила сестра моя, давала благотворительный вечер — „С участием известных артистов и Федора Михайловича Достоевского".

Когда мы вошли в ярко освещенную залу, переполненную нарядными дамами и блестящими мундирами, я сразу увидела Федора Михайловича. Он стоял у двери в следующую за залой комнату, во фраке (слишком широком), и слушал с напряженным вниманием высокую стройную девушку, немного склонившуюся к нему, так как он был значительно ниже ее. Он показался мне еще меньше, худее и бледнее, чем прежде. И так захотелось увести его отсюда, от всех этих ликующих людей, которым, думалось мне, не было никакого дела ни до литературы вообще, ни до Достоевского в частности. Но сам Федор Михайлович, очевидно, чувствовал себя вполне хорошо; к нему подходили единомышленники (которых здесь было большинство), жали ему руки; дамы, всегда заискивающие у „знаменитостей", говорили ему любезности, хозяйка не скрывала своей радости, что у нее в салоне — сам Достоевский.

Федор Михайлович спокойно, с достоинством слушал, кланялся, болезненно улыбался и точно все время думал о другом, точно все хвалебные и льстивые речи шли мимо него, а внутри шла какая-то своя большая работа.

Позже я слышала, что Достоевский любил „высший свет", как любили его Пушкин, Лермонтов, отчасти Тургенев. Очень может быть, что Федора Михайловича влекло в него сочувствие тем своим идеям, в которых он расходился с собратиями по литературе и с большей частью так называемой интеллигенции. Известно, что он, в особенности в последний год своей жизни, имел очень много друзей в „высшем свете" и охотно поддерживал отношения с ними.

Я через много лет (1920 г.) случайно увидала подтверждение этого. Одна дама из б. большого света, Л. В. Г., обратилась ко мне с вопросом: не купит ли кто-нибудь у нее письмо Достоевского, случайно уцелевшее у нее после разгрома ее имения? В эту эпоху при „Доме литераторов" издавался журнал „Летопись", и литературный материал был нам нужен. Я взяла от Л. В. Г. письмо (несомненно написанное самим Достоевским) и попросила ее изложить мне историю его.

„В средине сентября 1875 г., — пишет она, — я по совету нашего друга С. П. Боткина начала лечиться у д-ра Симонова сгущенным воздухом:

Надо было сидеть два часа под колоколом с герметически закрытой дверью. На первом же сеансе я начала огляды-

вать всех с нами находящихся и увидала рядом со мною, с правой стороны, человека с очень бледным, т. е. желтым, лицом, очень болезненным; он сидел согнувшись в кресле, с „Русским вестником“ в руках, и как бы весь ушел в интересное чтение, не обращая никакого внимания на окружающих. Когда машина загудела очень шумно и дверь закрылась так, что уже ее никакими силами нельзя было открыть, мой сосед справа, не меняя своего положения в кресле, повернул немного голову в мою сторону и, глядя на меня через стекла очков или пенснэ (не помню), сказал мне не без иронии:

— Сударыня. Я слышу, что вы очень нервны, за вас все волнуются... так я должен вам сказать, что я эпилептик, что припадки падучей у меня очень часты...

И он так сильно закашлялся, что я с минуту не могла ничего ответить ему; потом, наконец, сказала:

— Ну, бог даст, ничего с вами не будет, и, во всяком случае, можно ли говорить о каком-то испуге и как это может отразиться на мне... Скажите лучше, чем и как вам помочь если „это“ случится...

Он приподнялся, сложил книгу и громко, совсем другим голосом сказал, осматривая меня с головы до ног:

— Ах, вот вы какая.

С этой минуты у нас завязался оживленный разговор, и мы не обращали внимания на окружающих, которые, как и доктор Симонов, севший под колокол специально для того, чтобы следить за моей нервностью, с интересом слушали моего соседа. Он шутил, смеялся и по выходе из колокола уговорился со мною встретиться здесь на следующий день в этот же час. Действительно, мы встретились и опять сели рядом и опять оживленно заговорили... Наконец, он сказал:

— Я не умею разговаривать, не употребляя имя и отчество... Скажите мне, пожалуйста...

Я не дожидаясь ответила и прибавила:

— А вы?

— Федор Михайлович Достоевский.

Я испугалась...

Почему?

Мне стало страшно, что я не так разговаривала с ним, как бы нужно.

Мы продолжали видеться под колоколом ежедневно. Он перестал приносить книгу; я перестала бояться...

Федору Михайловичу очень хотелось иметь фотографический снимок с нашей группы под колоколом. Как-то привели

фотографа, и мы все сели на свои места, и Федор Михайлович торжествовал. Но снимок не удался, и Федор Михайлович принял это так раздраженно, так рассердился, что я не знала, как и чем его успокоить.

— Пойдемте ко мне пить чай, — предложила я.

И он пришел. И стал приходить ежедневно; а когда он читал где-нибудь, то я обязательно должна была ехать туда и сидеть в первом ряду. Ко мне он приходил всегда с какой-нибудь книгой и читал вслух. Так он прочел мне „Анну Каренину", делал свои замечания, обращая внимание на то или другое выражение Толстого. „Каждый писатель,— говорил он,— вводит в литературу не только свои выражения, но и свои слова".

Обыкновенно чтение его кончалось сильным приступом кашля, и я отнимала у него книгу. Я больше любила слушать его рассказы; с искренним интересом следила я за каждым его словом. Помню, как он говорил, что его раздражительность дома доходит до того, что он не может работать. Помню, как он рассказал мне про студенческие кружки, про тот день, когда его арестовали; помню, как настойчиво просил познакомить его с моими родителями, говоря, что это очень важно для познания меня... В 1876 г. он уехал лечиться в Эмс, и мы решили переписываться. Переписка установилась дружеская, но грустная..."

Приложенное к этому пояснению письмо из Эмса не могло, конечно, ничего прибавить к биографии Федора Михайловича; но в нем было драгоценно проявление нежного участия, которое он умел принимать в человеке, совершенно чуждом ему и по положению, и по той жизненной обстановке, в которой он находился, а главное—давало понятие, в какой среде любил вращаться Федор Михайлович и с каким удовольствием описывал он свои встречи и беседы со светскими людьми и как вникал в занимавшие их „истории".

Письмо это, конечно, было куплено для напечатания в „Летописи дома литераторов"; но через несколько дней ко мне позвонила Л. В. Г-на, прося отдать ей назад это письмо, „единственное оставшееся у нее от переписки с Достоевским и которое она до сих пор хранила как святыню". Я сочувствовала ей: таких писем не продают (даже во время голода), и я сейчас же пошла в редакцию „Летописи", взяла письмо и отдала его Г-ной.

Но копия с него где-то хранится. Может быть, в архиве Дома литераторов.

В последний раз я видела Достоевского в гробу. И это был опять другой Достоевский. Ничего от живого человека: желтая кожа на костяном лице, едва намеченные губы и полный покой. Страстность его недавней полемики по поводу речи на Пушкинском празднике, пафос его верований и упований — и совершенно необычайный дар жечь сердца людей — были плотно закрыты костяной маской...

Похороны Достоевского описаны сотни раз. Они, конечно, были тоже „событием". Но кроме того они были и символичны. Поклониться ему и проститься с ним пришли люди самых разнообразных направлений, самых непримиримых взглядов: старые, молодые, писатели, генералы, художники и просто какие-то люди, униженные и оскорбленные, люди „с чердаков и из подвалов", а главное, молодежь, всегда, в конце концов, чующая правду... Она — эта молодежь — окружала гроб надежной цепью сильных рук и не допустила полицию „охранять порядок".

Непосредственно за гробом шли: А. Н. Плещеев, бывший когда-то вместе с Федором Михайловичем приговоренным к смертной казни; генерал Черняев, сербский герой, друг Достоевского по Славянскому обществу, много художников и, конечно, вся литература.

Затем шли депутации с венками (больше семидесяти) и хоры, без перерыва певшие „Вечную память..."

А затем — толпа, многотысячная толпа, молчаливая, благоговейная...

Одну минуту на Владимирской площади произошел какой-то переполох. Прискакали жандармы, кого-то окружили, что-то отобрали. Молодежь сейчас же потушила этот шум и безмолвно отдала арестантские кандалы, которые хотела нести за Достоевским и тем отдать ему долг, как пострадавшему за политические убеждения.

Все хоронили Достоевского, как „своего".

— Великого художника хороним! — сказал, подходя к нашей группе (или, вернее, к группе К. Е. Маковского), Ив. Ив. Шишкин.

— И великого патриота... — добавил кто-то...

Ни о какой розни, так громко заявлявшей себя все последнее перед смертью Федора Михайловича время, конечно, не было и помину. Шли с полным сознанием утраты большого человека, гениального писателя, который мог бы дать человечеству еще много, много художественных радостей.

Возвращались мы с кладбища уже под вечер. Надгробные речи еще звучали в ушах; на Невском шла своя жизнь, шумная

жизнь сегодняшнего дня, кажущаяся со стороны такой праздничной и веселой.

Было как-то смутно на душе. Когда были подведены итоги всему ненужно-жестокому, что вынес этот человек, только что зарытый в мерзлую землю, когда вспомнили, сколько моральных и физических мук выпало на долю ему, такому хрупкому, чуткому, слабому и... великому, — стало мучительно стыдно.

Это же чувство мучительного стыда испытала я, когда Ал. Ник. Плещеев на первом же литературном собрании в память Ф. М. Достоевского сказал:

— Я не знал несчастнее этого человека... Больной, слабый и от того во сто раз тяжелее всех переносивший каторгу... Вечно нуждавшийся в деньгах и как-то особенно остро воспринимавший нужду... А главное — вечно страдавший от критики.... Вы и представить себе не можете, как он болезнено переживал каждую недружелюбную строку... И как он страдал! Как он страдал от этого не год, не два, а десятилетия... И до последнего дня... В этом — страшная драма его жизни.

Но история — судья справедливый. К пятидесятилетию со дня смерти Ф. М. Достоевского его имя не только не предано почтительному забвению, как большинство когда-то дорогих и славных имен, но (как, может быть, одно только имя Пушкина) становится чем старше, тем ближе и дороже. Оно прошло через негодующую критику 60-х годов, через резкие общественно-политические счеты 70-х, через почтительное молчание 80-х, через множество литературных наслоений (декадентство, символизм, индивидуализм и пр.), через бурю и грозу, потрясшую мир, — и горит все ярче и ярче.



А. Барсукова [1]

Письмо о „пушкинской“ речи Достоевского

(Москва. 10 июня 1880 г.)

Пишу вам под впечатлением глубокого, неотразимого чувства восхищения, которое произвела на меня несравненная речь нашего известного писателя-аналитика Достоевского. Я до сих пор не могу притти в себя от возбужденного им во мне восторга и, мне кажется, всю жизнь не забуду того чувства умиления, которое я испытала во время произнесения его речи. Это была молния, прорезавшая воздух. Достоевский говорил вторым, а первым выступил Чаев. Не стану долго останавливаться на его речи, потому что в ней мало было интересного, скажу только, что Чаев говорил надрываясь, торжественно-замысловатым языком, сравнивая Пушкина с тем сказочным богатырем-ребенком, которого злая тетка посадила в бочку вместе с матерью, засмолила бочку и бросила в море, но юный богатырь рос не по дням, а по часам и пробил дно бочки и вышел на волю. Так и Пушкин: как ни стесняли его свободу, мощный дух его все креп и развивался. В конце

---

[1] Анна Михайловна Барсукова, рожденная Ртищева. Родилась в Москве 27 ноября 1850 г. Была замужем за И. П. Барсуковым, умершим в 1906 г. И. П. Барсуков был автор многочисленных исторических исследований о Сибири. В последние годы своей жизни редактировал записки декабриста Волконского. А. М. Барсукова в настоящее время проживает в селе Перль, Московсой области, Кимрского района.

Письмо А. М. Барсуковой к А. П. Барсукову — любопытный отклик на речь Достоевского в среде прямо противоположной той, к которой принадлежала автор вышенапечатанных воспоминаний о Достоевском, Ек. Леткова. Последняя принадлежала к среде радикальной молодежи 70-х гг. Барсукова — к среде московских славянофилов, консерваторов. Тем интереснее, с исторической точки зрения, сопоставление этих двух современных откликов на пушкинскую речь Достоевского. *Прим. ред.*

Чаев помянул о жене Пушкина, как о красавице, вдохновлявшей его на бессмертные творения, и привел стихи, его „Мадонну", писанные им вскоре после брака и полные благоговения к чудной красоте его жены. Когда Чаев кончил, на кафедру вошел Достоевский. На вид он очень непредставителен, маленький, плюгавенький; но, как только он заговорил, боже, какая прелесть полилась из уст этого невзрачного человека! Вы знаете, как он умеет глубоко заглядывать во все сокровенные изгибы души человеческой, и никогда еще Пушкин не был так глубоко анализирован, как это сделал Достоевский. Речь его произвела такой восторг, что многие плакали, махали платками, и все неистово, дружно рукоплескали. Мне рассказывал тут же Елпидифор Васильевич Барсов, когда я в конце заседания прошла в гостиную, где сидели все писатели, что один молодой человек, потрясенный речью Достоевского, бросился в эту гостиную его отыскивать, и, когда ему показали Достоевского, слезы градом потекли по его лицу, и он в нервном припадке упал на диван. Я не могу передать вам всего существа речи и ограничусь только главным: Достоевский утвердил за Пушкиным имя народного поэта и также всемирного, приводя в пример его „Дон-Жуан", „Пир во время чумы" и „Египетские ночи". Он разобрал только два типа, изображенные Пушкиным: *всемирного страдальца и скитальца Алеко*, повторенного впоследствии в *Евгении Онегине*, и тип *Татьяны*. Но что это была за сила и глубина! Недаром тут же Аксаков назвал очерк Достоевского гениальным. Достоевский говорил, что Пушкин ошибочно назвал свою поэму именем Евгения; ее следовало бы назвать по имени Татьяны, так как она главное здесь лицо. Какую дань уважения отдал он русской женщине. Русская женщина — не французская, она не побежит кое за кем. Татьяна — это самый чистый идеал русской женщине, который только повторился в Лизе — Дворянское гнездо (тут Достоевский поклонился в сторону Тургенева, и публика разразилась рукоплесканиями) — сразу отгадала пустоту и никуда негодность Онегина и не вышла бы за него замуж, если бы с ним встретилась вдовою, потому что знала, что он чувствовал влечение не к ней, а к ее внешнему блеску светской дамы. Задав еще ранее вопрос, отчего Татьяна, любя одного только Онегина, не изменила своему старому мужу и осталась ему верна, Достоевский прекрасно, много говорил на эту тему, доказав, что Татьяна построила бы свое счастье на чужом несчастьи. А прочно ли такое счастье?—воскликнул он. И потому она не хотела покрыть позо-

ром и убить этого честного старика, который любил ее, верил ей безгранично и гордился ею, и пойти за человеком, которому она бы надоела на другой же день. Когда Достоевский кончил, очередь была за Аксаковым, но после Достоевского Аксаков не хотел говорить и, наконец, побуждаемый публикой, вышел на трибуну и сказал приблизительно следующее: „Еще вчера можно было сомневаться, народен ли Пушкин, но после гениальной речи достоуважаемого Федора Михайловича все сомнения рушились, и я так потрясен, очарован его речью, что не могу читать свою: она будет слабой тенью слышанного". Публика закричала ему браво, и он все-таки должен был прочесть выдержки из своей речи. Читал он умно, дельно и в конце помянул доброю памятью русскую няню, русскую бабу, влиявшую так сильно на своего гениального питомца, и прочел очень прочувствованно стихи Пушкина к няне:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя и т. д.

Мне казалось, что другие не должны были бы читать после Достоевского, но заседание продолжалось. Плещеев продекламировал с чувством стихи, приличные торжеству, а Калачев и Анненков читали так, что я не слыхала ни одного слова. Я ушла в гостиную, куда удалились все писатели и ученые (исключая нашего Петра Ивановича, [1] сидевшего одиноко за зеленым столом), и смотрела на Тургенева и Достоевского. Тургенев, белый как лунь, с свежим лицом и очень изящными манерами. Елпидифор Васильевич Барсов представил при мне Достоевского графу Уварову, но Достоевский очень холодно обошелся с ним, прервал его речь и удалился. Когда я вернулась в залу, говорил уже Петр Иванович, говорил мало, очень приятным голосом, но и только. В конце возгласил добрую память императору Николаю Павловичу, считавшему Пушкина умнейшим человеком в России и вызвавшему его из изгнания. Ему, по обычаю, немного похлопали. После Бартенева говорил Потехин, о Гоголе, которого Пушкин считал генеральным художником и говорил, „что не успею сделать я, то докончит Гоголь". Потехин предложил от всего Общества российской словесности поставить Гоголю памятник на Никитском бульваре. Предложение его было принято с восторгом, и тут же состоялась подписка. Собрано в один

[1] Петр Иванович Бартенев — редактор-издатель исторического журнала „Русский архив".

день 4000 рублей. „Да будет Москва,—воскликнул с глубоким чувством Потехин,—центром русской литературной образованности".

Но что меня удивило, это то, что никто, ни единым словом, не упомянул о Лермонтове. Как будто его не существовало. Говорили о Жуковском, Карамзине, Дельвиге, Языкове, а о Лермонтове ни слова. В конце концов Достоевскому поднесен был громадный венок, по почину одной девицы Некрасовой, знакомой Алексея Егоровича Викторова. Венок был насильно надет на Достоевского.

В зале присутствовали сыновья Пушкина и старшая дочь. Я видел одного сына, командира полка, он разговаривал с министром народного просвещения. Ни одной фамильной черты отца и матери; простое, солдатское лицо, с рыже-белокурыми волосами. Тут же в собрании выставлены портреты жены и родных Пушкина. Жена снята масляными красками, уже потускневшими. Красивые классические черты лица, голубые глаза и каштановые волосы, но ничего нет симпатичного. Зато как прекрасно нарисованы акварелью мать Пушкина и мать его жены. Обе красавицы, но с милым выражением лица; сестра его, Павлищева, тоже очень хороша собой и необыкновенно мила, блондинка, с локонами за ушами. Кажется, я все вам описала, памятника еще не видала, потому что у нас стоит холодная осенняя погода с мелким дождиком, но как только установятся хорошие дни, непременно отправлюсь на Тверской бульвар и беру Сашу [1] и Зину [2] с собой, чтобы показать им памятник бессмертного поэта.

[1] Александр Иванович Барсуков (1869 — 1904) — сын А. М. Барсуковой.
[2] Зинаида Ивановна Барсукова (1873 — 1919) — дочь А. М. Барсуковой.

Е. Хирьякова

Воспоминания и некоторые сведения о Димитрии Андреевиче Лизогубе [1]

Последние годы своего учения в Черниговской женской гимназии я проживала в семье учителя словесности нашей и мужской гимназии Николая Андреевича Вербицкого-Антиоха. Я занималась с его двумя старшими детьми.

Семья Вербицких жила очень замкнуто. Почти никто у них не бывал, исключая учеников гимназии, которые по вечерам каждую субботу собирались к учителю. Время проводили в его маленьком кабинете в разговорах, читали, если попадалась

---

[1] В виду того, что портретов Д. А. Лизогуба сохранилось очень мало, мы запросили Е. Д. Хирьякову, не знает ли она, у кого могли сохраниться фотографические снимки с Димитрия Андреевича. Она ответила 28 июня 1930 г. следующим письмом:

„Юношеский портрет Лизогуба мне не удалось найти. Он был у Дриги. Я думала получить его от сестры Дриги, но в годы революции она умерла, и все связи утеряны. У меня есть детский портрет из Черниговского музея. В августе я хочу проехать в Чернигов. Я видела еще один детский портрет Лизогуба постарше, чем мой. М[ожет] быть удастся еще что-нибудь найти. У меня никогда не хватает денег, чтобы проехать в местечко Седнев, где учительствовали племянницы Лизогуба, дочери Федора, которого Дмитрий любил и о воспитании кото[рых] заботился. Там же жила Колодкевич, сестра Ник. Ник. Колодкевича, которая была дружна и с братом, и с Лизогубом. Только вряд ли она теперь жива. Я как-то писала ей, чтобы она написала воспоминания о брате и Лизогубе. Она отказалась, что тяжело, но повидать ее мне не удалось..."

Присланный нам Е. Д. Хирьяковой детский портрет Д. А. Лизогуба в военном наряде говорит нам о той моде, которая была распространена в некоторых слоях общества, наряжать своих детей в военные, нередко генеральские мундиры, когда с них рисовали портреты: очевидно, это было любимой мечтой родителей о будущности своих детей.

Нельзя также не отметить отвратительной сентиментально-предательской черты провокатора Дриги. Предавая на верную смерть Д. А. Лизогуба, он считал необходимым сохранять у себя портрет того, кто так доверял ему и которого он подвел под виселицу. *Ред.*

интересная статья в каком-нибудь журнале. Вечера заканчивались хоровым пением. Николай Андреевич был прекрасным регентом и режиссером по части любительских концертов и спектаклей в пользу недостаточных студентов.

Ученики и по окончании гимназии, если судьба их забрасывала снова в Чернигов, навещали своего бывшего учителя. По субботам обыкновенно часов в одиннадцать ученики расходились по домам, оставались только самые близкие, которые были знакомы и с семьей Николая Андреевича, переходили вместе с ним в столовую, где велась общая беседа иногда часов до трех ночи.

Как бывший ученик, приходил к нам часто Владимир Васильевич Дрига, сельский учитель из села Листвена, в 35 верстах от Чернигова. Дрига был племянник попечителя Киевского учебного округа Антоновича [1] и воспитывался в Черниговской гимназии на средства Антоновича. В бытность свою в гимназии Дрига жил уроками на квартире у отца Н. А. Вербицкого, почему и был хорошо знаком со всей семьей Николая Андреевича.

Дойдя до шестого класса, Дрига отказался от помощи Антоновича, жил уроками, а по окончании шести классов оставил гимназию. Сначала продолжал жить уроками, а потом поступил сельским учителем в с. Листвен, где близко сошелся с тамошним молодым помещиком, Дмитрием Андреевичем Лизогубом.

С первых же дней своего знакомства Дрига стал нам расхваливать Лизогуба. О Лизогубе мы и раньше слыхали, но не были знакомы с ним. Дрига же не мог говорить о нем без восхищения. Наконец, Дрига привел к нам и самого Лизогуба, чтобы познакомить его с моей хозяйкой, Екатериной Федоровной Вербицкой. Самого Вербицкого уже не было в Чернигове: его за неблагонадежность перевели в Рязань.

Первое впечатление от Лизогуба было очень приятное: высокий, стройный, благородные черты лица, приветливая улыбка, умные, слегка косые голубые глаза, в разговоре картавил на р. Я заметила, и меня это страшно поразило, что Лизогуб был немножко застенчив. Я не ожидала этого встретить у аристократа.

Визит его на этот раз был непродолжителен, он застал нас уже одетыми к выходу. Посидев несколько минут, мы все вышли вместе с Лизогубом и Дригой.

[1] Это — Антонович, привлеченный в 1831 г. по делу „тайного общества Сунгурова", сосланный рядовым на Кавказ и впоследствии дослужившийся до больших чинов. *Ред.*

— Ну, как вам он нравится? — спросил меня Дрига, когда мы шли сзади Екатерины Федоровны и Лизогуба, — правда, славный?

Я согласилась, что он очень славный.

Екатерина Федоровна затеяла строить для себя дом. Дрига взялся руководить постройкой. Дом был выстроен на окраине города, на одном из огородов, принадлежавших отцу Вербицкого, рядом с домом стариков. С этих пор Лизогуб стал останавливаться у нас, когда приезжал или приходил в Чернигов.

Помню, как он приехал в первый раз — в крестьянском платье: в коричневой свитке, подпоясанный красным поясом, в высоких сапогах и в барашковой шапке. Он приехал без кучера, сам распряг лошадь и хотел ввести ее в сарай и не мог. Сараи еще наши не были достроены, но крыша уже была готова. Лизогуб привязал лошадь около саней.

„Вот что значит аристократ, — подумала я, глядя в окно, — даже лошади не может ввести в сарай!“ И как только он вошел в дом, я выбежала из дому, взяла лошадь и, к стыду своему, тоже не смогла ввести лошадь в сарай. У входа в сарай были устроены рогатки так, чтобы скотина не могла войти в него к сложенному там сену. Я страшно переконфузилась, когда в это время неожиданно подошел Лизогуб и, видя, что я напрасно вожусь с лошадью, сказал: „Нехай ле саней!.. Нехай ле саней“, — он в Чернигове говорил по-украински—и, взяв от меня лошадь, опять привязал ее к саням.

Однажды ранней весной, — снег уже почти везде стаял,— Дрига предложил мне пойти с ним на охоту. Охотиться весной запрещено, но охотники ходили без ружья, как они говорили, прогулять собак. Я согласилась, и мы отправились за Троицкий монастырь. Когда мы были уже далеко за городом, Дрига заговорил о Лизогубе.

— Митя предлагает мне оставить учительство и быть его поверенным, вести его дела. Чтобы я постепенно продал бы его имущество: Довжик, Баркову, леса и деньги перевел бы на себя. Он хочет деньги употребить на революцию. В конце концов его могут арестовать, могут сослать в Сибирь, может быть и на каторгу, тогда тоже понадобятся деньги, чтобы устроить ему побег. Митя ставит мне в условие, чтобы я сам лично не принимал бы участия в революционных делах, напротив, чтобы я жил так, чтобы производил впечатление управляющего, стремящегося к наживе. Жалованье он мне положил большое. (Я не помню, сколько именно, но сравнительно с 25 рублями жалованья сельского учителя Лизогубское жалованье каза-



Д. А. ЛИЗОГУБ
Детский портрет

лось нам большим, кажется, 100 р.) Куда оно мне столько? Я передаю это вам, — продолжал он, — потому, что Митя уезжает в Петербург, в университет. Мы будем переписываться через вас. Вы будете получать письма, будете отдавать мне и будете писать ответы под мою диктовку...

Так потом все это и было. Дрига оставил учительство, приоделся. Вместо свитки, как у Лизогуба, у него появился костюм и пальто новое. Он имел в городе квартиру. Сначала он поселился опять у отца Вербицкого. Наши дворы, т. е. двор Екатерины Федоровны и отца Вербицкого, сообщались через перелаз, и дети наши постоянно бегали к дедушке, бабушке и к Дриге. Дрига любил детей. С этих пор, если Лизогуб приезжал в город, он оставлял у нас только лошадь, сам отправлялся к Дриге. У дедушки не было ни конюшни, ни сарая. Дрига, повидимому, обожал Лизогуба. Трогательно ухаживал за ним, как за ребенком. Если Лизогуб приходил пешком из деревни, Дрига укладывал его отдохнуть, обсушивал его обувь и самого Лизогуба поил и кормил в постели.

Из этого периода у моего бывшего ученика, сына Екатерины Федоровны Вербицкой, сохранилось такое воспоминание: он мальчиком, забежав к дедушке, заглянул к Дриге. У него сидел какой-то человек, завертывал свои ноги в тряпку не первой чистоты и надевал сапоги. Это был Лизогуб. И кто-то — он не помнит кто — сказал мальчику: „Видишь ты этого человека? Это один из самых богатых в городе. Видишь, как он одевается? Это для того, чтобы оставалось больше денег для бедных, которым он отдает все. Поступай и ты так".

Вскоре после нашей охоты—Лизогуб уже уехал в Петербург—Дрига сказал мне: сегодня вы пойдете гулять на Киевский мост. Через мост к городу будут ехать охотники, и если они спросят (я не помню теперь пароль), вы поговорите с ними и поезжайте с ними ко мне на квартиру.

Около этого времени в Киевском университете были беспорядки и студент—брат Вербицкого—был выслан на родину. Он приехал к отцу. Перед нашим гуляньем я зашла на квартиру к Дриге. Дрига куда-то уехал. Я предупредила Санька—студента, что может быть я приведу к ним сегодня гостей.

— Каких гостей?—спросил Санек.

— Я рассказала.

— Ни за что не позволю их приводить к нам,—запротестовал он горячо.—Куда хотите ведите, только не к нам.

— Почему?—удивилась я, зная его причастность к делам революции.

— Это бунтари. Они смотрят на Лизогуба, как на дойную корову, и нисколько не щадят его. Я не хочу принимать участия в этом.

Я была в большом затруднении, что делать, но меня вывела из затруднения Екатерина Федоровна.

— Привозите их к нам,—сказала она, когда я ей рассказала, в чем дело. Но охотников в этот день на мосту не было.

Я рассказала потом Дриге этот инцидент с Саньком.—Они были товарищи по гимназии. Дрига только ответил: „Вот как!"

До нашей охоты я не получала ни от кого писем. Теперь стали получаться письма, которые я передавала Дриге. Помню, после убийства Мезенцева, Дрига прочел письмо и сказал, улыбаясь:

— Митя пишет, что у них была тоже удачная охота: затравили крупного зверя.

Весенний разлив в 1878 году был необыкновенно велик, около нас были залиты все улицы. Оба дома Вербицких и еще два соседние дома (в одном из них жили мои две подруги) оказались на острове. К нам можно было подъехать только на лодке. Такое положение домов оказалось очень удобным для конспиративных дел Лизогуба. Он в это время был в Куликовке. Дома находились на краю города, и за нашими домами были болото и луг, теперь сплошь покрытые водой до самого Киевского шоссе. Лизогуб приезжал часто один и с друзьями. Я и мои подруги знали их под вымышленными фамилиями, да мы и мало интересовались их фамилиями. Все они были молодые, веселые. Было шумно, оживленно. Мы выезжали за ними на лодках не по улице, а прямо через луг к шоссе, где или они нас поджидали, или мы их ждали. Привозили, отвозили обратно таким же путем. Иногда мы катались на лодке. Гости наши далеко за городом говорили о делах, а мы наслаждались катаньем. Подъезжая к городу, все пели. Лизогуб любил пение. Его любимые песни были: „Утес Стеньки Разина" и „Полоса ль ты моя, полоса", которую он часто певал.

Так как и теперь еще „Утес Стеньки Разина" широко известен и многими поется, а „Полоса ль ты моя, полоса..." почти забыта, то напомним здесь эту песню, которую так любили и революционеры-народники и „народовольцы".

Вот ее слова:

Полоса ль ты моя, полоса!
Не распахана ты, сиротинка.
На тебе не колосьев краса,
Не колосьев краса, а былинка.

А вокруг-то, вокруг погляди!
Так и зреют могучие нивы,
И лежит благодарная тишь,
И волнуются ржи переливы.

Не горька мне твоя нагота,
Как взгляну я на нивку-то божью.
Отчего ж ты, одна сирота,
Не красуешься матушкой рожью?

Знать, хозяин-то твой в кабаке загулял,
Загулял не одну уж неделю.
Или с горя в доске гробовой
На погосте нашел он постелю.

А быть может и то—в кандалах
По Владимирке пахаря гонят:
За широкий, за вольный размах
Богатырскую силу хоронят.

И шагает он в синюю даль,
И, шагая, все слезы роняет,
Все полоски своей ему жаль.
Все он нивку свою вспоминает.

Лизогуб опять уехал в Петербург. Он числился студентом С.-Петербургского университета. За комнату платил восемь рублей, сам жил очень скромно, как обыкновенный нуждающийся студент. После отъезда Лизогуба к Дриге приезжали друзья Лизогуба с его записочками—выдать столько-то. Дрига диктовал мне: „Дед Дрига продал тысячу, полторы или две тысячи пудов ржи". [1] Письма мои были без подписи.

После одного из таких писем, месяца через два, приехал один из друзей Лизогуба предупредить, что моя записка взята при аресте того лица, через которое по записке Лизогуба были переданы деньги. Дрига был недоволен, что его записка не была передана по назначению.

Помню такой факт: однажды я обратилась к Дриге, не даст ли Лизогуб средств на образование одной девочки? У одного деревенского фельдшера была большая семья. Старшая девочка, со слов моей приятельницы, очень способная и хочет учиться, но у отца, конечно, нет средств.

— Нет. Митя на это не даст средств, — ответил Дрига,— у него уже была проба в этом роде; он по указанию учителей дал образование двум мальчикам и одной девочке. Получились те же баре. Они ушли от народа и только увеличили собой количество господ, сидящих на шее народа. А вот о чем он мечтает, на это он охотно даст деньги. Он мечтает об интел-

[1] Получались и телеграммы в таком же роде: „Приготовить столько-то мешков" или в телеграмме говорилось о скотине и т. п.

лигентной колонии, чтобы привлечь интеллигенцию в деревню. Вот давайте своей компанией устроим колонию.

Мы тогда еще ничего подобного не слыхали, и нас заинтересовала эта идея. Мы стали часто обсуждать вопрос об устройстве колонии. Особенно горячо ухватился Санек, высланный студент без права выезда и без права каких бы то ни было занятий.

Одно время были у меня ученики из кирпичного завода. Случайно одна из моих учениц увидела группу парней, сидящих на траве, и один из них обучал других: аз, буки, веди и т. д.

— Идите со мною,—сказала она им,—я покажу вам учительницу, она вас лучше выучит.—И привела их всех, и учителя, и учеников, ко мне. Они стали приходить ко мне по праздникам, когда у них не было работы на заводе. Особенно прилежен был учитель. Он проводил у меня целый день. Книг он с собой не брал. Читал их у меня. Иногда я сама им читала.

Однажды, по окончании занятий, все ученики разошлись, остался только один, который всегда оставался на весь день у меня. Он попросил у меня дать ему почитать что-нибудь божественное. У меня нашлось только Евангелие. Я дала ему Евангелие. Он всегда читал громко. Я села слушать, чтобы объяснять ему. До сих пор я читала Евангелие, как урок, и читала его только за уроками. В гимназии священник иногда заставлял нас читать Евангелие. Теперь мне пришлось отнестись к чтению не как ученице, а как учительнице, стараться направлять внимание на существенное и объяснять, чтобы все было ясно. Мне показалось тогда впервые, что Евангелием можно пользоваться для пропаганды наших идей.

При случае я заговорила с Дригой и Лизогубом, — почему идущие в народ не пользуются Евангелием. Книга не запрещенная, напротив, священная, а между тем весь уклад государственной жизни в прямом противоречии с евангельским учением. Дрига просто замахал на меня: „какую вы ересь проповедуете!..“ Лизогуб же сказал, что он согласен со мной. Смысл евангельского учения глубок, но Евангелие не годится для пропаганды.

— Почему?

— Да потому, як вы сами сказали про Евангелие: книга священна. В священных писаниях богато сміття, надо наперед отобрать плевела от зерна. А то вы будете говорить о любви к ближнему. Отдай рубашку, кто просит свитку, и т. п., а вам

из того же священного писания скажут: „всякая власть от бога", „рабы да повинуются господам"... Там дуже часто упоминают о рабах. Рабов не должно быть...

У нас принципиальных разговоров с Лизогубом было мало или я не помню их теперь. Но вообще Лизогуб никогда не упускал случая повлиять в известном направлении на человека, с которым судьба его столкнула. Особенно, если человек был богат, он старался повлиять в том смысле, что богатство должно быть употреблено разумно. Крестьяне же еще в 1905 году вспоминали: „Оце ж ище покойный Димитрий говорив, що земля повинна належити тим, хто ie оброблюе".

Лизогуб был богат, красив, как говорили — хорошей фамилии, и для многих мамаш, несмотря на его, по их мнению, чудачества — украинский язык и крестьянскую одежду — был завидным женихом. За ним ухаживали. Одна из местных аристократок, имевшая красивых дочерей, с одной из них сама поехала к нему под видом покупки имения и пригласила его бывать у них. Он сразу все понял, но не отказался, бывал у них и старался распропагандировать барышень и их кавалеров, возил им книги, запрещенные брошюры. До некоторой степени он имел успех. Одна из его богатых знакомых (к сожалению, забыла ее фамилию) очень помогала ему. После убийства Александра II и уже после смерти Лизогуба, на одном званом обеде, когда барышни собрались отдельно от остального общества, зашел разговор об убийстве, и одна из них предложила вопрос, что бы каждая из них сделала, если бы пришел убийца Александра II и попросил спрятать его?—Все до одной сказали, что спрятали бы.

В числе слушателей Лизогуба был и Неплюев (сын известного черносотенца-предводителя дворянства), который впоследствии отдал свое имение на школу-братство. Правда, школа оставляла желать многого, но важен факт употребления богатства.

Помню один курьез, случившийся с Лизогубом. Ранней весной он возвращался пешком из города в деревню. Навстречу ему человек ведет рыжую лошадь. „Вот моему рыжему совсем пара", подумал Лизогуб. Вдруг лошадь заупрямилась, не захотела переходить ручей. Человек ничего не мог сделать с лошадью. Лизогуб перешел ручей, взял лошадь. Лошадь послушно пошла за ним. Лизогуб перевел лошадь через ручей и передал человеку, а сам пошел своей дорогой. Когда он пришел домой, то оказалось, что его лошадь украдена. Он сам передал свою лошадь вору, а вор в крестьянине не узнал хозяина лошади.

Все служащие во всех имениях и их семьи очень любили Димитрия Андреевича. У него было много сверстников и друзей между сыновьями служащих. К братьям у Лизогуба было различное отношение: меньшего, Федора, он очень любил и об его воспитании сам заботился, со старшим братом, Ильей, он не сходился. Оба брата—Димитрий и Илья—отрицательно относились друг к другу, но с семьей брата у Димитрия были хорошие отношения, он любил свою невестку и ее маленького брата гимназиста.

Лизогуб по наследству от отца и дяди любил живопись, музыку и поэзию. Сам не прочь был писать стихи. У невестки был хороший голос. Одно из его стихотворений было переложено на музыку, невестка пела его, почему оно и сохранилось в памяти ее брата В. В. Боршевского.

Вы любите, чтобы вам пели
О блеске звезд на небесах,
О прелестях зеленой ели,
О восхитительных глазах.

Послушайте ж хотя от скуки
Вы здесь поющего певца
Про неизвестные вам муки,
Которым как бы нет конца.

Про то, как там в избушке бедной
Мать с семью детьми живет,
И старший сын, совсем уж бледный,
Как видно, с голоду помрет.

За последние строчки В. В. Боршевский не ручается.

Вообще Лизогуб пользовался всеобщей любовью.

У него неоднократно бывали обыски, но всегда безрезультатно.

В первый раз это было в Куликовке. Девочка, дочь управляющего, первая увидела извозчиков с какими-то людьми в синих мундирах с красными шнурками. Она прибежала сообщить, что генералы едут. Димитрий посмотрел в окно и сразу сообразил, в чем дело. Он вынес пачку брошюр и, отдавая их девочке, сказал: „Спрячь их или забрось так, чтобы никто не видал, и не говори, от кого их получила". Девочка, не имея понятия о запрещенных книгах, вынесла их мимо „генералов" через двор к колодцу и впопыхах бросила в колодец так неловко, что веревочка осталась у нее в руках, а книги рассыпались и плавали в воде. Надо было их потопить. Девочка хватается за журавль, но журавль тяжел и не поддается ее усилиям.

— Что вы тут делаете, барышня?—спрашивает неожиданно подошедший один из „генералов".

— Да вот надо потопить книги так, чтобы никто не видал, а я не могу,—отвечает девочка.

— Вы, барышня, идите в дом и не оглядывайтесь. Я сам справлюсь с ними.

И действительно справился: через два года чистили колодец и вытащили из него книги.

В другой раз при обыске один жандарм нашел пачку бумаг и передал ее товарищу прокурора, присутствовавшему при обыске. Прокурор положил бумаги себе в карман. Тем дело и кончилось.

Своеобразным „опекуном" Федора Лизогуба был городницкий исправник Греков, бывший приятель Ильи Ивановича Лизогуба, дяди Димитрия Андреевича. Греков неоднократно предупреждал Димитрия об опасности.

— Смотри же, не подведи меня,—говаривал Димитрию Греков.

Но как ни безрезультатны были обыски, у властей в конце концов получилось убеждение, что Димитрий причастен к революционному движению: письма при обыске других говорили о деньгах Лизогуба. Как-то приехавший из Киева студент рассказывал, как очевидец, что вели арестованного товарища по улице, а ему навстречу шел его приятель и крикнул: „Не выдавай Лизогуба!"

Лизогубу было предложено выехать из пределов Черниговской губернии и выбрать себе один из неуниверситетских городов. Лизогуб выбрал Одессу. Перед отъездом в Одессу он выхлопотал разрешение съездить в Петербург по делам брата Федора. В этот последний приезд в Петербург Димитрий был грустно настроен. Он чувствовал, что ему по крайней мере обрежут крылья. Друзья старались развлечь его и кто-то предложил в виде шутки пойти к гадалке, жившей в этом же доме. Гадалка посмотрела на руку Димитрия и сказала, что он умрет насильственной смертью. Димитрий стал отшучиваться.

— Нет, нет, вы умрете насильственной смертью и скоро,— добавила она.

— Что же, меня повесят,—сказал он, возвращаясь от гадалки, и стал еще грустнее.

В Одессе Лизогуба арестовали.

Как ни были мы подготовлены к возможности ареста Лизогуба, все же сам арест для нас был как гром среди ясного неба. Мы очень приуныли, хотя не теряли надежды, что богатство и связи помогут Лизогубу спастись. Нам и в голову не

приходило, что он может быть казнен. Самое большое, что по нашему мнению ему грозило,—каторга.

Но и после ареста Лизогуба продолжали приезжать знакомые и незнакомые от Лизогуба с записками с требованием денег. Впрочем, в этом же роде посетители наезжали и после смерти его, но так как тогда уже от меня не требовалось записок, то я зачастую и не знала о них, тем более, что Дрига жил в это время в городе, часто сам уезжал и останавливался в какой-нибудь гостинице, в номерах.

Так совершенно случайно я застала у него А. Михайлова. Дрига стал его рекомендовать нам (я была с подругою) и как будто запнулся.

— Безымянный, — подсказал ему незнакомец.

Вид у незнакомца был очень недовольный. Очевидно, у них до нашего прихода был неприятный разговор, и он скоро ушел. От Дриги я узнала, что он приехал за деньгами, но денег у Дриги сейчас нет, а тот не может ждать. От Дриги мы ушли по своим делам, и часа через два я встретила Тринидатскую, революционерку, высланную тогда из Саратова вместе с мужем.

— Вы не знаете, где Михайлов?— спросила она меня.

— Какой Михайлов? Я не знаю Михайлова, — ответила я.

— Это тот, что был у Дриги. Его надо предупредить, чтобы он не шел на конную станцию. [Тогда еще не было железной дороги к Чернигову]. На станции его ждут жандармы. Вы подежурьте на улице по дороге к станции до 4—5 часов,— он хотел уехать в 4—5 часов,—и если увидите, предупредите его.

Я до самого вечера бродила по ближайшим улицам и по площади, где была станция, но его не видела.

На другой день мне та же Тринидатская рассказала, что Михайлов был предупрежден во-время и скрывался до ночи, а ночью направился к Зубку, где он остановился, но там уже была засада. Зубок, конечно, ждал его. Дом не был заперт. Михайлов, войдя в дом, сразу понял, в чем дело, и спросил:

— Это публичный дом?

Прежде чем городовой, бывший в передней, мог сообразить что-нибудь, Зубок выскочил с бранью, набросился на посетителя-нахала, назвал его мерзавцем, негодяем,— как он смел подумать, что это публичный дом,—и вытолкал его вон. Таким образом Михайлов был спасен.

В камеру арестованного Лизогуба посадили шпиона Курицына, который все выпытал у Лизогуба и донес на него. В 1879 году 8/20 августа Лизогуба казнили на 31-м году его жизни.

Дрига был арестован числа 19 июля и выпущен за день или в день казни и тотчас же телеграфировал в Одессу, прося разрешить свидание с Лизогубом, но получил ответ, что Лизогуб казнен.

На имя Грекова было получено письмо от Димитрия. Он просил, чтобы Федор поспешил на свидание к нему, но когда Федор приехал, Димитрия уже не было в живых.

Для нас всех был большой неожиданный удар, что Лизогуба казнили.

Но теперь для меня разъяснилось все. Разгадка—в 2 фельетонах, напечатанных в черниговском „Красном знамени" за октябрь и ноябрь месяцы 1921 года, „Народовольцы на Черниговщине", за подписью Я. Жданович. В № 219 приведены отрывки шифрованной телеграммы губернатора Шостака от 18 июля 1879 г. III Отделению (к сожалению, я не могла найти в Чернигове этих номеров газеты):

„Состоя под присмотром полиции и на самом дурном счету в политическом отношении, дворянин Владимир Васильевич Дрига заявил мне, что, не сочувствуя больше тому кружку, к которому до сих пор принадлежал, он приносит полное раскаяние в прежних своих преступных действиях и готов обнаружить злодеев, их действия и планы. Раскрытия его поразительны и по моему мнению достойны доверия по следующим причинам: Дрига сознается в личном, хотя не активном участии во многих преступлениях. Состоя поверенным и тайным корреспондентом заключенного в Одессе Димитрия Лизогуба, Дрига до сих пор отпускает по приказанию Лизогуба на приготовление к преступлениям (деньги) и в настоящее время, при новом требовании революционеров, не желая отдавать последних средств, боится столько же мести своих единомышленников, как и правительственной кары. Наконец, Дрига, купив, вероятно фиктивно, имения Лизогуба [1] для революционных целей, в настоящее время, сделавшись легальным владельцем земли, отрекаясь от прежних взглядов в будущем, Дрига просит помилования в виду услуги, которую он может оказать своим разоблачением".

---

[1] Имения он не купил, но дал задатки. Он объяснил, что купил по просьбе Федора, который хотел оставить одно из них для себя. Действительно, он оставил себе Довжик, а не Борковки. Когда Дригу арестовали, прежний владелец выгнал сестру и мать Дриги. Задаток десять тысяч пропал, потому что присяжный поверенный, к которому обратились за содействием, разорвал условие, как составленное домашним образом, а не у нотариуса. *Прим. Е. Хирьяковой.*

Разоблачение, а следовательно и услуги, оказанные Дригой, действительно были важны, и теперь понятно, что после разоблачения Дриги Лизогуба так скоро повесили. Он передал о готовящемся покушении на Александра II, он выдал, что Кропоткина убил Гольденберг, и указал, где скрывается Гольденберг, и затем идет целый ряд лиц, сочувствующих и принимавших участие в революционных делах, ряд лиц, приезжавших к Лизогубу и от Лизогуба, и под какими фамилиями они приезжали.

После этого донесения губернатора Шостака Дрига был арестован по требованию III Отделения. Из тюрьмы Дрига пишет возмущенные письма губернатору, что этим арестом ему мешают быть полезным человеком. На допросе он отказался давать показания. Потребовал, чтобы его везли в Петербург, он даст показания только шефу жандармов. Его увезли. В это время в III Отделении служил Клеточкин; он сообщил друзьям, что Дрига здесь и что он выдал все и всех, что и кого он знал. Друзья постарались дать знать Лизогубу. Но тот не поверил в предательство Дриги. И я не поверила, когда стали ходить слухи об этом предательстве. У меня не укладывались рядом — та любовь и обожание, которые постоянно выказывал Дрига по отношению к Лизогубу, и предательство. Очевидно, власть денег вскружила голову Дриге. Из неизвестного, незаметного сельского учителя Дрига, благодаря деньгам, стал видным человеком в городе. У него постоянно собиралось большое общество, у него заискивали, у него занимали, просили денег видные общественные деятели. Дрига знал о слухах о нем и продолжал, как и прежде, помогать политическим в Чернигове, посылал обеды и передачи сидящим в тюрьме политическим. Некоторые, вышедшие из тюрьмы, проживали у него, пока не находили себе работу.

При мне был еще такой случай. Однажды после смерти Лизогуба Дрига обратился к доктору Ильину, предлагая снять с него, Дриги, ответственность за деньги Лизогуба. „Хорошо бы устроить комитет из известных лиц, которые распоряжались бы этими деньгами“,—сказал Дрига, на что Ильин ответил: „Лизогуб знал кому доверял. Пусть останется все попрежнему, как хотел Лизогуб“. Я знала, что Ильин был из тех, которые верили слухам, и по наивности своей я очень удивилась его ответу и еще больше уверилась в неосновательности слухов.

В 1881 году Дригу судили, приговорили к 15 годам каторги, но потом приговор был смягчен, и его сослали в Каинск Томской губернии.

Сначала, говорят, он жил там в достатке, но умер в большой нужде и даже просил помощи у Федора Лизогуба.

Добавлю несколько биографических данных.

Димитрий Андреевич Лизогуб родился в 1848 году в м. Седневе Черниговской губ. и уезда в семье богатых помещиков. Он был средним из трех сыновей. Отец его — Андрей Иванович Лизогуб, мать — Надежда Дмитриевна, урожденная Дунин-Барковская. Хотя у родителей Димитрия были свои собственные имения с прекрасными дворцами — у Андрея Ивановича в Куликовке, у Надежды Дмитриевны — в Великом Листвене, но они почти всегда жили в Седневе у старшего брата Андрея Иваныча, Ильи Ивановича, женатого на графине Гудович, которая вышла замуж за Илью Ивановича против воли отца, за что отец отказался от нее, и только после смерти отца братья графини Гудович выделили ей три деревни в Подольской губ. Впоследствии эти деревни вместе с Седневым перешли по наследству детям Андрея Ивановича, его сыновьям Илье, Димитрию и Федору.

Илья Иванович до женитьбы служил в Петербурге. Женившись, будучи в чине полковника, он вышел в отставку, уехал в Седнев и там поселился.

Седнев—очень красивое имение. Дворец около 60 комнат, красивый парк на горе, над рекой Сновь (приток Десны). Седневский сад, как красивое место, упоминается в статистическо-географическом словаре Семенова. У художника Лагорио два этюда с имения Седнев. Оба брата, Илья и Андрей Ивановичи, прекрасно образованы, англоманы, оба музыканты, оба художники. Вся церков в имении Куликова расписана Андреем Ивановичем. Домовая же церковь в Седневе расписана была Ильей Ивановичем и Андреем Ивановичем.

Илья Иванович жил открыто, к нему постоянно наезжали гости—окрестные помещики и издалека — из Петербурга и из Киева. Известные музыканты, художники, литераторы подолгу гостили в Седневе. Часто гостил здесь поэт Жемчужников. С Тарасом Шевченко Илья Иванович был дружен, и Шевченко не раз гостил в Седневе. В Седневе же он был и арестован. Как-то раз Илья Иванович и Шевченко поехали в Бегач, одно из имений Ильи Ивановича, на другой стороне Снови. Когда они возвращались домой, Шевченко заметил на другом берегу жандармов. „О, це же по мене“,—сказал он и вынул из сумки через плечо пачку бумаг, вложил в них горсть медных денег и, переезжая на пароме через Снов, незаметно

спустил бумаги в воду. Когда они подъехали к берегу, Шевченко тут же был арестован.

В седневском дворце был подвал под названием „каменица", где хранился архив Лизогубов. Там были пачки писем Шевченко. Сверх одной из пачек писей Шевченко был рисунок: два солдата держат фалды у лежачего солдата, третий сечет его. Подпись под рисунком: „ось, як бачишь". Это был ответ Шевченко из ссылки на письмо Ильи Ивановича: „як живешь?" (как поживаешь?) Во дворце были картины кисти Шевченко, но все это сгорело во время пожара после смерти Димитрия Андреевича.

Детство свое Димитрий Андреевич провел в Седневе. Воспитанием детей занимался гувернер-француз. Дети почти не говорили по-русски. В 1860 году Димитрий Андреевич жил в Екатеринославе у дяди, губернатора Дунин-Борковского, брата матери, посещал тамошнюю гимназию, но недолго. Когда шло освобождение крестьян, Илья Иванович с Елизаветой Ивановной уехали за границу. В Дрездене Елизавета Ивановна опасно заболела. Призванная знаменитость советует Елизавете Ивановне жить на юге и находиться под постоянным наблюдением врача, для чего рекомендует им молодого доктора Людвика Шрага. Илья Иванович с женой и Шрагом переезжают на юг Франции, куда переезжает и Андрей Иванович со своей семьей и Димитрием также. Мальчики поступают в коллеж в Монпелье. Через несколько лет, когда здоровье Елизаветы Ивановны окрепло, Илья Иванович с женой, с Андреем Ивановичем и с Шрагом возвращаются в Седнев. Надежда Дмитриевна с детьми остается во Франции.

Илья Иванович и Андрей Иванович один за другим вскоре умерли.

После смерти матери в 1872 году Димитрий вместе со своим семилетним братом Федором возвращается в Россию и поселяется с ним в имении Куликовке. Для брата и для своего поступления в университет он приглашает учителей, чтобы подготовиться на аттестат зрелости. Говорили, что один из учителей его, Философов, имел на него большое влияние. Но вероятнее, что разница жизни за границей и жизни русской деревни слишком была поразительна. Да и вообще время освободительного движения и знакомство с Шевченко, с Костомаровым и др. давало уже известное настроение в семье.

В это время Лизогуб много сам занимается, читает, сходится с крестьянами, устраивает школы, куда ставит учителей по своему выбору. Сходится с народными учителями. В 1874 году

умирает Елизавета Ивановна, и братья делятся. При дележе деревни Подольский губернии были проданы, а черниговские земли поделились. Димитрию достаются два больших имения, Довжик и Борковка и два больших участка леса в Городницком уезде и около Седнева в Черниговском уезде. Седнев же достается всем трем братьям. С этих пор дом в Седневе имеет две половины: одна аристократическая, принадлежавшая Илье, и демократическая, принадлежавшая Димитрию и Федору. Теперь Димитрий окончательно пристает к революционному кружку. В Седневе, где жил только очень преданный Димитрию дворецкий, постоянно живут „подозрительные личности" в смысле политической благонадежности. Сам Димитрий большей частью живет в Куликовке, принадлежавшей Федору.

Кроме школ, Димитрий заводит по деревням лавочки, где вместе с товарами крестьянам раздавались и запрещенные брошюрки. Нелегальная литература хранилась в лесу, в дуплах вековых деревьев. Конечно, в лавочках торговали свои люди, часто те же народные учителя, как учительница Должанская, совмещавшая должность учительницы и лавочницы. В Седневе один из сыновей управляющего, Николай Николаевич Колодкевич, пристал к революционному движению. Он впоследствии погиб в Петропавловской крепости. В Куликовку наезжают нелегальные люди, которых при малейшей опасности отвозил Дрига за ночь или на какую-нибудь станцию, или в лес, где был среди леса охотничий домик и, кроме преданного сторожа, никто в нем не жил. Для этой цели у Дриги всегда была тройка хороших лошадей. Дрига очень ловко исполнял все поручения Лизогуба чем и приобрел его любовь и доверие.

Д. Лизогуб не был женат. Он считал, что революционер не должен обзаводиться семьей, и всегда огорчался, если кто из видных революционеров женился.

Д. Лизогуб послужил прототипом героя рассказа Л. Н. Толстого „Божеское и Человеческое" в лице казненного революционера Светлогуба.



В. Микулич

Из переписки

Письма И. С. Тургенева, Н. А. Юшковой, А. П. Чехова М. П. Чеховой, Т. Л. Сухотиной и Н. Н. Ге. Примечания *М. Чистяковой.*

О таланте Тургенева я привыкла слышать с самого раннего детства.

Родилась я в городке Егорьевске Рязанской губернии, где и была окрещена, причем моими восприемниками от купели были: отставной ротмистр лейб-кирасирского полка Петр Ильич Авдулин и дочь помещика Варвара Николаевна Житова, рожденная Лутовинова. Мать моя подружилась со своей кумой, которая оказалась воспитанницей и приемной дочерью Варвары Петровны Тургеневой и росла с ее сыновьями, один из которых прославился потом как писатель.

В Егорьевске мы оставались недолго и перебрались к дедушке в Царское село. Крестная моя осталась в Егорьевске, но продолжала дружески переписываться с моей матерью. Я любила слушать рассказы о Егорьевске, о моей крестной и о семье Тургеневых.

Я подростала; кормилицу мою отправили обратно в Егорьевск, а меня передали няне Домне, с которой, подрастая, я жила душа в душу. С сестрой мы были очень дружны; обе рано научились читать и писать и много читали. Я рано узнала и полюбила Пушкина и Тургенева.

Крестная моя продолжала жить в Егорьевске с мужем и детьми и писала мне письма, на которые я сейчас же отвечала, научившись писать. Подросла я, подучиваясь и приглядываясь ко всему, что происходило около меня. Потом пробовала и сама написать что-нибудь. Понемногу я приобретала литературные знакомства. С крестной матерью я не прекра-

щала переписки и мечтала при ее посредстве познакомиться с Тургеневым.

Однако он уехал за границу, и не было надежды на то, что он скоро вернется в Россию.

А крестная жила все в том же Егорьевске и звала меня к себе. Я сообщила ей, что познакомилась с семьей Льва Толстого. Они тоже приглашают меня к себе. Если буду у них, то непременно соберусь и в Егорьевск.

Погостив у Толстых, где я всегда чувствовала себя как нельзя лучше, потому что очень уж любила их всех,— я стала собираться в Егорьевск, к крестной матери, которая жила все там же, со своей овдовевшей дочерью и тремя внуками.—Я пошла проститься с графиней. Она спросила меня:

— А куда же вы теперь поедете?

— В Егорьевск, к моей крестной.—Графиня посмотрела на меня в лорнет и стала говорить о моей крестной, которую она, повидимому, близко знала.

Она спросила меня:

— А вы знаете, кто ее отец?

— Говорят, доктор какой-то...—сказала я, припоминая, что мне говорили о семье Тургеневых.

— Она дочь моего отца,—спокойно сказала графиня.—Подумайте, до чего добра моя мать. Она все это знала и любила, и ласкала, и принимала у себя молодую девушку. Моя мать удивительно добра.

Я простилась с графиней и со всеми дорогими яснополянцами и покатила на родину, в мой Егорьевск, обдумывая все, что я узнала.

Крестная, уведомленная о моем нашествии, встретила меня на станции со всеми тремя подростками-внуками. Мальчики расхватали мой багаж и весело понесли его домой, а мы с Варварой Николаевной сели на извозчика и покатили к их дому. Поглядывая на профиль сидящей подле меня крестной, я не утерпела и сказала:

— До чего вы похожи на графиню Толстую!

— C'est ma soeur,[1]—пробормотала Варвара Николаевна и заговорила о Тургеневе.

На обратном пути из Егорьевска, проезжая Москву, я побывала там у сестры и матери А. П. Чехова и была рада исполнить мое давнее желание и познакомить сестру Чехова с дочерьми Толстого. Девицы друг другу понравились и оценили друг друга.

[1] Она моя сестра.

А мне было так хорошо подле очаровательной старушки, матери Антона Павловича. Такая доброта, что, раз поговорив с ней, не хочется уж отойти от нее. Я спросила ее: каково было ее душевное настроение перед появлением на свет Антоши?

Она сказала:

— Вот уж я и не помню. Одно только помню, что никогда я так много не читала, как перед его рождением. Читаю, читаю, и все еще читать хочется!..

Ну, вот и хорошо. А теперь мы его читаем и радуемся.

1

ПИСЬМО И. С. ТУРГЕНЕВА

Париж. 50, Rue de Dowai
Суббота 25/15 янв (18) 83.

Любезная Александра Александровна.

Я сегодня в первый раз встал с постели, в которой пролежал две недели после сделанной мне операции—а то бы я давно отвечал на Ваше письмо и на присылку рассказа г-жи Чернавиной, в котором, к сожалению, не достает первых четырех гранок. Очень Вам благодарен за эту присылку. Давно я не читал столь свежего, правдивого и тонко-умного. Г-жа Чернавина несомненный живой талант, и я поздравляю графа Кутузова с приобретением ее произведения.—Надеюсь, что оно будет иметь значительный успех—и что он побудит ее продолжать свою деятельность.—Хотелось бы мне также иметь в руках то, что Вы написали. Вы знаете мое мнение о Вашем таланте. Я не теряю надежды на его производительность, особенно если Вы сами успокоитесь, перестанете думать о своих врагах—и вообще приметесь жить „прохладно и без обороту" — как мне советывал один старообрядец, с которым я был знаком в молодости.

За сим желаю Вам всего хорошего, дружески жму Вам руку и остаюсь преданный Вам

Ив. Тургенев.

В письме к В. Д. Бонч-Бруевичу от 19 января 1931 г. В. Микулич пояснила: „Письмо Тургенева к Александре Александровне Виницкой, сотруднице „Отечественных записок", романистке, которая, прочитав в „Ниве" мой первый напечатанный рассказ „Студент", послала его И. С. Тургеневу (Чернавиной я называлась по имени мужа, у которого тогда еще не было другой жены)". *Ред.*

Графа Кутузова.—Голенищев-Кутузов, Арсений Аркадьевич (1848—1913), граф, поэт, принимавший в то время близкое участие в журнале „Вестник Европы", где печатались произведения В. Микулич.

2

ПИСЬМО Н. А. ЮШКОВОЙ

Дорогой друг, ты спрашиваешь: где и когда я видела Тургенева?

Я видела его три раза в дни Пушкинских праздников в 1880 г., когда он приезжал специально для этого в Москву из Парижа. Мне было тогда 17 лет. Мать моя, как начальница Института, получила почетный билет, приглашение на праздник, и уступила его мне (рядом с нами было место начальницы гимназии, той самой „княжны Корнаковой", которую Лев Толстой описал в „Детстве и отрочестве").

Я поехала с ней. Дорогой она рассказала мне, что Лев Толстой не будет на празднике. Он с Тургеневым в ссоре и поставил условием, что придет только в том случае, если там не будет Тургенева. А Тургеневу было все равно: будет Толстой или не будет.

На первое собрание Тургенев опоздал. Он вошел, когда какой-то француз читал приветствия и телеграммы из Франции.

Увидав Тургенева, публика сделала ему овацию, а француз принял это на свой счет и стал раскланиваться. Но, увидав свою ошибку, стал восторженно приветствовать Тургенева, который в это утро блеснул своей известной речью.

Во второй раз я видела его на литературно-музыкальном вечере в честь Пушкина, в день знаменитой речи Достоевского.

Публика в этот день была в очень возбужденном состоянии и горячо приветствовала Тургенева. Он читал стихотворение Пушкина „Поэт" и в середине забыл одну строчку. С хор маленький гимназист тоненьким детским голоском подсказал ему стих. Тургенев поклонился и продолжал декламировать.

Когда он кончил, раздался гром аплодисментов; особенно восторженны были студенты. Все они бурно бросились к эстраде и чуть не вынесли Тургенева на руках.

Третий раз я видела его у нас дома. Я стояла у окна, когда к подъезду подъехала карета, и я с удивлением увидела в ней Тургенева.

Обыкновенно, когда к моей матери приезжали важные или высокопоставленные гости, я всегда уходила, но тут я заявила, что не уйду, так как слишком большое счастье повидать Тургенева так близко. Мама представила нас друг другу и сказала обо мне:—эта девица в таком восторге, что видит вас, что не хочет уходить отсюда.

Тургенев сказал, что никаких секретов у него нет. А он приехал попросить о своей родственнице и крестнице Жене Тургеневой, которая здесь учится. Он привез деньги на ее экипировку и просил устроить ее куда-нибудь на лето, т[ак] к[ак] он не доверяет ее матери, имея на это основание.

В это время внесли столик с чаем, за которым началась беседа. Говорили о Пушкинских праздниках... Тургенев восхищался речью Достоевского и сам вспомнил о мальчике, который подсказал ему с хор забытый стих. Он сказал:

— Этот мальчик мне очень помог. Не понимаю прямо, как я мог забыть знакомый стих.

Потом он спросил, что я читала из его произведений. Я тогда читала уж все, кроме „Нови". Мама говорила о влиянии на молодых девушек таких типов, как *Лиза*. Когда Тургенев спросил меня, что мне больше всего нравится из его произведений, я сказала, что конечно Елена, Лиза, Вера (Фауст) дорогие и близкие нам люди, но как литературное произведение я больше всего люблю „Первую любовь".

Тургенев сказал:—И вы правы. Это и моя любимая, и самая удачная моя повесть. Она создана из пережитого, а такие вещи всегда выходят искреннее.

Когда он встал, чтоб проститься, он сказал:—Вот вы все говорите мне любезности, а я жду, когда же будет критика?

Мама сказала:—Ее не может быть!

А у меня вырвалось:—Нет, есть!..

Он заставил меня сказать, что я критикую, и я сказала:

— Зачем вы не живете в России? Мы все так вас любим!.. А вы от нас ушли!..

Он сделался печален и серьезен и сказал:

— Вы еще раз правы. Но обещаю вам, что в недалеком будущем я сделаю своей резиденцией Россию.

Прощаясь, он очень сильно сжал мне руку и сказал:—До свиданья,—подчеркнув это слово. Но свиданье наше не состоялось.

В письме к В. Д. Бонч-Бруевичу от 19 января 1931 г. В. Микулич пояснила: „Письмо, кот[орое] начинается словами „Милый друг, ты спрашиваешь о Тургеневе", писала не я, а моя институтская подруга Нат. Ал. Юшкова. Мать ее была начальницей Елизаветинского института в Москве, и, зная, что Наташа, вероятно, увидит на Пушкинских празднествах Тургенева, я и просила ее написать мне, какое он произведет на нее впечатление. *Ред.*

Лиза—героиня романа Тургенева „Дворянское гнездо".

Елена—героиня романа „Накануне".

3

ПИСЬМО Н. А. ЮШКОВОЙ

Я думала, милая Лида, что не увижу больше у нас Тургенева, и жалела, что нечего мне будет сообщить тебе о нем. Но вчера вечером совершенно неожиданно у подъезда нашего снова остановилась карета, из которой снова вышел наш Тургенев и позвонил к нам. Можешь себе представить, как мы заволновались, обрадовались. Наш высокий, крепкий и красивый, здоровый старик в своем элегантном сером английском костюме смахивал на иностранца, не на суетливого француза, а скорей на спокойного величественного лорда. Голова его, однако, была совсем русской и напоминала мне старых пасичников нашей Курской губернии. Волосы совершенно белые, белая борода отпущена по-русски, черты лица крупные, но резкие, очень мало морщин, да и те чуть заметны, глаза серые, зоркие, очень серьезные и скорей печальные, чем суровые. Улыбался очень редко. Подсели мы все к самовару. Сначала Тургенев нервно покашливал, потом с удовольствием пил чай, похваливая Машины булочки и варенье. В этот раз он сидел у нас довольно долго. Мама говорила, что я заражаю его своим волнением, а мне казалось, что он видит меня насквозь и видит, что я искренна до глубины души и как мне дорого, что он так ласково обращается ко мне, как к знакомой. Все, что он говорил нам, было очень интересно. Мир искусства был для него землей обетованной. Мне было жаль, что ты не слышишь, как он произнес слова „Право! Свобода! Искусство!..“ О высоко ценимой им „*науке*“ он говорил с воодушевлением, достойным просвещенного писателя. Любовь к родине ярко выразилась у него в его любви к самому художественному произведению русского народа, *к русскому языку*. Тургенев говорил: „Россия может обойтись без каждого из нас. А никто из нас не может обойтись без нее. И двойное горе тому, кто без нее обходится. Связующим началом, в котором исчезает всякая рознь, служит *драгоценнейшее достояние всего русского народа—могучий и прекрасный русский язык*“.

„Последняя моя просьба к писателям,—говорил еще Тургенев,—*берегите наш прекрасный русский язык, тот клад наш, драгоценное достояние, переданное нам нашими великими предшественниками, среди которых блистал и Пушкин*“.

И лебединой песней Тургенева звучат его известные слова о нашем родном языке: „В дни сомнений, в дни тягостных

раздумий о судьбах моей родины ты один мне опора и поддержка, о *великий и могучий, правдивый и свободный русский язык!*

Нельзя верить, чтобы *такой язык* не был дан *великому народу!*"

Будем же и мы все, в надежде славы и добра, верить в то, что язык этот дан великому народу. Будем любить, ценить и беречь и свой великий народ, и его могучий, правдивый и *свободный язык*, наш клад, наше богатство.

К этому письму Н. А. Юшковой Л. И. Микулич сделала следующее примечание:

Примечание: Письмо нашлось, но оно было так перепачкано, что я еле-еле могла разобрать его; может быть, что-нибудь и переврала. Простите. *Л. В.*

Это как раз то письмо, о котором ранее Л. И. Микулич сообщала, что оно потеряно. *Ред.*

4

ПИСЬМО А. П. ЧЕХОВА

Лопасня Москов. губ.

Многоуважаемая Лидия Ивановна!

После первого представления моей пьесы я уехал из Петербурга на другой день и газет не читал (у них был зловещий вид); затем добрые мои знакомые в своих письмах уверяли меня, что виновата-де не пьеса, а плохая игра артистов, что на втором и третьем представлении пьеса имела уже успех— я охотно поверил, и таким образом огорчение мое рассеялось очень скоро. Тем не менее все-таки Ваше милое письмо пришло как раз во-время; от него повеяло участием, дружбой, я поддался его обаянию и повеселел.

Затем я долго наводил справки, стараясь узнать, как Вас зовут по отчеству. Мне хотелось послать Вам свою книжку, написавши в ней, что я Вас глубоко уважаю и благодарю. Наконец, после долгого ожидания, вчера пришла справка от Ив. Ив. Горбунова, и я посылаю Вам книжку с просьбой принять ее.

У Толстых я не был. Помешала пьеса, потом выпал снег, было уже поздно. Позвольте еще раз поблагодарить Вас от всей души и крепко пожать Вам руку.

Преданный *А. Чехов.*

Моей пьесы.—Пьеса „Чайка", первое представление которой на сцене Александринского театра состоялось 17 ноября 1896 г. Пьеса успеха не имела.

Ив. Ив. Горбунов.—Горбунов-Посадов, Иван Иванович (р. 1864), поэт, беллетрист, один из руководителей издательства „Посредник".

5

ПИСЬМО М. П. ЧЕХОВОЙ

6 июня 1898.

Дорогая Лидия Ивановна.

Давно я собиралась побеседовать с Вами, но хлопоты, которых не мало выпало на мою долю, мешали мне исполнить мое сильное желание. Теперь я в деревне, но чувствую себя как дома. Мы собираемся продавать Мелихово и уезжать в Крым. Брат Антон здоров, но в дурную погоду сильно хандрил. Теперь все прошло.

Я очень счастлива, что познакомилась с Татьяной Львовной и вообще с семьей Толстых. Я была у них и о пребывании у них сохраню самое теплое воспоминание на всю мою жизнь. Татьяна Львовна приняла меня очень радушно, очень просто, как будто бы мы были давно знакомы. Звала меня в Ясную Поляну, и я, кажется, долго ждать себя не заставлю. Мне очень хочется поехать. Школа у нас достраивается, скоро будет освящение. Итак, еще одной школой больше в нашем уезде. Я радуюсь.

Будьте здоровы. Завидую Вам, что Вы в таких прекрасных местах наслаждаетесь природой. Мой сердечный привет доброму М[ихаилу] О[сиповичу]. Передайте ему, пожалуйста, о моем знакомстве с Толстой.

Всегда всей душой расположенная к Вам
Ваша *Мария Чехова.*

Мелихово—имение Чеховых в Серпуховском уезде, Московской губ.

Брат Антон.—Антон Павлович Чехов (1860—1904).

Татьяна Львовна—Толстая-Сухотина.

Школа достраивается. — Школа в Мелихове была начата постройкой в июле 1898 г. и закончена в 1899 г.

Одной школой больше...—А. П. Чеховым было построено в Серпуховском уезде за период 1896—1899 гг. три школы: в Талеже, Новоселках и Мелихове.

М. О.—Михаил Осипович Меньшиков (1859—1919), публицист, ближайший сотрудник газеты „Новое время".

6

ПИСЬМО Т. Л. СУХОТИНОЙ

27 апр. 1913 г. Почт. отд.
Благодатное Тульской губ.

Спасибо, дорогая моя Лидия Ивановна, за присылку трех оттисков „Теней прошлого". Очень, очень хорошо Вы пишете.

Не знаю, как другим, но для меня необыкновенно драгоценна эта Ваша работа: до сих пор я ничего не знаю, что так *живо и правдиво передало бы дух семьи моего отца.* Для меня лично эта работа ценна еще потому, что она восстановляет в моей памяти один из наилучших периодов моей внутренней жизни.

Одно мне было немного неприятно—это ваше осудительное и ироническое отношение к Черткову. Я сама уже второй год не видаюсь с ним и очень решительно считаю некоторые сделанные им поступки дурными. Но, слава богу, с годами во мне произошло то, что частое осуждение человека, несмотря на сделанные им дурные поступки,—стало мне до того тяжело, что я не в состоянии этого осуждения высказать, и мне больно слышать его от других. Иногда моя несдержанная природа вскипит, но как только пройдет время, так то воспитание сознательной любви, которое я получила, берет вверх и заглушает первый порыв.

Вероятно, если бы я в прошлом году прочла Ваши воспоминания, то, что Вы так метко пишете о Черткове, привело бы меня в восторг. У меня целый год руки чесались писать на него обличения и осуждения,—и только с большой борьбой я себя сдерживала; а теперь у меня все улеглось и осталась только оценка поступков, и никакого дурного чувства к человеку. Я даже опять готова повторить, что „он хорош", и взялась бы рассказать Вам, почему я так думаю. Я тогда этого не сделала вероятно потому, что он в то время решал очень трудный и тяжелый для него семейный вопрос, о котором мне неудобно было говорить даже Вам,—и решил он его добро и достойно. Чертков, как и все люди, имеет и хорошие, и дурные стороны, и, тоже как всем людям, ему свойственно нравственно и духовно падать и подниматься. А от него всегда требуют больше, чем от других. Пожалуй, что я понимаю, почему это происходит: у Черткова природа и приемы проповедника, а от проповедника требуешь того, чтобы он был не ниже своей проповеди.

Ну, довольно о Черткове. За эти два года в нашей семье разговор о Черткове был в роде разговора о Дрейфусе несколько лет тому назад. Вы, может быть, видали карикатуру Карандаша: на одной картинке изображен очень чопорный обед, на котором решено о Дрейфусе не говорить, но обедающие не выдержали, „ils ont parlé", и на другой картинке изображена невообразимая каша вцепившихся друг другу в волосы, поваливших друг друга на пол, показывающих

кулаки и кричащих друг на друга мужчин. Теперь это все поулеглось, и все трудные вопросы понемного распутываются к всеобщему удовлетворению.

Очень, очень жалко, что очень мало надежды на то, чтобы нам с Вами увидаться. Я чувствую, что если бы это случилось, то мы так же откровенно и интересно для нас обеих поговорили бы, как во дни нашей молодости. Мне почему-то всегда было легко и приятно Вам открывать свою душу.

Ну, прощайте, милая. Крепко Вас целую. Может быть еще до нашего ухода отсюда бог приведет встретиться.

Ваша *Т. Сухотина.*

P. S. Вы „по-дамски" не пишете своего адреса. Пишу наобум, доверяясь своей плохой памяти.

„Теней прошлого".—„Тени минувшего"—воспоминания В. Микулич, напечатанные в „Историческом вестнике", 1913 г., апрель.

Чертков—Владимир Григорьевич, литератор, ближайший друг и последователь Л. Н. Толстого.

Дрейфус (Alfrède Dreyfus) — французский офицер, еврей по происхождению, неправильно обвиненный французским правительством в государственной измене. Дело Дрейфуса, закончившееся в 1894 г. обвинительным приговором и высылкой его в Кайенну и затем, под влиянием общественного мнения, много раз пересматривавшееся, вызвало громадный интерес в Европе и имело крупное политическое значение.

Карандаш (Caran d'ache) — псевдоним французского карикатуриста Эммануила Пуаре (Poirée).

Ils ont parlé—они заговорили.

7

ПИСЬМО НИК. НИК. ГЕ

11 мая 1913 г.

Многоуважаемая Лидия Ивановна!

Простите, что, будучи Вам незнаком—(я вас видел всего раз, и Вы меня наверное не помните),—беспокою Вас.

Я прочел с большим наслаждением Ваши воспоминания о Льве Николаевиче и о его семье. Вы там и отца моего поминаете. И думается мне, что, может быть, я услышал бы от Вас что-нибудь о нем. Если Вы помните о нем что-нибудь, чего Вы не поместили в рассказы ваши, Вы меня очень обяжете, если поделитесь со мной Вашими воспоминаниями о моем отце.

Я не долго пробуду в Петербурге. Постоянно же живу в Швейцарии и очень прошу Вас, если Вам теперь нет времени написать мне, то потом прошу адресовать мне письма в Швейцарию (I Landweg-Bern).

Николай Ге.

Ваши воспоминания.—„Тени минувшего".

Отца моего поминаете...—Отец адресата, Николай Николаевич Ге (1834—1894), известный художник, личный друг Л. Н. Толстого.

8

ПИСЬМО НИК. НИК. ГЕ

19 мая 1913 г.

Многоуважаемая Лидия Ивановна.

Очень, очень благодарю Вас за Ваше письмо. Если б я не боялся Вас беспокоить, я просил бы у Вас позволения приехать к Вам поговорить об отце, так как по письму Вашему вижу, что даже впечатления Ваши о том времени без передачи определенных фактов, слов и т. д. и то уже мне многое говорят.

Вы спрашивали меня о том, как я вырастил своих детей? Что же, в общем я достиг своей цели. Мой старший сын теперь студент филологического факультета, очень работящий, серьезный и хороший юноша.

Поселился я в Онѣх. Жили мы бедно, в деревне. Заработка было мало, и в то же время детям можно было учиться. Этого мне и хотелось!

В России было две категории людей в то время, когда я уезжал с детьми: или бары, образованные, иногда даже ученые, если хотите, но *бары*, и *рабочие*, живущие своим трудом люди и непременно рабы. Встречались редкие, единичные экземпляры работающих бар, но совершенно не существовало и не могло существовать *свободных работников*. Чтобы сделать из детей работников, а в то же время не связывать их душу, я и увез их.

Про меньшего я ничего теперь не могу сказать, т[ак] к[ак] он на 18-м году заболел психически и сейчас болен. Про старшего же скажу, что он вышел тем, чего я ожидал, но что к этому примешалось влияние западно-европейского буржуазного строя, налагающего—хочешь, не хочешь—свою печать на молодое, подрастающее существо. Этого влияния я не предвидел и не учитывал, пока дети малы, и потом только увидел,

что это неотвратимое следствие жизни в человеческом окружающем обществе. Отец, мать и общество и влияние этого последнего так сильно, что с ним нельзя ничего поделать. Все, что может семья, это—своей лаской и любовью сохранить свое место в душе растущего юноши, что и даст возможность ему, когда он почувствует в этом надобность, вернуться к духу семьи. Говорю *вернуться* потому, что бывают периоды—обыкновенно от 17-ти и до 21, 22 лет, когда молодым, во что бы то ни стало, хочется свободы, самостоятельности и даже иногда бездомности.

Это все пережито было и у меня с детьми. Много было и радостей, много и страхов, и в конце концов все-таки все пришло к хорошему.

Вы спрашиваете о Бирюковых. Они сейчас опять в Onéx. Говорю опять, т[ак] к[ак] они совсем было переселились в Россию, а с прошлого года, когда старшему их сыну исполнилось 10 лет, они обратно переехали в Женеву для воспитания детей. Я не знаю, давно ли Вы их видели и знаете ли, что у них есть дети? В Ваших воспоминаниях Вы упоминаете о воспитанниках Бирюковых, а о детях не говорите. Старшие из воспитанников теперь в России, меньшой остался за границей. Это был очень способный мальчик и вышел хорошим электротехником, но умер от скоротечной чахотки.

Мне жаль Бирюковых. Им должно быть одиноко теперь в Женеве. Народу-то там верно много, но это уже новые люди, не нашего поколения. А жизнь русская так быстро стала изменяться за последние 10 лет, что ничего почти общего нет между молодым поколением и нами. Я думаю, что нам Ломоносов был понятнее, чем теперешним молодым людям Тургенев. Россия все более становится Европой, деловой Европой.

Теперь уже в России возможно то, что было прежде ко двору только Европе, напр[имер] то, что все профессии хороши и равноценны: кухарки, профессора, почтальоны и депутаты. Кто бы они ни были, лишь бы добросовестно исполняли свое дело, все одинаково достойны уважения.

Месяц тому назад я был в том самом хуторе, где когда-то я жил с отцом с матерью, со своей женой и детьми. Гостил у своего прежнего соседа-крестьянина. Его старший сын в тот день возил навоз. Старик разбогател за последние 20 лет, и сын его возил навоз, но на прелестных, отлично кормленных лошадях. Все хозяйство вообще такое, что в старину сын такого крестьянина не возил бы навозу, а поручил бы

это работнику. Еще более меня удивило, когда мы с этим молодым человеком поехали в Киев. Он одел новую пиджачную пару, манишку и галстух и в городе вел себя, как молодой горожанин. -В старину бывали разбогатевшие крестьяне, носившие пиджаки и манишки, но ни они, ни их дети не возили навозу, а теперь возят и не считают этого унизительным. Вот это та новая русская Европа, которой я не предвидел и не мог себе представить.

Еще раз очень благодарю Вас за Ваше доброе письмо и за память к моему отцу. Я уезжаю в будущий вторник, когда буду в Петербурге—не знаю. Если бы Вы были в Швейцарии, очень прошу Вас, напишите мне, я приеду повидаться и поговорить с Вами про милую старину..

Искренно уважающий Вас
Николай Ге.

Опѐх—местечко близ Женевы в Швейцарии.

Спрашиваете о Бирюковых...—Павел Иванович Бирюков и жена его Павла Николаевна Бирюкова, рожд. Шарапова, друзья и последователи Л. Н. Толстого.

Воспитанниками Бирюковых были беспризорные крестьянские дети Костромской губ., где проживали Бирюковы до своего переселения в Швейцарию.

Художник Н. Н. Ге был большим почитателем Льва Толстого и своим человеком в его семье. Все в доме Толстых звали его „Дедушкой", а сына его „Количкой". И Дедушка и Количка казались членами семьи Толстых. Ни к кому из близких Лев Николаевич не благоволил так, как к Черткову и к Дедушке.



Н. Г. Павлова

Сказка „Бова“ у Радищева и Пушкина как вид политической сатиры

Изучение рукописной повести-сказки о Бове, по имеющемуся наличию ее списков, в последнем этапе работы привело меня к анализу сказки одноименного названия у Радищева и Пушкина. Ближайшее рассмотрение этой литературной сказки выявило политико-литературный „фокус“, с помощью которого оба писателя постарались распространить свои общественные воззрения и взгляды на ропшинскую драму, а также на правительство Екатерины II. При полном отсутствии каких бы то ни было средств для запретной пропаганды Радищев и Пушкин решили воспользоваться оболочкой народной сказки и к намеченным в ней отношениям главных героев приспособить российскую династическую ситуацию второй половины XVIII века.

Что этого рода прием не является оригинальным достоянием Радищева и Пушкина, а представляет собой отражение народного влияния, доказывается анализом приведенного ниже варианта рукописной повести о Бове. Этот анализ покажет, что как моральная оценка событий ропшинской драмы, так и прикровенная манера изложения в образах любимой сказки были переданы народом обоим писателям в готовом почти виде.

Таким образом, перед нами любопытнейший образец использования формы литературной сказки для осуществления задач общественно-идеологического характера, причем индивидуалист-писатель лишь отзывается на коллективную разработку аналогичной темы, идущей от народных масс.

Неизвестный до сих пор вариант народной сказки о Бове

> ...„Литературные произведения нашей древнейшей эпохи точно так же возникали под воздействием тех или других общественно-политических явлений, как и в новое время".
>
> *В. Истрин* („Очерк истории древней русской литературы)".

„Сказка — складка, а песня — быль" — таково традиционное определение внутренней сущности сказки, данное самим ее носителем — народом. Отдельные исследователи любят ссылаться на это лаконически-императивное изречение, хотя в рассматриваемом вопросе оно, может быть, подлежит поверке. Как бы то ни было, но на сей раз в русской истории сказка стала былью, больше того, сказка продиктовала эту историческую быль. Эти соображения вызваны чтением и изучением одного любопытного варианта распространенной во множестве списков сказки о Бове-королевиче, незнакомого как основным редакциям этой сказки, так и всему наличию ее списков.

Чтение этого варианта дано по рукописи Публичной библиотеки, относящейся к началу второй половины XVIII века (XV, № 85, П. Б.)

. . . „и повеле Бова-королевич раскопать могилу отца своего и положил его в новом гробе и повеле Бова-королевич священником собратися и пойде Бова-королевич со всем собором и отпевши отца своего короля Гвидона погребение и с великой честью (а мати свою прекрасную Милитрису живую в старый гроб положить и поставить в той же могиле и закопать живую в землю) *и погреб отца своего честно и мать*". [1]

Только рассматриваемый текст знает о попытке Бовы раскопать могилу своего отца и положить его „в новом гробе", для чего нет внутренней мотивировки в самом содержании сказки, потому что погребение Гвидона, тем паче с нарушением царского ритуала, в ней совсем не упомянуто. Так как, с другой стороны, рукопись точно датирована, то небесполезно поискать объяснения этому варианту, имеющему характер

[1] В данном отрывке с текстами сказки совпадает только выражение: „Мати свою прекрасную Милитрису закопать живую в землю" (вар.: „в стену" и т. д.)

механического привеска, в условиях переживаемого его автором исторического момента.

Он оканчивает свою рукопись в августе 1764 г., отличавшегося особым возбуждением умов. Казнь Мировича и убийство Иоанна Антоновича, вызвавшие в Западной Европе открытое негодование против Екатерины, [1] были встречены в России глухим протестом, выразившимся в достаточно своеобразных формах. „В конце 1764 г. появился в Петербурге „сумасброд", проповедывавший, что накануне или на другой день рождества христова в 1764 г. произойдет потоп. Когда цесаревич Павел узнал, что этот „пророк", по распоряжению петербургского архиерея, взят под караул, он сказал: „Это и хорошо он сделал: хотя эдакой сумасброд и враки рассевает, однако все простой народ в беспокойство и смятение приведен тем быть может". [2] 11-летний мальчик, конечно, только повторил слова просвещенной матушки, в обществе которой он не без оснований находился в этом году, так как последняя хорошо учитывала симптоматическое значение подобных явлений. Смутные слухи, бродившие в народной массе, получили, наконец, более конкретное выражение: в 1764 г. прусский посланник граф Сольмс упоминает о заговоре в пользу цесаревича. [3] Заговоры в его пользу возникали с тех пор непрерывно. Недовольные Екатериной несомненно торопились ознаменовать подобающим образом исполнившееся двухлетие со дня смерти Петра III. Вторичное погребение последнего могло входить в программу заговорщиков и, как живое эхо современности, отразилось в сказке. К тому же, когда заговор провалился, таким путем было удобнее всего воздействовать на воображение наследника. История доказала нам, что инициаторы этого плана не ошиблись. Все то, что в рассматриваемом варианте стоит за пределами скобок, было с изумительной точностью приведено Павлом в исполнение 35 лет спустя, в момент своего воцарения. Но для того, чтобы действовать подобным образом, надо было знать и природную впечатлительность наследника, и его интерес к нашей сказке. Этими сведениями располагали его воспитатели и вообще ближайшие придворные, среди которых, как известно, было много малограмотных людей, сумевших поэтому в присочиненном

[1] В. А. Бильбасов, „История Екатерины II", СПБ, 1891, т. II, стр. 366.
[2] „Павел I. Собрание анекд., отзыв., характеристик и проч.". Ал. Гено и Томич. СПБ, 1901, стр. 13—14.
[3] К. Валишевский, „Сын Великой Екатерины", стр. 30.

варианте удержать вполне народный характер изложения. Малограмотный автор обнаружил, кроме того, большую раздражительность, — он, несомненно, был горячим сторонником Петра III и, как таковой, чрезвычайно типичен для окружающей Павла среды.

Данный вариант мог получить известное распространение, так как в некоторых слоях населения направление внутренней политики Петра III создавало иллюзии, перешедшие в посмертную симпатию после его загадочной смерти. Известно, что после уничтожения торгово-промышленных монополий мелкий торгово-промышленный люд освободился от привилегированных капиталистов „компанейщиков". Замечу кстати, что в купеческой среде сказка о Бове всегда была популярна,—подробность, подчеркнутая Островским в пьесе „Без вины виноватые". Кроме того, освобождены были большие группы крестьян, так как у архиереев и монастырей реквизировались их населенные имения. Этому соответствовал указ 21 марта 1762 г., запрещавший фабрикантам покупать крестьян, взамен чего они были обязаны пользоваться вольнонаемным трудом. „Естественно возникли мечтания о будущем в тех слоях населения, которые были наиболее угнетены; а это и было крепостное крестьянство, окрыляемое освобождением монастырских и архиерейских крестьян". [1]

Итак, нет ничего удивительного в том, что неожиданная смерть Петра III местами вызвала глухое недовольство.

И, если даже патентованный дипломат Беранже, не скрывая гримасы отвращения, перечисляет в донесениях к своему правительству признаки отравления, [2] то трудно допустить, что-

---

[1] Проф. Ф и р с о в, „Петр III и Екатерина II". Москва, 1915 г., стр. 19—21.

[2] „Говорят по секрету, что никто этому не верит, и что этот великий князь был отравлен. Не могу ничего сказать утвердительно в. в. по этому поводу, хотя располагаю данными, могущими подтвердить самые крайние подозрения"... „Нет, ответил в. князь, конечно, им мало было недопустить меня до шведского престола, лишить меня царства российского, им понадобилось еще отравить меня"... „Я не ходил на него смотреть, так как ни один посланник не был там". „Все говорят, что его лицо было необыкновенно черно, что сквозь кожу просачивалась сукровица, которая виднелась даже на перчатках, одетых у него на руках. Наконец, уверяют, что на этом трупе были заметны все признаки, которыми характеризуются отравления". „У русских существует обычай, согласно которому после смерти государя его подданные прощаются с ним, целуя его в губы. Те лица, которые отправились отдать этот последний долг Петру III, вернулись домой с сильно опухшими губами".

Депеша Беранже от 23 июля 176? г. Б и л ь б а с о в, „История Екатерины II". Приложения, стр. 1—7.

бы это дворцовое преступление ничем не отозвалось в народном сознании. Автор рассматриваемого варианта „Бовы" дал свое решение проблемы: за смерть отца отомстит сын, который будет править, как его отец. Это решение соответствовало каким-то смутным чаяньям, бродившим в известных группах народа, переносивших свои симпатии на опального Павла Петровича и сумевших даже передать ему свои пожелания, вплоть до вторичных похорон его убитого отца включительно. Находя себе опору в этих симпатиях, Павел и в опале чувствовал себя сильным, внушая тем большее подозрение Екатерине, сумевшей распознать этот народный лик за фигурой своего сына. Из царствования Павла в настоящей статье нас интересует, однако, лишь один момент: вторичные похороны его отца.

Вторичное погребение Петра III

Факт этих необыкновенных похорон сам по себе общеизвестен, и я берусь лишь напомнить его читателю. Из „Москвы была доставлена корона, и, как только во дворце приготовили зало и катафалк, гробница Петра была открыта, гроб вынут, с императорскими почестями перенесен во дворец и поставлен на одном катафалке и рядом с гробом императрицы. Еще до перенесения во дворец, пока гроб стоял в Невском монастыре, Павел приказал открыть его и собственноручно возложил корону на голову своего отца. А затем его в один день с императрицей вторично похоронили в соборе Петропавловской крепости, обоих рядом" (Г е н о и Т о м и ч, стр. 38). Для нас важнее, однако, живое восприятие этого факта современниками, т. е. свидетельство мемуаров. Исследователи правы, что в подобных случаях „для разъяснения чисто русского вопроса" зачастую приходится обращаться к иностранным источникам, так как в России опасались комментировать некоторые события. До нас дошли мемуары гр. Федора Головкина, жившего в Париже, с которым, по некоторым данным, Павел состоял в переписке. Вот ряд его суждений по интересующему нас вопросу:

„Мысль обесславить свою мать прежде всего захватила Павла I, и для ее осуществления он употребил следующие два средства: 1) вырыть из могилы Петра III и 2) выказать глубочайшее сочувствие князю Зубову, бывшему главному фавориту в период, предшествовавший смерти императрицы"... Было приказано найти тело Петра III... его сапоги и кости

были положены в гроб, подобный гробу императрицы" (гр. Федор Головкин, Двор и царствование Павла I, Париж, 1905).

Головкин описывает впечатление, произведенное этими похоронами: „Чернь ликовала, чувствительные люди опускали глаза". Но сам он был далек от чисто народного освещения этого факта и строго осудил Павла, приведшего его в состояние положительного недоумения. Недоумение Головкина разделила современная историческая критика. Валишевский говорит об этом следующим образом: „Истинную мысль Павла очень трудно распознать во всех его действиях, вплоть до двойного погребения Екатерины и ее супруга... По мнению Растопчина, эту мысль внушил Павлу Плещеев, вследствие говорившей в нем ненависти, тогда как под влиянием мистически настроенных мыслей, поддерживаемых в государе этим же другом, Павел думал, наоборот, осуществить таким образом за гробом примирение обоих виновников его существования, которых жизнь вооружила друг против друга. Следует заметить, что, по воле Екатерины, Петр III покоился не в общей усыпальнице русских государей в Петропавловской крепости, а в Александро-Невской лавре. Может быть, соединяя оба гроба, Павел не имел другого намерения, как только привести все в порядок".

Автор аллегорической картины, изображающей похоронную процессию, посвященной Павлу I, французский художник Анселен, видел, однако, в этой церемонии апофеоз Петра III „к радости русского народа и к ужасу Алексея Орлова". [1] Другая картина Анселена, изображающая Орлова и Барятинского умирающими от змеиных укусов, обнаруживает в нем чисто теребеневское чутье народных симпатий и строгую согласованность с ними. Нет никакого сомнения в том, что низы русского общества приписали смерть Петра III самой Екатерине. „Так некто Елыгин отказался от присяги Екатерине, сказав попу Петру: „Есть ли где на свете, чтобы жена у мужа волю взяла. Эх, не с кем стать, а то я бы всем городом не пошел к присяге" (дело происходило 3 июля 1762 г.) [2] Вспомним далее слова манифеста Иоанна Антоновича: „Недолго владел престолом Петр III, и тот от пронырства и от руки жены своей опоен смертным ядом, по нем же не иным чем, как силой обладала наследным моим престолом..." (Бильбасов, стр. 346). Г. Р. Державин рассказал нам, как реагировал

[1] К. Валишевский, „Сын Великой Екатерины", стр. 118.
[2] Фирсов, „Петр III и Екатерина II", стр. 42.

народ на казнь автора этого злополучного манифеста: „Мировичу отрублена на эшафоте голова. Народ, стоявший на высотах домов и на мосту, необыкший видеть смертной казни и ждавший почему-то милосердия государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились“ (Бильбасов, стр. 359). Это было, кстати сказать, в 1764 г., когда и был создан наш вариант „Бовы“. Подобные же сомнения жили в душе самого Павла. После вскрытия секретного ящика Екатерины Павел поручил чтение ее бумаг кн. Безбородко. Когда он окончил чтение письма Алексея Орлова, Павел перекрестясь воскликнул: „Слава богу! Те немногие сомнения, которые я имел по этому поводу в отношении моей матери, теперь рассеялись“. [1]

Вот почему Никита Иванович Панин совместно с гетманом Разумовским просили сенат уговорить Екатерину отложить свое намерение присутствовать на похоронах Петра III „для многих неприятных следств“, и она „намерение свое отложить благоволила“. [2]

Благодаря народной этике, наличию книжных влияний, касающихся старой темы „о злых женах“, опальные царевичи XVIII века были неизменно в поле зрения простого народа, будь то Павел Петрович, Алексей Петрович, Петр Алексеевич или Иоанн Антонович, в которых народ видел все того же злополучного героя любимой сказки, преследуемого Милитрисой в том или ином облике. Недаром эти царевичи и любили сказку о Бове: она упомянута, например, в числе „потешных книг“ царевича Алексея Петровича, и с известным вероятием можно допустить, что, слушая эту сказку, Павел Петрович в 1764 г., может быть, предрешил вторичные похороны своего отца. Притом он мог знать ее и раньше. В рукописи о Бове Академии Наук (17. 16. 21) есть любопытная вставка: „государь, ести хочеться! С великой радостью“. Если устранить эти слова, то связное течение рассказа ничуть не нарушится. Очевидно, одно лицо рассказывало историю, а другое вело запись „на случай“, „когда государю бывало скучно, когда не являлось новых потешников“. [3] Второе лицо записало механически диалог, возникший между рассказчиком и слушате-

[1] С. Соловьев, „История России с древнейших времен“, М, 1891, т. XXV, стр. 358, прим. 134.

[2] Здесь легко мог подразумеваться самосуд, указанный в варианте сказки и еще в XVIII веке существовавший в форме обычного права.

[3] Савченко, „Русская народная сказка“, Киев, 1915, стр. 35.

лем „государем". Кто этот последний? Наша рукопись относится ко второй половине XVIII века, совпадая с годами наследничества Павла Петровича, когда захожие сказители могли скрашивать вынужденное уединение царевича. Тем более, что в судьбе русского сказочного героя было действительно нечто общее с положением опального Павла Петровича. О смерти Петра III ходили самые темные слухи, фаворитов Екатерины все знали по именам и в части общества несомненно питали надежду, что выросший сын „отмстит смерть отца своего". Вспомним распоряжение Павла I сравнять с землей могилу Потемкина, срыть его памятник, далее высылку кн. Дашковой с предписанием „разобраться в своих воспоминаниях 1762 г.", приказание старику Алексею Орлову нести корону Петра III впереди его гроба, — и комментарии к сбывшимся тайным упованиям современников будут излишни. Постройкой Михайловского замка, вторичными похоронами отца горе-богатырь Косометович, осмеянный Екатериной, отдал обильную дань запасу юношеского чтения, заимствованному по преимуществу из русской сказочной литературы. Печальная судьба этого и других опальных царевичей на общем фоне „женовластия" XVIII века обеспечила широкое распространение сказки, наибольшее количество списков которой падает именно на это столетие.

Сатирическая поэма Радищева

Основная особенность любопытной обработки повести о Бове Радищевым заключается в сильнейшем развитии иносказательного элемента, сообщившего ей характер политической сатиры.

Говоря о поэме Радищева „Бова", следует заметить, что относительно времени ее написания имеются два противоречивых свидетельства его сыновей. По показанию Н. А. Радищева, поэма была написана во время пребывания в Сибири („Русская старина", 1872, т. IV, стр. 80—81), т. е. до 1796 года (времени помилования Радищева Павлом I), а по мнению П. А. Радищева она написана в 1799 году. [1] Последнее представляется более вероятным, так как, во-первых, в самой поэме заключается указание на то, что речь идет о прошлой жизни автора:

[1] Полн. собр. сочинений Н. Радищева, под ред. В. В. Каллаш. М. 1907, т. I, стр. 486, примеч. 6.

В ту страну ужасну, хладну,
В ту страну, где я средь бедствий,
Но на лоне жаркой дружбы
Был блажен и где оставил
Души нежной половину...[1]

а во-вторых, поэма могла иметь значение политической признательности, что явствует из письма Радищева Павлу I. Это письмо (в издании Полевого точно воспроизведен его оригинал) [2] по своему искреннему тону вполне отвечает горячему сочувствию, каким проникнут автор к герою своей поэмы. Таково было отношение к Павлу при вступлении его на престол всех вообще либерально настроенных умов того времени, для чего были данные в поведении наследника: „По мере того, как Екатерина вдавалась в открытую реакцию, упования сосредоточивались на ее сыне; воспитанник Панина, ставший в открытую оппозицию с матерью, решительно осуждавший ее поступки, казалось, позволял ожидать от себя иного образа действий, иного направления; рассказы близких к нему людей, видевших его интимную жизнь, поддерживали эти надежды; так же действовали разные факты из его путешествия под именем гр. Северного по Западной Европе. В Париже, когда Бомарше выдерживал великую борьбу из-за своей „Свадьбы Фигаро", Павел выслушал опасную эту комедию в чтении самого автора, и монолог 5-го действия, направленный против существующего строя, главное место в пьесе, возбуждавшее против себя, восхитил русского наследника. Уважающим терпимость показал он себя и по отношению к пьесе Лагарпа „Jeanne de Naples". [3] Поэтому, между прочим, „Жанета — девка храбра" фигурирует в „Бове", как у Радищева, так и у Пушкина, хотя образец взят был иной — „La pucelle" Вольтера, сходный, однако, с первым в освещении легкомысленной личности героини. Так как первые шаги правления Павла, т. е. освобождение масона и известного деятеля просвещения Новикова, польского мятежника Костюшки, возвращение из Сибири литератора-вольтерианца Радищева, разрешение постановки „Ябеды" Капниста, ранее запрещенной, отве-

[1] Т. е. свою вторую жену.
[2] П. Н. Полевой, „История русск. слов.", т. II.
[3] А. Н. Веселовский, „Просветительный век и Александровская пора". Лекции, читанные на М. В. Ж. К., М., 1916, стр. 146—147.

чали надеждам лучших людей, то естественно, что Радищев рискнул писать в Бове о шайке... лютых и свирепых,

Ко сребру и злату алчных,
Сих варягов и норманов,
Коим прозвище в дни наши
Не разбойники морские,
Не наездники, не воры, —
Сохрани нас, бог, помилуй,
Чтоб их назвали столь мерзко,
Но те люди благородны,
Что без страха разъезжают,
В те суровые годины,
Как Яр Позвизд с Чернобогом! [1]
Пеня волны, окрапляют
Их верхи людскою кровью,
Грабят всех, без наказанья.

В этих „гражданских" мотивах можно сразу узнать автора „Путешествия из Петербурга в Москву", для которого фон популярной повести лишь удобный предлог для их напоминания:

Хотя выросла старуха
Среди шума волн и ветров,
При воззрении всегдашнем
На жестокости Арея,
Средь стенаний, вопля, крика
Умирающих злой смертью
Или злее самой смерти
Во оковах срамных, тяжких
Иль железные неволи,
Иль рабства, насилья дерзка,
Но была старуха наша
Мягка сердцем и душою...

Немудрено, что герой повести бежит из этой ужасной страны, и в изображении его переживаний автор наиболее близок к старинной повести:

Ветр попутный веет тихо
В белый парус корабельный,
Там на палубе летяща

[1] Мнимые славянские божества ветров и зла, выдуманные М. Поповым.

Корабля, что волны зыбки
Рассекал на влажном поле
Бова сидя песнь унылу
Пел и в гусли златострунны
Бряцал легкими перстами.
Пел стеная бряцал и плакал,
Лил потоки слез горючих.
„Что возможет, ох, сравниться
С лютой горестью моей,
Кто, быть может, столько бедствен,
Столько бедствен, как Бова?
Лишь светило дня блестяще
Мои очи озарило,
Грусти, горе и печали,
Мне достались в удел,
Желчь сосал я вместо пищи
Из сосцов змеиных лютых,
Колыбель мою качали
Скорбь унылая и злость.
Сирота унылый, горький!
Мой злодей мне мать родная!
Она жизнь мою хотела
Чуть расцветшую прервать.
Я один меж всей природы,
Я во всей вселенной странник
И пустынник между тварей
Всех родившихся в любви".

Далее, согласно с планом старинной повести, излагается история сватовства двух королей, в портретах которых не трудно узнать Григория Орлова и Петра III, причем личность последнего идеализирована до нелепости. Возможно, однако, допустить, что, изображая идеального монарха в лице рано умершего отца, Радищев думал дать политический урок Павлу в форме наиболее безобидной.

... Но не силою десницы,
Не удачей, не коварством
И не крепостью доспехов
Побеждал Гвидон противных.
Правды, истины поборник,
Меч его победоносный

Никогда не обагрялся
Кровью слабых и невинных.
Он защитник угнетенных,
Разрешитель уз и плена,
Непорочности спаситель,
И его смиренно сердце,
Душа нежна, душа тиха,
Воспалялась гневом львиным,
Когда видел он коварство,
Ложь, строптивость и насилие
Угнетающих, бессильных, —
Тогда воин милый, тихий
Бывал враг непримиримый,
Бывал бич неукротимый
Злобе, буйству и прельщению.

Этой характеристики Гвидона нет в старинной повести о Бове.

Однако, в целях настоящего исследования историко-литературная сторона в развитии поэмы представляется не менее существенной, чем политико-общественные реминисценции автора, на которых необходимо было остановиться, имея в виду, что поэт-гражданин в полном смысле слова и в своих слушателях хотел видеть прежде всего граждан:

Я пою... А вас послушать,
О возлюбленны *граждане*,
К себе в гости призываю.

Набросав далее портрет старухи-сторонницы запретных культов, Радищев концентрирует внимание читателя на теме о падении нравов, которой он задолго до этого посвятил несколько ярких страниц в „Путешествии". Беспощадный сарказм и крайняя гиперболичность образов намеренно использованы им в качестве художественных средств для воздействия на психику читателя, пробуждения в нем решимости к борьбе с несомненным „гражданским злом" его времени. Это обстоятельство, в связи с формой путешествия и иносказательной манерой изложения, указывает на ближайший литературный источник для поэмы Радищева не столько в названной им „Тавриде" Боброва, сколько в статье „О повреждении нравов в России" современника Радищева, писателя-публициста кн. Щербатова.

В своем произведении Щербатов особенно не пощадил Екатерину, так что его произведение не могло быть напечатано

и распространялось только в рукописях (впервые оно было напечатано Герценом в Лондоне). Второе произведение Щербатова „Путешествие в Офирскую землю", где в иносказательной форме была изображена Россия и российские злоупотребления, опять-таки своей формой повлияло на „Бову" Радищева. По словам проф. Сиповского, „в XVIII веке у нас особенно интересовались утопиями", чем по существу является и государство Квамо (Москва) Щербатова и царство Гвидона Радищева. — „Почти во всех романах,—говорит он,—критикующих несостоятельность государственных порядков, имеется картина такого уголка на земной поверхности, где все обстоит благополучно".[1] Проф. Сиповский указывает также на любопытную в этом отношении повесть Левшина „Новейшее путешествие", а источник этой „политической" по своему основному характеру литературы в „Персидских письмах" Монтескье, „Телемаке" Фенелона и отчасти в произведениях Вольтера. К Щербатову Радищев ближе, чем к другим по одинаковости воззрений на Павла, как на чаемого „идеального монарха". Последняя тема, хотя и вне данного объекта, также интересовала людей того времени: ей уделено место в произведениях Екатерины II, Чулкова и Попова („Очерки", стр. 155, прим. 622).

Итак, поэма Радищева находится в теснейшем органическом соотношении с литературой века, примыкая к тому ее моменту, когда, „кроме печатания сказок, увлечение народным творчеством, определившееся под влиянием Чулкова, сказалось в опытах создать русскую эпопею и драму на народные мотивы" („Очерки", стр. 233). В этом отношении выбор Радищевым именно сказки о Бове нельзя не признать удивительно удачным, так как, во-первых, в XVIII веке сказка пользовалась еще необыкновенной популярностью, несмотря на то, что иные недальновидные люди посматривали на нее свысока, как переводчик, напр., романа „Философ англинской", заметивший в предисловии, что „не у одних нас есть Бовы Королевичи, Еруслановичи Лазаревичи, Петры Златые Ключи, — везде их много; но надобно предводимому разумом человеку справедливое полагать различие между такими враками и связно, приятно и остроумно выведенными приключениями". Современники однако ж не внимали голосу рассудка, и даже известный библиофил, имея „превеликую библиотеку, никогда книг не читал, кроме как „Шемякин суд", „Бову Королевича", „Полкана",

[1] В. В. Сиповский, „Очерки по истории русск. романа", СПБ., 1909, т. I, вып. I, стр. 133—135.

„Златых Ключей“ и им подобных: таковые книги хранятся у него с превеликим тщанием и каждой по два экземпляра, — один для украшения библиотеки, — другой лежит в кабинете на столике, для всегдашнева употребления... Протчие же, хорошие... стоят у него в шкафу, в богатом переплете, с золотыми обрезами и с надписанием его имени“ („Собеседн. любит. росс. слова“, 2 изд. СПБ, 1819, „Очерки“, стр. 22). В журнале „И то и сіо“ рассказывается об одном приказном, который... „по прекращении приказной службы кормит он голову свою переписыванием разных историй, которые продаются на рынке, как-то, например, „Бову Королевича“, „Петра Златых Ключей“, „Еруслана Лазаревича“, о „Франце Венециянене“, о „Герионе“, о „Евдоне и Берфе“, о „Арсасе и Размере“, о „Российском дворянине Александре“, о „Фроле Скобееве“, о „Барбосе Разбойнике“, и прочие весьма полезные истории, и сказывал он мне, что уже 40 раз переписал „историю Бовы Королевича“, ибо на оную больше бывает походу, нежели на другие такие драматические сочинения“. Один критик, разбирая сочинение „господина К.“, называет его „двоюродной сестрой Бовы Королевича“, так как оба произведения исполнены фантастики, но зато-де „в Бове Королевиче“ нет таких неблагопристойностей и слуху противных выражений, — какими исполнен К.“ Заимствую у проф. Сиповского сведения о степени распространенности и, следовательно, наибольшей популярности тех или иных рукописных романов. Так, Чулков указывает на „Бову Королевича“ и „Петра Златые Ключи“ („Пересмешник“, V, 194), Н. Эмин на „Франца Венециана“ („Игры судьбы“, 42), Болотов на „Бову“ („Записки“, I, 150) и на „Троянскую историю“; Щербань — „Еруслана Лазаревича“, „Бову Королевича“ и т. д., Добрынин — „Бову Королевича“ („Истинное повествование“, 134). О популярности Бовы узнаем мы также из комедии XVIII века: М. Прокудин, ком. „Самохвал“, 1773, 80; В. Тредьяковский, ком. „Трессотиниус“, 1781, 288; императрица Екатерина, ком. „Обольщенный“, 1785, 126; А-др Сумароков, ком. „Рогоносец по воображению“, 1786, 241 („Очерки...“, стр. 22, 46).

При такой широкой популярности сказки о Бове нельзя не признать остроумным замысел Радищева, пожелавшего использовать ее оболочку и заглавие для пропаганды своих общественно-политических взглядов. Произведения чисто литературные в ту пору расходились чрезвычайно плохо, и один из современников Радищева трагически восклицает: „Радуйтесь, русские писатели, скоро ваши книги совсем покупать перестанут“. Радищев тем более не затруднялся исполь-

зовать такой материал, как простонародная сказка о Бове, что даже авторитетный Чулков усматривал в ней волшебно-рыцарский роман. Радищев пошел по предначертанному последним пути, и Бова в его обработке представляет собой именно тот руссифицированный волшебно-рыцарский роман, изобретателем которого, как особого литературного вида, принято считать Чулкова. Этот волшебный элемент у радищевского „Бовы" сказался в появлении таких аксессуаров, как волшебное зеркальце, живая вода, сон героя, чудесные феи; специально рыцарский элемент сказался у него в превосходном описании турнира, о котором народная сказка не знает вовсе. Книжная струя, очень сильно сказавшаяся в обработке Радищева, в народное творчество не просочилась, и редакция его сказки, в качестве книжной, стоит отдельно от чисто народных редакций рукописного Бовы.

Анализ общественных воззрений Радищева, как таковой, является задачей будущего историка, а в настоящем изыскании дан для него лишь подсобный материал. Литературная же сторона вопроса в данном случае ограничивается наблюдением над постепенным искажением старинной повести, сообразно вновь возникающим литературным формам (волшебно-рыцарский роман), а также развитием той же темы у других писателей, применивших подобно Радищеву иносказательную оболочку для выражения своего гражданского протеста. Поэма Радищева, как известно, в целом виде не дошла до нас. Из 12 песен после его смерти была обнаружена только первая, подготовленная к печати; остальные 11 загадочно исчезли, хотя редактор издания 1807 года свидетельствует, что они написаны, — он их читал, и они произвели на него превосходное впечатление. По счастью, сохранился план ко всем двенадцати песням, в котором налицо все аксессуары волшебно-рыцарского романа. Герой романа после *неожиданной бури* выброшен в море, затем его прибило к берегу, где он погружается в *сон*. Во сне целомудрие его стойко ведет борьбу с искушениями на острове *Соблазна*,[1] который неожиданно превращается в *пустыню*. Он видит костер с зажженной *змеиной кожей*, вынимает ее. Следует появление двух фей,—

[1] Любопытно сопоставить с этим местом поэмы следующую биографическую деталь, касающуюся Павла I: „В Париже герцогиня Бурбонская дала высокой чете великолепный праздник в Шантильи; придворные были в аллегорических костюмах; сама герцогиня была одета Наядою и отвезла великого князя (одетого Телемаком) на остров любви". Д. А. Ровинский. Подробный словарь русских гравированных портретов, СПБ., 1889, стр. 241.

первой — злой и второй — доброй. Вторая повествует ему *о змеиных превращениях* в людей, награждает *волшебным зеркалом*. Проснувшийся герой становится невольником, его продают, и он попадает в царские садовники. В него влюбляется царица, он полюбил царевну, с которой сблизился. Разгневанная царица сослала его на конюшню (из народной сказки), а дочь заперла в терем. Царь назначает *турнир* с целью выбрать жениха. Зеркальце помогает Бове попасть туда и сразиться. Он побеждает Лукопера, но ему отказывают в руке царевны, так как он не рыцарь, не свободен и поэтому не имел права драться. Судьи дают ему трудное поручение, — достать *живой воды*. Он слушается и едет. Почему? „Кто знает, сколь строги законы чести, тот знает, что рыцарских правил ослушаться было нельзя. Да и ныне, когда свинья тебя толкает рылом, то тяни вон шпагу и колись: так честь повелевает". [1] Однако, *герой нарушает клятву*, опять сближается с царевной, за что наказан — у него отнимается зеркало. Он путешествует, добирается до подошвы Тавра. Следует встреча его с Полканом (из народной сказки). После боя богатыри становятся друзьями (то же). Далее герой отправляется *за живой водой*, Полкан — на добычу царевны. Вместе они убегают, но Полкана, *согласно предопределения,* растерзали львы. Дружневна нанимается в работницы, у нее двое детей (согласно с народной сказкой). Между тем посланный царицей *чародей* нагоняет Бову возле Испагани. Он не может его погубить, так как *судьба* тому противна. Наученный чародеем, царь Испагани Салтан посылает против Бовы громадное войско, но тот его разбивает и идет дальше. Чародей переоделся дервишем (пилигрим народной сказки), усыпил Бову и передал в руки Салтана. Бова у него в тюрьме (народная сказка). Там он находит *чудесный меч* и всех истребляет (то же), также и Лукопера. Достигает наконец желанной горы, борется *с привидениями и страстями*, черпает *живой воды*. Конец поэмы, за исключением встречи с двумя сыновьями и царевной, ничего общего не имеет с народной повестью-сказкой. Наиболее характерное искажение, совершенно лишающее повесть прежнего нравоучительного смысла, — отсутствие мести Милитрисе и Додону со стороны Бовы, так что все авантюры последнего становятся, повидимому, бесцельны, даже с точки зрения волшебно-рыцарского романа.

[1] Насколько мне известно, это — первый в русской литературе протест против дуэли.

Анализируя этот план, имеющий весьма отдаленное отношение к старинной повести-сказке о Бове, можно сказать, что влияние народного творчества сказалось в нем особенно сильно в трех сценах: 1) в встрече с дервишем, давшим Бове „усыпающего зелья“ (пилигрим народной сказки), 2) в встрече Бовы с детьми (один играл на арфе, другой пел) и особенно 3) в бегстве из тюрьмы Салтана (Испагань — „рахлейскому царству“), которое ничем не отличается от соответствующего бегства, рассказанного в народной сказке.

Однако не нужно преувеличивать влияния народного „Бовы“, который послужил для него плодотворной фабулой, дал несомненный толчок для замысла поэмы и ее формы, но содержание в эту форму вложено новое, современное поэту. Об этом сам автор достаточно ясно высказался в следующих строках:

Вы Бову хотя видали,
Но в старинном то кафтане
Во рассказах няни, мамы
Иль печатного... *но дядькин*
Бова — нового покроя,
Зане дядька мой любезный
Человек был просвещенный...

Историко-литературная сторона в развитии поэмы обязывает к определению личности этого „просвещенного дядьки“, послужившего оригиналом для Радищева. Последний дает его несколько карикатурный рельеф:

Чесал волосы гребенкой,
В голове он не искался,
Он ходил в полукафтанье,
Борода, усы обриты,
Табак нюхал и в картишки
Играть мастер; еще в чем же
Недостаток, *чтобы в свете*
Прослыть славным стихотворцем
Иройческой поэмы
Или оды или драмы?
Я пою...

Последние строчки в связи с традиционным для авторов героических поэм выражением „пою“ отсылают нас к ряду „славных стихотворцев“ XVIII века, т. е. к Хераскову или

Сумарокову. Что именно последний был поэтическим дядькой Радищева, ясно из обратного чтения имен этого дядьки:

„Петр Сума, приди на помощь",

т. е. Сумар . . . пет[ь].

Сообразно с признанным значением Сумарокова Радищев обращается далее к нему:

И струею речи сладкой
Оживи мою ты повесть.

Итак, по моему предположению, замысел „Бовы" был передан Радищеву Сумароковым, что прибавляет лишнюю деталь к подражательным опытам последнего в области народного творчества.

Литературными образцами для Радищева послужили далее: „Таврида" Боброва и „Орлеанская девственница" Вольтера. Подражание первому сказалось в том, что поэма Радищева написана белыми стихами, впервые введенными Бобровым:

Без складов она, без рифмы,
Вслед пойдет певцу Тавриды . . .

Вольтеру Радищев подражал в злостном осмеянии современных пороков, и это влияние было особенно сильно; Бобровым же Радищев пользуется, по его собственным словам, лишь „в услаждение", т. е. для внешней занимательности рассказа.

Весь рассказ сознательно заключен Радищевым в иносказательную форму:

Возьму плащ я для тумана,
А Боброва в услаждение (стр. 393).

Радищевым руководила политическая осторожность ссыльного, только что возвращенного из Сибири, но все еще подозреваемого:

. . . Да еще же
Я намерен рассказать вам,
Как то свойственно и нужно,
Чуть не вымолвил я — должно
Для того, кто в гости ездил
Во страны пустынны, дальни,
Во леса дремучи, темны,
Во ущелья — ко медведям! (стр. 390).

Но „плащ" плохо держится на плечах поэта-гражданина, позволяя угадать всем знакомую фигуру, и сказка о Бове под его пером принимает характер резкой политической сатиры, вытканной по узору народной сказки, сохраняющей свое зна-

чение и до нашего времени, прежде всего в виду ее несомненного авто-биографического значения.

И так только расскажу вам
То, что льстить лишь будет слуху,
Что гораздо слаще меда
Для тщеславья и гордыни;
А все то, что чуть не гладко,
То скорее мы поставим
В кладовую или погреб.
И проклятие положим,
Если дерзкой кто рукою,
Сняв покров прещенья наша,
Обнажит протекше время. [1]
Мы проклятье налагаем,
Хоть из моды оно вышло,
Но мы в силах наших скудны;
А когда б властитель мира
Я Тиверий был иль Клавдий,
Тогда б всякий дерзновенный,
Кто подумать смел, что дважды
Два четыре, иль пять пальцев,
Ему в каждy дал бог руку,
Тот бы пал под гневом нашим.
А как не дал нам бог власти,
Как корове рог бодливой,
То мы к дерзкому воскликнем:
„Отойди, пожалуй, дале,
Поди вон ты, оглашенный! [2]
Мне здесь нужно суеверье;
Обольщен я, но желаю
Обольщен быть..." [3]

[1] Очевидные указания на запрет цензурой „Путешествия из Петербурга в Москву".

[2] Автобиографический намек на ссылку за „Путешествие": ... „Он был предан суду, по обвинению, для которого не нашлось ни одной подходящей статьи в тогдашних русских уголовных законах: книга его признана „разрушающей покой общественный, умаляющей должное к властям уважение, стремящейся к тому, чтобы произвести в народе негодование против начальников и начальства. Уголовная Палата и Сенат приговорили Радищева к смертной казни посредством отсечения головы. Екатерина отдала приговор на пересмотр еще третьей, не предусмотренной законом инстанции, „Военного Совета", и, наконец, заменила смертную казнь десятилетней ссылкой в Сибирь, в Илимск"...

[3] Указание на современную автору комедию „Обольщенный", написанную против суеверия.

Сатирическая сказка Пушкина

Литературный пример Радищева оказался не единственным. Та же сказка о Бове была обработана Пушкиным в форме политической сатиры,[1] для которой основным источником явилась „Орлеанская девственница“ Вольтера. Обращаясь к последнему, поэт восклицает:

О, Вольтер, о муж единственный!
Ты, который на Радищева
Кинул было взор с улыбкою,
Будь теперь моею музою![2]
Петь я тоже вознамерился,
Но сравняюсь ли с Радищевым?[3]

Как и Радищев, Пушкин преследует в своей сатире Екатерину II, хотя у последнего ей отведена довольно пассивная роль. Эта литературная атака началась во Франции, где в бытность там Павла I (наследником) была поставлена пьеса Лагарпа „Jeanne de Naples“, в лице безнравственной героини которой предполагалось изображение Екатерины. Как известно, парижская цензура хотела запретить эту пьесу, но сам Павел хлопотал о разрешении ее постановки.[4] В отношении к Екатерине у обоих русских писателей сказались не вполне однородные мотивы: Радищевым руководило по преимуществу чувство гражданского протеста, Пушкин мстил ей за семейное унижение предков.

А. С. Пушкин дал этому ясное доказательство в стихотворении „Моя родословная“:

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь Петергофского двора,

---

[1] Впервые элемент сатиры усмотрел в ней Л. Майков. — См. сочин. А. С. Пушкина, изд. Ак. Н., т. I, стр. 125.

[2] Еще Белинский отметил, что Бова — „очень важный документ для истории миросозерцания молодого Пушкина. Ни в одной из пьес лицейского периода не сказалось так ярко влияние „фернейского злого крикуна“, как в Бове...

[3] Полн. собр. сочинений Пушкина, изд. Сытина, М., 1899, стр. 25.

[4] А. Н. Веселовский, „Просветительный век и Александровская пора“, М., 1916, стр. 147.

Как Миних верен оставался
Паденью Третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин,
И присмирел наш род суровый,
И я родился — мещанин!

Естественно, что Орловым, как главным зачинщикам возвышения Екатерины, должно было быть отведено главное место в Бове Пушкина.[1] В действительности это так и произошло, доказательством чего послужит разбор его сказки.

Исходным пунктом у Пушкина является ропшинская драма, причем Петру III усвоено название Бендокира Слабоумного, Екатерине — имя Милитрисы, Павлу I — Бовы, Григорию Орлову — Додона. О последнем в сказке говорится, что он — „венец со скипетром“:

Не прямой достал дорогою,
Но убив царя законного,
Бендокира Слабоумного.

Далее в сказке дано насмешливое описание совета, собранного Додоном, на который приглашены бородачи, так как „Безбородых не любил Додон“. Известно, что осторожного и умного канцлера Безбородко побаивались все екатерининские фавориты. На предложение Додона освободить его от Бовы, посаженого в темницу:

Все собранье призадумалось,
Все в молчаньи потупили взор.
То-то, право, золотой Совет:
Не болтали здесь, а думали.

[1] Некоторые специалисты-пушкиноведы находят неправильным истолкование автором статьи замысла и персонажей „Бовы“ А. С. Пушкина и в частности мотива литературной „мести“ Пушкина Екатерине по обстоятельствам семейного унижения предков Пушкина императрицей. Мы охотно предоставим страницы наших сборников соответствующим возражениям. С своей стороны мы считаем однако вполне возможными эти чисто дворянско-аристократические мотивы в творчестве молодого А. С. Пушкина, которому всегда они не были чужды. „Родиться мещанином“ для А. С. Пушкина, конечно, было величайшим несчастьем, той несмываемой обидой, которую он никогда, вероятно, забыть не мог. Гениальному поэту были свойственны все недостатки его класса, типичным представителем, идеологом и выразителем которого он несомненно был. *Прим. ред.*

Один Разумовский сделал слабую попытку протестовать:

Арзамор,[1] муж старый, опытный,
Рот открыл было [советовать
Знать хотелось поседелому],
Громко крякнул, но одумался
И в молчаньи закусил язык.

Наибольшей портретности достигает, однако, образ Алексея Орлова — Громобуря:

Громобурь, известный силою,
Но умом не проницательный,
Думал, думал и нечаянно
Задремал и захрапел в углу... (стр. 26)

Его пример оказался заразительным для остальных участников совета:

Глядь, с Додоном задремал Совет,
Захрапели многомыслящи![2]

Далее Пушкин опять обращается непосредственно к Алексею Орлову, обрисовывая его всецело по событиям ропшинской драмы и придворным рассказам о его необычайной силе:

Долго спать было советникам,
Если б немцу не пришлось из рук
Табакерку на пол выронить;
Табакерка покатилася
И о шпору вдруг ударилась
Громобуря, крепко спавшего,
Загремела, раздвоилася,
Отлетела в разны стороны.
Храбрый воин пробуждается,
Озирает все собрание;
Между тем табак рассыпался,
К носу *рыцаря* подъемлется,
И чихнул *герой* с досадою,
Так что своды потрясаются,
Окна все дрожат и сыплются,

[1] При обратном чтении первых двух букв: Раз.
[2] Подражание насмешливому описанию Совета в „Трумфе" И. А. Крылова отмечено П. О. Морозовым (Соч. и письма А. С. Пушкина, т. I, СПБ, 1903, примеч. на стр. 424).

И на петлях двери хлопают. [1]
Пробуждается собрание.
„Что тут думать, — закричал *герой*, —
Царь, Бова тебе не надобен,
Ну, и к чорту королевича!
Решено — ему в живых не быть.
После, братцы, вы рассудите,
Как с ним надобно разделаться".
Тем и кончил: храбры воины
Речи любят лаконически. [2]

В последующих словах поэта заключается указание на кокой-то неудавшийся заговор против Бовы (Павла I).

„Ладно, мы тебя послушаем!
Царь промолвил потянувшися:
Завтра, други, мы увидимся,
А теперь ступайте все домой".
Оплошал Додон отсрочкою;
Не твердил он, верно, в азбуке:
„Не откладывай до завтрого,
Что сегодня можешь выполнить".

В пушкинской сказке любопытнее, однако, другая деталь. Согласно плану старинной повести, Бову выручает из темницы

[1] О каком богатыре идет здесь речь, ясно из текста Ровинского „Русские народные картинки". Особенной известностью пользовались кулачные бои, происходившие в присутствии страстного охотника до них графа Алексея Григорьевича Орлова перед зимним его домом, что в Нескучном; в этом доме был устроен особый фонарик, из которого Орлов смотрел на бой, когда сам почему-либо на нем не присутствовал. Перед боем привозили целыми возами кожаные рукавицы; собирались партиями фабричные с разных фабрик, целовальники и мясники. Случалось, охотники и из купцов, в лисьих шубах, и даже из господ. Победа заканчивалась криком „Наша взяла"; „а рыло в крови",—добавляет пословица (стр. 221 и 222).

Соответствующие описания А. Г. даны в „Подробном словаре русских гравированных портретов", т. I, СПБ, 1898: „гр. А. Григ. род. 1734 г., один из главных руководителей заговора 1762 г., присутствовал при смерти Петра III, был атлетического сложения и славился своею силою; на знаменитом турнире, бывшем в Царском Селе в 1765 г., остался победителем; часто бился на кулачках один на один" (стр. 1183).

[2] О том, как „гремело" в XVIII в. имя Орлова, о внушаемом им героическом обаянии свидетельствует резонер комедии „Воспитание" Добромысл: он „турецкий флот истребил, Константинополем потряс и российский флаг даже в египетских водах почитать заставил". См. Милюков, Очерки, вып. I, СПБ, 1903, стр. 414. Насмешливо-недоброе отношение к Орлову со стороны Пушкина объясняется опять-таки воздействием радищевской традиции: „пеня волны, окропляют их верхи людскою кровью".

девушка-Чернавка по своему личному побуждению; но у Пушкина она решается на это по просьбе неожиданно появившейся ей в ночь после вышеописанного совета тени отца Бовы— Бендокира Слабоумного (т. е. Петра III):

Видит Зоя привидение:
Старичишка [1] с длинной шапкою
В балахоне вместо мантии,
Опоясанном мочалкою,
Вид противный: глаз на выкате. [2]

Предок Пушкина, „попавший в карантин" за приверженность к Петру III, мог знать финальные детали попойки, окончившейся убийством императора (ср. письмо Ал. Орлова к Екатерине II из Ропши). По этим семейным воспоминаниям нарисован, очевидно, портрет мертвого, а не живого Петра III. Далее следует диалог:

„Ты ли это, царь наш, батюшка?
Отчего, скажи, оставил ты
Ныне царствие небесное?"
Странным [3] смехом осветившися,
Тень рекла прекрасной Зоиньке:
„Зоя, Зоя, не страшись, мой свет!
Не на то сюда явился я
С того света привидением—
Весело пугать живых людей.
Но могу ли веселиться я,
Если сына Бендокирова,
Милого Бову царевича,
На костре изжарят завтра же?" [4]
Бедный царь заплакал жалобно;
Больно стало доброй девушке.

Беседа ее с покойным кончается согласием, если окажется возможным, сесть в тюрьму вместо Бовы. На этом и прерывается сказка Пушкина.

Любопытно вспомнить отзыв Пушкина о Бове Радищева, заключающийся в его статье „Александр Радищев": „*Жаль,*

[1] Вариант: „Венценосца с длинной шапкою".
[2] См. иллюстрацию к Бове в издании народной сказки Ал. С. Пушкина (3 к.), 1880 г., хранящуюся в Пушкинском Доме (23 3/34).
[3] Вариант: Глупым смехом освегившися.
[4] Радищев: „Она жизнь мою хотела чуть расцвевшую прервать".

что в Бове, как и в Алеше Поповиче, другой его поэме, исключенной, не знаем почему, из собрания его сочинений, *нет и тени народности, необходимой в творениях такого рода*; но Радищев думал подражать Вольтеру, потому что он вечно кому-нибудь, да подражал" (стр. 780). Все это обвинение производит несколько странное впечатление, имея в виду, что в собственной сказке Пушкин не позаботился о сохранении народности, притом в ней он также сознательно подражал Вольтеру, и, следовательно, весь приговор обращается, так сказать, против него же самого.

Но вчера, в архивах роясь,
Отыскал я книжку славную,
Золотую, незабвенную,
Катехизис остроумия,
Словом—Жанну Орлеанскую,
Прочитал—и в восхищении
Про Бову пою царевича.
О, Вольтер, о муж единственный,
Ты, которого во Франции
Почитали богом некиим,
В Риме—дьяволом, антихристом,
Обезьяною в Саксонии,
Ты, который на Радищева
Кинул было взор с улыбкою,
Будь теперь моею музою!
Петь я тоже вознамерился,
Но сравняюсь ли с Радищевым?

Кажется просто невероятным, что Пушкин, критикуя Радищева, как бы забыл или умалчал об аналогичных недостатках своей сказки, даже вовсе не упомянул о ней, несмотря на теснейшее родство их обеих. Однако, если отрешиться от доводов акад. Сакулина [1] и стать на сторону сторонников эзоповского языка Пушкина в этой статье, то вопрос решится сам собой: Пушкин намеренно избегал сопоставлений, крайне опасных для него в виду политического характера обеих сказок. Говоря, что сказка не народная, он усиливал интерес к ней, имея в виду, что она вышла из-под пера известного публициста, тем более, что написана в подражание Вольтеру. Желая возможно шире пропагандировать понравившийся ему

[1] Акад. Сакулин, „Пушкин и Радищев", Москва, 1920.

род политической сатиры, Пушкин отметил „достоинства" первой песни „Бовы" Радищева и авторитетно указал, что „Вообще Радищев писал лучше стихами, нежеле прозой. В ней не имел он образца, а Ломоносов, Херасков, Державин и Костров успели уже обработать наш стихотворный язык".

Семь лет спустя, после первой и неудачной обработки сказки о Бове в стихах (1815 г.), Пушкин дал второй подобный опыт в „Зензевее", и хотя пока известен один лишь незначительный фрагмент, но и по нем можно судить об эпическом великолепии целого:

Зачем раздался гром войны
Во славном царстве Зензивея.
Поля и села зажжены...
В Армению, в палаты Зензивея,
Съезжаются могучие цари,
Царевичи, князья, богатыри.
Армянский царь их ласково встречает
И с ними добрый Зензивей
Пирует ровно сорок дней.
Себе ты выбрал, Зензивей,
Кого союзником и другом?
Кто будет счастливым супругом
Царевны дочери твоей?
Она мила как ландыш мая,
Резва как лань кавказских гор.

(1822 г.)

У Радищева и Пушкина Бова, сообразно с народной сказкой, является носителем несокрушимой нравственной силы,— он абсолютно неподкупен и физически непобедим. И лишь во время сна его едва не убивает коварный дворецкий.

Это чисто народное понимание Бовы сполна выражено в „Лесе" Кольцова, написанном по поводу дуэли-убийства Пушкина:

Что Бова-силач заколдованный,
С непокрытой головой в бою,
Ты стоишь, поник и не ратуешь
С мимолетной тучей-бурею?..
. . . . . .
... Знать, во время сна к безоружному
Силы вражьи понахлынули...
. . . Не осилили тебя сильные,
Так подрезала осень черная...

говорит поэт, указывая на черную интригу, погубившую Пушкина в тот именно момент, когда он писал жене:

На свете счастья нет, а есть п о к о й и в о л я.
Давно завидная мечтается мне доля.
Давно *усталый раб* замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

(1836 г.)

В своей аллегории-песне Кольцов шел по литературному пути, проложенному Радищевым и Пушкиным, использовавшими сказку о Бове для сатирических целей. Однако, трагический пафос Кольцова достигает такой простоты и силы изобразительных средств, взятых из народной поэтики, что чувство гражданской скорби у читателя возникает само собой.

За поэтической разработкой сказки о Бове у новых писателей последовала прозаическая. Насколько удачным оказался род запретной пропаганды, примененный Радищевым и Пушкиным, можно судить по тому факту, что сказка вновь подверглась подобной же переработке под пером одного из видных литераторов семидесятых годов Ал. Ив. Стронина (см. „Словарь деятелей революционного движения"), выпустившего в 1873 году под псевдонимом А. Иванова небольшую книжечку, носящую заглавие „Рассказы о царстве Бовы Королевича". Она представляет в своей основе изложенный в популярном виде социологический этюд.

Указатель личных имен

Абрамович, Дмитрий Иванович 53.
Авдеев, Михаил Васильевич 322.
Авдулин, Петр Ильич 500.
Авксентьев, Иван 378.
Агнеса, королева немецкая 252—255, 260, 262, 264.
Адальберт, архиеп. Бременский 242, 244, 245.
Аксаков, Иван Сергеевич 303, 467, 479, 480.
Аксаков, Константин Сергеевич 95.
Аксаков, Сергей Тимофеевич 93—95.
Аксакова, Анна Федоровна, р. Тютчева 91, 92.
Александр I, император 36, 48, 82, 84.
Александр II, император 297, 379, 400, 407, 410—412, 491, 496.
Александр II, папа римский (Ансельм, епископ Лунский) 260—264.
Алексеев, унтер-офицер 41.
Алексеев, Дмитрий Ларионович 30.
Алексеев, Степан Ларионович 7, 17, 28—31, 37—39.
Алексей Михайлович, царь 84.
Алексей Петрович, царевич 82, 519.
Амбургер, Андрей Карлович 10.
Аммосов, Александр Николаевич 72, 78, 79.
Андерсен, Ганс-Христиан 53.
Андреев, В. 15.
Анненков, Иван Васильевич 362, 378.
Анненков, Павел Васильевич 97, 128, 193, 194, 282, 283, 289, 362, 480.
Аннон, архиепископ Кельнский 261—263.
Анселен, французск. худ. 518.
Антонович Елизавета Ивановна 364, 365.
Антонович, Максим Алексеевич 192—194, 280, 345, 352, 363, 364, 369, 370.
Антонович-Войшин, Платон Александрович 483.
Апостолов, Николай Николаевич 395.
Апухтина, Наталья Дмитриевна, по 1 бр. Фонвизина, см.—Пушина.
Аргиропуло, студент 377.
Аристотель, 160, 445.
Арльт 126, 133, 134.
Арсеньева, Валерия Владимировна, по 1 бр. Талызина, см.—Волкова.
Арсеньева, Прасковья Николаевна, см.—Ахвердова.
Арсеньевы 288.
Аршеневская, Мария Николаевна, см.—Веселовская.
Аршеневский, Николай Федорович 84.
д'Аршиак, маркиз 73.
Аскоченский, Виктор Ипатьевич 300.
Астраков, Николай Иванович 142.
Астраков, Сергей Иванович 141, 142, 152.
Астракова, Татьяна Алексеевна 97, 141, 142.
Ауэрбах, Г. А. 401.
Ахвердова, Прасковья Николаевна, р. Арсеньева 16.
Ахвердова, София Федоровна, см.—Муравьева.
Ахшарумов, Николай Дмитриевич 348, 351, 355.

Бабеф, Франсуа 415.
Базилевская, Екатерина Васильевна 185.
Бакалов, Г. 196, 197.
Бакунин, Михаил Александрович 129, 360, 470.
Балбо, Цесарь 326.
Баранова, Варвара Самсоновна, см.—Оболенская.

Барант, бар. Амабль-Гильом 73.
Барсов, Елпидифор Васильевич 479, 480.
Барсуков, Александр Иванович 481.
Барсуков, Александр Платонович 54, 478.
Барсуков, Иван Платонович 478.
Барсуков, М. И. 77.
Барсукова, Анна Михайловна, р. Ртищева 478–481.
Барсукова, Зинаида Ивановна 481.
Бартенев, Петр Иванович 79, 84, 480.
Баршевская, София Викторовна, см.— Лизогуб.
Баршевский, Владимир Викторович 492.
Барятинский, Иван Сергеевич, кн. 518.
Басаргин, Николай Васильевич 41.
Баскакова, Елизавета Ивановна, см.— Огарева.
Беатриче, маркграфиня Тосканская 251 255.
Бебутов, Григорий, кн. 33, 34.
Бегичев, Степан Никитич 20, 30.
Безбородко, Александр Андреевич, св. кн. 84, 519 533.
Беклешова, Александра Ивановна, р. Осипова 52.
Белинская, Мария Васильевна, р. Орлова 189–191.
Белинский, Виссарион Григорьевич 97, 101, 102, 128–131, 150, 187–194, 330, 331, 336, 532,
Белоголовый, Николай Андреевич 45, 46.
Белокопытова, Анна Семеновна 289–290.
Белокопытова, Елизавета Семеновна, см.—Тургенева.
Белянин, И. 27, 28.
Бенедикт IX, папа римский 240–244, 247, 248, 255–257.
Бенедиктов, Владимир Григорьевич 322, 324.
Бенкендорф, Александр Христофорович, гр. 36, 79.
Беранже (Bèrenger), фр. повер. в делах в Пб. 516.
Берже, Адольф Петрович 33.
Берс, София Андреевна, см. — гр. Толстая.
Берс, Татьяна Андреевна, см.— Кузьминская.
Бертольд, герцог Тюрингенский 262.
Бестужев, Михаил Александрович 40.
Бестужев, Николай Александрович 40, 43.
Бетховен, ван-Людвиг 133.
Бианки 155.
Бибиков, адъютант 365.
Бильбасов, Василий Алексеевич 515, 516, 518, 519.
Бирюков, Павел Иванович 511, 512.
Бирюкова, Павла Николаевна, р. Шарапова 511, 512.
Благосветлов, Григорий Евлампиевич 296–344, 414.
Блан, Луи 155, 326.
Blanc, Paul 360.
Бланк, Григорий Борисович 54.
Блох (?) 103.
Боборыкин, Дмитрий Александрович 12, 13.
Боборыкин, Петр Дмитриевич 297, 301.
Бобрищев-Пушкин, Николай Сергеевич 48.
Бобрищев-Пушкин, Павел Сергеевич 47, 48.
Бобров, Евгений Александрович 25, 26, 28
Бобров, Семен Сергеевич 524, 530.
Богданов, А. Ф. 149, 151, 152.
Богданова, Елизавета Семеновна, р. Щепкина 151.
Бодиско, Елена Константиновна, см.— Станкевич.
Боков, Петр Иванович 267, 272.
Болль фон-Николай Львович 391, 392, 400, 404–408.
Болотов, Андрей Тимофеевич 526.
Бомарше, Пьер Огюст Карон 521.
Бонифаций, маркграф Тосканский 247, 251.
Бонч-Бруевич, Владимир Дмитриевич 6, 502, 504.
Боратынский, Евгений Абрамович 93.
Борисова, Мария Васильевна 52.
Боткин, Василий Петрович 53, 102, 127, 129, 131, 193, 283, 285, 290–292, 298, 300, 322.
Боткин, Петр Кононович 107.
Боткин, Сергей Петрович 473.
Бочечкиров, кварт. надзират. 394.
Боянус, Карл Карлович 48.
Брайт, Джон 338.
Брандиера, бр. 156.
Брем, Альфред 348.

Бриммер, Эдуард Владимирович 34.
Бриоски, итальянский худ. 57, 58.
Бродский, Николай Леонтьевич 53, 139.
Бронников, купец 46, 47.
Броунов, Петр Иванович 268.
Брунон, епископ г. Туля 248.
Брянская, Евдокия Яковлевна, по 2 бр. Головачева, см. – Панаева.
Букин, М. В. 302, 312, 314, 320.
Булгаков, Александр Яковлевич 58, 60, 63, 64, 67—69.
Булгаков, Константин Александрович 57—59, 63, 64, 67—69, 71—75.
Булгаков, Константин Яковлевич 57—60, 63—65, 74.
Булгаков, Яков Иванович 57.
Булгакова, Екатерина Александровна, см.— Соломирская.
Булгакова, Наталья Васильевна, р. княж. Хованская 63.
Булгарин, Фаддей Венедиктович 28, 35—37, 343.
Булич, Сергей Константинович 17, 34.
Бурачек, Степан Онисимович 24.
Бурбонская, герцогиня 527.
Буренин, Виктор Петрович 192.
Бурцев, Иван Григорьевич 15.
Буташевич-Петрашевский, Михаил Васильевич 300.
Буткевич, Анна Алексеевна, р. Некрасова 186, 189.
Бутович, Митрофан Федорович 378, 405, 409.
Бухгейм, Лев Эдуардович 19, 105.
Быстров, Николай Иванович 357.
Бэгот (Бэджот), Вальтер 328, 329.
Бэкон, Фрэнсис 164, 333, 335.
Бэр, Карл Максимович 99, 115, 118.

Вадковский, Федор Федорович 40, 43.
Валишевский, Казимир 515, 518.
Валуев, Петр Александрович, гр. 373.
Васильчикова, Татьяна Васильевна, см.—кн. Голицына.
Ватсон, Эрнест Карлович 346, 352.
Введенский, Иринарх Иванович 304, 305, 343.
Вейнберг, А. Л. 57.
Вейнберг, Петр Исаевич 462, 463, 467.
Вельш, механик 141.
Венгеров, Семен Афанасьевич 53, 304,
Вербицкая, Екатерина Федоровна 483 484, 487, 488.
Вербицкий-Антиох, Николай Андреевич 482—484, 487.
Vergani, Евгения 288.
Верещагин, Николай Васильевич 346.
Верещагина, Александра Михайловна, см.—бар. Гюгель.
Веселитская, Лидия Ивановна (псевд. В. Микулич) 500—512.
Веселовская, N Павловна, см.—Дурново.
Веселовская, N Павловна, см. – Щепотьева.
Веселовская, Екатерина Авраамовна, см.—Крамер.
Веселовская, Марианна, р. Фабри (Fabri) 83.
Веселовская, Мария Авраамовна, см.—Clisson.
Веселовская, Мария Николаевна, р. Аршеневская 84.
Веселовская, Райнария (Renée) Авраамовна, см.—Симпкинсон.
Веселовский, Авраам Павлович 80, 82—84.
Веселовский, Александр Николаевич 521, 532.
Веселовский, Исаак Павлович 84.
Веселовский, Павел 84.
Веселовский, Федор Павлович 84.
Вигилянский 406.
Виельгорский, Матвей Юрьевич, гр. 74, 75.
Виельгорский, Михаил Юрьевич, гр. 24, 74, 75.
Виктор II, папа римский (Гебгард, епископ Эйхштедский) 251—253.
Викторов, Алексей Егорович 481.
Вилинская, Мария Александровна, см.— Маркович.
Вильгельм 236.
Виницкая-Будзианик, Александра Александровна 502.
Витгенштейн, кн. 200.
Витгенштейн, Петр Христианович, св. кн. 38.
Витте, Сергей Юльевич, гр. 54.
Власьев, Геннадий Александрович 381.
Воейков, жанд. офицер 377, 380, 382, 386, 393.

Воейков, Николай Павлович 12, 13.
Войнов, Александр Львович 59, 60.
Вокери 155.
Волгин, студент 378.
Волкова, Валерия Владимировна, р. Арсеньева, по 1 бр Талызина 288.
Волконский, Николай Сергеевич, кн. 396, 403.
Волконский, Сергей Григорьевич, кн. 40, 45, 478.
Вольтер, Франсуа-Мари Аруэ 80, 82, 521, 530, 532, 537.
Вольф, Маврикий Осипович 324, 345.
Вольф, Фердинанд Богданович 44.
Воробьев, Сократ Максимович 112.
Воронцов, Михаил Семенович, св. кн. 77, 148, 150.
Воронцова, Екатерина Романовна, гр., см.—кн. Дашкова.
Вревская, Александра Борисовна, бар. см.—Лаптыженская.
Вревская, Евпраксия Николаевна, бар., р. Вульф 52, 53, 55.
Вревский, Борис Александрович, бар. 54—56.
Вронченко, Михаил Павлович 118.
Вульф, Алексей Николаевич 51, 52, 55.
Вульф, Анна Николаевна 52.
Вульф, Евпраксия Николаевна, см.—бар. Вревская.
Вульф, Павел Иванович 52.
Вульф, Прасковья Александровна, р. Вындомская, см.—Осипова.
Вындомская, Прасковья Александровна, по 1 бр. Вульф, см.—Осипова.
Вышеславцев 322.
Вяземские, кн. 75.
Вяземский, Петр Андреевич, кн. 54, 60, 78.

Г-на, Л. В. 473—475.
Гааг, Луиза Ивановна 145, 146.
Гагарин, Иван Сергеевич, кн. 79, 84, 85.
Гаевский, Виктор Гавлович 189, 190.
Гайдн, Иосиф 68, 133.
Галахов, Александр Павлович 119.
Галахов, Алексей Дмитриевич 138.
Галахов, Гавриил Аристархович 119.
Галахов, И. Г. 119.
Галахов, Иван Павлович 105, 106, 117, 119.
Галахов, Сергей Павлович 117, 119.
Галахова, Элиза, р. Боуен (Bowen) 117, 119.
Галахова, Елизавета Павловна, см.—Фролова.
Галахова, Мария Павловна, см.—Кепеу.
Гальцева 285.
Ган, Елена Андреевна, р. Фадеева 53.
Гангеблов, Александр Семенович 14.
Ганнеман, Самуил 47, 48.
Ганнибал, Надежда Осиповна, см.—Пушкина.
Гарибальди, Джузеппе 78, 341.
Гаррисон 306.
Гартунг, Мария Александровна, р. Пушкина 481.
Гастфрейнд, Николай Андреевич 49.
Ге, Николай Николаевич 500, 509—512.
Ге, Николай Николаевич-отец 509—512.
Гезелон, герцог Лотарингский 247.
Геккерен, бар. Луи 79.
Геккерен-Дантес, бар. Екатерина Николаевна, р. Гончарова 73.
Геккерен-Дантес, бар. Жорж 60, 63, 73, 77, 78.
Генисс 36.
Гено, Александр 515, 517.
Генрих II, король немецкий 230, 231.
Генрих III, король немецкий 226, 235, 240, 242—248, 250—254, 256.
Генрих IV, король немецкий 253, 254.
Гераклит, философ 320.
Герард, Иван Антонович 135.
Герд, Александр Яковлевич 266.
Герцен, Александр Александрович 108.
Герцен, Александр Иванович 78, 79, 96, 97, 100—102, 104—112, 115, 117—119, 124, 127—130, 133, 134, 136, 138, 139, 142, 144—147, 150, 152, 153, 155—166, 306, 321, 328, 360, 374, 376, 378, 402, 403, 408, 472, 525.
Герцен, Наталья Александровна, дочь А. И. Герцена 108.
Герцен, Наталья Александровна, р. Захарьина 108, 111, 112, 188.
Герцен, Николай Александрович 108.
Герцены 149.
Гершензон, Михаил Осипович 96—98, 127—129, 150.

Герье, Владимир Иванович 460.
Герье, Елена Владимировна 96.
Гете, Вольфганг 124, 167, 171, 172.
Гизо, Франсуа 326.
Гирос, тамбовский мещанин 385—387.
Гирс, Елена Федоровна, р. Тютчева 88.
Гискар, Робер 248—250, 256, 257, 260.
Глинка, Михаил Иванович 64, 68, 71.
Глинка, Юстина Карловна 8.
Гоголь, Николай Васильевич 93—95, 127, 128, 282, 480.
Годунов, Борис, царь 128.
Голенищев-Кутузов, Арсений Аркадьевич, гр. 502.
Голенищева-Кутузова, Елизавета Михайловна, по 1 бр. гр. Тизенгаузен, см. — Хитрово.
Голицын, кн. 346, 347, 348.
Голицын, Дмитрий Владимирович, св. кн. 63, 73.
Голицын, Николай Николаевич, кн. 19, 26, 53.
Голицына, кн., р. Зайцева 347.
Голицына, кн., см. — Корсакова.
Голицына, Татьяна Васильевна, кн., р. Васильчикова 63.
Головачев, Алексей Адрианович 345.
Головачев, Аполлон Филиппович 346, 347, 362.
Головачев, Петр Михайлович 45, 49.
Головачева, Евдокия Яковлевна, р. Брянская, см.—Панаева.
Головин, Борис 378.
Головин, Иван Гаврилович 195, 196, 201, 203.
Головкин, Федор Гаврилович, гр. 517, 518.
Головнин, Александр Васильевич 79, 81, 82, 353.
Голодников, Капитон Михайлович 48, 49.
Голубцов, Владимир Владимирович 53, 54.
Гольденберг 496.
Гольцев, Виктор Александрович 219, 220.
Гонорий II, папа (Кадолай, епископ Пармский) 260—263.
Гончаров, Иван Александрович 298, 463, 464.
Гончарова, Екатерина Николаевна, см.—бар. Геккерен-Дантес.
Гончарова, Наталья Ивановна, р. Загряжская 481.
Гончарова, Наталья Николаевна, по 2 бр. Ланская, см.—Пушкина.
Горбачевский, Иван Иванович 40—42.
Горбун, Н. Ф. 312.
Горбунов, Иван Федорович 303.
Горбунов-Посадов, Иван Иванович 506.
Горчаков, Александр Михайлович, кн. 78.
Горчаков, Петр Дмитриевич, кн. 48.
Готовцева, Анна Ивановна, см.—Корнилова.
Готфрид Бородатый 247.
Готфрид Горбатый, герцог Верхнелотарингский 252—256, 260—264.
Гофман, Эрнест Теодор Амадей 267.
Гофштетер, исправник 407, 403.
Грановская, Елизавета Богдановна, р. Мюльгаузен 103, 117, 127, 131, 144.
Грановский, Николай Тимофеевич 103.
Грановский, Тимофей Николаевич 96—103, 106, 107, 110—154, 472.
Греков, исправник 493, 495.
Греков, Михаил 31.
Греч, Николай Иванович 20, 24, 28, 35.
Грибоедов, Александр Сергеевич 7—39.
Грибоедова, Нина Александровна, р. кн. Чавчавадзе 14, 18.
Григорий VI, папа римский (Иоанн Грациан) 239, 241—243, 245, 246.
Григорий VII, папа римский (Гильдебранд) 219, 220, 239, 245—248, 251—256, 259, 260, 263—265.
Григорович, Дмитрий Васильевич 283, 292, 297, 463 464, 467, 468.
Григорьев, Аполлон Александрович 298—303, 312, 315, 318—320, 322, 324, 329, 331, 332, 335, 342.
Григорьев, В. Н. 35.
Григорьев, Николай Петрович 461.
Гроссман, Леонид Петрович 147.
Грэгам 118.
Гуго, кардинал 264, 265.
Гудим, Сергей Леонтьевич 405.
Гудович, Елизавета Ивановна, гр., см.—Лизогуб.
Гумбольдт, Александр 107, 320, 321.
Гурко, Иосиф Владимирович 359.

Гурко, Мария Андреевна, р. Салиас де-Турнемир 359.
Гусев, Н. Н. 384, 411.
Гутьяр, Николай Михайлович 286, 287, 290—293.
Гюгель, Александра Михайловна, бар., р. Верещагина 53.
Гюго, Виктор 155.
Гюго, Франсуа 155.
Гюго, Шарль 156.

Давыдов, Василий Львович 44, 45.
Давыдова, Елизавета Сергеевна, р. Трубецкая 46.
Дамиани, Петр 257.
Данзас, Борис Карлович 63, 73.
Данзас, Карл 74.
Данзас, Константин Карлович 57—61, 63, 64, 72—76, 78.
Данзас, Лотар 74.
Данзас, Татьяна Борисовна, см.—Семечкина.
Данилевский, Григорий Петрович 298.
Данилов, И. 19, 20, 25.
Дараган, Петр Махайлович 398, 407.
Дашкова, Екатерина Романовна, кн., р. гр. Воронцова 520.
Двигубский, Иван Алексеевич 126, 128.
Деева, Ульяна Михайловна, см.—гр. Ламберт.
Делагарди, генерал и его дочь 362.
Дельвиг, Александр Антонович, бар. 289.
Дельвиг, Антон Антонович, бар. 51, 314, 481.
Дельвиг, Любовь Антоновна, бар. 289.
Дельвиг, Хиония Александровна, бар., р. Чапкина 289.
Дельзиги, бар. 288, 289.
Desmars, окулист 326.
Демидов, Николай Михайлович 198—201.
Демулен, Камилл 97.
Ден, Владимир Иванович 398.
Denis, m-me 83.
Денисьева, Елена Александровна 87—91.
Депре, виноторговец 105, 106, 108.
Державин, Гавриил Романович 518, 538.
Дерман. А. Б. 150.
Диксон (Dixon) Мария Луиза, р. Симпкинсон (Simpkinson) 83.
Дисраэль 338.
Дмитриев-Мамонов, Александр Иполитович 48.
Добринский, Александр Александрович 31.
Добролюбов, Николай Александрович 280, 300, 303, 353.
Добрынин, Гавриил 526.
Долгоруков, Александр Васильевич, кн. 381, 384, 398.
Долгоруков, Василий Андреевич, кн. 374, 375, 379, 381, 383, 386, 393, 395, 398, 403, 411, 412.
Долгоруков, Иван Михайлович, кн. 26, 27.
Долгоруков, Петр Владимирович, кн. 77—85, 381.
Долгорукова, Евгения Сергеевна, кн., р. Смирнова 26.
Должанская, учительница 499.
Дондуков-Корсаков, Михаил Александрович, кн. 402.
Дорн, домовладелец 306.
Достоевские 301.
Достоевский, Федор Михайлович 297, 352, 459—481, 503, 504.
Дрейфус, Альфред 503, 509.
Дрига, Владимир Васильевич 482—484, 487—490, 494—497, 499.
Дриянский, Егор Эдуардович 315.
Дружинин, Александр Васильевич 283, 291, 292, 297, 298, 322.
Дунин-Борковская, Надежда Дмитриевна, см.—Лизогуб.
Дунин-Борковский, Василий Дмитриевич 498.
Дурново, Михаил Аполлонович 379—381, 383, 398—411.
Дурново, N Павловна, р. Веселовская 84.
Дювербье, Бонэ 156.
Дювернуа, N Львовна, см.—Сергеевич.
Дювернуа, Александр Львович 353, 354.
Дювернуа, Николай Львович 353, 354.
Дюклу, Екатерина Алексеевна, см.—Ладыженская.
Дюма-отец, Александр 317.
Dupré, владел. типографии 195, 197, 199, 201—203.

Европеус, Александр Иванович 345.
Екатерина II, императрица 36, 84, 513, 515—521, 524—526, 531—533, 536.
Елагин, Иван Перфильевич 36.
Елисеев, Григорий Захарович 364, 465
Елыгин 518.
Ентальцев, Андрей Васильевич 49.
Ентальцева, Александра Васильевна, р. Лисовская 49.
Ергольская, Татьяна Александровна 283, 400, 409.
Ермолов, Алексей Петрович, 8, 10—12, 16, 31, 35, 36, 38.
Ермолов, Петр Николаевич 8, 12, 13, 34.
Ефремов, Петр Александрович 153.

Жандр, Прасковья Петровна, р. Поретская 20, 23, 27, 35.
Жандр, Андрей Андреевич 17—24, 28—30, 34, 35.
Жданович, Яков Николаевич 495.
Желтухин, Алексей Дмитриевич 129.
Желтухина, Елизавета Николаевна 129.
Желтухины, 127, 129.
Жемчужников, Алексей Михайлович 187, 192, 497.
Житова, Варвара Николаевна, р. Лутовинова 500, 501.
Жорж-Занд 129, 167.
Жохов, Александр Федорович 366.
Жуковская 35, 37.
Жуковская, Екатерина Ивановна, по 1 бр. Ценина 345—373.
Жуковская, Н. Юльевна 345.
Жуковский, капитан 31, 35, 37.
Жуковский, Василий Андреевич 24, 481.
Жуковский, Юлий Галактионович 192, 345, 346, 348, 351—361, 363—367, 369—373.

Завадовский, Александр Петрович, гр. 14.
Завалишин, Дмитрий Иринархович 37.
Загряжская, Наталья Ивановна, см.—Гончарова.
Зайцева, см.—кн. Голицына.
Зайцевы 347.
Заичневский, студент 377.
Закревский, Арсений Андреевич, гр. 38.
Захарьина, Наталья Александровна, см.—Герцен.
Зеленская, Елизавета Григорьевна 218, 219.
Зимин, Михаил Иванович, см.—Шипов, М. И.
Зинин, Николай Николаевич 268.
Зотов, Владимир Рафаилович 341.
Зубов, Платон Александрович, св. кн. 517.
Зубок 494.

Игнатьев, Николай Дмитриевич 147, 149, 152.
Игнатьева, София Богдановна, р. Мюльгаузен 149.
Ильин, д-р 496.
Ильин, Федор Федорович (псевд. Ф. Раскольников) 378, 389.
Ильинский, штаб-лекарь 44.
Ильинский, Игорь 374.
Иннокентий III, папа римский 219, 220.
Иоанн IV, царь 128.
Иоанн Антонович, император 515, 519.
Иоллос, Григорий Борисович 129.
Истомина, Евдокия Ильинична, по мужу Экунина 14.
Истрин, Василий Михайлович 514.

Кабеляцкий, штаб-ротмистр 390—392, 399, 401—403, 405—409.
Кавелин, Константин Дмитриевич 115, 119, 127, 331, 472.
Казанович, Евлалия Павловна 86.
Казанский 353.
Казимирская, Александра Семеновна 43—47.
Казимирская, Александра Яковлевна 46, 47.
Казимирский, Яков Дмитриевич 40—49.
Калачев, Николай Васильевич 480.
Каллаш, Владимир Владимирович 520.

Каменецкий, Тит Алексеевич 147, 150.
Кандыба 152, 153.
Кант, Иммануил 164.
Капнист, Василий Васильевич 521.
Каракозов, Дмитрий 363.
Карамзин, Николай Михайлович 75, 481.
Карамзины 75.
Каратыгин, Петр Андреевич 9, 17.
Каратыгин, Петр Петрович 9.
Каратыгина, Александра Михайловна, р. Колосова 26.
Каратыгины 28.
Карлье 195—197, 201, 202.
Каролинги 228, 239.
Катенин, Павел Александрович 28, 51.
Катков, Михаил Никифорович 322, 351, 364—366, 369, 416, 470.
Катуар 108.
Кашпирев, Василий Владимирович 192.
Каэнь 156.
Kenney, Мария Павловна, р. Галахова 119.
Кетчер, Николай Христофорович 106, 126, 145, 151—154, 190.
Кин (Kean), английск. актер 339.
Киреевский, Иван Васильевич 120, 121, 124, 303.
Киселев, Павел Дмитриевич, гр. 195—197, 200.
Клейнмихель, Петр Андреевич, гр. 291, 292.
Клеменец, Дмитрий Александрович 466.
Клеточкин, агент III Отделения 496
Clisson, Мария Авраамовна, р. Веселовская 83.
Ключарев, Григорий Иванович 130, 153.
Ключевский, Василий Осипович 467.
Клюшников, Иван Петрович 101, 102.
Кнарр, авт. 133, 135.
Княжнин, Владимир Николаевич 299.
Княжнина 356, 357.
Кобылин, Александр 133, 136, 137.
Ковалевский, Владимир Онуфриевич 346, 347, 361.
Кожанчиков, Дмитрий Ефимович 309.
Козлов, Алексей Александрович 365.
Козьмин, Борис Павлович 297, 298, 304, 305, 413.
Колбасин, Елисей Яковлевич 284, 286, 293, 298.
Колодкевич, N Николаевна 482.
Колодкевич, Николай Николаевич 482, 499.
Колосова, Александра Михайловна, см.—Каратыгина.
Кольцов, Алексей Васильевич 538, 539.
Комарова, авт. 357.
Кони, Анатолий Федорович 187.
Конрад, король немецкий 240.
Константин Николаевич, вел. кн. 82.
Константинова, Мария Константиновна, см.—Муравьева-Апостол.
Конфуций, китайский философ 119.
Коптева 353.
Корнилова, Анна Ивановна, р. Готовцева 51.
Короленко, Владимир Галактионович 471.
Корсакова, р. кн. Голицына 71.
Корсини 360.
Корш, Александр Евгениевич 136.
Корш, Валентин Федорович 192.
Корш, Евгений Федорович 97—99, 115, 118, 127, 129, 131, 134—136, 138—141, 143, 152.
Корш, Мария Федоровна, 96, 97, 101, 102, 136, 141, 142, 144.
Корш, Федор Евгеньевич 136.
Костомаров, Николай Иванович 498.
Костров, Ермил Иванович, кн. 538.
Костюшко, Тадеуш 521.
Кочубей, Семен Михайлович 29.
Краевский, Андрей Александрович 101, 102, 192, 298, 303, 327, 330—333, 335, 341, 342.
Крамер (Cramer), Екатерина Авраамовна, р. Веселовская 83.
Крамер (Cramer), Philibert 83.
Кранихфельд, Владимир Павлович 167.
Крапоткин, кн. 496.
Крейц, Генрих Киприянович, гр. 375, 393
Кремков (Коренков), Михаил Семенович 47, 48.
Кремпин, Валериан Александрович 296.
Крестова, А. В. 78.
Кролль 353, 354.
Кроль, Любовь Ивановна, см.—гр Кушелева-Безбородко.

Кроль, Николай Иванович 297, 299, 322, 323.
Кропотов, Дмитрий Андреевич 23, 28, 33, 26.
Крылов, Иван Андреевич 37, 534.
Крюд, Е. 135.
Крюков, Дмитрий Львович 105, 106, 107.
Кудряшев, Порфирий Тимофеевич 285—287, 289, 290.
Кузнецова, Вера Васильевна, см.— Тимощук.
Кузьминская, Татьяна Андреевна, р. Бере 289, 400, 402, 403, 408, 410.
Куликова, Александра Ивановна, по 2 бр. Яновская, см.— Шуберт.
Купер, Фенимор 18.
Куракин, Алексей Борисович, кн. 84.
Курицын, шпион 494.
Кутайсов, Иван Павлович, гр. 84.
Кучина, Татьяна Петровна, см.— Пассек.
Кушелев-Безбородко, Александр Григорьевич, гр. 296.
Кушелев-Безбородко, Григорий Александрович, гр. 296—344.
Кушелева-Безбородко, Любовь Ивановна, гр., р. Кроль 297, 314, 323.
Кюхельбекер, Вильгельм Карлович 8, 13, 30.

Лаваль, гр. Екатерина Ивановна, см.—кн. Трубецкая.
Лавров, Вукол Михайлович 220.
Лавров, Петр Лаврович 322, 345, 413—458.
Лавуазье, Антуан-Лоран 105, 107.
Лагарп, Фридрих-Цезарь 521, 532.
Лагорио, Лев Феликсович 497.
Ладыженская, Александра Борисовна, р. бар. Вревская 55.
Ладыженская, Екатерина Алексеевна, р. Дюкру 53.
Ладыженская, Елизавета Александровна, р. Сушкова 53—55.
Ладыженский, Борис Михайлович 53.
Ладыженский, Гавриил Михайлович 53, 55.
Ладыженский, Евграф Семенович 54—56.
Ладыженский, Михаил Евграфович 55.
Ламартин, Альфонс Мари-Луи 326.
Ламберт, гр. Ульяна Михайловна, р. Деева 73.
Ланская, Наталья Николаевна, р. Гончарова, см.— Пушкина.
Лев IX, папа римский 248—251, 256.
Лебедев, А. 304.
Лебедев, Павел Иванович (псевд. Вал. Полянский) 300.
Левашев, гр. Василий Васильевич 21, 23.
Левшин, Василий Алексеевич 135, 525.
Легра, книгопродавец 200.
Лемке, Михаил Константинович 75, 96, 108, 150, 155, 203, 301, 306, 321, 324, 325, 335, 378.
Лепарский, Осип Адамович 40, 41.
Лепарский, Станислав Романович 41.
Лермонтов, Михаил Юрьевич 53, 75, 103, 132, 133, 275, 473, 481.
Лернер, Николай Осипович 51, 152.
Лесаж, Алэн Рене 26.
Леткова, Ек. П. 459—477, 478.
Лесевич, Владимир Викторович 348.
Лефрень 306.
Лизогуб, Андрей Иванович 497, 498.
Лизогуб, Дмитрий Андреевич 484—499.
Лизогуб, Елизавета Ивановна, р. гр. Гудович 497, 498, 499.
Лизогуб, Илья Андреевич 492, 497, 499.
Лизогуб, Илья Иванович 493, 497, 498.
Лизогуб, Надежда Дмитриевна, р. Дунин-Борковская 497, 498.
Лизогуб, София Викторовна, р. Баршевская 492.
Лизогуб, Федор Андреевич 482, 492, 493, 495, 497—499.
Лисовская, Александра Васильевна, см.—Ентальцева.
Лихачев, Владимир Иванович 366.
Лобанова-Ростовская, княж. Анна Борисовна—см. Шелашникова.
Лобанов-Ростовский, Михаил Борисович, кн. 149, 151 (здесь он ошибочно назван М. Е. Лобановым).
Ловягин, подпоручик 398.
Ломоносов, Михаил Васильевич 511, 538.
Лоредо, кондитерская 31.
Лорер, Екатерина Евсеевна, р. княж. Цицианова 94.

Лугинин, Владимир Федорович 356, 357.
Лудвиг, Иван Иванович 115.
Лукашевич, Владимир Павлович 405.
Луначарский, Анатолий Васильевич 300.
Лутовинова, Варвара Николаевна, см.— Житова.
Лутовинова, Варвара Петровна, см.—Тургенева.
Любавский, Александр Дмитриевич 369.
Любимов, полковник 37.
Людовик XIV, французский король 425.
Лясковский, Николай Эрастович 126, 128.
Лядкая, Вера Александровна, р. Пыпина 276.

Мадзини, Джузеппе 78, 365.
Мазарович-Смилоевич, Симон Иванович 11, 36.
Майер 68.
Майков, Аполлон Николаевич 336.
Майков, Леонид Николаевич 193, 532.
Макавеев, Андрей Федорович 406.
Макиавель 425.
Маковицкий, Душан Петрович 374, 396.
Маковская, Ю. П. 463.
Маковские 464.
Маковский, Константин Егорович 463, 476
Маколей, Томас 324, 325, 327, 328.
Максимов, Сергей Васильевич 42, 467.
Максимов-Евгеньев, Владислав Евгеньевич 185, 187.
Мальцев, Иван Акимович 135.
Мариво, Пьер-Карлэ де-Шамблэн 26.
Мария Федоровна, императрица 36.
Марков, Евгений Львович 401.
Маркович, Мария Александровна (Марко-Вовчок), р. Вилинская 323, 324.
Маршев, Иван Иванович 140, 141, 143, 145.
Маслов, Иван Ильич 117.
Матильда, маркграфиня Тосканская 226, 251—253, 260—262.
Межов, Владимир Измайлович 369.
Мезенцов, Николай Владимирович 488.
Мей, Лев Александрович 297.
Мендельсон, Николай Михайлович 96.
Меншиков, Александр Сергеевич, св. кн. 21, 27, 28.
Меншиков, Михаил Осипович 507.
Меньщиков, Л. П. 386.
Миклашевич, Антон Осипович 20—22, 27.
Миклашевич, Варвара Семеновна, р. Смагина 7, 17—28, 30, 34, 35.
Миклашевич, Николай Антонович 20, 27.
Микулич, В. см.—Л. И. Веселитская.
Müller, переводчик 133. 135.
Мильгаузен, домовл. 134, 138.
Милюков, Александр Петрович 304, 305, 322, 328, 535.
Милютин, Владимир Алексеевич 152, 153.
Минаев, Дмитрий Иванович 304.
Миних, Бурхард Христофорович 533.
Мирович, Василий Яковлевич 515, 519.
Михаил Павлович, вел. кн. 59.
Михайлов, Александр 494.
Михайлов, Михаил Илларионович 322, 323.
Михайловский, Николай Константинович 297, 465, 471.
Мицкевич, Адам 324.
Могилевский, Павел Иванович 11.
Mogoulsky, Victor 140.
Модзалевский, Борис Львович 20, 44, 50—52, 59, 78, 79.
Модзалевский, Лев Борисович 50.
Моллер, Егор Федорович 312, 320, 321.
Мольтке, Гельмут 59.
Monhmalon, Camille 326, 327, 329, 333,
Монтанелли, Джузеппе 328, 329, 341—344.
Монтескье, Шарль 525.
Морис 199.
Морозов, школьник 394.
Морозов, Петр 378.
Морозов, Петр Осипович 534.
Моцарт, Вольфганг Амадей 133.
Муравьев, Артамон Захарович 40, 44.
Муравьев, Михаил Николаевич, гр. 23, 33, 34, 36, 364, 365.
Муравьев, Николай Николаевич 36, 45, 133, 135.

Муравьев-Апостол, Матвей Иванович 29, 49.
Муравьев-Карский, Николай Николаевич 7—17, 32—35.
Муравьева, Наталья Григорьевна, р. гр. Чернышева 33.
Муравьева, София Федоровна, р. Ахвердова 14, 17, 33.
Муравьева-Апостол, Мария Константиновна, р. Константинова 49.
Муратов, полковник 374, 377—379, 384—387, 389, 390, 392—395, 399, 404, 410.
Муханов, Александр Алексеевич 37, 38.
Мухановы 7, 38.
Мюллер-Стрюбинг, Герман 127, 129.
Мюльгаузен, Богдан Карлович 126, 128.
Мюльгаузен, Елизавета Богдановна, см.—Грановская.
Мюльгаузен, София Богдановна, см.—Игнатьева.

Нагорная, Варвара Валериановна, р. гр. Толстая 289, 293.
Надеждин, Николай Иванович 108.
Наполеон I Бонапарт 101, 155, 156.
Неведомский, Василий Николаевич 345.
Нейман, Иван Осипович 126.
Некрасов, Константин Федорович 185.
Некрасов, Николай Алексеевич 112, 116, 117, 125, 128, 185—194, 282, 285—287, 291, 292, 298, 300, 332, 345, 351, 352, 362, 363, 466.
Некрасова, 481.
Некрасова, Анна Алексеевна, см.—Буткевич.
Некрасова, Екатерина Степановна 99, 129, 133, 144, 149, 150.
Немвродов, Василий Иванович 107.
Немвродов, Григорий Васильевич 107, 108.
Немвродов, Иван Васильевич 107.
Немвродов, Михаил Васильевич 107.
Немвродов, Петр Васильевич 107, 108.
Неплюев 491.
Нессельроде, Карл Васильевич, гр. 197, 200.
Никитенко, Александр Васильевич 24.
Никитин, Александр 23.
Никифоров, Гавриил Макарович 389—391, 399, 404, 407.
Николай I, император 21—23, 35, 36, 59, 60, 80, 82, 92, 200, 204, 207, 288, 460, 472, 480.
Николай II, папа римский 256, 257, 260, 264.
Николай Николаевич, вел. кн. 370.
Никон, патриарх 128.
Нобель, Людвиг Эммануилович 275.
Новиков, Николай Иванович 29, 521.

Оболенская, кн. 395.
Оболенская, Варвара Самсоновна, р. Баранова 48.
Оболенская, Елизавета Валериановна, кн., р. гр. Толстая 289, 293.
Оболенский, Евгений Петрович, кн. 40, 44—49.
Огарев, Николай Платонович 96—154, 360, 374.
Огарев, Петр Платонович 102.
Огарев, Платон Богданович 107.
Огарева, Анна Платоновна, см.—Плаутина.
Огарева, Варвара Платоновна 102.
Огарева, Вера Платоновна 102.
Огарева, Елизавета Ивановна, р. Баскакова 101, 102.
Огарева, Мария Львовна, р. Рославлева 101—103, 109, 110, 112, 144, 146, 147, 149, 150, 153.
Огарева. Наталия Алексеевна, р. Тучкова 99, 102, 117, 118, 129, 133, 139, 140, 144—146, 148—150.
Одоакр 238.
Одоевский, Александр Иванович, кн. 18, 19, 21, 25, 28, 37—39.
Озеров, Владислав Александрович 283.
Оксман, Юлиан Григорьевич 44, 53, 79.
Орехов, Алексей Степанович 394, 396.
Орлов, Алексей Григорьевич, гр. 518—520, 534—536.
Орлов, Григорий Григорьевич, гр. 523, 533.
Орлова, Агриппина Васильевна 190.
Орловы 533.
Освальд, Николай Николаевич 379.

Осипова, Александра Ивановна, см.— Беклешова.
Осипова, Прасковья Александровна, р. Вындомская, по 1 бр. Вульф 50—52.
Остен-Сакен, Дмитрий Ерофеевич, гр. 33.
Островский, гр. 196.
Островский, Александр Николаевич 303, 467, 468, 516.
Островский, Станислав 196.
Островский, Христиан-Иосиф 196—203.
Оттон, герцог Швабский 254.
Оттон Нортгеймский, герцог Баварский 261.
Оттон I, немецкий король 238, 235.
Охотницкая, Наталья Петровна 400.

Павел I, император 20, 84, 204, 515, 517—521, 523, 525, 527, 532, 533, 535.
Павлищева, Ольга Сергеевна, р. Пушкина 481.
Павлов, Николай Филиппович 127, 128, 141, 142, 150, 151—153.
Павлов, Федор К. 218.
Павлова, Нонна Георгиевна 513.
Павловский, Иван Францович 29.
Палатэн, гр. 200.
Палаузов, Спиридон Николаевич 320, 321.
Палибина, Анна Ивановна, р. Пушина 47, 49.
Панаев, Иван Иванович 64, 96, 101, 112, 115, 116, 125, 128, 129, 150, 153, 187—189.
Панаева, Евдокия Яковлевна, р. Брянская, по 2 бр. Головачева 112, 147, 150, 153, 280, 362.
Панаевы 109.
Панин, Никита Иванович, гр. 519, 521.
Панов, Николай Алексеевич 46.
Паприц, Константин Эдуардович 468.
Паскевич-Эриванский, Иван Федорович, гр., кн. Варшавский 16, 19, 38.
Пассек, Татьяна Петровна, р. Кучина 133.
Паулуччи, маркиза 473.
Пашков, Михаил Васильевич 73.
Переселенков, Степан Александрович 129, 150.
Перфильев, Степан Васильевич 377.
Петерсон, Николай Павлович 405.
Петр I, император 59, 82, 83, 207, 209, 519.
Петр III, император 204, 515—520, 523, 533, 535, 536.
Петрово-Соловово, Евдокия Васильевна, р. Сухово-Кобылина 143, 146, 153.
Петрово-Соловово, Михаил Федорович 152, 153.
Пигарев, К. В. 93.
Пиа, Феликс 155.
Пиаччиани 155.
Пий IX, папа римский 326, 327.
Пикулин, Павел Лукич 144, 152, 153.
Пиксанов, Николай Кириакович 8, 14, 31, 35, 39.
Пиль, Роберт 326—328, 332.
Пирогов, Николай Иванович 353.
Писарев, Дмитрий Иванович 296, 306, 324, 466.
Писемский, Алексей Феофилактович 467, 468.
Пич, Людвиг 129.
Плаутина, Анна Платоновна, р. Огарева 149.
Плетнев, Петр Александрович 112, 188.
Плещеев, Алексей Николаевич 345, 461, 467, 476, 477, 480.
Плещеев, Сергей Иванович 518.
По, Эдгард 257.
Погодин, Михаил Петрович 77, 79—85, 299, 301, 303.
Покровский, доктор, и его жена 356.
Полевой, Петр Николаевич 521.
Полежаев, Александр Иванович 132.
Полонская, Елена Васильевна, р. Устюжская 298, 323, 325.
Полонская, Жозефина Антоновна, р. Рюльман 325, 459, 462.
Полонский, Яков Петрович 296—344, 459—463.
Полуденский, Александр Петрович 105—107.
Полянская, А. Г. 297.
Полянский, Валериан, см. — Лебедев П. И.
Помяловский, Николай Герасимович 357.
Попов, Василий Петрович 301, 306, 307, 321, 324—329, 332—335, 338—341, 343.
Попов, Василий Степанович 84.

Попов, Михаил Васильевич 522, 525.
Попова, Евгения Алексеевна 339, 341.
Попова, Ольга Ивановна 7, 34, 36.
Порецкая, Прасковья Петровна, см.—Жандр.
Потапов, Александр Львович 375, 378, 380–382, 385, 389, 392–394, 397.
Потемкин - Таврический, Григорий Александрович, св. кн. 84, 520.
Потехин, Алексей Антипович 467, 468, 480, 481.
Потехин, Н. А. 322, 324.
Прокопович, Феофан 314.
Прокудин-Горский, Михаил Иванович 526.
Прохоров, Григорий Васильевич 296.
Прудон, Пьер-Жозеф 376.
Пуаре (Poirée) 508, 509.
Пуйэ (Pouillet) 133, 135.
Путята, Анна Васильевна 94.
Путята, Николай Васильевич 93—95.
Путята, Ольга Николаевна, см.—Тютчева.
Путята, София Львовна, р. Энгельгардт 93, 94.
Пушкин, Александр Александрович 481.
Пушкин, Александр Сергеевич 24, 38, 50–60, 63, 64, 72, 73, 75, 77—79, 84, 119, 132, 133, 151, 153, 283, 286, 290, 337, 362, 462, 464, 466—470, 472, 476—481, 500, 503—505, 513, 521, 532–539.
Пушкин, Григорий Александрович 481.
Пушкин, Лев Александрович 532, 536,
Пушкина, Мария Александровна, см.—Гартунг.
Пушкина, Надежда Осиповна, р. Ганнибал 481.
Пушкина, Наталья Николаевна, р. Гончарова, по 2 бр. Ланская 73, 479, 481, 539.
Пушкина, Ольга Сергеевна, см.—Павлищева.
Пущин, Иван Иванович 40, 44—49.
Пущин, Иван Николаевич 49.
Пущина, Анна Ивановна, см.—Палибина.
Пущина, Наталья Дмитриевна, р. Апухтина, по 1 бр. Фонвизина 49.
Пыпин, Александр Николаевич 219, 220, 266—268, 271, 275, 276, 279, 304, 305, 345, 353, 363, 369, 370, 373.
Пыпин, Николай Александрович 266, 276.
Пыпин, Сергей Николаевич 271.
Пыпина, Вера Александровна, см.—Ляцкая.

Радищев, Александр Николаевич 513, 520—527, 529—532, 536—539.
Радищев, Николай Александрович 520.
Радищев, Павел Александрович 520.
Разумовский, Кирилл Григорьевич гр. 519, 534.
Раскольников, Ф. см.—Ильин, Ф. Ф.
Ребиндер, Григорий Максимович 41, 42.
Raisin, домовладел. 80, 81, 83.
Редкин, Петр Григорьевич 101, 102.
Рейхель, Мария Каспаровна, р. Эрн 103, 133, 154.
Реминьи 156.
Репин, Илья Ефимович 396.
Репнин, Николай Григорьевич, кн. 29.
Рибейроль 155.
Рикор, доктор 338.
Ришар, герцог 260.
Ришелье, герцог 26.
Робеспьер, Максимилиан 97.
Ровинский Дмитрий Александрович 527, 535.
Розенштраух 115.
Рославлев, Лев Яковлевич 150.
Рославлева, Мария Львовна, см.—Огарева.
Россель, 338.
Россет, Александра Осиповна, см.—Смирнова.
Россет, Клементий Осипович 93, 94.
Росси, арх. 36.
Ростовцев, Яков Иванович 305.
Ростопчин, Федор Васильевич, гр. 84, 518.
Ростопчина, Евдокия Петровна, гр., р. Сушкова 53, 54.
Рот, Логгин Осипович 60.
Ртищева, Анна Михайловна, см.—Барсукова.
Рубашева, А. И. 155.
Рубинштейн, Николай Григорьевич 468.

Руге, Арнольд 155.
Рудольф, гр. Рейнфельденский, герцог Швабский 254, 262.
Руммель, Василий Владимирович 53, 54.
Руперт, Вильгельм Яковлевич 45.
Руссо, Жан-Жак 165.
Рылеев, Кондратий Федорович 25.
Рюльман, Жозефина Антоновна, см. — Полонская.
Рюмин, Владимир Николаевич 304, 320, 321, 339, 341.

Сабашниковы М. и С. 88, 91, 118, 128.
Савченко 519.
Сажин, М. П. 465.
Сазонов, Николай Иванович 107, 112.
Сазонович, А. Н. 49.
Сакулин, Павел Никитич 98, 99, 537.
Салиас де-Турнемир, Андрей, гр. 359.
Салиас де-Турнемир, Евгений Андреевич, гр. 369.
Салиас де-Турнемир, Мария Андреевна, гр., см. — Гурко.
Салиас де-Турнемир, Елизавета Васильевна, гр., р. Сухово-Кобылина (Евгения Тур) 99, 139, 143—147, 153, 154, 358—360.
Салтыков (Щедрин) Михаил Евграфович 167—184, 187, 192, 345, 352, 372.
Самарин, Иван Васильевич 468.
Самойлов, Александр Николаевич, гр. 84.
Санек 487, 490.
Сатин, Николай Михайлович 99, 106, 107, 111, 112, 127, 130, 132, 140, 145, 148—153.
Сатина, Елена Алексеевна, р. Тучкова 148—150.
Свиньин, Павел Петрович 102.
Северцев, Николай Алексеевич 322, 324.
Семевский, Михаил Иванович 305, 321, 343, 344.
Семенов 497.
Семечкина, Татьяна Борисовна, р. Данзас 74, 75.
Семино, француз 14.
Сенковский, Осип Иванович 35.
Сен-Симон, Анри 165.
Сенявин 196.
Сергеевич N Львовна, р. Дювернуа 353.
Сергеевич, Василий Иванович 353, 354.
Сердобольский, Александр Павлович 378, 402, 405.
Сеченов, Иван Михайлович 267.
Сигизмунд 232.
Сидоров, корректор 312.
Сильвестр III, папа римский 241—243.
Симон-Деманш, Луиза 147.
Симонов, д-р 473, 474.
Симпкинсон (Simpkinson), Джон (John) 83.
Симпкинсон (Simpkinson), Мария Луиза, см. — Диксон.
Симпкинсон (Simpkinson) Райнария (Renée) Авраамовна, р. Веселовская 83.
Синявин, Дмитрий Николаевич 30.
Синявин, Николай Дмитриевич 30.
Сиповский, Василий Васильевич 525, 526.
Скабичевский, Александр Михайлович 186, 187, 189, 524.
Скандовский 193.
Скарятин 366.
Скобелев, Михаил Дмитриевич 463.
Сленин, Иван Васильевич 37.
Слепцов, Василий Алексеевич 358, 359, 364.
Случевский, Константин Константинович 306, 307, 325, 328, 329, 337—344.
Смагин, Семен 19, 20.
Смагина, Анна 19, 20.
Смагина, Варвара Семеновна, см. — Миклашевич.
Смирнов, Дмитрий Александрович 29.
Смирнов, Михаил Николаевич 298.
Смирнов, Николай Михайлович 298, 299.
Смирнова, Александра Осиповна, р. Россет 78, 94, 298, 299.
Смирнова, Евгения Сергеевна, см. кн. Долгорукова.
Соболевский, Сергей Александрович 78.
Соколов, Александр Иванович 149, 150.
Соколов, Алексей Павлович 377, 378.
Соколов, В. П. 300, 303.
Соколов, Григорий Иванович 150.

Соколов, Павел Петрович 64.
Сократ, философ 122.
Соллогуб, Владимир Александрович, гр. 64, 79.
Соловьев, Сергей Михайлович 301, 519.
Соломирская, Екатерина Александровна, р. Булгакова 67, 73, 74, 76.
Соломирский, Павел Дмитриевич 67, 76.
Сольмс, гр. 515.
Срезневский, Всеволод Измайлович 282.
Сталь, Анна-Луиза-Жермена 33.
Станкевич, Александр Владимирович 96, 117.
Станкевич, Елена Константинова, р. Бодиско, 96.
Станкевич, Николай Владимирович 102.
Стасюлевич, Михаил Матвеевич 220.
Стахович, Михаил Александрович 284.
Стахович, С. А. 285.
Стенбок, гр. 81.
Стенбок, Юлий гр. 81, 82.
Степанов 10, 11.
Степняк-Кравчинский, С. М. 465.
Стефан IX, папа римский 254.
Стефан X, папа римский (Фридрих, кардинал) 253-255.
Странолюбский 266.
Страхов, Николай Николаевич 467.
Стронин, Александр Иванович 539.
Струве, Бернгард Васильевич 45.
Суворов - Рымникский, Александр Аркадьевич гр., кн. Италийский, 352.
Сумароков, Александр Петрович 526, 530.
Сунгуров, Николай Петрович 483.
Суслов 357.
Суслова, Аполлинария Прокофьевна 359.
Суслова, Надежда Прокофьевна 355—358.
Сутгоф, Александр Николаевич 40, 42, 43.
Сухово-Кобылин, Александр Васильевич 147, 359.
Сухово-Кобылин, Василий Александрович 144.
Сухово - Кобылина, Елизавета Васильевна, см. — Салиас де - Турнемир.
Сухово - Кобылина, Евдокия Васильевна, см.— Петрово-Соловово.
Сухонин, Сергей Сергеевич 374—376, 380, 384, 386, 393, 398, 411.
Сухотина, Татьяна Львовна, р. гр. Толстая 500, 507—509.
Сушков, Николай Васильевич 144.
Сушкова, Евдокия Петровна, см. — гр. Ростопчина.
Сушкова, Екатерина Александровна, см.—Хвостова.
Сушкова, Елизавета Александровна см.—Ладыженская.
Сытин, Иван Дмитриевич 532.

Талызина, Валерия Владимировна, р. Арсеньева, см.— Волкова.
Тарханов, Иван Романович 268.
Тафери 156.
Телени, Сандор 155.
Тизенгаузен, Василий Карлович 48.
Тизенгаузен, Елизавета Михайловна, гр., р. Голенищева-Кутузова, см.— Хитрово.
Тимощук, Вера Васильевна, р. Кузнецова 305, 321, 344.
Тиндаль, Матвей 372, 373.
Титмар 247.
Тихомиров, Д. П. 98.
Толстая, Александра Андреевна, гр. 376, 383, 390, 400, 402, 407, 409—411.
Толстая, Варвара Валериановна, гр., см. — Нагорная.
Толстая, Елизавета Валериановна, гр., см. — кн. Оболенская.
Толстая, Мария Николаевна, гр., р. гр. Толстая 282—295, 400, 401, 403, 403.
Толстая, София Андреевна, гр., р. Берс 501.
Толстая, Татьяна Львовна, гр., см. — Сухотина.
Толстой, Валериан Петрович, гр. 282, 284—288, 290—293.
Толстой, Иван Николаевич 45.
Толстой, Илья Львович, гр. 284, 285.
Толстой, Лев Николаевич, гр. 282—284, 288, 289, 291—295, 300, 374—412, 475, 499, 501, 503, 508—510, 512
Толстой, Николай Валерианович, гр. 289, 293.

Толстой, Николай Николаевич, гр. 294, 408.
Толстой, Петр Александрович, гр. 84.
Толстой, Сергей Николаевич, гр. 285, 288—291, 294.
Толстой, Федор Петрович, гр. 74.
Толстые 506, 507.
Томашевский, Анатолий Константинович 402, 405.
Томашевский, Борис Викторович 51.
Томич, авт. 515, 517.
Тредьяковский, Василий Кириллович 526.
Тринидатская 494.
Трубецкая, Екатерина Ивановна, кн., р. гр. Лаваль 42, 43, 46.
Трубецкая, Елизавета Сергеевна, см.— Давыдова.
Трубецкой, Иван Юрьевич, кн. 299.
Трубецкой, Сергей Петрович, кн. 40, 42, 43, 45, 46.
Трубецкой, Юрий Иванович, кн. 299.
Тургенев, Александр Иванович 80, 82.
Тургенев, Иван Сергеевич 53, 78, 81, 129, 185, 187—194, 282—295, 297—300, 322, 323, 402, 408, 467—469, 470, 472, 473, 479, 480, 500—505, 511.
Тургенев, Николай Иванович 80, 82.
Тургенев, Николай Николаевич 290, 292, 293.
Тургенева, Варвара Петровна, р. Лутовинова 286, 287, 500.
Тургенева, Евгения 504.
Тургенева, Елизавета Семеновна, р. Белокопытова, 290, 292.
Тучков, Алексей Алексеевич 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 113, 117, 119, 120, 124, 125, 127, 135, 139, 141—146.
Тучков, Павел Алексеевич 375, 382, 383, 393, 396, 397, 399, 409, 410.
Тучкова, Елена Алексеевна, см.— Сатина.
Тучкова, Мария Алексеевна 145.
Тучкова, Наталья Алексеевна, см.— Огарева.
Тучковы 144, 147.
Тэер, Альбрехт-Даниэль 99, 133, 135, 136.
Тэн, Ипполит-Адольф 327.
Тютчев, Николай Иванович 94.
Тютчев, Федор Иванович 86—92.
Тютчева, Александра Петровна 191.
Тютчева, Анна Федоровна, см.— Аксакова.
Тютчева, Елена Федоровна 91.
Тютчева, Елена Федоровна, см.— Гирс.
Тютчева, Надежда Федоровна 88.
Тютчева, Ольга Николаевна, р. Путята 93.
Тютчева, Эрнестина Федоровна, р. бар. Пфеффель, по 1 бр. бар. Дернберг 90.

Уваров, Алексей Сергеевич, гр. 480.
Унковский, Алексей Михайлович 345, 372.
Успенский, Глеб Иванович 378, 470, 471.
Успенский, Николай Васильевич 378.
Устюжская, Елена Васильевна, см.— Полонская.
Утин, Евгений Исаакович 360.
Утин, Николай Исаакович 360.

Фадеева, Елена Андреевна, см.— Ган.
Федор Иванович, царь 128.
Федоров, содерж. типографии 379.
Феррари (Ferrari), И. 341.
Федоров, Константин Михайлович 218, 219, 240.
Фет (Шеншин), Афанасий Афанасьевич 132, 295, 297, 301, 303, 324.
Филиппов, Михаил Абрамович 323, 324.
Философов 498.
Фирсов, Николай Николаевич 516.
Фишер, Константин Иванович 21.
Фонвизин, Михаил Александрович 49.
Фонвизина, Наталья Дмитриевна, р. Апухтина, см.— Пущина.
Фридрих 137.
Фридрих Барбаросса 231—232.
Фрис 126.
Фриче, Владимир Максимович 300.
Фролов, Николай Григорьевич 105, 107, 110—112, 117, 119, 132, 138, 146, 152, 153.
Фролова, Елизавета Павловна, р. Галахова 119.
Фурье, Шарль 98, 165.

Хавский, Петр Васильевич 84.
Хвостова, Екатерина Александровна, р. Сушкова 53, 54.
Херасков, Михаил Матвеевич 529, 538.
Хирьякова, Е. Д. 482—499.
Хитрово, Елизавета Михайловна, р. Голенищева-Кутузова, по 1 бр. гр. Тизенгаузен 50.
Хмельницкий, Александр Иванович 302, 303, 313, 321, 323, 342.
Хованская, Наталия Васильевна, книж., см.—Булгакова.
Хомяков, Алексей Степанович 303.

Ценина, Екатерина Ивановна, см.—Жуковская.
Ценины 352, 356, 359, 361—363, 365.
Цицианова, книж. 93, 94.
Цицианова, Екатерина Евсеевна, книж., см.—Лорер.
Цявловский, Мстислав Александрович 50, 79.

Чавчавадзе, Нина Александрова, книж., см.—Грибоедова.
Чаев, Николай Александрович 478, 479.
Чапкина, Хионая Александровна, см.—бар. Дельвиг.
Черкасский, Владимир Александрович, кн. 395, 396.
Черкасский, Евгений Александрович, кн. 395, 396.
Черкасский, Константин, кн. 91.
Чернов, исправник 405—407.
Чернов, школьник 394.
Чернышева, Наталья Григорьевна, гр., см.—Муравьева.
Чернышевская, Ольга Сократовна 220, 266, 267, 272, 275, 279.
Чернышевская-Быстрова, Нина Михайловна 220.
Чернышевский, Александр Николаевич 266, 267, 268, 271, 272, 275, 276, 279.
Чернышевский, Виктор Николаевич 279.
Чернышевский, Михаил Николаевич 218, 219, 266, 268, 272, 279—281.
Чернышевский, Николай Гаврилович 156, 218—281, 298, 300, 304, 334.
Черняев, Михаил Гаврилович 476.
Черняк, Яков Захарович 150.
Чертков, Владимир Григорьевич 508, 509.
Чехов, Антон Павлович 500—502, 506, 507.
Чехова, Евгения Яковлевна 502.
Чехова, Мария Павловна 500, 501, 507.
Чистякова, М. 500.
Чихачев 140.
Чубинский, Павел Платонович 301.
Чуковский, Корней Иванович 186, 345.
Чулков, Георгий Иванович 88, 89, 91.
Чулков, Михаил Дмитриевич 525—527.

Шабельская, Мария Дмитриевна 347, 348.
Шабельские, 347, 348.
Шаншиев, Николай Самойлович 150, 153.
Шаранова, Павла Николаевна, см.—Бирюкова.
Шафиров, Петр Павлович, бар. 84.
Шаховской, Александр Александрович, кн. 28.
Шевченко, Тарас Григорьевич 497, 498.
Шевырев, Степан Петрович 303.
Шекспир, Вильям 106. 155, 338, 339.
Шелашникова, Анна Борисовна, р. кн. Лобанова-Ростовская 149, 151.
Шелехова, Мария 468.
Шелгунова, Людмила Петровна, р. Михаэлис 298, 303.
Шелгунов, Николай Васильевич 296, 297, 304—306, 323, 325.
Шениг, Николай Игнатьевич 52.
Шеншин, Дмитрий Семенович 382, 383, 386, 394, 395, 399.
Шереметев, гр. 128.
Шереметев, Василий Васильевич, 14.
Шиллер, Фридрих, 119.
Шиллер (Chillerts) 200.
Шильдер, Николай Карлович 59, 60.
Шипов, Михаил Иванович 375, 379—388, 391—399, 401, 403, 409—411.
Шишкин, Иван Иванович 476.
Шляпкин, Илья Александрозич 55.
Шляхтин, пристав 379, 380, 383, 385, 386, 389, 409, 410.

Шостак (Исленев) Анатолий Львович 495, 496.
Шраг, Людвиг 498.
Шредер, книгопродавец 111.
Штакеншнейдер, Елена Андреевна 413, 414.
Штильмарк, доктор 139.
Штраус, композитор 364.
Шуберт, Александра Ивановна, р. Куликова, по 2 бр. Яновская 150, 151.
Шуйский, Василий, царь 128.
Шумилин, Алексей 378.

Щеголев, Павел Елисеевич 17, 32, 37—39.
Щепкин, Вячеслав Николаевич 117.
Щепкин Михаил Семенович 151.
Щепкин, Николай Михайлович 144.
Щепкина, Елизавета Семеновна, см.—Богданова.
Щепотьева, N Павловна, р. Веселовская 84.
Щербань 526.
Щербатов, Михаил Михаилович, кн. 524, 525.

Эгерман, домовлад. 34.
Эйхенбаум, Борис Михайлович 300.
Эмин, Николай Федорович 526.
Энгельгардт, Егор Антонович 48.
Энгельгардт, Лев Николаевич 93.
Энгельгардт, София Львовна, см.—Путята.
Эрленвейн, Альфонс 378.
Эрн, Мария Каспаровна, см. — Рейхель.

Юм, Давид 164.
Юрьев, Сергей Андреевич 467.
Юсупов, кн. 331.
Юсуповы, кн. 50.
Юферов, С. С. 458.
Юшкова, Наталия Александровна 500, 503—506.

Языков, Михаил Александрович 137, 190.
Языков, Николай Михайлович 106, 314, 481.
Яковлев 347, 348.
Яковлев, домовлад. 106.
Яковлев, Владимир Дмитриевич 304.
Яковлев, Иван 126, 145.
Яковлев, Николай Васильевич 167.
Яковлевы, бр. 345, 347.
Якубович, Александр Иванович 13 14, 40.
Якушин, Иван Дмитриевич 48, 388.
Якушкин, Павел Иванович 374, 378, 388—392, 400, 404.
Яниш, Карл 150.
Яновская, Александра Ивановна р. Куликова, см.—Шуберт.
Янушкевич, Евстахий (Любич) 200.
Янчук, Н. А. 151.
Ярославцев, Андрей Константинович 333.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 5

1. **А. С. Грибоедов.** Четыре письма. Со статьей „Неизданные письма А. С. Грибоедова и его адресаты (Н. Н. Муравьев-Карский, В. С. Миклашевич и А. С. Алексеев)" и примечаниями *О. И. Поповой* 7
2. **Записочки и письма декабристов к Я. Д. Казимирскому.** Сообщил и комментировал *С. А.* 40
3. **А. С. Пушкин.** Два новых автографа. С приложением снимка автографа „Если жизнь тебя обманет...". Вступительная заметка, комментарии и примечания *Л. Б. Модзалевского* 50
4. **А. Л. Вейнберг.** К. К. Данзас, секундант Пушкина, и К. А. Булгаков. По поводу неизвестного портрета Данзаса. С портретами К. К. Данзаса, К. Я. Булгакова, К. А. Булгакова и силуэтами Е. А. Соломирской, рожд. Булгаковой, и П. Д. Соломирского, . 57
5. **М. И. Барсуков.** П. В. Долгоруков о царской России и о дуэли А. С. Пушкина с Дантесом. Два письма кн. П. В. Долгорукова к М. П. Погодину, 1865. С тремя снимками из писем П. В. Долгорукова 77
6. **Ф. И. Тютчев.** Два новых стихотворения. Послесловие и комментарии *Е. Казанович* 86
7. **Н. В. Гоголь.** Неизданное письмо. Предисловие и комментарии *К. Пигарева.* С приложением автографа письма 93
8. **Н. П. Огарев.** Письма к Т. Н. Грановскому, А. И. Герцену и М. Ф. Корш. Сообщил и комментировал *Н. М. Мендельсон* . 96
9. **А. И. Герцен.** Дуализм — это монархия. Фрагмент. Перевод с французского *А. И. Рубашевой.* С вступительной статьей *Л. К.* „Затерявшаяся статья Герцена". Снимок титульного листа сборника „Almanach de l'exil pour 1855" 155
10. **М. Е. Салтыков-Щедрин.** Глава. С вступлением *Н. В. Яковлева* 167
11. **Е. В. Базилевская.** Мнимая эпиграмма Некрасова. К вопросу об отношениях Некрасова и Тургенева 185

12. **Первая революционная брошюра русской эмиграции.** С вступительной заметкой *Г. Бакланова*. I. Документы. II. „Катехизис русского народа“ *И. Г. Головина*. Снимки с обложки и седьмой страницы брошюры 195
13. **Н. Г. Чернышевский.** Борьба пап с императорами. С вводной заметкой *Н. Чернышевской-Быстровой*. Со снимком шифрованного письма Н. Г. Чернышевского 218
14. **Н. А. Пыпин.** Сыновья Чернышевского. Из воспоминаний. С портретами А. Н. и М. Н. Чернышевских 266
15. **И. С. Тургенев.** Письма к М. Н. Толстой. Сообщил и комментировал *В. И. Срезневский* 282
16. **Г. Е. Благосветлов, Я. П. Полонский, Г. А. Кушелев-Безбородко.** Письма и документы. Со статьей «Начало „Русского слова“ и Г. Е. Благосветлов» *Г. В. Прохорова* 296
17. **Е. И. Жуковская.** Из записок шестидесятницы. 1. Вне коммуны. 2. Гауптвахта. С портретами Е. И. и Ю. Г. Жуковских . 345
18. **Игорь Ильинский.** Жандармский обыск в Ясной поляне в 1862 г. По архивным и печатным материалам. 374
19. **П. Л. Лавров.** Последовательные люди. Неизданная статья. С предисловием и примечаниями *Б. Козьмина*. Приложение: Отзыв цензуры о статье Лаврова 413
20. **Ек. Леткова.** О Ф. М. Достоевском. Из воспоминаний 459
21. **А. Барсукова.** Письмо о „пушкинской“ речи Достоевского . . 478
22. **Е. Хирьякова.** Воспоминания и некоторые сведения о Димитрии Андреевиче Лизогубе. Снимок с его детского портрета 482
23. **В. Микулич.** Из переписки. (Письма И. С. Тургенева, Н. А. Юшковой, А. П. Чехова, М. П. Чеховой, Т. Л. Сухотиной и Н. Н. Ге). С примечаниями *М. Чистяковой* 500
24. **Н. Г. Павлова.** Сказка „Бова“ у Радищева и Пушкина как вид политической сатиры 514
25. **Указатель личных имен** 541

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

К. К. Данзас. С акварельного портрета, находящегося в Моск. Гос. Историч. Музее 61
К. Я. Булгаков. С карандашн. портрета, находящегося в Моск. Гос. Историч. Музее 65
К. А. Булгаков. С акварельного портрета, находящегося в Моск. Гос. Историч. Музее 69
Е. А. Соломирская (р. Булгакова) и П. Д. Соломирский. Силуэты, находящиеся в Моск. Гос. Историч. Музее 76

Обложка альманаха „Almanach de l'exil pour 1855“ 157
Факсимиле обложки брошюры И. Г. Головина 205
Факсимиле седьмой страницы брошюры И. Г. Головина 211
А. Н. Чернышевский (1873 г.) и М. Н. Чернышевский (1880 г.) . 269
А. Н Чернышевский (1895 г.) 273
М. Н. Чернышевский (1887 г.) 277
Е. И. Жуковская (с фотографии) 349
Ю. Г. Жуковский (с фотографии) 367

ВКЛАДНЫЕ ЛИСТЫ

Запись А. С. Пушкина в альбоме Е. А. Ладыженской . . . . 52— 53
Автограф Н. В. Гоголя. Письмо к Н. В. Путяте, из архива И. И. Тютчева . . . . . 92— 93
Образец шифрованной записи Н. Г. Чернышевского . . . . . 232—233

Errata

В статье А. С. Грибоедов. Четыре письма.

1) На стр. 24, 6-я строка снизу перед словом „написанные“ вместо скобки должна стоять запятая.

2) На стр. 24, в примечании 3-м вместо: „отзыв о романе, прочитанном Пушкиным по рукописи“ следует читать: „отзыв о романе, написанный Пушкиным“, так как из текста отзыва мы в праве заключить, что сам Пушкин романа не читал, а писал о нем со слов других. Приводим текст отзыва: „Недавно одна рукопись под заглавием: село Михайловское, ходила в обществе по рукам и произвела большое впечатление. Это роман, сочиненный дамою. Говорят, в нем много оригинальности, много чувства, много живых и сильных изображений. С нетерпением ожидаем его появления.“

В статье Н. В. Гоголь. Неизданное письмо.

Стр. 93—	строка	2	сверху	(текст Гоголя)	— в —	следует	въ
„	„	4	„	„	„	оттоле	„	оттолѣ
„	„	1	„	„	„	в —	„	въ
„	„	8	„	„	„	в —	„	въ
Стр. 94—	„	4	„	переменил (желание ехать) — следует: перемѣнил (желаніе ѣхать)				
„	„	5	„	пѣшком — следует: пѣшкомъ				
„	„	6	„	все	—	„	всѣ	
„	„	11	„	Аксаков —		„	Аксаковъ,	
„	„	12	„	Поѣхали бъ сію — следует: Поѣхали бъ и сію.				

В статье Н. П. Огарев. Письма к Т. Н. Грановскому, А. И. Герцену и М. Ф. Корш, на стр. 151 сказано: „*Шалашникова, сестра М. Лобанова* — вероятно, сестра Мих. Евст. Лобанова . . .“; надо: „*Шалашникова* — Шалашникова, Анна Борисовна, рожд. княж. Лобанова-Ростовская (род. 1823 г., ум. 17 июня 1904), сестра князей Михаила, Александра, Алексея и Якова Борисовичей Лобановых-Ростовских, из коих кн. М. Б. Лобанов-Ростовский (р. 7 сентября 1819 г, ум. 28 мая 1858 г.) был полковником и флигель-адъютантом, а Алексей Б. — министр иностранных дел, известный генеолог (см. В. В. Руммел и В. В. Голубцов „Родословный сборник русских дворянских фамилий“, т. I, СПБ, 1886, стр. 560).

СОДЕРЖАНИЕ

№ 2 сборников „Звенья"

К столетию смерти Вольфганга Гете. — 1. **В. Гете.** *Новые автографы. Комментарии А. Габричевского и Н. Лернера. — 2.* **Л. Каменев.** *Гете и мы. — 3.* **К. Лялин.** *Гете и Гегель. — 4.* **Гл. Глебов.** *Пушкин и Гете. — 5.* **А. Вейнберг.** *Перо Гете у Пушкина. — 6.* **Л. Крестова.** *Портрет Гете под пером молодого Герцена. — 7.* **Н. Г. Чернышевский.** *Примечание к переводу Фауста. Неопубликованная статья. — 8.* **М. Чистякова.** *Толстой и Гете. — 9.* **Н. Пиксанов.** *Дворянская реакция на декабризм (1825—1827 гг.). — 10.* **А. С. Пушкин.** *Три письма к неизвестной. Пояснительная статья и комментарии Т. Зенгер. — 11.* **Д. Якубович.** *Неизвестная запись Пушкина. С автографом. — 12.* **В. Срезневский.** *Встреча с Пушкиным (24 — 26 октября 1831 г.). — 13.* **Н. Ашукин.** *Пушкин перед картиной Брюллова. Из бумаг А. С. Андреева. — 14.* **Л. Модзалевский.** *Новые материалы об изданиях А. С. Пушкина. — 15.* **Г. Чулков.** *Стихотворения, присланные из Германии. К вопросу об отношении Пушкина к Тютчеву. — 16.* **К. Пигарев.** *Новооткрытые тексты Тютчева. — 17.* **В. Вересаев.** *К биографии Гоголя. — 18.* **Н. А. Некрасов.** *Отрывок из неопубликованной пьесы. С вступительной статьей К. Чуковского: „Некрасов, Николай I и Асенкова". — 19.* **М. В. Буташевич-Петрашевский.** *Письма из ссылки. С вступительной статьей и комментариями С. Щегловой. — 20.* **Н. П. Огарев.** *Две статьи. Комментарии Н. Мендельсона. — 21.* **А. И. Герцен.** *Неопубликованные письма к М. Н. Похвисневу, Ф. Боденштедту и Э. Хоецкому. Перевод Вл. Каренина и Л. Каменева. — 22.* **М. Слепцова.** *Штурманы грядущей бури. Из воспоминаний. — 23.* **И. С. Тургенев.** *Письмо к декабристу С. Г. Волконскому. Сообщила и комментировала О. Попова. — 24.* **Н. Бродский.** *Фет — редактор Тургенева. — 25.* **Д. Кузьмин.** *Материалы для характеристики „раскола" в нигилистах. Письма Н. Д. Но-*

жина, Н. С. Максимова, П. Л. Лаврова, Конради и С. А. Ольхина к Н. С. Курочкину и отрывок из записей Н. С. Курочкина. С примечаниями Д. Кузьмина. — 26. **А. Ф. Кони.** *Воспоминания о деле Веры Засулич. С комментариями М. Теодоровича. — 27.* **Н. К. Гудзий.** *Как писалась и печаталась „Крейцерова соната" Л. Н. Толстого. — 28. Л. Н.* **Толстой.** *Ненапечатанные отрывки из „Крейцеровой сонаты". — 29.* **Игорь Ильинский и С. Толстой.** *Квартет „Ключ" в „Войне и мире". — 30.* **М. Чистякова.** *П. А. Кропоткин и франко-русская дипломатия. — 31.* **А. И. Левитов.** *Четыре неопубликованных письма. С вступительной статьей Г. Прохорова: „Забытые и неизданные произведения А. И. Левитова".*

ПРЕДПОЛАГАЮЩЕЕСЯ СОДЕРЖАНИЕ

№ 3 сборников „Звенья"

1. **П. Любомиров.** *Автобиографическая повесть А. Н. Радищева. — 2.* **О. Попова.** *История жизни М. Н. Волконской. По неизданным материалам. — 3.* **А. С. Пушкин.** *Новые автографы. Комментарии Н. Ашукина. — 4.* **Д. П. Якубович.** *„Мария Шонинг" как этап историко-социального романа Пушкина. — 5.* **М. Боровкова-Майкова.** *Новые материалы об А. С. Пушкине. Из писем П. А. Вяземского к жене в 1830 г. — 6.* **Е. В. Щипунина.** *О свадьбе Пушкина. — 7.* **В. Чернышев.** *Село Болдино и его помещики Пушкины. — 8.* **Е. Казанович.** *К источникам „Египетских ночей". — 9.* **Н. В. Путята.** *Об исаковском издании сочинений Пушкина. Сообщил и комментировал К. Пигарев. — 10.* **И. Троцкий.** *Вольнодумный родственник Пушкина. — 11.* **К. Пигарев.** *Что переводил Тютчев. — 12.* **К. Пигарева.** *Из семейной жизни Тютчева. — 13.* **И. Эйгис.** *К иконографии Тютчева. — 14.* **Д. Шаховской.** *Последние отзывы Чаадаева о России. — 15.* **С. Дурылин.** *Гоголь и Аксаковы. С тремя неизданными записками Н. В. Гоголя. — 16.* **А. Н. Балагин.** *Наследники Н. В. Гоголя. — 17.* **Т. Г. Шевченко.** *Новый перевод запрещенных стихотворений А. Колтановского. С вступительной статьей Е. Колтановской: „Шевченко как революционер". — 18.* **С. Куликов.** *Бальзак и III Отделение. — 19.* **А. И. Герцен** *и* **Н. П. Огарев.** *Неопубликованные письма к П. В. Анненкову. — 20.* **А. Малеин.** *„Изобличитель", рукописный журнал студентов Московского университета (1859 г.). — 21.* **Н. А. Полевой.** *Письмо к В. Л. Боткину. Сообщил и комментировал Н. Мендельсон. — 22.* **Г. Лурье.** *Питейные бунты 1859 г. и Петр Линьков-Кочкин. — 23.* **В. Сушицкий.** *Письма Е. К. Барановской к М. В. Авдееву. — 24.* **И. С. Тургенев.** *Письма к Рошет. Вступительная статья и комментарии Н. Лернера. — 25.* **Н. Минский.** *Встреча с И. С. Тургеневым. 26.* **М. Е. Салтыков-Щедрин.** *Дополнительные письма к тетеньке. С вступительной статьей*

В. Гиппиуса: „Неосуществленный сатирический цикл Салтыкова-Щедрина“ —27. **Н. Г. Чернышевский.** *Стихотворения Кольцова. Вступительная статья А. Скафтымова: „Неизвестная статья Чернышевского о Кольцове“. — 28.* **К. Буковский.** *Воспоминания о Н. Г. Чернышевском. — 29.* **П. И. Боков.** *Три письма к М. А. Боровой-Сеченовой. — 30.* **В. А. Обручев.** *Письмо к Боковым. — 31.* **С. Штрайх.** *Героиня романа „Что делать?“ в ее письмах. — 32.* **В. Срезневский.** *Посетители „суббот“ И. И. Срезневского. — 33. Переписка* **Н. А. Добролюбова с И. И. Срезневским.** *Сообщил и комментировал Вс. Срезневский. — 34.* **Н. А. Добролюбов.** *Два письма к Щеглову. Сообщил и комментировал Г. Прохоров. — 35.* **М. А. Антонович.** *Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове. С вступительной статьей В. Евгеньева-Максимова: „Максим Антонович и его воспоминания“. — 36.* **Н. Чернышевская-Быстрова.** *Невеста Н. А. Добролюбова. — 37.* **Л. Н. Толстой.** *Что я? Неопубликованный рассказ. Комментарии Н. Гусева. — 38.* **Н. С. Лесков.** *На смерть М. Н. Каткова. Неопубликованная статья. Примечания А. Лескова. — 39.* **А. Дерман.** *Работа В. Г. Короленко над „Историей моего современника“. — 40.* **Н. Бельчиков.** *Спор дворян в 90-е годы о роли дворянства. — 41.* **Н. К. Гудзий.** *Досимволический Брюсов.*

Редактор В. Д. Бонч-Бруевич.
Техн. редактор Г. Л. Гелес.
Сдана в набор 19/IV — 31 г.
Подписана к печати 13/IV—32 г.
Бум. 62 × 94. Типогр. знаков в 1 печ. листе 46.000. Ленгорлит № 10341 № 16. Тираж 4000.
Печатных листов 35½ Гос. Тип.
„Ленинград. Правда",
Социалистическая, 14.